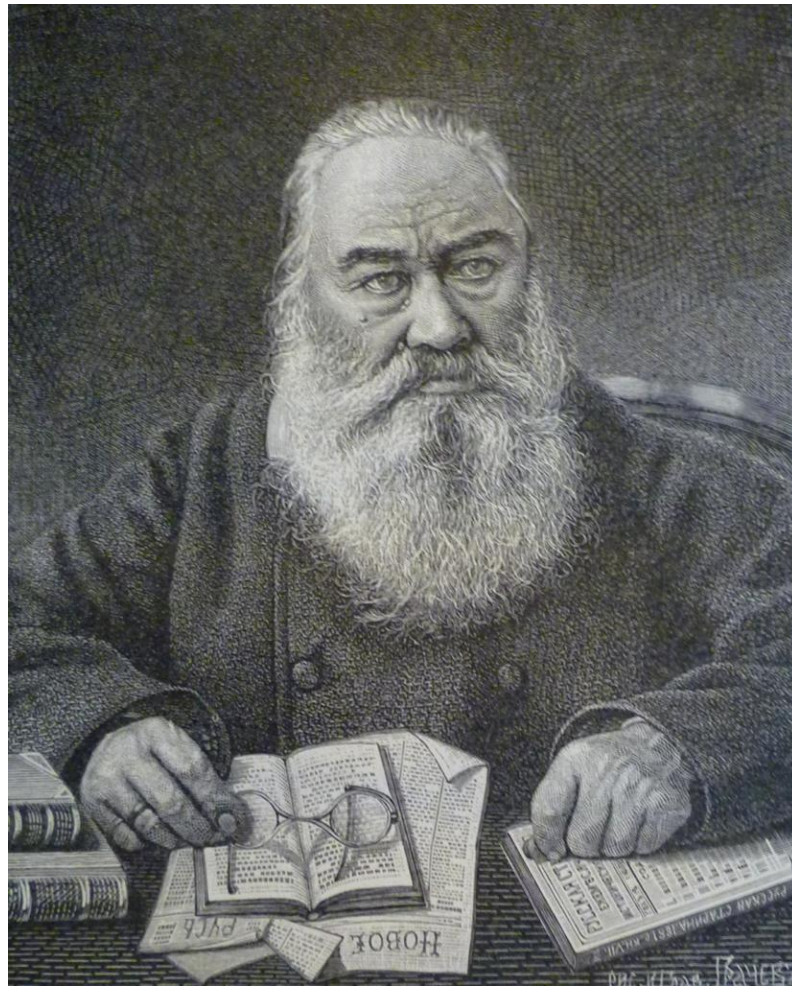


## Воспоминания жандармского офицера Эразма Ивановича Стогова\*



### *Записки Эразма Стогова о Камчатке 20-х гг. XIX в.*

*Из предисловия В.А. Черных\*\**

Среди немногочисленных мемуарных свидетельств о жизни на Камчатке в первой трети XIX в. воспоминания Э. И. Стогова выделяются разнообразием содержания, обстоятельностью и незаурядными литературными достоинствами.

Эразм Иванович Стогов (1797–1880) прожил долгую жизнь, полную приключений, интересных встреч и неожиданных поворотов судьбы. Родился он в подмосковном имении Золотилово Можайского уезда; в 1813 г. окончил Морской кадетский корпус\*\*\*. После недолгой службы в Кронштадте и плавания во Францию в 1818 г. получил назначение в Охотск, командовал кораблями, подолгу жил на Камчатке. В начале 1830-х гг. возглавлял Иркутское адмиралтейство, а вернувшись в 1834 г. в Петербург, перевелся из флота в жандармы; служил штаб-офицером Корпуса жандармов в Симбирске; с 1837 по 1852 г. управлял канцелярией киевского, подольского и волынского генерал-губернатора Д.Г. Бибикова.

---

\* Оцифрованы М.И. Класоном (правнуком Ивана Егоровича Мотовилова – зятя Э.И. Стогова) и в таком виде выкладываются в Интернете впервые. Надеюсь, что этот нелегкий труд будет еще одним энтузиастом доведен до конца – до публикации «полных рукописных воспоминаний» Э.И. Стогова.

\*\* Люди великого долга: материалы международных исторических XXVI Крашенинниковских чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2009.

\*\*\* Морской кадетский корпус – учебное заведение закрытого типа для подготовки морских офицеров, основан в 1752 г.

Выйдя в отставку в чине полковника, поселился в благоприобретенном имении Снитовка Подольской губернии\*, похоронил там жену, выдал замуж 4-х дочерей за соседей-помещиков, и лишь когда ему перевалило за 70, начал писать свои воспоминания. Он успел подробно и последовательно описать почти всю свою жизнь – от семейных преданий и первых детских впечатлений до службы у Бибикова. Нельзя не упомянуть, что младшая из его дочерей – Инна Эразмовна уже после смерти отца вторым браком вышла за морского офицера А.А. Горенко и стала матерью Анны Андреевны Горенко – поэтессы Анны Ахматовой.

Первоначально Стогов предназначал свои записки не для печати, а лишь для семейного чтения. В Институте русской литературы РАН (Пушкинском доме) хранится наиболее полная «семейная» рукопись его воспоминаний, до сих пор не изданная полностью\*\*. Однако пространные выдержки из этой рукописи, а также отдельные мемуарные очерки и рассказы Э. И. Стогова неоднократно печатались в последние годы его жизни и посмертно в «Сборнике морских статей и рассказов» и в журнале «Русская старина». Тем не менее, эти свидетельства остаются полузабытыми и почти не используются в качестве источника по истории, экологии и этнографии Камчатки. В 2003 г. записки Стогова были переизданы в Москве в сильно сокращенном виде. Главы, относящиеся к жизни Стогова на Дальнем Востоке, в это издание не вошли.

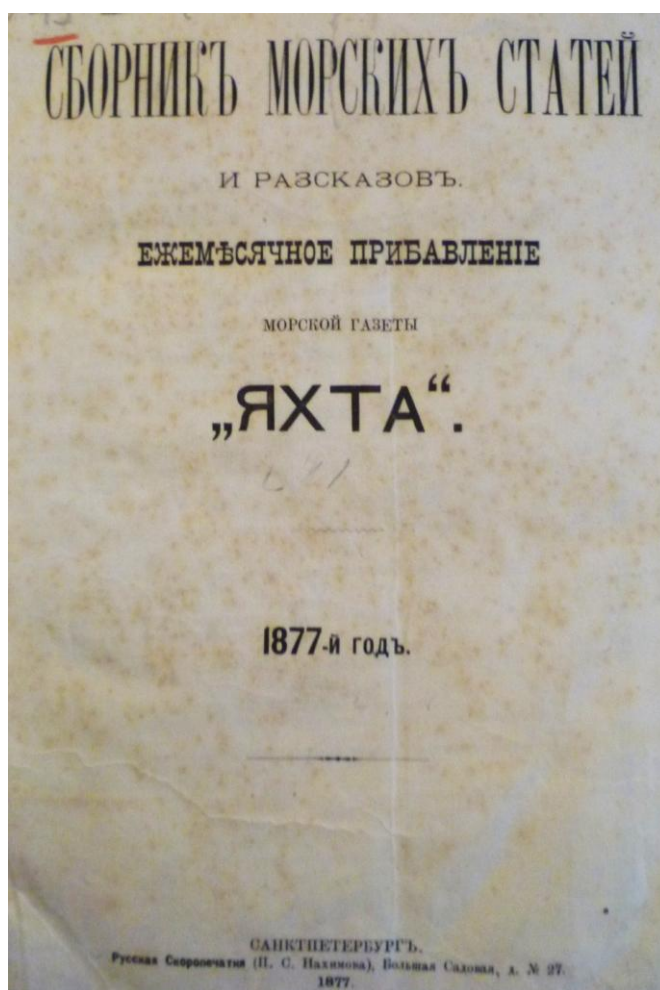
Настоящая публикация имеет целью частично восполнить этот пробел и содержит отрывки из воспоминаний Стогова, касающиеся его жизни на Камчатке. Э. И. Стогов, несомненно, обладал феноменальной памятью: через 40–45 лет после описываемых событий он отчетливо помнил лица, имена, бытовые подробности, местные названия природных объектов. По его собственным словам, он не помнил только дат. В его записках даты почти отсутствуют, однако из его послужного списка известно, что на Охотском побережье и на Камчатке он пробыл с 1820 по 1830 г., где последовательно командовал бригами «Михаил», «Дионисий», «Екатерина» и «Камчатка». Внутри этого периода даты определены путем сопоставления «Записок» Стогова с другими источниками, как официального, так и личного происхождения, в частности с записками английского путешественника Джона Кокрена, который прибыл на Камчатку в 1821 г. и убыл оттуда летом 1822 г. на корабле под командованием Э. И. Стогова.

<...> Около 3 лет (1823–1826 гг.) Э. И. Стогов прожил на Охотском побережье, плавая между Охотском и Тауйской губой (на берегу которой ныне находится Магадан), а затем морем отправился в Тигиль, где прожил более 3 лет (1826–1829 гг.). Этот период своей жизни он описывает в «Воспоминаниях старого моряка», опубликованных в «Сборнике морских статей и рассказов» (СПб., [1877, март;] 1878, янв.-февр.)

---

\* Административным центром Подольской губернии был тогда Каменец-Подольский, с 1914 г. – Винница.

\*\* РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. № 2657.



### ***Морская старина (воспоминания старого моряка), Э.***

*Сборник морских статей и рассказов. Ежемесячное прибавление морской газеты «Яхта», март 1877 г.*

От редакции. Автор этих воспоминаний окончил курс в морском кадетском корпусе в 1817 году и в следующем году отправился на службу в Охотск. Проезжая чрез Иркутск он познакомился с Михаилом Михайловичем Сперанским (впоследствии графом) и с состоявшим тогда при нем капитаном Батенковым. Сперанский приглашал автора служить при нем; а Батенков – записаться членом «кагала». Юный моряк не принял ни того, ни другого предложения. Из бесед автора «Воспоминаний» с Сперанским, имеющих в редакции, отметим здесь только следующий эпизод, усиливший расположение Сперанского к моряку. Расспрашивая о морском корпусе, Сперанский спросил: «Что у вас говорят обо мне?» – Я вас часто вешал. – «Как так?» – А так: вырежу из бумажки человечка, подпишу – Сперанский изменник, – надену на шею петлю из нитки, а другой конец нитки заверну в нажеванную бумагу и брошу в потолок: ком бумаги прильнет, и человечек с надписью висит. – «За что же вы меня вешали?» – За то, что вы передали Наполеону секреты и одну бумагу подписали за Государя (такие в то время ходили слухи о причине высылки Сперанского). – «Так вот вы какие патриоты?» – Да, мы все преданы Государю. – «А Россию любите?» – Да как ее и за что любить? Вот я год еду, а все Россия; трудно полюбить, чего не знаешь; Государь другое дело.

В 1833 г. автор «Воспоминаний» оставил службу во флоте, которая «которая была его *существительным*, тогда как другие были – *прилагательными*».

Редакция «Яхты», кроме ниже помещаемого «воспоминания», имеет в своем распоряжении еще несколько статей того же автора, в том числе обширную бытовую статью «Воспоминание о Сибири в двадцатых годах».

Получив «Русскую Старину» за ноябрь [1876 г.] и не посмотрев на оглавление, я раскрыл книжку и читаю: «Воспоминания Людмилы Ивановны Рикорд в Константинополе 1830 года». Где я найду выражение для радости, которую я почувствовал, узнав, что Людмила Ивановна Рикорд – здравствует!.. Ожила моя молодость: мне стало светло, как было пятьдесят семь лет назад!.. Я встретился и познакомился с Людмилой Ивановной в 1820 году, за 14 тысяч верст отсюда; там, на самом краю твердой земли, на том восточном рубеже Азии, от которых, по словам ссыльных: «75 верст до ада»; словом, это было в Камчатке, которой начальником был незабвенный Петр Иванович Рикорд. Управление его было непрерывное благодеяние всем и каждому. Супруга его, Людмила Ивановна, вносила свет в этот заброшенный, дикий угол\*\*. Тогда Камчатка была terra incognita для русских людей.

Придя из Охотска в Петропавловскую гавань и являсь с рапортом к Петру Ивановичу, я был удивлен, увидев в его доме четырех взрослых девиц, не только прилично, но даже щеголевато одетых; им было около 16-ти лет. Людмила Ивановна казалась их сестрою, но обходилась с ними как мать и называла: Оксинька (Ксения), Сефочка (Серафима) и проч. Кто же были эти девицы?.. Оксинька – дочь большевецкого дьячка, Сефочка – дочь полукамчадала, священника Иоанна, другие же две, помнится, были дочери мещан. Этих девченок я нашел хорошенькими барышнями. Но какого и сколько труда стоило Людмиле Ивановне из диких девочек сделать весьма приличных детей!.. Мне известно, что Людмила Ивановна учила их даже [грациозно] ходить.

Если я не ошибаюсь, Людмила Ивановна уроженка роскошных степей Малороссии (из фамилии Коростовец), а потому о приветливости и ласковом хлебосольстве считаю говорить излишним. Людмила Ивановна тогда была очень молода и замечательная красавица; она обладала обширным и многосторонним образованием, могла называться – вполне ученою дамою. Наклонность к поэзии была у нее врожденною. Я был свидетелем, как среди немалых опасностей Людмила Ивановна любовалась красотами дикой природы и восторженно мне указывала на них; а у меня тогда сам сатана ворочал мозги и сжимал сердце!.. Как теперь помню, мы переезжали Среднекамчатский хребет. На высоте 6 тысяч фут, посреди разрушенной природы, мы остановились отдохнуть, а Людмила Ивановна начала вслух импровизировать: «Ничто здесь не растет, /Ничто не зеленеет, /Комар здесь не поет, /Червяк ползти не смеет и проч.»

Жизнь как цепь, звенья которой состоят из эпизодов, соединенных неразрывно; тронуть одно звено, ближайšie отзовутся сочувствием. Так и теперь «Воспоминания на Босфоре» оживили в моей памяти происшествие в Камчатке. Босфор и Камчатка!.. Могут ли иметь что либо общего?.. Но, повторяю, звенья цепи жизни – неразрывны. Что я хочу рассказать, то очень близко касается глубоко почитаемой мною Людмилы Ивановны. Быть может, рассказ мой без дозволения – дерзость. Но добрые дела должны проповедоваться с крыши; а к тому же я был участником и действующим лицом. Я буду рассказывать о том времени, когда Людмила Ивановна ездила на собаках и когда почта из грамотных стран приходила один раз в зиму. Какая длинная цепь от езды на собаках до езды по рельсам,

---

\* Судя по этой нумерации, редакция планировала продолжить публикацию «Воспоминаний старого моряка», но какие-то обстоятельства этому помешали, и «продолжение» последовало лишь в следующем, 1878 году – с отказом от предыдущей нумерации. – Примеч. М.И. Классона

\*\* Петр Иванович Рикорд (1776–1855), в 1817–1822 гг. был начальником Камчатки; впоследствии стал адмиралом, его жена Людмила Ивановна Рикорд (урожд. Коростовцева, 1794–1883). Упомянутая ниже Оксинька – это Ксения Ивановна Логинова (1807–1870), вторым браком была замужем за адмиралом российского флота Петром Федоровичем Анжу (1797–1869). – Примеч. В.А. Черных

даже без силы животных, и от переписки без границ долгого времени до сообщения мыслей, почти без всякого времени – по телеграфу!..

Рассказ мой должен начаться в Охотске. В один прекрасный день – как начинаются многие рассказы (но в Охотске тем более памятливы такие дни, потому что очень редки), в апреле шел я из порта домой по берегу реки Кухтуя. С чахлого льда реки поднялся на берег неизвестный мне человек и стал предо мною. Он был небольшого роста, худощав, одет в дрянной оленьей кухлянке, в изорванных торбасах (обувь), в непозволительно дурном малахае (шапка)\*. Первая мысль – бедный тунгус. Нет – рыжая клином борода, рыжеватые-светлые волосы, лицо красное, в веснушках. Нет – не тунгус. Ссылнокаторжный? Нет – без кандалов. Жителей Охотска знаю всех – это не здешний. На вопрос: кто? – пришелец отвечал: Джон Андрес Дондас Кокрен, пост-капитан, и подал мне бумагу. То был паспорт от русского правительства. Потом в это же время Кокрен посмотрел в находившуюся у него бумажку и произнес фамилии: Повалишина, Берга и мою. Повалишина не было в Охотске; Василий Николаевич Берг был в то время в Перми советником казенной палаты, и мы проездом были его гостями. Маленьким я говорил по-французски, в корпусе забыл и начал учиться по-английски – не выучился; но, однако, кое-как некоторый запас вокабул помог мне пригласить незнакомца к себе.

У Кокрена не было ни одной вещи, кроме надетых на нем, а эти вещи были невозможны для комнаты. У меня на дворе имелась баня, и Джон Андрес Дондас Кокрен, пост-капитан, как говорится в русской сказке, в одно ухо влез, а в другое ухо вылез, – вышел из бани в моем белье, в моем вицмундире; но все-таки вышел не молодцом.

Он ни слова не знал по-русски, но говорил на всех языках Европы; я же говорил только по-русски, но знал много слов английских и французских, умел поздороваться по-немецки и, сверх того, помнил слов десяток латинских. Учиться Кокрену по-русски слишком долго; учиться мне какому-нибудь языку – тоже слишком долго; а между тем говорить нам между собою надо. Первая проба говорить вдруг на всех языках довольно изрядно нам удалась, и мы остановились на этом способе, который в короткое время усовершенствовался и дал нам возможность почти без затруднения объясняться даже бойко. Но вот что вышло: мы между собою говорили как на родном языке, а нас никто не понимал. П.И. Рикорд и Людмила Ивановна, зная языки, слушали нас и не понимали ничего, потому что, для какого-то удобства, мы к иностранным словам приделывали русские окончания, у русских слов переделывали ударения; было у нас много слов – составных – русских с иностранными. Но дело в том, что мы беседовали о всех отвлеченных идеях без малейшего труда; а что не понимали нас, сначала мы этого не замечали, потому что некому было понимать, а привыкнув переучиваться было поздно.

Кокрен был лет 35-ти; очень обходительный и очень любезный для англичанина; любил рассказывать, а рассказов у него было – без конца! Он обошел все государства пешком; знал нравы народов как свои пять пальцев. Как англичанин, он имел необходимость каждый день выпить три [бокала] пунша, кроме того, сего и прочего. Может быть, будет кстати теперь повторить переданный им мне рассказ о причине путешествия его в Охотск.

Вот этот рассказ:

«Я только что возвратился из Испании и Португалии, которые я обошел пешком. Однажды в Лондоне, в обществе приятелей зашел горячий разговор о путешествиях и разных затруднениях; так как я обошел всю Европу пешком, то в беседе играл не последнюю роль. К концу вечера было довольно выпито, и были все навеселе; говорили с сожалением и о том, что некуда с интересом путешествовать, что весь земной шар истоптан англичанами. На столе лежали карты с путями путешественников. Один из беседовавших ска-

---

\* В круглых скобках здесь и далее приведены, по-видимому, пояснения редакции к местным словечкам и проч. – Примеч. М.И. Классона

зал: вот места, никем не посещаемые, и указал путь – Якутск, Колыма, Берингов пролив (ежегодно замерзающий ненадолго), Америка, Фактории компаний и – морем – домой. Разговор оживился, все рассуждали; но находили непреодолимые препятствия – невозможность! У меня было довольно в голове, и я находил возможным совершить это путешествие. Заспорили, я положительно объявил, что этот путь нетрудно пройти пешком; меня поймали на слове, и я дал слово совершить этот путь пешком.

На другой день я и желал, чтобы этого вечера не было, но слово дано, исполнить должно! Сделалось известным мое намерение, я был львом дня. Надавали мне писем министры, вельможи, коммерсанты – в Петербург и Москву. В Петербурге посланник меня представил Государю, он спросил, а я рассказал ему о моем намерении. Государь улыбнулся и сказал: «До Иркутска я еще знаю что-нибудь; но далее – мне неизвестно. Желаю вам успеха!» Это было в начале лета. Чтобы не терять времени, я отправился рано утром.

За Царским Селом четыре солдата отняли у меня все, даже сняли с меня платье, оставили фланель и башмаки. Хотели взять паспорт; но я, указав на печать из сургуча, сказал: «казен», и паспорт мне оставили. Пройдя немного, я увидел хороший дом; меня в нем приняли, обласкали и одели, тут я и ночевал. Утром собираюсь идти; все жалели, но я уверял, что обязан идти – это мой долг! Мне предложили, что меня отвезут; я отвечал, что отказаться не имею права, но просить не должен. Так добрался до Иркутска, где давно меня ожидали и вручили мне все мои вещи, отнятые солдатами – славная полиция!

Из Иркутска я плыл Леною до Якутска; там, по рекомендательному письму, один купец отправил меня при транспорте своих товаров в Колыму; туда на ярмарку прикочевали разные народы и чукчи с Берингова пролива, которые говорили, что они каждый год ездят на оленях на берег Америки – торговать. На предложение мое взять меня с собою чукчи просили пять сум (около 15 пудов) табаку, а это составляло огромную сумму по тамошним ценам, и, сверх того, чукчи не ручались за мою жизнь, им самим приходится сражаться по окончании торгового дела в Америке.

Итак, путешествие мое совершиться не могло. А так как всем начальникам было предписано охранять меня и давать пособия, то колымский исправник, узнав, что я хочу идти пешком [обратно] в Якутск, что, конечно, было невозможно, предложил: не желаю ли я доехать до Охотска с тунгусом. Я охотно согласился, предполагая из Камчатки возвратиться на корабле домой. Тунгус был беден, имел шесть оленей; на одном я ехал верхом. Олени составляли все имущество тунгуса. Питались мы дорогой только тем, что добудет охотой тунгус, его семейство и я; случалось не есть по двое суток. Для тунгусов, как я заметил, это было не лишением, – лисица, белка, заяц, птица – все служило пищею. Недавно я провалился с оленем в речку. Теперь я в теплой комнате, с полным комфортом и все забыл!»

Да простит мне тень умершего моего приятеля; я имею основание по некоторым словам, сказанным им в минуту откровенности, что не данное слово в дружеской компании, в веселую минуту, было причиною его путешествия, а богатый торговый дом желал иметь подробности о торговле с чулками, что за известную сумму и принял на себя Кокрен\*. Так как Кокрен был – Джон Андрес, то мы и назвали его Иваном Андреевичем. Когда я объяснил ему, что русские, из почтения к отцу, прилагают к своему имени имя отца, то этот обычай очень ему нравился и он был доволен названием Ивана Андреевича.

---

\* В своих записках Кокрен сообщает, что предпринял это путешествие по своей инициативе, и каких-либо поручений ни от кого не имел (*J.D. Cochrane. A Narrative of a Pedestrian Journey through Russia and Siberian Tartary, from the Frontiers of China to the Frozen Sea and Kamchatka. London, 1824. – 2 vols.*). Это же утверждается и в биографической литературе о нем (*A New General Biographical Dictionary. – London, 1853; Grand Dictionnaire universel du XIX siecle. – Paris, s.d.*). – Примеч. В.А. Черных

В августе Иван Андреевич отправился со мною на бриге *Михаил* в Петропавловскую гавань.

Рассказывать о походе – я не намерен; если соберусь, то составлю свод всего замечательного в тех морях и разные случаи, бывшие в то старое время; но не лишним считаю рассказать случай, в котором участвовал Кокрен. После 5-ти – 6-ти дней плавания выдался превосходный день – ясный, тихий, барометр стоял высоко, все обещало продолжение хорошей погоды. Помощника у меня не было, а потому дней шесть, не раздеваясь, я спал на палубе; с надеждою на хорошую погоду, после полуденной обсервации, мне захотелось отдохнуть в постеле и раздевшись. С малолетства и до сего часа я сплю необыкновенно крепко; бывало, в корпусе шалуны-товарищи выносили меня сонного на галерею, и меня будил только мороз в 25 градусов.

Не прошло и двух часов моего сна, как на бриге оказался пожар. Вахтенный боцман будил меня и не мог разбудить; он [потом] рассказывал: «Подниму с койки, поставлю стоймя, а барин не просыпается». Пришел Кокрен, взял меня за колено, сжал, что мы называем – чашкою, назвал по имени, и я открыл глаза. Замечу, – при таком крепком сне, просыпаясь, я в ту же секунду обладаю полным сознанием. Проснувшись, я увидел в каюте всех пассажиров и старых матросов; на вопрос мой, мне ответили:

- Пожар!
- Где?
- В трюме.
- Тушить!...

Душно, задыхаются люди. Приказал поставить запасные помпы и вооружить. Я был очень молод, где было набраться опытности; одеваясь, я обдумывал: что мне делать? Пришел боцман: «пожалуйста наверх!.. Дым стал горячее». В это время я надел один сапог; думая о способе тушения, хладнокровно отвечал: «не могу же я выйти в одном сапоге, надену другой и выйду». Трюм брига был полон мукою в сумках и товаром до гrot-люка; дым валил густой из носовой части, люди задыхались, спускаясь в трюм.

Я приказал намочить пакли, обвязать нос и рот мокрым полотенцем и, спустив людей, на горденях, вынимать груз и прочищать дорогу к началу дыма; людей часто переменяли. Оказалось, что лопнула основная чугунная доска камбуза, затлелась пакля для конопатки. Добравшись – потушили скоро.

Это был единственный случай, что я спал раздевшись, в койке. Во все следующие походы я по пятидесяти дней и более спал на палубе – не раздеваясь. На вопрос мой Кокрену, каким способом он разбудил меня, он уверял, что нет человека, который не проснулся бы, если крепко сжать верх его коленка.

В Петропавловской гавани Кокрен поселился в моей квартире, в домике с одним венецианским окном. В это лето приходил один трехмачтовый корабль, американский купец с товаром, и хорошо торговал. П.И. Рикорду хотелось иметь судно собственно для Петропавловской гавани. Американец уходил в Манилу, с ним послан был мой друг и товарищ лейтенант Повалишин, командир брига *Дионисий*, с ним послано было и несколько матросов для привода купленного судна.

Мы с Кокреном вставали в 5 часов утра; пили чай по-английски с разными закусками; я ничего хмельного не употреблял, а он выпивал один пунш. Кокрен всегда смеялся над женатыми и называл их «дураками 1-го ранга». Пришла зима, Кокрен часто проводил дни в доме Рикорда. Однажды Иван Андреевич говорит мне:

- Размус (Эразм), я хочу жениться.
- Ну, так ты будешь дурак 1-го ранга.
- Да, а когда-нибудь и ты будешь дураком 1-го ранга.

Кокрен влюбился в одну из барышень, воспитанниц Людмилы Ивановны; барышня [Оксинька] была, как и все другие, умненькая и прехорошенькая. После, через двенадцать лет, я видел ее красавицей, барыней высокого тона; но уже не как Кокрен, который умер в Южной Америке, а как жену русского. Людмила Ивановна, выдавая замуж свою воспитанницу, как мать соблюла все обычаи. Пятидесятисемилетняя давность дает мне право рассказать некоторые тогдашние секреты.

Кокрена обручили в доме Петра Ивановича. Как теперь вижу эту сцену: молоденькая, хорошенькая невеста, с распущенными светло-русыми длинными волосами плачет и говорит: «не хочу за Кокрена, а хочу за Повалишина!» Повалишин был очень недурной брюнет. Но обручение совершилось. Лейтенант Саполович и я были шаферами [Кокрена]. Я учил Кокрена отвечать священнику на вопрос: согласен ли пойти и проч. – словом «да, согласен». Наступил день свадьбы; нам, шаферам навязали на левую руку по огромному банту из пунцовой шелковой ленты. Кокрен, в моем новом вицмундире и, кажется, для большего эффекта в эполетах был отправлен в церковь. Невеста была убрана прекрасно.

Когда надобно было и ей отправиться в церковь[, но она не хотела], мы с Саполовичем взяли ее под локотки и, как легкое перушко, понесли; она не дотронулась даже до земли ножками вплоть до церкви, которая стояла под дорогой, дорога к ней между разгребленными стенами снега была устлана красным сукном и освещалась фальшфейерами. Хор певчих встретил невесту концертом. Для Кокрена все было ново, и он так растерялся, что на вопрос священника, вместо должного ответа, отвечал: «здравствуй, благодарствуй!»

Священник Иоанн любил говорить наставления. Венчая камчадалов, он, обыкновенно, говорил: «любите друг друга; если ты не будешь верен, то первый медведь тебя погубит; а если ты не будешь любить своего мужа, то он будет несчастлив на охоте, и ты не увидишь платка с золотом на голове своей, и не будет вам чашки чая». Камчадалов очень трогали эти слова Иоанна. Я так и ждал, что он повторит это заученное наставление и теперь; но речь была сказана приличная.

Возвращаясь из церкви, мы увидели иллюминированные ворота дома начальника: над воротами красовался транспарант, изображающий Гименея, сыплющего из рога изобилия – радости, богатство и всякое счастье на новобрачных. Транспарант писал ссыльнокапторжный, с вырванными ноздрями и клеймами на лице – англичанин Бутлер. Он наказан за фальшивые ассигнации; хорошо образованный, уже старик, но все-таки не выучился говорить по-русски; мы все его ласкали, давали работу и платили за плохие рисунки.

После обычных – встречи, приветствий и благословений, уселись за ужин. Петр Иванович был всегда готов на острое словцо. Он, обратясь к нам, сказал: «Теперь никто не будет винить Кокрена, что он не обошел кругом света; он обошел не один, а три раза – вокруг наложья». Все были веселы, и не могло быть иначе при доброте и радушии хозяев. Молодых проводили в дом капитана Калмыкова; заперли в комнату, а платье и обувь унесли.

Проснувшись на другой день, по обыкновению, в 5 часов утра и полагая, что отделался от Кокрена, ежедневно пившего со мною в эту пору чай, я ленился вставать. Вдруг, к моему удивлению, является Кокрен в одном фланелевом белье.

– Что с тобою?

– Я вчера забыл сказать тебе, что не приду пить чай; проснувшись, вспомнил об этом и полагал, что ты меня дожидает; такого неприличия и невежливости я сделать не мог; схватился платья – нет, обуви – нет, дверь заперта; я постучал – не открывают; я открыл форточку и вылез, да поскорей и прибежал к тебе.

– А жена твоя?

– Она спит, я был осторожен и не будил ее.

– Вот чудак!..



У Калмыкова думали парадно поздравить молодых; но каково же было общее удивление – молодой улетучился!.. Не знали, что и подумать, да посланный мною за одеждою Кокрена человек – объяснил недоумение. Кокрен не понимал сделанной им неловкости и объяснил, что он не мог быть негодяем передо мною, не сдержав слова, без предупреждения.

Петр Иванович приказал мне отвести бриг *Дионисий* в угол Камчатки и оставить его там для нагрузки лиственничным лесом, которого нет в гавани. Совершив этот поход не более 1 000 миль океаном, я возвратился берегом. В это время Повалишин привел из Манилы каботажный бот и поехал к своему бригу; а я приготовил свой бриг, на котором отправились: Петр Иванович, Людмила Ивановна, Кокрен с женою и много пассажиров. Капитанская каюта принадлежала командиру и командирше, штурманскую каюту я уступил Кокрену с женою; в трюме – настлал палубу, где поместился я и все [остальные] пассажиры \*.

До пролива четвертого Курильского острова мы дошли скоро; вечером стояли пред серединою пролива; штиль, облака, барометр – предсказывали недоброе. Ко мне подошел американец Толман и говорит: «завтра пройдем пролив». Я отвечал: скажи тогда, когда пройдем. Толман предложил пари такого рода: чтобы я дал ему три соболя; а он, пока не пройдем пролив, каждый день будет платить мне по соболю. Пари состоялось.

Что я ожидал, то и случилось; ночью задул вест; туман, шквал за шквалом, выбивало из рифленых марселей; дней двенадцать держались сильные ветры с туманом, переходя между норд-остом и норд-вестом; я держался близ Курильских островов, под ветром которых меньше волнение и была надежда пролезть в какой-нибудь пролив. Пассажиров было много; хотя во все бочки была запасена вода, хотя наблюдался строгий порядок при употреблении воды, но я опасался возможности иметь в ней недостаток, а налиться водою и думать было нечего – нет ни одной гавани. Ветер зюйд-ост, туман около полдня немного рассеялся; плохая обсервация показала широту четвертого пролива, что было близко к исчислению. Посоветовавшись с Петром Ивановичем и полагая 15 миль погрешности в широте (пролив – на параллели), я находил возможным пройти пролив. Петр Иванович одобрил.

Спустившись при густейшем тумане, по счислению долготы, мы рассчитывали, что проходим пролив. Ветер начал стихать, но туман становился еще гуще. Вдруг, в 4 часа пополудни, перед самым носом явился столбом, сажен в 5 вышиною, камень!.. Чуть не задела его ногами рей \*\* с левой стороны; глубина 12 сажен. Пока доставали канат, с правой стороны показался такой же камень!.. Кругом – шум бурунов, глубина 10 сажен. Каждый момент для нас – «быть или не быть!» А тут якорь по-походному на борте принайтовлен – *сей-тали* \*\*\*! Туман еще гуще, ветер заштилил; бросили якорь, грунт – песок с илом и ракушкой; ничего не видать, только гремят буруны. Где мы – неизвестно! Наступила ночь; готов другой якорь, все обдуманно на всякий случай.

Настало утро – ясное, прекрасное; штиль с громадною зыбью; тут мы увидели, что находимся у второго Курильского острова, в трех милях к осту. Сзади нас – столбами камни, образовавшие ворота, в которые мы [чудом] прошли. Направо – рифы; налево, наравне с водою – плоский как доска камень наклонен к осту, против зыби, с дырою в середине; этот камень более всех делал шум: каждая волна, ударяясь, прорывалась сквозь отверстие и была порядочным фонтаном. Берег состоял из круто опускавшейся зеленой, до 3 000 фу-

---

\* В.А. Черных относит этот эпизод к лету 1822 г., когда П.И. Рикорд получил назначение в Петербург, куда он и отбыл с супругой.

\*\* Рей – круглое веретенообразное рангоутное дерево, равномерно сужающееся к обоим концам (нокам). Крепятся к мачтам и несут на себе паруса.

\*\*\* Сей-тали – тали, основанные между двушкивным и одношкивными блоками. Применяются для обтягивания стоячего такелажа и для подъема грузов.

тов высотой, горы, с вершины которой падал каскад воды. Окружающая картина была страшно великолепна!..

Этой-то картиной, с поэтическим наслаждением любовалась Людмила Ивановна и указывала мне на ее красоты. Как действовали на меня эти проклятые красоты – поймет всякий капитан корабля! Надобно было немедля сделать промер для выхода из этого огорода. Спустил шлюпку, – первая волна громадной зыби закрыла меня. Петр Иванович приказывал мне вернуться; но я, в свою очередь, приказал гребцам затянуть песню и притворился не слышащим приказания. Петру Ивановичу показалось, что меня подсасывал камень с фонтаном. Промер показал, что около всех камней довольно глубины. Перед полднем подул норд, и мы, выбравшись из огорода, прошли пролив и благополучно достигли Охотска.

Прошедши Курильские острова, я почувствовал порядочную боль в правой ноге и в правом плече. Доктор посмотрел и сказал: пустяки. На другой же день доктор спросил меня: «помню ли я, что делал около якоря?» Кажется, ничего, я командовал и распоряжался. Но доктор подслушал разговор матросов: «Вишь, барин, как пришла нужда, то почище нашего брата работал», – и рассказал мне следующее: когда обрубали найтовы, и якорь надобно было поднять талями с борта и сбросить, то я вынул из-под пушки гандшпуг\*, приказал матросу Гагарину взять за конец, а сам, другой конец положи на правое плечо, подложил под лапу якоря гандшпуг; подняли якорь и сбросили. Якорь плехт\*\* был около 70 пудов.

Я совершенно не помню этого момента; но правые плечо и нога до сего времени слабее; в покойном положении – почти не болят, зато скоро устают при движении; это мне осталось на память этого похода. Я никогда не был очень силен, но, видно, бывает нравственное состояние, когда бессознательно проявляется несвойственная сила. Прибавляли, что во все время опасности – я улыбался. Это допускаю, я приучил себя во всех случаях опасности улыбаться, и эта искусственная улыбка служила ободрением команде.

\*\*\*

Как странно устроен человек! Прелестный рассказ «Воспоминания в Константинополе», рассказ о роскоши живописной природы, о климате, создавшем ленивый народ, счастливый своим кейфом, о сказочной главе этого народа с прихотями, азиатскими фантазиями, едва доступными воображению жителя запада, а тем более обитателю сурового, скудного севера – разбудили воспоминания о жизни чуть-чуть не в стране антиподов! Константинополь и Камчатка – это две крайности во всех отношениях. Громадно расстояние, громадна разница в жителях этих стран, в их нравах, обычаях, верованиях – это две отдельные планеты. В одной – все роскошь, блеск, своеобразное просвещение. В другой – природа и человек – бедны, полудики. Для контраста природа наделила турка бородою, служащею ему украшением; камчадал лишен бороды и усов. Турка бреет бороду, камчадал заплетает косы. Турок – магометанин, камчадал – самый усердный христианин. Контраст, во всем контраст; но довольно и сказанного. Казалось, невозможно сблизить Константинополь и Камчатку; но без Константинополя я не вспомнил бы Камчатки.

### ***Воспоминания старого моряка, Э.***

*Сборник морских статей и рассказов. Ежемесячное прибавление морской газеты «Яхта», январь 1878 г.*

Воспитанник морского корпуса, гардемарин в половине первой четверти XIX столетия\*\*\* – довольно для жизни, мчащейся на парах и мыслящей по гальванизму! Жизни хотя

---

\* Гандшпуг – рычаг для подъема и перемещения различных тяжестей, пушек, якорных канатов и проч.

\*\* Плехт – самый тяжелый якорь на судне.

\*\*\* Автор этих воспоминаний выпущен из морского корпуса мичманом в 1817 г. – Примеч. ред. «Яхты»

самой скромной, жизни по течению, но все-таки жизни долгой! Для современной жизни, полной энергии, моя прошедшая молодая жизнь для теперешней деятельной молодости – жизнь библейская! Какая бы скромная доля ни выпала на мой пай, но долгий путь нельзя пройти без препятствий, без побед, без горя, без радости. Я изменяюсь, следовательно – живу! Недалек момент конца моего изменения, судьба скамандует – стоп! начнется другая жизнь, о которой, вероятно, не расскажу вам! Но пока я не лишен способности изменяться, мне хочется потревожить отвердевший мой мозг и оживить его к воспоминанию протекших восьмидесяти лет.

В литературе это называется – автобиография, но, старые моряки библейского быта, боялись выйти на сцену литературы, пожалуй, тут найдется порядочная доза гордости – позволить какому-нибудь писателю критиковать и указать, что написал без предлога и тому подобное – казалось оскорбительно. Василий Федорович Груздов\*, бывало, начинал класс: «ну, дружки, очините перушки», потом диктует, кто из нас пишет, а кто водит сухим пером, класс кончен, пересмотреть тетрадей некогда; с таким учением трудно пускаться в литературу, да по правде – не было и времени, служба поглощала время и жизнь.

Наши большие писатели: В.М. Головнин и П. Ив. Рикорд были великолепно умные люди; но свои сочинения\*\* отдавали исправлять Гречу\*\*\*, то куда же было соваться нам, ученикам Груздова. По какой же причине я решился писать теперь? Вот почему: вышедши из корпуса, я сделал себе программу жизни, о программе – будет в своем месте; теперь же

---

\* Один из преподавателей старого времени в морском корпусе. – Примеч. ред. «Яхты»

\*\* В 1806 г. Василий Михайлович Головнин был назначен командиром шлюпа «Диана», которому надлежало совершить кругосветную экспедицию к русским владениям в Северной Америке с целью научных исследований северной части Тихого океана. <...>в 1808 году у мыса Доброй Надежды шлюп был «задержан по чрезвычайным обстоятельствам». Этот арест продолжался более года. Отчаявшись дожидаться положительного решения со стороны Англии, Головнин решается на побег. «Диана» <...>через несколько месяцев успешно достигла берегов Камчатки. Следом появился отчет: «Путешествие шлюпа «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807, 1808 и 1809 годах».

Весной 1811 года Головнину было поручено произвести опись Алеутских и Курильских островов. Члены экспедиции собрали много географических и этнографических сведений. Эта экспедиция прервалась внезапно: спустя два месяца на острове Кунашир Головнин и семеро его спутников обманом были взяты в плен японцами. Более двух лет провели они в заточении. <...>он впоследствии напишет «Записки Василия Михайловича Головнина. В плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах». <...>Упорными стараниями своего друга капитана Петра Рикорда Головнин и его спутники были вызволены из плена. В 1814 г. Головнин вернулся в Петербург и сразу же засел за отчеты, донесения и статьи о мысе Доброй Надежды, Камчатке и «русской Америке».

<...>В том же году Головнин, будучи членом Государственного Адмиралтейского департамента, стал готовиться к новому кругосветному путешествию, ради которого ему пришлось отложить даже собственную свадьбу. В команде шлюпа «Камчатка», которому предстояло совершить «кругоземное» плавание под началом Головнина, были будущие знаменитые российские мореплаватели Ф. Литке, Ф. Врангель и Ф. Матюшкин. В своей второй кругосветной экспедиции Головнин обстоятельно исследовал Калифорнию, Гавайские и Филиппинские острова. Вернувшись в Кронштадт, он отчитался об экспедиции, опубликовав «Путешествие вокруг света на шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818, 1819 годах флота капитана Головнина».

П.И. Рикорд вел дневник и записки, отрывки из которых помещены в книге Мельницкого «Адмирал Рикорд и его современники» (Санкт-Петербург, 1856); там же и написанная Рикордом биография японца Леонзаймо-Само. Имеются и другие публикации: «Меры, принятые П.И. Рикордом к введению китоловного промысла в Камчатских водах» – «Морской Сборник» 1863 г., № 8; Сведения о Японии (из дневников П.И. Рикорда) – «Морской Сборник, 1856 г., № 6; «История вмешательства России, Англии и Франции в войну за независимость Греции», составили Н. Палеолог и А. Сивинис под ред. Мельницкого, СПб., 1863 г. (по документам П.И. Рикорда); «Исторический очерк народной войны за независимость Греции и восстановления королевства при вмешательстве великих держав России, Англии и Франции», составили Г. Палеолог и М. Сивинис, СПб. 1867 г. (по документам П.И. Рикорда)..Полностью «Записки о плавании к японским берегам в 1812 году и 1813 году и сношениях с японцами» были напечатаны в 1875 г. его женой. – **Из Интернета**

\*\*\* Николай Иванович Греч (1787-1867) – писатель, автор «Практической русской грамматики» и «Воспоминаний», издатель журнала «Сын отечества» (1831-1839), газеты «Северная пчела» (1831-1859).

скажу, что задачу жизни или программу я исполнил и устроился так, что и от оттенка хлопот житейских избавился совершенно! Жизнь свою устроил без забот, без желаний, без надежд, без горя. Все минуты жизни принадлежат мне! Может быть, назовут меня бездельником; это правда, не могу и придумать для себя какого-нибудь дела! Жадно читаю «Морской Сборник», но он уже не вполне понятен мне – так далеко ушел прогресс наук!

Как бы ни было умно чтение, но однообразное занятие не свойственно натуре человека, вздумалось писать, но что писать? Повести? Этого добра слишком много, да в мои годы поэзия и улетучилась. А почему не писать повесть своей прошедшей жизни? Повесть длинная, поэзии не нужно, рассказ правды, без прикрас – вероятно, найдется что-нибудь и любопытное, не может быть, чтобы длинная жизнь прошла без драмы, без комедии, без страстей – не рыба же я?

В 1833 году, в феврале я оставил службу во флоте. Мне кажется, это было на прошлой неделе, а минуло уже 44 года! Куда ни заносило меня течение, воспоминание о морской службе всегда стояло в красной строке! Даже теперь нет предмета, о чем бы я так охотно говорил, как о морской службе. Программа увлекла меня на другой путь – лучше, хуже сложились обстоятельства – не знаю! Жизнь прошла, программа исполнена! Говорю – жизнь прошла, потому что жизнь – есть труд! а я избавился от всякого труда.

### ***Поход в Тауйск и в Тигиль***

Почему я выбрал из многих походов моих поход в Тауйск и в Тигиль? Вот почему: о Камчатке писано, о камчадалах – писано, хотя немного и не вполне верно, а о народе, коряках – их жизни, верованиях, нравах, свадьбах, смерти, похоронах, празднествах и проч. ... – почти ничего неизвестно. Коряков можно узнать и изучить только в Тигиле. Жизнь в Петропавловской гавани – почти русская, в Тигиле – кроме русского языка – все обычаи принадлежат краю, почти без примеси. Четыре года живя в Тигиле, я постарался изучить жизнь коряков до подробностей. Жизнь камчадал я так же знаю подробно, но она частью известна. Желая рассказать о коряках, я вынужден рассказать о походе в Тигиль. С коряками я ночевал по неделе и в то же время читал Библию; жизнь библейских патриархов поразила меня многими параллелями с обычаями коряков. Где жил Авраам и где коряки! При всей ограниченности моей научной подготовки я мог убедиться, что одинаковые причины производят одинаковые последствия.

\*\*\*

После всеми нелюбимого начальника в Охотске У[шинского] приехал немец В..., человек, во всех отношениях добрый, любезный, вежливый, всеми любимый – весело вспомнить о нем.

Часто бывает, что эти общие любимцы, любя свой комфорт, не мешают жить никому, дело службы для них – дело постороннее; но мы все любили нашего немца-добряка, берегли его, и служба не теряла. Из любви к нашему милому немцу-лютеранину мы перекрестили его в православные, какого же еще доказательства любви нашей к нашему милому другу-начальнику! Мы все хлопотали по управлению для спокойствия нашего друга. Но по пословице: у семи нянек дитя без глаза, так случилось и у нас.

Между Охотском и Гижигой есть два пункта: Тауйск и Ямск, где, для неизвестных причин, жили по нескольку козаков, при унтере. Что они делают? Зачем там? Никто не знает. Они правнучаты перво-зашедших козаков – более ничего не известно. Ямск был под ведением Гижиги, а Тауйск зависел от Охотска. Их Охотска посылали ежегодно нартами на собаках: порох, свинец – для продажи тунгусам, немного хлеба, чем и заведывал тауйский унтер-офицер. По какому-то необъяснимому случаю о Тауйске забыли два года, полагаю, забыли потому, что было много нянек.

В тысячу восемьсот двадцатых годах я должен был идти в Тигиль. Вспомнили о Тауйске; летом нет никакого сообщения, кроме моря; начальник стал просить меня завезти

ассигновку пороха, свинца и хлеба в Тауйск. Это следовало бы исполнить идущему в Гижигу, но старый штурман Н... отказался наотрез. В самом деле, не сохранилось малейшего предания, чтобы когда-нибудь кто бывал в Тауйске морем; но начальник так дружески просил меня, что отказаться было бессовестно. Товарищи смеялись, что я отправляюсь в безызвестную экспедицию.

Современные моряки посмеются над затруднением идти в Тауйск, а если принять в соображение тогдашние тамошние средства, то, может быть, нынешний моряк переменял бы мнение. Мы плавали тогда по картам Сарычева, на которых широта берегов еще была и туда и сюда, а долгота такова, что, выходя из Охотска, отходящий пункт приходилось относить более 70 миль к весту и плыть по хребтам гор. Постройкою судов наполовину заведывал Николай Чудотворец; бывало, нужно установить мидель-шпангоут, прежде нужно вытрезвить корабельного мастера. Все суда были маленькие бриги, 60-65 фут по килю, грузовые, о качествах не было и речи.

На этот раз я шел на бричишке в 45 фут по палубе, в бейдевинд шел 6 румбов, а при среднем волнении чуть не два румба дрейфа. Давали пару компасов, которые показывали на R разницы. Октан черного дерева; у моего радиусы шатались в дуге, у предметного зеркала отшиблен угол и половина амальгамы улетучилась; склянки для часов и для лага, лот. Штурманских помощников было три-четыре; но некоторые были необходимы при порте; ученик штурманский был один. Давались помощники невоздержным, а мне приходилось без грамотного. Нынешний моряк тогдашнее плавание Охотской флотилии назовет – Аргонавтами.

Идя в безызвестную [точку], я все силы порта употребил, чтобы отправиться ранее и воспользоваться тихой погодкой, и вышел, помнится, в конце июля. Главная опасность – близость берега, надежда была только на якорь; но якоря были легки и дурно ложились; отойти лавировкою и думать нечего. Не надеясь на верность карты, я шел параллельно берегу в 25, 30 милях. По высоте берегов это казалось близко, пеленгами поверял мили и находил довольно верными. Такое было множество птиц, что совершенно закрывали мыс, и приходилось пережидать, пока пролетят. На горизонте к осту вижу массу птиц, и все на одном месте среди моря. Не остров ли?

Подошел; это квадратная масса мертвого кита, вероятно, не один год носимого; множество разнообразных морских птиц праздновали, лакомясь жиром; я толкнул массу кита, но птицы не обратили внимания на мой бриг. Нельзя было без смеха видеть, как обыкновенная чайка, продолбив кожу, всласть глотает жир; но какой-нибудь альбатрос подойдет к чайке, схватит ее за шею носом и трясет бедную совершенно, как собака; драка, крик – во всей природе, сильный душит слабого! Китов было очень много, рев фонтанов на разные тоны не прекращался.

Перед закатом солнца, при тихом норде, при надежно ясной погоде осмелился я идти в Тауйскую губу; но это не губа, а просто морской залив; ширина входа около 60-ти миль, углубление в материк, помнится, не менее. Идя на вест, нашел два холмистые острова, не означенные на карте. Известная и вечная команда: смотреть вперед! С марса кричит [матрос]: буруны видны! Где? На курсе! Солнце уже село, но ясная заря давала возможность видеть далеко. С марса в трубу хотя далеко, но ясно вижу – стеною буруны. Назад! Продержался ночь во входе, а со светом, при ветре зюйд пошел в губу. Прохожу мимо островов, на одном лежало пять сивучей (морской лев), а на другом – несколько лахтаков (очень большой породы тюлени), острова возвышенны, без леса, но покрыты травой. Идя по вчерашнему курсу, бурунов не встретил.

Тауйск не был назначен на карте, но залив на вест-зюйд-вест был с изменным берегом; на карте значилась речка; залив был на ветре; скоро увидели за береговою возвышенностию несколько дымовых столбов, дошед до 5 сажень [глубины] и ничего не видя,

кроме насыпной кошки, я уже собирался стать на якорь, вдруг появился на берегу тунгус и начал махать своим малахаем (меховая шапка) к норду и сам туда же побежал по берегу, за тунгусом пошел и я. Пройдя мили 4, я увидел устье реки и внутри берега несколько крыш – это и был Тауйск. Прежде виденный дым в заливе был из юрт тунгусов. На 7-ми саженьях бросил якорь, грунт – крупный и чистый песок. Выпалил пушку, жду – никто не едет. Был совершенный штиль, спустил четверку и послал боцмана узнать, есть ли живые [из местного начальства]?

Осматривая берег в трубу, к норду, верстах в 7-ми, под утесом куча народу – мужчин и женщин, бегают, суетятся, но отгадать, что делают, невозможно. Около трех часов пополудни к моему бричишке подошли три пары китов, не из крупных, фут 50, две пары у правого борта, а одна у левого и едва ли далее 10-ти шагов. Это было время браков китов. Нельзя было не удивляться, как эти неуклюжие громады извивались, точно веревку вили каждая пара и по временам дотрогивались боком до ватерлинии. Эти любовники, наконец, развели такое волнение, что мой бричишко раскачался препорядочно. Зарядил пушку и выстрелом разогнал танцоров, этот же выстрел поторопил шлюпку возвратиться с берега.

Часу в 5-м возвратилась четверка, а с нею маленькая байдара с урядником и двумя казаками, заметно измученных. Шлюпка нашла только детей, жителей не было никого. Казаки были под утесом, услышав пушку, бросились бежать.

– Что делал народ под утесом?

– Там есть лайды (песчаные мели, обсыхающие во время морского отлива), весь народ ловил там турпанов.

– А довольно половили?

– До удовольствия!

– Рыба хорошо ловится?

– До удовольствия!

– Приходил ли к вам когда-нибудь корабль?

– Старые люди говорят, не слыхали.

– А как по вашим приметам, не будет ли крепкого ветра?

– Как не быть, непременно будет, народ сильно кричал, ловя турпанов, ветер будет!

– Завтра рано приезжай принять порох, свинец и муку.

– Слушаюсь.

– Да, какие у вас буруны посреди губы! видно, есть подводные камни?

– Никак нет-с, камней в губе нет. Вчера вечером больно дурили киты, иногда они собираются большими табунами, может, они пускали воду; это время каждый год много собирается этой пакости в губу.

– Так приезжайте рано, да привезите для команды свежей рыбы и, если есть лишние, – турпанов.

– Слушаюсь!

Наступила ночь, а с ней порывистый ветер от оста прямо на берег. Порывы были так сильны, что бриг продрейфовал до глубины 5 сажень, уже я приготовил другой якорь, но ветер начал стихать, а к утру маловетрие [настало]. Пришли из реки две большие байдари, одна почти полная живой лососины, а другая полная турпанов.

Надобно рассказать, что такое турпан и способ, каким его ловят. Я бывал сам на этой охоте в Охотске. Турпан – это морская утка, величиною покрупнее дворовой, перо черное, зоб и живот серые, широкий черный нос. Эту утку мне никогда не случалось видеть в продолжение года, а потому не слыхал и не знаю, где ее гнезды. Только на западном берегу Охотского моря эта утка является один раз в год к устьям рек, в Камчатке; в океане она неизвестна. В июле турпан линяет так, что летать не может, утка в великом множестве со-

бирается в море, против устьев рек, из которых выносит червей, икру, траву и проч., что и служит ей пищею.

Для ловли турпанов избирается самый тихий день, все жители, имеющие челноки, лодки, с отливом выезжают далеко в море, составляют цепь и, тихо помахивая шестами и веслами, сгруппировывают уток в густое стадо. Утки бойко ныряют, но летать не могут; челны, уменьшая полукруг, не торопясь подгоняют уток к устью реки; в половине прилива быстрота в устье так усиливается, что уток силою [обратного] течения втягивает в реку, челны продолжают свой маневр, подгоняют уток на известные лайды – к острову Булгину и держат стадо крепкою цепью из челнов.

Морской отлив, осушая лайды, оставляет уток на суше. Являются со всего селения женщины на лайду, у каждой женщины толстый ремень, сажень пять длиною, на одном конце которого толстый узел, а на другом конце ремня прикреплено плоское и немного кривое шило. Охота состоит в том, что женщина, поймав турпана, сквозь нижнюю губу прокалывает шилом в рот и опускает турпана по ремню, утка задерживается узлом ремня.

Женщины приходят в страшный азарт, крик, беготня! Польза от охоты сама по себе; но не малый двигатель – хвастовство выказать проворство, ловкость; часто я видел удобство юбки, которая ловко закрывает утку. Смотря со стороны, нельзя не заметить, как ловкие кавалеры, будто нечаянно, помогают Аннушке, но в то же время, имея причины мстить Машеньке, злодей подкрадывается к узлу ремня Маши, ловко отрезывает узел, все турпаны, съезжая с ремня, получают свободу.

Машенька, в азарте, долго не замечает коварства, но, увидав, приходит в ужас, сыпятся проклятия на виновного. От Аннушки благодарный взгляд, а от Машеньки взгляд полный ненависти идут безошибочно по назначению. И в той стороне сердце такой же властитель, как... как хотя в цивилизованном Петербурге. Начинается прилив, охоте конец. Машенька и другие несчастливые в слезы. С удачной охотой торжествуют.

Лососина и турпаны накормили команду до удовольствия! Турпаны очень невкусны, сильно пахнут рыбой, но матросы любят эту жирную утку. Рыбу посолили, а турпанов вычистили, но в перьях; иллюминировали бриг: по нокам рей, пертам, штагам – везде развесили птиц.

Сдавши груз без расписки, по неимению грамотного, при тихом зюйде вступил под паруса. В губе мы много видели китов. Выйдя из губы и направляясь к Тигилю, уже при закате солнца, почти при маловетрии  $1\frac{3}{4}$  узла хода, рев от фонтанов китов слышался кругом; далеко впереди все обратили внимание на необыкновенный бас одного кита. Смотреть вперед! не мудрено наткнуться на бревно, вынесенное из реки, а потому всегда строго соблюдалась эта команда.

С бака кричат: «право на борт!», я не успел спросить, что такое, как бриг получил толчек такой, что мачты качнулись и паруса заполоскало!

– Что такое?

– Кит, ваше благородие!

Вдруг порядочный толчек под килем у мидель-шпангоута, и в тот же момент, против правого шкафута, поднялась страшная масса много выше сеток, с этой, стоявшей вертикально массы, стекающая вода с широкой плоскости образовала стеклянную банку. Масса рухнула к носу, толчек под киль, и стала против левого шкафута и так же в стеклянной банке; рухнув опять к носу, легкий толчек под корму. За кормой, видимо, животное гневалось, все слышали, будто, ворчание, большого фонтана не было; но движения за кормой были необыкновенны, он точно крутился на одном месте, и быстро к нему подошли два кита, они крутились, точно совершали танец.

Подул ветерок, бриг забрал ход, и киты отстали. Все эти толчки, с поднятием из воды, продолжались не более полминуты, кит так близко поднимался и особенно против левого

борта, казалось, легко достать рукою. Но что это было? Матрос, смотревший вперед, рассказал: «мы на баке только что толковали о замолкшем ревуне, как вдруг из глубины всплыл огромный кит близко перед носом и лег поперек курса, я и закричал: право на борт. Бриг ударил кита форштевнем в самую середину». Хотя ход был  $1\frac{3}{4}$  узла, но, вероятно, этому громадному жиряку достался порядочный синяк. Что же кит делал после, толкая бриг? Либо злился, либо принял бриг за самку, кто его знает!

Сделаю одно замечание. В разное время, вероятно, я видал более 1 000 китов; но никогда не видал, чтобы живой кит выставил голову из воды; голова кита не снабжена орудием для защиты или нападения, страшная сила этого громадного животного – в ударе хвостом! Теперь был единственный и исключительный случай, что кит поднимался из воды головою и даже становился вертикально, точно хотел рассмотреть предмет. Однажды мелькнула у меня мысль, что если б кит, потеряв равновесие, или по чувству злости, вместо падения параллельно бригу к носу, да упал бы на бриг? Много видя китов мертвых на берегу, я знал, что он зацепиться ничем не мог, конечно, переломал бы сетки и все, что попало под него, бриг от такой тяжести накренился бы и кит свалился бы. Может быть, если б кит догадался и своим страшным ластом напал на руль – пожалуй, мог бы наделать хлопот.

Прекрасная погода, тихие попутные ветры, хотя медленно, но подвинули бриг, и я увидел вершину высокого Тигильского мыса и к зюйд-осту – другой мыс (забыл название), который очень неверно положен на карте, но опасный далекими рифами. Далеко, почти по курсу, видна была какая-то движущаяся масса на поверхности, вблизи [же это] оказался умирающий громадный кит, фонтана уже не пускал, движения его были беспорядочны, видимо было желание опуститься на глубину; он бился ластами, усиленно ворочался – ясно, кит страдал в последней агонии! Может быть, кит давно умирал, жизненность такого организма должна долго бороться с смертью.

Ветер засвежел, по расчету, как было в Тауйске, это время было начало прилива. Тигильский мыс был недалеко, можно было предполагать, что ветер и течение выкинут кита около Тигильского мыса. Придя как раз к полному приливу, я не останавливаясь, по створам вошел в устье реки Тигиля. Бричишко сидел, помнится, 6 фут, такая глубина и без прилива найдется. У реки Тигиля один из суточных приливов имел маниху как в Архангельске; маниху в Тигиле можно объяснить тем, что как раз против устья Тигиля находятся два больших залива: Гижигский и Пенжинский; одновременный отлив из этих двух заливов подпирает воду в Тигиле и поддерживает маниху\*.

Дожидающие приходящего судна казаки, когда узнали об умирающем ките, отправились на другой день к мысу Тигильскому и, действительно, нашли кита, занесенного между камней, но уже лисицы, соболи, волки успели полакомиться. Дали знать недалеким камчадалам. Казалось, что делать с китом в жаркое время? посуды нет, а потому топить жир нельзя; но вот что делали жители: вырубали жир огромными кубами, стороны куба обжаривали на огне, так что волокна, прижариваясь, стягивались и делали наружную кору. Выкапывали глубокую яму, укладывали кубы жира, закрывали дерном, потом камнями и поверху пускали воду родника. Говорят, этим способом очень хорошо сохраняется жир. Забыл теперь обмер кита, оживает в памяти цифра 87 фут, но не ручаюсь, а толщина

---

\* В вершине Двинского залива величина прилива почти вдвое меньше, чем при входе в него. Значительный приток речной воды обуславливает превышение времени роста над временем падения почти на 1 ч. Во многих районах залива иногда плавный ход подъема уровня воды при приливах нарушается и примерно около середины прилива наступает либо замедление подъема, либо временная остановка уровня на одной высоте, а иногда и падение его на короткое время, после чего подъем уровня снова продолжается с прежней скоростью до момента полной воды. Продолжительность этого явления, называемого манихой, доходит иногда до 1 ч. – Из лоции Белого моря



– просто гора! Говорили, что у кита не было языка, уверяли, что все выкидываемые киты всегда без языка.

Итак, поход в безызвестную экспедицию кончен; поход был самой приятной прогулкой; ни одного тумана, ни одного шторма; постоянно ясная погода, тихие брамсельные ветры, мало штилей; дни длинные, ночи короткие; тепло и почти жарко, вот так бы плавать, матросы об этом походе выражались – в такой погоде и умирать не надо! Но всегда ли бывают такие походы? Ох, не всегда! Может быть, придется рассказать и о другого сорта походах.

Охотское море – тот же Тихий океан, большая широта, сыро, холодно, густые и продолжительные туманы, частые штормы. Выйдя из Охотска, нет ни одного убежища, нет ни одного острова, нет спокойного залива, нет надежды на малейшую помощь, одна надежда на самого себя! Снабжение от порта, по необходимости, самое бедное, – на нет и суда нет. Сами суда топорной работы с возможно худыми качествами; один, без грамотного помощника, без фельдшера даже. Надобно довольно русской смелости отправиться с улыбкою в бурный Тихий океан, в позднюю осень! Вот почему и характеризовали матросы рассказанный поход, что и умирать не надо! Море пустынно, берега скалисты и недоступны, в море не встретишь корабля, на берегу нет человека. Но эти пустынные страны имеют свою девственную прелесть, там природа – властитель без участия и помехи человека. Воды, воздух полны жизни.

Обращусь к моему походу в безызвестную [экспедицию], он был не без разнообразия, не без интересных приключений; кажется, такое плавание можно совершать с улыбкою, а для капитана – приятная прогулка. Но на практике не так, у капитана есть постоянный червяк, который непрерывно точит его спокойствие, о минутной беспечности не может быть и речи. Все хорошо, благополучно, ветер попутный; но вдруг задует крепкий норд-ост, берег на зюйд-вест близок, длинен, скалистый; капитан обдумывает, что предпринять? У капитана ветры всего компаса и могущие быть последствия постоянно ворочают мозг, и лицо отвыкает от спокойной улыбки.

Кроме того, у капитана постоянный такт – иметь нравственное господствующее влияние над подчиненными. Говорят, чтобы не иметь войны, надобно быть готовым к войне, это же правило может быть приложимо к войне со стихиями. У капитана корабля сотни комбинаций в голове – от могущих быть случайностей, и если он обдумал и нашел лекарство от всяких опасностей, тогда и опасность встречает без суетливости, хладнокровно, без робости. Так вырабатывается особенность характера всех моряков. Капитан не боится могущей наступить опасности, а боится быть застигнутым врасплох и не отвратить. Капитан – весь в будущем.

Итак, я в устье Тигиля. Мне предстояло идти еще 15 верст против течения, там в промине правого берега гавань для моего громадного корабля, там казарма для команды, там магазин для провианта. Боже мой, как я жалею, что в корпусе не учили меня минералогии и не дали знания – отличить крапиву от лопуха. Зная я поверхностно эти науки, сколько бы я мог вам рассказать любопытных вещей. Много видел, много заметил, но все без системы, без силы объяснить и опять на нет и суда нет! Кой-что расскажу не пускаясь в объяснения.

Я стал на якорь у левого мыса устья (правый, левый – по течению реки), от этого мыса морской берег под углом  $90^{\circ}$  поворачивает к весту и состоит из кошки; это намытый морским волнением низменный берег из не крупного камня, обточенного волною с песком и илом. Правый берег от устья идет на норд, каменный утес. Где я стоял, тут упирается в реку неширокая возвышенность, фут 70, 80-ти высоты, точно искусственный вал, он весь состоит из голыша с песком, несомненно – работа когда-то моря.

Об этом и говорить бы нечего, но из обрыва этого вала, футах в 30-ти от подошвы, из самой середины, точно из искусственной круглой трубы, вершков 5 диаметра постоянно,

но тихо вытекает густая, как раствор для щекатурки, синевато-серая глина, не чувствительная на осязание. Эта глина, падая в воду, не растворяется, а разбивается на куски [размером] от кулака до грецкого ореха. Попавши в воду, глина заметно густеет, а с отливом выносятся в море. Я и не обратил бы внимание на текучую глину, но, ходя по кошке, меня поразили все камни – цвета текучей глины, но голыши так тверды, что не брал ножик.

Не будучи гончаром, я кой-как вылепил из глины: блюда, трубку и ночник. Скульптурные эти вещи снес на берег моря, положил в ямку и сделал приток морской воды, а чрез несколько дней нашел мои изделия отвердевшими. Знаю я побольше того, что знал тогда, я объяснил бы, отчего эта глина твердеет в морской воде? Тогда кремнезем, алюминий, кальциевая кислота и проч. было для меня тарабарской грамотой. Под этим валом, отмытым рекою, оказались при убыли воды четыре пня, несомненно, срубленные, но, должно быть (по общему мнению), каменным топором, потому что маленькие зарубки и со всех сторон кругом, а середина сломлена; пни были диаметром до 2 аршин, по слоям тополь; пни на вид черные, гляцевитые. Отломив несколько кусков и высушив – горели ярким пламенем, как лучший голландский уголь. Должно быть, давно рублены, и кто рубил? Когда после того совершился такой переворот! Камчадалы уверяли, что такие деревья могли быть употреблены на баты (челноки).

По рассказам, утесы правого берега от устья много имеют круглых отверстий, в середине которых, как щетки, синие кристаллы, должно быть – аметисты. Камчадалы связывали 2, 3 шеста (сажен 5-ти), и шесты не упирались в отверстиях. Говорили о какой-то до половины высунувшейся каменной гладкой чаше, полной синих кристаллов, но я сам не имел случая осмотреть.

Турпанов около Тигиля не бывает, мои матросы задали бал казакам, хотя свежей рыбы можно ловить сколько угодно, но привезенная из Тауйска соленая была лакомством для казаков. В Камчатке соль весьма редкая и ценная. В Тауйске рассказывали мне, что там вместо соли употребляется пепел из сожженного дерева, выкинутого морем, и, говорят, рыба хорошо сохраняется.

– Почему вы не варите соли из морской воды?

– Не умеем, да и посуды нет.

Ветер был противный\*, надо было тянуться завозами, жаль было мучить матросов, время не к спеху. Побывал я в горах Тигильского мыса верст на 25-ть. Мыс обрывается скалами в море, кругом кекуры (кекуром в Камчатке называется недалекий надводный камень, а большой камень, между которым и скалой довольно воды, называется отрядом). К зюйду скалы и скалы, внутрь – скалистые горы с пропастями. В этих страшных горах камчадалы охотятся за каменными баранами, которые только в таких недоступных горах и живут.

Случалось мне видеть несколько экземпляров убитых, но целых животных; один баран, самый большой, мог весить до 5 пудов. Наружность его: голова, стан, тонкие ноги – бараньи, копыты, скорее, козлиные, очень малы, крепки и остры, волос – оленя, но только гуще и крепче, но рога, рога до удивления велики и завиты, как у барана, и особенно крепко сидят в черепе; рога не меняются, как у оленя. Животное очень жирно, вкуснее [обычного] бараньего мяса? – я не знаю.

Добывают этих животных очень немного, их искать в неприступных горах, по скалам сопряжено с большим трудом и опасностью. Вот рассказы камчадал. Около отвесных скал бывают выдававшиеся площадки гладкой плиты, которые тут же и показывали мне, шириною местами более, а местами менее аршина, это карниз вертикальной стены, в иных

---

\* Это, конечно, встречный ветер.

местах эти карнизы идут очень далеко и делают повороты вместе со стеною. Карнизы бывают на разной высоте, бывают и на 200 сажен над пропастью. Если камчадал увидит на этом карнизе каменного барана (так их называют), то не задумается пойти по карнизу. Вот нервы!! Если карниз сажен 10, 15-ть высоты, баран, не видя спасения себе, бросается с карниза, падает всегда на рога и, говорят, не было случая, чтобы баран убился, но в этот момент камчадал поражает его пулею, всегда без промаха.

Но вот случай, рассказанный мне тут же. Лет 7 назад собрались камчадалы за баранам, огромный баран стоял на карнизе, по указанию мне, не менее 50-ти сажен от подошвы утеса. Подойти к карнизу была возможность по откосу, не очень крутому, камчадал, называли и имя его, пошел за бараном, который побежал далее по карнизу, камчадал за ним, при повороте утеса камчадал увидал недалеко остановившегося барана: оказалось, карниз кончился, – в этом месте сузился.

Камчадал видит, что баран бежит на него, ружье было за плечом (камчадал стреляет из винтовки и только с сошки), карниз так узок, что разойтись с бараном нельзя. Камчадал присел на корточки, и когда баран подбежал и приостановился, чтобы перепрыгнуть через человека, в этот момент камчадал успел схватить шею барана и повис на нем. В баране, вероятно, было свое чувство самосохранения, как и у камчадала; сильный баран побежал с человеком и вынес его с карниза, камчадал отпустил руки и, невредимый, лежал на земле. За что купил, за то и продаю.

Много я слышал рассказов удивительного присутствия духа этих охотников по призыванию, рассказы происшествий со свидетелями и даже сам бывал свидетелем. У охотников всех наций не переслушаешь чудесных рассказов, а камчадал, как охотник от мягких ногтей до старости, и ничего более как охотник, любит и имеет, что рассказать. Предания необыкновенных случаев долго живут, переходя из поколения в поколение, и служат руководством для начинающего.

Стоявши около утесов, слушая разные рассказы о прогулках по этим страшным карнизам, я и сам не могу пожаловаться на свои нервы: гардемарин, на фрегате *Малом*, был ноковым, спускался вниз головой по фардунам<sup>\*</sup>, но попробовал [тогда] пройти по карнизу – какая-то непреодолимая сила прижала меня к стене вертикального утеса! Карниз был 1¼ аршина шириною, но я не мог пройти и трех шагов, точно прилип к стене утеса, переломить себя не мог, пробовал зажмуриться, чтобы не видеть пропасти, и, зажмурившись, не отделился от утеса! Отошед я попросил, чтобы кто-нибудь из камчадал при мне прошел по карнизу.

– А на что тебе, чача (чача – приветливое, ласковое слово, вероятно, переделанное из тяти, отец)?

– Да так, мне хочется посмотреть.

– Какой ты смешной, чача! Ну, робята, пойдите кто-нибудь.

Ближайший не пошел, а побежал, пока я не вернул. Мои нервы спасовали! На этих скалах указывали мне гнезды царских орлов, которые уносят уже больших ягнят каменных баранов. Действительно, птица очень велика, говорят, у этих орлов нет пера на поверхности головы.

Возвратясь к бригу, надобно было идти в так называемую гавань, идти можно только с приливом. Много лайд; помнится, я шел не более 5 верст в день, с отливом останавливался у низменных островов, они покрыты сплошь разными ягодами, морошка, голубица, черника, шикша, княжника (мамюра). Эти ягоды растут на травяных стеблях близко к земле, один только невысокий кустарник – жимолость с прекрасными ягодами, подобно маленьким гроздьям винограда. Этой ягоды я не видал в России, а потому скажу о ней не-

---

\* Фардун – морская снасть стоячего такелажа, которая держит стеньги и брам-стеньги сзади, от кормы.

сколько слов: ягода продолговатая, величиною с средний крыжевник, черная с синеватым налетом, как на черной сливе, кожа тонкая, семечки очень мелки, вкусом сладко-кисловатая, очень приятная. Кустарник – человеку по плечо. Чтобы выразить как много ягод – после обеда я отправлялся на остров, без выбора ложился на землю и, вместо десерта, ел ягоду, описывая круг своим телом, и не съедал всех ягод, хотя я и до сего времени порядочный лакомка. Там не говорят «брать ягоду», а говорят «бить ягоду».

Гуляя по лайдам, я собрал порядочную коллекцию окаменелостей, некоторые довольно замечательны, например: вершка полтора кусок шиповника с бутонем и двумя лепестками цветка, прильнувшими к сучку, и все окаменело; куски окаменелого соснового дерева, это замечательно тем, что по западную сторону Среднекамчатского хребта не растет ни одного смолистого дерева, кроме кедрового кустарника. Два куса, с крупную сливу, черного янтаря, округленных водою; небольшие куски ископаемого угля и проч. Где месторождение всего этого никто не знает, никто не интересуется!

Завел свой корабль в промоину, укрепил на зимовку, сдал груз, устроил хозяйство команды и отправился в крепость Тигиль, а это 35 верст по реке Тигилю.

Не сказал я самого главного; не сказал, что со мною на бриге были 6 собак. Это зачем? Как бы вам отвечать – человек так создан, что во всех случаях жизни ищет какого-нибудь развлечения, удовольствия; заключенный в тюрьме старается приласкать мышь, даже паука, а залетевшую птичку встречает как небесную гостью. Камчатка, конечно, не тюрьма, жизнь, полная свободы, да эта свобода не имеет никакой цены, – для умственного занятия нет пищи, книг, кроме астрономии да таблиц в пособие вычислениям, нет, почта приходит один раз в год (сухим путем), и то один раз почту и почталиона нашли в Парампольском доле после растаявшего снега; общества никакого.

Камчатка, конечно, не тюрьма, но нравственное одиночное заключение. Езда на собаках – главное, если не единственное развлечение. Я был первый ездок, собак моих знала вся Камчатка. Бывало, въезжая в Острожек (деревня), дети бежали и ласкали мою передовую Чернышку. Счастливый случай помог мне подобрать такую великолепную санку (5 собак). Расстаться с такими собаками – лишение, ничем не вознаградимое для жизни в Камчатке; собрать другую подобную санку собак можно причислить к невозможности; после этого вы поймете, что я не мог расстаться с такими собаками. О щегольской езде на собаках объяснится не раз в продолжение рассказа.

Наконец, я в крепости Тигиле. Может быть, явится вопрос: большая ли крепость? Какой системы? Сколько пушек? Велик ли гарнизон? и проч. На все вопросы отвечаю: крепости никакой нет, да, кажется, никогда и не было, о пушках и понятия не имеют. Живут себе мирно десять казаков с урядником. Так почему же называется – крепость? А потому, что в Тигиле есть комендант, он так и титулуется официально. Можно продолжить вопросы: так зачем же там комендант, казаки? Вот этого я до сих пор не понял! Если мне объяснят, зачем казаки в Тауйске, Ямске, тогда я объясню, зачем комендант в Тигиле. Однажды я сделал этот вопрос начальнику в Охотске, он отвечал мне: так! Этот же ответ приходится и к тигильской крепости с комендантом – так! Да мало ли на свете делается так!

Тигиль на правом берегу реки Тигиля, берег обрывом сажени в две. В Тигиле есть деревянная церковь, священник с дьячком, есть больница, которою заправляет фельдшер, хотя с изъянцем – без носа, но все-таки лечит от всех болезней. Есть купец 2-й гильдии [Ворошилов], два отставных матроса, из ссыльных цыган – единственный кузнец и музыкант; все лица имеют собственные дома, по правде, настоящий-то дом у купца, да у коменданта, и небольшой домик, в три окна, для командира брига, остальные – домишки, – вот и весь Тигиль.

Купец – аристократ Тигиля, он даже не носил кухлянки, а всегда в длинном сюртуке и даже в сапогах! Семья его состояла: из жены, двух зрелых дочерей (девиц) и двух сыно-

вей 12-13 лет. Сам купец лет под 60, но еще здоровый. Этот купец считался ученейшим, да и сам о себе думал так, говорил книжным языком прошлого столетия и всегда о чем-нибудь мудреном, не забыл я несколько его объяснений мне в наставительном и хвастливом тоне: «антиподы не падают с Земли, как мухи на деревянном шаре, одни будут наверху, а другие внизу». Я не противоречил, но посмотрел на его ноги, не имеет ли он крючков. Еще поучал, как дикие ловят китов:

– Приготовит дикий два круглых деревянных клина, с молотком отправляется к киту, и как кит высунет голову, дикий взбирается на кита, одним клином заколачивает одно отверстие [– ноздрю], кит ныряет, дикий держится на ките за клин, а как кит высунет голову, дикий заколачивает другое отверстие, и кит задыхается.

Много бы мог рассказать подобных вещей, которыми поучил меня мудрейший в Тигиле, но поберегу для себя. Когда случалось что-нибудь рассказывать, купец, после каждого периода, имел привычку повторять: «так тому и быть должно».

Комендант, капитан-лейтенант О..., одним выпуском старше меня, холостой. Ну, этот был далеко попроще купца. Он вышел из корпуса если не с союзом, то в союзном десятке. Союзным десятком назывался последний десяток оттого, что последний писался и такой-то. Моего коменданта имя было Андрей, весь Кронштадт называл его Андрюля.

Он был вполне добрый простак, человек, от темени до пяток, материальный, природа наделила его веселонравием и замечательным басом, которым он владел прекрасно. Любимое его занятие – петь хором; он, как регент, собрал хор порядочных голосов и управлял мастерски. Помню, как у него хорошо выходило: «калязинский монастырь, недалеко от Москвы, хорош, пригож, прекрасен суть». Начинали дисканты, первое слово повторяли тенора, тоже слово подхватывали и повторяли басы, дисканты продолжали не останавливаясь. Можно думать – выходила порядочная какофония, но издали слышался перезвон колоколов на колокольне, и, право, странно, но недурно.

Это пение могло продолжаться без конца. Комендант знал все народные песни того времени, и плясовые и нежные, конечно, не была забыта разбойничья лодка на Волге; атаманом, разумеется, сам комендант. Еще страсть у него была – танцевать: русскую, метелицу, хлопушку; танцевал он с увлечением, с азартом! В пении, танцах он был воистину комендант! Тут он был строг, это было дело службы! Когда он управляет хором, он точно совершает акт святой обязанности, тогда он неумолимый жрец! Дурное исполнение огорчало его! Танцевал он без улыбки, его глаз, голос не допускали малейшего беспорядка. Комендант всегда с сожалением говорил, что не мог устроить экосеса и особенно, идеал танцев – матредур, так и не достиг своего желанья, не мог побороть препятствий; дамы и кавалеры постоянно путали [фигуры], но, главное, не мог выучить цыгана, а он только один и был владелец скрипки, правда, скрипка с шелковыми струнами. Бывало, комендант напеваает, а музыканта выходит русская или метелица или восьмерка, так и бросил! С комендантом можно было говорить о пении, о танцах и о собаках. Вот и все нравственные развлечения в Тигиле! Отнимите потеху езды на собаках, можно бы спиться или с ума сойти; – современная страсть к самоубийству тогда не была в моде.

Как бы ни был забавен мой комендант, но он антипатически не любил никаких напитков, всегда трезвый, веселый, очень добрый, правда, уж очень прост, мы с ним ладили и жили очень дружно. Я нашел хорошо обделанный огород для меня и особый для команды, правда, в огороды там принято одно растение – картофель, другого ничего не сажалось, да и не знали о существовании других растений, после скажу, отчего не хлопотали о других огородных растениях. Картофель родился на девственной земле – невероятно многоплодно, сказочно! При моем доме был амбар; я нашел его полным сушеной лосося, это подарок любезной заботливости коменданта, продовольствие моих собак обеспечено.

Не могу промолчать о доме коменданта, дом в гармонии с характером чудака. Дом строил сам комендант, дом большой по-тамошнему, сажень в 7 длины и 5 ширины, симметрия отсутствовала, внутри не было ни одной капитальной стены, только передвижные перегородки, которые и образовали комнаты; случалось несколько раз, что не бывши неделю, приходишь и думаешь идти в зал, очутишься в спальне, а где [была] спальня, там уже гостиная и проч. Комендант гордился своею изобретательностью, а удивлением моим потешался как ребенок.

### **Воспоминания старого моряка, Э.**

*Сборник морских статей и рассказов. Ежемесячное прибавление морской газеты «Яхта», февраль 1878 г.*

Следуя рассказу, надобно сделать и описания нашей одежды: кухлянка – это мужская одежда, парка – женская. Кухлянку не наденет женщина, парку не наденет мужчина – неприлично, не принято! Кухлянка – это рубашка из двойного меха, так называемых оленьих выпоротков, или только что родившихся, одна рубашка вверх, а другая – внутрь мехом; сзади, где следовало быть воротнику, пришит, тоже из двойного меха, мешок, который свободно надевается на голову. Кухлянка не длиннее коленей и всегда подпоясана. Парка тоже из оленьей кожи, но не из выпоротков, а из выростков, т.е. из кожи годовалого оленя; парка всегда внутрь шерстью, а кожа выкрашена в красный цвет – ольхой. Парка не достает до пола вершка два и ни в коем случае не подпоясывается. Вместо куколя стоячий воротник, шерстью наверх. Выделка кож превосходная, моя кухлянка была не более 3 фунтов [веса].

У выпоротков шерсть чрезвычайно нежна, всегда полукудрявая, для меня, как щеголя, выпоротки подбирались совершенно одного цвета, темно-гнедого, подол, вершка два ширины, обшит лосиной, вышитой разноцветными шелками, узор незатейливый, маленькими квадратиками, гладью, без соблюдения гармонии цветов шелка. Край подола обшит всегда неширокой полосой меха выдры. Парка имеет стоячий воротник из выдры, на груди прорезь как у рубашки, тоже обшита выдрой, в ладонь шириною, подол опушен соболем. Летом мы носили суконные брюки, а жители: мужчины – панталоны из рогдуги (лосина без шерсти), женщины, зимою и летом, – шаровары из рогдуги. Зимою мы и все носили шаровары из выростка шерстью внутрь, окрашенные ольхой.

Домашняя обувь, как у мужчин, так и у женщин – ичиги (ботинки) из толстой мягкой люиньи с подошвою кожи лахтака<sup>\*</sup>; ичиги внизу икры обвязываются мягким ремнем, и там маленькая нога и красиво обвязанный ремень для женщины красота. Дома женщины покрывают голову платком, а мужчина, выходя на улицу, если без шапки, то покрывает голову куколем. В дорогу оба пола надевают малахай – это меховая шапка, с поднятыми лопастями, для закрытия щек в непогоду.

Кухлянка и ичиги – это домашняя одежда, а в дорогу надевается сверху кухлянка посolidнее, да в запасе для пурги еще кухлянка из кож каменных баранов. Вместо ичигов – торбасы, это, выше колен, мягкие сапоги из кож, снятых с ног оленей, шерстью наверх, но волос к низу. Волос жесткий и так плотно прилегает, что снег не держится на обуви. Торбасы подвязываются как ичиги и под коленкой. Подошвы из лахтака, стельки в торбасы из травы шелковника. Вся одежда легка, свободна, тепла. Летом народ носит камлею, это тоже покроя кухлянки из продымленной ровдуги<sup>\*\*</sup>, такая лосина не боится мокроты. Мужчина всегда подпоясан, у каждого на поясе нож в ножнах и огниво с трупом в мешочке.

---

<sup>\*</sup> Лахтак – ластоногое животное семейства настоящих тюленей; то же, что морской заяц.

<sup>\*\*</sup> Замша из оленьей или лосиной шкуры.

Мне показалось, что в такой обстановке я могу одичать, а чтобы хотя не отвыкнуть одеваться, я положил себе непременно, раз или два в неделю, надевать вицмундир и церемонно проводить вечер у купца, которому это очень льстило; с купцом мы беседовали об ученых предметах, и многое я узнал о старине. Барышни, в хорошеньких парках, появлялись и исчезали, без слов и речей; одна из них, старшая была очень недурна. Комендант иногда являлся в кухлянке и хохотал, громко говоря: на кой чорт я наряжаюсь, точно по службе к начальству.

Кстати, расскажу, какие были последствия от моих визитов купцу. На другой год купец был со мною в Охотске и со мною возвратился; я, верный себе, продолжил свои визиты. В одно из посещений я был неожиданно поражен: выходят девицы в ситцевых платьях! но, о ужас! никогда не видевши платьев, они стянули шнурком платья около шеи, и – без пояса, явились движущимися пирамидами! Много было нужно самообладания, чтобы не расхохотаться. По-тогдашнему, платья были модные, по пунцовому ситцу были разбросаны желтые цветочки, кайма по подолу в  $\frac{1}{4}$  аршина желтая, с голубыми цветками, купец выписал готовые платья из Иркутска. Говоря справедливо, барышни были правы, подпоясать парку – это было бы крайнее невежество, быть притчею, они считали неприличным подпоясывать и платья.

Выход из затруднения был один, я вынужден был принять на себя обязанность горничной. В лавке купца нашлись ленты голубого цвета, дошло дело и до полукорсетиков, я же был и парикмахер, надобно было выучить прилично ходить, что было не без труда. Мои барышни очень жаловались на стеснение, даже жаловались, что и дышать трудно, но девушки и там девушки, для наряда нет непобедимых затруднений! Другие платья были ярко-желтые, с пунцовыми цветками и с пунцовой каймой по подолу.

На первой вечерке (бал) у коменданта, когда явились мои барышни в полном наряде, на все общество нашел столбняк! Невиданное и неслыханное щегольство, роскошь! Мы с комендантом танцевали по очереди с сестрами, я был в сюртуке, и, заметно, коменданту было неловко в кухлянке. Докончу тем, что мой комендант года через два женился на старшей. Мне приятно засвидетельствовать, что он был предобрый муж и отец, а она была скромная, любящая жена и заботливая мать и хозяйка; они были совершенно счастливы.

Обращусь к жизни Тигиля. Мой домик – первый с низу реки, последний – больница, на середине и на берегу – дом купца; недалеко и подальше от берега – дом коменданта, еще далее от берега – церковь. Улицу составляют домики казаков, за их огородами поднимается гора, называемая «Красная сопка», но это не сопка, а просто гора немного более 1 000 фут, с красной глиной в обрывах. К моему домику подходит близко терраса горы, фут в 50, с этой террасы вид очень хорош. Тигиль – река без островов, шириною около 150 сажень и, как все русские реки, имеет правый берег гористый, а левый – луговой, глубиною 10 фут. Течения – до 3 узлов.

Луговая сторона, это степь на весьма далекое пространство, в Камчатке всякое ровное пространство без леса – называется тундра, тундрочка, хотя бы это было на вершине горы в 6 тысяч фут. С моей террасы видна река верст на 20 против течения, виден на восток Среднекамчатский хребет и через него – вершина Ключевской сопки, которая в те годы горела. Из-под дома купца, из подошвы берега выходит богатая жила колчедана, которая блестит, как золото, мой добрый комендант очень был разочарован, когда это его золото перекалилось в горне цыгана. В горе я находил в обрывах много кристаллов, прозрачных, полупрозрачных, не крупных, вершка полтора, но всегда шестисторонней призмой. Определить – познания мои в минералогии отказались.

Из растений одно обратило мое внимание, это красивое деревцо не выше  $1\frac{1}{2}$  аршина, лист его блестящий, очень похож на лист камелии, только еще плотнее и толще, как цве-

тет – не знаю, фрукт совершенно круглый, темно-пунцовый, величиною с хорошую вишню, кожа – очень тонкая, семечки очень мелки, очень сочный. Я спросил, едят ли этот фрукт? Отвечали:

– Нет, – с усмешкою.

– Что же он, вреден?

– Вреда нет, – и опять усмешка.

Я откусил половину ягоды, сладковатая, без аромата, не понравилась. Но что было после со мною? Явилась неутомимая жажда, я пил без конца, чувствовал потребность пить ведрами, кажется, выпил бы реку! Со мною пришел молодой русский прикащик с товарами, я обманул его, показывая, что ем ягоду, и предложил ему одну. С ним была жажда так велика, что испугала меня, но вредных последствий – никаких. Вот бы предложить англичанам заменить стручки кайенского перца, остались бы довольны, не достало бы вина!

Церковь в Тигиле новая, деревянная, старая не так давно сгорела. Купец по этому случаю рассказал следующее. Церковь загорелась внутри, около полдня, зимою. У купца в это время было несколько коряков. Так как церковь была близко к дому купца, то, понятно, произошла суматоха в доме, бегали, суетились, спасая из дома и из лавки. Старик, родоначальник коряков, не понимал суеты – пожара в юртах не бывает. С трудом объяснили ему, какие могут быть несчастные последствия. Коряк только спросил: так надобно, чтобы огонь не вышел из церкви? Серьезно и шепча, обошел церковь, вблизи церкви был голбчик над могилою\* какого-то штурмана (кажется, Гаврилова). Коряк сел на деревянную доску, покрывающую могилу, что-то шептал. Огонь крутился внутри церкви, пламя не вышло даже из окон, так церковь обугленная рухнула внутрь, тогда коряк выпил водки и уехал. Кого я ни спрашивал, все повторили мне рассказ купца, а в том числе и священник. Памятник на могиле штурмана, на котором сидел коряк, я видел; хотя он был близко церкви, на нем не было и пятнышка от пожара. За что купил, за то и продаю.

Собирались девушки и женщины за ягодами, пошел и я с ними. И при этом случае наслушался чудес, хотя и готов утверждать справедливость рассказов, ведь не могут же все в один голос лгать. Например, не далее как прошлой осенью десяток женщин собралось за ягодами, места ягодных тундр все знают, пришли на тундру, видят, медведь ест ягоду, а известно, что медведь выбирает самые крупные и густые ягоды. Женщины шли смело к медведю, одна казачка лет 35-ти отделилась от всех с туеском (берестяный бурак) в руке, подошла к медведю, окликнула его, потому что медведь ест всегда зажмурясь, не окликнувши можно испугать, и он может броситься: «го, го, го, товарищ, убирайся!» Медведь поднял голову, рявкнул, фыркнул и пошел прочь. Общая вера в Камчатке, что если медведь не ранен и не рассержен, то никогда не нападет на человека, может быть оттого, что медведи всегда сыты в Камчатке.

Женщины отогнали медведя, но он оплатил им. У женщин [имеются] сплетенные из травы, очень красивые коши, которые они носят за плечами как ранец, в коих помещается ягод от 1½ до 2 пудов\*\*. Всякая женщина делает себе воронку из бересты, которая узким концом надевается на большой палец правой руки. Ягода растет семействами и не мешается, например, черника с морошкой или с голубицею, но так густо, что укрывает землю. Левою рукой подставляется кош, а правой, воронкою, просто сгребают ягоду в кош, что и называется бить ягоду. Довольно набравши, относят в кусты и каждая насыпает свою кучу. При этом способе бить ягоду она собирается с сором листов, веток и проч. Насыпавши большие кучи в кустах, собираются и веют ягоду, но в тот раз, когда прогнали медведя, он оплатил женщинам, подкрался сзади кустов, вероятно, покушал всласть готовой ягоды, а

---

\* Голбец (голбчик) говорится иногда и вместо голубец, могильный памятник избушкой. – Из Толкового словаря Даля

\*\* Слово кошель произошло от – кош и означает складную корзину, плетеный или вязаный кулек, короб.



остальные кучи ягод размял, разворочал и ушел. Задали же ему женщины ругань! Когда я ходил с женщинами, медведя не было, и все обошлось благополучно.

Пришло время запастись сарину, эта луковица заменяет камчадалам хлеб. Сарина, мне толковали по Линнею, лилиевидное растение V класса, не знаю, правда ли. Растение вершка три от земли, небольшая, но очень красивая лилия (если помню), ярко-желтая с красными полосками и черной серединкой. Ею усыпаны поля (очень красива для газона), луковица зубчатая, не больше хорошего лесного ореха, очень мучниста, немного сладковата и очень питательна, особенно вкусна с жареной уткой, но и просто сваренная в воде – тоже очень вкусна.

Запастись сарину – обязанность женщин. Бывает худой год и год хороший; худой – когда мыши куда-то откочевывают из Камчатки, хороший – когда мыши, откуда-то появляясь, поселяются оседло. В худой год женщина крючком выкапывает луковки, хотя их и много и растут довольно часто, но работа медленная и довольно трудная. В хороший год женщина избавлена от этого труда, она делает запас гуртом, разоряя [норы] полевых мышей. Полевых мышей я никогда не видал в домах ни одной, полагаю оттого, что в каждом доме живут горностаи, это природные враги и истребители мышей.

Мышей полевых чрезвычайно много, они живут семьями и делают замечательные норы. Много наслушался я рассказов о мышах. В каждом гнезде два рода мышей, благородные и работники: благородная мышь – серенькая, с острой мордочкой, с живыми черными глазками, хвост длинный и тонкий. Работники немного меньше, почти черного цвета, конец рыльца тупой, подобно свиному, и только половина хвоста, точно отрубленная. Обязанность работников: выкапывать норы, стлать постели и делать запасы; работники великие трусы, при малейшей тревоге разбегаются. Благородные мыши только нежатся и кушают готовое, но они храбры, защищают гнездо, сражаются и храбро умирают. Осень, поздно, гнездо разорено, запасы ограблены, ни одного нового гнезда, ни новых запасов – успеть сделать нельзя; несчастье предстоит всему роду гнезда – голодная смерть! Мать семейства, от предстоящей гибели придя в отчаяние – вешается!

Нельзя не удивляться страсти камчадал наблюдать и изучать до подробностей жизнь, привычки, характер зверей и птиц, для европейца много любопытного; при случае поделюсь и расскажу, что сохранила моя память. Сентябрь; женщины собрались разорять мышей и запастись сарину, конечно, я не мог отказать себе, хотя частью, поверить рассказы о мышах. Каждая женщина имела кош за плечами, каждая имела копыцецо с костяным острым концом.

– Это зачем?

– Мыши кусают ноги, мы закалываем их.

– А больно кусают?

– До крови.

– Так они злые?

– Презлющие!

Были у всех лопатки, это для поднятия дерна над гнездом. Дни стояли ясные, я присоединился к партии женщин. Пошли через Красную сопку, гора на горе, долины, ручьи, горы покрыты лиственным лесом. Пройдя верст 6, пришли в красивую долину, маленький ручей посередине, по ту сторону ручья было много холмов, вышиною от 2 до 3 сажень, каждый холм стоял отдельно; женщины указали мне, что в этих холмах много мышинных нор. Поход наш не был скучен, женщины постоянно пели хором, голоса необыкновенно высоки, не визгливы, приятный, свободный, грудной звук переливался, если без искусства, то и без принуждения. Знатоки и любители говорили мне, что голоса у камчадалок довольно завидного свойства и что это в природе их.

На вопрос мой, как находят они гнезда мышей? отвечали: мы привыкли, слышим под пяtkою сквозь дерн; женщины все были босиком. Я просил позвать меня к первой большой норе и без меня не открывать. Первая большая нора была почти на вершине пологого холма, мне показали несколько ходов в нору, что называли отпорками. Черные мыши разбежались; а серенькие тревожно, с писком бегали кругом.

Подняли осторожно дерн, я увидел довольно большое пространство (относительно мыши), хотя неправильное, но выстланное сухою травкою, сухим мхом, перьями, шерстью; показали 6, 7 мест, заметно, где лежали мыши – это и называли зало. Из этой общей спальни было несколько ходов, некоторые из них вели в амбары. Это небольшие норы, помнится, их было 5, все почти полные сарины, луковицы были замечательно чисты, не только без земли, но и без пыли, уложены правильными рядами и так плотно, что из середины трудно было вынуть луковку, в одном – начать класть новый ряд. В углу норы указали мне на небольшую норку, полную кривых корешков, это были корешки лютика (цикута), что и называли аптекою мышей. Из этой норы женщина взяла сарины около 25, 30 фунтов. Все норы различались только величиною, вероятно, по количеству семьи.

Слышу, одна девушка вскрикнула, я к ней, оказалось, что мышь укусила ей ногу почти в пол икры, кровь струилась по ноге, кожа была прокушена в двух местах. Несколько серых мышей я видел заколотых, а многие пищали и бегали кругом. Одна молодая женщина зовет меня, указывает, что мышь повесилась. Я видел низкий березовый кустик, в расщелинке одной веточки мышка положила шейку и повисла, я вынул ее, но она была уже мертва. Я тщательно осмотрел ее, но не оказалось ни одной ранки. Как вешалась мышь, я не видал, но не имею причины думать, чтобы кто-нибудь убил и повесил, камчадалы самый честный и искренний народ.

Самый большой враг мышей, это горностаи; он ни запасов, ни нор не делает, он по призванию разбойник. Летом пищи довольно, но пришла зима, горностаи делают набег на мышиную нору, отпорки очень малы, у горностаи голова по размеру очень велика и в отпорок не проходит, земля крепко замерзла, горностаи начинают разгрызать узенький канал, достаточный только для прохода маленькой мыши, на защиту отпорка являются благородные мыши, начинается борьба бессилия с силой. Мыши кусают голову горностаи и иногда так удачно, что горностаи окровавленный ретируется. Но чаще горностаи пробиваются в нору, не ушедших мышей передушит и делается хозяином норы и всех запасов. Это рассказывал мне не один камчадал. Можно сделать вопрос: да кто же наблюдал?

Зная камчадал, уверяю, что если камчадал случайно наткнется на особенный случай нравов зверей, птиц, он забудет об охоте и будет следить за малейшими подробностями и потом, мало того, что расскажет, если можно, то по возможности передразнит. В моем рассказе встретится едва вероятное, но бывши свидетелем расскажу. К 3-м часам пополудни коши были полны сариной, полагаю, каждый кош был весом до двух пудов. Отправились домой невзирая на порядочную тяжесть для сил женщины и путь по горам, развесялая, звонкая плясовая песня отдавалась эхом, для меня была приятная прогулка. Пробовал я разжалобить женщин, представляя им несчастную судьбу разоренных мышей, мне отвечали хладнокровно: ничего, чача, их все поедят лисицы, и лисицам надобно чем жить.

Камчадалы отличные хлебосолы, хотя не имеют ни хлеба, ни соли. Один раз подаю мне жареную дикуую утку с картофелем, но я тотчас заметил, что это не картофель – очень нежен, особенно сладковато-вкусен. На вопрос: какой это картофель? отвечали: это кимчига. Рассказали, что кимчига растет в лесистых долинах и пошли рассказы, как кимчигу любят медведи и проч. ...В Тигиле, при обилии сарины и картофеля, кимчиги не копали. По просьбе моей два казака и несколько женщин отправились со мною за кимчигой. Шли по горам верст 8, 10, неширокая долина заросла толсто зеленым мхом, можно безопасно

броситься как на пуховик. Мох повсеместно пестрел беленькими цветочками на тоненьком стебельке с прильнувшими тремя узенькими листиками, растение не выше 2½ вершков с бедным крестообразным, в 4 лепестка цветком (не более полевой гвоздики), это-то и есть кимчига.

В одном углу долины видели развороченный мох – это работа медведя. Не под каждым цветком корнеплодная овощь, под иными нет ничего, под другими – с орех, но сам я нашел полную семью кимчиги, близко цветка было 3 плода, величиною поболее вершка, далее с грецкий орех, еще далее – еще меньше и, наконец, не крупнее гороха. Все плоды соединены тоненькими как нитки корешками. Наружный вид этого корнеплода ни цветом, ни наружным видом, даже тяжестью и плотностью не отличается от картофеля, кожа его очень тонка, когда его жарят, то он, по нежности, делается плоским и чрезвычайно вкусен. Судя по растению, можно думать, что корнеплод этот многолетний, а по рассказам, его можно находить во все времена года. Думаю, что кимчига плодится не так как картофель, а, вероятно, от семян, потому что клубни кимчиги не имеют глазков как на картофеле.

У жителей лососины в разных видах заготовлено *до удовольствия*; картофеля, сарины, разных ягод – все много, зима не страшна<sup>\*</sup>, вечера стали длинны, начались вечерки за вечерками, комендант пропасть имел хлопот по части увеселительной. С окончанием зимнего пути езжалых собак отпускают на волю, многие из них уходят к морю, ловят сонных маленьких тюленей, питаются разными выкидышами из моря; другие при устьях небольших речек ловят рыбу. В октябре все собаки приходят домой; замечательно, пропавших не бывает. Собаки возвращаются до последней степени жирными и к езде неспособными, их, обыкновенно, вымаривают.

К концу октября река стала, снег выпал еще ранее, главная забота – запас дров на зиму. В ноябре зимний путь установился. Река Тигиль течет довольно прямо от оста к весту, вершина ее в Среднекамчатском хребте, от Тигиля верст 120, на середине этого расстояния, на той же реке только один острожек (деревня) Сединка, от вершины реки до Сединки река называется Сединка, а ниже до устья – Тигиль. Хотя и странно, два названия одной реке, но народ привык. Река Тигиль, как все значительные русские реки, имеет правый берег гористый, а левый плоский, луговой. Пища в Тигиле летом очень однообразна, много превосходной рыбы, но [только] рыба и рыба таким важным людям как мы с комендантом надоедает до отвращения; только дикая птица да редко дикий олень разнообразили стол.

С зимним путем весь народ стал толковать о коряках, с прикочевкою которых соединялась мысль о жирных оленях. Все казаки говорят на языке коряков, но один старый казак, по призванию – лингвист, диалекты камчадальский и корякский знал до тонкости, порусски говорил замечательно правильно, и говорил не только складно, но красноречиво. Это был от природы очень умный человек. Он знал до подробностей верования, народные обычаи, условные церемонии и народные учтивости коряков. Ожидая знакомства с дикими номадами<sup>\*\*</sup>, не желая быть невежею и не оскорбить ненамеренно, этот умный старичек читал мне лекцию, и спасибо ему!

В Камчатке отдельная гора и горка – сопка и сопочка, длинная гора и горка – хребет и хребтик, равнина, хотя бы была на вершине горы, тундра. Вся луговая сторона Тигиля называется тундра. Места, от создания не тронутые человеком, заросли мохом, на толстом слое которого растет сплошной мох, известный у нас под названием исландского. Последний мох и составляет естественную пищу оленя.

---

\* В.А. Черных относит этот период к зиме 1826–27 года.

\*\* Номады – кочевые, бродячие племена, скотоводы; противопоставляются племенам звероловов, оседлым, земледельческим.

В декабре, как по телеграфу, прошел слух, что от оста идет юрта Юмгичина, этот небогатый коряк, имел 3, 4 тысячи оленей. Наконец, через камчадал получено известие, что через день юрта будет верстах в 60 от Тигиля.

Комендант повелел – в экспедицию! Он с тремя казаками, я на великолепных своих собаках, русский прикащик и грузовая моя нарта, так собрался нас порядочный кортеж. День морозный, но ясный, отправились рано; на моей нарте поместился мой старик-переводчик. Описаний, рисунков езды на собаках очень много, но все это описано, нарисовано зауряд, не зная тонкости дела. Ничего не читал я, чем бы остался доволен.

Прежде всего, должен сказать, что Камчатка – классическая страна езды на собаках. Гижига, Охотск – тоже ездят на собаках, но эта езда не более, как бедное подражание. Модам Парижа подражают везде, но Париж все-таки законодатель мод для всего мира. Так и Камчатка всегда будет оригиналом: щегольства, удобства, быстроты езды на собаках; другие местности только жалкие подражатели. Высшая порода собак для езды, несомненно, принадлежит Камчатке; как знаток отличит арабскую чистокровную лошадь, так я в Охотске узнаю породистую собаку, вывезенную из Камчатки. В Камчатке собака известной породы для езды воспитывается с первого дня рождения.

Из описаний вы знаете, что все езжалые собаки – кастраты. Пока и довольно, разве нужно напомнить санку и нарту. Санка, это щегольский экипаж, для одного, это вроде беговых дрожек на бегах, легко, крепко, красиво; санка похожа на седло, – запрягается не более 5 собак. Нарта, это низенькие длинные сани, в нарте возится всякий груз; запрягается от 8 до 10 собак; можно возить от 30 до 40 пудов. Я заговорился, пора ехать, комендант присылал уже, но что делать, должен еще сказать несколько слов.

Санка уложена, в нее укладывается до 5 пудов разных дорожных вещей, все покрывается отличным, пушистым медведем, санка крепко привязывается к крыльцу. Собаки запряжены: в корне у санки две загривки, черные с белыми шеями, это сильные, но не имеют рыси, скакуны. Две собаки на переди, черное с белым, сильные, горячие, иноходцы. Знаменитый Чернышка впереди, это арабский конь по складу и отличный рысак! Собака веселая, умная, с тонким чутьем и послушная.

Доложили – готово! только ногу на крыльцо, собаки на дыбах, горячее нетерпение выражают тонким лаем, лапами роют снег и горячо дышат, ожидая командного слова. Хозяин самодовольно серьезен, ему подали оштол; это надежная палка, загнутая и окованная в нижнем конце; оштол, упертый в снег перед копылом, заменяет тормоз\*. Усевшись: приказ – отвязать санку! Ха! Надобно употребить силу, задерживая бешеный порыв собак; при малейшей неловкости можно вылететь из санки. Не удержав первый, пылкий бег собак, собаки на первых трех верстах обессилят, загорят. Сохраня первый бешеный порыв и доведя до бойкой рыси, собаки бегут скоро и долго без усталости.

Еще накануне наезжена дорога через реку и по кустам до тундры, а на тундре снег всегда тверд. Комендант закричал мне, что он поехал, собаки унесли его вихрем, он не знал сноровки сберечь собак, я догнал его верстах в 5-ти, он позабавился над моими собаками и хвастал своими. Его собаки уже высунули языки, я мог бы обогнать его, но это оскорбило бы его до дна сердца. Собрались все; тундра – как море! Часа в три поднялся ветер, сильнее и сильнее со снегом – большая пурга! проехали, должно быть, около 35 верст, но куда ехать далее? Зги не видать!

---

\* «Собаки в цуговой упряжке управляются главным образом голосом; хороший вожак превосходно исполняет несложные условные приказы. Торможение производится короткой толстой палкой (оштол, торил) с острым концом, которую втыкают на ходу впереди нарты между головками полозьев или сбоку под нарту впереди второго копыла и удерживают за петлю, прикрепленную к головке». – Из Интернета

Посланные на лыжах казаки сказали, что недалеко в овраге густой тальник (верба), мы там и расположились закусывать и пить чай. Зашел спор, где восход солнца? каждый указывал в свою сторону. Комендант приказал: каждый должен воткнуть оштол в предполагаемую сторону восхода, что все и исполнили. С полночи пурга затихла, выяснено, взошло солнце, и все оказались правы! Дело в том, что каждый зашел к своему оштолу с противоположной стороны восходу – все удивились! Мой комендант так и не разгадал этого мудреного фокуса.

Выехав из долины на тундру – опять море. Увидели черную точку на горизонте, опытные сказали – это юрта, полагаю, было верст 10 и более до юрты. Приехали, ни одного человека вне юрты – своего рода этикет. Мой старик научил меня не входить в юрту без приглашения; нарушить это – значит, не уметь жить, быть невежею и оскорбить родоначальника. Комендант мой – командир везде и всякую минуту командир! Он отдал санкю казакам и прямо пошел в юрту, приглашал меня, но я послушал старика и остался при санкю. В юрте совершенная тишина, старик объяснил [этот] холодный прием коменданту.

Юрта, это правильный конус, забыл обмер, но велик и высок; основание конуса – длинные жерди, они обтянуты выделанными кожами оленя, шерстью наверх, кроме вершины – для дыма. Низкая дверь на юг завешена кожей. Против двери, сажень в 7-ми, параллельно окружности юрты, обставлены большие, широкие и высокие сани, закрытые кожами как брезентом, с какою-то кладью. Это походные амбары, в них хранится то имущество, которое не употребляется ежедневно. Сани эти называются «аргыши». Чем больше аргышей при юрте, тем богаче юрта; у этой юрты было 9 аргышей. [Пространство] между юртой и аргышами имело вид огороженного двора. Из юрты кликнули знакомых казаков. Переводчик объяснил мне – собирают сведения о моей особе.

Прошло более 5-ти минут, вышел из юрты старик-родоначальник Юмгичин. Вместо всякого приветствия, подсел близко ко мне и добрым голосом сказал: «ты приехал?». Надобно заметить, в диалекте коряк нет слов: здравствуй, прощай; эти слова заменяются: «я приехал» или «я уехал». Родоначальник занял меня разговором, конечно, через переводчика, ни один коряк не знает и одного слова по-русски. Долго не приглашал меня в юрту; я спросил моего старика о причине, он ответил: погоди, хочет принять парадно. Парадный прием состоял в том, что женщина вынесла несколько горевших головешек, положила вне юрты, над этим огнем зарезала молодую собаку, кишкою из собаки обложила кругом двери в юрту, в дверях положила две дымящиеся головешки, на которые была пролита кровь собаки.

Тогда только родоначальник пригласил меня в юрту, в которую я не мог попасть, не перешагнув чрез головешки и над кишкою собаки. Дверь низка, надобно порядочно согнуться. Переводчик объяснил, что зарезанная собака – это жертва духу дружбы, согласия. Переходя через головешки и над кишкою, всякое зло, дурное расположение я оставляю за юртою и вхожу другом. Родоначальник сказал в юрте: это капитан – гость и друг наш. Коряки, кто сидел, кто лежал, так и остались, но я увидел на всех лицах улыбку, тогда только начался общий разговор.

Осмотревшись, я нашел юрту внутри довольно просторною, шагов около 25-ти диаметра, в центре огонь, на треножнике медный котел ведер в 15, внутренность котла нелуженая, красная медь, окисляясь, горела как жар; в котле целый день варится оленьё мясо, нарубленное кусками около фунта. Таких котлов я не видал в продаже, Юмгичин отвечал мне, что этот котел от дедов. Около котла – очередная женщина, немытая, грязная, нечесаная, в засаленной, грязной одежде. Старик мой объяснил мне, что женщины намеренно грязны, чтобы избавить мужей от ревности, и я констатирую, что корятки вполне достигают своей цели!

Дым уходит в открытую вершину юрты, и [поэтому] не дымно. Внутри около стены юрты устроены из оленьих кож четырехугольные низкие полога, шириною в 2½ шага, длиною до 4-х аршин, полог около полога, это спальни женатых коряк; днем пола полога поднята и там вечно занята работою неутомимая хозяйка полога. Против двери на диаметр – полог родоначальника. В юрте свободно бегают собаки.

Корятки, кажется, не улыбаются всю свою жизнь, я не видал смеющейся. Корятки всегда серьезны, суровы, но добры, услужливы и необыкновенно трудолюбивы: увидеть корятку без дела мне не случилось. Как родоначальник был сух с комендантом, так со мною был разговорчив; вопрос ко мне: «что ты будешь есть?». Этот вопрос означил особенную приязнь и внимание; обыкновенный порядок в юрте – приезжий сам подходит к котлу, стряпка достает железным крючком мясо и подает. Всякий может жить неделю и более, никто не обратит внимания. Отвечать Юмгичину была порядочная задача для меня. Видя варившееся мясо в медном окисленном котле, я боялся отравиться, и тут еще эта ужасная стряпуха – мне казалось противным.

Для коряка большое оскорбление, если он заметит, что гость брезгает, не в моем характере сделать неприятность дикарю, я попросил сварить олений язык, это очень деликатный кусок. Кроме отличного вкуса я имел в расчете, что язык покрыт особой кожей, которую я сниму, следовательно, избавлюсь от [следов] прикосновения прекрасных ручек стряпухи. Из аргышей принесен язык, сварен в общем котле и положен на новое корытце, очень тонко и красиво сделанное. Как-то зазевалась стряпуха, подкралась собака, схватила язык и [у]бежала.

Стряпуха бросилась за собакой с железным крючком, долго бегала [за ней], но, вижу, несет язык с налипшим всяким сором и что-то говорит. Переводчик объяснил мне, что стряпуха, очищая своими ручками сор с языка, говорит: насилу отняла! разве я для тебя, негодная, готовила, это для капитана. С этими словами положила на корытце и сказала внушительно: на, ешь скорей, а то опять унесет собака. На [оленьем] языке в нескольких местах значились собачьи зубы. Обтереть язык, слупить верхнюю кожицу нетрудно, но по непривычке – есть из рта собаки неприятно, но этот предрассудок скоро уничтожается. Главное – есть необходимо, чтобы не оскорбить хозяев. Хозяин гостеприимен, не спускает глаз с каждого куска, желая знать, нравится ли?

В другой приезд я попросил сырого мозга из задних ног оленя, этот сырой мозг с хлебом вкуснее лучшего сливочного масла, даже нельзя сравнивать. Попросил и думаю: тут уже нельзя пачкать. Мозгу добыли много, родоначальник, желая поразить меня своим богатством, достал из аргыша небольшой медный таз и, положив в него мозг, торжественно подал мне. Но что это был за таз? престарый с десятком заплат и запаек, помятый, может быть, десяток лет нечищенный, весь покрыт окислом меди, зеленый, как лучшая ярь. Воображение назначало многолетнее употребление этого сосуда, но что прикажете делать, предлагает[ся] дружба и уважение, надобно есть мозги! Хорошо, что их было много, выбирая куски из середины, можно было не касаться стен таза.

*(Продолжение будет).\**

#### ***Е.Н. Мухина Человек толпы***

*Из предисловия к книге: Э.И. Стогов. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М.: Индрик, 2003*

В начале 1878 г. редактор журнала «Русская старина» Михаил Иванович Семевский получил от никому до той поры не известного Эразма Ивановича Стогова письмо. Стогов упрекал редактора за задержку публикации «Записок» И.С. Жиркевича, остановившейся на самом интересном для него времени – времени их совместной службы в Симбирске; торопил с публикацией обещанных

---

\* Продолжение «Воспоминаний» последовало уже в «Русской Старине». – Примеч. М.И. Классона

редакцией «Записок» декабриста Михаила Бестужева – «Миша Бестужев мой корпусной товарищ; гардемаринами мы дрались на дуэли»; и, наконец, предлагал собственный очерк о быте ссыльно-каторжных в Охотском солевом заводе, написанный на основе личных воспоминаний:

*Если годится – напечатайте, не годится – бросьте. Если годится и вы пожелаете продолжения, то напишите, я найду свободное время и могу рассказать вам несколько эпизодов из быта ссыльно-каторжных и моих столкновений с ними... Хотите, я кой-что расскажу вам о Сперанском в Иркутске? С Г.С. Батенковым я был тогда очень дружен. Я был действующим лицом в 1832 году, когда архиепископ бунтовал против генерал-губернатора Лавинского.*

Обещанные сюжеты и то, что новый корреспондент неплохо владел пером, заинтересовали редакцию, и вскоре Стогов стал активным сотрудником журнала. В 1878-1879 гг. в «Русской старине» появились восемь глав его «Очерков, рассказов и воспоминаний», охватывающих период с конца 1810-х гг. (с момента отъезда Стогова на службу в Сибирь и на Камчатку) до конца 1830-х (ухода из Корпуса жандармов и перевода в Киев). Первые главы автор подписывал «Э...ъ С.....въ». Но после того как в конце 1878 г. в журнале были опубликованы рассказ Стогова о службе в Симбирске в качестве жандармского штаб-офицера и воспоминания И.С. Жиркевича, назвавшего фамилию этого штаб-офицера, забота о сохранении анонимности в дальнейшем становилась бессмысленной. Следующие главы, появившиеся в январском номере журнала за 1879 г., он подписал уже полным именем: «Эразм Стогов».

М.И. Семевский был известен не только тем, что старательно выискивал в провинциальных и семейных архивах интересные материалы для публикации, но и тем, что побуждал людей, много видевших и переживших, к написанию мемуаров. Уступая его неоднократным просьбам, Стогов взялся за написание своей автобиографии, но завершить работу над рукописью для редакции не успел – умер в сентябре 1880 г. Рукопись, в которой рассказывалось о его семье, детстве и годах учебы, была доведена до окончания им Морского кадетского корпуса в 1817 г. и обрывалась буквально на полуслове: «*Чтобы не забыть, пришел я из Охотска...*» Эта часть воспоминаний была прислана в редакцию дочерью мемуариста и опубликована в десятом номере «Русской старины» за 1886 г. под заголовком «Посмертные записки».

Впоследствии выяснилось, что существовал еще один вариант воспоминаний, хранившийся в семье. В отличие от прежде опубликованного варианта, в котором хронологическая последовательность жизнеописания Стогова не соблюдалась и каждая глава могла восприниматься как самостоятельный очерк, здесь события описывались последовательно, начиная с момента рождения автора (1797 г.) и кончая завершением его службы в Киеве в начале 1850-х гг. Кроме того, в нем раскрывались фамилии многих действующих лиц, первоначально обозначенные лишь одной буквой: «Z» – Загряжский, «M» – Маслов и т. д. Новый редактор «Русской старины» – Н.Ф. Дубровин, – отметив существенное сходство обоих вариантов, счел целесообразным опубликовать в 1903 г. и второй вариант, пояснив, что в нем имеются некоторые интересные и важные для характеристики описываемой эпохи подробности. При этом, как отмечает современный исследователь В.А. Черных, он подверг текст «семейной» версии некоторым сокращениям. Очевидно, во избежание новых протестов со стороны получивших в «Записках» нелестные оценки деятелей редакция рискнула полностью назвать лишь фамилии некоторых второстепенных персонажей.

Так увидели свет два журнальных варианта воспоминаний Э.И. Стогова. Представляют ли они для нас какой-либо интерес? По-моему, несомненный, ибо дают достаточно редкую возможность услышать живой голос «человека толпы» (по меткому замечанию самого мемуариста). Дело здесь не в утолении праздного любопытства. Своеобразие любой исторической эпохи проявляется как в деятельности выдающихся в каком-либо отношении личностей, так и в мировоззрении и поведении многих миллионов их оставшихся в тени современников, чьи имена канули в Лету. Поэтому представление о любой эпохе неизбежно будет упрощенным, схематичным и в конечном счете – искаженным, если мы ограничимся изучением биографий только выдающихся людей. Сможем ли мы понять и оценить хотя бы их, если будем игнорировать их окружение и тем самым создавать вокруг них некое безвоздушное пространство?

Воспоминания Стогова воссоздают перед нами лишнюю схематизма, чрезвычайно яркую и многогранную картину жизни российского дворянства, вовсе не такого монолитного, как порой это представляется. Перед нами проходят люди, различающиеся не только по материальному положению, но по самому образу жизни и мышления: утонченные столичные аристократы, полу-

чившие блестящее европейское образование, и патриархальные мелкопоместные дворяне, только начинающие привыкать к мысли, что их дети (сыновья) должны где-то учиться; увлекающиеся сложными мистическими учениями масоны и верящие в колдунов и чертей их менее образованные собратья по сословию; восстающие против царского деспотизма бунтари-декабристы и люди, видящие в императоре воплощение живого божества. И притом все они не живут изолированно друг от друга, а оказываются тесно связаны многочисленными нитями родственных, соседских, дружеских, служебных связей и, несмотря на резкие различия, сознанием принадлежности к общей корпорации.

Воспоминания Стогова дают нам также ценную возможность на его примере составить представление о личности рядового жандармского офицера эпохи Николая I. Хотя общепризнано, что высший орган политической полиции – III отделение Собственной Е.И.В. канцелярии и приданный ему Корпус жандармов были ярчайшими символами этого царствования, низовое звено этих учреждений, обеспечивающее связь между монархом и подданными, до сих пор оставалось в тени. Не уделив внимания взглядам и деятельности Стогова и его коллег, мы не получим полного представления ни о сути николаевской системы, ни о ее социальных корнях.

Прежде чем предоставить слово самому Эразму Ивановичу, стоит в нескольких словах очертить контуры его биографии, тем более что, по его собственному признанию, с хронологией у него дело обстоит не очень благополучно и некоторые моменты нуждаются в уточнении.

Эразм Иванович Стогов родился 24 февраля 1797 года, в день поминаения святого Еразма – черноризца и схимника Печерского, что, видимо, и определило выбор набожными родителями столь «необщепотребительного» (по выражению М.М. Сперанского) имени для своего первенца.

Первые годы жизни Эразма прошли в подмосковном имении Золотилово среди многочисленной родни, большей частью таких же мелкопоместных дворян, как и его родители. Хотя речь идет не об отдаленном захолустье, надо признать, что за сто лет, прошедших со времени петровских преобразований, быт и нравы этой среды изменились мало, они оставались патриархальными и похожи на быт и нравы крестьян, отличаясь от последних лишь чуть большим материальным достатком и сознанием благородства своего происхождения.

А в остальном – та же непоколебимая и искренняя вера в Бога, в их сознании естественно сочетаясь с пережитками языческих представлений, то же безоговорочное признание авторитета «старшего» в семье, которым в зависимости от конкретных обстоятельств мог быть отец, тесть, муж, старший брат. «Старшему» безоговорочно подчинялись; за ним признавали право «вразумлять» провинившихся членов семьи посредством физического воздействия, которое, впрочем, не вызывало обиды и часто сопровождалось выражением благодарности «за науку». Очень характерен в этом отношении рассказ о порке, которой дед мемуариста подверг зятя – отставного офицера, «суворовского сослуживца», отличавшегося к тому же крутым нравом. В детских воспоминаниях Стогова таких эпизодов немало.

Но уже в раннем детстве Эразм смог увидеть и другой мир – мир, в котором обитали их соседи Бланки, масонское окружение семьи его крестной матери – Т.С. Белого. Здесь даже общались между собой на другом языке – не на русском, а на французском; носили другие одежды; зачитывались не житиями святых, а «Бедной Лизой» Н.М. Карамзина и даже занимались сочинительством (в то время как отец Эразма – Иван Дмитриевич – с большим трудом мог написать обыкновенное письмо); совершенно иначе относились к женщине и т. п. Здесь некоторые проявления неограниченной власти старшего над младшим (подобные демонстрации Иваном Дмитриевичем своей власти над сыном перед семьей Белого) воспринимались как дикость.

Возможности родителей Эразма дать образование сыну были весьма ограниченными и, по признанию самого мемуариста, ему в будущем грозила опасность зачахнуть в должности какого-нибудь писаря уездного суда, но случай – покровительство родственника Ивана Петровича Бунина, служившего в Морском корпусе, – изменил его судьбу. По протекции Бунина Эразма 8 февраля 1810 г. зачислили в Морской кадетский корпус. 13 мая 1814 г. он был произведен в гардемарины, а 1 марта 1817 г. – выпущен из корпуса с присвоением чина мичмана\*.

---

\* Наблюдается разноречивость в датировке тех или иных событий жизни Стогова. Так, например, в «Русской старине» отмечается, что он учился в Морском корпусе в 1807-1813 гг. (1886. № 10. С. 77); также, не называя года поступления в корпус, 1813 годом датирует его окончание В.А. Черных (*Черных В. А. Эразм Стогов и его*



Первые два года службы он провел в плавании: сначала на корабле «Берлин» совершил рейс от Кронштадта до Кале, затем на галете № 8 курсировал между Кронштадтом и Петергофом. В 1819 г. Стогов выразил желание служить в Охотске, куда и был командирован вместе с двумя другими морскими офицерами.

В Сибири Эразм Иванович провел 14 лет – в Европейскую Россию он вернулся только в 1833 г. В течение этого времени он последовательно командовал бригами «Михаил», «Дионисий», «Екатерина», «Камчатка» в Охотском море; дважды повышался в чине: в 1820 г. его произвели в лейтенанты, в 1830 г. – в капитан-лейтенанты и назначили начальником Иркутского адмиралтейства.

После возвращения в Петербург Стогов недолго оставался морским офицером. Он был достаточно честолобив и при этом хорошо понимал, что без связей и средств бедному провинциалу карьеру в столице сделать практически невозможно. Как он признается сам, материальные соображения сыграли далеко не последнюю роль при принятии им решения перейти на службу в формировавшийся Корпус жандармов. 29 октября 1833 г. перевод состоялся, и вскоре Эразм Иванович, стремившийся к тому, чтобы «быть старшим» – хотя бы и в провинции, а «не под командой» – пусть даже и в Петербурге, добился назначения в Симбирскую губернию. 8 января 1834 г. он прибыл к новому месту службы.

В Симбирске Стогов прослужил сравнительно недолго; точную дату его ухода из Корпуса жандармов установить не удалось. С уверенностью можно сказать, что он прослужил здесь до 1837 г.: в «Отчете о действиях Корпуса жандармов за 1837г.» Стогов упоминается среди особо отличившихся штаб-офицеров, но в «Отчете» за 1838 г. в качестве симбирского жандармского штаб-офицера упоминается не он, а его бывший адъютант и преемник – капитан Шишмарев.

Нет необходимости описывать деятельность Стогова в Симбирске – он сам подробно и увлеченно об этом рассказывает, поскольку очень гордится своим званием «нравственного полицейского». Ему не приходит в голову что-либо скрывать, боясь произвести невыгодное впечатление. Наоборот, присущее ему «веселонравие» и бесцеремонность, с которой он нередко вмешивался в частную жизнь посторонних людей, устраивал розыгрыши, побуждали не его, а редакцию «Русской старины» делать купюры, «приглаживая» некоторые эпизоды и опуская, например, чистосердечные признания об использовании личных связей для удаления из Киевской губернии «надоевшего» ему архиерея.

Однако несколько слов о том, насколько Стогов соответствовал ожиданиям высшей власти, возглавившимся на него и его коллег, и о том, какие качества позволили ему стать чрезвычайно характерной для николаевского царствования фигурой, сказать стоит.

В воспоминаниях современников и в трудах историков много говорится о произволе, чинимом жандармами, об их стремлении вмешиваться в дела далекие, казалось бы, от политики. Там же мы встречаем постоянные упоминания о раздражении, неприятии жандармов обществом. Возникают вопросы: во-первых, кто ответствен за произвол – высшие власти или недалекие непосредственные исполнители, неумело и неумно толкующие содержание должностных инструкций? Во-вторых, в чем же все-таки черпало силу III отделение для того, чтобы в течение нескольких десятилетий держать в повиновении всю Россию, если неприятие его населением, действительно, было столь сильным и всеобщим?

Можно согласиться, что произвол жандармов мог отчасти быть связан с тем, что Корпус жандармов набирался из людей, не имевших (как и Стогов) специальной подготовки и потому часто действовавших кто во что горазд. Можно согласиться и с тем, что секретная инструкция, данная А.Х. Бенкендорфом подчиненным (которой они так любили козырять), так же таила в себе возможность произвола из-за чрезвычайно расплывчатых формулировок. Но не это главное. Сама

---

«Записки» // Общественное сознание, книжность и литература периода феодализма. Новосибирск, 1991. С. 334.). В данной статье все даты, относящиеся ко времени службы Стогова на флоте, взяты из официального издания Морского министерства, см.: «Общий морской список». СПб., 1894. Ч. 8. С. 254-255. ГАРФ, ф. 109, оп. 223, д. 3 (Отчеты III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии и Корпуса жандармов с 1837 по 1839 г.). 1837 год как год окончания службы Стогова в Симбирске называет также В.А. Черных (Назв. соч. С. 332). Датировка этого события 1839 годом, приведенная журналом «Русская старина» (1878. № 12. С. 631; 1886. № 10. С. 77) и повторенная в Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (СПб., 1901. Т. 31а. С. 668), представляется неверной. – Примеч. Е.Н. Мухиной

расплывчатость формулировок была не случайна, да и специальная подготовка жандармов при тогдашних представлениях о задачах политического сыска не очень требовалась.

В ту эпоху сознательная оппозиция власти только зарождалась, и власть не всегда могла четко определить, откуда исходит опасность. Почувствовав угрозу подрыва своего могущества, она просто ужесточила контроль за всеми проявлениями жизни всего населения империи, поручив его III отделению.

Представления Стогова о том, что он не только имеет право знать про опекаемых им жителей «своей» губернии «все», но что это является его прямой должностной обязанностью, полностью соответствовали представлению о правильном государственном устройстве самого Николая Павловича. Суть воспоминаний, оставленных современниками об этом императоре, сводилась к одному – он считал, что его власть может и должна распространяться «не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть», что он сам «в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими ушами, все регламентировать по своему разумению».

Жандармские штаб-офицеры как раз и были призваны стать «глазами и ушами» императора в провинции. Стогов как нельзя лучше соответствовал своему назначению. Во-первых, не всякому образованному человеку в середине XIX в. такая служба была по душе. Сохранились, например, воспоминания о том, что даже сам Л.В. Дубельт любил выписывать своим агентам вознаграждения, сумма которых была бы кратной цифре 3 – 30, 300 рублей («в память тридцати сребреников», как пояснял он в кругу знакомых), что явно свидетельствовало об определенном душевном комфорте.

Стогов же считал эту службу своим призванием, она не требовала от него никакого насилия над собой. Во-вторых, на мой взгляд, несмотря ни на что, его можно считать человеком, который служил не ради выгоды (во всяком случае этот мотив не был определяющим), а ради определенной идеи. Да, он был практичен и у него были материальные интересы при переходе в Корпус жандармов (что он и не скрывал); должность жандармского штаб-офицера помогла ему даже подыскать невесту, которая бы его устраивала. Да, он был честолюбив и самолюбив: та же должность позволила ему занять в губернском обществе столь высокое положение, которое не обеспечила бы ни одна другая. Да, ему очень нравилось чувствовать свою силу: к нему за разрешением начать игру в карты обращался сам губернатор, а завзятые картежники по одному его слову «проигрывали обратно» деньги тем лицам, на которые он указывал; он один мог восстановить попорченную справедливость (помирить жениха с невестой, утешить убитого горем отца) и наказать порок (добиться отставки болтливого губернатора, выставив его к тому же на посмешище перед верховной властью в своем отчете «в юмористическом духе»).

Но в первую очередь его поведение на службе определялось не перечисленными мотивами. Главным для него, на мой взгляд, было стремление оправдать оказанное ему доверие монарха, возложившего на него обязанность охранять существующий порядок вещей, который к тому же и монархом, и им самим воспринимался как единственно правильный. Стогов не видел ничего предосудительного в сословных привилегиях дворянства, считая их естественным следствием честной и усердной службы многих поколений предков.

Порядок начала XIX в., с его точки зрения, был намного справедливее того, который он наблюдал в пореформенной России под конец жизни, когда стали цениться деньги, а не «унаследованное от предков честное имя». Он был благодарен правительству, которое в дни его юности не делало различия между дворянами бедными и богатыми, и потому он – «сын дворянской фамилии, служилого рода», сын «честнейшего, но бедного отца» – получил возможность выучиться, стать офицером и заплатить правительству за прежнюю заботу почти 40-летней ревностной службой.

Стогову удалось идеально вписаться в созданную Николаем I систему управления государством, потому что у него с ней было много общего. Николаевская система главной опорой имела не армию или Корпус жандармов, а патриархальный уклад жизни, характерный для подавляющего большинства населения империи. Тот же уклад определил основы мировоззрения и Эразма Ивановича – «человека толпы», «плывущего по течению».

В родительском доме прошла незначительная часть сознательной жизни мемуариста: он покинул его 13-летним подростком и в следующий раз ненадолго заглянул сюда бывалым 36-летним морским офицером. Такая рано прервавшаяся связь с семьей, очевидно, утвердила его в мысли,

что обучение в корпусе и служба принципиально изменили его, сделали непохожим на предков. Несмотря на то, что он сохранил о детстве и ближайших родственниках (кроме отца) самые теплые воспоминания, Эразм Иванович смотрел на патриархальный быт предков как бы со стороны – искренне удивляясь одним проявлениям «старины» и подтрунивая над другими (например, над верой сестренки в возможность материализации черта в доме).

Действительно, чисто внешнее отличие было разительное: он получил достаточно солидное образование; обучился светским манерам (пожалуй, особенно он гордился своим умением танцевать на балах); вырвался из тесных границ родового поместья Золотилова и увидел мир – побывал как у западного (Кале), так и восточного побережья громадного Евразийского материка, дважды пересекал Сибирь (вряд ли многие современники могли похвастаться тем же). Но он явно не осознавал, насколько большую роль в его жизни сыграло именно семейное воспитание – именно в детские годы в его сознание были заложены те мировоззренческие ориентиры, которых он (пусть не всегда осознанно) придерживался в течение всей своей жизни.

От предков к нему перешла искренняя и глубокая вера в Бога, что так ярко проявилось в последние дни его жизни. Образование позволило этой вере очиститься от народных суеверий, отцовского начетничества, стерло мнимое противоречие между нею и наличием в доме таких, например, благ цивилизации, как часы, которые, по представлениям деда мемуариста, якобы оскорбляли Бога.

От предков (частью укрепившись, частью приняв несколько другие формы) к нему перешло признание власти (в его восприятии прежде всего – нравственной) «старшего» в доме; а отсюда следовал естественный вывод о том, что таким «старшим» в доме, именуемом Россией, является император, стоящий на «недосягаемой высоте». Рядом с ним простой смертный (тот же жандармский подполковник) ощущает себя «инфузорией» и воспринимает как величайшую награду брошенную царем в его адрес фразу: «Какой у тебя там шут сидит? Но действует умно». Подданные при приближении монарха превращаются в восторженную безликую толпу, теряют дар речи.

Эразм Иванович не исключение: готовясь к предстоящему визиту Николая I в Симбирск, он «голову наполнил статистикой», чуть ли «не мог отвечать, сколько в губернии тараканов», но не предполагал, что «государи так просто спрашивают». Когда при представлении губернских чиновников Николай спросил: «Сколько лет вы здесь служите?», Стогов, вопреки своей обычной находчивости, растерялся: *«...первая цифра пролетела сквозь голову 8, за ней 80, 800, никак не поймаю мысль... чувствую – кровь приливает к голове, стою и молчу... Государь очень милостиво, с его невыразимо привлекательной улыбкой тихо сказал: «Ну, что же вы молчите? Вы здесь служите три года, я помню вас и доволен вами, продолжайте служить».*

Николаю Павловичу, совмещавшему «в своем лице роль кумира и великого жреца» идеи «самодержавия милостью Божией», такое благоговение импонировало; а вид несущихся на протяжении нескольких верст за его каретой экипажей, рискующих «ежеминутно быть опрокинутыми», «очень забавлял». Таким образом, ни Стогову, ни боготворимому им императору, как и подавляющему большинству их современников, не приходила в голову мысль, что быть монархистом и растворяться, теряя свою личность, в толпе верноподданных – не обязательно одно и то же и что бурная любовь толпы недорого стоит по сравнению с верностью тех, кто готов служить царю и Отечеству, не унижая при этом своей личности.

Вспомнив формулу «служба царю и Отечеству», важно обратить внимание на акценты, которые Эразм Иванович в ней расставлял. Для него она прежде всего означала службу монарху – конкретному (пусть даже и стоящему «на недосягаемой высоте») человеку. Отвлеченные рассуждения о благе Отечества, появившиеся у его более чутких к духу Просвещения современников, ему, по всей видимости, были чужды. Возьмем, к примеру, его разговор со Сперанским в Иркутске в 1819 г. На сделанное Сперанским заключение, что выпускники Морского корпуса, очевидно, являются большими патриотами, он отвечал:

– Да, мы очень любим государя.

– А Россию?

– Да как любить, чего не знаешь; вот я еду более года и все Россия, я и теперь ее не знаю.

Для сравнения любопытно привести мнение по тому же поводу ровесника Стогова – известного государственного деятеля А.М. Горчакова, который никогда не был потрясателем основ государственного устройства, но тем не менее в отличие от автора публикуемых «Записок» был челове-

ком иной формации. Свою заслугу как дипломата он видел в том, что первым «в депешах стал употреблять выражение: "Государь и Россия". До меня, – говорил он, – для Европы не существовало другого понятия по отношению к нашему отечеству, как только "император". Граф Нессельроде даже прямо мне говорил с укоризною, для чего я так делаю. "Мы знаем только одного царя, – говорил мой предместник, – нам дела нет до России».

Скорее всего, Стогов (подобно многим образованным людям своего времени) слышал и об «естественном праве», и об «общественном договоре», но эти отвлеченные теории не затронули ни его сердца, ни его души. Пожалуй, он даже порой симпатизировал тем, кто эти идеи разделял. М.М. Сперанский, Г.С. Батенков вызывали у него, например, гораздо больше симпатий, чем сибирский генерал-губернатор И.Б. Пестель и его ставленник Н.И. Трескин. Но по мышлению, по поведению он все же ближе к последним.

Также не под влиянием достаточно популярных в начале XIX века теорий просветителей сформировалось отношение Эразма Ивановича к праву, а под влиянием семейных традиций. Во-первых, перед ним никогда вообще не вставал начинавший беспокоить некоторых его современников (включая Александра I) вопрос о том, может или не может монарх закон нарушить. Ответ очевиден: воля монарха, естественно направленная на благо России и подданных, сама по себе закон. Во-вторых, у Эразма Ивановича была очень зыбкая граница между писаными законами и неписаными – т. е. традициями, «обычным правом». Как его отец, будучи судьей, судил крестьян прежде всего по справедливости, а не по закону, так впоследствии действовал и он. Сталкиваясь с крестьянскими волнениями, он не следовал слепо формальным требованиям закона и не добивался обязательного наказания виновных по суду.

Дело здесь не в какой-либо особой доброте Стогова (как видно из его воспоминаний, он мог быть очень крут и без наказания (т. е. порки) бунтовщиков не оставлял), а именно в особенностях его правового сознания и приоритетах, т. е. в понимании того, что именно нужно для государственной пользы – восстановление поколебавшегося порядка и возвращение государю его временно заблудших, но преданных подданных или формальное наказание по закону, разрушающее крестьянское хозяйство и плодящее число озлобленных и недовольных. Надо отметить, что при всей типичности Стогова для николаевской России его стремление избегать соблюдения многочисленных бюрократических формальностей и добиваться успешного выполнения поручения, превращая серьезное дело в фарс, – достаточно редкое для чиновничества любой эпохи (а тем более для царствования Николая Павловича) свойство.

Характерная для правосознания Стогова ориентация на справедливость и традиции не менее ярко прослеживается и в его борьбе со взяточничеством. Он не стремится его искоренить как таковое, поскольку по его представлениям это абсолютно нереально (на то и мелкие чиновники, «крапивное семя», чтобы брать взятки); он борется с особенно зарвавшимися судейскими, берущими взятки и от одной, и от другой стороны. Причем вновь предполагается не открытое наказание по закону, а не видимое никому отеческое «объяснение» в тиши кабинета, но такое, «от которого сойдет с головы три мыла».

Действуя в рамках патриархальной традиции, Стогов неосознанно переносит образ «семейных» отношений на подчиненную его надзору губернию. Даже губернаторов – представителей государственной власти – он оценивает в первую очередь не по деловым качествам, а по внеслужебным отношениям, которые складываются между ними и местным дворянским обществом. При нем в Симбирске сменились три губернатора: А.М. Загряжский, И.С. Жиркевич, И.П. Хомутов. И в каждом случае Стогов очень большое внимание уделяет налаживанию контактов между начальниками губернии и дворянами. Загряжскому он подсказывает имена двух главных «оппозиционеров» и советует помириться с ними, чтобы вернуть себе любовь общества.

Сосредоточенность Жиркевича исключительно на делах и нежелание принимать участие в развлечениях местной знати побуждает его аттестовать Жиркевича начальству как человека честного, трудолюбивого, способного управлять тремя губерниями сразу, но – не больше и не меньше – как «вредного» для местного дворянства, которое способно «уважать губернатора, но когда он стоит во главе общества и делит с ним удовольствия». По мнению Стогова, как ни жаль с точки зрения службы, но «необходимо для общей пользы избалованного, но благородно преданного государю дворянства симбирского» сменить губернатора. При приезде нового губернатора возникли те же проблемы...

Из дел, о которых рассказывает Стогов, сравнительно небольшая часть может быть отнесена к делам хотя не всегда политическим, но все же имеющим отношение к охране общественного порядка, например:

– надзор за несколькими сосланными в Симбирск неблагонадежными лицами (причем следует отметить, что отношение к ним у Эразма Ивановича спокойное, а порой сочувственное, как, например, к замешанному в деле декабристов П.И. Мошинскому, которому он старался помочь соединиться с семьей);

– неоднократно возникавшие крестьянские волнения;

– хлопоты по ликвидации раскольникового монастыря на р. Иргиз (правда, здесь он действовал как частное лицо, по личной просьбе князя А.Я. Лобанова-Ростовского);

– борьба с ворами (помимо описанного в «Записках» эпизода, можно вспомнить также о поимке приказчика, сбежавшего с деньгами хозяина).

Пожалуй, значительно больше времени и внимания у Стогова требует опека над симбирским обществом, о частной жизни представителей которого он знает «все». Борясь с лавиной нарастающего революционного движения в начале XX века, отдаленный преемник Стогова только в страшном сне мог бы подумать о том, чтобы, помимо «политики», взвалить на себя еще ответственность за предотвращение обольщения девиц, неповиновение детей родителям, неблагоприятные поступки родственников по делам о наследстве, злоупотребления опекунов и т. д.. Но через высший орган политической полиции, каким являлось III отделение, в эпоху Николая Павловича ежегодно сотнями проходили и такие жалобы, и следовательно, сотрудники III отделения и Корпуса жандармов должны были ими заниматься.

Эразм Иванович этой категорией дел занимался без всякого стеснения, чувствуя себя достаточно могущественным, чтобы порой, следуя личным симпатиям, отойти от должностных инструкций, например, разрешить тайно играть в запрещенные в то время азартные игры в карты, помочь двум гусарам и сбежавшим с ними девицам тайно обвенчаться. Знание семейных секретов могло стать мощным оружием в руках непорядочного человека, но если верить Стогову, то главным его достоинством в этом отношении было то, что он их не разглашал.

В связи с этим следует отметить такую деталь, важную как для характеристики работы жандармского штаб-офицера, так и для оценки достоверности информации, содержащейся в «Записках». Приобретение знания «всего обо всех» могло осуществляться только одним способом, т. е. за счет сбора сплетен и слухов\*. (Очевидно, именно поэтому Эразма Ивановича так пугала перспектива утраты расположения местных дам – «родных друзей», после чего ему, по его собственному признанию, оставалось бы только застрелиться.) Об этом обстоятельстве нужно постоянно помнить, так как сам Стогов не всегда проводит границу между рассказами о том, что видел сам, и тем, что слышал от других.

Чтобы созданная Николаем I система исправно функционировала, необходимы были не только опекавшие население жандармские штаб-офицеры, но и подданные, допускающие подобную опеку над собой. Для того чтобы начать тяготиться такой отеческой опекой, было необходимо почувствовать себя самодостаточной личностью, способной осознанно принимать решения и нести за них ответственность. Такими личностями могли быть не только лица, состоявшие в сознательной оппозиции системе, но с таким же успехом и люди, верой и правдой служившие царю и Отечеству, – достаточно было, чтобы они перестали уподобляться грибоедовским героям, способным унижаться и «жертвовать затылком» для того, чтобы быть «пожалованными высочайшею улыбкой».

---

\* Сбор слухов не являлся отличительной чертой деятельности только Стогова. Руководство III отделения всегда относилось к ним с большим вниманием. В архивных фондах этого учреждения частично сохранились донесения агентов, в которых рассказывается обо всем ими слышанном в дворянских салонах, на улицах, в местах скопления простого народа и т. д. «Штаб-офицеры, – предписывал Бенкендорф, – обязаны мне доносить о всех злоупотреблениях, до них дошедших, и донесения делают свои на слухах, которые они не имеют способа проверять подробным исследованием без предписания начальства, и потому не могут и отвечать за достоверность оных» (Цит. по: *Оржиховский И.В.* Самодержавие против революционной России (1826-1880). М., 1982. С. 48). – Примеч. Е.Н. Мухиной

В нашей исторической литературе практически не уделялось внимания изучению общественных настроений в провинции, а по столичной общественной элите об общественной жизни во всей России в целом судить нельзя. Пребывание Стогова в Симбирске приходится на 30-е гг. XIX в. В это время в столицах существовали литературные салоны, бурно обсуждалось, например, «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, велись споры о путях развития России между будущими западниками и славянофилами, большим потрясением для россиян в начале 1837 г. стала гибель А.С. Пушкина. В воспоминаниях Стогова мы не встретим даже намека на отголоски этих событий. Боготворимое Стоговым симбирское общество проводит время в развлечениях; возмущается поступком губернатора Жиркевича, вытолкнувшего в гневе из своего кабинета проворовавшегося архитектора (а ведь архитектор – местный дворянин!); вступает в конфронтацию с губернатором Хомутовым, жена которого посмела сказать, что симбирское общество мелко для нее. И повод для конфронтации, и форма «протеста» – обструкция, устроенная дворянами Хомутову, весьма показательны для характеристики общества: мало того, что дворяне, сговорившись, не явились на устроенные для них губернатором бал и обед на 70-80 персон, так еще нарочно, дразня губернаторшу, всю ночь мимо ее дома гоняли пустые кареты.

Справедливости ради надо заметить, что портрет симбирского дворянского общества мог получиться не вполне адекватным, поскольку, бесспорно, в выборе сюжетов повествования, оценках ярко проявился менталитет самого автора мемуаров. А ему весельчак Г.В. Бестужев, неслыханно обрадовавшийся возможности, выдав болезнь племянника за свою, на старости лет «показаться молодцом» и раззвонить по всему городу о печальных последствиях своих любовных похождениях, гораздо ближе, чем губернский предводитель М.П. Баратаев. Баратаев упоминается в «Записках» лишь как жертва грязной сплетни, пущенной губернатором Загряжским.

А между тем это был один из очень образованных и интересных людей своего времени, тем более явно заметно выделявшийся среди провинциальных дворян. Он, например, увлекался поэзией, нумизматикой, был знаком со многими видными деятелями русской (А.И. и Н.И. Тургеневыми, И.А. Гончаровым и др.) и грузинской культуры (он происходил из старинного рода грузинских князей, был родственником известного грузинского поэта Н. Бараташвили). Были и другие примеры. Но в целом, очевидно, нет оснований сомневаться в том, что Стогов и обожаемое им симбирское общество идеально подходили друг другу, а потому находили общий язык лучше, чем его коллеги и представители столичной культурной элиты.

Дошедшие до нас официальные материалы III отделения показывают нам, что служба Стогова высоко оценивалась начальством. Его имя неоднократно выделяется среди особо отличившихся штаб-офицеров; и даже отмечается, что в июле 1835 г. его действия при приведении в исполнение сенатского указа об отмежевании помещице Нефедовой земель из владения татар в Сызранском уезде обратили на себя благосклонное внимание императора<sup>\*</sup>.

А в Отчетах А.Х. Бенкендорфа за 1835-1836 гг. на основании отзывов губернатора И.С. Жиркевича и направленного по высочайшему повелению в Симбирск кн. А.Я. Лобанова-Ростовского в связи с крестьянскими волнениями, возникшими при переводе казенных селений в удельное ведомство, он прямо характеризуется как «главнейший участник» событий, проявивший «чрезвычайное усердие» и «особенное благоразумие»<sup>\*\*</sup>.

Но во время упомянутых крестьянских волнений между Стоговым и чиновниками удельного ведомства, которых он называл главными виновниками событий, возник острый конфликт. И в результате, очевидно, в 1837 г. он принял решение о переезде в Киев и уходе из Корпуса жандармов. До 1852 г. он был управляющим канцелярией Киевского генерал-губернатора Д.Г. Бибикова, затем вышел в отставку в чине полковника.

Как уже отмечалось, Стогов был теснейшим образом по службе и по духу связан с царствованием Николая I, и весьма символично, что его выход в отставку совпал с уходом самого императора; символичен и разговор между ними во время их последней встречи в 1850 г. Николай спросил: «– А ты, старый драбант... все еще служишь?»

---

<sup>\*</sup> ГАРФ, ф. 109, оп. 223, д. 2, л. 101 об. (Отчет о действиях чиновников Корпуса жандармов за истекший 1835 год).

<sup>\*\*</sup> Там же, л. 103 об. (тот же отчет); л. 207-207 об. (Отчет<...> за 1836 г.). Датировка В.А. Черных (Указ. соч. С. 332).

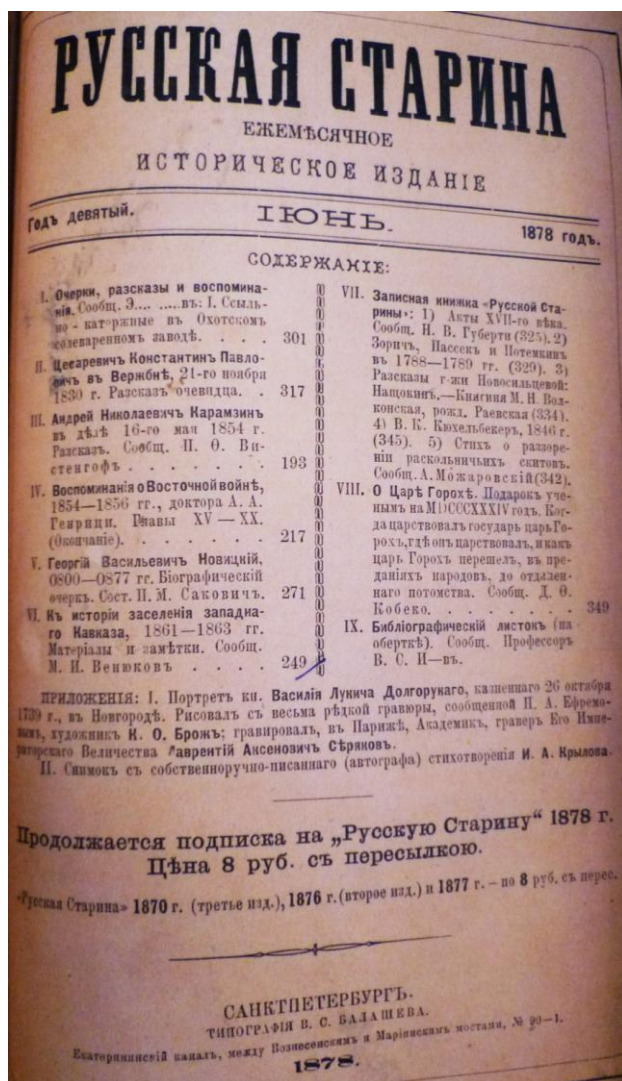
– Устарел, ваше величество, хочу в отставку.

– Погоди, вместе пойдем».

Наступала другая эпоха, за которой Эразм Иванович наблюдал уже как зритель. Последние годы жизни он провел в своем благоприобретенном имении Снитовка Летичевского уезда Подольской губернии, где умер 17 сентября 1880 г. Перед смертью, успокаивая дочь, он говорил: «*Не плачь, Юша, о чем плакать? Ты видишь, я говорю без отчаяния, без горечи, пожил долго и счастливо, благодарю Господа и без ропота пойду, когда Он призывает меня!*».

<...> Текст журнальной публикации 1878-1886 гг. был сверен с хранящимся в ИРЛИ оригиналом\*.

<...>В первом варианте записок имена практически всех упоминаемых лиц были скрыты (и в публикации, и в рукописном оригинале) под начальными буквами фамилий. Во втором опубликованном варианте незначительная часть имен раскрывалась на основе авторской рукописи, поступившей в редакцию в начале XX века. В данной публикации фамилии всех установленных лиц приводятся полностью.



### **Очерки, рассказы и воспоминания Э..... ..ва** **«Русская старина», июнь 1878 г.**

#### **I. Ссылнокаторжные в Охотском солеваренном заводе**

В первой четверти текущего столетия Охотск, Камчатка – были географическими тер-  
минами, но страны – мало или почти неизвестные. Приехав в Охотск в 1818 году, очень

\* ИРЛИ, ф. 265 («Русской старины»), оп. 1, д. 2657-2658.

натурально, я желал обогатить себя познанием края, в котором должен был служить, а следовательно, и жить несколько лет. Знакомство с физическим положением края я предоставил времени, главное – хотелось поймать центр тяжести быта нравственного, а для этого я внимательно слушал рассказы старых людей, не проронил малейших подробностей и, из множества рассказов о прошлом, у меня составилось своеобразное понятие о нравах жителей в настоящее время. Хотя я был морской офицер, но, по недостатку служащих, приходилось исполнять должности всех министерств без разбора. Когда-нибудь расскажу вообще о жизни в том крае, а теперь коснусь солеваренного завода.

20 верст от Охотска на юг, на берегу моря, был солеваренный завод; соль вываривалась из морской воды, работали на заводе ссыльнокаторжные; то были сливки каторжных. Почти все высланы из Нерчинска и из других заводов, как неисправимые и учинившие не одно убийство на заводах. Об этих артистах я более всего наслушался рассказов и старался изучать до тонкости, в чем состоит слабая сторона этих отверженных героев. Они – люди, а потому должны иметь слабости. Мне казалось, я сделал верный вывод из тысячи рассказов. Эти варнаки боготворят смелость. Эти лишенные свободы, вечно в ручных и ножных кандалах – за лишение свободы, по их понятиям, готовы убить лишившего.

Скоро пришлось мне быть в заводе, для какой-то ревизии. Завод построен на ровном месте, насыпанном морем; близко моря стоят варницы, подалее дом управляющего. Между варницами и казармами каторжных – площадь, сажен 100; недалеко и в линию с казармами – караульный дом; унтер-офицер и человек 50 матросов охраняют порядок. Далее от моря, за казармой, около 100 сажен, домиков 20, 30, в которых живут каторжные женатые. Сушня для соли, магазин, кузница, плотничная и, кажется, – все. Каторжных всегда почти одинаковое число, не более 250 человек. По другую сторону от моря – насыпной берег, что принято называть *кошка*, обмывался бесконечными озерами пресной воды с островами – похоже на бывшее русло большой реки.

Рано утром я приказал приготовить лодку, выбрать трех варнаков и назначить в гребцы: двое в веслах, третий на руле; отправились. Я был неплохой стрелок, разной птицы – великое множество, настрелял я почти половину лодки. Прогулка наша была молча, гребцы ловки, и, видимо, им доставляла удовольствие. Охота увлекла нас очень далеко от завода; в полдень я приказал пристать к песчаному островку, на котором росла одна ива. Конечно, в гребцы я мог взять матросов – а молодечество?! я тогда был моложе чем теперь.

Чтобы продлить молодечество, я притворился уставшим, приказал гребцам брать птицы сколько хотят, развести костер и жарить, а сам под ивой лег спать, завернувшись в шинель. Не нужно и уверять, что я и не думал спать. На островке довольно было наносного леса: запылал большой костер; гребцы молча принялись щипать перья, жарить птиц, как опытные – видно, были не новички в бивачной жизни. Птицы жарились, воткнутые на палочки, а каторжники принялись за разговоры. Меня очень интересовал разговор таких субъектов, уверенных, что беседа их без свидетелей.

Разговор их состоял из рассказов смелого мошенничества, ловкого воровства, грабежа на глазах трусливой толпы и, с особенным увлечением, об увертливости от полиции и тонком расчете обмана последней. Мои гребцы съели громадное количество, преимущественно, жирных уток, огромный гусь оказался сырым. Ели и говорили: в рассказах их наполовину лжи, хвастовства; смелость, ловкость заслуживали похвалу.

После трапезы разговор обратился ко мне; один говорит:

– Вишь ты, как спокойно спит, по лицу видно – честный.

Другой:

– Кабы не честный, не заснул бы, ведь мы варнаки.

Третий:



– Одно слово сказать – пресная душа!

Который-то прибавил:

– На такого и в лесу не поднялась бы рука.

Много похвал в таком роде. Я потянулся, зевнул, проснулся. Получил благодарность, и поехали домой. Вздумалось мне спросить:

– Не думает ли кто бежать?

Молчат. Я сказал, что спрашиваю по секрету. Рулевой отозвался, что если разговор по секрету, то почему не сказать правды. Гребец Андрюшка, потупив глаза, сказал тихо: «я хочу бежать».

– Когда?

– Завтра.

– Куда.

– Гулять.

– А что ты будешь есть?

– Я еще зимой, когда рубил дрова, в дупло спрятал: хлеба, крупы, соли.

– Ребята, вы знаете закон: приехавши, я должен вас заковать.

– Знамо дело, сударь, ты закона не переменишь; благодарим и за эту милость, что дал нам погулять.

– Андрюшка, а как же кандалы?

– Кандалы, сударь, царские, я их повешу на дерево.

– Слушай, ребята, я ничего не слыхал и не говорил.

– Знамо дело, секрет и должен быть секретом!

Приехали, гребцов заковали.

Андрюшка – этот был небольшого роста, но могучего сложения; он был в числе девяти бежавших в Китай, где они завоевали много деревень и будто разграбили городок; против них было выслано войско и их взяли в плен. Я слышал, что китайское правительство признало их за людей особой породы – без ноздрей; по требованию выдало в Иркутск, где дали им по 101-му удару кнутом и сослали в Охотск. Я застал только троих. Я мог бы Андрюшку задержать, но он бежал бы после; я промолчал. На другой день, утром получаю рапорт: бежал Андрюшка. Я сделал надлежащее распоряжение о поимке; поимщики возвратились и принесли кандалы, но Андрюшки и след простыл.

В заводе было шесть поляков, с которыми никто не знался. Татары, персияне, немцы и проч. – все составляли одну массу, но все презирали поляков. Имея частые дела на заводе, я из поляков сделал свою тайную полицию. Поляки мне сказали, что сохраненный мною секрет об Андрюшке заслужил мне большое доверие от каторжных: говорили, что я «честный человек» и что со мною можно «дело делать, умею секрет держать».

В чем состояла их страстная любовь к свободе? Они называли *лишением свободы* – если не было жалобы, а начальник взыскивает. Например: урочная работа кончена, до 9-ти часов вечера каторжные холостые могли ходить в домики к женатым. Каторжные тоже люди со страстями и, может быть, сильнейшими, чем мы. У них хранится до 30-ти играль-ных карт, кирпич и уголь дополняет стершиеся знаки; в эти карты копеек на 30 идет азарт-ная игра с бóльшим увлечением, чем у нас на тысячи; между ними есть шулера, поймают плутовство – драка.

К грязным, забитым и изуродованным судьбою женщинам – есть пылающие страстную любовью; бешеная ревность, зависть к предпочтению *красавицы* порождает частые драки и часто партия на партию. Иногда я слышу крик, гвалт, ругательства; но жалоб нет, я не замечаю. В подобном случае попробуй, начальник, без жалобы к нему, взыскивать за драку – берегись! За *лишение свободной минуты* может поплатиться жизнью, бывали и такие случаи.

Полиция мне доносит, что муж поймал Левку; составились партии за и против, драка была отличная и Левке больно досталось. На другой день встречаю Левку на работе – лица нет, весь синий, опухший. В заводе закон: каторжный не имеет права подходить ближе шести шагов к начальству. Я уничтожил этот закон. Встретив Левку, караульному приказал отойти, спросил Левку:

- А что, каналья, досталось тебе вчера?
- Ничего, сударь, и им хорошо попало.
- Поделом тебе!
- Что делать, сударь, дело любовное.
- Ну, смотри, я ничего не знаю.
- Дай Бог здоровья, – и пошел причитывать благодарности.

Если дошла до меня *жалоба*, то, по разборе дела, можно наказать жестоко и злобы нет; говорят: закон затем его и поставил, – не доводи до жалобы!

Я говорил о казарме для холостых, посреди завода. Казарма деревянная, с железными решетками в окнах, у окон и дверей часовые с отпущенными тесаками и заряженными ружьями. Говорят, в казарму эту никогда и никто не входил. Заручившись доверием каторжных, я решил войти в львиную яму; за мною вошли шесть ружейных. Простой расчет, что ружейные защитить меня не могли: удар кандалами по голове – момент, а потому я скомандовал: ружейные вон!

Большая комната, нары в два этажа – полны народа. Я был в форменном сюртуке, в эполетах, но без сабли. На возглас мой: «здорово, ребята!» – поднялся звон кандалов от пола до потолка. Страшное собрание лиц свирепых, искаженных, не нужно быть Лафатером\*, чтобы на каждом лице прочесть: *убийца*. Слезли со всех нар и окружили меня. Я, как важный начальник, спрашивал – нет ли обид? притеснений? Потребовал пробу обеда и подошел к наре; нара оказалась полуживая: и ползали и скакали разные насекомые. Один ловкий варнак (бывший камердинер) принес две доски и, устраивая сиденье, сказал:

– Необразованный народ, каторжные – как есть каторжные! Разве можно барину сесть на нашу нару? – извольте, сударь, присесть.

Поодиночке я этих арестантов всех видал, но в общей массе, без надзора, эта масса лиц, исковерканных страстями, – делает сильное впечатление.

Я должен сказать, что, по управлению в Охотске, я был следователем и я же был презусом военного суда\*\* – обвинял и назначал наказания за проступки (гражданского суда там не было). К справедливости варнаков должно отнести, я знал и даже сам слышал мнение о себе: «он не виноват, не он наказывает – закон, а он обязан исполнить закон честно». Говорилось это искренно, без малейшей злобы.

Перед визитом моим в казарму, за убийство в этой же казарме одним каторжным другого, убийца по моему приговору был наказан кнутом. Убийца назывался *Иван Медянцеv*; он был 44-х лет, вершков 10-ти роста\*\*\*, сухощав, очень правильно сложен, волосы рыжеватые, замечательно силен, гибок, держал себя прямо; хорошо грамотен. Он, из ярославских мещан, за убийство был наказан кнутом и сослан в Нерчинские рудники, там учинил несколько убийств и, как неисправимый, был прислан в Охотск на солеваренный завод.

Разговаривая со многими, я увидал Медянцева с библией в руках; после совершенного убийства он всегда любил читать Библию. Говоря с Медянцевым, я уговаривал его не де-

---

\* Иоганн Каспар Лафатер (1741-1801), швейцарский писатель, богослов и поэт, писал на немецком языке. С 1769 г. стал собирать материалы для «Физиономики», которая вышла в 1772–78 гг.

\*\* Презус – название председателя военного суда до реформы 1867 г.

\*\*\* Раньше рост человека измеряли аршинами и вершками; поскольку он обычно превышал 2 аршина (142,2 см), то последнее опускали и говорили, как в этом примере – 10 вершков роста, т.е. 142,2 + 10 x 4,4 ≈ 186 см.

лать убийств; кроме наказания в будущей жизни, я старался говорить его разуму, внушал, что преступления, могущие быть исправимы, могут быть совершены по неразумию, по слабости человеку свойственной, но, отняв жизнь, ни возвратить жизни, ни исправить преступления – нельзя. Человек, как творение Бога – принадлежит Ему; прощено быть ни здесь, ни там не может и проч.

Медянцева со вздохом отвечал мне:

– Я и сам не рад, вы думаете – весело убить человека?

– Но ты убиваешь и давно ли убил!

– Бывает время, что человек не рад и сам себе, таково лихо делается, что и на свет не глядел бы; на что ни поглядишь, все кажется красным, точно кровь живая; так тоскливо, что рад бы спрятаться куда-нибудь; и без того человек сам не свой, а тут еще досадит какой-нибудь сопляк и сам не помнишь, какхватишь его кандалами по голове, и как увидишь, что убил – как кора какая вдруг спадет с тебя, тоски не стало, красное из глаз прошло, жаль человека, да ничего не поделаешь.

Не от одного Медянцева я слышал в разное время подобный рассказ; если не забуду, расскажу, как в Иркутске благодетельствованный мною ссыльный чуть не убил меня в подобном состоянии. Медянцева играет некоторую роль в мою службу в Охотском краю, а потому рассказ о нем будет некоторым очерком тамошних каторжников.

Как Нерчинск, так и другие заводы, неисправимых каторжных ссылали в Охотск, так и в Охотске находились нетерпимые и неизлечимые убийцы; была принята мера – таких ссылали в Камчатку, где снимали кандалы, не употребляли на работы и позволяли жить как кому угодно. Я много видел подобных субъектов; они делались тихи, кротки, полюбили труды и жили никому не мешая. Каторжные говорили, что 75 верст далее Камчатки – ад крошечный! Медянцева, невзирая на данное мне слово – не убивать, года через три набросился и чуть не убил смотрителя завода. Разумеется, наказали кнутом и назначили к переселению в Камчатку, а до отправления посадили на цепь в караульном доме. Медянцева и тут не унялся; объявляет, что желает сообщить важный секрет. Медянцева прижался к стене, смотритель неосторожно подошел; Медянцева рванулся на цепи, махнул рукою с ножом и разрезал шинель смотрителя. Но на такую безделицу не обратили внимания.

Два брига отправлялись в Петропавловскую гавань, 1820-го года; отчаянных каторжных набралось много; в тот год, почему-то, Иркутск прислал многих прямо в Камчатку. Начальник в Охотске был немец – предобрый, прелюбезный; сам он ничего не делал, а желал, чтобы были все счастливы. Распределяя на оба брига каторжных, самых отчаянных назначал ко мне – предполагая, что я отчаянный храбрец, а по правде, командир другого брига был умен – но весьма не из бойких. Начальник и не заметил, как назначил на мой бриг более чем было у меня команды. Благоразумие требовало объяснить опасность от такого распоряжения – а молодецество, а слава быть смелым, да и подумать показаться трусом – это нравственная смерть! Прекрасная вещь молодость – все трын-трава!

Не нужно бы и говорить, но я скажу, что ко мне попался и Медянцева. Доходили до меня косвенные слухи, что ссыльные шептали – заставить меня идти на теплые острова и проч. Разумеется, я принял возможные меры предосторожности; команда у меня была лихая – тоже ссыльные с других судов матросы – грубияны, драчуны, но это были самые энергические матросы: немного уменья – и были преданы без границ. Объяснил команде, какие будут у нас гости, сделал несколько репетиций; у меня было шесть пушек.

Явились отчаянные варнаки в ручных и ножных кандалах. Простое соображение, что ручные кандалы могут служить орудием [убийства], а притом в кандалах – невозможно работать, праздность и честных людей не доводит до добра, а таких, тревожных, огненных характеров – и подавно. Вышед из порта, верстах в 10-ти, я стал на якорь. Пассажиров моих вызвал наверх, во фронт, сказал им следующий спич.

Указывая на берег, сказал: «вы там были виновны и там очистили вас законы, там Государь, и мы там все повинемся его законам; здесь – я государь и пока вы здесь, должны повиноваться моим законам; когда человек знает законы, то от него зависит, исполняя их, не быть виноватым. Вот вам мои законы; кто бы что ни сделал ненамеренно – Бог простит! Кто же ослушается, оскорбит другого с намерением, тот подвергается наказанию кошками (которые висели на яхте)\* и на двое суток на ванты. За повторенное преступление – кошками, в мешок и на двое суток повесить под гальюн. Если тот же будет виновен в третий раз – кошками, в мешок и за борт! Слышали? Поняли? Кто не понял, спроси меня».

Все отвечали: слышали, поняли. – «А так как вы в моем государстве не виновны, приказал кузнецу расковать всех, а унтер-офицеру – разделить на вахты с матросами». Стал сниматься с якоря, каторжные были поставлены вертеть ворот (шпиль), чтобы не запутался навивающийся на шпиль канат; один варнак был посажен потравлять канат (камфорить). Я стою у шпилья и вижу, при обращении шпилья, Медянцева ногою ударил сидящего. Зная нравы каторжных, я молчал до жалобы. Медянцева обошел 4 раза кругом и всякий раз ногой ударял по сидящему; наконец, обиженный сказал: «ваше благородие, Медянцева – все дерется».

Жалоба, по понятию каторжных, давала право действовать начальнику, как исполнителю законной власти. Власть закона для каторжного – святыня! Каторжный всю жизнь нарушает закон сознательно, но попался, уличен – он покоряется законной каре без ропота. Получа жалобу, я скомандовал: «гал шпиль! ссыльных во фронт!». Суд короткий, свидетели, да Медянцева и не отпирался, но оправдывался тем, что этот варнак нагрубил ему на берегу. Обвинение обставлено было так, что Медянцева должен был сознать себя виновным, а затем последовало условленное наказание – кошками и на ванты. С таким отчаянным собранием из преступников, избранных преступников – снисхождение не имело места; неуклонная твердость только могла покорить эти буйные головы.

Исполнив наказание, я снялся с якоря и пошел в море. Мольбы Медянцева о прощении не должны быть услышаны. Часов через шесть Медянцева начинает реветь: дело в том, что в легкой обуви стоять на тоненьких веревочках (выбленках) очень больно; на приказание молчать Медянцева продолжал кричать; для прекращения приказано: наполнить Медянцеву рот пенькой, а между зубов – палку, которая за концы привязывалась у затылка. Исполнилось двое суток, Медянцева освобожден; на вопрос Медянцева: какое наказание следует за второе преступление? Медянцева долго уверял, что второго преступления не будет, но был вынужден сказать: «кошками, в мешок и под гальюн». Я уверил его в неприкосновенности без вины, но, исполнив первое наказание, будет исполнено и второе.

Прошло с неделю, ночью скрепчал ветер до шторма; я скомандовал: «пошел все наверх». Вахтенный унтер-офицер пошел будить всех подвахтенных, а в том числе и Медянцева; с словом «вставай, наверх» легонько толкнул, чтобы разбудить. Медянцева схватил большой драек и бросил в унтера, но промахнулся. Должно исполнить второе наказание. Из старых парусов были большие сухарные мешки; я тихонько приказал выбрать крепкие и вложить один мешок в другой, наверху сделать отверстие.

---

\* «В реестре наказаний матросов военных флотов прошлого фигурирует забытое в наши дни избиение лямками и плетьюми, которые именовались «кошками». Это плетка из пенькового троса, имевшая от семи до тринадцати косичек, но чаще – девять. Каждая из косичек заканчивалась узлом, на котором было от двух до десяти шлагов. «Кошки» подразделялись на простые и воровские. Последние были более тяжелыми. Ими секли за кражу. В зависимости от проступка, матрос в наказание мог получить от одной до двенадцати дюжин». – Из Интернета

В 8 часов получаю рапорт, выслушал жалобу на Медянцева. «Ссылные наверх, во фронт! свидетели». Медянцев сознал себя виновным. Наказание кошками, и никакие мольбы не остановили – в мешок и под гальюн.

Мешок качается от качки судна, волнением бьет в мешок. Медянцев недолго стонал. Чрез двое суток Медянцева вытряхнули из мешка. Когда он оправился, я снова с вопросом: какое наказание за третье преступление? И когда сказал Медянцев, я твердо уверил его, что исполнив два наказания, исполню и третье. Может последовать вопрос: исполнил ли бы я? Право, не знаю, но может быть – исполнил бы. Мое положение с этими отчаянными преступниками требовало самых твердых мер, чтобы убить буйный дух и страхом удержать порядок и повиновение.

После второго наказания Медянцеву я пробыл в море недели три; ни один каторжный не был наказан, поведение их заслуживало похвалу; работали усердно, выучили названия снастей, парусов – почти сделались матросами, и им нравилась обязанность матроса; видимо щеголяли друг перед другом знанием морской терминологии. Медянцев сделался душою команды, много знал сказок, знал наизусть комедию «Мельник», мало того, сделался отличным брамсельным. Не один раз замечал я, что ссылные затрагивали его насмешками, которых он в другое время не снес бы, а тут – либо не замечал, либо смеялся: всякому своя жизнь дорога!

Сдал я каторжных в Петропавловской гавани, где они получили полную свободу. Я зивомал; встречая Медянцева, всегда получал от него приветствие – отца и благодетеля. Чтобы ознакомить с этими исключительными характерами, буду продолжать рассказ об *Иване Медянцеве*.

В Страстную неделю поста Медянцев, поздно вечером, явился в квартиру купца *Сахарова*; показывая нож, просил рублей 300 денег. Сахаров был один, стал искать свою шкатулку, приблизился к окну: рама ординарная, затянутая пузырем; Сахаров с шкатулкою быстро бросился в окно, рама вылетела, и купец скрылся в темноте.

Медянцев пришел на гауптвахту, бросил на стол нож и смеясь рассказал – какой трус Сахаров, а что он хотел пошутить. Медянцева в кандалы. В Камчатке нет тюрьмы, нет суда, нет палача и нет орудий для наказания. Медянцева отправили в Охотск – в 12 лет это был единственный случай отправления каторжного из Камчатки в Охотск.

Медянцев попал на бриг к Николаю Вуколовичу *Головину*; это был доброго и кроткого характера человек. Медянцев скоро сметил и делал грубости, не ладил со всеми; командир приказал приковать его на палубе к борту. Лишь только выходил командир на палубу, Медянцев тысячу говорил оскорблений и говорил: «какой ты командир, ты баба, вот Разум (Эразм) Иванович – настоящий отец, в обиду не даст, а виноват, так позолота с серег сойдет! Это сама правда на земле» и проч.

В Охотске я же был презусом военного суда, и 23 кнута было награждения преступнику. Из незаметного места я хотел видеть наказание, при котором распоряжался казацкий сотник; наказание производилось перед гостиним двором. После наказания Медянцев обратился к купцам и приказчикам и сказал: «смотреть-то вы смотрите, а чтобы дать по пятитке\* – подлецы, проучу я вас!» Я знаками показал сотнику, тот понял, повалил Медянцева и хорошо наказал его плетьюми. Я обошел так, чтобы встретить Медянцева, – громадный мужчина шел пошатываясь, глаза покрыты туманом, но, встретив и взгляды, узнал меня, упал в ноги, называл отцом, святым человеком и проч., просил поцеловать руку. Я отказал и позволил поцеловать ногу, и он расцеловал обе мои ноги.

Расскажу и конец о Медянцеве.

---

\* Пятитка – пять рублей.

Я остался зимовать в Охотске; бывши на заводе, я сказал Медянцеву: «уймись! еще сделаешь преступление, даю тебе слово, что приговорю тебя к лишению жизни; ты меня, Иван, знаешь, я никогда не изменял своего слова!»

– Знаю, батюшка, ты и мухи не обидишь напрасно, но что скажешь, то сделаешь; ты, отец – сама правда; буду жить смирно, надобно замолить старые грехи.

Как я говорил, хозяйственная часть завода до местного управления не касалась, заведовало заводским хозяйством горное ведомство. Часто управлял заводом какой-нибудь штурман или кто-нибудь из классных чиновников при адмиралтействе или содержатель при магазинах. Эти господа, не понимая дела, не умели и воровать. Прислали смотрителя завода из Якутска – надворного советника *Гуляева*; горное ведомство в Иркутске многого не досчиталось на заводе, прислало для ревизии завода (не помню мудреного чина горного) Ивана Яковлевича *Козлова*. Он из артиллерии перешел в горные; воспитанник корпуса, товарищ *Рылеева*, Козлов был очень хорошо образованный и приятный человек, был недурной поэт – печатался.

Мы скоро с ним сошлись; приезжая с завода, он, обыкновенно, по неделе и более жил у меня. За этим превосходным человеком был недостаток: он боялся каторжных. Те скоро смекнули и постоянно проделывали штуки – страшая его. Например, он на заводе жил в караульном доме на офицерской половине; ссыльные где-то добыли обломок ружейного дула, просверлили стену и вставили обломок дула; на моего Ивана Яковлевича сильно подействовала эта глупая штука. Всякие штуки, будто заговоры против него, разные фальшивые доносы – видимо, забавляли этих бешеных людей: боящихся их не только не уважали, а говоря между собой – презирали.

Козлов много открыл злоупотреблений на заводе. Один раз, зимою, долго живя у меня, была необходимость ему ехать на завод. Козлов выпросил у меня отличных моих собак с тем, чтобы к вечеру вернуться назад. Я согласился дать собак, но с тем, чтобы он ни слова ни говорил: услышав чужой голос – не послушают и вернуться с дороги; одел его в мою кухлянку, усадил и крикнул: ха! Собаки понеслись поворотом; моя передовая слушалась условных ударов оштола о санки.

До завода было 20 верст, с небольшим час езды. Едва ли прошел час, вижу, мой Иван Яковлевич мчится назад. Смотрю, Козлов бледен, как стена! Не вдруг добился я толку. История вот такая: на половине дороги стоит домик-караулка, в которой живет вольнопропитанный\*; караулка – для обогрева пешеходам во время пурги. Козлов подъезжал к этому домику, как из-за него выступил огромный мужчина и замахнулся дубиной. Собаки, по удивительному инстинкту, так быстро повернули назад, что человек промахнулся дубиной. По рассказу я догадывался – уж не Медянец ли намеревался убить. В минуту собрался, взял с собою Козлова и в сумерки был на заводе. Моя тайная полиция – поляки рассказали мне, что часу в 10-м утра Медянец был раскован, куда-то уходил, возвратился часа два назад, и его опять заковали.

Приезжая в завод, я всегда останавливался в караульном доме, который разделялся на две половины; направо помещалась караульная команда, а налево – офицерская половина; последняя разделялась глухою перегородкою: в меньшей помещался писарь, а большая – для моего приезда. Служебные дела я всю жизнь делал серьезно и, сколь можно, парадно. Козлову объявил, что при следствии быть никто не может. Ивану Яковлевичу очень хотелось слышать и видеть допрос Медянцеву; он просил позволить ему поставить кровать по другую сторону перегородки, на которой он будет лежать смирно; сделал щель в перегородке и улегся.

---

\* Уже не каторжный, живущий «на свободе, на собственных харчах». – Примеч. М.И. Классона

Я приказал привести Медянцева. В ручных и ножных кандалах, огромного роста, статный мужчина, одет был эффектно: в черных плисовых широких шароварах, в суконной, шитой в обтяжку куртке, с небольшой черной мерлушковой шапкой в руках. Ввели Медянцева шесть вооруженных матросов. Первое, что я scomандовал: ружейные, вон! В переднем углу стоял большой стол, выкрашенный зеленой краской, простой стул – это мое присутствие; на столе бумага, чернила, перья.

– Здравствуй, Медянцев.

– Здравствуйте, батюшка; по какому случаю изволили вспомнить о мне, али по какому старому делу?

– Подойди ко мне, так узнаешь.

После обыкновенной формы – как зовут и проч.:

– Ты сегодня был раскован: по чьему приказанию и куда ходил?

– Как, батюшка, и эта малость вам известна? кандалы снимал я сам и ходил на свидание к жонке вольнопропитанного Бардадыма – верст за пять в лес; грешное дело, давно знакомы, – и пошел врать.

Я серьезно все записывал. Дал наговориться ему и сказал:

– Я все знаю и хотел попробовать, имеешь ли ты столько храбрости, чтобы сказать всю правду. Ложь нисколько тебе не поможет; помнишь ли ты мои последние слова? а ты знаешь, я на ветер не говорю. Говори или нет правду, я все знаю и повторю тебе, что ты будешь приговорен к казни!

– Я, батюшка, довольно тебя знаю, даром слова не проронишь; ну, а если я признаюсь?

– Ничего тебе не поможет!

– Так помилования не будет?

– Не будет, Иван! (слышу, за перегородкой движение).

– Ну, так видно Богу угодно, довольно погрешил. Пиши, батюшка, я всю правду скажу: поутру позвал меня смотритель, дал мне большую чашку французской водки и стал уговаривать убить приезжего горного чиновника, который сегодня должен возвратиться из Охотска. Знаете, в голову попало, я согласился; он дал мне еще чашку водки и обещал бутылку водки и 10 рублей. За заводом приказали снять кандалы, я взял дубину и пошел к караулке; недолго ждал, барин подъезжает, я вышел и ловко замахнулся; собаки так быстро повернули, что я промахнулся. Вернулся в завод, меня заковали. Вот вся правда, теперь ты, батюшка, перемени строгость на милость.

Медянцев подписал свое показание и спросил еще раз:

– Что ж, батюшка, оставишь мне жизнь замолить грехи?

– Нет, Иван, ты переступил меру своими преступлениями, я тебе прежде сказал и теперь исполню (за перегородкой даже стук [раздался]).

Пока я подписывал показание и делал заключение, слышу, что-то капает – это слезы Медянцева, крупные, как горох, капали в шапку. Видно, всякому своя жизнь дорога! Позвал ружейных и сдал Медянцева; он прощался со мною добродушно.

Пришел мой приятель Козлов; с ним точно была лихорадка; он уверял меня, что проклял минуту, в которую решился лечь на кровать; с ним делалась дрожь, он каждую минуту ожидал, что Медянцев кандалами хватит меня по голове. Я уверил его, что кадета морского корпуса нелегко ударить: если б Медянцев сделал только движение замаха, как [уже] лежал бы на полу.

Следовало сделать допрос старику смотрителю, но я избрал другой путь; позвал унтер-офицера, приказал ему разбудить смотрителя и дать прочесть ему показание Медянцева, сказать, что посылаю ему секретно. Смотритель прочитал два раза, возвратил и приказал много благодарить меня. Это была уже полночь. Поутру докладывают, что смотритель умер. Нахожу, на столике около кровати: большая чайная чашка с остатками порошка на

дне; небольшая банка, тоже с остатками белого порошка. На кровати смотритель с искаженным немного лицом – уже холодный; в банке оказался мышьяк. Вскрывать некому, один лекарь в Охотске – не стоило беспокоить, без церемонии закопали самоубийцу.

Я же был и презусом военного суда, приговорил Медянцева к 35-ти ударам кнута, по высочайшему повелению – навечно в ручные и ножные кандалы, в медные рудники, навечно приковать к тачке. Приковать навечно к тачке – это был первый приговор; его утвердили. После, я слышал, повторяли этот приговор.

Был я на заводе, Медянцев закован по высочайшему повелению; тогда это понималось, что расковать Медянцева дозволялось только после смерти. Видно, все были сердиты на Медянцева, заковали его очень тесно, так что при ходьбе кандалы должны растирать ноги. Медянцев издали поклонился мне в ноги и сказал:

– Видно, батюшка, и у тебя есть сердце, оставил мне жизнь, буду молиться за тебя.

Он был убежден, что я лишу его жизни.

В июне я шел из порта, вижу, на реке лодка с человеком. На лодке: «ало! – ало! Вернись». Это увозили Медянцева; увидав меня, не вылез, а выполз из лодки к ногам моим. У этого каторжного из каторжных лились слезы; молитвы, приветствия, видна была непритворная радость, что он еще увидел меня, просил поцеловать руку, но я позволил поцеловать ногу. Унтер-офицеру дал пять рублей для улучшения пищи преступнику. Лодка отвалила, и, пока я мог слышать голос, я слышал молитвы и мое имя.

В [самом] начале [этого повествования], когда я молодецествовал с каторжными на охоте и не помешал бежать Андрюшке, пришла осень, стала река, порошил снег; я был на гауптвахте, осматривал порядок; я был на плацу, вижу – идет из-за реки человек, подошел и упал мне в ноги. Это был Андрюшка, зима выгнала его из леса; Андрюшка, лежа у ног, говорил много благодарностей.

– Андрюшка, ведь тебя будут наказывать.

– Эх, батюшка, на то есть закон, я против закона нейду; но за твое здоровье и в лесу Бога молил, что ты так *честно* поступил и не помешал мне уйти.

\*\*\*

*Г. редактор Михаил Иванович! Если годится – напечатайте, не годится – бросьте. Если годится и вы пожелаете продолжения, то напишите, я найду свободное время и могу рассказать вам несколько эпизодов из быта каторжных из каторжных и моих столкновений с ними. Ведь в том краю я прожил 12 лет – чего ни случилось! Я хотел подражать формой рассказа Ф.М. Достоевскому, но где нашему брату рядовому подражать столь даровитому генералу от литературы! при том же он был [петрашевец?], а я – каратель, – взгляды разные.*

*Минуло 60 лет; взявшись за карандаш, отразились в памяти не только подробности тогдашней жизни, даже имена участников происшествий. Читая, вы спросите, сколько же мне теперь лет? – да, зажился-таки и вот дожил, что не могу писать пером – карандашом еще кой-как. Я давно ваш подписчик, вы, верно, и не подозреваете, что я сердит на вас. Вы помещали «Записки Ивана Степановича Жиркевича» и остановились на самом любопытном для меня времени. Он был губернатором в Симбирске, я был там на службе; я вполне почитал этого честнейшего человек, мы были очень дружны.*

*Порок неисправимый губил Ивана Степановича – он был слишком прям и чрез меру горяч, когда видел нечестное дело. Я имел возможность и отстаивал его, но все-таки он не мог оставаться в Симбирске, но оставил с честью, надел военный генерал-майора мундир и сделан губернатором в Витебске, чему я был очень рад. Нетерпеливо*



ждал, что «Русская Старина» напечатает, а я пополню то, что по скромности не расскажет Иван Степанович\*.

Вы обещали напечатать «Записки Михаила Бестужева», но, вероятно, не напечатали – по не зависящим от вас обстоятельствам\*\*. Миша Бестужев был корпусный мой товарищ; гардемаринами мы дрались на дуэли – на рапирах. Я всех [декабристов] видел в Чите в 1831-м году, видел их<...>. Хотите, я кой-что расскажу вам о Сперанском в Иркутске 1818-го года? С Г.С. Батенковым я тогда был очень дружен. Я был действующим лицом в 1832-м году, когда архиепископ бунтовал против генерал-губернатора Лавинского. Но об этом, кажется, рано еще говорить. Я был тогда начальником адмиралтейства в Иркутске...\*\*\*

С уважением и преданностью, Э.... .....в  
2 февраля 1878 года

### Очерки, рассказы и воспоминания Э.... .....ва

«Русская старина», август 1878 г.

#### II. Ссылнокаторжные в Охотске

Я начал рассказ о каторжных на солеваренном заводе в Охотске, сделал поверхностный очерк заводу, вместо подробностей о жизни каторжных я увлекся биографией Ивана *Мединцева*\*\*\*\*.

Солеваренный завод в Охотске имел каторжных от 250 до 300 человек; хотя это все отверженные преступники, но они люди, между ними много разнообразных характеров, разных наклонностей, были свирепее Мединцева и были тихие, добрые, покорные судьбе. Расскажу о некоторых личностях, по необходимости с моим участием, расскажу с целью выяснить общий характер этих гражданских покойников. Вот припомнился никем не рассказанный факт: *каторжные за веру*.

Еще летом мы получили известие, что к нам, в каторжную работу, посылаются пять человек, называющих себя – один Христом, а четверо – Евангелистами. Все пятеро нераскайные богохульники, весьма вредны, требуют особенного надзора. Из флотских офицеров я один оставался при порте и, как уже говорил, был исполнителем [государственных функций] по всем министерствам без исключения.

Октябрь. Начались морозы; являются только четверо; конвойные и каторжные объяснили, что Христос умер на семи хребтах (Яблоновый хребет). Начальником в Охотске был У[шинский], человек злой, недоброжелательный, нелюбим всеми без исключения, к этому был дурной офицер – как моряк, служба его прошла в Астрахани. Он был малороссиянин, должно быть, начал учение в какой-нибудь бурсе, любил говорить о Богословии.

Начальник думал диспутировать с апостолами, но это были такие начетчики, что скоро поставили его в тупик; начальник рассердился и постращал *кобылой!* Но не на трусов напал, они отвечали:

---

\* Продолжение Записок Ивана Степановича Жиркевича будет напечатано в XXII и XXIII томах «Русской Старины» (№7, июль и №9, сентябрь 1878 г.). – Примеч. ред.

\*\* Продолжение Записок М.А. Бестужева будет напечатано в «Русской Старине» (отрывки были помещены в «Русской Старине», 1870 г., издание третье, том I, стр. 258-279 и том II, стр. 231-250). – Примеч. ред. Михаил Александрович Бестужев (1800-1871), в 1812-м поступил в Морской кадетский корпус, в 1817-м произведен в мичманы, с 1822 г. – лейтенант, в 1824-м принят в Северное общество, после бунта 14 декабря 1825 г. осужден на вечную каторгу.

\*\*\* В данном случае Адмиралтейство – государственное предприятие, расположенное на берегу реки или моря, предназначенное для выполнения работ по ремонту и длительному хранению кораблей. Э.И. Стогов занимал должность начальника иркутского Адмиралтейства в 1830-1832 гг. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

\*\*\*\* Ранее этот персонаж назывался Медянцевым. – Примеч. М.И. Классона

– Ну что ж, вместо креста будем носить кобылу и молиться ей.

Я посоветовал предоставить протопопу и священникам вразумить их. Пришли священники, каторжные сказали им:

– Не срамитесь, ваши владыки отошли со срамом.

Действительно, священники не сбили их, а они так и сыпят текстами из всего Священного писания. Священники, находя закоснелость и изощренное изуверство, отказались. Я только слушал – бо неразумен бысть, но старался понять этих фанатиков – по-своему. Я сообразил, что если эти закоснелые изуверы попадут на завод, то легко увлекут некоторых в свою секту. Я попросил начальника отдать пока их мне.

Была отдельная казарма – парусная и такелажная; в это время она стояла пустая. Я приказал к казарме принести дров, а в казарму муки и что нужно для печения хлеба и поместил там апостолов. Навещая их, я не говорил ни одного слова. Ночью был порядочный мороз; поутру арестанты жаловались, что им холодно. Я сказал, что на дворе есть дрова и топор, могут топить печь. Я не упомянул, что я долго и подробно расспрашивал конвойных об этих изуверах и удостоверился, что всякий телесный труд они считают грехом для себя, потому что они призваны молиться за весь мир православный, и ни разу не принесли полена и не сходили за водой – [ранее] исполняли это конвойные.

Это упорство я и взял в основание с целью победить их. Прошло три дня: и холодно и голодно. На просьбу их приказать истопить, испечь хлеб и принести воды я спросил: а почему вы сами не истопите печи и не принесете воды?

Отвечали:

– Не подобает двум господам работать, мы работаем Богу!

– Хорошо, пусть Бог согреет и накормит вас.

Упрашивали меня поговорить с ними, побеседовать, я отвечал: «куда мне, я человек неученый, семя вашей мудрости упадет на камень». Принимались страшить меня ответом Богу, обещали в будущей жизни рай и проч. Четыре дня терпели, я решился выдержать молча. На пятый – молили, страшали, просили наказать их за ослушание и, наконец, заплакали, сокрушаясь, что Господь оставил их и, в видении, повелел покориться. Принялись за дрова, принесли воды, испекли лепешки и бросили дурь. Чтобы не остыло решение, я в тот же день употребил их в работу при порте, пошли и работали. Пропала их святость!

А то спрашиваю, отчего ты называешься Иоанн Богослов? Отвечает:

– Я Иван, и Бога славлю.

Ну, и толкуй с ним!

В 1837 году, приехав на службу в Киев, я нашел многих, которые рассказали мне, что в 1815 или 1816 году в Киевской тюрьме содержался «христос», около него были апостолы, ученики; «христос» творил чудеса – исцелял больных, предсказывал. Одну старушку, из купчих, я видел исцеленною, и она продолжала верить. В тюрьму много сходилось народу, несли приношения; «христос» сидел обставленный зажженными восковыми церковными свечами. Тогда митрополитом был ученейший *Евгений*; он посылал богословов вразумить, наконец, приказал привести к себе и не убедил этих начетчиков.

Сделалась слишком гласна эта история, их сослали в каторжную работу. По губернским городам они упорно выдерживали диспут с архиереями. Все заводы боялись этой язвы, и сослали их в ссылку, куда ссылались из каторжной уже работы. Кто же был «христос»? Это был пожилой дьячок, сделавший какое-то преступление, он-то и подобрал в тюрьме грамотных и ловких арестантов. Мне удалось вылечить их[ кроме уже умершего на Яблоновом хребту «христоса»]. Наказание могло бы испортить все дело, это я и тогда понимал. После это были смирные и кроткие люди.

Каких наций, каких народов не было на заводе! Чтобы не забыть, расскажу, по какому случаю я узнал разнообразие этого сброда.

Через Охотск отправлялся в Ситку [на Аляске] *Фердинанд Врангель* – правителем в Американскую русскую компанию. Врангель вышел из [морского] корпуса одним годом раньше меня, а летами я был старше его. Врангель – капитан 1-го ранга, а я – лейтенант. Мы и в корпусе были довольно дружны. Увидев меня лейтенантом и без орденов, он руками хлопнул – ты только лейтенант!

Как бывшему товарищу я дал ему обед. Во время веселого обеда нашла небольшая дождевая тучка, где-то [был слышен] небольшой удар грома, Врангель помертвел. Ехавший с ним доктор – Врангеля в постель, мешки с горячим песком, Врангель, видимо, [сильно] страдал, но когда он успокоился, я безжалостно пошутил:

– Ну, зато у тебя чины и кресты!

Он сердито отвечал:

– Возьми все, а мне отдай свое здоровье.

Врангель получил страшные ревматизмы, ездив к Ледовитому океану.

Хотел я говорить о докторе, приехавшем с Врангелем, да и заговорился – болезнь стариков! Доктор *Беневский*, более с азиатской физиономией чем русской, по-русски говорил отличным книжным языком – очень щеголевато, чисто, без малейшего затруднения. Ученость его по всем отделам наук была изумительна! Это – ходячая энциклопедия! Заметив, что доктор без затруднения говорит на разных языках, я спросил его: вероятно, он много путешествовал и много знает языков? Он отвечал – много и тут каким-то метром сказал непонятное и перевел.

– Это на каком же диалекте?

– На арабском.

– Так вы и азиатские языки знаете?

– Знаю.

Подумал я, надувает доктор меня – невежу! Я захотел сделать ему экзамен и пристыдить хвастуна. Приказал на солеваренном заводе отобрать сколько найдется разных национальностей. Заинтересовав доктора нашим заводом, я предложил ему прокатиться на нашем катере. Доктор с радостью согласился. Приехали на завод; на площади, во фронте стояло человек 18 или 20; я подвел Беневского и предложил ему поговорить.

Не конфузясь спросил первого – какой нации?

– Персианин.

– Из какой провинции?

– Из Мендесарана (это помню).

Беневский заговорил по-персидски, сказал несколько поговорок и запел песню, там – народную. У персианина загорелись глаза, и он после уверял, что Беневский его земляк. Следующий был армянин; доктор и с ним проделал то же. С старичком из Аравии он говорил много и даже стихами. С евреями – был еврей. Полякам пропел мазурочку, и те хохотали, немец, испанец – словом сказать, прошел весь фронт и не затруднился ни одного раза! Это чуть ли не посильнее Мецофанты\*!

Вместо того чтобы пристыдить его, я внутренне чувствовал себя пристыженным и только изумлялся. Осматривая завод, он нашел [его] устройство несовременным, и он был прав. Научил пользоваться морозом в плоских резервуарах и готовить сгущенный рассол. Учил очищению – но его не поняли, толковал – о магнезии, глауберовой соли, соде и о многом, но некому было понимать его.

---

\* Мецофанты Джузеппе (1774-1849), итальянский лингвист, первый кустос (хранитель) Ватиканской библиотеки, впоследствии – кардинал. Владел пятьюдесятью семью иностранными языками.

Чтобы кончить с Беневским скажу, что через два года я слышал рассказ, как он в одну ночь сошел с ума и вдруг заговорил на всех языках – его никто не понимал – настоящее столпотворение: на разных языках по одному слову! Беневского отправили кругом света на корабле из Ситки. Теперь, хорошо ознакомясь с евреями и припомнив, я уверен, что доктор Беневский – еврей из Варшавы или Вильны.

\*\*\*

Несмотря на разноплеменность каторжных в общей массе трудно было заметить, только отделялись резко поляки, их было сначала 6-ть, потом 9-ть человек. Поляков постоянно чуждались все каторжные на заводе, презирали их, поляк мог быть сам виноват, но вместе с другими – никогда: поляка не примут ни в какую затею. Работа для них была тяжела, потому что они не умели приладиться. Не помню, я ли понял их или они вразумили меня, что они могут быть моею тайною полициею, т.е. доносчиками. Действительно, к этому они были весьма способны и за то часто получали облегчение в работе.

Но сношения с ними были постоянно так скрытны, что их никто и не подозревал; узнай каторжные – только бы они и жили! Поляки, вообще, были смиренны, иногда и ругнут их за то, что не успевают кончить урока и тем задерживают других, но поляки отделялись молчанием. Одного пожилого все звали «губернатором»; я полюбопытствовал – *Раковский* (кажется, помню) под именем губернатора объехал все уездные города Смоленской губернии и из всех казначейств, при проверке, забрал деньги, попался на последнем, пограничном с Белоруссиею городе и усвоил себе прозвище «губернатора».

Самые тихие, всегда послушные, можно назвать, вполне нравственные каторжные были делатели фальшивых ассигнаций; их было сначала 6-ть, потом 8-мь человек. Ссылка их в Охотск, вероятно, была из опасений, чтобы на других заводах они не устроили бы новых фабрик: в Охотске и нельзя, да и сбыта не могло быть. Вероятно, ссылались в Охотск лучшие искусники, заправляющие «фабрикой».

Я всегда жалел этих скромных людей, на них заметен был некоторый лоск. Чтобы облегчить их участь, когда зимовал в Охотске, то по два, по три «монетчика» брал к себе и поручал им разрисовывать комнаты. Некоторые из них были замечательные рисовальщики. Помню, раз в пустой комнате нарисовали полную мебель и с таким знанием света и тени, так рельефно, что приехавший ко мне правитель Американской компании Ланже, будучи сам хорошим рисовальщиком, сел на нарисованный диван и очутился на полу.

Бывало лежу на [настоящем] диване и слушаю откровенный рассказ их – там все начистоту. Какая была привольная жизнь, денег много, за деньги все [можно купить]!

– Куда же вы сбывали свою работу?

– Продавали на вес, охотников много, – и говорили кому сбывали, но я забыл.

Замечательно одно, все попались по доносу любовниц, из ревности – исключения не было! Рассказывая, вспоминали с наслаждением о времени пребывания в остроге; говорили, что если бы человек захотел птичьего молока – и то явилось бы. Бывало, утром пройдет по острогу начальство – [следом] кандалы долой, белье батистовое, фрак, сюртук с иголки первого мастера, шинель или шуба – генералу не стыдно, у ворот коляска с лакеем, и вся Москва покорна! Театры, концерты – все открыто! денег не нужно – за все заплачено. Понятно, купцы удовлетворяли, чтобы не быть замеченными [в соучастии за сбыт].

В 1833 году в Москве я пил чай у одного богача-купца и, рассказывая про неизвестную страну, упомянул имя и фамилию одного фабриканта ассигнаций и что он рассказал мне, кому сбывал свой товар. Надобно было видеть, как побледнел купец! но я назвал другого купца – а этого купца фамилию тоже забыл – плоха стариковская память.

Получено известие, что ссылается в [солеваренный] завод бывший Тамбовский помещик *Алмазов* за делание фальшивых ассигнаций. Вещь обыкновенная в той стороне, но

все обратили внимание, когда случайно узнали, что в заводе находится бывший его камердинер, сосланный им напрасно. После объяснилось так: помещик делал ассигнации в беседке сада, в которую никто не входил. Однажды помещик подметил, что камердинер был в беседке и все видел. Боясь доноса, силою денег, камердинера сослал в каторжную работу, и почему-то он попал в наш солеваренный завод, хотя был всегда кроток и послушен.

Всех интересовало, не оплатит ли теперь невинный камердинер своему барину – судьба сравнила обоих! Пришел [с этапа] бывший помещик – еще не старый, худенький, тощий, бессильный. При встрече барина с камердинером я не был, но – говорят – камердинер, увидав барина, горько заплакал. Я слышал и сам видел, что камердинер был почтителен к бывшему барину, последний, по бессилию, не успевал окончить урок работы, камердинер помогал ему, чинил барину платье, обувь. Это всех тронуло в пользу камердинера.

Скоро смотритель завода донес, что Алмазов совершенно не способен к работе и болезнен. Алмазова перевели в Охотск и поручили ему подметать канцелярию и присутствие и что-то еще нетяжелое. Алмазов скоро устроился, наделал кукол, сочинял и иногда удачно разные комедии, что-то вставлял себе в рот, вечером ходил по домам и куклами разыгрывал свои пьесы. Нельзя было не заметить, что комедии его всегда были рассчитаны на вкус слушателей: у матросов в казарме – чорт судил Иуду и глотал его, русский матрос дерется с англичанином и непременно прибивет его, насмешки над полицией и проч. У молодого чиновника – любовная сцена, похищение. Купцу – богатство, почести. Алмазов, действительно, был способен и находчив – вошел во славу.

По представлению правителя завода за отличное усердие и за беспорочное поведение испрошено было камердинеру увольнение из завода на «вольное пропитание», а как он был холост, то назначили его в одну из караулок, а барина его – помощником ему. Барин продолжал сочинять новые комедии и зарабатывал маленькие деньги.

\*\*\*

Прежде постоянно, а при мне не всякий год составлялись на заводе шайки и бежали на дорогу от Якутска в Охотск, грабили купеческие товары и иногда тиранили непокорных приказчиков. Я застал еще знаменитость в этом роде – *Карцева*; он был из поручиков гвардии, я застал его уже очень старым – лет за 70-ят; то был громадного роста, когда-то могучий, но еще не сгорбленный старец, он был известен в крае под именем «атамана». При мне он уже не бегал, но прежде – всякий год господствовал на семи хребтах. О нем известный рассказ.

Лейтенанты *Хвостов* и *Давыдов*, служившие в Американской компании, за какое-то оскорбление на двух маленьких судах напали на Японский город, кажется, Хакодаве\* и ограбили его. Японские пушки [умыкнули], я сам еще видел\*\*. Начальник Охотска, капитан

---

\* По-видимому, Хакодате.

\*\* «<...>в 1803 году, при императоре Александре I, послан был в Японию камергер Николай Петрович Резанов. <...> Резанов, возвратясь из Охотска в Камчатку, отправился оттуда в Америку на компанейском судне, которым командовал лейтенант Хвостов. Оттуда он, на следующий год, с тем же офицером возвратился в Охотск и поехал сухим путем в Петербург, но на дороге занемог и умер, а Хвостов пошел в море и сделал нападение на японские селения. О всех сих происшествиях упоминается в предисловии к книге под заглавием: «Двукратное путешествие Хвостова и Давыдова» и пр., изданной вице-адмиралом Александром Семеновичем Шишковым.

<...>Главные предметы, о коих они[ японцы] нас спрашивали, были следующие: <...>«Кто дал повеление двум русским судам напасть на японские берега?»; «По какой причине они напали?»; «Зачем сожгли селения, суда и вещи, которых с собою увезти не могли?»<...>. В ответ на эти вопросы мы <...>прибавили, что<...> а суда, нападавшие на японские берега, были торговые, но не императорские, и управлявшие ими все люди не состояли в службе нашего государя. Нападение сделали они самовольно, а целью их, вероятно, была добыча. Они полагали, что жалоба от японцев не может дойти до нашего

1-го ранга *Бухарин* арестовал молодцев, но это были друзья и анекдотические хваты; они бежали из-под ареста, лошадей легко было достать, но без всякой провизии. Увидали на пути, на горе палатку и обрадовались; с ними был якут, тот перепугался, зная, что это разбойники. Это была шайка Карцева.

Как только увидел Карцев Хвостова, с полным почтением отнесся:

– Батюшка, Николай Александрович, какими судьбами?

Хвостов рассказал, в чем нуждается. Карцев снабдил Хвостова всем с избытком. Пока хлопотал Карцев об угощении Хвостова, к последнему подошел один из разбойников; любуясь пистолетами, хотел взять, но Хвостов хорошо оттолкнул его. Разбойник злобно подошел к Хвостову и злобно говорил, что «здесь не в порте!», и похлопал по плечу Хвостова. В эту минуту вышел Карцев и, узнав в чем дело, сказал начальнически:

– Варнак, ты забыл, что это государев лейтенант; как ты смел дотронуться? – и с этим словом пистолетный выстрел положил на месте варнака – и никто ни слова не промолвил.

Этот замечательный случай подтвердил мне сам Карцев. Спрашиваю, расскажи, как же ты грабил?

– Я никогда не грабил; вижу, идет транспорт вьюков с купеческими товарами; я от приказчика требую накладную и по накладной выбираю, что мне нужно.

– Ну, а если приказчик не даст накладной?

– Ну, как не даст, поневоле даст! Купца жаль, если мы расшвыряем весь товар.

– Велики у тебя были шайки?

– Никогда более пяти [разбойников], мало дельных и таких, чтобы были в одну душу. Я – атаманом, есаул – мне подручный и трое рядовых, на что больше!

\*\*\*

Пришел я с моря в конце июня, смотрю, мой милый начальник-немец в тревоге. Узнаю, какие-то каналы вечером являются за рекою, все видят, что они более сажени ростом (на ходулях), и стреляют. Я – на солеваренный завод. Моя полиция сообщила мне, что из завода бежало пятеро; атаманом – *Алексей Иванов*, который по другим заводам и здесь наказан кнутом 18-ть раз, и всем известно, что он знает заговоры от пуль и проч. Возвратясь, нарядил из своей команды бойких 10-ть человек, начальником назначил приготовленного мною ученика, вроде помощника, всякому – лошадь и ружья с боевыми патронами. Беглые, верно, имели сношения с портом; с этого вечера пропали. Обедаю у начальника, докладывают – возвратились посланные.

– Привели беглых?

– Нет.

---

*правительства, чему сами японцы виною, объявив Резанову, что не хотят с русскими иметь никакого сообщения. Сожжение всего того, чего суда не могли увезти, должно было произойти так же от своевольства начальников<...>. – «Записки Василия Михайловича Головнина. В плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах».* Как следует из этой книги, нападение Хвостова и Давыдова на японские селения стало причиной задержания и двухлетнего пребывания в плену экспедиции В.М. Головнина.

*Летом 1811 г. Рикорд вместе с Головниным занимался описанием южных Курильских островов. В одном из рейдов на «Диана» кончился запас пресной воды. Моряки решили пополнить запас на Кунашире, входившем тогда в состав Японии. 11 июля В.М. Головнин взял с собой нескольких матросов, переводчика, ушел на берег и... не вернулся. Спустя несколько суток Рикорд узнал, что японцы с Кунашира, увидев перед собой русских моряков, зазвали их в гости, а потом взяли под арест! За несколько лет до «Дианы» здесь побывали корабли русского флота «Юнона» и «Авось» под командованием графа Николая Петровича Резанова (1764-1807). Император поставил перед Резановым задачу: установить дипломатические отношения с Японией. Но граф потерпел полное фиаско и, придя в ярость, приказал двоим своим подчиненным – Гавриле Ивановичу Давыдову (1784-1809) и Николаю Александровичу Хвостову (1776-1809) – разграбить японские поселения на Сахалине и Южных Курилах. Японцы затаили большую обиду на русских и стали ждать удобного случая, чтобы отомстить... – Из Интернета*

Загорелось мое молодое сердце, на половине бросил обед. Узнаю: посланная команда застала беглых спящими в кедровнике; команда была растянувшись; разбойники проснулись и бежали на глазах матросов, и никто не выстрелил, шептали, что «напрасно стрелять, пуля, пожалуй, прилетит назад, известно, Алексей Иванов знает заговор и не раз доказывал, бросая пулю назад, когда в него стреляли». Дураки! Мне было более стыдно, чем досадно.

Я взял унтер-офицера *Шкулева*, матросов – *Хоботова*, *Полуектова*, *Гагарина* и *Яковлева* – все были хорошие стрелки; на каждого и себе – по две лошади; двух якутов – проводниками. Сам я без сабли и пистолета – хвастун был. Хоботов указал место, где спали беглые, для якутов этого было довольно; лучше всякой гончей – якут не потеряет следа. Выехали мы на реку Урак, верст 75-ть от Охотска – леса первобытные, не была и нога человека. Погода долго была ясная, каменное дно реки от берега отсохло; беглые, чтобы скрыть следы, шли по камням, но якуты чуяли след и раз показали мне кровь на камне. Находили горевшие сучья, не успели потушить завидев нас.

Меня удивляли якуты; едем между кустами, якуты говорят: «тут пробежала лисица, тут – волк, а тут прошел медведь», – для нас малейшего знака не было! Но я добился у якутов, почему они это знают? Они указали мне цветок беленький, в кошельке\*, который от прикосновения отваливается. С какой высоты отвалился цветок, они заключают о росте прошедшего здесь зверя.

Подумал я, чтобы не было со мною того же, что с моим [неудачливым] учеником. Матросы верят в заговоры, а с верою шутить нельзя! Признаки близости беглых увеличивались, я остановил свою команду и объявил, что мне известно – Алексей Иванов знает заговор от пуля, какая же польза стрелять в него?

Отвечали: «точно так-с!»

– Ну – видно Бог посылает ему конец, не поехал бы и я без верной надежды – дело в том, что в нашем роде сохраняется верный *отговор*. Сообщить вам я не имею права, но мне дано право под клятвою сообщить одному. Шкулев, поди ко мне и поклянись, что никому не скажешь.

Шкулев чистосердечно поклялся.

– Давай ружье, заряжай порохом и пыжом, давай пулю! – грешный человек, думаю, как бы половчее солгать, – Становись на восток, бери пулю и крестом на дуло говори: «царь Иудеи, Иисус Назареи», обведи по дулу по солнцу, повтори три раза и заряжай.

Сильно сбивался Шкулев, выговаривая надпись на кресте, но я имел терпение наблюдать, чтобы все ружья были заряжены без ошибки. Команда верила в меня, как католик в непогрешимость папы. Надобно было видеть, откуда взялся кураж! где-нибудь пошевелится куст, уже матрос там, хочется попробовать отговор! Вера, могучая нравственная сила!

Уже два с половиною дня мы гнались по следу за беглыми, все по реке Ураку против течения; по приметам якутов, завтра догоним беглых. Удивительно, как скоро и какие большие переходы делали беглые, мы на переменных лошадях не могли догнать их! Река давно ушла в горы, которые уже два дня были в облаках, должно быть, шли там дожди. Поздний вечер, мы выбрали близкий к берегу остров с превосходною травой. Караул по очереди, а остальные спали. Ночью будит меня якут.

– Что?

– Бу тоен\*\*, река дурит, спасаться надо – слышишь?

---

\* Э.И. Стогов, вероятно, имел в виду чашечку цветка: околоцветник – совокупность покровных листиков цветка, окружающих тычинки и пестики. У двойного околоцветника (напр., у колокольчика) наружные зеленые листочки называются чашечкой, а внутренние яркоокрашенные – венчиком.

\*\* По-видимому, «господин» по-якутски.

Слышу, какой-то гром по реке, еще несколько минут – во все русло реки идет вертикальною стеною масса воды и в ней крутятся множество бревен, пней, а гром происходит от катящихся по дну камней. В одну минуту остров, соединяющийся с сухою протокою с берегом, окружен водою; переезжая на берег, лошади уже плыли. Ударил проливной дождь.

Поутру мы увидели себя на сухой вершине холма, по сторонам – долины полные воды. Погоня наша за беглыми прекратилась. Но я был не из тех людей, чтобы отказаться от предприятия, если была еще малейшая возможность, хотя воображаемая. Слушая рассказы бывалых «атаманов», я изучил их тактику. Если беглые чуяли за собою погоню, тогда они употребляли все силы достичь реки Алдана прежде погони и если успевали упредить одним часом, тогда они спасены.

Река Алдан от Охотска к Якутску, верстах в 250-ти течет поперек пути, река очень глубока и широка. На берегу со стороны Охотска построен домик – караулка, в ней постоянно живет «вольнопропитанный». Охотское адмиралтейство построило большую надежную лодку. Из Якутска в Охотск – казенных, компанийских и частных грузов проходило в лето на осьмнадцати тысячах вьючных лошадях. Транспорты, подъезжая к Алдану, кричат перевозчику, и тот переправляет лодку на другой берег; пришедшие вьюки грузят на лодку и переправляют сами, а лошади переплывают; лодка всегда находится при караулке. Беглые, дойдя до Алдана прежде погони, переезжают в лодке через реку, лодку выталкивают на тот берег и смеются над опоздавшей погоней. Погоня прекращается, и беглые свободны.

Эту тактику я принял в соображение, но где я? где Алдан? далеко ли? – решительно ничего не знал! Даже не умел бы возвратиться в Охотск, видя все долины залитые водою. Якуты, конечно, знали Алдан, но знали по пути из Охотска в Якутск и обратно, а мы забрались в страну, не известную для географии. Я предложил якутам по 5 руб. награждения, если они найдут возможность довести меня до Алдана. Якуты сели под дерево и более часа рассуждали, наконец, подошли ко мне и предложили мне вопрос: они поведут, но если завтра окажется невозможным ехать далее, что им за это будет?

– Ничего, поедем в Охотск!

– А гневаться, бу тоен, не будешь?

– Нет, не буду!

– Видишь, дождь, гор не видать, этих мест никто не знает, коли не будешь гневаться – поедем!

Якуты поехали впереди, а мы за ними – гусем. Соображения мои были бесплодны, но полагал, что до Алдана должно быть не менее 400 верст, оставалось – отдать руль и компас якутам и повиноваться. Что за инстинкт у этих дикарей: мы ехали по вершинам холмов невысоких гор; при переезде через долины, залитые водою, якуты разъезжались в разные стороны и переводили через долины, казавшиеся глубоким озером – по какому-то подводному гребню – редко по брюхо лошадям. Дождь проливной день и ночь, хотя теплый, но мы выехали налегке, надеясь на хорошую погоду и на то, что скоро догоним беглых.

Ехали мы переменяя лошадей и более [чем] небольшой рысцей. Останавливались ночевать, думая только о добром корме невероятно сносных лошадей. Трое суток мы не знали, где мы. Якуты без умолку говорили между собою, мы ни слова не понимали. Если не ошибаюсь, на четвертые сутки к вечеру подъехали к Алдану и прямо к караулке.

Я закричал во все горло:

– Лодка здесь?

– Здесь!

– Не были?

– Не были!



Я и теперь не без удивления вспоминаю о зверином инстинкте якутов! Какая провизия была с нами, вся размокла, суток полторы мы не имели и размокшего хлеба. Прежде всего, вычистили замокшие ружья и зарядили – опять с «отговором». У «вольнопропитанного» нашлась пойманная и сбереженная в сетке рыба, нашлось два хлеба, ужин был превосходный. Поочередный караул, и – я спал как убитый.

Утро было великолепное, ни облачка, тихо. С берега Алдана шла глубоко протоптанная одноконная тропа, по обе стороны дороги густо росли кусты. Часу в 10-м утра, позавтракавши, мы засели за кусты с левой стороны дороги, я с правого фланга, возле унтера Шкулева, а на левом фланге – Хоботов. Командовать небезопасно, командующему первая пуля, а потому я учредил знаки: возьмусь за козырек – одно, сжатая рука – другое, открытая – третье и проч.

Мои соображения были: беглые знали, где застал нас разлив и дождь; после говорили, что они всякий день видели нас с гор, но беглые знали и то, что нам неизвестен путь к Алдану. Беглые, хотя и знали кратчайшие пути, но не опередив нас, все-таки, по чувству самосохранения, должны торопиться перебраться за Алдан, где они безопасны. Дождь и дождь, вероятно, замочил их ружья; припомните, тогда пистонов и во сне не видала не только Сибирь, но и Европа.

Сидели мы часа четыре. Тишина, даже слышно падающие капли с деревьев. Следовало бы описать красивую местность и девственную природу, но я люблю природу – подметенную. Наконец, Хоботов, прикладывая ухо к земле, объявил, что, верно, идет медведь, хрустят сучья по земле. Спустя долго Хоботов слышит шопот. Еще и еще – слышен говор. Долго слышались в лесу шаги и разговор. Наконец, показались из леса. Алексей Иванов впереди и за ним гусем остальные; третий хромал; у всех за спиною ружья, идут и говорят с полною беспечною – видно, [что] все мокрешеньки. Мы замерли, не шелохнулись и осторожно дышали. Ружья осмотрены, кремни новые, заряжены «с отговором», бояться нечего.

Они миновали первые кусты, не заметив матросов. Алексей Иванов поравнялся со мною, тогда я дал знак – встать. Я громко сказал атаману: «сдавайтесь!». Я и глазом не успел мигнуть, как ружье атамана направлено в меня и не далее сажени, ружье двуствольное и оба замка щелкнули – осечки! Трое передовых спустили курки и у всех осечки. Атаман присел на корточки, счищает порох с полки и держит пороховницу, чтобы насыпать свежего. Я крикнул Шкулеву – спусти его!

Выстрел и ружье у атамана упало на землю. В это время Полуектов и Яковлев спрашивают: «прикажете»?

– Валяй.

Два выстрела и двое беглых бросили ружья.

– Где еще двое?

Один удирал по поляне. Я приказал Хоботову догнать его пулею, но в момент выстрела беглый запнулся за пенек в траве, и пуля, вместо спины, сорвала фуражку и часть волос – одурел беглый, упал, тут его и взяли.

– Где пятый?

Он спрятался за куст, стоял на коленях и два указательных пальца сложил крестом.

По осмотре оказалось: атаману перешиблены обе руки между локтями и плечом. Второму перешиблено бедро на  $\frac{1}{4}$  от колена выше. Третьему – навывлет в таз и поясницу. Матросы находили, что отлично действовал «отговор», без которого, пожалуй, и не взяла бы пуля. Признаюсь, я ожесточился; трудно сохранить хладнокровие, когда два дула, против груди, видел не далее сажени!

Приказал сделать носилки и раненых отнести на покатый бугор, покрытый роскошною травой и цветами – от дороги полверсты; приказал распорядиться, *чтобы не ушли*. Ранен-

ные просили, чтобы их убили. Но я имел жестокость отказать, сказав, что они играли в азартную игру; помилования не будет. Матросы отнесли [раненых], атаману перебили ноги и около каждого положили по куску хлеба.

Мы ночевали. Поутру видели, как орлы и стадо коршунов вились, вероятно, над еще живыми. Вы назовете меня башибузуком, по-теперешнему, оно и так: теперь разбойник убьет несколько человек, его без наказания (?) ссылают в каторжную работу, которой теперь почти нет. Он бежит, переменит имя и еще убивает мирных граждан, его судят и сошлют и *ad libitum*\*. Тому минуло чуть не 60-т лет! Были другие законы и, может быть, изменились нравы.

С тремя человеками я поступил жестоко; но, во-первых: эти люди стреляли в упор и не от них зависело не убить честных людей, исполнявших служебный долг. Во-вторых, это были не однажды казненные, хотя только гражданскою казнию – но они были не люди, а тени бывших граждан; права и жизнь гражданина были умерщвлены в них. В-третьих – допустите ожесточение, по поговорке – и у курицы есть сердце. Что убитые не считались людьми, доказательством тому то, что и не доносили о происшествии, да и вопроса не могло быть: я действовал не по предписанию, а поехал на «охоту», как бы вы поехали на волков. Все были довольны, а купцы радовались, что избавились от злодеев.

Важнее других был вопрос:

– Как принято это происшествие на заводе?

Каторжные рассудили так: шайке Алексея Иванова было предложено сдаться, они вступили в сражение, а известно, на сражении – чья возьмет; их победили: винить некого, сами виноваты; не хотели покориться; видно, судьба их такая. Ни одного голоса не было, обвиняющего меня!

После этого несколько лет не было шаек на пути между Охотском и Якутском. Было слово на заводе и о знании моем «отговора», это обескураживало хваставших знанием заговора от пуль.

Бывши три года в Иркутске я имел сведение, что без меня образовались шайки беглых, но унтер-офицер *Сироткин* или *Середкин* с командою убили трех, – и более о шайках не слыхали.

В Камчатке я застал людей, бывших свидетелями побега известного *Беньевского*, рассказывали подробности, которых не могло знать официально начальство. О Беньевском и его побеге на «теплые острова» крепко сохранялись в памяти и передавались в искаженном виде между ссыльными каторжными. Беньевский добрался до Сандвичевых островов, каторжные и называли их [как] «теплые острова».

В 1820-м году мне было поручено бриг, отсутствующего командира из Петропавловской гавани, отвести в устье реки Камчатки – это около 1 000 верст. Из устья реки Камчатки выехавший ко мне лоцман подал запечатанный конверт. Петр Иванович *Рикорд* уведомлял меня, что до сведения его дошло, будто несколько негодяев намерены на меня напасть и заставить идти на «теплые острова», а потому советовал принять меры осторожности.

При осторожности и быть ничего не могло: кроме судовой вооруженной команды, четырех пушек в Нижнекамчатске, было 12-ть казаков – молодец к молодцу, да отставные казаки – бояться нечего, разве какая-нибудь нечаянность от беспечности. Но, как видите, играли роль – «теплые острова». Когда я перевозил каторжных из Охотска, и тогда шептали о «теплых островах», это утвердил в предании побег Беньевского. Через несколько дней я получил от П.И. Рикорда [уведомление], что все пустяки и чтобы я возвратился берегом, оставив бриг.

---

\* Как угодно, на выбор.

На солеваренном заводе в Охотске работа воистину была каторжная! зиму, лето, день и ночь, хотя и посменно, но работа не прекращается. Рубка и перевозка дров, доставка морской воды в варницы, в варницах – густой дым, жара, выгребание и переноска соли в сушилки и проч. В ручных и ножных кандалах, пища самая постная – иногда рыба; но при всем том больные бывали очень редки; ни лекаря, ни фельдшера нет, полегит заболевший и выздоровеет [или умрет]. Стариков-«вольнопропитанных» было довольно много.

Должно быть, в 1827 году я говорил со стариком-«вольнопропитанным». Он рассказал мне содержание [в клетке] и казнь Пугачева, старик тогда был женихом. Рассказ его был до подробности верен с историческим описанием.

Следовало бы, в дополнение к моему очерку, описать великолепный ландшафт окрестностей, посмотрев на который русские [однако потом] ездили в Швейцарию. Природа в первобытной, девственной дикости поразительна, громадные темные горы, глубокие долины, леса безмятежно сменяются своими поколениями, два ледника, по льду которых текут порядочные реки, едва доступные для брода лошадям. Хорошо – не знаю, но странно видеть реку в ледяных берегах, с гладким, белым, ледяным дном. Для охотника видов, для поэта что шаг, то новая картина! Но я прежде оговорился и повторю, что я люблю только природу подметенную.

Реку Алдан можно назвать красавицей: в широкой, ровной, зеленой долине, в невысоких, но круто обрезанных берегах река не уже половины Невы, но, может, и несколько более, говорят, очень глубокая, вода светлая и, по-видимому, без [заметного] движения, гладкая как зеркало, но течение реки не менее от 2½ до 3-х узлов. Где родится Алдан, не знаю, а умирает в Лене. Рыбы разнообразной в реке множество и рыба чрезвычайно вкусна, может быть, оттого, что я был очень голоден. Старик-«вольнопропитанный», [бывший] матрос наделил табаком, а меня угостил чаем, хотя чай приготовлен был в котелке, но после дождя был очень вкусен.

Невольно явился вопрос?

– Откуда у тебя такая роскошь?

Старик отвечал, что его все наделяют купцы, которым он помогает перевозить товары, он и зиму без запаса не живет.

– Не скучаешь ты здесь один?

– Один бываю только зимою, и то раз в месяц проходит почта в Охотск и обратно; зимой тунгусы с оленями кругом, они и почту возят; зимой ловушки ставлю, лисицы попадают и другие звери, а летом всякий день гости: другой дороги нет, Алдан не объедешь.

Старик одет и обут был хорошо, караулка большая, везде чисто, с первого взгляда было видно, что старику живется хорошо.

### ***Очерки, рассказы и воспоминания Э..... ..ва***

*«Русская старина», сентябрь 1878 г.*

#### **III. Бунт архиепископа Иринея\***

Окончив долгую службу в Охотске и Камчатке, – называю долгою службой, потому что всякий, ехавший в тот край на службу, – обязан прослужить там пять лет; из всех флотских офицеров один я прослужил более двух сроков. Возвращаясь в Балтийский флот, проез-

---

\* Достоверность оценки Э.И. Стоговым эскапад Иринея подтверждают отклики, опубликованные в «Русской Старине» в феврале 1879 г.: «Всепопданейшее донесение Николаю I генерал-губернатора Лавинского из Иркутска от 23 сентября 1831 г.» (документ прислал А.Н. Сергеев из Одессы); «Примечания омского протоирея», укрытого за аббревиатурой Сул-кий (“<...>замечание Э.И. Стогова в «Бунте архиепископа Иринея», что литургии, совершаемые преосвященным Иринеем, в иной раз походили на ротное учение, вполне справедливо. В Иркутске до сих пор помнят и рассказывают и о других выходках архиепископа, кроме тех, которые приведены в названной статье”). – Примеч. М.И. Классона

дом прибыл в Иркутск, 1830-го года в ноябре. По заведенному обычаю все флотские офицеры, проезжавшие через Иркутск, останавливались в адмиралтействе, но в этот раз я не мог воспользоваться этим удобством и вот почему: начальником адмиралтейства был лейтенант Иванов. В Кронштадте его звали – француз *Иванов*.

Перед моим приездом он женился на удивительной красавице. Скоро после свадьбы он с прелестной женкой ехал на дрожках, лошади понесли. Иванов решился соскочить и переломил себе ногу; красавица ограничилась отчаянным криком, усидела, отделалась только обмороком. Когда я приехал в Иркутск, то уже было известно, что Иванов безнадежен – переломленная кость не могла срастись почему-то. Был я в адмиралтействе, но Иванов был уже в агонии. Доктор говорил, что больного не могли разлучить с женою.

Проезжая Иркутск в 1818-м году, в почтенном семействе полковника *Нараевского* я забавлялся с девочкою-замарашкой лет 4-х, а сейчас встретил такую красавицу, что ни в сказке сказать, ни пером написать! Мать ее тоже была красавица, встретила меня как старого знакомого; она была вдова, обе были спокойны и не сознавали, что и дочь – почти девочка – уже вдова [Иванова].

Весьма ласково принятый генерал-губернатором *Лавинским*, который, между прочим, сказал мне: «в адмиралтействе я начальник поверхностный, в хозяйство не вхожу, но полагаю, там найдутся какие-нибудь беспорядки: любовь, сватовство и свадьба – худые помощники службе. Петербург – далеко, переписка, назначение нового начальника протянутся долго; я должен назначить кого-нибудь из классных чиновников при адмиралтействе, но я ничего хорошего о них не знаю; если окажутся беспорядки, то это падет на уважаемый всеми морской мундир; вы явились кстати, я просил бы вас временно занять должность начальника адмиралтейства – сохранить честь товарища и поддержать уважение к почтенному мундиру».

Это так неожиданно ошеломило меня, что я нашелся только сказать: я не видался с отцом и родными 22 года.

– Я прошу вас остаться ненадолго, пока назначат другого. – Я попросил позволения подумать.

Просьбы матери, красавицы-вдовы покойного, старых знакомых Иркутска, а главное – я принадлежал к старому флоту, когда флот был особой кастой: единокровные, почти единомыслие, заветное товарищество, честь флотского мундира была принадлежностью всего флота – святыня! Недолго думал – согласился. Прилично похоронив товарища, я в адмиралтействе вот что нашел: много книг приходо-расходных за целый год – все белые, а уже декабрь. Магазины наполовину пусты. Недоставало казенных денег немного. Требования для Охотского порта не начато исполнять. Все это наделала любовь!

По русской пословице: взялся за гуж – не говори, что не дюж. Генерал-губернатор обещал мне всякую помощь, но что он мог помочь мне? Выучился я подписывать под руку покойного, засадил все грамотное [служивое племя], писались требования, отпуска, я подписывал бумаги и книги за Иванова. К сроку книги были кончены и отосланы. Прижал содержателей магазинов, и весною с благоразумною экономией пополнились магазины; заказы для Охотска исполнены, а подрядчики пополнили недостаток денег.

Вместо присылки другого начальника утвердили меня. Тут покривил душою *Лавинский*: он представил утвердить меня. Старик-отец мой написал мне: «ты кроешь чужую крышу, когда своя течет!». Чтобы кончить с красавицею-вдовою, скажу, что года через полтора я имел возможность содействовать и видеть ее супругою превосходного человека. Я считал исполненным мой долг окончательно к умершему товарищу и к чести мундира.

Иркутск был хорошо мне знаком еще в 1818-м году; много нашлось старых знакомых. Вообще, я не был чужим в городе, а по роду службы поверхностно подчинялся только генерал-губернатору, особенно доброму ко мне.

Управление адмиралтейства, где жил начальник, была прелестная дача\*, в красивой долине, версты полторы от крайних домов города: большой дом со всеми службами и удобствами, как отдельное поместье. Дом прилично меблирован, большой сад, который омывала речка Ида – в просторечье Ушаковка. Вода речки считалась минеральной – быстро заживляющею раны; на речке, почти в саду была устроена ванна, куда приезжал с дочерью Лавинский. Экипажи, лошади – все казенное. Команда, магазины, эллинг – на Ангаре верстах в трех.

Иркутск – город очень богатый и имел средства разбогатеть: восток и северо-восток свозили всех родов дорогие меха, юго-восток доставлял чай и шелки Китая. Отпускал Иркутск в те же страны произведения фабрик и товаров Москвы и заграничные, и не имел конкурента. Но зато в Иркутске и считалось много миллионеров: Медведников, Трапезников, Баснины, Серебряковы и проч.

После 1818-го года, в 12 лет не обошлось без перемены; тогдашний комендант, молодец, кавалерийский полковник *Цейдлер*, теперь губернатор и вовсе не молодец – сгорбился старик-стариком. Как кавалерийский мундир делал его красивым и смелым воином, так фрак и бумаги – согнули и сморщили его, но благородный, добрый и честный человек в нем не изменился. Купцы еще более разбогатели, стариков – заменили молодые.

Иркутское адмиралтейство было счастливо начальниками: в 1818-м году был *Кутыгин* – любимец Иркутска. Петр Степанович *Лутковский*, теперь вице-адмирал, оставил по себе прекрасную память. Впрочем, моряки счастливы, их везде ласкают. Мне не было труда в короткое время сделаться старожилом.

В 1818-м году в Иркутске был архиепископом *Михаил*; это был истый монах, смиренный, кроткий и – говорили – весьма ученый. Он долго управлял обширнейшею иркутскою епархией, но говорили, что по доброте и смирению своему, как выражались – распустил духовенство. Иркутск очень религиозен, владыку Михаила чтили как святыню. Церквей много в Иркутске. Обычай старый – в престольный праздник служит владыко, а богатейший прихожанин удостоивался угостить владыку обедом. Вот рассказ о покойном Михаиле.

Праздник в приходе богача Трапезникова; владыко милостив и ласков как всегда. У Трапезниковых, как у всех богачей, держались на дворе монгольские собаки – мохнатые, сильные и, по природе, злые до дикости. Эти собаки не покорялись человеку, который кормил их: на день собаку с побоями запирали в конуру, а на ночь – собака бегала по блоку. За обедом зашел разговор о породе этих злых собак. Владыко скромно утверждал, что человеку с твердою волею и упованием все твари должны покоряться; зашел спор, и [в нем] опирались на известную собаку Трапезникова.

По окончании обеда владыко пожелал видеть собаку. Вышли на крыльцо, и собака, выпущенная из темной конуры на свет, побежала по блоку с рычанием, как дикий зверь. Владыко молча подошел к собаке; бросились удержать архиепископа, он кротко рукою отстранил всех и тихо шел к собаке. У всех на глазах совершилось чудо: собака пятилась от владыки, поджала хвост и спряталась в конуру, зажмурилась и дрожала! Владыко скромно вернулся к гостям. Меня – молодого – сильно заинтересовал этот рассказ.

К доброму владыке не трудно было приласкаться: он любил играть в шашки, а я был игрок. Поклонами, просьбами упросил владыку объяснить мне этот фокус; это было уже перед моим отъездом в 1818-м году. Владыко взял с меня слово молчания и сказал, что в поле его рясы зашит невыделанный кусок кожи льва и будто это так сильно действует на инстинкт собаки, что к нему не приближается ни одна собака на улице. Другой рассказ: владыко, утром после сна, выходил на галерею, на плечо его садилась сорока и нос свой

---

\* Здесь и далее – участок земли под лесом или просто земельный участок, на котором могли располагаться постройки.

прятала в ухо владыки. После того архиепископ объявлял о вчерашних упущениях в семинарии – все рассказывала ему сорока!

Скончался архиепископ Михаил, заповедал похоронить себя под папертью близ дверей, чтобы все попирали грешный прах его. В Петербурге знали о распущенности иркутской епархии, но, должно быть, по уважению к Михаилу – терпелось. Скоро последовало высочайшее повеление в святейший синод: избрать и назначить в Иркутск *строгого и надежного*. Синод назначил пензенского архиепископа Иеринея\*, с прописанием в указе, как *строгого и надежного*. Говорят, все духовенство Пензенской губернии много служило молебнов за избавление от Иеринея.

По приезде нового владыки скоро Иркутск наполнился рассказами о строгости и странностях архиепископа Иеринея. Всякий день новость за новостью: то священник – на обязанности дьячка, то в монастырь на три месяца топить печи; не было дома без рассказов о владыке. Иркутск был поражен действиями Иеринея тем сильнее, что в сравнении с кротким покойником – был слишком велик и страшен контраст. Захотелось и мне посмотреть на владыку. В какой-то праздник, узнав, что будет служить архиепископ в соборе, явился я пораньше.

С самого начала до конца была не обедня, а ротное ученье:

– Ключарь, перевяжи галстух архидакону – узлом назад!

– Священнику не подобает носить смазные сапоги со скрипом – 20 поклонов!

Читающему дьячку:

– Стой! пропустил точку с запятой, читай снова – на коленях.

Священнику:

– Замолол, невнятно, читай снова, да не кобенься.

Певчим – всем доставалось. Настоящее ротное ученье!

Сам архиепископ делал большое впечатление. Ему было около 45-ти лет – среднего роста, сложен очень правильно, не сухощав и не расположен к толстоте; движения очень грациозны и выражают физическую силу и энергию; лицо мужественно, принадлежит к типу южных славян: густой брюнет, глаза черные, большие, полные блеску, взгляд быстрый, пронизательный; волосы черные без седого волоса, густые, длинные, но крупно волнистые, чем скрадывали большую длину; волосы казались тонкими и блестящими, борода черная, небольшая; голос самый чистый – грудной, мягкий тенор.

Владел интонацией голоса так гибко, легко, так верно и так хорошо, что я другого такого послушного голоса не слышал! Обыкновенную молитву, сказанную им в алтаре: во имя Отца и Сына и Святого Духа и ныне и присно и во веки веков – я и теперь, по прошествии 46-ти лет, диво слышу! Слова: и ныне и присно и во веки веков – какую-то магическую волю голоса уходили в *веки веков!* Подражать владыке Иеринею – невозможно! Вообще, что касалось до служения его особы – было превосходно.

В[о] всякое служение он говорил поучения экспромтом, поучения – всегда строгие к слабостям, без снисхождения, пороки громил и предавал анафеме, говорил просто, понятно, но рылся в слабостях мужчин и женщин без милосердия, как химик доискивался начала всех начал. Раз, в женском монастыре, говорил поучение, так глубоко объяснил им принятый ими обет и закончил таким грозным эпилогом – поразил их смертью без прощения за нарушение обета в их сане, казнь по смерти сторицею, неизбежность ада; последний период проповеди был: смерть, ад, власть дьявола, геенна, жупел, вечное терзание – смерть здесь, смерть там, смерть, смерть!

Все монахини рыдали истерически, некоторых вынесли в обмороке. Об этом долго говорили в городе. Знакомая мне купчиха рассказывала, что, слушая, она была не своя: и

---

\* Кажется, такого имени нет: есть Иреней – но так тогда звали. – Примеч. Э.

холодно, и жарко, и земли не чувствовала под собою, а уж как жалостно было смотреть на матушек-монахинь!

Обычай – в церковные праздники просить владыку на обед – не изменился, но и тут редко проходил обед без критического взгляда на нравы хозяина и гостей, и часто владыко уходил гневен. Не рады были такому гостю, но обычай пересиливал. Один раз знакомый купец (не важный, но не помню фамилии) приехал и пристал с просьбою – у него обедать и что будет владыко. Как я ни отговаривался – поехал. Владыко избрал себе место по левую сторону хозяина, меня посадили по правую хозяина[, сидевшего во главе стола]. Владыко обратился ко мне:

– Вы моряк, астроном?

– Точно так, владыко, без астрономии не найдешь дороги в море!

– Ну, а как по-вашему: земля вертится или солнце ходит?

– Для астрономических вычислений нет никакой разницы, и мы говорим – восходит и заходит солнце.

– Ну, а как ваша наука учит?

– Приказывают говорить, что земля вертится.

– А Иисус Навин сказал: стой, солнце!

– Я глубоко верю в [Священное] писание и сделал моему профессору это возражение; он мне отвечал: это святая истина, но после слов Навина солнце остановилось, и стала вертеться земля.

Владыко непритворно смеялся. Перешел разговор, [когда] подали огромного осетра. Владыко, смотря на меня, сказал:

– Господь сотворил все на службу человека.

Я с покорностию наклонил голову и сказал: Аминь! Но чрез минуту рассказал, что, собираясь в далекий морской поход, я нагружал разную провизию и видел суету мышей [на корабле], как они хлопотали и пробовали все съестное: всякий бы поверил, что мыши верили – провизия грузится, собственно, для них. Владыко хохотал: ему нравилось, что я, не противореча ему, соглашаюсь с ним, но скоро и разбивал его.

– Вы видали в океанах левиафана?

– Китов видал сотни.

– Очень большая это рыба?

– Да, владыко, больше этого дома; бывают до 15-ти сажень.

– Как же по-вашему, может человек жить в утробе этой рыбы?

– Это, владыко, сказано в библии об Ионе?

– Да.

– Если б в святой книге было сказано, что Иона проглотил левиафана и тот жил в утробе Ионы три дня, то уверяю, я так же, несомненно, верил бы. Для Бога все возможно: я верю не испытую.

Владыко опять усердно смеялся и даже благословил меня через стол. В подобных разговорах прошло несколько обедов. Хозяин и гости уверяли, что владыко никогда не был так весел и милостив. Этот[, первый] обед сделал то, что все упрашивали меня на обед с владыкой – хорошо, что было редко. После нескольких обедов владыко приказал мне быть у него на чашку чая. У него, без свидетелей, я, все с той же манерой почтительности и покорности, разыграл роль умеренного вольнодумца, что, кажется, забавляло его: может, новость идей, может – и то, что он не мог говорить так по своей обязанности.

Когда я сказал ему о странности видеть такого пылкого, энергического характера, таких полных сил мужа – в монашеской рясе и смиренном сане, архиепископ Иериней сверкнул глазами и сказал:

– Я давно ношу фонтанели\* на руках.

Владыко затем продолжал: «ты разумен, что при посторонних не споришь со мною».

Обеденные мои разговоры я для шутки рассказывал генерал-губернатору.

В день Александра Невского генерал-губернатор и все чины были в соборе, наполненном до тесноты народом; служил архиепископ. После службы владыко с посохом вышел на амвон; объяснил кратко жизнь Александра Невского, сказав, что все победы дал ему Бог за твердую его веру, он ловко перешел к наставлению удаляться от людей, имеющих вид доброты, кротости; эти люди, часто имея значение, пользуются любовью общества, обладая способностью сладкой речи; эти люди никогда не спорят, но под видом согласия и изворотливости наводят на мысли неверия, ведут к соблазну; речи их подобны меду, но с ними сердце поглощает яд сомнения, и проч. и проч. – чуть не нарисовал моего портрета.

Во время поучения владыко с довольной миной посматривал на меня. Закончил наставлением – убегать [от] таких людей как заразы, губительной для души. Не пожалел черной краски для меня владыко! помню, я очень покраснел. Лавинский обернулся ко мне и тихо сказал: «в твой огород камни летят». Подходя к кресту, я сказал: «Благодарю, владыко!».

– Извини, как печка печет!

После службы вся интеллигенция – к владыке на пирог. Завтрак всегда роскошный от купцов – это тоже обычай. Владыко, благословляя, смеялся и шутя спросил:

– Как ты узнал себя?

– Хорошо вам, владыко, бранить меня, когда я не мог возражать вам.

– Это мое право!

На берегу Ангары стояла церковь; большое, сухое, ровное место на обрывистом берегу великолепной Ангары, с хорошим видом к устью реки Иркут – было любимым местом для прогулок. Вздумали насадить тут кустарников и сделать дорожки. Владыке Иеринею это показалось святотатством, он потребовал уничтожения кустарников; его не послушали. Он, чтобы поддержать свое требование – написал, что служа из алтаря видел *творящийся блуд* под кустом – и на это не обратили внимания.

У генерал-губернатора была любимая близкая церковь. *Лавинский* до страсти любил музыку и был знаток. В этой церкви, кроме украшений современного вкуса, был превосходный хор певчих из казаков; отличные голоса и верность исполнения самых трудных концертов были неукоризненны. Протоиерей с причтом – во всем была гармония. Владыко начал нападать на причт этой церкви.

Во всем городе только и слышались жалобы на владыку. Духовенство, духовные правления приносили жалобы и просили защиты у генерал-губернатора. Строгость владыки доходила до неприличия; я теперь не помню многого, но, по рассказам, иногда доходило до скандалов во время служения. Владыко любил повторять: «я власть, я наместник Христа, другой власти нет!» и тому подобное. Много было мелочей, но ими был полон город. Генерал-губернатор написал к обер-прокурору синода. Иеринею пришло замечание – это рассердило владыку...

Не помню, в какой праздник, мы все были парадно в соборе; генерал-губернатор в мундире, залитом шитьем. Без ротного ученья не обошлось. После совершения таинств священник, выходя из царских дверей с книжкою для прочтения молитвы: «Благословляю» и проч., по принятому обычаю делает легкий поклон старшему в церкви. Только поклонился священник Лавинскому, как владыко из алтаря вернул священника.

---

\* Искусственные язвы, ошибочно считалось, что они излечивают внутренние болезни.



– Кому ты кланялся? ты – пастырь, кланялся овце твоего стада? ты молишься золотому тельцу!

Распушил священника голосом на весь собор. Лавинский не показал и вида, что заметил непристойность. Мне очень хотелось сказать, что это не в мой огород камень – да не посмел.

Бумаги летели в Петербург. Все подробности духовенство сообщало синоду. Материала было много! Осенью пришел указ (вот изменила память) о вызове или удалении архиепископа – *по расстройству умственных способностей*. Генерал-губернатору поставлено в обязанность озаботиться и оказать возможное содействие к спокойному путешествию владыки. Архиепископ, получив указ, нашел его поддельным, так как на указе не было сургучной печати, а просто: М.П., т.е. место печати. Опираясь на какой-то закон Екатерины, что если указ покажется сомнительным, то сомневающийся имеет право – потребовать указ с печатью сургуча, Иериней заявил свое сомнение в подлинности указа официально.

На сомнение Иериней не обратили внимания, удобная карета была готова. Не помню какой был праздник – не большой. Коллежский советник, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе – Александр Иванович *Голубев*, еще до обедни, явился к владыке и доложил, что он прислан для услуг его высокопреосвященства в пути и ожидает приказаний. Я должен заметить, что Голубев был *вершков 10-ти* ростом\*, брюнет, сильного сложения. Владыко саркастически улыбнулся и сказал: «Экого славного выбрали молодца! Ловко распорядились: ты повезешь меня; такому великану-богатырю не трудно будет задушить меня и потом сказать, что я – как сумасшедший – задушил себя сам... не дурно придумано!».

Владыко крепко взял Голубева за руку и сказал: «пойдем!». Иериней привел Голубева к перевозу через Ангару; там стоял унтер-офицерский караул; владыко приказывал взять Голубева под караул, но унтер отказался – без дежурного офицера по караулам. Иериней, не выпуская руки Голубева, повел его на главную гауптвахту, где, по приказанию владыки, караульный офицер посадил Голубева под арест.

Мимо гауптвахты проходил правитель канцелярии генерал-губернатора Кибрит и, видя караул в ружье и владыку на плаце, подошел, чтобы узнать, в чем дело. Владыко, зная Кибрита, и его посадил на гауптвахту. В это время я ехал из адмиралтейства поздравить с праздником Лавинского; дорогою, узнав историю на гауптвахте, проехал прямо к Лавинскому и доложил, что узнал.

Большая площадь: на южной стороне дом генерал-губернатора, на северной – главная гауптвахта, к западу – гостиный двор, к востоку – улицы и частные дома. Лавинский в это время часто страдал геморроем. Слушая меня, морщился и сказал: «еще глупости, пусть постоит и уйдет». Я был того мнения, чтобы не вышло чего серьезного, ведь это владыко! Лавинский крикнул, надел фрак со звездой и пошел немедленно со мною на площадь.

Подходя, видим Иериней расхаживающим большими шагами перед фронтом солдат; несколько народа от гостиного двора; слышим, Иериней громко говорит, что он знает не хочет гражданского начальства, с которым он стоит перед государем *на одной доске*; суд государя решит кто прав. Лавинский что-то тихо, почти шепотом сказал Иериней, а тот еще громче доказывал, благословляя подходящий народ, что он донес государю о всем и что солдат кормят мукой с песком. Говорил громко, скоро и благословлял.

Лавинский приказал караулу идти в караульный дом. Молодой офицер не повиновался. Я громко скомандовал: напра-во! скорым шагом, левое плечо вперед – марш!! Хотя я и моряк, но штаб-офицер, а главное русскому солдату – команда! Караул, как машина, по-

---

\* 2 аршина (142,2 см) и 10 вершков, т.е. 142,2 + 10 x 4,4 ≈ 186 см.

виновался. Иериней на разные манеры твердил одно, что он знать не хочет гражданского начальства, которому не верит, а отдает себя под охрану военному начальству и народу! Не помню, кто подъехал и докладывает Лавинскому, что комендант болен.

Как теперь гляжу на Иеринея: он сознавал, что переступил через Рубикон! День был прохладный, но Иериней весь горел, снял клобук; по прекрасным его волосам струились капли пота, он был прекрасен, это был азартный игрок и играл – быть или не быть! Народ подходил более и более. Иериней, благословляя народ, решился говорить, что он с крестом в одной руке и с мечом в другой готов защищать и стать в голове народа, который страдает от гражданской власти.

Надобно заметить, что еще шла обедня, на базаре еще не съезжались и народ еще был трезв, и еще заметка – в Сибири лаптей не носят\*. Дело становилось слишком серьезно! Когда доложили Лавинскому, что комендант болен, он обернулся ко мне и сказал: «привези». Необходимо ознакомить с комендантом; это был генерал-майор по кавалерии, дослужился из кантонистов и был простак; имел много ран, а дипломов на ордена – целую стопу: кажется, вся Европа давала ему ордена, начиная с низших степеней и до высших. Фамилия его была *Покровский*, а имени его, кажется, никто не знал.

По приказанию Лавинского я бросился на дрожки и марш-марш! Нахожу коменданта – здоровешенек! уже начернен, набелен и кончил румяниться – без этого он не выходил из дома. Оказалось, что комендант имянинник и полагал, что я приехал поздравить его. Я передал ему приказание генерал-губернатора; комендант отвечал, что ему нездоровится, да и что он будет там делать? Комендант, видимо, трусил, хотя и был храбрец на войне.

– Надевайте мундир, ваше превосходительство; хотя мертвого, но отвезу вас, в том даю вам честное слово! а что вам делать – расскажу на дрожках.

Минуты были слишком дороги и серьезны, я сам подал ему мундир и почти силой увел и усадил в дрожки. Дорогой научил его подойти к Иеринею и сказать ему, что как главная военная власть берет охранение его под свое покровительство и честию ручаетесь за его спокойствие, возьмите под руку и уведите домой. Подъезжая, я махал караулу, барабанщик чуть не поход пробил, караул, честь – все исполнено важно! Иериней продолжал возмутительно говорить к народу. К счастью, не было семинаристов, которые очень были преданы владыке. Мне кажется, недоставало начального голоса в пользу Иеринея.

Румяный комендант подошел молодцом и, как по писаному, объявил Иеринею. Тот стал, было, говорить о своих правах; комендант взял Иеринея под руку и дал ему слово выслушать его дома. Иериней сверкнул глазами на народ и, не видя ни в ком участия к себе, пошел с комендантом. Генерал-губернатор и все мы молча пошли за ними. В это время из всех церквей выходил народ и частью следовал за нами. Всю дорогу Иериней говорил с жаром, внушал коменданту, почему он не может верить гражданскому начальству и проч. Комендант, может, и не понимал, молчал и прибавлял шагу.

Довели архиепископа до его кельи, и все мы вошли за ним. Лавинский заглянул в другую комнату, Иериней громко сказал: «там у меня деньги, могут пропасть!». Обернулся ко мне: «вы обесчестили свой мундир золотой тем, что стали против меня». Я отвечал: монаху принадлежит смирение, вы учите нас покорности и повиновению; смиритесь, владыко! Он зло взглянул на меня и быстро повернулся.

Была и комическая сцена: явился прокурор – презабавный человечек, небольшого роста, с очень большим брюхом, на коротеньких и как флейты тоненьких ножках. Раздраженный и красивый архиепископ начал излагать прокурору все свои неудовольствия и права от А до Z, говорил около часу. Забавная фигура прокурора точно окаменела, ни одна фиб-

---

\* В России сапоги носят: кулаки, мироеды, подрядчики – народ более развитой. В Сибири все в сапогах, простака-лапотника нет. – Э.

ра в лице не дрогнула; прокурор не произвел звука и не мигнул глазом. Иериней кончил, прокурор повернулся. Я после спросил его, что говорил ему владыко?

– Не знаю, не понял и не слышал, – отвечал мне прокурор.

Я искренно поверил ему.

На двор архиепископа привели роту солдат с ружьями и боевыми патронами. Мы все пошли в дом генерал-губернатора, составили подробный акт происшествию и подписались более 100 человек свидетелей. Казацкий офицер в тот же день полетел с донесением к государю.

День был праздничный, много съехалось на базар; после полдня пьяные и трезвые толпами толковали об обиде владыке. Ошибка была в том, что не заперли семинаристов; они шатались между народом и волновали. Я вооружил своих сотню матросов, были у меня 3-х фунтовые пушки; моя армия ночью охраняла дом генерал-губернатора. Через двое суток говор и шум в народе успокоился.

Кстати, расскажу. Тогда в Иркутске был полицеймейстером Александр Николаевич *Муравьев*; он был полковником колонновожатых<sup>\*</sup>; известно, что он был организатором общества 14 декабря, но после отстал, когда общество изменило цель, дух и направление. Он был сослан в Якутск, не доехал – назначили в Верхнеудинск. Я уже застал его полицеймейстером в Иркутске – хорошо ученый, вполне честный человек; мы были очень дружны. Он хорошо фехтовал на рапирах, а я был ученик Севербрика – первый по корпусу.

На гауптвахте был и Муравьев; смотрю – глаза горят у моего друга и весь как-то возбужден! Я говорю ему тихонько: чтобы не дошло до катастрофы? Он быстро мне сказал: «ничего, вы возьмите ружье, я возьму другое, станем спинами, нас скоро не одолеют; а потом мы станем в голове, может, выйдет к лучшему». Я тогда подумал: каков в колыбельке, таков и в могилке.

Шум архиепископской катастрофы улегся; сначала интересовались, как поживает и что говорит Иериней, но скоро и забыли о нем. Духовенство радовалось. Шаловливость моя тянула меня повидаться с плененным архиепископом и подиспутировать по знакомству, но запретил Лавинский. Наступила зима. Иркутск веселился. Кажется, не ошибаюсь, в Николин день – бал у генерал-губернатора; я отличный танцор, из лучших учеников Да-Росси и единственный в Иркутске с густыми эполетами. Только кончил французскую кадрили с дочерью Лавинского, как он подозвал и быстро сказал: «иди вниз, распорядись, да ни гу-гу!».

Сбежав во флигель, нахожу – трое в шубах, еще в снегу – это были: жандармский полковник *Брянчанинов*, флигель-адъютант *Гогель* и фельдъегерь капитан *Иностранцев*. Они приехали весьма секретно. Я распорядился напоить и накормить их. Они хотели знать об Иеринее, но зачем приехали – молчали. Бал продолжался своим чередом; для приличия я явился на бал; там никто и не подозревал, что есть секретные гости. Лавинский украдкой сходил к ним. В конце бала приказано всем подписавшим акт явиться утром.

Утром все собрались к генерал-губернатору и отправились к Иеринею. Много пришло в комнаты архиепископа; он сидел в кресле и не встал при входе генерал-губернатора, который представил приезжих. Флигель-адъютант подал запечатанный рескрипт государя, который был показан Иеринею и в котором повелевалось генерал-губернатору: архиепископа Иериню, по расстройству умственных способностей, передать жандармскому полковнику Брянчанинову для дальнейших распоряжений. Привезли указ [синода] с сургучною печатью.

---

\* Московское училище колонновожатых (1816-1826) готовило офицеров Генерального штаба русской армии.

Иериней слушал и смотрел с улыбкою, как будто видел забаву. Трудно было догадаться, что думал Иериней. Фельдъегерь Иностранцев стоял у дверей; архиепископ вдруг спросил: «а ты кто такой?» – обращаясь к Иностранцеву; тот назвал себя фельдъегерем. Иериней непритворно рассмеялся: «а почему у тебя черное перо?». Обращаясь ко всем, сказал строго: «убирайтесь все вон! я комедий не люблю, да и не умеете наряжаться». Тогда Брянчанинов, громадного роста (вершков 11-ти<sup>\*</sup>), подошел к Иериней и что-то шепнул ему на ухо<sup>\*\*</sup>. Вдруг переменялась сцена: Иериней встал со смиренным видом, положил руки на груди, поцеловал подпись государя на рескрипте и покорился безусловно.

История с султаном Иностранцева такая: дорогой, на перекладной, заготавливая лошадей, он потерял свой белый султан; в Иркутске кавалерии нет, он взял у [пехотного] офицера черный султан. Мы никто не заметили и были крайне удивлены, как обратил внимание Иериней на цвет султана. Тем и кончилась история, в свое время наделавшая так много шума – надобно принять в соображение, в каком отдаленном крае и каким элементом населенном крае, по русской пословице: от копеечной свечки Москва сгорела.

Экипаж и все удобства для путешествия Иериней были готовы, Брянчанинов не медлил, Иностранцев полетел заготавливать лошадей. Рассказывали, что у кареты Брянчанинов сам запирает дверцы на ключ; на [почтовых] станциях не позволялось подходить к карете. Чем же кончил Иериней? Я слышал, что он был помещен в Прилуцком монастыре (Вологодской губернии) на обязанность дьячка, хотя не был лишен ни сана, ни орденов. Далее ничего не слышал.

Иностранцев, гостив у меня, много рассказывал историй – странные и трудные иногда бывают поручения фельдъегерям! Да и молодчина же был Иностранцев. В 1854 г. я держал в южной России почтовую станцию, тогда не было телеграфов. Фельдъегерь капитан – все-таки капитан Иностранцев – мчался из Питера под Силистрию с повелением ретироваться нашим войскам – тогда удивила своею неблагодарностью Австрия целый мир!<sup>\*\*\*</sup> Австрия верна себе и до сего часа! За 1854 год сколько потеряла Австрия! Что-то будет теперь? В 1854 году, встретившись с Иностранцевым, мы узнали друг друга. Я удивился неустанной его фельдъегерской физике, а он, глядя на меня, подивился – как швыряет судьба людей.

А вот один из многих анекдотов, по поводу Иностранцева. Император Николай собирався выехать из Тулы; недавно выпал снег. Государь, незаметно для свиты, вышел по черной лестнице и крикнул: «№ 1-й, фельдъегерская!». Подкатил на санках тройкою парень лет 20-ти. Государь сел в сани и сказал: «пошел!». Промчалась тройка верст пять, ямщик лихой, правит стоймя. Сначала ямщик робко оглядывался, а потом сказал про себя:

---

\* 2 аршина (142,2 см) и 11 вершков, т.е. 142,2 + 11 x 4,4 ≈ 191 см.

\*\* Посмеем предположить: «Не подчинишься рескрипту государя, закуем тебя в кандалы, оденем в арестантский халат и в таком виде отвезем в Петербург!» – Примеч. М.И. Классона

\*\*\* Современный г. Силистра на Дунае.

*«К середине XIX века турки в Силистре имели развернутую сеть крепостных сооружений. <...>Взять такие укрепления было возможно только при огромном напряжении сил и с невероятными потерями. Их осада в русско-турецкой кампании 1854 года была правильным решением. Под стену крепости был сделан подкоп. Ждали сигнальной ракеты для взрыва, и крепость должна была пасть. Но, по требованию Австрии, император Николай I, в июле 1854 года, снял осаду Силистры».*

*«Полной блокады крепости достичь не удалось. Гарнизон получал помощь извне. К июню он вырос до 20 тыс. чел. 9 июня 1854 г. предполагалось провести новый штурм. Однако из-за враждебной позиции Австрии, двинувшей к границам Дунайских княжеств 80-тысячную армию, положение осаждавших стало ненадежным. Тем более что в мае в районе Варны высадились англо-французские войска (70 тыс. чел.). Русские войска за Дунаем могли попасть под двойной удар. Подобный поворот событий вынудил генерала М.Д. Горчакова отказаться от штурма, снять осаду и отвести 11 июня войска на левый берег. Потери русских за время осады составили 2,2 тыс. чел. К сентябрю Дунайская армия отошла за Прут, на российскую территорию». – Несколько противоречивые данные из Интернета*

«вишь ты, не дерешься, добрый». Погодя опять оглянулся: «ребята говорили, что ты больно дерешься, а ты смирный». Всю дорогу дивился ямщик, что государь не бьет его.

Тройка была – Иностранцева. Свита сбилась с ног – где государь? догадались и решили ехать. Государь говорил: «хорошо прокатиться под именем Иностранцева – я никогда так отлично не ездил». Это рассказывал мне один флигель-адъютант в Киеве...

В настоящем очерке я довольно много говорил об Александре Степановиче Лавинском; хочу несколько с ним познакомить моих читателей. После Сперанского сделан Лавинский генерал-губернатором иркутским, енисейским (красноярским) и якутским и пробыл, помнится, 14 лет. Лавинский был очень добрый человек, с большим тактом главного администратора. Лавинский все знал, что делается, на маленькие злоупотребления он смотрел снисходительно, а большие останавливал тем, что давал знать стороною, что это дело ему известно.

Как генерал-губернатор, может быть, он выскажется в моих рассказах. Но кто же он? Я вот что знаю: он незаконнорожденный сын *Головина* и *Ланской*; откинув от фамилии отца слог «Го» и прибавив конец фамилии матери – составила фамилия сына. Богатые родители дали ему состояние. Лавинский был неудачно женат – если не забыл – на *Закревской*; имел одну дочь *Елисавету*, которую надобно было лечить в Париже. С дочерью уехала и мать, там перешла в католицизм и дочь сделала католичкой.

Император Николай пожелал, чтобы Лавинский жил с женою. При мне приехали жена и дочь Лавинского; жена была нафанатизирована до крайности, она не могла видеть православного без отвращения! Ей было устроено особое отделение в доме, особая прислуга и экипаж, была каплица\* и ксендз. Дочь, лет 20-ти, почти не говорила по-русски; отец очень любил ее и скоро сделал православной.

Лавинский не жил в большом доме, там давались только балы, а жил во флигеле при доме, в три окна; в нижнем этаже жил отец, а в верхнем – дочь. Бывало, у генерал-губернатора бал, весь город веселится; среди бала присылает жена и требует прекращения бала – шум де мешает ей молиться. Александр Степанович выслушает, загнет русское непечатное слово – и продолжают танцевать. Дочь сделана фрейлиной. Лавинский богат и в милости... О службе своей он говорил мало.

Он был губернским почтмейстером в Вильне, и это я знаю потому, что когда он получил список – чьи письма должны подпечатываться и прочитываться, Лавинский мне сказал: «я всегда разрезывал конверт и не читая посылал по адресу; скоро сделались осторожны и «запретных» писем не посылали».

В 1810 и 1811 годах Лавинский, если не ошибаюсь, был губернатором в Вильне. Поляки были преданы Наполеону и льстили Государю. Устроили за городом бал для рандеву с красавицей Тизенгаузен\*\*. Бал, так потом болтали, был средством предать Государя Наполеону. Бал в разгаре. Государь одет по бальному – в чулках и башмаках – прекрасен и весел. «Мне докладывают, – рассказывал Лавинский, – что приближаются французы. Я доложил [в свою очередь] генерал-губернатору, князю полуглухому (боюсь перевернуть фамилию – забыл), он замотал головою и руками – нельзя, не смею. Докладывают другой, третий раз, что французы близко. Я решился прямо доложить государю. Вывел незаметно государя по черной лестнице. Экипажей нет ни одного; я предложил государю мою английскую верховую кобылу, накинул на государя мою бурку, провожал его один казак».

Бурку эту я видел в 1822 году. Министр двора князь Болконский, по приказанию государя, при отношении, с благодарностью возвратил бурку; зеленой тафты подкладка изношена в полосах. Лавинский хранил и очень дорожил этой буркой. Наполеон очень ми-

---

\* Каплица – небольшая (чаще неправославная) часовня — выделенное помещение с алтарем.

\*\* См. «Записки Шуазель-Гуфье, рожденной Тизенгаузен», напечатанные в «Русской Старине», изд. 1877 г., том XX, стр. 579-632. – Примеч. ред. «Русской Старины»

лостив был к Лавинскому; если не ошибаюсь, Александр Степанович оставался губернатором при входе и выходе из России французов; меня уверяли, будто благодарные виленцы поставили столб с надписью в память Лавинскому. Но все это передаю как слухи и рассказы, ходившие в мое время, отнюдь не ручаясь за достоверность.

В 1832 году Лавинский просился из Сибири, но получил рескрипт, в котором государь просил остаться и выразился так: «Если я и найду вам равного по достоинству, то где найду вам равного по опытности». При этом табакерка с портретом и бриллиантами, тысяч в пятнадцать рублей. Александр Степанович, показывая мне рескрипт и табакерку, с неудовольствием сказал: «вот так и держат в ссылке». Ему хотелось в Питер, для дочери.

Узнав из слов Лавинского, что он бросит должность, я, оставленный против воли и не желая быть в Иркутске без Лавинского, тихонько перепросился в Кронштадт. Месяца через четыре приехал Лавинский [из Иркутска] в отпуск; у него был свой дом в [питерской] Коломне. Я встретил его и провожал во дворец; меня удивило, что он был в вицмундире без орденов, в узких панталонах, в башмаках и без шпаги.

Государь представил Лавинского государыне и при этом сказал: «вот кто охраняет нас на востоке», а Лавинскому: «ну, что же ты не поцелуешь мою хозяйку?», государыня подала ему руку. Возвратился Лавинский [после аудиенции] не в духе и сказал: «я объявил Бенкендорфу, что в Сибирь не поеду, – немец страшит гневом Государя – пусть как хотят!». Бенкендорф, приезжая, долго уговаривал, но Лавинский решительно отказался. Государь гневался: Лавинского – в сенат, но ненадолго; скоро, а именно 1-го января 1836 г. – членом в государственный совет. Умер он в 1844-м году – в чине действительного тайного советника.

Лавинский, оставшись в Питере, попал опять в милость; однажды Государь говорит ему: «а, кажется, мы погорячились с твоим архиереем (Иеринеем): оказывается, что он не столько виноват. Я хотел поговорить с тобою подробно». Лавинский был крайне удивлен и нашелся только сказать: «Государь, об этом происшествии я представил акт за подписью более 100 чиновников-свидетелей».

– Ах, правда, об акте я и забыл, то и говорить нечего, а мне представляли это дело в другом свете.

Вот какую силу и при каком государе имели представители черного духовенства. Выше упомянуто, что к Иеринею являлся Голубев. С Лавинским выехал и он с женою. Лавинский, желая определить Голубева в Питере, обращался во все министерства; как только упоминалась фамилия Голубева – решительный отказ! Даже [тогдашний министр финансов граф Е.Ф.] Канкрин откровенно сказал: «батуска, Голубеву дать место не могу!». Так Голубев места в Питере и не получил. Лавинский вымолил у Канкрина для Голубева частное место, управляющим суконною фабрикою, кажется, в Курской губернии. Вот сила сторонников смещенного Иеринея!

Я слышал от Лавинского, что митрополит *Филарет* писал к Иеринею: «Дай нам средство смыть пятно с имени святителей, помоги нам своими объяснениями и указаниями; а врагам твоим мы сами найдем орудие отомстить». Иериней отвечал: «Безумные вы! вы в слабоумии своем признали меня лишенным умственных способностей, чего же вы можете требовать от безумного? Бессильны вы».

Прочитавши об Иеринее, многие подумают, что он был сумасшедший. Я, как личный и близкий свидетель, могу уверить своих читателей, что он действовал в совершенно здравом уме. Честолюбие и привычка властвовать осилили его, энергия и самонадеянность тянули его к полному господству в крае; видя препятствие в гражданской власти, надеясь на влияние своего сана, он задумал взволновать такой отдаленный край – а нравы ссыльных, людей порочных, давали ему надежду легко взволновать – потом, ставши в голове

волнения, усмирить и повергнуть покорных государю. Вот его затея – не удалась, сорвалось! да мало ли сколько затей не удастся.

Примечание. В следующем очерке расскажу о пребывании Сперанского в Иркутске в 1818 году. Впоследствии, если никто не помешает, познакомлю читателей «Русской Старины» с Дмитрием Гавриловичем Бибиковым. Был Бибиков и умер Бибиков – только! Бибиков был лет 16 губернатором Юго-западного края, был, можно сказать, владетельный герцог края, полный генерал, генерал-адъютант, член Государственного совета, наконец, Министр внутренних дел. Умер в Дрездене, без аксельбанта, без мундира, без пенсии. Умер, как я слышал, на каменном полу, в одиночестве! Кроме меня, едва ли кто его знает и никто не узнает, потому что после него не осталось и не могло не остаться ни одной строчки.

Не забуду, так расскажу о Бенкендорфе, о Паскевиче, о князе Меншикове – какие это все гиганты издали, но, увы, только издали, а подойди близенько... Вот Михаил Семенович Воронцов, тот и близко не теряет...

Не знаю я, как понимают теперь Сенковского? а я и теперь его почитываю. Я был лично знаком с ним и содействовал к напечатанию рассказа «Большой выход у сатаны». Мой двоюродный брат, Василий Семенов, тогда был цензором, и мы вместе надули Бенкендорфа.

Я племянник Анны Петровны Буниной – десятая муза, и бывал на беседах русского слова у Державина, помню его экспромт. В зале, в два света, неширокое место отделено колоннами; в этом отделении длинный стол, несколько литераторов за столом с тетрадками; большое зало унижено возле стен дамами. Вышел Державин чрез маленькую дверь прямо к председательскому креслу, в собольем опашне, в собольей высокой татарской шапке; по левую его сторону сидел граф Д. Хвостов. Говорят, тогда Державин переводил Пиндара. Хвостов скрипучим голосом к Державину, который сел полуоборотом к нему:

– Пиндар Романович!

Державин не обернулся. Хвостов повторил:

– Пиндар Романович!

Державин, не оборачиваясь, нараспев сказал:

– Хвосты есть у лисиц, хвосты есть у волков, хвосты есть у кнутов – так берегись, Хвостов!

По большой зале прошел шепот, и одна из присутствовавших записала изречение маститого поэта.

Э.... .....в.

#### **Очерки, рассказы и воспоминания Э..... .....ва**

«Русская старина», ноябрь 1878 г.

#### **IV. Сперанский и Трескин в Иркутске, 1819 г.**

В конце 1817 года приказ главного командира Кронштадта вызвал лейтенанта и двух мичманов, желающих служить в Охотске. Что касается меня, я обдумал и решил: в Кронштадте очень нехорошо, так много офицеров, чтобы попасть в поход, надобна протекция. Содержание слишком бедно, жить едва можно. Может быть, и в Охотске нехорошо; если я не найду там лучшего, то увижу новое – все-таки выигрываю! Эта посылка глубокого и мудрого размышления решила: еду!

Узнаю, объявили желание до сорока человек! трудно надеяться на счастье. У меня был дядя Бунин; тогда он был знаменитостью во флоте, он всю службу был адъютантом адмирала Ханыкова и был дорогим другом – всего флота. О нем со временем расскажу, а теперь упомяну, что он единственный учредитель клуба в Кронштадте; клуб, праздная день

своего учреждения, и до сего времени не забывает выпить за здоровье Ивана Петровича Бунина. Жизнь в Кронштадте так была нехороша, что если б была экспедиция в ад, то много бы нашлось охотников.

Я обратился к дяде, прося его содействия. Оказались избранниками: я, товарищ мой по выпуску *Повалишин* и лейтенант *Воронов*. С нами отправлялись 25 человек матросов – тоже охотников, да два пожилые штурмана – классические пьяницы. Получив полугодовое жалованье и прогоны, в начале лета пустились мы в неизвестную тогда страну. Не было ни одного служащего, возвратившегося из Охотска. Охотск, Камчатка – тогда были настоящие *terra incognita*. Для экономии мы купили большую повозку и уместились трое.

Описать наше долгое путешествие – пришлось бы описать Россию 60 лет назад, но с этим не совладать мне; взгляд, понятия юноши-моряка не были подготовлены к тому. Могу сказать, что нас везде ласкали, по городам отлично кормили, чуть получше город – танцы, везде упрашивали погостить. Не раз я слышал на вечерах, как старухи говорили: «какие молоденькие, а за что-то едут в далекую ссылку». По три матроса ехали на подводе в одну лошадь, а крестьяне давали каждому по паре и благодарили, если матросы сами правят: пора была рабочая.

Крестьяне, узнав, в какую далекую страну едем, отказывались от прогонных, кормили возможно лучшим образом и не припомню, чтобы хоть раз согласились взять деньги; говорили: «такой далекий путь, вам, голубчики, придется нужду терпеть; Христос с вами, помощи вам Бог, мы дома в тепле». Кланялись, провожая, бабы совали матросам лепешки, яйца, дарили полотенца, на рубашку. Добра и ласкова тогда была Россия!

Приехали мы в Омск. Знаю, теперь там пребывание генерал-губернатора Западной Сибири, но таков ли Омск теперь – не знаю; расскажу, каков он был тогда.

На реке Оме и Иртыше, на краю киргизских степей, была крепость с очень высоким земляным валом: это и был Омск. В крепости сосредоточивались все управления корпусной квартиры, всего сибирского войска; тут жил и корпусной командир *Глазенап*, который перед нашим приездом умер; его скромный дом и был нашею квартирою. Комендантом был полковник *Иванов*; он и его семейство, можно сказать, были единственные вполне цивилизованные люди по-петербургски. Полковник Иванов всю свою службу был адъютантом при генерал-губернаторах; он и семейство его были ласковы, приветливы; в первый же день я стал другом его и его семьи.

Вместо Глазенапа управлял корпусом генерал барон *Клод фон Югенбург*, уже пожилой, добрый, но страшный флегматик; я ему понравился, он сам повел меня знакомить с знаменитостями: генерал-аудитором, интендантом и проч.; он вводил меня даже в комнаты девиц-дочерей. Каково же было мое удивление, когда я увидал, что все комнатки девиц [выходят] окнами на высоко огороженный двор; в окнах толстые железные решетки, в комнату одна только дверь из спальни родителей – вот настоящая Азия! Барон, вводя меня к девицам, надевал на глаза отломок железки с дырочкою – это, видите ли, был сам амур!

В первый же день милый комендант жаловался, что в крепости частые поджоги. Я спросил его, ездит ли он по караулам? Он пренаивно спросил: «зачем это?» Я объяснил ему, что он может попасть под суд. Оказалось, что он не понимал даже слова «рунд»\*. Я был мудрецом перед ним. Советовал ездить, объяснил порядки; он упросил меня поехать с ним. Часовых везде много, но все дремлет, оставив ружье, и что же? мы нашли горевшую головешку очень недалеко от порохового магазина. Хотя опасности быть не могло, и можно думать, что головешка была куда-то несена и брошена – заслышав шум. Комендант обнимал и благодарил меня. Учредили патрули, и поджоги прекратились. Такая пат-

---

\* Рунд – ближайший помощник дежурного по караулам.



риархальность службы не могла не остаться у меня в памяти. Форштадт при крепости был большой\*, там жил атаман линейных казаков *Бронеvский*. На другой же день он пригласил нас на бал.

Молодых дам и барышень было много, но кавалеров танцующих мало. Казацких офицеров было много и на подбор красавцы, стройные молодцы, любого в натурщики скульптору; комендант мне сказал, что все они хорошего поведения, но малограмотны и для общества не годятся; их делают офицерами для красоты фронта. Я видел фронт казаков – это богатыри и красавцы, что за люди, что за кони! Танцевали только экосез, да круг с шеном и крестом. В первый же бал мы стали львами, научили [местных дам и кавалеров танцам] матредур, тампед, кадрили с вальсом и даже котильон\*\*.

Начались бал за балом каждый день. Мы ввели [галантный обычай], что мужчины не садятся ужинать, а ходят, занимая и служа дамам. Хорошеньких замечательно много дам и девиц, молодые скоро знакомятся. Хорошенькая барышня, развитее других, особенно мне нравилась; я уговорил ее сесть близко музыкантов и напевал ей, стоя за стулом. Она испуганно говорит: «отойдите, маменька грозится». Старуха, сухая, длинная, с другого конца стола грозит сердито предлинным пальцем. Я бросился к старухе и притворился уверенным, что она звала меня пальцем. Старуха, чиновная, сконфузилась, уверяла, что это она – Глафире, но более не грозила.

Вот какая была Азия в Омске. Нас просто не отпускали, нас ласкали, матросов кормили; но всему бывает конец; поехали, провожали нас чуть не все. Верстах в трех, спускаясь в овраг, лошади понесли, повозка наша опрокинулась, мы разлетелись; но матрос, сидевший на козлах, оказался со сломанной ключицей. Судьба вернула нас в Омск. Опять праздники. Не помню, чрез сколько дней, ночью бежал я от гнавшихся за мною двух солдат с ружьями и кто-то кричал: «убей его, я отвечаю!»

Бегать я не имел себе равного, солдат я не мог бояться, я был переодет, меня не узнали; выбежал я на вал и забавлялся запыхавшимися солдатами, но пришлось плохо мне: неожиданно на валу, из будки вышел часовой навстречу. В таком критическом положении я решился соскочить с вала. Правда, в [Морском] корпусе за булку я много раз скакал с галереи второго этажа на двор, но это было не выше трех сажен\*\*\*, а вал был высотой до пяти сажен.

Рассуждать было некогда, я из ближайшей амбразуры, держась руками, спустился по валу, носками сапогов успел выбить ямки – все-таки уменьшил высоту [прыжка с] вала. Подбежали солдаты; прочитав молитву, оттолкнулся и сделал прыжок. Упал на ноги, песок, большая путаная трава, скоро опомнился – цел! Слышу, солдаты кричат: «тут тебе карачун, проклятому!», я встал и пошел, солдаты заговорили: «да это шайтан, бес!» Я обошел вал, вошел в ворота и лег спать.

Поутру говор в Омске: кто? как? что? и проч. Полагаю, никто не спросит, по какой причине я попал в такое происшествие? Любовь, содержательница мира, душа чувствительных сердец! После обеда комендант сказал мне, что он все знает. Запираться перед другом не следовало.

- Вы забыли, что здесь Азия?
- Я думаю, что здесь Россия!
- Нет, здесь Азия, и я за вашу жизнь не ручаюсь.
- Мне кажется, вы увеличиваете.

---

\* Форштадт – гражданский поселок при военной крепости.

\*\* Кадриль, экосез, тампет, матредур, котильон – бальные танцы, популярные в начале XIX в.; разновидности контрданса, в котором возможно участие любого количества пар, образующих круг или две противоположные линии танцующих. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

\*\*\* Сажень – 2,1 м.

– Нет, я знаю Омск. А вот что, одно средство: вот вам курьерская подорожная до Иркутска, соберитесь скорей, поедем прогуляться за крепость, там сядете на курьерскую, у меня все подготовлено. С семейством прощаться не нужно.

Так я и укатил из Омска один. В Иркутске получил от коменданта коротенькое письмо: «в твоём тюфяке и в сделанной вместо тебя кукле в ту же ночь сделано пять ран ножами». Вот она, Азия! Надеюсь, теперь Омск стал европейским городом и железные решетки улетучились.

В Иркутске прямо приехал в адмиралтейство; начальником был лейтенант *Кутыгин*, холостой; он был старше меня лет на десять, личность уважаемая и любимая всем городом; он принял меня как родной и обращался со мною как с сыном; видя во мне малоопытного юношу, он просто приказывал, что мне делать. Тогда во флоте был дух: для флотского офицера был государь, потом адмирал, и больше старшего начальства не было; все остальное, попавши на корабль, подчиняется командиру, хотя бы лейтенанту. Поэтому, когда Кутыгин предложил мне явиться к гражданскому губернатору *Трескину*<sup>\*</sup>, я находил это унижением, но поехал.

Что такое был Трескин в Иркутске, теперь трудно рассказать, а еще труднее верить. Николай Иванович Трескин был губернатором 14 лет в Иркутске, но каким губернатором? Теперь трудно иметь понятие. В текущем столетии называют властителем Наполеона I; по-моему, он был неограниченная власть в войске – при успехе, а власть ограничивалась законами. Трескин и законы – были синонимы, более: был только Трескин, а законы были далеко, далеко! По праздникам Николай Иваныч позволял дамам целовать свою руку; из мужчин допускались к руке только старшие чины и первогильдейцы. Все дамы целовали ручки у его супруги и у дочерей. Рассказов о деспотической власти Трескина множество и едва вероятных, но верных. Жалобы не доходили до Питера, а если редкая и прорывалась, то для того, чтобы не повторяться.

13 лет был генерал-губернатором *Пестель*, был ли он в Иркутске – не знаю<sup>\*\*</sup>. Рассказывали, по какому случаю был послан *Сперанский*. Государь обедал у известного тогда

---

<sup>\*</sup> Дошедшие до нас отзывы современников о Трескине совпадают с рассказом Стогова, даже в тех несчастных случаях, когда мемуаристы симпатизировали губернатору. Сравните, например, рассказ одного из сибирских чиновников Н.П. Булатова: *“Трескина я глубоко уважаю. Это был гениальный администратор. Конечно, он действовал деспотически; но таково было время, таков был дух<...>. Впрочем, Трескина вынуждали к крутым мерам и самые обстоятельства. Местное купечество до него было так сильно, что 5 или 6 губернаторов сряду<...> были сменены по их жалобам. Когда поступил Трескин, купцы сначала присматривались, каков он будет<...>. Трескину было необходимо показать свою силу<...>.”*

*Не знали, когда спит Трескин. Его можно было встретить во всякое время дня и ночи, встретить скорее всего там, где не ожидаете<...>. Трескин не любил формы и часто даже принимал в халате, – ходил по городу, заходил в частные дома, замечал все. То смотрит он на базаре калачи, и горе калашнице, которая обвесит хоть на золотник<...>. Ходил он обыкновенно один, но полицейские следили издали и тотчас являлись куда нужно. Зайдет, бывало, в частный дом и видит – муж с утра ушел на работу, а жена сидит и попивает чаек. «А что ты, матушка, приготовила мужу поесть?» – и в печь. А в печи-то ничего нет. Тотчас расправа”.*

Или рассказ иркутского купца П.И. Обухова: *“Трескин был прекрасный человек, распорядительный начальник!.. Конечно, с казной он делился порядочно. И насчет взяток тоже. Главным деятелем у него по этой части был Третьяков<...>. «Губернатор, – говорит этот, – не берет, а вот [его жене] Агнессе Федоровне надобно поклониться. Купи мех соболий». – Принесут мех, сторгуются тысяча за 5, за 6; и мех возьмут, и деньги. Другому, третьему – то же”.* – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

<sup>\*\*</sup> Сменивший И.Б. Пестеля на этом посту М.М. Сперанский в официальном отчете обвинял Пестеля в том, что он жил вне управляемого края (с 1809 г.), давал слишком много власти губернаторам и защищал их противозаконные действия. Сам Пестель считал себя жертвой «гнусных доносчиков» из Сибири и происков многочисленных врагов (в том числе и из среды высшей столичной бюрократии). Свое пребывание в Петербурге, а не в Сибири он оправдывал слабым здоровьем и тем, что сам неоднократно просил Александра I об отставке, но так ее и не получил. Вопреки распространенному мнению, что Пестель так же, как и Трескин, накопил большое состояние за счет взяток, он материальной выгоды от своей должности не получал и вы-

остряка Нарышкина; государь обратился к Нарышкину: «граф (он всегда называл [его] графом), временем я чувствую необходимость в очках, но не решаюсь». Нарышкин отвечал: «я знаю удивительные очки!» – «У кого?» Нарышкин встал и, указывая рукою через стол, сказал: «В-о-н у Пестеля: он 13 лет живет здесь и видит все в Сибири!» Говорят, эта шутка, а вероятнее, жалобы, слухи – [и послужили поводом к тому, что] решили послать пензенского губернатора Сперанского в Сибирь генерал-губернатором<sup>\*</sup>. Когда я приехал в Иркутск, передо мною (29-го августа 1819 года) приехал Михаил Михайлович *Сперанский*. Трескин все еще был нетронутый, цельный Трескин: он не верил, чтобы без него могла существовать Иркутская губерния.

Часов в 9 утром приехал я к Трескину. Большая прихожая полна служебного люда: два казацких и два полицейских офицера, казаки, полицейские да два дежурных чиновника. Тишина. Вхожу в большое зало – три печи и пять дверей. У глухой стены на раз [и навсегда] назначенных местах стоят чиновники с бумагами; оставшиеся пустые места около печек подходящие занимали; по-видимому, каждый имел назначенное ему место. Тишина во всем доме совершенная, кажется, ни один чиновник не пошевелил ногой. Я вошел и сел около окна и столика. Не мог не заметить, что на меня значительно поглядывали чиновники; я полагал, что им в диковинку чужой человек, да еще моряк. После узнал – их изумляла моя дерзость, что я сел. Вошел молодчина-кавалерист, это – комендант полковник *Цейдлер* с рапортом, осмотрелся и сел около меня. После я узнал, что комендант осмелился первый раз сесть у Трескина и, вероятно, ему неловко было стоять, когда сидит юноша.

Более часу мы сидели и очень тихо говорили, а чиновники продолжали стоять, каменные. Заметил я, что комендант не сводит глаз с маленькой двери. Растворилась эта маленькая дверь, комендант быстро вскочил, а я загляделся, да и было на что: представьте себе, в отворенную дверь выдвигают мраморную белую статую! Это был его превосходительство губернатор Трескин.

Как снег белый колпак, из-под колпака длинные белые волосы, рубашка с стоячим воротником, без галстука, как снег белый халат; подпоясанный белым кушаком, из-под халата внизу видно нижнее белье, чулки и мягкие туфли без задков. Трескин не шел, а двигался, скользя туфлями. Минуя коменданта, который, рапортуя, называл ваше превосходительство, Трескин, не слушая, подошел прямо ко мне:

- А ты уже сел?
- С дороги, ваше превосходительство.
- Где ты учился?
- У дьячка на медные деньги (Думаю: видишь мундир).
- Сколько у тебя денег?
- Императорское третное в кармане<sup>\*\*</sup>.

Трескин взял меня за руку и вывел на середину залы; держит и говорит:

- Невелика птичка, да носок остер!
- К вашим услугам, ваше превосходительство.
- Сколько у тебя душ?
- Одна своя, но прекрасная, имею честь рекомендовать. – Трескин обернулся к чиновнику и сказал: «отведи его к детям».

---

шел в отставку, имея громадные долги, которые сумел полностью вернуть лишь незадолго до своей смерти.  
– Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

<sup>\*</sup> После возвращения на государственную службу М.М. Сперанский в 1816-1819 гг. был пензенским губернатором, а затем в 1819 г. был назначен сибирским генерал-губернатором. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

<sup>\*\*</sup> Третью годового жалованья.

В одну из дверей я пошел за чиновником; он передал меня лакею, который и привел меня к детям. Кажется, помню: три взрослых девицы: Юлия – совершенный монгол, София – китайка, хоть на картинку чайного ящика: маленькая, нежная, с мягкими движениями, с прекрасной кожей и китайскими глазками. Третьей не помню имени – русская. Каждая из них сидела за пьезцами. Я поклонился, а они и не взглянули; я молча осмотрел их работы – молчат. Одна уронила клубок, я бросился поднимать, но по-кадетски соразмерил стукнуться головой.

– Как это вежливо!

– Вам не должно было беспокоиться, моя обязанность служить вам.

– Не нужны ваши услуги!

Думаю, врете, девчата. Хвалю работы – молчат. Критикую – молчат. Русская пошла в комод, смотрю – три перегородки ящика полнешеньки конфект. Я быстро и обеими руками схватил по полной горсти; русская закричала: «это что? разбойник!» Сестры вскочили – за мной, я на софу, на стол – в дверях молча стоит сам Трескин и смотрит с недоумением. Сестры жалуются на меня, я жалуюсь на девиц и, стоя на столе, ем конфекты. Трескин расхохотался и ушел, а мы помирились и познакомились. Мирно и весело наболтавшись с дочерьми, пошел откланяться отцу; старик любезно приказал мне обедать у него в 2 часа.

До обеда я был у коменданта – прекрасная личность, доброе и почтенное немецкое семейство; несколько гостей, разговор шел о моем представлении Трескину. Кто-то сказал мне, что опасно шутить с Трескиным. Я отвечал: «Трескин не адмирал, мы с ним равны, а попадет ко мне на корабль, то будет под моей командой». После я узнал, что мое представление Трескину и разговор с ним ходили по городу с прибавлениями, а такой скандал у дочерей был невообразим для иркутян в доме Трескина.

В два часа за обедом Трескин был в том же наряде, в каком делал прием. Кроме детей, было человек пять немолодых чиновников; они были действующие лица без слов и речей. Я, как молодой, ел за двоих и говорил со стариком и дочерьми – за всех. Помню, не упустил случая пошутить над его беззубою старостию, что очень забавляло его. Старик хотел знать все подробности о фамильных делах моих, о службе, о причине поездки, о будущих целях. Я был откровенен и болтлив. Я старику понравился, и он сказал: «глядя на него, я давно так не ел; приходи ко мне, как можешь чаще, обедать».

После обеда дочери пригласили к себе и угощали на славу сладким. Зовет старик; он лежал в кабинете на софе, дал мне какую-то книгу: «читай». Какая-то нравственная скука, я начал читать с толком, с расстановкой. Старик вскочил: «ты не умеешь лучше читать? Читай скорей!» Я замолел как дьячок. Старик был доволен. Оказалось, что эта старая голова еще с таким пылким воображением, что при медленном чтении у него толпятся в голове свои идеи, и он не может следить за чтением внимательно. Бестолковое и быстрое мое чтение он очень хвалил.

Я не знаю, чем был прежде Трескин – не любопытствовал, но почему-то думается, что он давнишний чиновник Иркутска. Трескин, без сомнения, был умный делец, деятельность его была изумительна. Полиция, земские суды, палаты – он или его власть была все! Он знал все и распоряжался всем; он знал подробно всю частную жизнь Иркутска. Трескин был деспот безграничный! Но мне случилось прочесть немного бумаг его в Питере к Пестелю: там он скромн, добр, скорбел о людских слабостях и тяготился обязанностью исправлять падших. Трескин был страшный корыстолюбец, его считали в десятках миллионов, но удивительно то, что вообще мало жаловались на его взяточничество: это мне объясняли тем, что он брал, но и умел дать средство наживать.

Я не застал жены его живою, о ней тоже не переслушать рассказов<sup>\*</sup>. Если Трескин властвовал головою, она властвовала сердцем над всеми мужчинами – без оппозиции. Трескин в дела жены не мешался. Последнего ею избранного я хорошо знал, его звали Иван Ефимыч Кузнецов<sup>\*\*</sup>, а весь Иркутск звал его *королем*. Действительно, это был редкий красавец, его я сравнивал с павлином; говорил он очень дурно, грубо на о, уродливых провинциализмов пропасть. Жена Трескина возвращалась с королем Кузнецовым из-за Байкала; поехали кругом Байкала, дорога адская, такую и останется – гора на горе и очень высоки. На этот раз лошади понесли с горы; губернаторша решилась выскочить из кареты, попала платьем в колеса, и ее буквально разорвало. Король усидел и спасся.

Трескин, как медаль, имел две стороны; сказавши об одной, надобно сказать и о другой стороне. Мне казалось, Трескин не был зол и жесток, но, как власть, был очень строг: все полиции были доведены до совершенства, и за то в Иркутской губернии не было ни грабежей, ни воровства; я сотни примеров слышал: проезжий, забывший в доме крестьянина кошелек, часы, бумаги, непременно был догоняем и получал забытое. Дороги, мосты были превосходны, деревни чисты; судя по наружности домов, крестьяне были зажиточны; скота, лошадей много; пятнадцать, двадцать троек стояли при въезде в деревню, платили четыре копейки на тройку за версту. Иркутск был очень опрятный город и много хороших домов. О преступлениях в городе не было слышно.

12 лет спустя я нашел: убийства, грабежи, воровство, шайки разбойников близ города. Села, деревни по наружности очень обеднели; если чего и не забудете, то у вас украдут все, что можно; дороги, мосты очень дурны. Я объясняю такую разницу тем, что Трескин был закон, а Лавинский повиновался закону. Шесть или семь лет шайка грабила и убивала. Иван Яковлевич Козлов (знакомый по солеваренному заводу [в Охотске]) распорядился удачно поймать знаменитого красавца и храбреца атамана *Александрова*, который поклялся убить Козлова. Атаман никогда не изменял данному слову. По жалобе Козлова Лавинский потребовал дело, ему привезли на двух возах. Лавинский не пожалел русских непечатных слов, а на последней странице написал: «Четырех главных наказать кнутом нещадно». Артист-палач *Буянов* каждого убил с четырех ударов. Лавинский получил строгий выговор, и последовало общее распоряжение: в приговорах слово *нешадно* – не употреблять.

При мне и на моих глазах, в течение четырех часов в городе Иркутске днем убили: крестьянина, двух женщин и девушку, последнюю – в пяти шагах от меня, на главной улице, человек – не знающий девушки; но это особая история, я был следователем по просьбе Лавинского. Когда-нибудь расскажу об этих убийствах. Вот как изменился целый край – всего в 12 только лет!

\*\*\*

О *Сперанском* в Иркутске мало что было слышно, он как будто ничего не делал. Сперанский занимал дом «короля» Кузнецова. Дом деревянный, большой – окон в 9, а может, в 11, на восточном краю города, ближайший адмиралтейству. На другой день после Трескина я явился Михаилу Михайловичу. Из прихожей, где были: казацкий офицер, казак и полицейский солдат, вхожу в большую залу – пестрая толпа: буряты, крестьяне, тунгусы. Сперанский в форменном сюртуке, застегнутом на все пуговицы; он говорил с крестьянином, а чиновник записывал. Только я вошел, Сперанский обратился ко мне, и когда я назвал себя, он спросил:

– Давно приехали?

---

<sup>\*</sup> Агнесса Федоровна Трескина погибла 9 мая 1819 г. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

<sup>\*\*</sup> Стогов неверно называет имя и отчество спутника А.Ф. Трескиной во время ее последней поездки; речь идет об известном сибирском золотопромышленнике Ефиме Андреевиче (а не Иване Ефимовиче) Кузнецове. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

- Только вчера.
- Куда едете?
- В Охотск.
- Одни?
- С командой, она еще не прибыла.
- Повеселитесь здесь, в Охотске соскучитесь.

Поклон. Разница с Трескиным и в обстановке и в приеме.

Портретов Сперанского очень много и все похожи, только я не видал ни одного портрета с глазами Сперанского: есть предметы недоступные для живописи! Таких глаз, как у Сперанского, я других не встречал, не возьмусь и приблизительно описать их. Могу сказать только: глаза Сперанского я ни разу не видал изменяющимися – всегда, постоянно тихи, спокойны, ласковы; они не прищурены, но и не открыты, не вызывающие и не уклоняющиеся – ум, душа и сердце поместились в этих глазах! Живопись бессильна! Уверен, что, со смертью этих глаз, других таких не осталось; не видевшие выражения глаз Сперанского – не составят себе понятия о прелести оригинального выражения их!

Сперанский был выше среднего роста, сухощав, правильно сложен. Оригинальный, голый, большой череп – очень к нему шел. Правильные черты всегда покойного, доброго лица были привлекательны, голос тихий – будто под сурдинкой, говорил медленно и, казалось, всегда откровенно. Говорил мало, будто по необходимости; смеха не слышал, а улыбка – весьма часто, всегда скромная, очень приятная. При такой особе провинциальные чиновники закутывались в молчание, а приехавшие с ним, знавшие его добрую снисходительность – болтали, шутили не стесняясь, как бы в его отсутствие; он даже любил говорливость других за обедом, но без его участия в разговоре.

День Сперанского был рассчитан по табели – не отступая. Утро – просителям, немного работы, заданной канцелярии с вечера, долгая прогулка на открытом воздухе. Сколько раз встречал я его одного в –20, –25 R.: холодная поношенная шинель, на голой голове сафьянный черный картуз, сверху четырехугольный – настоящая конфедератка. Картуз на шелковой подкладке – и ему не холодно! Ходил тихо, размеренно – как говорил. Прогулка – недалеко от дома и на небольшом пространстве. Сперанский никогда не отказывался от приглашения на обед; тогда он был в мундирном фраке. Орденов на нем никогда не видал. Званные обеды были очень часты, и часто я обедал вместе.

Первый обед, на котором я был с Сперанским, – это парадный обед у Трескина; на этом обеде я видел Сперанского в мундире и в белых брюках с золотыми лампасами – только один раз и видел Сперанского в мундире. Даже сам Николай Иванович Трескин был в мешковатом вицмундире. Манеры Сперанского на обеде были те же, что и на обеде у купца. После обеда Сперанский вынул золотую коробку вроде папиросницы, достал из нее черную пилюлю и проглотил – это было в гостинной. Недолгая беседа после обеда, и если есть дамы, то преимущественно с дамами и уезжал. После обеда немного чтения, в сумерки ходил по зале до темноты. При огне принимался за бумаги, и, кажется, это было временем усиленной работы.

В праздники купцы давали балы в доме ратуши. Сперанский постоянно посещал, говорил с дамами, кажется, особенно отличал жену коменданта Луизу Ивановну и жену полковника *Нараевского* Наталию Карповну; последняя была красавица. Я, товарищ мой *Повалишин*, племянник Сперанского *Вейкарт*\* и какой-то чиновник постоянно составляли кадрили. Сперанский постоянно смотрел на наш танец, и, кажется, его занимала наша молодая резвость. Тем и оканчивался его бал.

---

\* Сперанский опекал Жоржа (Егора Егоровича) Вейкарта потому, что тот был сыном его умершего друга – врача Ж. Вейкарта; родственниками они не были. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

Рассказов по городу ходило множество о Сперанском; каждое его слово, кажется, каждое его движение замечалось и повторялось в публике. Терпение его с просителями было неистоимо. Однажды наделало много говору: монгол-бурят жаловался, что исправник Волошин вызвал его в *Иркутск*, в его отсутствие забрались в его юрту волки и собаки, утащили говядину и богов. Просил взыскать с исправника убытки. Сперанский отказал. Бурят пришел другой раз с той же просьбой – получил отказ. Пришел третий раз. Сперанский назвал его глупым и приказал вывести. Это происшествие сильно удивило всех, говору было много! Из этого можно заключить, каким терпением обладал Сперанский.

Иркутск знал, что Сперанский сказал, где он был – малейшие подробности не ускользали от общества, но не было ни одного слова о том, что делал в кабинете и делал ли что-нибудь, готовилось ли или не готовилось в будущем для Сибири? Это будущее было непроницаемо, не было даже догадок. Три секретаря Сперанского были люди бойкие, не отказывались от удовольствия и даже очень, но о делах ни полслова! Все знали, что *Цейер* – правая рука Сперанского по бумагам<sup>\*</sup>. Цейер, маленького роста, сухенькой, с большим носом, в очках, с торопливою походкою – не ручаюсь, есть ли у него голос? Часто видел его, но положительно не помню, чтобы он выговорил хотя одно слово. Цейер, статский советник, вечно с бумагами под мышкою и бежит либо к Сперанскому, либо от него. На обедах, балах Цейер почти не бывал. Был и правитель канцелярии (Иван Иванович *Шкларевский*), но все знали, что он носит только звание; Сперанский не употреблял его<sup>\*\*</sup>. Сперанский был чрезвычайно доступен, но нельзя было не заметить – служащие при нем были совершенно свободны вне службы, но никогда ни один не приближался к нему.

На одном из обедов мне пришлось сесть против капитана путей сообщения; он спросил меня:

- По какой причине морская служба называется смоленая?
- По той же, по которой служба на канавах называется – грязная служба.
- Вы ходили в море?
- Да; я четыре лета служил на кораблях.
- Вы так рано начали службу походами?
- Мы все привыкаем смолоду.
- Скучная ваша служба?
- Почему так? это неправда, мы все любим быть в море.
- На кораблях не бывает дам?
- Не бывает. Они только бы мешали, на корабле для них нет времени и места.
- Признайтесь, первый поход был для вас страшен?
- Может быть, бывают трусы, но такие переходят в другие службы; из моих товарищей перешли двое в ведомство путей сообщения, их никто не держит.
- Моряки очень серьезны и строги.
- Моряки никогда никого не затрагивают.

---

<sup>\*</sup> Цейер начал службу под началом Сперанского в 1797 г. в канцелярии генерал-прокурора Сената, а затем, по свидетельству М.А. Корфа, «более 30 лет следовал неотлучно за всеми коловратностями его судьбы, оставаясь постоянно и неизменно ему преданным, деля его тяготы и горе, живя его жизнью». – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

<sup>\*\*</sup> Сперанский писал 20 мая 1820 г. графу В.П. Кочубею: «Канцелярия моя вся составлена из людей, при Иване Борисовиче [Пестеле] бывших. Сначала я им не доверял, но впоследствии узнал, что они ни в чем не участвовали. Правитель канцелярии Шкларевский есть старый сенатский секретарь<...>. В нем один только порок, что он болен, дряхл и не может управлять никакою канцеляриею. Он ничего не получил при переходе в Сибирь. Настоящий чин заключит его службу и очистит место другому». – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

Это было недалеко от Сперанского; я на конце неприятного разговора заметил, что он внимательно слушает и улыбается; я прекратил отвечать, считая продолжать неприличным.

После обеда капитан подошел ко мне и рекомендовался: Гаврило Степанович *Батенков*. Я сказал о себе.

– Извините, я, может быть, сказал вам что-нибудь неприятное?

– Извините, я отвечал вам, как умел.

Он взял меня за руки, просил быть знакомым.

– А насчет разговора, прошу вас, не стесняйтесь, браните меня сколько угодно; кроме благодарности, от меня ничего не будет. Михаил Михайлович очень любит, когда я говорю за обедом, а эти господа (указывая на иркутских чиновников) всякою малостью обижаются, говорить с ними невозможно. Вы так добры и умны, дали мне возможность поддерживать разговор. Надеюсь, мы будем приятелями, будем садиться против [друг друга], и вы выведете меня из затруднения.

На другой день Батенков приезжал ко мне, потом я бывал у него очень часто. Мы подружились.

Батенков был довольно большого роста, сухощав, брюнет, с золотыми очками, по близорукости; в фигуре его ничего не было замечательного, но рот и устройство губ поражали своею особенностью. Губы его не выражали ни злости, ни улыбки, но так и ожидаешь – вот-вот услышишь насмешку, сарказм. Дар говорить о чем угодно занимательно, весело и говорить целые часы – эта способность была изумительна! Готовность его на ответы и возражения не имела равного. Батенков был незлобливого, добрейшего сердца. Ученость его была замечательна, он очень легко и много писал стихов; я много читал его басен, но и тут – только сатира и сарказм, более на известные лица и нравы. О Батенкове я знаю только из случайных его рассказов; он начал службу в артиллерии. В 1812-м году ему с товарищем дали по две пушки, приказали защищать мост и не уходить\*.

– Мы стреляли, французы валились; мы стреляли, а французы падали и приближались; французы были близко; товарищ, чтобы спасти пушки, отъехал; у меня оставались только два канонира, я сам приложил фитиль и от удара упал; меня проходящие французы кололи, но мне не было больно, но когда штык попал мне под чашечку колена, я потерял память. Очнулся я в палатке, лежат раненые французы: я был в плену. Вместе с другими я был отправлен на юг Франции, где и вылечился от 18-ти ран. Когда наши взяли Париж и мы, пленные, получили свободу, я явился в главный штаб. Там мне сказали, что Батенков убит и исключен из списков, требовали документов. Какие документы я мог представить? Я назвал батарею, в которой служил; нашлось только два канонира, которые остались живы; узнав меня, засвидетельствовали, что я их поручик.

– А что было с вашим ушедшим товарищем?

– Кутузов смотрел в трубу с холма; товарища судили и приговорили заслушать расстрелять. Кутузов разжаловал его в солдаты, он убит.

– Как же вы попали в [ведомство] путей сообщений?

---

\* Стогов ошибается: Батенков был серьезно ранен (10 штыковых ран) не в 1812 г., а в январе 1814 г. в сражении при Монмирале и тогда же попал в плен, в котором находился до февраля того же года. – Примеч. ред. издательства «Индрик».

Сражение при Монмирале – разгром Наполеоном 30 января 1814 г. русского корпуса под командованием генерала от инфантерии Остен-Сакена и части прусского корпуса генерала Йорка во 2-й день так называемой 6-дневной войны на территории Франции. М.И. Кутузов (который поминается ниже) к тому времени скончался.



– Раны меня беспокоили в ненастье, да и надоела мне фронтовая служба; я написал в управление путей сообщения: если желают иметь хорошего офицера, то я согласен служить.

– Будто бы так и написали?

– Право так, у нас в России худо просить, искать; иди законным порядком – тысячи затруднений, проволоочки.

– Ну, а как же сюда попали?

– Хотелось посмотреть Сибирь. Сперанский, познакомившись, вместо моей обязанности дал мне работу: составить новое положение о ссыльных. Много собрал сведений – путаницы, противоречий пропасть; надобно прежде привести к одному знаменателю и потом составить что-нибудь целое.

Я с Батенковым каждый день становился дружнее; за обедами он вострился надо мною; если удавалось, и я платил ему тем же. В то время и до сего часа я имею природное отвращение ко всякому вину; за здоровье Сперанского вместо шампанского я пил превосходный мед<sup>\*</sup>; от двух бокалов меда выходил из-за стола красненький. Это замечал Сперанский; видя мою дружбу с Батенковым, раз говорит ему:

– Приятель ваш молодожка-моряк, может быть, неглупый юноша, но что значит среда: так молод, а уже становится пьяницей.

Батенков расхохотался и сказал:

– Вот как иногда высоко стоящие делают ошибочные заключения о маленьких. Мой приятель-моряк еще в жизни не пробовал никакого вина, он и за ваше здоровье пьет мед, а не шампанское, а что он краснеет – виновата юность.

Сперанский смеялся над своею ошибкою и добавил, что он желал бы почаще сознаваться в таких ошибках.

Батенков был старше меня лет на десять, но он так был умен и умел сделать, что я не чувствовал этой разницы. Однажды, в сумерки, между интересными его рассказами, он сказал мне, что у них есть *кагал*<sup>\*\*</sup>, что у них ходят свои почты и что всех своих членов кагала они имеют средство быстро двигать к повышению по службе.

– Хочешь, я запишу тебя в члены?

– Какая цель кагала?

– Этого я не могу сказать тебе: это тайна!

Я не думавши отвечал:

– По-моему, Гаврило Степанович, *где тайна – там нечисто!*

Мы более не говорили об этом. Я теперь ясно помню: я отвечал Батенкову без всякого сознательного намерения, вовсе не обдумав. Это время было щегольства фраз и готовности резонно отвечать противореча. Впоследствии оказалось, что 1819 года называвшийся кагал – после было общество 14-го декабря!<sup>\*\*\*</sup> Не сорвись тогда с языка глупая фраза, падаи я в список – другим бы путем пошла вся жизнь моя! Батенков не желал мне сделать зла, он желал сделать мне добро, потому что сам был членом сильного кагала.

После разговоров моих с Сперанским, о чем потом расскажу, буду продолжать о Батенкове, что только знаю о нем. Сперанский через Батенкова предложил мне перейти служить к нему; вот слова Сперанского:

– Скажите ему, пусть лучше *начинает служить с головы!* Жизнь в дикой стороне, без общества, может очерствить его.

---

\* По-современному, медовуха. – Примеч. М.И. Классона

\*\* Собрание.

\*\*\* Стогов ошибается: в те годы Батенков еще не входил в декабристскую организацию; он стал членом Северного общества декабристов только в ноябре 1825 г. В данном случае, очевидно, речь шла об одной из масонских лож, членом которой был Батенков. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

Я отвечал, что я только и знаю морскую науку, для нее только учился семь лет и уверен, что я недурной морской офицер. Штатская служба мне неизвестна; мне надобно учиться вновь – поздно, может быть, и не выучусь; от флота отстану, а к штатским не пристану; кроме того, я страстно люблю морскую жизнь. Пусть будет как будет! Благодарю и вечно не забуду милостивого внимания ко мне Михаила Михайловича – остаюсь во флоте! Хорошо ли я сделал, худо ли – не знаю!

Судьба после запрягла меня в штатскую – совладал!

Пришло время ехать из Иркутска; прощаясь с Батенковым, он с большим чувством проводил меня, взял с меня слово писать к нему по приезду в Охотск и что я найду там, что я и исполнил. Батенков писал ко мне прекрасные письма, полные веселости, как будто хотел утешить меня в диком одиночестве. Помню одно письмо из Питера: он просил меня наблюдать и точно объяснить: когда прибывает другая вода в реку, то вливается она по дну или по поверхности? Наблюдать было легко там, где каждые сутки морской прилив возвышает воду в реке от 10-ти до 12-ти фут.

Я получил от Батенкова писем пять и отвечал. Когда же дошло до нас известие о катастрофе 14 декабря, я вспомнил о *кагале* и не сомневался, что это одно и то же тайное общество; очень боялся за свои письма, хотя там и тени не было преступных идей, но в таких случаях во всем вина. Читая следствие и суд, я успокоился: вероятно, Батенков уничтожил все бумаги.

Будучи начальником адмиралтейства в Иркутске, я употребил возможное старание узнать, где Батенков? В Восточной Сибири его не было. Нашел случай навести справки в Западной – и там не было моего Гаврилы!

В 1819 году в Иркутске были особенно дружны: Батенков, доктор *Валтер* и *Гедельштром*. О последнем после. Между сказанными друзьями, если я не был другом существенным, то хотя прилагательным, но все-таки был очень близким. Чтобы не забыть: Батенков не употреблял табаку, не играл в карты и почти не пил вина.

В 1832 году является ко мне [в Иркутск] из Питера Гедельштром: «Матвей Матвеич! Какими судьбами?». Оказалось, что он приехал при жандармском полковнике *Килчевском*, которому поручено было составить статистику всей Сибири. Говоря между нами, ловкий полковник составить никакой статистики не мог, для того и взял ученого Гедельштрома, а сам исполнял другое поручение.

Но это к рассказу не идет. Дело было к обеду. Гедельштром любил выпить, даже и очень; я угостил его препорядочно любимой его наливкой с облепихой. После обеда, в гостиной я упросил его рассказать мне подробно, что он знает о нашем дорогом Гавриле? Гедельштром приказал мне запереть двери гостиной и соседних комнат и вот что рассказал:

– После 14 декабря Батенков оставался недели две на свободе. Был он на вечере у вагенмейстера\* *Соломки*, стоял в зале, опершись у стола; где бы ни был Гаврило, его всегда окружала толпа слушателей. Сказали: приехал фельдъегерь! Батенков спокойным голосом сказал: «господа, прощайте, это за мной!» Фельдъегерь увез Батенкова. Я знал, что Гаврило посажен в Шлиссельбург, где видеться с ним не было средств. Узнаю [следом], что Гаврило в каземате Петропавловской крепости. Мне очень хотелось повидаться с Гаврилой, так хотелось, что я покоя не знал. Как ни обдумывал, видел одну невозможность.

Подружился я с капитаном Преображенского полка; он с ротою ходил караулом в крепость. В минуты откровенности я высказал ему страстное свое желание повидаться с Гаврилой. Долго мы судили и рядили – средств не находилось. Придумал я – хоть бы побывать в крепости, все ближе к цели. Капитан предложил взять меня денщиком, я охотно

---

\* Вагенмейстер – офицер, ведающий обозом воинской части.

согласился. Но до цели далеко! Однажды, шутя, проектировал капитан: «вот бы тебе одеться преображенским солдатом, стать бы тебе на часы в коридор казематов, ты мог бы видаться целый час».

От шутливого предложения дошло до осуществления. Добрый капитан решился, а я рад пуститься на все! лишь повидаться. Приготовил я себе солдатский мундир, обстригся и в один из караулов капитана пошел с ним денщиком. Около полночи я был солдатом и лежал между спящими солдатами. По крику унтера: смена внутренних! я взял под ружье и стал с другими.

Я взглянул на Гедельштрома и, видя пожилого и порядочно полного мужчину, не мог без смеха вообразить его солдатом.

– Да как же не узнал вас унтер?

– В караульном доме полусвет от закопченной лампы, да и все сонное, только проснулись. Привели меня в длинный коридор, тоже не ярко освещенный. Порядку смены часового научил капитан, стал я на часы. Ружье к стене, дверей несколько, но в которых Гаврило? В каждой двери стеклышко, закрытое снаружи, двери заперты крепкими засовами наружи. Поднимаю закрышку стекла, внутри ночник освещал каземат. В одном каземате, вижу, сидит на кровати высокий, тонкий, седой – не Гаврила ли? Отодвинул засов, открыл и спросил: «Гаврило?» Встал сухой старик и, вместо ответа, спросил: «кто теперь на престоле царствует?» Я отвечал: «Николай». – «Чей сын?» – «Внук Екатерины, сын Павла. А вы кто?» – «Я *Шушерин*».

Я запер каземат и [вскоре] нашел Гаврилу. Мы обнялись, говорили вместе; Гаврило рассказал: «В Шлиссельбурге было несносно. Удалось написать к моей невесте, приказал чертенку сходить к Сперанскому и просить о переводе меня в Петропавловскую крепость. Перевели – по болезни. Я написал письмо к государю – полное раскаяния, и просил помилования. Заболел я нервной горячкой. Приезжал штаб-доктор. Пришел в себя и чувствую приближение смерти. Гадко мне показалось, что я малодушно лгал, просил прощения и раскаивался. Я потребовал священника и продиктовал, что я не хочу умереть и унести с собою подлую ложь. Раскаяние и просьба о прощении – ложь! пусть не верит государь, никто из наших виновных не попросит прощения, а если и будет прощен, то не отстанет от начатого дела. Я выздоровел и остался навечно живым в этом гробе! Найди мою невесту, она в нужде, помоги ей, сколько можешь. Я притворился сумасшедшим, думал, попаду в сумасшедший дом, там все-таки люди».

Заслышали хлопнувшие двери: это смена. Простились, поплакали, запер каземат и взял ружье, сменился. Повторить было невозможно, капитан уверял, что он много выстрадал в этот час. Нашел бывшую невесту Гаврилы, она [проститутка-одиночка], жила без нужды; я подарил ей 100 руб. от имени Гаврилы; она очень плакала, вспоминая о Гавриле.

– Где она живет?

– В Конюшенной.

Передаю рассказ Гедельштрома дословно; есть невероятное, но это остается на его совести.

Бывшую невесту Батенкова в 1833 году нашел и я; она еще была недурна, [промышляла одиночно]. О Батенкове наговориться не могла; она любила его и никого более не любила; были женихи – отказала. Бывшая невеста Батенкова рассказывала, что Сперанский принадлежал к обществу 14-го декабря и боялся показаний Батенкова; она несколько раз была послана в каземат к Батенкову с обнадеживанием, что дело принимает хороший оборот.

– Как же вас пропускали?

– Как скажу: от Сперанского, то крепостной офицер и проведет.

Эта девушка, заметно, была с хорошим образованием, очень жива, вероятно, потому Батенков и называл ее чертенком.

Гораздо позже я слышал подтверждение рассказа Гедельштрома о просьбе Батенкова с раскаянием и потом об исповеди. Рассказывали мне еще, что когда по приговору суда Батенков должен был быть сослан в каторжную работу в Сибирь, что будто бы Сперанский входил с докладом, что Батенков понесет двойное наказание, потому что в Сибири известно всем, что Батенков составлял положение о ссыльных. Что будто бы по этому докладу и сделано для Батенкова исключение: вместо Сибири – в каземат крепости\*.

Вот, кажется, все, что я знаю о Батенкове, но ручаюсь только за то, где лично участвовал, а остальное – за что купил, за то и продаю.

\*\*\*

Сперанский в Иркутске все продолжал «ничего не делать», но незаметно, как-то постепенно и тихо, Трескин – все еще губернатор, но отошел на второй план. Я не любил Трескина и его дочерей, да и было что любить получше.

Сижу один в адмиралтействе; перед сумерками является казацкий офицер: пожалуйста к генерал-губернатору! Оделся в полную форму. Вхожу в зал. Михаил Михайлович стоит у косяка окна и читает книжку в 1/16 листа. Увидав меня, спросил:

– Что вы так примундирились?

– К вашему высокопревосходительству.

– Посланный, верно, вас позвал к генерал-губернатору?

– Точно так-с.

– Они не понимают: я приказал пригласить вас к Михаилу Михайловичу: прошу различать, можете приходить в сюртучке, мне хотелось побеседовать с вами; снимите вашу саблю, положите шляпу и походимте. Вы, конечно, воспитанник Морского корпуса?

– Точно так, морских офицеров из других заведений нет.

– Да, я это знаю. Ваш главный курс астрономия?

– Учебный курс очень разнообразен, но главный – математика.

– У вас система Коперника?

– Действительно так, но с последующими развитиями: Галилея, Кеплера, Ньютона и других.

– Скажите мне, довольны вы этой системой?

Я взглянул на Сперанского и подумал: шутишь, барин! или подурочить хочешь?

Сперанский, заметив мое молчание, сказал:

– Пожалуйста, не стесняйтесь, прошу, выскажите свои мысли откровенно!

Я решился на шутку отвечать шуткою. Сперанский так был приветлив, как будто одобрял меня.

– Курс астрономии вам известен; конечно, известно вам и то, что вычисления наши не имеют разницы, если мы принимаем, что движется солнце и стоит Земля и обратно: вот уже первое сомнение в совершенстве системы мира. Я не вполне доволен.

– Так вы имеете свою систему?

– Да, я думаю, должно быть иначе.

---

\* В протоколах допроса Батенков указывает, что его невеста была купеческого звания. Вообще, круг знакомств Батенкова был весьма демократическим, он не был родовитым дворянином, мать его была купчихой. Батенков был приговорен к 20-ти годам каторжных работ, но вместо этого на основании высочайшего повеления до 1846 г. содержался в одиночной камере в крепости, затем был отправлен под строгий надзор полиции в Томск, который ему было разрешено покинуть после амнистии декабристов в 1856 г. Немотивированное изменение наказания и длительное содержание в одиночке дали современникам и исследователям повод для разнообразных предположений. Неоднократно высказывалась версия о причастности к этому Сперанского, якобы желавшего таким образом скрыть свои связи с тайным обществом. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

– Право, пожалуйста, объясните ваши мысли.

– Солнце, как центр нашей планетной системы, признано за тело, дающее свет и тепло. С последним я согласиться не могу.

– По какому основанию?

– Все, что дает тепло, с приближением к нему – тепло усиливается, а с приближением к солнцу, на вершинах высочайших гор, на воздушных шарах – тепло уменьшается.

– Но вы не отвергнете, что чувствуете теплоту от лучей солнца?

– Я полагаю, мы еще не знаем вполне физико-химического свойства лучей света на тела; может быть, свет солнца способен только возбуждать теплоту в телах.

– Хорошо, что же вы создаете на вашем основании?

– От дошедших до нас учений египетских жрецов, Птолемея и греков, они признавали несколько небес и несколько миров. Принимая за основание, что с удалением от Земли тепло исчезает, а холод усиливается, трудно вполне отвергнуть учение древних; разум, следя за мертвящим холодом, упрется в ледяную кору видимого нами неба, эта видимая синева есть подобие замерзшей воды.

– Положим, а звезды?

– Если допустить твердую ледяную кору вместо неба, то вместе с тем, не отвергая бесконечности творений Создателя, будет естественно верить, что за этой корой есть другой, высший мир – мир, в котором наш воздух заменяет камень. Того мира, того света нам постигнуть не дано, но, повинувшись воображению, руководимому логическим разумом, мы можем только предполагать о том непостижимом свете, а как нет тел без скважин, мы можем допустить и в ледяной коре скважины, сквозь которые крошечные частицы того света проникают к нам.

– Прекрасно, а солнце, а луна?

– Солнце есть отверстие большое, но заслоненное полупрозрачным телом, и потому передает нам только часть того света, иначе все погибло бы на земле. Луна есть холодное, мертвое тело, не имеющее огня, воды, атмосферы, а потому и жизни; луна есть материал для будущей планеты.

– Вы думаете?

– Мы, новые [мыслители], признаем для грешников мучение преисподней; где она – я не знаю, но мой разум допускает, что душа умершего, как эфир воспаряя, приближается к ледяной коре; праведные допускаются проникнуть в тот высший свет для блаженства, а грешные терзаются по сю сторону мертвой ледяной коры.

– Bravo, ваша система не забыла и разрешает о делах и душах людей.

Приплел рай и ад – помня, что говорил с попovichем. В этом роде продолжался разговор – с моей стороны серьезно; Сперанский тоже не улыбался, а как бы одобрял. Я путал все, что знал из физики – электричество, магнит. Между многими вопросами смело разрешил северное сияние, доказывая, что без этого магнито-электрического процесса Земля была бы необитаема от испорченности воздуха на экваторе. Сперанский, выслушав о северном сиянии, сказал:

– Скажите, как это просто, а я думал, что этого никто не знает.

В соседней комнате подали огонь; Сперанский подал мне руку и сказал:

– Когда вы ничем не заняты, побывайте у меня, но только помните, к Михаилу Михайловичу в мундире не ходят. Прощайте, благодарю вас, меня зовут работать.

Когда я болтал галиматью, часто взглядывал на Сперанского, ожидал видеть улыбку, но он, ходя мерными шагами, серьезно слушал. Сперанский был в стареньком сюртуке с очень узкими рукавами, верно – старинная мода.

Хотя я тогда штатских уважать не мог, но мне казалось, не пересолит ли я, так много и глупо болтая? Приехав домой, я до слова записал и в тот же вечер был у Батенкова; рас-

сказал и прочитал записанное; мы вместе с Гаврилой смеялись. Я спросил его, не очень ли я наглупил и что меня немного беспокоит. Батенков успокоил меня, сказав, что Сперанскому все можно говорить, он даже любит слушать болтовню веселонравных.

– Да что тебе вздумалось излагать свою систему мира?

– Мне показалось, что он хочет дурачить меня, я сказал небольшую шутку, да как начал говорить, а он поддакивать, то и нагородил чушь!

Я спросил Гаврилу, не знает ли, какую книжку читает Сперанский?

– Он очень любит и постоянно читает Фому Кемпийского\*.

На другой день Батенков только явился к Сперанскому, как тот начал смеяться, рассказывая о моей болтовне. Сперанский полагал, что я серьезно увлекаюсь своей системой. Батенков разуверил его и сказал, что я беспокоюсь, не слишком ли наглупил.

Сперанский приказал успокоить меня и прибавил:

– Бойкое молодое воображение; мне нравится, он смелый юноша!

Батенков объяснил, что я, как моряк, уважаю только адмирала – остальные чины не существуют.

– Правда, моряки всегда держат себя особенно, сдержанно, но время и жизнь научат его.

Для меня слова пророческие!

Чтобы быть последовательным, я запишу и вторые сумерки у Сперанского. Дней через пять или семь после первых сумерек явился тот же ординарец и сказал: «Пожалуйста, к Михаилу Михайловичу». Я надел вицмундир, без сабли, в фуражке; явился пораньше в ту же залу. Сперанский так же ласков, спросил, не занят ли я, и сказал: «походимте».

– Где ваша родина? – я отвечал.

– Имеете родных в Петербурге?

Я назвал Анну Петровну и Ивана Петровича *Буниных*.

– Это девица-поэт?

– Точно так, она мне тетка.

– Бунин – это весельчак?

– Действительно, он.

– Тетку вашу я встречал в обществе, а о дяде вашем – много забавных рассказов.

– Он был тоже моряк.

– Где вы прежде учились?

– Я нигде не учился, умел только читать, а подписывал прошение в корпус по карандашу. Тетка меня отвезла в Петербург, а дядя, как моряк, определил.

– Долго ли вы пробыли в корпусе?

– Семь лет.

– И успели кончить полный курс? у вас наук много?

– Мы каждый день сидим в классах восемь часов и вне классов учим уроки.

Сперанский хотел знать малейшие подробности о порядках в корпусе, о начальстве, об обращении, о наказаниях, об обязанности офицеров, о пище, даже об играх кадет, об экзаменах. Сперанский, заметив, что я говорю о корпусе восторженно, с любовью:

– Вы любите корпус?

– Я всегда с благоговением вспоминаю Морской корпус!

– Так весело вам было в корпусе?

---

\* Фома Кемпийский (ок. 1379 – 1471) – немецкий католический монах и священник, член духовного союза «братьев Общей жизни», предполагаемый автор трактата «О подражании Христу».

– Нет, ваше высокопревосходительство, корпус дал мне нравственное бытие, я обязан корпусу всем: я поступил в корпус – диким волчонком, а вышел человеком, воспоминания о корпусе для меня священны. Начальники были благодетели – отцы к детям.

– Это делает вам честь. Но пока вы в корпусе, для вас внешняя жизнь не существует?

– Напротив, мы знаем все, что делается, что говорится в городе.

– Каким это образом?

– По субботам и праздникам нас отпускают к родным и знакомым; нас много, нас, как детей, не остерегаются. Когда мы возвращаемся в корпус и рассказываем слышанные новости, мы, своим критическим умом, противоречия подводим к общему знаменателю и делаем свои заключения.

– Обо мне что-нибудь говорили у вас?

– Как же, и очень громко.

– Что же?

– Да я вас повесил.

– Как так?

– Так, вырежу из бумажки человечка, один конец нитки на шею, а другой конец заверну в кусок жеваной бумаги, брошу в потолок; мокрая жеваная бумага прилипнет и человек висит с подписью: «Сперанский изменник».

– За что же вы меня вешали?

– Говорили, что вы передали Наполеону великие секреты государя и подписали какую-то бумагу.

– Так вы такие патриоты в корпусе?

– Да, мы очень любим государя.

– А Россию?

– Да как любить, чего не знаешь; вот я еду более года и все Россия, я и теперь ее не знаю.

– Как вы решились ехать в такую даль?

– В Кронштадте не хорошо жить, нас очень много. Я подумал: если в Камчатке не найду лучшего, то найду новое – все-таки выигрываю.

– Смелая посылка!

– Да когда же и искать, как не в мои годы?

– Вы правы.

Подали огню; Сперанский поблагодарил, я откланялся.

\*\*\*

Иркутск веселился напропалую, казалось, никто ничего не делает, а Сперанский меньше всех: обед, бал – Сперанский непременно везде присутствует; служащие при нем, кажутся, затем и приехали, чтобы праздновать, – только никто не видит Цейера и канцелярских, да долго по ночам освещен весь дом Сперанского. Не слыша служебного слова и не видя дел – дом Трескина постоянно пустел; дом, недавно сцентрировавший в себе всю жизнь Иркутска – стал как зачумленный, хотя Трескин продолжал быть губернатором. В обществе не было о нем ни полслова.

Как-то вдруг, неожиданно, явились на сцену разговора три исправника: иркутский – *Волошин*, верхнеудинский – *Гедельштром*<sup>\*</sup> и нижнеудинский – Лоскутов. Первые два были в Иркутске и были постоянными членами общества; о них заговорили, но они одни, кажется, не слышали говора. Двух первых я хорошо знал, а третьего – никогда не видал. Волошина называли – студент, смеялись, что он, бывши еще московским студентом, уже был назначен исправником, занимал должность 13 лет.

---

<sup>\*</sup> Похоже, это все тот же предыдущий персонаж, с удивительной судьбой! – Примеч. М.И. Классона

Гедельштром, по рассказам, был домашним секретарем графа Румянцева; по какому-то делу (не сохранила моя память, чуть ли не в Ревеле), падающему тенью на графа, Гедельштром принял вину на себя и был удален в Сибирь. Человек, хорошо учившийся, предпринял путешествие к Ледовитому океану; изданная им книжка была у меня, но теперь, вероятно, не найдется. Гедельштром долго был исправником за Байкалом. На каждого исправника, по жалобам – насчитывались миллионы взяток. Гедельштром говорил, что у них оставались проценты, а капитал попадал к Трескину.

У Волошина были крестины; на парадном обеде был Сперанский, обед был роскошный, помню – стерляжью уху на шампанском; обед был очень весел, говорлив, Батенков был в ударе, абордировал меня нещадно. Сперанский добр, молчалив, но был приветлив, ласково шутил с хозяином. На другой день слышим: у бедного Волошина описали имение и оказалось денег – один рубль семьдесят три копейки. Бедный Волошин в день описи имущества, должно быть, с горя, при мне вечером проиграл в банк до 25-ти тысяч рублей. Странно, никого это не удивило, еще страннее, что Сперанский знал о проигрыше, но не показал и вида, что ему известно.

Об описи Гедельштрома – не знаю или не помню, а вот при описи в Нижнеудинске Лоскутова у него нашли – набитую мебель ассигнациями, и только в мебели нашли 450 тысяч рублей. Сперанский немилосердно, жестоко наказал этих грабителей – он *сослал их в Россию!* Они, бедные, страдальцы, переехали – кто в Москву, кто в Петербург. Хотя жестокое, но оригинальное наказание – ссылка из Сибири в столицу!

Михаил Михайлович трудился не над исправлением прошедшего зла, чего и невозможно было исправить, была бы бесплодная работа; он трудился над устранением зла в будущем и работал – пересоздать управление Сибири. Раз, я случайно слышал, как говорили люди, имеющие возможность знать многое, что Сперанский сначала хотел сделать из Сибири Финляндию, но получил совет – не начинать.

\*\*\*

Переделанную Сибирь я видел чрез 12 лет. Плоды труда Сперанского были осязательны: власти были ограничены, правление Трескина – было слабым преданием и умерло в истории, сохранившись в анекдотах. Но как все дела человеческие – несовершенны, так и последствия благонамеренного труда умного человека – оказались односторонними. Злоупотребления властей действительно уменьшились; не слыхать было жалоб от богатого купечества и, вообще, классы имущие были довольны, но зато обессиленная власть не имела силы сдерживать народ, впадала в апатию. В нравственном быте народа я нашел огромную перемену, менее одного поколения – и народа узнать было нельзя! Жизнь в городе мало была обеспечена; частые убийства, грабежи, воровства, недалеко от Иркутска, в горах – две шайки разбойников.

Несколько раз я слышал, как Лавинский с негодованием говорил:

– Человек готовился лазить на колокольню и звонить в колокола, а ему поручили переделывать край\*! Хорош реформатор! – и не скупился прибавить непечатных слов.

Более всего поразило меня – это заметное обеднение деревень. Казалось бы, с уничтожением деспотической власти полиции, избавлением от незаконных поборов исправников – жизнь крестьян должна бы улучшиться, но результат вышел противный. Не один раз слышал от стариков, жалевших об управлении Трескина, вспоминали, какое было спокойствие, а теперь что...

Я ничего не сказал о частной жизни жителей Иркутска, да и, вообще, не могу сказать многого. О чиновниках говорить нечего, это кочующий народ – приезжают с целью, на время, и уезжают, достигнув по возможности своей цели; чиновники не составляют ко-

---

\* Намек на происхождение Сперанского, который был сыном сельского священника и получил образование в духовной семинарии. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003



ренного оседлого населения Иркутска. Аристократию Иркутска составляют первогильдейцы-миллионеры, торгующие с Китаем чрез Кяхту. Градация купцов, как и везде – по величине капитала. Мещане, казаки – все собственники домов и не бедны. Иркутские купцы люди образованные, в щегольских фраках; танцую с молодыми женами их, я знал, что они в платьях, нередко выписанных из Парижа. Коляски из Питера, с иголки.

Вот вам купец *Вася Баснин*: Лавинский пошел гулять пешком и взял меня с собою. «Вот близко, зайдем к Васе Баснину». Огромный двухэтажный каменный дом, чистота прекрасная. Не приказав доложить, мы нашли Васю Баснина в библиотеке, в прекрасном китайском шелковом халате, в большом покойном кресле, с новейшею книгою. Вася сконфузился, засуетился. Генерал-губернатор запретил одеваться. Вася позвонил, явился серебряный шоколадник; при нас сварив на спирте, предложил нам прекрасного шоколада. Лавинский приказал ему надеть сюртук, и мы пошли втроем продолжать прогулку. Лавинский взял под руку Васю, серьезно говорили о средствах усилить и улучшить кяхтинскую торговлю. Чувствуя, что я им не товарищ, я откланялся. Вот тип иркутского первогильдейца.

В 1819 году выдвигался из всех Иван Ефимович *Кузнецов* – по недавнему положению своему друга сердца губернаторши Трескиной и потому еще, что он тогда был товарищем откупщика. Его дом занимал Сперанский (Кузнецов занимал огромный двухэтажный каменный дом среди города). Дума нанимала несколько отдельных небольших домов для проезжающих – служащих, в домах было все удобство в первое время. Содержатель почты обязан был немедля прислать пару лошадей с кучером, которые и находились в распоряжении проезжающего целый день. Сам проезжающий попадал в распоряжение Кузнецова, у которого в нижнем этаже обед, ужин, чай – день и вечер. Обед даже прихотливый и разливное море [напитков]; вечер – постоянная игра в карты; сам Кузнецов не играл. Случалось быть свидетелем, как выигрывались десятки тысяч в банк. Но все было чинно, прилично, весело.

Иркутск стоит на ровной, сухой местности правого берега Ангары. От востока обходит, а северную часть города прорезывает быстрая речка Ида и тут же впадает в огромную Ангару. Иркутск 1819-го года щеголял опрятностию улиц и домов. В Иркутске все жители имели своих лошадей, а потому извозчикам не было места.

В штате Сперанского был весьма приличный господин; говорили, что он считается чтецом Михаила Михайловича, но едва ли это правда: этот господин говорил с сильнейшим немецким акцентом, но он был замечателен: превосходно играл на скрипке, непобедимый игрок в шахматы, артист на биллиарде; вот он-то и давал каждый вечер концерт – на картах в банк.

В Иркутске был *Вейкарт*; он был родной племянник Сперанского; мы были ровесники, он еще нигде не служил, превосходно образован, воспитанник иезуитов, которых он серьезно боялся – хотя иезуиты и были далеко. Жорж Вейкарт был очень недурен собою, среднего роста, сильно и стройно сложен и предобрейшего сердца. Мы скоро сделались друзьями; Сперанский, кажется, доволен был нашею дружбою; он очень любил Жоржа, но денег не давал ни копейки; Жорж всегда был хорошо одет, но и только. Все шалости сходили нам без замечания. Где теперь незабвенный мой друг Жорж? жив ли он? А он обещал пойти далеко!

Сперанский все ничего не делал, все продолжал бывать на обедах и балах; казалось, все шло по-старому. Цейер все суетливо бегал с бумагами; никто ничего не знал.

Оставшаяся команда в Омске прибыла в Иркутск поздно осенью; для следования в Якутск мы должны были дожидаться, как замерзнет великолепная Лена. В мое отсутствие из Омска Воронов женился там. Стала зима, мы должны были ехать. Сделав прощальные визиты, Трескина, кажется, не видал; я не любил его, тогда все обходили его, дом его точ-

но стоял оглашенным, хотя он и был еще губернатором. Когда я откланивался Сперанскому, он, ласково улыбаясь, пожелал успеха, не скучать и сказал:

– Советую найти занятие, кроме службы, и не быть праздным.

Батенков проводил за город и с чувством друга, прощаясь, твердил: «пиши, пиши!» Дорогой мой Жорж проводил меня до первой станции.

\*\*\*

Через 15 лет я видел [в Петербурге] только Сперанского; его уже вносили на лестницу; он сидел в большом кресле, внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Ваше имя не общеупотребительное? – Я назвал себя (Эразм).

А он, улыбаясь, прибавил: «Роттердамский!» Смотря на мое лицо, Михаил Михайлович сказал:

– Надеюсь, вам была удача в ваших делах?

– Да, я не могу пожаловаться, до сих пор я доволен и службою, и делами.

– Надеюсь, так и будет продолжаться, вы должны иметь успех. Скучали вы?

– Мне чувство скуки неизвестно.

– Счастливый характер.

Я заметил тогда и убежден теперь, что Сперанский не только знал, но и уважал Лафатера: родимые пятна на моем лице, по Лафатеру, означают успех в жизни. Затем спрашивал о моей службе, о жизни в Камчатке и Охотске. Узнав, что я поневоле был в Иркутске, хотел знать, как я нашел Иркутск. Я был скромн, но он сказал:

– Я имею сведения, что там стал порочен народ. Может быть, народ рано получил много воли, может быть, были нужны еще крепкие вожжи, но будем надеяться лучшего от времени.

В заключение спросил, не имею ли я нужды в его содействии? Я почтительно благодарил и откланился. Сперанский приглашал меня разделить свободный час, но я более не был.

\*\*\*

Знаменитость Иркутска в 1819 году был Иван Ефимович *Кузнецов*, в обществе назывался *король*. В 1830 году я нашел «*короля*» порядочно старым, до крайности бедным; кажется, всего имущества остался деревянный дом, в котором [ранее] жил Сперанский. Дом большой, в 1819 году – горел огнями, в 1830-м стоял темный. По старому знакомству, помня хлеб-соль, был я у короля – пусто, бедно! одинок, детей нет и не было. Говорил так же на о, но был молчалив, скучен, даже плохо одет. Грустное впечатление!

В 1833 году, прощаясь окончательно с Иркутском, заехал к «*королю*». Нашел его в маленькой комнатке, в халате с сотнею заплат; он сидел около наклоненного лотка (которым дети катают яйца на Пасхе), около него два мешка грязного песку, а выше лотка – ведро воды. «*Король*» с щеткою в руке вымывал песок в лотке.

– Что это вы делаете, Иван Ефимыч?

– Да вот, по старому знакомству, беглый варначок принес землицы на пробу; не знаю, что́ будет – пробу.

Подумал я: ни в каком положении надежда не оставляет человека. Простились с пожеланиями. В Киеве получил я письмо из Иркутска: Иван Ефимович Кузнецов – миллионер, не знает счета деньгам, делает громадные пожертвования, статский советник, в орденах и стал настоящим *королем* между миллионерами! Виденный мною грязный песок оказался богато содержащим золото; говорят, 100 пудов песку давали около фунта золотого песку; это, конечно, неисчислимо богатство, когда считается не бедною россыпью, которая дает из 100 пудов золотник золотого песку.

\*\*\*

Трескин переселился в Москву, притворялся бедняком, дочерей водил в заячьих салопах. Рассказывали, что Нарышкин ходатайствовал о вспомоществовании Трескину и сказал, что по бедности дочери его ходят в заячьих салопах. Добавляют, что государь много смеялся участию Нарышкина. Кто тогда не слышал о миллионах Трескина?

Из всех действующих лиц этого воспоминания за 60 лет, вероятно, живут немногие, да и я оживаю только в прошедшем. Настоящее часто напоминает мне, что я хожу по кладбищу!

### ***Очерки, рассказы и воспоминания Э..... ..ва***

*«Русская старина», декабрь 1878 г.*

#### **V. Жизнь и служба в Симбирске, 1834-1839 гг.**

Бывши начальником адмиралтейства в Иркутске, в феврале 1832 года поехал в Кяхту<sup>\*</sup>; февраль у китайцев – месяц праздников нового года. Не доезжая [почтовые] станции три до Троицкосавска, зимний путь прекращается; на этой местности никогда не бывает ни снега, ни дождя. В Троицкосавске – главное управление таможни, население города большое; тут живут постоянные и временные рабочие из Кяхты, тысячи обозников – движения очень много. От Троицкосавска до Кяхты 4 версты. Кяхта – небольшой городок с своеобразным бытом и населением: это мир первогильдейцев, которые только одни имеют право вести заграничную торговлю. В городке совершенная тишина, движения никакого; в это время шли переговоры и сделки с китайцами.

Тузы иркутские все были мне знакомы, я сделал им визиты, т.е. выпил чашек десятков чаю и прихлебнул из десятка рюмок вина. Все были заняты, все озабочены. Возвратясь на квартиру, вместо контрвизитов получил столько же ящичков чаю. Не буду описывать Кяхту, Маймачин, тамошние порядки у русских и китайцев – все это описано и переписано десятки раз.

Под покровительством Васи Баснина обедал у богатого купца-китайца; сосчитал шариками хлеба 93 кушанья, какие это кушанья? право, не знаю, но пробовал всего чайною ложечкою, все блюда сносны и многие вкусны. Обратило мое внимание блюдо с турецким табаком, очень пышно наложенным; смотрю, все едят, макая в сою; взял и я, во рту тает, спросил: что такое? сказали – свиная кожа!

Своеобразный мир китайцев известен, а если скажу, что начинается обед конфетами и кончается супом, то достаточно выражу противоположность всему русскому. Мы гордимся изобретением самовара, но едва ли это верно: мы придумали только дать другое употребление самовару. Самовар с незапамятных времен употребляется китайцами, но не для чая, как у нас: у них кипящий самовар подается последним блюдом за обедом. В самоваре кипела разная зелень и коренья; каждому из нас подали на блюде тонко, претонко нарезанные ломтики сырого фазана; каждый палочками брал ломтики, опускал в кипящий бульон и, подержав недолго, кушал. Право, это недурно. Самовар прекрасной формы, не так давно и Тула переняла эту форму. Пили китайцы не больше наперстка, но пили очень часто, пили спирт из риса – как огонь острый, думаю, градусов до 70-ти.

Невзирая, что я был предупрежден рассказами и чтением, но был очень удивлен миром другой планеты! Был с визитом у дзаргучея, очень важный и очень вежливый китаец<sup>\*\*</sup>. Обедал у него в какой-то их праздник, было 113 блюд, порядки одни. Я заметил, что у дзаргучея акцент и даже голос разговора не похож на других; мне сказали, что эта мане-

---

<sup>\*</sup> Кяхта – торговая слобода, появившаяся в середине XVIII в. вокруг крепости того же названия; до строительства Китайско-Восточной железной дороги в начале XX в. – центр русско-китайской торговли; располагалась в трех верстах от заштатного города Забайкальской области Троицкосавска (основан в 1727 г.) и 80 саженьях от китайской торговой слободы Маймачин. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

<sup>\*\*</sup> Дзаргучей – глава администрации Маймачина.

ра говорить употребляется при дворе, где дзаргучей был чиновником. У одного китайца, как оказалось, полицейского дзаргучея, уши в стеклянных футлярах. Китаец на вопрос объяснил: «Русские, когда худо видят, то носят стекла на глазах; я худо слышу, тоже надел стекла на уши». Видимо, физика не процветала в Китае.

Известно, что китайское правительство запретило женщинам быть в Маймачине, для того чтобы не ссориться с русскими, потому что история Китая рассказывает, что все ссоры, войны происходили из-за женщин. Это доказывает, что китайские женщины – не другой планеты!

Возвратился в Троицкосавск. Там в это время жил барон *Шиллинг фон Канштадт*. Этот действительный статский советник приехал из Питера для изучения религии Далай-Ламы. Известно было, что этот барон – отец всех наук и брат мудрости. Вечерком я сделал ему визит; прося лакея доложить, получил ответ:

– Барону, его превосходительству, не докладывают, пожалуйста.

Цивилизованный лакей годился бы в старинную французскую комедию. В небольшом домике, в первой низенькой комнатке, около стола, спиной к дверям, сидел толстяк в халате; против него, у того же ломберного стола, наклонился через стол [гость] в одежде священника; оба рассматривали какую-то брошюрку на китайском языке. Тихо войдя, слышу – говорит барон:

– Да вы, отец Иакинф, обратите внимание, не кабастика ли это?

Я стал за креслом барона, оба так были углублены в книжку, что не обратили внимания на мой приход. Стал и я смотреть на книжку, мне казалось неприличным прервать интересное рассуждение. Вижу, книжка вся состоит из цифр в несколько рядов с китайскими буквами. В это время барон перевернул листок, я увидел сбоку чертеж сферического треугольника с отметками известных и неизвестных. Дело знакомое, я сказал:

– Да это логарифмы!

Барон обернулся ко мне и, не вставая, – что, кажется, едва ли и возможно было, – подал руку и самой приветливой манерой усадил меня к столу и представил отцу Иакинфу. В две, три минуты я чувствовал себя коротко знакомым, так привлекательна была манера барона, а я подумал: вот удалось одним камнем убить два воробья: хотелось видеть монаха *Иакинфа Бичурина*, да не знал как. Тотчас потребовалось от меня объяснение, что я разумею под названием *логарифм* и почему я признаю эту непонятную книжку, над которой они ломают голову, – логарифмами? Я объяснил до подробностей употребление логарифм и даже объяснил способ вычисления их.

Оказалось, брошюрка издана иезуитами в Пекине. Любезность барона наименовала меня ученым. Скоро барон овладел разговором и с гордостью хвастал, что он считал громадным успехом приобретение Ганжура и не теряет надежды приобрести Данжур, что Европа не имеет ничего подобного и проч. и проч. Эти Ганжур и Данжур, в религии Далай-Ламы – почти то же самое, что у папы костельное право, одно пространное, другое сокращенное\*.

Хитрые логарифмы сблизили меня с бароном. Что за увлекательный человек: пропасть путешествовал, знаком и в переписке с учеными знаменитостями целого света. Занимательных рассказов, всегда умных, интересных анекдотов – без конца. Барон Шиллинг фон Канштадт был небольшого среднего роста, необыкновенной толщины. Всегда приветливое выражение недурного лица, глаза полные веселости и блеска. Барон был холост. Об-

---

\* Ганжур – священная книга буддизма; собрание канонических произведений, приписываемых Будде, состоит из 108 томов. Данжур – собрание тибетских канонических произведений, написанных разными лицами; является продолжением Ганжура, содержит комментарии к нему и состоит из 225 томов. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

ращение его было – человека самого высшего тона. Он имел искусство оставить уверенность в каждом, что Шиллинг находит его умным человеком.

В Петербурге я видел, как дамы, и особенно молодые, ласкали его: он умел заставить их хохотать и быть внимательными к его анекдотам. Шиллинг был друг всего высшего круга Питера. Помню раз, как барон заставил усердно хохотать все большое общество своим рассказом в лицах, как тощие италианцы несли громадную его толщину на [вулкан] Этну; он сам не смеялся, но рассказ его был мастерской и чрезвычайно комичен.

\*\*\*

Возвратясь в Петербург с идеями старого флота, но побывав в Кронштадте, я страшно разочаровался! Той отдельной касты, того заветного братства, той независимости, кажется, от целого света – ничего не нашел! [Явились никогда не бывалые выскочки-хвастуны, говорили о доносчиках.] Достойные старики, около которых кристаллизовалась молодежь и продолжала нравы флота, – одни поумирали, другие удалились.

Из огромного моего выпуска нашел только семь товарищей – все разбрелись, а оставшиеся казались, будто, каждый сцентрировался в себе; нет прежней разгульной откровенности, бедность большая, я богач между ними. Дал товарищам хороший обед в трактире Стюарта. Обед прошел молчаливо. Все были ласковы по-товарищески, но и только! На вопросы: «что с вами?» отвечали: «не то время, поживешь, увидишь». Самые искренние, и те тихо жаловались на князя Меншикова.

45 лет прошло – расскажу мое первое представление князю Меншикову\*. Это время было время проектов – кто мог, тот и умничал, я еще в Сибири понял современную моду. Надумал и я проектов для Охотска и для Байкала. Являюсь смело к князю. Я надеялся щегольнуть, заинтересовать своими проектами, но не на того напал; я с незрелой и недоконченной мыслью хотел сделать скачок, не тут-то было: князь крепко держал нитку начатой идеи! Я понял, что могу остаться в дураках, и замолчал.

– Что ж вы молчите?

– Извините, ваша светлость, я не могу говорить с вами.

– Отчего?

– 15 лет я не видал так высоко стоящей особы и во всю жизнь не встречал такого могучего ума.

– Ну, так как же мы будем говорить с вами?

– Ваша светлость, я искренно доложу вам, что, стоя перед вами, я потерял способность мыслить, чувствую свое ничтожество!

– Вы одичали, поживите в Петербурге, отдохните, иногда приходите (кажется) по середам пить чай. Прощайте.

Мне только и хотелось дозволения пожить в Питере. Деньжонки у меня были, я счел дозволенным себе упиться удовольствиями, от которых был отчужден 15 лет. Во флоте я разочаровался: упадок общего духа, бедность товарищей поразили меня – какая будущность? Я долго думал и решился искать другой службы. Тогда самое большое содержание было, как в новом учреждении, в корпусе *жандармов*, но без протекции как попасть туда?

Бродя по Питеру, я вспомнил барона Шиллинга, застал его дома, он принял меня очаровательно; разговаривая со мною, [ловко узнал мои сокровенные желания, которые, не имея надежды, я хранил в тайне; Шиллинг] заставил меня высказаться о причинах моего намерения. Спросил мою квартиру, и мы простились. Утром получаю с жандармом записку от начальника штаба корпуса жандармов *Дубельта*, всем знакомой формы: «свидетельствуя совершенное почтение» и проч., приглашался я в штаб, для некоторых личных объяснений.

---

\* Меншиков Александр Сергеевич (1787-1869) – светлейший князь, адмирал, генерал-адъютант, начальник Главного морского штаба с 1829 г. и финляндский генерал-губернатор с 1830 г.

Дубельт хотел знать об Американской компании<sup>\*</sup>, а кончилось приглашением меня в жандармы. [Хотя я и был удивлен, но согласился не думавши. Мне приказано иногда являться в штаб, так как в жандармы поступают по испытанию. Обдумав на свободе, я невольно сказал себе: «иногда вывозят и логарифмы»<sup>\*\*</sup>].

Явился к князю Меншикову; опять история проектов, я замолчал и повторил в роде первой проделки, а на вопрос князя: «как же мы будем говорить?» – я спросил позволения написать.

– Так вы литератор? Ну, сочините, посмотрим. – Я написал и принес, князь читал, саркастически улыбаясь, и, отдавая мне, сказал:

– Предметы так важны, что превосходят мою власть; отнесите в совет адмиралтейства, но будьте осторожны (понижив голос), там сидят все мудрецы!

Это он сказал с таким сарказмом презрения, что я будто теперь слышу.

В адмиралтействе я нашел *Васильева*, с которым я брал обсервации в Камчатке, *Рикорда*, с которым служил там же, и других. Моряки приняли меня по-родному; я подал проект, много хохотали и спросили: «да чего ты хочешь?» я просил позволения пожить в Питере. Мне дали билет с предписанием не отлучаться из Питера до рассмотрения моих проектов.

Мне того и нужно было, чтобы не отделиться от жандармов. Государь уехал и вызвал князя Меншикова в Мюнхенгрец<sup>\*\*\*</sup>. Я объявил Дубельту, если желают, чтобы я был жандармом, то это можно сделать, только без князя Меншикова. Ответ из флота о мне много стоил хлопот, и я обязан много *Лермантову*.

Я – жандарм. Возвратившийся князь очень гневался, узнав, что я перешел в жандармы. Лермантов рассказывал, что князь назначил меня командиром нового фрегата, [строившегося в Архангельске] по методу Стефенса; при этом и доложил Лермантов, что меня уже нет во флоте; князь гневно спросил:

– Кто его выпустил?

– Моллер.

– Ох, этот гнилой, он всех распустил.

Мне хотелось иметь патент из флота. Князь бросил патент на пол и сказал: «никогда не подпишу». Последовало сепаратное повеление: из флота не переводить.

[Только на службу являлся в жандармской форме, а без службы продолжал носить флотскую.] У меня был двоюродный брат Василий *Семенов*; он был тогда цензором, к нему собирались литераторы и любители. В один вечер Семенов объявил, что он прочтет замечательную вещь, В. Семенов, превосходный чтец, прочитал «Большой выход у Сатаны» Сенковского. Только ахали; удивлению, похвалам, восторгам – не было конца. Но когда брат сказал, что пропустить не может, все заговорили: это преступление, это грабеж

---

\* Американская компания – точнее: Российско-американская компания – торговое объединение, учрежденное в 1799 г. в России в целях освоения территории Русской Америки, Курильских и др. островов. Ей предоставлялись в монопольное пользование все промыслы и ископаемые, находящиеся на той территории, право организовывать экспедиции, занимать вновь открытые земли и торговать с соседними странами. Была ликвидирована в 1868 г. в связи с продажей Аляски Америке. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

\*\* [Впоследствии я узнал, что действительный] статский советник Шиллинг фон Канштадт служил в ведомстве шефа жандармов, получая 12 тысяч рублей жалованья в год, часто был посылаем за границу и множество перебрал денег по всевозможным поводам от (неразборчиво)] (*ИРЛИ, ф. 265, оп. 1, д. 21. л. 279*).

\*\*\* 18 сентября 1833 г. между Австрией и Россией была заключена Мюнхенгрецкая конвенция (в чешском городке Мнихово-Градиште или по-немецки – Мюнхенгрец), во время свидания Николая I с Францем I и прусским наследным принцем Фридрихом Вильгельмом в Мюнхенгреце, вскоре после ликвидации египетского кризиса 1831-33 (см.); подписана со стороны Австрии Меттернихом и графом Фикельмоном, а со стороны России – К. Нессельроде, Д. Татищевым и А. Орловым.

литературы, это убийство таланта, это святотатство и проч., долго судили и рядили. В. Семенов решил, что если не поможет граф Бенкендорф – на него последняя надежда – он другого средства не видит.

[Утром явился Семенов к графу и очень удивился, увидев меня жандармом.] Граф хорошо знал Семенова, который, говоря о своем сомнении в статье, божился, что в ней ничего нет, но сомневается по своей неопытности. Граф приказал мне положить у него на туалет. Я отлично припрятал и прикрыл бумагами. Каждую неделю приходил Семенов за статью; граф уверял, что еще не дочитал, а я видел, что не дотрагивался.

Пришел Семенов третий раз и уверил, что литератор настоятельно просит, работа срочная. Граф приказал мне подать, я отвернул последнюю страницу, и граф написал: «дозволяется печатать». Говорят, государь был недоволен ценсурой, [недовольство это] оборвалось на Бенкендорфе.

Меня назначили в Симбирскую губернию\*. Откланиваясь графу Бенкендорфу, я просил его наставления, чего я должен достигать нравственно, исполняя свою обязанность. Граф отвечал:

– Ваша обязанность – утирать слезы несчастных и отвращать злоупотребления власти, а обществу содействовать быть в согласии. Если будут любить вас, то вы легко всего достигнете.

– Ваше сиятельство, общество играет в запрещенные игры – в карты, должен ли я мешаться?

– А вы любите играть?

– Нет.

– Ну, так позволяю вам играть в банк до 5 руб., но вы не должны позволять обыгрывать неопытную юность и хранителя казенных сумм. – Я дал честное слово исполнить.

Приехал в Симбирск, кажется, 8-го января 1834 года; предместника моего, полковника М[аслова], я не застал уже, но застал озлобление всего общества против него, а вместе с тем недоверие и нерасположение к голубому мундиру.

Разбирая деятельность М[аслова], я нашел, что он совершенно не понимал своей обязанности: он [с какими-то отсталыми понятиями] хотел быть сыщиком, ему казалось славою – рыться в грязных мелочах и хвастать знанием домашних тайн общества. Жена его любила щеголять знанием всех сплетен и так была деятельна, что для помощи мужу осматривала предварительно рекрут, хотя это и не было обязанностью жандармского штаб-офицера, но М[аслов] совался везде. Одним словом, М[аслов] хотел быть страшным и – достиг общего презрения! [Мне предстояла немалая задача: заслужить общее доверие и быть не лишним членом общества.]

Симбирск от Москвы более 700 верст, а от Питера до 1500 верст; ехать для зимних удовольствий в столицы – слишком далеко, да тогда и сообщения были не такие, как теперь. Богатого дворянства много; по необходимости, по окончании летних хлопот по хозяйству, на зиму все помещики группировались в Симбирске и веселились так, как уже не веселятся!

Я знал по опыту, что тот не находит любви, кто ее ищет; общая любовь и доверие заслуживаются нравственною правдою, уважением условий общественных и неприкосновением семейного домашнего быта.

Первый визит губернатору, он сделал мне вопрос:

– С каким намерением вы сюда приехали?

---

\* В рукописи было: «Не любил я Питера: огромные дома, громадно великие люди, и все холодно, холодно. Находясь при шефе жандармов, мне было беспокойно и много расходов. По случайной дружбе ко мне Дубельта от меня зависело выбрать губернию; я выбрал, где не было родных, товарищей и знакомых, – Симбирскую».

- Содействовать возвышению власти вашего превосходительства.
- Какие ваши планы?
- Я еще ничего не знаю.
- Имеете знакомых?
- Никого.
- Если вы намерены искренно содействовать мне, то чего вы требуете от меня?
- Только личного ко мне уважения и когда мне нужен будет секрет, то сохранить, я тогда только и буду вам полезен.
- Это так немного, что я не только даю вам честное слово, но считаю прямою своею обязанностью исполнить.
- Мне более ничего и не нужно.
- Вы, господа жандармы, любите много писать?
- При данных вами обещаниях, я даю вам слово показывать вам все, что я буду писать, но до тех пор, пока вы будете исполнять свои условия.
- Наши условия так несложны, что мне приятно подать вам руку дружбы.

Мы простились. Слышу, всякий день в городе обеды, балы, но я расчел не навязываться на знакомство, дать забыть систему М[аслова]. Первым приехал ко мне Борис Петрович *Бестужев*<sup>\*</sup>, отставной лейтенант начала столетия; старик узнал, что я служил во флоте, не утерпел не повидаться и упробил к себе на бал.

[Это была проба моей тактики. Танцы – по моей части, но это не то, что мне нужно; я уселся в бостон со старухами. В коммерческих играх – артист, старухам умел дать выиграть слабые игры, а каждое слово мазал медом. Старухи были веселы, как молодые. После ужина показал свое искусство в танцах, тоже с немолодыми дамами. Хотя был холост, но на молодых и юных не обращал пока внимание. Тактика вечера так была удачна, что на другой день по приказу старух многие приехали знакомиться: мужья, зятя, сыновья.]

Скоро я стал членом общества. [Скоро я узнал много тайн семейных. А как? Позвольте умолчать! Чужие тайны были и остались для меня святыми.] Скоро я узнал в курительных кабинетах, что все общество ненавидит губернатора, причин – бесчисленное множество, как обыкновенно бывает при неудовольствиях. Во всех общественных положениях есть непременно центр [кристаллизации], откуда и расходятся мнения и причины – как радиусы. В этом случае оказались два помещика: Т[ургенев] и О[ржевитинов] – несомненно люди умные! я к губернатору:

- Вас здесь не любят.
- Это правда.
- Какая причина?
- Право, не знаю.
- Быть главной властью и быть нелюбимым – неприятно.
- Неприятно, да что же сделать?
- Я скажу вам средство, от вас зависит помириться с обществом.
- Пожалуйста, я на все согласен.
- Вы действительно не знаете причины?
- Честное слово, не знаю!

---

<sup>\*</sup> Борис Петрович Бестужев (?-не позже 1851, с. Выры), лейтенант флота в отставке; помещик Симбирского уезда, в 1840 г. в деревне Степная Репьевка (Новая Бестужевка и Петровка) ему принадлежало 1050 десятин и 76 душ крестьян, да его жене Надежде Алексеевне – 400 десятин и 66 душ, кроме того, он какое-то время был помещиком Симбирского уезда в селах Кадыковка (1 600 десятин), Выры (здесь после его кончины землей владели 1-я или 2-я жена – Софья Ивановна и другие наследники) и деревне Садки (бывш. пустошь Задорожица). – Примеч. М.И. Классона



– Т[ургенев] и О[ржевитинов] главные ваши враги, причины не важны; пригласите их, вы сумеете смягчить; объяснитесь и помиритесь, тогда все общество повернется к вам лицом.

– Очень много вам благодарен, вы действуете как мой друг!

– Но надеюсь – вы обо мне не упомянете, мой успех в секрете.

– Будьте покойны, я помню наши условия.

Пред тем я нашел случай познакомиться с Т[ургеневым] и виделся с О[ржевитиновым]. Знал я, что губернатор приглашал к себе этих господ утром. Вечером я был у Т[ургенева]. Холодный поклон, молчат, отворачиваются. Я притворился сиротинкой и не понимаю, говорю любезности дамам. Т[ургенев] не выдержал и в досаде начал говорить даже оскорбительно:

– Мы думали, что вы человек с характером и не имели нужды скрывать своих чувств перед вами, а вы унизились и передали подлецу, – и проч.

– Я хотел согласия, единодушия общества с властью; если унизился, по-вашему, то с доброй целию. Жалею, что я ошибся, но кто не ошибался? Могу я узнать, какая была сцена между вами?

– Губернатор усадил нас в кабинете и сказал: господа, между нами есть неприятности, и вы и я имеем обоюдные причины; полагаю, как благородные люди, мы не обязаны давать в том кому бы ни было отчета, но, к удивлению моему, вы малодушно сообщили жандарму! Ха, ха, ха, да знаете ли, кто этот жандарм? он по просьбе моей прислан сюда для моих услуг! вот вы кому доверились. Господа, я не отнимаю у вас права иметь ко мне неудовольствие, но будьте же благородны, действуйте сами, без жалкого жандарма. Прощайте, я счел долгом сказать вам это.

Каково мне было слушать этот монолог! Я высказался искренно, не имея причин не верить губернатору; жалею, что обеспокоил уважаемых мною людей, но надеюсь, другой раз не ошибусь. Мы помирились, согласившись, что губернатор более чем человек нехороший\*.

Рано утром – я у губернатора. Ласков, приветлив, хороший друг!

– Не утерпели, не сохранили секрета?

– Язык мой – враг мой! Кругом виноват!

– Ну, по условию – вы губернатор, а я жандарм, но помните, у меня огорода нет, а у вас столько огородов – куда ни брось камень, попадешь в ваш огород!

– Не будем ссориться, я виноват, прошу прощения; увлекся с не[годя]ми, больше этого не будет.

Тут пристала страдальца-жена его с просьбой – простить.

– Так и быть, этот раз не в счет, забудем; но другой раз не забудем!

– Душою и сердцем – согласен!

Вскоре повторился другой удобный случай. [Я держался правила: я доверчив, меня обмануть легко; кто меня обманет – тот негодяй, а кто другой раз меня обманет – тогда я дурак! Был помещик Бабкин – вышедший в отставку при Екатерине капитаном Преображенского полка, добряк и простак. К нему приехал сын – молодашка-служащий в Сенате. Я передал губернатору, что вчера имел пренеприятный вечер у Бабкина. Целый вечер сын его самой злою бранью поносил губернатора, я останавливал – еще хуже! Надобно, чтобы отец зажал рот сына. Вечером Бабкин не смотрит на меня, сердится. К простаку нетрудно приласкаться: только заговорить о счастливых временах при Екатерине. Старик обыкновенно тает – и при этом случае высказался, что губернатор позвал и распушил старика; на оправдания и клятвы Бабкина губернатор сказал о мне и повторил то же, что говорил

---

\* В рукописи: подлец.

пред Тургеневым и Оржевитиновым. Я уверил старика, что губернатору налгал чиновник при мне, что я заступался, а губернатор, не желая выдавать чиновника, свалил на меня.]

Тогда установленной формы для переписки в корпус жандармов не было; армейские писали рапортами, такая форма не позволяла вольничать, я принял манеру писать: письмами, докладами и простыми записками, но рапорта – никогда! Составил письмо к шефу об отношениях моих к губернатору и об его бесхарактерности и в конце уверил, что не пройдет много времени, как выяснится необходимость сменить его.

Пришел к губернатору и прямо сказал: нам более говорить нечего! Он начал извиняться, я подал ему письмо к шефу и сказал: я дал вам слово показать вам, что я пишу, – прочтите. Прочитав, побледнел и сказал:

- Вы так писать не можете!
- Отчего?
- Я буду жаловаться на вас!
- Тем лучше, скорей объяснятся ваши действия.
- Вы не пошлете.

Я кликнул жандарма, запечатал у губернатора и приказал отнести на почту.

Кто такой губернатор Z. \*? Он был в отставке капитаном Преображенского полка. 14-го декабря он явился к дворцу. Государь несколько раз посылал Якубовича образумить бунтовщиков и убедить их, чтоб покорились. Якубович шел к мятежникам, и Z. за ним. Якубович, вместо убеждения, говорил: «ребята, держитесь, наша берет, трусят, ура! Константин!», и бунтовщики кричат: «ура, Константин и супруга его Конституция!» Якубович возвращался и докладывает: «извольте слышать, они с ума сошли, хотели в меня стрелять».

Так было несколько раз, и Z. всякий раз ходил и один раз перевязал ногу платком, прихрамывая, будто его ударили по ноге. Государь не забывал усердия и сказал великому князю Михаилу Павловичу: «я видел усердие Z., спроси его, чего он хочет?» Великий князь Михаил спросил Z.:

- Чего ты хочешь?
- Z., не задумавшись, отвечал:
- Желая быть губернатором.
- Не много ли это будет?
- Для государя все возможно!

И вот Z. чрез разные метаморфозы – губернатор в Симбирске \*\*. Это я знаю от него самого. Z. был очень недурен собой, среднего роста, строен, всегда щеголь, образования – для гостинной, недурной актер. Дела, бумаги для него дело постороннее.

Застаю Z., подписывает кучу бумаг:

- Как же это вы не читаете?

---

\* В рукописи: Загряжский.

\*\* Стогов не был очевидцем событий на Сенатской площади и описывает их с чужих слов. История назначения Загряжского симбирским губернатором, рассказанная им, весьма сомнительна. За пять с половиной лет, прошедших с момента восстания до назначения Загряжского симбирским губернатором в июле 1831 г., он успел сменить ряд должностей: в январе 1826 г. был «уволен от военной службы для определения к статским делам»; служил в Сенате; «за усердную службу и особенные труды комиссии по коронации императора Николая I» был пожалован кавалером ордена Св. Анны 2-й степени; в 1829 г. назначен управляющим тамбовской удельною конторою; в июле 1831 г. перешел из удельного ведомства в Министерство внутренних дел и получил назначение в Симбирск. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

Знакомство со стремительными карьерами дворян – бездарных пустозвонов, подхалимов и подлецов при Николае I позволяет предполагать, что Э.И. Стогов рассказал вполне достоверный исторический анекдот. См., например, Петр Долгоруков. Петербургские очерки (памфлеты эмигранта, 1860-1867), Новости, М., 1992. – Примеч. М.И. Классона

– Пробовал читать, ничего не понимаю; пробовал не читать – все равно, так лучше не читать – результат один.

Был рекрутский набор; для приема в Симбирске приехал майор Ю[рьевич], а для наблюдения в губернии – флигель-адъютант полковник К[рутов]. Высочайше повелено: при приезде флигель-адъютанта, хотя бы и младшего чином, жандармский штаб-офицер обязан явиться к нему; но не позже как на другой день, хотя бы генерал-адъютант, обязан отдать визит. Я вообще был строгий исполнитель служебных обязанностей, немедля явился к флигель-адъютанту К[рутову]; он принял меня, как петербуржец – вежливо, ласково, как милый товарищ. Прошло два дня – не едет ко мне, думаю, верно, не знает распоряжения. Между бесконечными моими рассказами из жизни, я напомнил К[рутову], что он обязан быть у меня. Он расхохотался, любезно назвал меня мелочником и что подобная претензия не достойна меня и проч. Я доказывал ему, что моя служебная сила зависит от наружного уважения ко мне, и уверял, что не приму его. Не поехал ко мне К[рутов], но мы остались приятелями.

Рекрутский набор шел; слышу, майор Ю[рьевич] берет взятки, но это тогда была вещь обыкновенная. Несколько помещиков жаловались мне, что помещичьего рекрута не принимают без пяти полуимпериалов\*. Один коротко знакомый мне отдавал своего лакея; я видел его: молодчина, 9-ти вершков роста\*\*, молодой, красавец. Приказав вести в присутствие, пошел и я туда же; дошла очередь до лакея; майор Ю[рьевич] посадил его на пол спиной к стене, ноги его скосил в одну сторону, и оказалось – одна нога короче, закричал: затылок! Я, как не имеющий права вмешиваться, молчал, но когда советник отмечал в книге, я шопотом попросил дать мне выписку, за что забракован.

Услыхал неразумный майор, поднял шум, заходил петухом и говорил грубости, что всякий тут мешается и проч. Я, не выронив и полслова, напомнил тихо председателю правилу на зеркале. Добряк председатель *Огнев* остановил расходившегося майора. Я составил записку о рекруте и майоре и подал флигель-адъютанту К[рутову]. Он объяснил мне, что майор родной брат служащего, и в большой силе, при дворе, что он ничего не может сделать, и советовал мне не мешаться в дела майора Ю[рьевича], что и мне будут неприятности. К[рутов] хотел возвратить мне записку, но у меня были заняты руки, что я не мог взять записки, и она осталась у К[рутова].

Один небогатый помещик, хорошо знакомый, просил моего участия сдать рекрута с небольшим изъяном. Я своего унтера преобразил в мужика-отдатчика, дал ему пять полуимпериалов, четыре мужика при нем. [Из последней комнаты в дверях сделал отверстие и посадил двух свидетелей.] Унтеру приказано – отдавая деньги майору, уронить на пол. Рекрут был принят.

В городе громко говорили о сцене в присутствии и удивлялись, как я перенес молча. Один только старик-почтмейстер *Лазаревич*, выслушав, сказал:

–Господа, та собака, которая не лает, всегда больно кусается, я за майора и гроша не держу, он пропадет.

Набор кончен, майор набрал до 8-ми тысяч руб., но в Симбирске же и проиграл, бедный. Я составил о всем подробную записку и упомянул, что К[рутов] не отдал мне визита.

В феврале, вечером, пью чай. Буря, метель страшная, колокольчик у ворот; входит ком снега и говорит:

– Имею честь явиться! Прошу извинения, виноват кругом!

Это был флигель-адъютант полковник К[рутов]. За чаем рассказал, что его очень бранил Бенкендорф за неотдание визита.

---

\* Т.е. 25 руб. золотом.

\*\* 2 аршина и 9 вершков, т.е.  $142,2 + 9 \times 4,4 \approx 182$  см.

– На бале у Фикильмона, танцюю кадрили с государыней; только кончил, фельдъегерь подал бумагу: ему приказано немедля отвезти меня в Симбирск, а мне своеручно произвести следствие о злоупотреблениях майора Ю[рьевича] при рекрутском наборе.

Мне предписано содержать под строгим надзором майора Ю[рьевича] до окончания следствия.

Флигель-адъютант К[рутов] остановился в доме губернатора. К[рутов] не имел понятия, как и приступить к следствию; Z. дал ему чиновника, служащего у него по особым приключениям\*. На другой день я узнал, что допрашивал и писал чиновник. Я к полковнику К[рутову] и тут сказал:

– Говорят, что будто бы следствие делает чиновник?

Перепугался, побледнел К[рутов], забожился, заклился честным словом и проч., что это неправда. Мне жаль было беднягу, я сказал, что я удовлетворен и верю ему. Привезли майора Ю[рьевича] под арестом унтер-офицера и солдата. [Я так устроил, что мимо его квартиры в отдельном доме не прошел ни один человек.]

\*\*\*

Приехал граф Протасов; он состоял при особе государя, полковник. Удельные имения были разбросаны по всей России; неудобно и дорого было управление, предполагалось: удельных крестьян возвратить в казну, а симбирских казенных крестьян, тысяч до четырехсот, обратить в удельные. Это и поручено было гр. Протасову. После него приехал жандармский полковник Ф[лиге]. Граф Протасов – добрейший, благороднейший человек, но страшный педант службы.

Симбирские казенные крестьяне – на черноземе, на Волге, были богаты, много домов крыты тесом, синие кафтаны, красные кушаки – жили привольно. Делаясь удельными, становились помещичьими – переход не радостен! Надобно было быстро и ловко обделывать дело. Все исполнение пало на меня. Поняв любовь графа Протасова к крайней аккуратности, я каждый день посылал ему отчет в каждом часе моей деятельности. [Помню, тогда проезжал в Оренбург Перовский, увидав мою часовую отчетность, просил графа убедить меня перейти к нему. Я отвечал, что нахожу лучше быть попом в деревне, чем в соборе дьяконом.]

В это время я проезжал в сутки 300 верст.

Я успел [ловко] взять подписки со всех деревень в согласии на переход, а Ф[лиге] еще сочинял проект, как приступить к делу. Губернатор не участвовал, но ему хотелось прицепиться к награде; он вздумал взбунтовать одну отдаленную деревню Буинского уезда. Я упросил графа съездить со мною. Городничий Буинска не мог отвечать графу ни на один статистический вопрос, даже не сказал, сколько церквей в городе. Граф спросил меня:

– Что он – дурак пошлый?

– Нет, вы не умеете спрашивать, мне он ответит: господин городничий, сколько у вас кабаков?

Быстро и бодро отвечал – шесть! [Граф хохотал и завидовал моему веселонавию и сказал: «Вот какими людьми держится порядок в России!»]

Граф уложился спать, а я сам – в деревню к бунтовщикам и так настрашал их именем графа, что когда он приехал, то нашел всю деревню на коленях; но тут же я узнал, что приезжал переодетым чиновник по приключениям, но доказать было трудно, и я просил дела не поднимать.

Огромная была власть у Протасова. Когда я порассказал о полковнике К[рутове] и что он флигель-адъютант, но живет у губернатора, гр. Протасов послал за К[рутовым], а мне приказал сесть за ширмы. Боже мой, я и теперь слышу тот повелительный голос графа!

---

\* Т.е. чиновника по особым поручениям.

Оба полковники и К[рутов] – флигель-адъютант, но граф так жестоко бранил его, как я не бранил бы писаря, – глупцом, соусником, блюдолизом и проч. Укорял его, как доверенного государя: к нему должен прибегать обиженный, а кто же пойдет с жалобой на губернатора, когда он лижет его тарелки! Приказал чрез два часа съехать – и съехал. Во все время К[рутов] покорно молчал. Я так и ждал, вот К[рутов] треснет графа.

Когда собирался граф уезжать, то я, боясь неустановившегося еще дела и боясь шаловливости Z., советовал придумать что-нибудь. Граф послал меня к губернатору сказать, что граф будет у него официально.

Пришли мы с графом, губернатор встретил во фраке. Граф спросил: как передал вам господин майор [Стогов]? На ответ губернатора граф сказал:

– Я пришел официально передать губернатору волю государя, с лакеем я говорить не могу, наденьте мундир и придите выслушать.

Пришел в мундире губернатор. «Слушайте повеление государя: вы устраняетесь от всякого участия в делах по переименованию казенных крестьян в удельные. Государь император повелевает все распоряжения по этим делам поручить вам, господин майор! вы имеете действовать, не сносясь с губернатором; малейшее косвенное вмешательство губернатора заметите – пришлите немедля курьера».

Губернатор только успел сказать, что он не заслужил такого недоверия. Граф крикнул: «молчать! когда приказывает государь, тогда не разговаривают, а исполняют; еще одно слово – я отправлю вас в тележке!»

Я был свидетелем два раза страшной власти графа Протасова. Не будучи посвящен в иерархию дворянских чинов, я изумлялся власти полковника и осторожно высказал это графу; он много смеялся моему невежеству и сказал: «флигель-адъютантов много, а при особе государя – два, три».

[Граф Протасов, прощаясь, сказал мне: «нет сомнения, я скоро займу положительное место, пиши ко мне, я дам тебе место по твоему выбору». Граф действительно скоро занял место – обер-прокурора Святейшего Синода, но я, не прося в жизни никого и ничего, не просил графа. Раз воспользовался его вниманием, когда надоел мне один архиерей в Киеве, может быть, придется рассказать.]

За этими хлопотами я потерял из вида следствие о майоре Ю[рьевиче]. После слышал: флигель-адъютанта полковника К[рутова] назначили в какой-то армейский полк – младшим. Майору Ю[рьевичу] не давать в команду отдельной части – милостиво! На счет виновных доставить в Петербург забракованного рекрута.

[Был другой флигель-адъютант, тоже не хотел сделать мне визита, по знакомству с братом его помещиком я упрасивал, чтобы он сделал мне визит – не хотел. Я написал шефу и скоро сам отправился в Питер, там узнал, что шеф гонял флигель-адъютанта и приказал сделать мне визит в полной форме и извиниться. Я занимал две комнаты третьего этажа в гостинице «Париж». Докладывает жандарм; я приказал сказать, что занят, не могу принять, и повторил эту шутку. Выслушав извинения, молча, и когда он дожидался слова снисхождения, я скромно сказал: «Вы должны быть примером в исполнении высочайшей воли, вы ошиблись, отнеся визит к моему лицу, положим, я ничтожен, но воля государя выше нас с вами!»]

Старшим, чванству я никогда не спускал, но часто попадались по жалобам секретари, столоначальники, заседатели и тому подобные: берут взятки – бери, Бог с ними, на то они и крапивное семя, а то жадные, возьмет с одного и берет с противника, обиженная сторона жалуется. Сейчас записку: свидетельствуя совершенное почтение и проч., имею честь просить пожаловать для личных объяснений. В зале всегда есть просители или знакомые. Приходит виновный, я самым ласковым образом говорю, что затрудняюсь в одном деле и обращаюсь к его опытности; прошу его совета и приглашаю в кабинет, двери на замок и

там уж объяснение, от которого сойдет с головы мыла три! Видя трусость и раскаяние, обещание немедля возвратить деньги и клятва более так не делать – выходя из кабинета, я вежливо благодарю его за умный и опытный совет – далее кабинета не шло. Не помню случая, чтобы были рецидивисты. Цель достигалась без оскорбления.

Через 10 лет я был в Симбирске, имел дело совершить три купчие в гражданской палате. Совершили в один день и в какой – в субботу! Представьте мое положение, я скажу хотя невероятную правду, есть свидетели, но мне никто не поверит: 1848 года в 30-й день ноября, в день Андрея Первозванного, я вынул 500 руб., чтобы благодарить секретаря и надсмотрщика крепостных дел. Эти господа руки назад и сказали: «извините, ваши деньги прожгут наши карманы и принесут несчастье нашим детям; вы были нашим отцом, за вами мы жили как у Христа за пазухой; извините, полковник, не обижайте нас, мы ваших денег взять не можем!»

Представьте – и не взяли!!! Такой исключительный случай в те старые годы невероятен, но был; признаться, я считал себе высокою наградой за службу в Симбирске и верил, что я там был не лишний. [Бескорыстным господам дал по дружескому поцелую.] Припоминая прошедшее, действительно не припомню, чтобы и кому-нибудь из этой мелкой сошки сделал бы существенный вред, а что бывало в кабинете, того никто не знал. Оказалось, лекарство было полезное.

[Припомнился случай: вдруг я стал получать много прошений от крестьян и что далее, то более; прошения были пустые, многие без смысла, подписывались две фамилии – со слов просителя такой-то. В один базарный день получил до 70-ти прошений. «Прочти, батюшка, а там, как твоя милость рассудит». Приказал отыскать литераторов. Пришли два молодца – годные во фланг в любой полк гвардии.

– Господа, это все вы пишете?

– Мы, это наша рука.

– Вы пишете совершенную бессмыслицу.

– Со слов просителя.

– Какого вы звания?

– Мы уволены из казенной палаты.

– Я бы просил вас поменьше писать.

– Это наше пропитание, мы другому мастерству не обучены.

– Что вы берете за прошение?

– 50 копеек и более, как случится.

– Господа, я нахожу ваше мастерство вредным и советую заняться другим промыслом.

– Мы неспособны, нас другому не учили.

– Советую: перестаньте так много писать!

– Не умирать же нам голодом, закон не запрещает писать прошения.

– Так вам неуютно послушать моего совета?

– Мы не делаем противу законного.

– Прощайте, господа.

До 70-ти прошений одного дня послал к шефу и подробно указал на большой нравственный вред простому народу, напрасная трата денег и затруднение для службы, и добавил, что губернатор столько же получает прошений. Последовало распоряжение: от литераторов-фабрикантов взять подписку не писать прошений, не иметь пера и чернил, полиции строго на блюсти. Прекратилось фабричное производство прошений.

С губернатором Загряжским мы были не только в приличных, но даже приятельских отношениях.

Забыл рассказать: был у помещика Анненкова бал, граф Протасов был на бале, соскучился и просил меня отправить его домой. Усадив в первые сани графа, сам вернулся на-

зад. Обыкновенно на всяком собрании подходит губернатор Загряжский с ласковым вопросом ко мне: «можно поиграть?» Я великодушно разрешил. Для игры на всех балах была отдельная комната; началась, не помню какая азартная игра, играли человек 7, я [обычно] упражнялся по хореографическому искусству, а тут стоял при игроках и смеялся над капитаном Островским, который струсил и проиграл. Чуть я не вскрикнул, кто-то сзади очень сильно ущипнул мою руку; гляжу, сам граф Протасов!

Лошади зашалили, сломали дышло, и граф вернулся, ему указали, где я, и граф застал меня на месте преступления! Отведши меня в угол другой комнаты, он серьезно спросил меня: «в какую игру играют?» Я самым невинным образом отвечал: «в бостон!» – «Как в бостон? да ты же играешь в карты?» – «Я понятия не имею!» – «Так почему же ты знаешь, что они играют в бостон?» – «Я спросил губернатора, и он положительно уверил меня, что они играют в бостон, а это игра не запрещенная». – «Ну, а если бы они играли в азартную?» – «Они не посмеют играть при мне, я бы и не позволил!» Граф, говоря со мной, зорко глядел в мои глаза, но, верно, прочитал, что я говорю истинную правду. Подали другие сани, и я проводил графа. Хорошо, что игроки не прекратили игру при приходе графа – наделали бы мне хлопот.]

\*\*\*

Наступили дворянские выборы, съезжалось дворян до 300. Великодушных (более 100 душ) в губернии было много. Выборы обыкновенно были шумны, бывали и серьезные ссоры, но я не мешался. Я на выборы смотрел как на дело семейное, сегодня ссорятся, а завтра мирятся – только не мешать.

Еще до выборов я знал, что князь Д[адьян] сосватал старшую дочь губернского предводителя князя Б[аратаева]. Давненько ходили сплетни, что будто бы губернатор Z. наряжался старухой и ходил на свидание к теперешней невесте и что будто бы Z. так хорошо гримировался, что отец-князь Б[аратаев] раз встретил старуху-губернатора и не только не узнал, но указал, что дочь его в саду. Сплетен всегда много в провинции, а тем более в таком большом обществе; но на этот раз разыгралась весьма серьезная история, так что я вынужден был выказать весь авторитет моей власти.

Был в Симбирске полковник граф Т[олстой]; был холостой, жил в Симбирске, но числился по иностранной коллегии. Граф Т[олстой] был другом Z. и еще более – другом князя Д[адьяна], жениха. Z. похвастал мнимою интрижкой с княжной перед графом Т[олстым]; последний, любя князя Д[адьяна], сообщил ему о признаниях губернатора Z.

Князь Д[адьян] был отставной гвардеец; он кавказский князь и, говорили, владетельного дома. Князь Д[адьян] был брюнет, хорошего среднего роста, стройный, одевался отчетливо в черное, говорил сквозь зубы, стригся под гребенку, молчалив, холоден, корчил Байрона – тогда много было Байронов, мода! Князь Д[адьян] считался вспыльчивым, храбрым; за ним была странность, он имел антипатию к кошке. Я думал, он притворяется. Мы были знакомы с ним по-шапочному. На одном вечере я, увидев идущего по улице князя, поймал котенка, посадил в стол и дал ему сахару. Встретив князя, взял его под руку и, говоря, вел его к столу; подходя, я почувствовал, как он вздрогнул, а подойдя – побледнел, вырвался от меня и сказал, что он не может тут быть. Это был факт сильной антипатии! Котенка я выкинул, – но никому не сказал о моей шалости. Впрочем, князь держал себя весьма прилично, в карты не играл, вина почти не пил, был ненарушимо одинаков, но на то он и был Байрон. Ни одной истории не было за князем Д[адьяном].

Как только князь Д[адьян] выслушал графа Т[олстого], тотчас же объяснился с отцом князем Б[аратаевым] и отказался от невесты. Невеста в глубоком обмороке, отец несчастлив, князь Д[адьян] беснуется. Узнаю вечером, что князь Б[аратаев], как губернский предводитель (кажется, в течение 18-ти лет), намерен утром жаловаться дворянству и просить

защиты – старому слуге дворянства! Князь Д[адьян] клянется разбить рожу губернатору в соборе!

Поздно вечером я нашел губернатора в страшной тревоге: он слышал о намерении князя Б[аратаева]. Зная нерасположение к нему дворянства и какого дворянства – дружного, гордого, симбирского, – было от чего в отчаяние прийти! А я прибавил о намерении князя Д[адьяна]. Это окончательно сделало губернатора неспособным мыслить! Он только и видел спасение в моей помощи. Но как же он и просил меня спасти его!

Я спросил Z., что побудило его хвастать? он отвечал

– Иметь успех в женщине и не рассказать – все равно что, имея Андреевскую звезду, носить ее в кармане.

История – во всех отношениях скверная. Не будь Z. губернатором, то была бы смешная, скандальная история, но хоть лыком шит, а он – губернатор, власть! Разыграйся глупость – огорчила бы государя, и на все честное и благородное дворянство упала бы тень преступления! Я решился действовать не для спасения Z., которого я уважать не мог, а для спасения власти губернатора.

Рано утром я был в кабинете губернского предводителя и, после обычных вежливостей, я прямо приступил:

– До сведения моего дошло, что ваше сиятельство намерены сегодня говорить перед дворянством и жаловаться на Z.?

– Кто вам это сказал? Может быть, неправда.

– Если неправда, то тем лучше; вам остается, князь, дать мне честное слово, что вы говорить не будете, я вам поверю.

– Кто вам дал право: требовать от меня честное слово и входить в мои дела?

– Моя обязанность, князь.

– В чем она состоит?

– В секретной инструкции, утвержденной государем!

– Я вам слова не дам и думаю – наши объяснения кончены!

– Нет, князь, если не дадите слова, то я дам вам слово, что вы отсюда не выйдете!

– Это как?

– Я вас арестую!

– Вы имеете право арестовать губернского предводителя?

– Имею право всякого арестовать для охранения власти, вверенной государем.

– Вы молоды судить об оскорблениях, вы не отец!

– Я сын моих родителей и брат моих сестер!

– Вы знаете эту несчастную историю?

– Все подробно знаю и знаю, что тут все ложь и глупость. Дела скандалом не поправите, а я, сочувствуя вам сердцем и душою, беру на себя и ручаюсь, что все дело выяснится к спокойствию вашему и общему; пострадает тот, кто виною огорчения вашего.

– Какое вы можете дать ручательство?

– Честное мое слово, которому я не изменял во всю жизнь!

– Молодой человек, вы много берете на себя; помните, вы ответите перед оскорбленным отцом!

– Вам нет исхода, князь: либо верьте моему слову и дайте мне ваше честное слово, либо вы не выйдете отсюда.

Князь заплакал и дал мне честное слово, что говорить перед дворянством не будет. Я успокаивал его, как умел. Грустно видеть старые слезы оскорбленного отца. Разговор был длинен, я записал только главные пункты.

[Я был очень доволен успехом. Мне удалось устранить путаницу всего дворянства, достойного высочайшего уважения, и вообще людей честных, с прекрасным и глубоким ос-



нованием в преданности государю и Отечеству. С каким наслаждением вспоминаю я о родных и дружеских отношениях ко мне благородных и добрых помещиков симбирских, память моя не сохранила ни одного неприятного случая в течение 5 лет моей службы в Симбирской губернии. Моя служебная обязанность часто могла бы становить меня в щекотливое положение, но всякий служебный случай вместо неприятностей прибавлял мне друзей – вежливое слово, ласковый совет всегда находили полное и радушное сочувствие. Прошло более 40 лет, я состарился, разрушаюсь, но лучшие, радостные мои воспоминания в жизни – это о симбирском дворянстве, чувства моей преданности на старости лет! Моя – любовь, уважение к этой массе благородных добрых людей окончатся с моею жизнью!]

Покончив с одним князем, я посетил князя Д[адьяна]. Выходит ко мне князь, с плотно обстриженной головой, воротнички а 1'enfant, как Байрон на портрете, с трубкой, и цедит сквозь зубы – англичанин да и только!

– Чему я обязан, что вы пожаловали ко мне?

– Князь, прежде всего, здравствуйте и позвольте сесть; мне нужно переговорить с вами.

Обстановка слишком проста: во всю комнату простой крашеный стол, около такая же голая скамейка, точно в бедной школе; на скамейке мы и уселись.

– Вы, князь, огорчены и очень раздражены из глупой лжи, дошедшей до вас.

Князь как-то засопел, сжал чубук так, что у него хрустнули пальцы; странно сопевши, придвинулся ко мне. Молчит; не может или не решается сказать слово. Я спокойно посоветовал не придвигаться так близко, а то нам неудобно говорить. Азия немного утихла, и князь сквозь черные зубы процедил:

– Желал бы я знать, какое вы имеете право мешаться в чужие дела?

Я рассмеялся и сказал:

– Жандармы для того и учреждены, чтобы мешаться в чужие дела. Вы сердитесь, князь, а, узнав мои намерения, вы не отвергнете моего участия.

– Я не имею нужды ни в чьем участии!

– Дело-то в том, что я имею необходимость принять участие в вашем деле.

– Позвольте узнать, какая вам необходимость соваться в мои дела?

– Вы, князь, намерены разбить рожу Z. публично?

– Ну, что же вам за дело?

– До рожи Z. мне совершенно нет дела, но п[одлая] рожа Z. принадлежит губернатору, вот это и переменяет вид дела. Моя обязанность – устранить всякое публичное оскорбление власти, поставленной государем; я пришел доложить вам: пока Z. губернатором, вы не исполните своего намерения.

– Кто может остановить меня?

– Я, князь, затем и пришел к вам.

– Каким это образом?

– Я прошу вас, пока Z. губернатором, не оскорблять его, в чем и прошу вашего честного слова!

– А если я вам слова не дам?

– Я вынужден буду арестовать вас.

Опять засопел и процедил:

– Вы не посмеете этого сделать!

– Князь, даю честное слово – сделаю!

– Кто дал вам право?

– Секретная инструкция, высочайше утвержденная!

– Вы не понимаете моего оскорбления и не можете понять.

– Я вам сказал, что я все знаю подробно; думаю, что и сочувствовать вам могу, что вы и увидите.

– В чем же ваше сочувствие? Как вы поймете, что этот п[одлец] из счастливого человека сделал меня несчастным?

– Прошу вас выслушать меня без раздражения. Прежде всего, скажу вам, что вы будете счастливы!

– Я вам не верю и вижу, что вы ничего не знаете.

– Эх, почтенный мой князь, какой же я был бы жандарм, если б не знал всего; только публике неизвестно, что я все знаю, и не узнают без нужды.

– Можете вы мне сказать, что вам известно?

– Очень охотно: малодушный хвостун Z. считал гордостью для себя похвастать интригой с прекрасной и уважаемой девушкой перед графом Т[олстым]; последний, как вполне благородный и честный человек, счел долгом предупредить вас. Тут правы и Т[олстой], и вы, князь. Презренно [и подло] виноват [негодяй] Z. Я рад возможности удостоверить вас честным моим словом, что [негодяй] Z. солгал: ничего подобного не было.

– Как вы можете знать и ручаться?

– Князь, еще повторю: я жандарм!

[Я вел тему разговора с целью примирить князя с его невестой, потому что видел кавказца страстно влюбленным.]

– Но позвольте, вы сами дворянин и можете быть в моем положении; спрашиваю вас, не имею ли я права наказать его?

– Вашего права я не отвергал и не отвергаю, но согласитесь, какое же вам удовлетворение, если вы красивой рукой будете бить [по скверной, подлой роже] – кого же – Z.? Меня бы не удовлетворила подобная месть!

– Чего же я могу желать или что сделать, по-вашему?

– Вот это дело, мой почтенный князь; спокойно обсудив, можно найти разумный исход. Вы мне сделали вопрос, а я спрошу вас: какого вы хотите удовлетворения?

– Что же вы можете сделать?

– Все, что вы хотите!

[– Неужели?

– Я слов на ветер не бросаю.]

– Ну, а если б я потребовал, чтобы м[ерзавец] сознался, что он солгал?

– Только-то, князь?

– Мне и этого будет довольно!

– Нет, князь, я не того хочу, я обещаю вам, что он должен при вас написать, что он п[одло] солгал и что если болтнет одно слово, то без претензий, где бы ни было, дозволит вам разбить свою р[ожу].

– Будто вы можете это сделать?

– Даю вам слово, но и вы дайте мне честное слово, что, пока он губернатором, вы не оскорбите его.

– Слово даю вам, но помните, в случае неудовлетворения меня, моя ненависть обратится на вас!

– Согласен, князь, но пока будет секрет.

[Влюбленного легко примирить, сердце (не свой брат), у влюбленного оно властитель! Голова умничает одно, а сердце повелевает другое. Кусочек надежды влюбленному сердцу – с умом не разговаривают!]

С князем Д[адьяном] мы расстались в мирном настроении. Пошел я к Z., уведомил его, что князь Б[аратаев] не будет жаловаться дворянам. Сколько было радости, благодарности – даже чересчур! Но зная легкомысленную и шаловливую натуру Z., спускать с вере-

вочки нельзя его. Я нарисовал целый ад мести в князе Д[адьяне] и не ручаюсь за его отчаянную решимость.

– Да, я знаю, это кавказский дикарь, у него кинжал всегда готов! Батюшка, помогите, я по гроб буду вам благодарен!

– Погодите, что я могу, то сделаю. Прощайте, мне сегодня необходимо съездить в уезд по делу.

Боже мой, как струсил мой губернатор!

– Как же вы бросите меня на жертву?! Мне необходимо будет выйти из дома – дикарь, кинжал!

– Вот как мы сделаем: я прибавлю вам двух жандармов, которым вы после заплатите; выходить не советую, скажитесь больным, а еще лучше прикажите поставить себе дюжину пивок; это делается всем известно и болезнь будет прилична.

– Охотно принимаю ваш совет.

[Как я говорил, в жандармском корпусе не было установленной формы для переписки. Я схватил попавшуюся мне бумагу и своей рукой, без черновой сделал очерк истории, написал, как пишутся комедии: я, князь Баратаев, князь Дадыян, Загряжский – писал, как всегда, откровенно, – подробно; были помарки, но так и пошло к шефу. Помню, кончил тем, что я за свое беспокойство придумал наказать Загряжского дюжиной пивок. И поставил без подписи: «Продолжение впредь».

Мою руку знали. И Дубельт писал мне, что «в общем, вышло так юмористично, что читали все и хохотали, а когда я читал шефу, он много смеялся и хвалил мое веселонравие, – оставил у себя» (мы секретно знали, что это значит).]

Я уехал в уезд. [Позвольте опустить завесу, жандармы хотят знать чужие дела, а свои не рассказывают. Пожалуй, какой-нибудь читатель введет меня в историю, как граф Толстой ввел Загряжского.]

Возвратясь, нашел моего губернатора в постели. Еще более я настрашал его князем Д[адьяном]. По моему описанию, это был крокодил, пантера! В несколько дней до того деморализовал моего Z., что он впал в отчаяние. Наступил момент: все, что я хотел, мог сделать с Z. Публика догадывалась, со всех сторон сыпались ко мне вопросы, но успех мог быть тогда, когда дело было в одних моих руках, без постороннего участия; публика могла испортить весь эффект. Z. ужасно обрадовался, когда я взял на себя прекратить все дело с некоторыми пожертвованиями с его стороны. Z. соглашался на все безусловно.

Я предложил свидание с князем Д[адьяном] вечером. Z. должен был написать под диктовку князя письмо и вручить ему лично. Z. опасался, что при свидании князь пырнет его кинжалом, я показал ему мою саблю, отточенную как бритва, и свидание будет при мне. Z. соглашался написать какое угодно письмо, хотя на гербовой бумаге, но только бы не видеться; я требовал свидания, и Z. согласился на все.

В 9 часов вечера князь одет по последней моде, во фраке. Z. в халате исполнял роль больного. Большой круглый стол в гостиной был поставлен недалеко от дверей спальни жены; я поставил Z. около стола со стороны и близ дверей – на случай ретирады; на столе письменный прибор. Привел князя Д[адьяна] и поставил его на диаметр против Z., а сам стал в середине между них. Оба молчат. Я сказал Z.:

– Князь желает продиктовать письмо – угодно вам написать?

– Охотно исполню все!

– Князь, извольте диктовать.

После: «Милостивый государь» князь диктовал, процеживая сквозь зубы:

«Дошедшие до вас слова, сказанные мною о княжне Б[аратаевой], совершенно ложные и, если я сказал, то утверждаю клятвою, что я солгал. Клятвою утверждаю, что ничего подобного не было, и везде, всегда готов подтвердить это. Если ж я осмелюсь повторить

мою ложь или без особого уважения произнести имя княжны, то даю право князю Д[адьяну] везде и во всякое время бить меня по лицу, как бесчестного человека Z.. [Подписываю собственноручно и добровольно – Загряжский]».

Преотвратительно писал Z., а тут стоя, в испуге – еще хуже, и подал князю Д[адьяну]. Комическая сторона этой сцены выразилась тем: когда диктовал князь, то, поглядывая на меня, улыбался и, подмигивая, показывал на пишущего Z., – понятно, говорил: «Какой дурак!» Когда же Z. передал письмо князю Д[адьяну] и тот внимательно читал, то Z., улыбаясь, подмигивал мне и выражал глазами: «какой д[урак]!» А что я думал, стоя между ними? Позвольте умолчать!

Князь Д[адьян], прочитав письмо, положил в карман и, с полупоклоном, молча ушел. Бедная страдальца-жена Z. мучилась во все время не меньше мужа. По уходе князя я очутился в роли благодетельного гения – благодарности, чуть ли не молитвы за спасение от бед и напастей. [Успел побывать у князя Дадьяна. Тот унизился до глубокого поклона, даже назвал благородным джентльменом.] Князь Д[адьян] совершенно удовлетворился [и искренно повторял, что относительно невесты его – все ложь.

На другой день я написал шефу окончание. Не пропуская малейшей подробности. Из всей истории составил фарс, приложил копию глупого письма Загряжского к князю Дадьяну.] Князь Д[адьян] объяснился с князем Б[аратаевым] и с ожившей для радостей невестой. Мне остается сказать: я там был, мед, пиво пил. Все счастливы, довольны, но конец-то вышел трагический. Чрез три недели указ об увольнении губернатора Z. и высочайшее повеление *«впредь никуда не определять»*\*. Мой кредит высоко поднялся в Сим-

---

\* Хотя в публикации 1878 г. фамилия губернатора была скрыта под буквой «Z» и отсутствовал рассказ об отчете в «юмористическом духе», отправленном Стоговым в III отделение, а также упоминание о слезах и отчаянии Загряжского, бывший губернатор тотчас же прислал в редакцию письмо-протест. «Говорю категорически, – гневно писал он, – все, что г. Стогов повествует в своих рассказах об этом Z, если только он разумел под этой буквою меня, то положительно выдумка и клевета». Подчеркивая, что он не желает останавливаться на мелочах, Загряжский обращал внимание на «самый крупный факт», опровергающий «измышления» Стогова. Как следует из присланного им в редакцию формулярного списка, он продолжал государственную службу и после отъезда из Симбирска и вышел в отставку по болезни только в 1867 г. и по своему прошению. Загряжский требовал предоставить ему возможность в той же «Русской старине» опубликовать свои собственные воспоминания, чтобы всем окончательно стало ясно, что «Записки» Стогова – это «оскорбительное, грязное, лживое и недостойное никакого порядочного человека марианье бумаги». Редакция принесла Загряжскому свои извинения, в № 1 за 1879 г. были опубликованы его письмо и выдержки из формулярного списка, ему было обещано опубликовать его мемуары, как только они будут завершены. Но мемуары так и не появились.

Таким образом, видно, что рассказ Стогова порой нуждается в коррективах, а особенно его неоднократные упоминания о том, что то или иное должностное лицо увольняется с предписанием «впредь никуда не определять». И все же в данном случае есть все основания больше доверять Стогову, нежели Загряжскому. Рассказ Стогова можно сравнить с воспоминаниями преемника Загряжского на посту симбирского губернатора – И.С. Жиркевича, которого Загряжский не пытается опровергать. Жиркевичу не свойственна эмоциональность и склонность к преувеличениям, характерные для Стогова; к тому же он не одобряет некоторые поступки жандармов (Флиге и Стогова) в отношении своего предшественника. Однако его рассказ отличается от рассказа Стогова не по сути, а лишь в деталях (и не только относительно Загряжского). Жиркевич подтверждает, что отставке Загряжского предшествовала размолвка между ним и губернским предводителем Баратаевым, чью дочь скомпрометировал губернатор, будучи «нескромнен в речах и часто без размышления о последствиях». Он также подтверждает, что конфликт получил очень широкий резонанс – и в Симбирске, и в столице (правда, в качестве информаторов он называет не Стогова, а управляющего удельною конторою А.В. Бестужева и жандармского полковника К.Я. Флиге). Подробный пересказ наставлений, полученных Жиркевичем от Николая I перед отправкой в Симбирск, вскрывает причину смены губернатора: *«Я им [Загряжским] был, впрочем, доволен, но он занемог – политически разумеется! (Государь улыбнулся). У него вышли какие-то дрязги с губернским предводителем Баратаевым. Личности, о которых я и знать бы не хотел. Они могли между собой разведаться, как им угодно. Мы бы сквозь пальцы посмотрели на это, но, к несчастью, и моему неудовольствию вмешалось тут дворянство! Оно готово на все и много делает полезного, но на этот раз поступило крайне неосмотрительно, вмешавшись в это дело. До той минуты,*

бирске. [Ну, чем не повесть, хотя справедливая быль – добродетель торжествует, порок наказан.]

Бывший губернатор Z. горько плакал и жаловался, что он не знает причины, по которой лишился места, что он так беден, что не знает, как выехать и вывезти семейство (у него была одна дочь, которая, если не ошибаюсь, после была женою брата П[ушкина]<sup>\*</sup> и умерла оставя красавицу дочь). [Зашел я к Загряжскому, он растрепан, в халате, отчаяние полное, плачет он, плачет жена – жалуются оба мне, что не знают причины увольнения и спрашивают меня, не слыхал ли я чего? Просили заступиться перед графом Бенкендорфом. Я отвечал – причин совершенно не знаю, но обещал покровительство.]

Откупщик Бенардаки подарил Z. карету. Добряки-дворяне собрали деньжонок и поручили Бенардаки отдать Z. от своего имени. Уехал Z. без проводов. Вместо Z. назначен Иван Степанович Жиркевич. В «Русской Старине» есть посмертные Записки его; мне приходится сказать о нем, как стороннему зрителю.

После графа Протасова полковник Ф[лиге] продолжал в Симбирске; дела ему не было, да едва ли он способен был на дело<sup>\*\*</sup>. Он предполагал что-то начать, все думал начать, но так ничего и не начал; он даже не знал, что я делаю; губернии ему не поручали, а числился он при штабе; может быть, забыли о нем или хотели забыть. За действие при графе Протасове я получил подполковника, а Ф[лиге] Владимира на шею. За что ему? Не знаю!

Корпус жандармов избавился от него, сделав его подольским губернатором, где он был – калиф на час. Я же и был на его похоронах в Киеве. Припомнилась мне деятельность Ф[лиге] в Симбирске. Пишет ко мне Дубельт и присылает донос на меня от Ф[лиге], [что я все свои донесения пишу на коленях Марьи Петровны (Прожек). Дубельт добавляет, что «шеф приказал тебе сказать – пиши хоть на брюшке твоей красавицы, только пиши чаще».] Не хотел я и показать Ф[лиге] его глупости, да и редко с ним виделся.

Так было недавно, с небольшим 40 лет, но, как ни бужу свою память, не могу добиться от нее воспроизведения момента с подробностями, как явился Жиркевич в Симбирск, и думаю, едва ли солгу, сказав, что никто этого не знал; как тогда, так и теперь, не сумею объяснить: пешком пришел или приехал Жиркевич? Днем или ночью? Как-то все вдруг

---

*когда я назначил вас в Симбирск губернатором, оно в Загряжском должно было знать своего прямого и настоящего начальника. Загряжский не умел поддержать звания своего, как следует. Теперь вашему превосходительству предстоит труд поставить звание оное на ту точку, с которой оному не следовало спускаться». – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003*

Историкам стоит поискать прямые доказательства достоверности свидетельства Э.И. Стогова; скорее всего, он при этом опирался на сведения, полученные им от Бенкендорфа и/или Дубельта. А мы приведем косвенные свидетельства: итак, А.М. Загряжский «высочайшим указом, данным правительствующему сенату, уволен от должности симбирского гражданского губернатора с причислением к министерству внутренних дел, 1835 г. марта 5-го»; далее сей персонаж находился в подвешенном состоянии более двух лет и лишь «в июне 1837 г. назначен членом консультации министерства юстиции». Вполне возможно, что перед Николаем I все это время хлопотали за «политически занемогшего» А.М. Загряжского, и император сменил свой гнев на полумилость. Действительно, вслед за незначительной должностью члена консультации министерства юстиции А.М. Загряжский в 1838-м «был перемещен в почтовое ведомство» (на какую должность, он в своем аттестате не указывает, по-видимому, из-за весьма скромного места). Далее «перемещен в ведомство новороссийского и бессарабского генерал-губернатора в 1842 г. с возложением, между прочим, обязанности общего надзора за состоянием запасных магазинов в Новороссийском крае и наблюдения за исполнением мер ко взысканию недоимок там же». Не бог весть что для бывшего гражданского губернатора! А «20 марта 1855 г. высочайшим приказом назначен начальником дружины государственного ополчения Московской губернии», это уже при Александре II и то же не бог весть что. – Примеч. М.И. Классона.

<sup>\*</sup> Дочь А.М. Загряжского, Елизавета Александровна (1823-1895), вышла замуж за Льва Сергеевича Пушкина в 1843 г. Сам А.М. Загряжский приходился к тому же дальним родственником жене А.С. Пушкина. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

<sup>\*\*</sup> См. подтверждение этому тезису в Приложении – «Воспоминания Ивана Степановича Жиркевича» о Симбирске. – Примеч. М.И. Классона

узнали, что новый губернатор занимается делами. Говорили в обществе о Жиркевиче так, как будто он и не выезжал из Симбирска и как будто он давно уже губернатором.

Всезнайки рассказывали: когда спросили его, когда он позволит представиться чиновником? – он отвечал: «Зачем беспокоиться, я с господами служащими познакомлюсь, занимаясь вместе с делами». В губернском городе все знают, кто что есть, о приезде известно – богат, беден, скучен, весел, играет ли, танцует ли, даже хорошо ли говорит по-французски и проч. О Жиркевиче я не слыхал ни одного вопроса, никто не интересовался и почти не упоминалась фамилия: просто говорили – губернатор.

Я куда-то ездил; возвратясь, немедленно явился к новому губернатору. В зале два чиновника с кипами бумаг; я просил доложить, отвечали: «не приказано» и указали на отворенную дверь в кабинет. Губернатор у стола, уложенного бумагами, на двух стульях – дела. Только я вошел, Жиркевич встал навстречу мне. Он был больше среднего роста (вершков восьми\*); правильное и, можно сказать, красивое лицо, но не только серьезное, почти суровое выражение, темно-русые волосы приглажены по-военному; в форменном штатском сюртуке, застегнутом на все пуговицы – видна привычка к военной форме. Жиркевич был сухого сложения, но не худ; поклон, движения мне напоминали воспитание в корпусе; говорил скоро, как-то отрывисто.

Пригласил сесть. Думаю, захочет знать о губернии, об обществе... Ничуть не бывало, хоть бы слово спросил, а от кого же узнать, как не от жандарма! Странное впечатление сделал на меня Жиркевич. Он вежлив, но очень молчалив; все вопросы его касались только лично меня. Я попробовал сказать шутку – он не слыхал; я хотел заинтересовать его серьезным – он не обратил внимания. Откланявшись, я решительно не мог составить себе понятия о характере Жиркевича. [Мог сказать себе только – посмотрю!]

Жиркевич скоро отдал мне визит, и опять странность – пешком, тогда как в Симбирске и мещане не ходили, а ездили; я не сказался дома; на карточке просто: *Иван Степанович Жиркевич*. Зашел к Жиркевичу вечером – читает и подписывает бумаги; около стоит правитель канцелярии *Раев*. Жиркевич отпустил Раева, сказав: «я бумаги к вам пришлю». Ну, думаю, теперь разговоримся.

Жиркевич, все в форменном застегнутом сюртуке, был очень вежлив, говорил о погоде, местоположении города – сухая история! Я коснулся, было, общественной жизни, что дворяне любят веселиться и привыкли, чтобы участвовал с ними губернатор. Он отвечал, что как обделается с делами, то и он не прочь разделить общее удовольствие. Но так и не обделался! Я рассказал какой-то анекдот, думая сорвать улыбку – рассказ мой прошел мимо! Видаясь по разным случаям с Жиркевичем, я всегда заставлял его за бумагами и составил о нем себе понятие, что это человек дела. Он всегда был как-то сдержан, очень вежлив, но малейшая несправедливость, плутовство по делам – выводили его из себя; всплыв, он уже не знал границ гнева. Много ходило рассказов по городу, как он, забывшись, гнался до крыльца за советником. Мошенники для него теряли личность, но зато и боялись его чиновники!

Жиркевича полюбить очень трудно, но нельзя было не почитать его, нельзя было не уважать честной его деятельности, его бескорыстия; он отдался весь, без остатка, полезному служебному труду. Жиркевич был ходячий закон. Узнавши его, я готов был поклоняться ему, но, к сожалению, видел, что он не по дому пришелся в Симбирске. Мои сношения с ним были прекрасны, но сухи [и немного скучны, прозаичны для моего веселонравия.]

---

\* 2 аршина (142,2 см) и 8 вершков, т.е. 142,2 + 8 x 4,4 ≈ 177 см.

Я заговаривал с дворянами, как бы губернатора завлечь в общество? Мне отвечали: «Зачем? Он приезжий, должен сам искать в нас; не хочет, пусть будет губернатором, мы ему не мешаем и не нуждаемся в нем».

На последних выборах губернский предводитель князь Б[аратаев], прослужив предводителем, если не ошибаюсь, лет 18, отказался: на него сильно подействовала рассказанная история, он заболел от огорчения.

Вместо князя Б[аратаева] выбрали отставного генерал-майора Бестужева; он был старый холостяк, веселонравный, часто впадал в роль буффа\*. [С добрым толстяком я и прежде был хорошим приятелем, а как стал он губерньским предводителем, мы подружались, и пока я не был женат, он, приезжая из деревни, всегда жил у меня. Может быть, пустяковый случай выразит немного его веселый характер. Приехал к нему в отпуск только что выпущенный из артиллерийского училища родной племянник С., которого Бестужев любил как родного сына – молодой человек прекрасно учился и достоин был любви, был красив и похож на дядю. Нельзя не заметить, что юноша за обедом не ест кислого, острого. Дядя в другой комнате – к допросу племянника; слышу: сердится, бранит дядя. Оказалось, племянник болеет болезнью прапорщика, дядя сердится не за болезнь, а за то, что он с первого же дня не доставил ему случая быть молодцом. Сейчас доктора Лапчинского, лекарства прописаны на имя дяди, который с рецептами и лекарствами – по всем родным и знакомым, особенно старым кузинам, по секрету, но с гордостью признается, что сшал и попался; это было так комично, что все общество хохотало. Дядя считал за это многим обязан племяннику\*\*.]

Почитал я Жиркевича и очень любил Бестужева, но вот случай, поставивший меня в затруднение: были парадные похороны уважаемой особы; летний день превосходный, весь город высыпал проводить гроб в монастырь. В Симбирске в общем употреблении: на длинных, тонких дрогах устроены очень низко дрожки, на них могут сесть семь, восемь человек. На таких дрожках, или городском тарантасе, сели Жиркевич, Бестужев и я – между ними посредине. Народ толпился около важных лиц.

Надобно рассказать бывший перед тем случай. Был архитектор и в то же время небольшой помещик Симбирска. Какая-то казенная постройка или починка поручена архитектору; обыкновенно: смета, справочные цены. Архитектор не рассчитал, что ему придется иметь дело с Жиркевичем. Обычная уверенность специалистов – что там смыслит губернатор! Жиркевич сразу поймал не на одной плутне, и еще бы ничего, но архитектор упорно заспорил; Жиркевич вспылел, вышел из себя, и архитектор *действием* вылетел из кабинета и из дома. Архитектор, как помещик, принес жалобу губернскому предводителю.

Сначала мы ехали почти молча, Бестужев очень скромно сказал:

– Ваше превосходительство, вы на днях очень неосторожно выгнали здешнего помещика.

– Кого это?

– Архитектора.

– Он мошенник, вор.

– Этот мошенник все-таки дворянин, помещик, так нельзя поступать.

– Мошенник, вор – не имеет звания, я выгнал подлеца и выгоню всякого вора.

---

\* В роль шутника; buffo – шутка, фарс.

Григорий Васильевич Бестужев (1786-1845, с. Старый Тукшум), лейб-гусарский генерал-майор в отставке, был предводителем симбирского дворянства в 1835-1840 гг. и владел имением, вместе с младшим братом, гвардии поручиком Иваном в селе Старый Тукшум Сенгилеевского уезда. – Примеч. М.И. Классона

\*\* К сожалению, прямой ссылки на эвфемизм «болезнь прапорщика» в Интернете найти не удалось, но из контекста понятно, что это – венерическое заболевание! – Примеч. М.И. Классона

– Если так будете поступать с дворянами, то к вам придут все дворяне!

– Я прикажу баталиону выгнать их!

Вижу, закипел Жиркевич, дошло до крупного, народ окружает плотно; я решился войти в свои права, и, несмотря ни на которого, сказал: «Ваши превосходительства, господин губернатор и господин губернский предводитель! На основании секретной инструкции, высочайше утвержденной, прошу прекратить разговор, унижающий главные власти; здесь не место, вас окружает народ!» Замолчали оба мои приятели и молча доехали до могилы. После с обоими я не коснулся этого случая.

Честный и ретиво-трудолюбивый Жиркевич не мог понравиться симбирскому дворянству, которое было гордо, богато, независимо и дружно. Дворянство привыкло видеть в губернаторе члена общества, не мешая ему быть губернатором. Жиркевич не мог отделиться от службы; как он для общества, так и оно для него не существовали.

Весьма часто я писал к шефу, что Жиркевич феномен между губернаторами, но в Симбирске он пришелся не по дому. Писал, что Жиркевича достанет управлять тремя губерниями, стоял за его благородную честность, неутомимость, но, как губернатор, в Симбирске он совершенно не любим дворянством\*, которое может уважать губернатора, но когда он стоит во главе общества и делит с ним удовольствия. [Как ни жаль для службы лишиться Жиркевича, но необходимо для общей пользы избалованного, но благородно преданного государю дворянства симбирского.]

\*\*\*

Хлопотавши с Z., я потерял из вида дела по удельным имениям; доходили до меня слухи о неудовольствиях на удельное управление, но полагал – дело новое, еще не освоилось, не надо мешать, обойдется. Лишь только я хотел пощупать осторожно, что делает удельная контора\*\*, как является ко мне лучший мой унтер-офицер *Варакин*, посланный мною в уезд, и рассказывает, «что в татарской деревне Бездне удельных чиновников с управляющим NN\*\*\* татары засадили в пустую избу и заколотили – под арест. Татар набралось множество из других деревень, все верхами, скачут по полю с ножами и кистенями, бормочут по-своему; я в соседнем русском селе дождался ночи и тихим манером освободил чиновников».

– За что татары арестовали удельных?

– Ничего не знаю. [Молодец, умница, спасибо!]

Я к Жиркевичу, ему только что донес исправник; явился удельный управляющий и говорит об ужасном бунте. От какой причины бунт – покрыто мраком неизвестности. Я спросил Жиркевича, что он намерен делать?

– Поеду, прочитаю закон.

– Татары, не понимая русского языка, не послушают.

– Тогда приведу войска.

– Какие?

– Здешний баталион.

– В баталионе 300 человек, но не наберется здоровых и 100 человек, остальные калеки, а ружей кой-как годных с замками не найдется и 50-ти, что же вы можете с этой армией?

– Исполню закон.

---

\* В рукописи: вреден для дворянства.

\*\* Удельная контора – орган министерства уделов в губернии.

\*\*\* В рукописи здесь и далее вместо NN.: Бестужев.

Андрей Васильевич Бестужев (?-1853), статский советник, управляющий Симбирской удельной конторой; в 1833 г. продал свой каменный двухэтажный особняк на ул. Покровской Департаменту уделов, где и продолжал проживать, но уже в служебной квартире; в 1836 г. был отправлен в отставку и после этого со своей женой Александрой Дмитриевной, урожденной Кротковой, занялся обустройством имения и усадьбы в селе Репьевка Карсунского уезда. – Примеч. М.И. Классона



– Но вы знаете, что это не только бесполезно, но вредно тем, что татары раз испытают бессилие воинской команды, тогда нужна будет против них армия, ведь татар 40 тысяч!

– Что же делать, я должен исполнить закон.

В этих словах выразился весь Жиркевич.

Сознавая вред от буквального исполнения закона, я у него же в кабинете написал к нему конфиденциальное письмо, в котором, изложив бессилие его действовать против взбунтовавшихся татар – исполняя буквально статьи закона, и могущий произойти от того вред, то, в отвращение вредных последствий, я, на основании секретной инструкции, высочайше утвержденной, останавливаю его действия по этому делу и принимаю на свою ответственность. Подал Жиркевичу, он прочитал внимательно два раза, спросил:

– Вы не возьмете назад?

– Нет.

– Что заставляет вас соваться в такое рискованное дело и брать добровольно на свою ответственность?

– Бесполезность ваших действий и польза от моей удачи, ведь я русский человек!

Жиркевич обнял меня и сказал:

– Вы честный и благородный дурак!

– Спасибо.

– На вашем месте я бы не взял на себя, а вам дай Бог успеха!

Татары в Симбирской губернии называются *лашманы*\*. Это название первоначально было, верно, лоцман. В Симбирской губернии, если не ошибаюсь, находится до 270-ти тысяч десятин удивительного корабельного дубового леса, есть сосновые рощи мачтовых деревьев. Петр I возложил на татар по требованию адмиралтейства нарубить и вывезти на пристань дубы по указанию разных тиммерманов\*\* ; за это татары-лашманы избавлялись от податей и рекрутства. Татарам, как я узнал, повинность эта обходилась очень дорого, но азиаты гордились отличием особой привилегии от христиан и охотно исполняли, хотя и тяжелую, повинность.

С переводом казенных крестьян в удельные о татарах-лашманах не было и речи; татары оставались прежними лашманами. Пока я хлопотал с Z., потом женился, удельная контора втихомолку стала забирать лашман в свое заведование, стала предписывать волостям. Пока шло дело о мелочах, татары молчали. Контора неразумно коснулась религиозных прав татар, предписала запретить многоженство. Татары зашумели. Удельная контора не остановилась, вздумала учредить общественную запашку. Татарам показалось, что этим равняют их с христианами, лишают привилегий и делают удельными. Приехали удельные чиновники в большое татарское село Бездну и хотели ввести общественную запашку, татары осатанели. Азиаты на коней, кинжалы, кистени, с гиком загнали чиновников в пустую избу и заколотили. Как сказано, жандармский унтер-офицер, ехавший случайно мимо, умно освободил. Исправник докладывал, что к татарам и показаться опасно, так они взбесились.

---

\* Термин лашманы происходит от нем. Laschmann (laschen – обрубать, обтесывать и Mann – человек). В 1718 г. вышел указ, положивший начало формированию сословия лашманов. Он предписывал для работ по вырубке и доставке корабельного леса в Воронежской и Нижегородской губерниях и Симбирском уезде брать татар, мордву и чувашей без всякой платы; с тех из них, которые жили слишком далеко от лесных дач, собирались деньги для найма вольных рабочих. Одновременно предписывалось в русских селах тех же губерний набирать плотников, пильщиков, кузнецов, зачислять их в рекруты и поселять особыми селениями с возложением на них обязанности заготавливать лес для флота. В 1817 г. от данной повинности были освобождены татары, живущие вдали от мест заготовки леса; те, для которых повинность сохранялась, освобождались от поставки рекрутов и получали плату за выполненные работы. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

\*\* Тиммерман – старший корабельный мастер.

[Я взял на свою ответственность усмирить эту азиатскую орду. Физическая сила должна задушить неповиновение, а если недостаточно сильна, то не должна быть употребляема. Физической силы в Симбирске не обреталось. Я бы желал послушать желающего решить задачу.]

Чтобы не дать вида и тени физической силы, я взял с собою жандарма без оружия, татарина *Абрешитку*, не видного собою, но ловкого и преданного. Приехал в Бездну вечером. Абрешитка секретно предупредил муллу, что я буду у него ночью и чтобы он тайно пригласил к себе богатых татар. Абрешитка имел инструкцию – уверить татар и более муллу, что я приехал спасать их от страшной беды. Около полночи Абрешитка провел меня закоулками, огородами к мулле; там я нашел человек девять главных капиталистов.

Азиаты – страшно честолюбивый народ; я вместе с ними пил чай, которым потчевал мулла. Между разговорами я уверил их, что мне известно – вся сила народа в их руках, что народ, как стадо овец, повинуется их разуму и силе их капитала. Они сказали мне, что в Бездну собралось до 8-ми тысяч татар. Я сказал им мудрую и красноречивую речь, в которой выяснил: положим, они могут не повиноваться удельным, даже губернатору, но они знают, что я особый слуга государя, могу потребовать сто тысяч солдат: тогда что будет с ними? Прежде силы, я, любя их и желая им добра, нарочно приехал тайно переговорить с ними и вразумить, что вся беда оборвется на них, потому что простой народ повинуется им, как мурзам, князьям. Нарисовал им спокойный и довольный вид настоящего и – ссылка в Сибирь, в каторгу, а способные – в солдаты, тогда лишатся своих милых красавиц-жен и детей, своего капитала; но это случится тогда, когда они своим неповиновением лишат меня силы помогать им.

Тут они сказали мне, что удельные лишают их веры Магомета. Я поручился им своим словом, что уничтожу такие распоряжения. Боялись они, что как покорятся, то их заберут в тюрьму. Я объявил им, что если покорятся мне, то у них не будет никакого начальника – кроме меня, а я даю слово, что без меня до них никто не дотронется пальцем, а перед государем я буду ходатайствовать за них. Вижу, подействовало мое красноречие. Я еще усилил настоящий рай и будущий ад, а главное – ударял на лишение жен. На вопрос их: чего же ты хочешь, бачка?

– Чтобы вы приказали народу покориться.

– Теперь ночь, бачка, ничего не поделаешь.

– Я завтра нарочно буду долго спать, то вы успеете переговорить. Я прикажу сотским собрать весь народ на поле, вы станьте около меня, и когда я прикажу стать на колени, то вы первые становитесь, а далее увидим.

Татары спросили: «А удельные приедут?»

Я уверил их, что пока они будут покорны мне, то один я буду их начальником, и до повеления государя другого начальника не будет. Мы еще рассуждали, но надобно было быть очень осторожным с подозрительными азиатами, одно сомнительное слово могло испортить дело.

Утром через сотских я приказал собрать весь народ на поле; жандарм устроил небольшой стол и стул, чтобы влезть мне. Сам я был в сюртуке с эполетами, в шарфе, [треугольной] шляпе, но без сабли. Абрешитка держал мою шинель. Весенний день был очень хорош. Когда я влез на стол, то, действительно, была огромная масса ермолок\*. Около самого стола стояли мои богачи. Я говорил, может быть, гениально, но толпа ни слова не понимала. Вдруг толпа забормотала, зашумела. Я крикнул: «Молчать!» и потребовал покорности. Толпа сердито бормочет, я будто зажал свои уши и крикнул: «молчать!» Затихло. Я громко, с расстановкой и, должно быть, торжественно (без смеха не могу вспомнить) ска-

---

\* Ермолка – маленькая круглая шапочка.

зал: «Еще одно слово, и я лишу вас моего покровительства!» Эти грозные слова ошеломили толпу. Видя влияние, я закричал: «На колени!»

Стоявшие тузы около стола стали на колени, толпа, одни за другими, все на коленях. Я подумал: наша взяла, еще попробуем: «Голову на землю, и я ваш покровитель!» (сильно сказано). Все ермолки легли на землю. Этот момент нравственной силы и победы забыть нельзя. Я помню, может, 20 секунд посмотрел на эту картину и промелькнули в голове Чингиз-ханы, Тамерланы. Приказал встать и милостиво объявил, что за их покорность я один их начальник и больше никого нет. Обрадовались, кричат: «исправника не будет? удельных не будет?»

– Никого не будет, только я.

– Ладно, бачка, ты наш, а мы твои, прикажи, не выдадим.

– Так как вы отдаетесь под мою власть, то нам нужны условия, по которым вы должны повиноваться, а потому выберите депутатов, с которыми я и напишу условия.

Выбрали депутатов из соседних деревень. Я развернул X-й том законов и выписал земские обязанности; согласились, подписал я и депутаты приложили тамгу. Я объехал несколько соседних татарских деревень, принят был с почетом, как владетельный князь. Когда я возвратился в Бездну, как в свою резиденцию, мне объявили почетные старики, что они подали за меня *большой записка до Магомет* и что я буду счастлив. Ничего не понимая, я усердно благодарил их и сказал, что я был бы доволен и малой запиской. Они удивились моему невежеству и растолковали, что по малой записке я пошел бы тоже в рай, но сзади, а по большой записке пойду впереди. Я опять, как невежа, не понял. По-моему, быть в раю первому или последнему – все равно. Этому непонятию татары еще более удивились и внушительно объяснили мне: последнему достанутся из гурий\* оборуши, тогда как первый выберет лучшеньких, и причмокнули.

Вот она, в лицах материальная Азия! Поняв прекрасный дар татар, я преусердно благодарил моих новых друзей. Но так как у меня много важных дел, то я должен уехать в Симбирск, а чтобы никто не обидел их, то я пришлю к ним моего адъютанта, через которого и буду присылать мои приказания; но и этого мало: для моего спокойствия, чтобы хотя раз в неделю присылали ко мне посланников, от которых я буду знать, все ли у них благополучно. Титул посланника очень понравился честолюбивым азиатам.

Возвратясь в Симбирск, я немедля виделся с Жиркевичем и рассказал ему комично фарс на поле и успех – но подготовку скрыл. Жиркевич, слушая, только покачивал головой и сказал:

– Вы поступили как сумасшедший, но успех оправдывает все. Поздравляю вас. Видно, вы родились в сорочке.

Мы уговорились, чтобы без моего билета никакой чиновник не заглянул к татарам.

Я хотел послать к шефу по почте, но узнал, что NN два дня уже ускакал в Питер. Боясь, что он обеспокоит государя своими рассказами, в Питере могут принять серьезно, ведь Симбирск знаком с Пугачевым, губерния, в которой не квартировало войско, да мало ли что можно подумать, слушая такого храбреца, как NN, которому выгодно было до крайности раздуть бунт для оправдания себя. Приняв все в соображение, я решил послать жандарма курьером, с подробным донесением, в котором изложил причины волнения, его размеры и меры для его утишения, мною принятые.

[Мне секретно писал Дубельт, что граф благодарит тебя, он очень доволен догадливостью твоею – послать курьера; здесь рассказывали страсти о твоих татарах. Граф нарочно ездил во дворец с твоим донесением. Государь доволен и изволил сказать: «Какой у тебя

---

\* Гурии – фантастические девы, согласно Корану, услаждающие жизнь праведников в раю.

там шут? Но делает умно». По твоему желанию назначен князь Лобанов, его при дворе зовут «без страха и упрека», советую – поладь с ним. Камчадалка кланяется тебе\*.

В докладной записке шефу, описав подробно неповиновение лашманов и необходимые причины остановить власть губернатора и принять все дело на свою ответственность, намекнул о причинах послушания, рассказал о моей величественной позе на столе и поражение толпы – лишением моего покровительства. Но, будучи верен своему веселонравию, я уверял графа, что пока имею силы – сдерживаю себя, но не ручаюсь надолго, чувствую порыв – с подданными мне татарами броситься на Европу. Всепокорно прошу прислать поскорее кого-нибудь поумнее меня, потому что я, право, не знаю, что делать мне далее! Просил, если можно, прислать князя, – это звание имеет большое влияние на татар. Особым письмецом не упустил смиренно признаться, что я, вопреки данного мною ему слова, взял взятку, принял от татар дары – «большую записку к Магомету». Объяснив, в чем состоит эта взятка, признался, что меня соблазнило то обстоятельство, что, будучи первым в раю, я могу выбрать лучших гурий и для вашего сиятельства. Кто знал графа Бенкендорфа, тот знает, что граф не прочь от гурий].

Пока ездили курьеры, я важно принимал посланников. Чтобы быть в глазах татар почтенным, я сшил себе халат таких ярких цветов, что глазам было больно. Докладывают: посланники приехали. Для меня выносили кресло, а для посланников стулья. Облекшись в халат, я важно усаживался на крыльце, а посланники во дворе. После докладов о благополучии шли рассуждения о внутренней политике. Я боялся каких-нибудь происшествий, требующих следствия, моя политика была: я – власть и нет другой власти. Татарин украл у татарина деньги и седло, произошла драка, вору вышибли глаз. Резолюция: ворованное сполна возратить и по приговору выбранных судей, на общем сходе и при обиженном, вора висеть строго. Пока я был властитель, я установил в каждой деревне американский линч, но с моим утверждением, и шло хорошо. По окончании всех дел посланники угощались чаем. Важно откланиваясь, отправлялись в свои села довольными, а там рассказов – на неделю.

Вечером является курьер с конвертом, мне предписание: быть в распоряжении генерал-адъютанта, генерал-лейтенанта *Лобанова-Ростовского*. В полной форме явился немедля князю. Князь принял меня очень сухо, даже не встал, не поздоровался и не пригласил сесть.

– Что у вас тут за беспорядки?

– Какие, ваше сиятельство?

– По какой причине ваши татары бунтуют?

– Татары не мои, не бунтуют; о причине послушания могут объяснить удельные, а мне неизвестна.

Прием князя очень оскорбил меня, притом же я хорошо знал себе цену: без меня некому было делать. Я решился проучить питерского вельможу. Спросил еще что-то князь, я вместо ответа просил позволения удалиться – чувствую пароксизм лихорадки, и уехал.

На другой день князь рано был у Жиркевича; после я узнал, что Жиркевич сказал князю: без жандармского штаб-офицера трудно что-нибудь сделать, все дело у него в руках. Князь подъехал к моему дому; я выслал адъютанта доложить, что я болен и принять не могу, а сам стою у окна и князь не мог не видеть меня. Князь присылает сказать, что он – на несколько минут. Отвечаю, что лежу в постели. Князь желает сказать несколько слов у постели. «Скажите, что я лежу на кровати жены, не могу принять». Долго стоял князь у во-

---

\* Речь, по-видимому, идет о шестнадцатилетней крепостной Дашутке, которая вышла замуж за американца Добеля и сделалась – Дарья Андреевна (Дубельт, увидев ее в Петербурге, воспылил к ней страстной любовью, см. ниже); но, скорее, камчадалка – это Людмила Ивановна Рикорд. – Примеч. М.И. Классона

рот; я утешался: хоть немного отплатил гордецу, еще поклонится. Наконец, князь просил передать, что он имеет крайнюю нужду говорить со мною, чтобы я приехал, как могу.

Жиркевич, отдавая визит князю, выслушав его рассказы о нежелании моем видаться, сказал:

– Мы, провинциалы, очень щекотливы, не обиделся ли он чем-нибудь? – и повторил, что без меня не с кем делать. Об этом узнал я после.

Между прочим, я узнал, что князь приехал в дормезе с NN, что мне очень не нравилось. Вечером явился к князю. Прием другой: встретил, подал руку и подвинул кресло. После участия к моему нездоровью начался разговор о бунте татар:

– Объясните, пожалуйста, мне это происшествие.

– Татары арестовали удельных чиновников и отказались повиноваться властям; узнав ожесточение татар и зная ничтожные средства губернатора, я решился действовать лично и остановил законные действия губернатора.

– В каком положении теперь бунт татар?

– Татары смирились на условии, чтобы не подчиняться удельным.

– И вы приняли эти условия?

– Я бы принял все, лишь бы укротить озлившихся татар, ведь их до сорока тысяч в губернии.

– Вы должны были подчинить татар прямому их начальству – удельным!

– Это я предоставляю вашему сиятельству, я не умел этого сделать.

– Удельное начальство требовало законного, они ослушались, то нужно сломить их!

– Первый раз слышу, что лашманы подчинены удельным. Я исполнял волю государя и переводил казенных крестьян в удел. О татарах-лашманах не было слова, они пользуются особою привилегиею и остались лашманами. По какому праву удельные вмешались к татарам? Никто этого не знает, это наглое самоволие. Сломить татар – нет войска в губернии.

– Государю это угодно!

– Надобно объявить формально, законным порядком. Лашманы пользуются законною привилегиею и несут весьма тяжелые обязанности.

– Я нахожу действия удельных совершенно правильными.

Меня опять взбесила такая пристрастная односторонность, я опять [якобы] почувствовал пароксизм, прекратил разговор и откланялся.

Князь послал через удельных призвать несколько татар. Не послушались, а приехали ко мне; я послал их с адъютантом к князю и приказал доложить, что это те люди, которых он требовал чрез удельных.

Князь несколько раз в день приглашал меня к себе – болен! Думаю, поклонись мне. Когда я виделся с Жиркевичем, он дружески советовал мне поладить с князем. Был я у князя: очень, весьма ласков, просил меня составить план, как приступить к делу. Я, ссылаясь на болезнь, советовал действовать через начальство татар – удельных; князь поморщился, я указал на жандармского полковника Ф[лиге], живущего в Симбирске без дела, но Жиркевич предупредил князя; князь засмеялся и сказал: «мне сказано пользоваться вашею помощью». По-моему, князь спустил флаг. Я спросил: чего вам угодно достигнуть?

– Чтобы татары сделали общественную запашку.

– На что планы, планы – на месте действия. Попробую устроить это, но с условием, чтобы теперь пока не мешались удельные. Есть ближайшая небольшая татарская деревня, я сегодня же отправлюсь туда и, если устрою, то дам вам знать. От первого успеха или неуспеха будет зависеть все дело.

Приехал к татарам; опять принялся я за красноречие и людям побогаче нарисовал картину страшных лишений – при ослушании и спокойного довольствия с женами – при по-

корности, и более убедил тем, что я сделаю их начальниками, а работать будут простые татары, которые привыкли повиноваться им, как мурзам. Пил с ними чай, они верили, что я их друг и стою за них. Князя и власть его представил могуществом от земли до неба. Согласились, но болтал с ними до полночи.

Немедля послал жандарма к князю и просил его приехать до полдня, чтобы в тот же день окончить запашку. Утром собрались татары с сохами, боронами и с лукошками через плечо с зерном для посева. Ловко настрашал князем; татары говорили, что надеются на мою защиту, не то – лучше бежать. Научил рабочих стать на колени около орудий, а как подъедет князь, то поклониться в землю, а подойдет, то говорить: «Помилуйте, ваше сиятельство!»

Вижу, далеко по степи несется князь в коляске шестерней; ближе – вижу, с ним сидит NN., меня так и передернуло. Я полагал, что князь по моей просьбе простит татар и на этой радости скорей отправится парадом сам на поле, чтобы при себе сделать как-нибудь посев.

Встреча князя была как по писаному; татары просили: «Помилуй, ваше сиятельство!» Я кланялся и просил за татар; князь, улыбаясь неожиданному фарсу, простил татар. Но вместо того, чтобы при себе сделать запашку, князь приказал NN. распорядиться. Я внутренне бесился и жалел, зачем я поехал.

NN. в мундире, с шпажкой, суетливо и радостно повел рабочих, мы с князем ушли в дом. Я сердился и почти не отвечал князю. Немного погодя мой Абрешитка подмигнул мне, я вышел; он доложил, что все рабочее с явным недовольством, даже руганью разошлись по домам. Я не сказал князю, но под видом духоты предложил прогуляться. Только вышли за ворота, смотрю и едва верю глазам: около недалекой мечети татарин сидит верхом на белой лошади, с сохой на боку; по правую сторону уцепился за повод узды NN. и тянет лошадь направо, а татарин спокойно дергает левый повод; лошадь, слушая хозяйна, рысцой бежит кругом мечети; NN., придерживая путающуюся шпажку, вприпрыжку бежит наравне с лошадью. Я едва не расхохотался, но, заметив, что князь близорук, я притворился, что не могу рассмотреть какого-то движения около мечети. Князь в лорнет рассмотрел, хохотал и сказал:

– Вот глупейший скандал! Прикажите NN. придти сюда!

NN., едва переводя дух, мог только сказать:

– Татары разбежались.

Князь сердито сказал:

– Кроме одного на белой лошади.

Князь обратился ко мне:

– Что теперь делать?

– Ничего. Заставить их нельзя. Разве NN. может, а я не могу.

– Но, однако, что же делать далее?

– Дело испорчено, а было направлено хорошо; теперь что вы прикажете делать?

Князь подал мне руку и сказал:

– Ошибка моя, я полагал более способности в NN.; я должен был положиться на вашу опытность.

[Это было при Бестужева; вижу – наша взяла, надо пользоваться.]

– Ваше сиятельство, неопытность – не преступление, о господине NN. узнаете, что он – настоящая причина послушания этих бедных людей. (Статский советник хоть бы слово.)

– Охотно вам верю, я видел опыт его неловкости.

– Еще повторю, неловкость – не преступление, узнаете со временем.

– Я не спорю с вами, но что нам делать далее?

Я подумал: ага, просишь прощения и поделом тебе, ну-ка, придумай сам, что тебе делать:

– Поедемте далее, в шести верстах село Бездна, это главная квартира бунта, там и были арестованы удельные. За успех не ручаюсь, но желал бы поменьше показывать удельных.

– Мы прикажем приехать им ночью и вовсе не выходить из дома.

Приехали в Бездну, народу полны улицы; остановились в доме богатого татарина, огромный крытый двор полон народа. Князь вышел на заднюю галерею и сказал, что его послал государь с повелением, чтобы они повиновались.

Загалдели татары все вдруг. Абрешитка перевел, что сердятся и не хотят повиноваться. Князь приказал мне переписать всех имена и фамилии. Я пошел в средину толпы; знакомые татары смеются и говорят: «здравствуй, бачка, как живешь?» Кого ни спрошу, как зовут – либо молчит, либо отвечает: «не знаю». Я доложил князю.

– Что же теперь делать?

– Подождите до завтра, я что-нибудь сделаю ночью.

Моим приятелям-татарам приказал прислать кур, яиц, уток, масла, все принесли; взялся готовить лакей князя. После чая я ушел к мулле, там собрались мои друзья. Не буду передавать долгих толков, трудно было смягчить отвращение их к удельным. Успокаивал их тем только, что остаюсь защитником их и что я их друг. Кончилось тем, что мне удалось опять штука: я обещал назначить их – кого старшиной, кого ревизором, распорядителем, надзирателем и проч., составил огромный штат честлюбивых татар, поманил могущими быть медалями. Согласились, но просили побить их при народе, потому что весь народ присягал не слушаться. Ну, за наказанием дело не станет.

С вечера послал нарочного в Симбирск с приказанием прислать на подводах 40 солдат с боевыми зарядами, солдат назначить из поляков – это были отличные молодцы-мародеры. Приказал быть 10-ти жандармам без коней.

Приехали команды. Татар собралось очень много. Я, будто случайно, взял из толпы согласившихся со мною ночью, назначил им должности. Первый – старшина – отказался повиноваться. Я крикнул: фухтеля\*! Два жандарма обнаженными саблями весьма неосторожно ударили раз пять, упал на колени побитый; следующим по два фухтеля, покорились и говорили толпе со слезами в свое оправдание. Ружья заряжены при толпе (выстрелили бы? – не ручаюсь). Каждому битому чиновник дал по два солдата и на ответ чиновника приказал привезти сохи, бороны, сеяльницы. Чрез Абрешитку объявил толпе, что за слушание не только буду стрелять, но сожгу их дома с женами.

Привели рабочих более чем нужно. Объявил всем, что если не простит князь, то все сгниют в тюрьмах. Приказал жандармам поставить всех на колени, а мулле приказал читать молитвы, чтобы князь простил.

Прихожу к князю – он приготовился к катастрофе: пистолеты заряжены, шашка, сабля острые, вынуты из ножен. Князю сказали о прибытии команд, но он, проученный уже, не мешал мне, да и не знал, что я делаю. Я пригласил князя прощать и условился – не прощать, пока не поручусь. Попросил его надеть звезды.

Подошел князь: «на караул!» Барабанщик с дроби сбился на генерал-марш. Я просил простить татар, князь гневался; я просил, просили татары. Князь объявил, что он не может верить послушникам, и спросил меня, могу ли я поручиться за них? Я спросил татар, не выдадут ли они меня?

– Ручись, бачка, не выдам.

---

\* Фухтель – от нем. «шпага, палаш». При наказании виновному наносились удары плашмя палашом или шпагой; этот вид наказания существовал в России в XVIII – начале XIX в. (в 1839 г. – заменен на наказание розгами). – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

Князь простил, я представил мною испеченный штаб чиновников. Князь утвердил. Тут же, с места, отправились парадно на поле, сделали никуда не годную запашку. Богатых татар спросил: «Что лучше – в тюрьму или наказать розгами?» Те, переговорив с массой, в один голос отвечали: «розгами!» Близко был исправник, приказал ему дать всем по 100 розог, но за то князь дал слово татар более не трогать, и татары счастливы и совершенно успокоились.

Я просил князя ночевать, чтобы узнали татары во всех деревнях. Князь много благодарил меня, завидовал моему характеру, что из серьезного дела я умею сделать фарс. Я вышел на первый план, а NN. стушевался.

Проехали мы все уезды, были во всех татарских деревнях, проделали фарс легче, чем в Бездне. Всем татарам, для спокойствия их, я назначил по 100 розог с тем, что не пойдут в тюрьму, а исправники, исполняя наказание, взяли по полтиннику, о чем я узнал после. В Курмыше я так напугал князем старика Ахуна (глава магометанского духовенства), что мы боялись, чтобы он не умер<sup>\*</sup>.

Осматривали по пути корабельные леса, ничего подобного и видеть нельзя: дубы – 2, 3 аршина в диаметре, стоят густо, сплошь. Один дуб под названием матка был около 4-х аршин диаметра. Дуб, упавший от старости, пастухи выжгли больше половины, в эту арку я прошел в султана [на треугольной шляпе] и не задел. Лашманы, чтобы вывезти дуб на пристань, в особые для того сани запрягают до 150 лошадей. Двинуть с места мало 200 человек, и бьются не один день. Я видел новый двухэтажный амбар: дуб направился на амбар и стер его, перешедши через. 270 тысяч десятин такого леса Перовский<sup>\*\*</sup> хотел приобрести в удел, лишив флот. Лес стоил иного маленького государства, но пока я был в Симбирске – отстаивал, а Перовский – гневался.

Возвратясь в Симбирск, я сделался неразлучным с князем; ему хотелось доискаться причины бунта татар. [Бестужев крутился и лгал.] Я просил своих друзей-татар найти мне хотя один приказ в волости от удельной конторы о запрещении татарам иметь более одной жены. Я знал, что NN. отобрал и уничтожил все приказы. Ночью привезли мне единственный экземпляр приказа, сохраненный писарем на границе Казанской губернии. Я настаивал на существовании распоряжения. [Бестужев опровергал, последний раз при мне князь спросил на честное слово, и Бестужев дал честное слово, что такого распоряжения не было. Бестужев ушел, а] я подал князю приказ, подписанный NN., с печатью конторы. Боже мой, как рассвирепел мой честный князь; [по приходе Бестужева приказал мне сесть за ширму, а как увидал его – тяжело дыша, показал ему приказ: подлец, скотина, мерзавец – целый лексикон эпитетов и непечатных слов высыпал на статского советника! Тот имел силы один раз прошептать: «виноват». Князь выгнал его и не приказал являться на глаза.]

---

\* Курмыш – уездный город в Симбирской губернии. Судя по ежегодным отчетам III отделения, события, связанные с переводом казенных крестьян в удельное ведомство, имели место в 1835 г., а возмущение лашманов – в 1836 г. В обоих отчетах действиям Стогова дается высокая оценка, основанная на отзывах князя А.Я. Лобанова-Ростовского и губернатора И. С. Жиркевича. Жиркевич, например, заявлял, что успешное окончание дела и возможность избежать применения военной силы связаны единственно с «благоразумным и усердным действием подполковника Стогова» (1835), являвшегося «главнейшим участником во всех распоряжениях по сему делу» (1836). Причину возмущения лашманов Бенкендорф, как и Стогов, усматривает в «неблагоразумном распоряжении» удельного начальства. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

\*\* Член, вице-президент Департамента уделов, затем товарищ министра уделов Лев Алексеевич Перовский.



Мне приятно вспомнить, что Иван Степанович Жиркевич, принимая искреннее участие, очень был доволен моими успехами, а подготовка все-таки осталась в секрете\*. Все удивлялись успеху, видя только наружную сторону дела.

Князь *Лобанов-Ростовский* был очень красивый мужчина, очень статный, от 40-ка до 45-ти лет, справедлив и храбр как шпага. Если не ошибаюсь, он начал службу адъютантом при князе Волконском, – вот отчего он, может быть, бессознательно заступался за удел, но после я узнал – вся проделка от Льва *Перовского* через князя Волконского. Перовский был вице-президентом уделов.

[Князь очень полюбил меня. Раз спросил, не хочу ли я быть полицмейстером в Питере? – «Нет, не хочу!» – «Отчего? Вы имеете к тому способности». – «Не хочу, потому что я здесь старший, а там – под командой, да и Питера я ненавижу».]

Еще при объезде татар князь посылал курьеров, а из Симбирска – то и дело летели курьеры; князь писал государю на оторванной страничке маленькой почтовой бумаги и всегда вдоль бумаги и по-французски, непременно делая помарки: up и upe, так и посылал с помарками. Моя обязанность была печатать и пломбировать сумку жандарма. Я советовал переписать помарки, он отвечал: «Государь требует от нас дела, а не формы»... [Раз дает мне читать страничку. Я прочел представление меня к Анне на шею. Я просил позволения уничтожить. «Отчего?» – «Не к лицу мне; хорошо видеть у вас; вишь на вас крестов, как на кладбище, за то вы – князь, Лобанов да еще Ростовский, генерал-лейтенант, да генерал-адъютант. А мне к чему? Вычтут из жалованья и будет мешать мне одеваться». – «Вы говорите серьезно?» – «Позвольте разорвать». – «Разорвите». Я изорвал. – «Странный вы человек! Чем же я могу благодарить вас?» – «Очень можете». – «Чем?» – «Скажите кому следует, что я полезен для службы». – «Да я и не могу не сказать». – «А я более ничего и не желаю».]

Здесь, кстати, похвастаю (но право, не хвастаю) – несколько представлений я изорвал, а ордена, какие имею, получил тогда, когда начальник хотел досадить мне. Когда-нибудь расскажу, это был не секрет.]

Проводил я князя до границы губернии, и не дала мне судьба повидаться с ним; был я в переписке с князем, хотя редко. [После рассказывал мне Дубельт, что князь много хлопотал о моем кредите в Корпусе жандармов.]

Пока я хлопотал с лашманами, неудовольствие росло против *Жиркевича*. Один Жиркевич не замечал того, и это потому, что он не сознавал своей вины (!?) к обществу, он не мог быть другим, каким он был. Я продолжал писать, воздавая хвалу честному его трудолюбию, безукоризненной нравственности, высоким служебным достоинствам, но вредным (!??) для Симбирска. Любить Жиркевича трудно, но не уважать нельзя.

\*\*\*

Получено известие, что государь Николай Павлович посетит Симбирск. Не описывать же мне, как готовился город к приезду государя: суета, хлопоты, белят, метут – всегда и везде один порядок. Разве расскажу весьма важный случай удивительной находчивости частного пристава. В Симбирске жили две старые девицы, сестры Ивана Ивановича *Дмитриева*, поэта и министра. К этим старухам и приступа не было для полиции; на всякое требование полиции – один ответ: «да что ты, батюшка, никак с ума сошел; разве не знаешь, что у меня брат министр!» Полиция ретировалась. Деревянный дом на Покровской улице, чуть ли не ровесник Симбирску, девственно существовал со своего создания; улица – одна из главных, на пути проезда государя, полиция претендовала побелить дом.

---

\* См. отзыв И.С. Жиркевича о деятельности составителя этих «Очерков и рассказов» при усмирении волнения лашман-татар, «Русская Старина», изд. 1878 г., том XXIII, «Записки Жиркевича», стр.41-43. – Примеч. ред. «Русской Старины».

См. Приложение – Примеч. М.И. Классона

Частный пристав лично предъявлял требование и встретил неопровержимый аргумент: «мой брат министр». Частный пристав хотя и был ошеломлен, но важность обстоятельств выжала его находчивость; он, подумавши, отвечал:

– Оно, конечно, у вас братец министр, я и уважаю, *но и у меня дяденька царь Соломон*, а потому побелить извольте.

Этим доводом так озадачились старухи, что покорились и выбелили дом.

Коснувшись почтенных старух, каюсь в своем плутовстве. У этих старушек-девиц воспитывалось по племяннице, девицы прехорошенькие и уже в возрасте невест. Старухи страстно любили своих красавиц, не надышатся на них, утеха остальных дней старух, жизнь которых была связана с красивою юностью; о замужестве племянниц не могло быть и в помышлении, девицы жили в очарованных замках, знакомых старухи не имели, потому что – брат-министр. В нашем маловерующем и развратном веке побеждают и Черномора и Бабу-Ягу.

Приехали в отпуск два гусара (ох, эти гусары!); говорят, будто девицы и не видали гусар, а племянницы ушли от милых и дорогих тетенок с незнакомыми, ушли в один пре-темный вечер. Объяснить этот непонятный казус для всех была задача, но я легко и здраво разрешил колдовством. Хотя я знал, где венчались гусары, но когда сестры министра потребовали поймать преступных гусар, я рассвирепел. Да, помилуйте: я начальник нравственной полиции и в моем присутствии смеют совершаться такие скандалы. Я немедленно разделил команду на два отряда и на попонках послал по двум дорогам (шагом, вместо поездки), с приказанием привести живых или мертвых – вот как строго!

А колдуны-то венчались возле дома, в церкви Покрова. Что делать, сплutowал и признаюсь. Сестры министра в справедливом гневе отказали в наследстве преступным племянницам и не пускали на глаза, грозно сердились целую неделю. С шалунами-гусарами совершилась метаморфоза: шалуны превратились в благородных, добрых помещиков и в уважаемых членов общества. [Говорят, за признание – половина прощения, надеюсь!]

За три дня до приезда государя народ из далеких деревень: татары, чуваша, мордва, русские на четыре версты заняли почтовую дорогу по обеим сторонам, тут и ночевали. Государь приехал перед сумерками, занял дом губернатора\*. [Граф Бенкендорф при встрече со мною обнял меня, называл по фамилии, назвал меня лучшим своим помощником и проч.] С приездом государя весь народ города и с дороги наполнил большую площадь перед домом губернатора и около собора. Жандармы, полиция были спрятаны в соседних домах, но тишина и благонравие толпы были образцовые во все время. На другой день утром назначен прием.

Вот память мне изменила – в день приезда государя или перед тем получен приказ об увольнении Жиркевича? Не помню. О себе скажу, что я усердно готовился и хотел быть умным, голову свою наполнил статистикою губернии до точности, чуть ли я не мог отвечать, сколько в губернии тараканов; пути сообщения, торговля, промыслы – все как на ладони. Но вышло, что я оказался... вот увидите. Я знал, что мой шеф, граф Бенкендорф не щеголял памятью; в мое время в Питере, делая визит французскому посланнику и не имея с собою карточки, приказал швейцару записать, а на вопрос: как прикажете? – граф забыл свою фамилию, да уже граф Орлов ехавши крикнул: «Бенкендорф!» Граф поскорей вернулся, твердя свою фамилию, и записался. Для представления я написал записочку своей фамилии и адъютанта. Граф благодарил. Дворян было столько, сколько могла вместить большая зала; дворяне помещались около стены с окнами, а служащие у противной стороны.

Государь вышел к дворянам и весело сказал:

---

\* В «Записках» Жиркевича отмечено, что император приехал в Симбирск 22 августа 1836 г. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

– Ого, вижу, что я приехал в *черноземную* губернию, такой рост не везде встречается!

Нарочно или случайно, с головы ряда стояли человек 18 ростом выше государя. Представлять дворян должен был губернский предводитель. Мой друг, предводитель дворянства *Бестужев*, был в генеральском мундире. Лакей догадался список дворян положить в задний карман мундира. У моего друга так была развита некоторая часть тела, что, при всем усилии, руки предводителя не доставали кармана. Я с удовольствием готов был помочь страдательному положению друга, но сам стоял во фронте. Государь, улыбаясь, ожидал, а список так и остался в кармане. Жиркевич был в зале, как любитель, в вицмундире. Я должен заметить, что Жиркевич был, против обыкновения, оживлен и был как дома. Видя страдательное и безвыходное положение губернского предводителя, Жиркевич подскочил и сказал государю:

– Я попробую представить вашему величеству.

Пошел по ряду, называя фамилии. Правда, он называл Ивана Петром, а Кузьму Степаном, но шел смело, не останавливаясь. Государь остановился перед бодрим стариком Петром Петровичем *Бабкиным* и сказал:

– Вашего мундира и я не знаю, скажите, какой это мундир?

– Вечной памяти матушки Екатерины, капитана Преображенского полка.

Государь поклонился и сказал:

– Славного вы роста.

– Я, государь, выше был, но осел.

– Как это?

– У меня обе ноги прострелены.

Государь с милостивою улыбкою поклонился.

Как попало Жиркевич кончил представление, а капризный список так и не явился на свет. Государь был очень милостив и весел; обратясь к дворянам, сказал:

– Господа, скажите, кто у вас был лучшим и любимым губернатором?

Все в один голос: «Жмакин!»

Государь обернулся к Бенкендорфу и сказал:

– Вот видишь, граф Александр, можно быть взяточником и любимым.

Государь подошел к нашей стороне, я стоял на фланге. Граф Бенкендорф, представляя меня, сказал:

– Жандармский штаб-офицер, в Симбирской губернии находящийся, (смотря на эполеты) подполковник... подполковник...

Вижу, что граф данную мною записку мнет в правой руке, но забыл и фамилию, и бумажку. Государь улыбнулся и милостиво сказал:

– Вы Стогов?

Я поклонился. Государь изволил спросить:

– Сколько лет вы здесь служите?

Я был готов отвечать на самые трудные и сложные вопросы и, как камчадал, не предполагал, что государи так просто спрашивают; хорошо помню, первая цифра пролетела сквозь голову – 8, за ней 80, 800, никак не поймаю мысль, стою и молчу, чувствую – кровь приливает к голове, стою и молчу, как... умник. Государь очень милостиво, с его невыразимо привлекательной улыбкой тихо сказал:

– Ну, что ж вы молчите? Вы здесь служите три года, я помню вас и доволен вами, продолжайте служить.

Я только кланялся, но можно вообразить, как я был недоволен собою. При привычной находчивости моряка вдруг на меня нашел столбняк. Я бы объяснил причину, но боюсь быть еще глупее. Чиновников представлял Жиркевич; на левом фланге стояли удельные; государь не позволил представить их и сказал:

– Идите, я из вас – единицы – сделаю четыре нуля.

По окончании представлений государь, обращаясь к Жиркевичу, сказал: «К тебе не идет статское платье», а к графу Адлербергу: «Надень на него военный мундир». Потом сказал Жиркевичу: «Я даю тебе славную губернию, Витебскую, там у меня лучшие два элемента: жида и поляки, поляки и жида».

Слушая это, я чувствовал себя награжденным.

После представления назначено быть в соборе. Граф Бенкендорф приказал мне очистить собор:

– Государь не любит, чтобы очень много было.

Государя все хотели видеть; мужчины представлялись, понятно, дамы избрали для себя церковь. Очистить церковь, полную дам, выгнать сливки симбирской интеллигенции – дам, от покровительства которых зависит мое спокойствие, мое существование, моя сила, мой успех, мое счастье! Прогнавши дам, остается повеситься. Велят очистить церковь – пренеприятная задача, от которой – хоть в Волгу. Говоря о тесноте, выражаются: некуда упасть яблоку, а я уверяю, в церкви дамы, дамы и только дамы, да так плотно, что и булавке упасть некуда.

Насилу я пробрался в алтарь; там архиепископ с причтом в облачении. Я как можно громче сказал:

– Владыко, государь не будет в соборе, он изволит слушать обедню у Николая (кажется, так, маленькая церковь близко дома губернатора).

Архиепископ сказал: «Ну, братия, так пойдем, собирайтесь, да не забудьте чего-нибудь».

Как услышали дамы мои слова, так и бросились из собора, чтобы захватить места у Николы. Я тихонько приказал архиерею остаться, церковь запереть и поставил трех часовых – не пускать, так и выпутался. После [много имел выгод], во время службы: пускал дам, оказывая дружеское покровительство.

После церкви – развод. Я очертил верно симбирский баталион. Корпусный *Капцевич* заранее присылал по ночам из разных баталионов для показа государю. Перед представлением я составил записку о ловкости Капцевича и подал шефу. Государь делал смотр. Жандармы на лошадях и полиция едва сдерживали народ. Бенкендорф, Адлерберг, флигель-адъютанты, я – человек семь – стояли кучкою, в стороне, к середине площади. Кончив ученье, государь скомандовал:

– Рязанцы, орловцы, нижегородцы, ... вперед!

Вышли, молодец к молодцу. Государь выбрал всех в гвардию, а окружному генерал-майору *Мандрыке* сказал: «Отправить всех на счет Капцевича, а с ним я рассчитаюсь». [Знакомый мне Мандрыка недоумевал, кто мог доложить, тогда как делалось секретно. Просил меня узнать.]

На другой день чрез Бенкендорфа дворяне просили расквартировать один корпус войск. Государь весело сказал:

– Вам женихов надо? Хорошо, подумаю.

На третий день сказал:

– Как ни рассчитывал, не могу, слишком далеко от границ.

Когда государь приказал подать экипаж, народ прорвал цепь и, придя в иступленный восторг, наполнил плотно пространство между государем и экипажем; нас так сдавили, что мы едва не задохались; у ног Бенкендорфа разрешилась женщина. Бенкендорф, уже привычный к восторгам народа, но и тот испуганно сказал: «Да что же это будет, это сумасшедшие». Я сказал: «Пока не сядет государь, нам ничто не поможет».

Долго пробирался государь к экипажу и тот – к государю; народ, действительно, как безумный, не помнил себя, молился на государя, ложился к ногам, но только государь сел

в экипаж и поехал, мы остались одни. За экипажем все бежало; обгоняли и крестились, шапки, полушубки валялись на земле, восторг был невыразимый. Замечу, после многих я спрашивал, для чего все бешено бросились к государю по окончании смотра? Единогласно отвечали: все слышали, как государь крикнул: «Народ мой, ко мне!» – чего, конечно, не было.

Помню, один раз при выезде государя из дома какая-то женщина побежала перед лошадьми, платок с головы сняла, машет им и кричит: ура! Вдруг споткнулась и упала почти под ноги лошадей и давай кричать: караул. Бенкендорф бросился к кучеру и посадили лошадей. Государь очень смеялся. От «ура» до «караул» – один шаг.

Замечу, во все пребывание государя я не видал ни одного пьяного.

Государь пробыл в Симбирске трое суток; дворяне не забудут милостивого и ласкового внимания государя. В городе остались памятники: прекрасный спуск к Волге, площадь около собора превратилась в гулянье с кустарниками и дорожками, но всего не рассказать и не припомню.

Государь уехал, помещики разъехались хозяйничать и охотиться, все затихло, одни удельные чувствовали себя нулем с минусом. Жиркевич с большим чувством простился со мною; не знаю, догадывался ли он, что я стоял за него горою, между нами не было слова. Как приехал он невидимкою, так незаметно и уехал.

Пока не приедет новый губернатор, я что-нибудь расскажу, а рассказов – без конца.

Симбирская губерния хлебная, нищих в Симбирске почти не было. Вдруг быстро стали наполняться улицы, церкви – нищими. Причин не было, урожаи обильные, а нищих все прибавляется. Одной старухе я часто подавал копейку, и однажды спросил:

– На что тебе, старая, деньги: вон котомка полна хлеба?

– Как же, мой родненький, нам без денег нельзя.

– Зачем?

– Как зачем? Как не заплачу, то либо выгонят, либо в тюрьму угожу.

– Что ты врешь, старая, грешишь: кто с тебя возьмет?

– Как кто возьмет, не заплати-ка я 40 копеек в неделю, то ты, батюшка, только бы и видал меня; не вру я, все платят, другие и больше меня.

– Кому же ты платишь, старая корга?

– Да вон этому полицмерскому, все платят и я плачу.

– Да вас много, он не упомнит.

– Какое не упомнит, на то у него книжка, там каждый на счету.

Это обратило мое внимание, я распорядился – украсть книжку у «полицмерского».

Новый полицмейстер, не помню фамилии, был ротмистр по кавалерии, по наружности щеголь. Книжка у меня в руках – прелюбопытная. Несколько сот нищих (сколько – забыл) записаны по именам, многие отмечены, чем искалечены, всякий по степени лет, калечества оценен еженедельной податью; были и такие, что платили 80 коп.: это без обеих ног. Аккуратность замечательная: кто не доплатил 3 копейки, отметка на поле: доплатить в такой-то день.

Я написал шефу, что обязанность всякого русского патриота выдвигать на пользу государства гения, могущего принести пользу государству. Случайно я открыл в симбирском полицмейстере удивительную финансовую способность, гениальную голову, могущую обогатить казну без отягощения общества. Описав всю проделку и приложив, как факт, книжку, просил покровительства ему и взять его из Симбирска, где гениальность его не может иметь полного развития. Полицмейстер вытребован в Питер, улетучился, и далее не слышал о нем. Вот и такие бывают артисты.

Саратовский помещик Петр Иванович *Богданов* осенью выехал на охоту из Саратова в поле с собаками; куда бежали зайцы и лисицы, туда и Богданов ехал с охотою; так за зай-

цами и лисицами доехал до Симбирска, где захватила его зима. Между Саратовом и Симбирском до 400 верст по почтовой дороге. Богданов остался зимовать в Симбирске. Богданов хорош собой, богат, щеголь, танцор, немного поэт – быстро стал необходимым членом общества, познакомился и я с ним.

Однажды Петр Иванович приходит ко мне. Весьма ловко, искренно и прилично объясняет, что он очень любит играть в карты, но ничего не любит делать тайно: пришел просить позволения играть. Я подумал: не позволю – будут играть скрытно, ловить их – низко, я согласился дозволить, но с условием: по окончании игры каждое утро сообщать мне, чем кончилась игра, и если я признаю, что нужно возратить проигравшему, то исполнить, в чем и прошу дать мне честное слово. Богданов протянул руку и дал честное слово; я добавил, что если буду обманут раз, то условие прекращается. Богданов подтвердил. Кто будет играть? Он назвал 8 человек, людей богатых, молодых, независимых. Я не находил препятствия.

Однажды приходит утром и говорит: вчера К[роткий] проиграл 30 тысяч. К[роткому] было только 18 лет, сын богатых родителей, но не отделен; отец в больших связях в Питере, много наделает шума; как несовершеннолетнему, я попросил деньги возратить. В тот же вечер проиграли ему обратно. Обыграли ремонтера\*, тоже возвратили. Я видел пользу в дозволении. Игроки были молодежь, люди образованные, веселые, шалуны, необходимые в обществе.

На Троицу бывает большая ярмарка в Корсуне, куда выводилось до двух тысяч заводских лошадей. Я – комендант ярмарки. Богданов, с своею партией игроков, просят позволения покутить три дня. «Господа, могут быть жалобы, моя обязанность, мой долг быть справедливым и строгим». – «Мы ручаемся чем угодно, жалоб не будет, мы не дети». – «Ну, смотрите, чтобы не было худо, кутите». Слышу, действительно кутят, но никто не жалуется; конечно, главную роль играли красавицы.

На третью ночь меня будят: пожар! Ярмарка вся составлена из плетня, лавки крыты лубом и рогожами, вся ярмарка вспыхнет как порох. Бегу, и что же я нашел: кутилам недостало вина; француз, торгующий винами, запер магазин и лег спать. Кутилы поодаль дом обложили соломой, человек 100 поставили с водою кругом соломы, ночь была совершенно тиха; солому зажгли и отворили ставни у окон француза; тот, увидав пожар, торопился спасать и выкидывал ящики с вином, что и нужно было кутилам. Солома к приходу моему была потушена. Француз не жаловался, а я прекратил кутеж.

Один близкий мне человек, – не назову его, он еще здравствует, – страстно любил играть и проигрывал постоянно. Я взял слово с Богданова не играть с ним. Этот близкий мне человек гостил у меня. Я был в гостях; дают мне знать, что гость мой два раза приезжал за деньгами и подгулявши. Я отправился к Богданову; помню, он жил в Кирпичном переулке, отдельный новый дом в три окна. Сквозь ставни огня не видно и не слышно, суконные шторы, ворота на запоре. Тишина. Забор очень высок; я своему кучеру приказал нагнуться и с плеч его прыгнул через забор. На дворе много саней, но ни одного кучера; я отпер ворота, а кучеру приказал стоять у крыльца. В прихожей куча шуб и никого. В зале, со стаканом шампанского, старый грешник, проигравшийся коновод; в боковой комнатке, с свечью и с книгою под мышкою, маклер. Старый грешник хотел сказать: «полк...»\*\*, я пригрозил.

Вхожу в другую комнату, Богданов мечет банк, кругом стола человек шесть. Только увидел меня Богданов, задрожали руки и карты рассыпались; остальные господа нагнулись под стол и что-то ищут. Я только сказал: «вы, Петр Иванович, нарушили свое слово», собрал со стола все деньги, засунул пьяненькому моему гостю в карман, взял его под руку

---

\* Ремонтер – офицер, занимающийся закупкой лошадей для восполнения их убыли в войсках.

\*\* [Атас,] полковник!!!

и пошел с ним вон. В комнатах была страшная жара. Я рассчитывал на быстрый удар. Моя шуба была в санях, я моего гостя, без шапки, завернул в свою шубу. Богданов вышел с товарищами и на морозе опомнились: «да позвольте, полковник, так нельзя». Пошел! Слышу, гонятся за мною с бубенчиками. Улицы глухие, без фонарей, я велел пустить в карьер до фонарей. Уложил гостя спать, а сам явился, где был в гостях. Никто и не заметил моего отсутствия.

На другой день, утром, является Богданов, бледный, сконфуженный. [Я закричал: «Дайте ему в зубы, чтобы дым пошел!»]

– Полковник, чем же это кончится?

– Что такое, мой друг?

– Да что, вы были вчера вечером?

– Это у Петра Антоновича Ахматова? Там играли в фанты.

– Я говорю не об Ахматове, а что вы были у нас.

– Милый друг, если ты не пьян, то вчера перепил и бредишь. Я от Ахматова не отлучался, что засвидетельствует тебе все общество.

– Да помилуйте, мы не сумасшедшие. Я пришел спросить, чем вам угодно кончить?

– Что́ такое кончить, я не понимаю?

Долго я тарантил, дурачил его; когда он стал просить прощения и извинялся тем, что они два раза прогоняли того, с кем я не приказал играть, но он побожился, что вы позволили ему играть. Тогда я объяснил Богданову, что никто не должен знать, что я был у них, в противном случае я обязан исполнить свой долг, а вы знаете какой?

– Знаем, в тюрьму, но на этот раз простите.

– Охотно прощаю, но, кажется, я захватил деньги? (тысячи две).

– Что о деньгах, мы ему еще бы вдвое дали, только бы он не приходил к нам.

– Ну, Петр Иванович, на этот раз дело кончено, будьте осторожны.

– Полковник, я почитаю и все любим вас, умоляю, не приезжайте так неожиданно и одни; впрочем, мы приняли меры.

– Какие меры ни принимайте, но нарушите условие – я буду у вас.

– Не советую и умоляю: не являйтесь одни, как вчера.

– Это почему?

– Нам исход один, мы за себя не отвечаем.

– Ха, ха, ха, что вы говорите, а у кого вчера le main дроже\* и рассыпались карты? А что такое господа искали под столом? Все вы трусили.

– Клянусь вам, полковник, мы гнались вчера за вами, решившись на крайнюю меру.

– Все вы врете, вы видели меня без сабли, а не видали двух дуэльных pistols, спрятанных в карманах, да у кучера ножик в аршин (все я соврал). Куда вам!

Я простил, и игроки более не нарушали моего условия. Богданов после был губернским предводителем в Саратове; он сам рассказывал мне, что за соло в кадрили мать давала ему 10 тысяч; у старухи был большой кованный сундук, полный денег. Недавно я получил письмо из Саратова, что уже лет десять, как Богданов умер, проигравшись. Обыкновенная доля игроков!

[Как видите, рассказов без конца, прошу заметить: я не вывел на сцену ни одной дамы. Впрочем, симбирские дамы тогда, как, вероятно, и теперь, безупречны и святой жизни, следовательно, о них и рассказывать нечего, кроме засвидетельствовать мою глубокую благодарность и беспредельное почитание за отрадные воспоминания лучшего периода моей жизни. Пять лет не прошли, а промелькнули как сладостная улыбка на молодых устах красавицы! Не помню дамы, девицы, к которой не сохранилось бы мое поклонение.

---

\* Типа, руки дрожали (здесь – «смесь французского с нижегородским»).

Пустился я в рассказы былей, таких рассказов, пожалуй, на несколько томов. Старая голова не совсем охладела, все еще увлекается.]

\*\*\*

Не помню точно времени, привезли в Симбирск из Тифлиса царевну *Тамару*<sup>\*</sup>, под мой строгий надзор. Не подумайте, что эта Тамара подобна Тамаре Лермонтова, нет, непохожа. Длинная, узкая в плечах и вся ровная до конца ног, лицо длинное, чисто армянское, лет под 50. Привезли плачущую, и сколько раз ни навещал ее, видел плачущую и всегда в одной позе: с своею служанкою сидят на полу и разбирают спутанный разноцветный шелк. Нельзя было не бывать у ней, а идти – наказание: не люблю плачущую женщину, еще бы хорошенькую, да и то ненадолго, молоденькие слезы не горьки.

Не буду утверждать, долго ли надоедали мне слезы Тамары, но в приезд государя я решился хлопотать сбить с рук плаксу. Составил пречувствительную записку и молил графа Бенкендорфа доложить государю о помиловании Тамары; это было вечером, граф отвечал: «убирайся, спать хочу, поди к Адлербергу, он ходатай за всех [девок]». Я к добрейшему из добрых, графу Адлербергу; подав записку, стал неотступно просить его. Трудно верить, но прошу не сомневаться: прося графа Адлерберга, у меня капнуло слез пяток, право так! Граф с участием спросил: «вы такое близкое принимаете участие?» Я не сказал, что она мне надоела. Благодетельный граф тотчас пошел к государю и вынес помилование Тамары. Я приказал разбудить ее и объявил ей радость. Не буду рассказывать о сцене ее благодарности, право, и тут ничего не было приятного. Через 4 дня отправил царевну с жандармом с Тифлис, там выехали 20 карет встречать ее. Ну и дай Бог ей здоровья.

\*\*\*

Пишет Дубельт: «Под твой надзор назначен бывший волынский губернский предводитель, граф Петр *Мошинский*. Облегчи его положение, что от тебя зависит».

Является Мошинский, небольшого роста, с самым добрым и скромным выражением в лице; мне казалось, что его забила судьба, но нет, он таков от рождения; ему лет 35, плешив, хорошо образован. Сослан был в Тобольск за 14-е декабря. В первый же час я спросил его, чего он хочет? Он не вдруг отвечал: «я не знаю, чего я могу желать». – «Какое ваше самое большое желание?»

Он после признался мне, что ему очень забавно казалось, что какой-то подполковник так самонадеянно спрашивает, когда первые лица в государстве ничего не могли для него сделать, но отвечал: «мое желание одно – сблизиться с женою и дочерью». – «Ну, вот, видите ли, я через 4 месяца подвину вас к вашей семье, но с условием: вы должны всякий день непременно являться ко мне, дабы я не лгавши мог сказать, что я всякий день вижу вас. Я не всегда свободен, но вот вам комната, книги и трубка. Исполните вы, исполню и я».

Редкую почту не писал я о Мошинском и писал правду: что он вполне раскаялся, искренно предан государю и России, сознает глубоко безумие поляков и проч. Прогрессивные мои донесения выходили ладны, и я собирался повести атаку – выслать Мошинского на юг. Вдруг курьер: граф пишет, чтобы я употребил все искусство осторожно, но непременно убедить Мошинского подписать прилагаемую бумагу. Читаю. Это не более, не менее – согласие Мошинского на развод с своею женою. Граф оканчивает, что он надеется на мою деликатность и участие к положению Мошинского.

---

\* Жиркевич сообщает о ней следующее: «Здесь в Симбирске есть некто княжна Тамара, фрейлина ее императорского величества, сосланная сюда из Грузии на жительство лет 6 тому назад по поводу открытого в Тифлисе заговора грузинских князей». Стогов пересказывает анекдот, имевший достаточно широкое распространение. Приводя этот случай в своих «Записках», известный поэт и государственный деятель князь П.А. Вяземский относит его не к А.Х. Бенкендорфу, а к его отцу – Христофору Ивановичу Бенкендорфу. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003



Я даже не вдруг и сообразил, что мне делать. Мошинский только и мечтал о счастье увидаться со своею семьею, а я должен – осторожно, деликатно, с участием, поднести для его подписи развод с любимою им женою! Прежде всего, я мысленно проклял всех полков (теперь пригляделся и не проклиная). Не стану рассказывать, как я хитрил, подготавливая бедного Мошинского, но конец концов тот: несчастный, чтобы подписать, падал два раза в обморок, подписал и заболел. Желая сколько-нибудь вознаградить Мошинского, я каждую почту просил о переводе Мошинского на юг, добыл и послал свидетельство доктора, что необходим для него теплее климат. Ровно через три месяца со дня прибытия ко мне Мошинского он переведен в Чернигов, куда и выехала к нему дочь. [Он не переставал удивляться моему могуществу, но после не то еще увидел.]

С этого времени я забыл о Мошинском. Я – в Киеве. В 1839 году ко мне на квартиру явился какой-то поляк и объясняет, что меня очень любит Петр Мошинский.

– Где теперь Петр Мошинский?

– Он с дочерью в Чернигове.

– Что же вам от меня нужно?

– Я еду к Мошинскому, желаю быть управляющим в одной из его деревень, прошу от вас рекомендательного письма.

– Письма вам не дам, потому что вас не знаю; поезжайте, скажите Петру, что я его люблю и что мы скоро увидимся, он даст вам место и без письма.

Перевести Мошинского в Киев мне было не трудно: тогда более сотни поляков разослали по заговору Канарского\*. Мне не трудно было убедить [юго-западного генерал-губернатора] Бибикова для примирения с дворянами представить о пользе перевода Мошинского в Киев. Дозволено. Мошинский бросился ко мне на шею и со слезами радости называл меня своим благодетельным провидением. Дочь его – предоброе дитя. Явился граф Ш[енбо]к; мне крайне не нравился, но какие-то старинные фамильные связи – дочь Мошинского вышла за Ш[енбо]ка, который [вскоре] сделал ее несчастною, промотал ее одиннадцать тысяч душ крестьян и бросил ее, бедную!

Перед свадьбой я же хлопотал и писал представление о помиловании Мошинского. По симбирской привычке Мошинский аккуратно, всякое утро приходил пить кофе. Когда пришло помилование, он пришел ко мне утром и объявил, что уезжает, обнял меня и просил принять на память дружбы наследственный от бабушки фермуар [стоимостью] в несколько десятков тысяч рублей. Бриллианты блестящие меня не пленяли, но в середине был невиданный, огромный восточный густой изумруд. Любовь моя к этому камню, должно быть, родилась со мною; я полюбовался изумрудом, поцеловал Петра Мошинского и возвратил ему фермуар. Просьбы его, даже слезы, доказательства, что это не деньги, – ничего не помогло. Более я не видался с Мошинским. Получил от него письмо, он начинает: «родился графом, крестился графом, однако я графом никогда не был». Вот до чего обрусел человек: поляк и не хочет быть графом!

\*\*\*

Присланы ко мне под надзор с десятков поляков по мятежу 1830 года: два доктора, один очень хорошо учился, он и теперь живет недалеко от меня, фамилия его Станкевич; присылает ко мне поклоны, но сам не едет, может быть, и я не поехал бы на его месте. Поляки были очень смиренные, был и ксендз. Было бы что и рассказать о них, но когда-нибудь после.

[Да вот забыл рассказать о дуэли. Сидим мы вечером у Бестужевых. Губернатор Загряжский говорит: «Я расскажу вам одну мою глупость». Я сидел довольно далеко и шутя

---

\* В первой книжке историко-литературного сборника «Русский Архив» за 1870 г. были помещены сведения о польском заговорщике Симоне Канарском и последствиях его появления в литовских и юго-западных губерниях, расстрелян в феврале 1839 г.

сказал: «Только одну?» Поутру просит меня Загряжский к себе. Прихожу, Загряжский принимает эффектную позу и говорит: «Вы вчера меня оскорбили». – «Чем?» – «Сказали, что я могу не одну глупость рассказать». – «Разве это неправда, разве мало вы рассказываете мне своих глупостей?» – «Я не позволю оскорблять себя». – «Очень жалею, если вы приняли шутку за оскорбление». – «Я прошу удовлетворения». – «Что это значит?» – «Я вызываю вас на дуэль!» – «Вот видите ли, я моряк, а как существует флот, дуэли ни одной не было, мы презирали этот способ удовлетворения, но по вашему гвардейскому кодексу вызываемый избирает оружие, я выберу шпагу, потому что я первый боец». Губернатор и жандарм на дуэли – это потеха для публики и огорчение государю; то лучше выйти в отставку и драться. Тут же был и граф Толстой.

Кто удостоился прочесть о характере Загряжского, тот, конечно, видит, что это была старинная гвардейская замашка Загряжского, серьезного и быть не могло, но я спросил, чего ему хочется? Загряжский желал, чтобы я извинился. – «Жалею, что я сделал вам ненамеренную неприятность. Может быть, еще чего-нибудь хотите?» – «Доволен». Тем и кончилась затея Загряжского. После несколько раз я шутил над ним, припоминая глупую его шутку.]

\*\*\*

Приехал новый губернатор, Иван Петрович *Хомутов*. Он приехал шумно, весело; ко всем визиты, к нему все – противоположность Жиркевичу. Хомутов хорошей наружности, лет под 50, высок, плешив, с большим носом – весьма представительная личность, любезен, веселонравен, любит общество. Жена его – маленькая горбунья, но зато урожденная Озерова – это нужно заметить. Детей у них не было.

Хомутов был полковником в известном елисаветинском деле – Паскевич доносил о позиции, но, говоря о левом фланге, писал, что «он слаб, но там у меня храбрый полковник Хомутов и я спокоен»\*. Хомутов хранит рескрипт: «Храброму полковнику Хомутову с товарищами» и проч. Хомутов известен был в армии тем, что ни разу не поклонился ядру. И это нужно заметить!

С губернатором Хомутовым, кажется, в две минуты я стал другом – прелюбезный человек. Перед приездом Хомутова в Симбирске образовалась шайка воров, сначала мелких, а потом смелых до дерзости. Я шел с Хомутовым в первые дни его губернаторства вечером и рассказывал ему о деятельности воров; он сказал громко и самонадеянно: «я всех их уничтожу». Я предупредил, что неравно который-нибудь лежит за забором и делают что-нибудь в насмешку ему. Поутру получаю от него записку: «пожалуйста, не рассказывайте, подлецы украли из прихожей мою шубу; если можно, помогите найти». Шуба, еще до света, была разрезана на несколько частей и вывезена в разные заставы.

Воры дошли до крайней дерзости: недалеко от моей квартиры забрались купцу в дом и, когда тот хотел вылезть в окно, его в окне придержали за руки внутри, а с улицы за ноги и хорошо высекли розгами. Губернатор сознал бессилие своих средств. Я советовал ему написать ко мне письмо с изложением, что средств городской полиции недостаточно для уничтожения дерзкой шайки воров в городе, а потому и просит моего содействия. Я просил его отдать полицию в мое распоряжение. Лучшая тайная моя полиция в городе были кантонисты, с которыми я сносился через моих писарей.

Симбирск, между Волгой и Свяягой, разделяется преглубоким оврагом, который служил удобным помещением навоза со всего города. В одном конце, на дне оврага жили в

---

\* Елисаветинское дело – сражение в ходе русско-иранской войны 1826-1828 гг., состоявшееся 13-14 сентября 1826 г. и завершившееся разгромом иранской армии. За это сражение Паскевич был награжден золотой саблей с бриллиантами и надписью «За поражение персиян под Елисаветполем». Елисаветполь – до присоединения к России – Ганжа, столица Ганжинского ханства. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

лачужках отставные и бедные солдатки; тут, в тайниках, был склад вещей мелкого воровства. Моя тайная полиция дала мне знать, что в эту ночь шайка будет праздновать у одной вдовы-солдатки, в овраге. Около 11-ти часов темной ночи составил я стратегический план: полиция употреблена для фальшивой атаки, а жандармы – молча и скрытно в засаде, поперек оврага. Сам я – в половине высоты крутого бока оврага, в углублении, где брали глину, на тропинке.

Полиция подняла крик, воры бросились бежать, но попали в крепкие руки жандармов; один вор прорвался и бежал по тропинке мимо, не заметив меня; бок оврага крут, вор бежит и чем-то упирается правой рукой. Я пропустил его мимо себя, быстро догнал и, неожиданно для него, так ловко и сильно ударил по шее, что он, кувыркаясь, погрузился в жидкий навоз; я крикнул жандармов, и те взяли его. Оказалось, что это был бойкий атаман, опирался он пистолетом. Шайка вся была в плену. Дуло пистолета было полно земли; когда вымыли, на дуле оказалась золотая надпись: «Бенкендорф». Послал я пистолет шефу. Дубельт писал ко мне, что этот пистолет выпал из седла, когда граф шел в атаку под Лейпцигом, товарищ пистолета сохранился, и шеф желает знать, каким путем пистолет очутился у вора, в Симбирске. Но я мог узнать только, что вор купил пистолет на толкучке, в Тамбове. Для пистолета-то я и рассказал этот случай.

\*\*\*

В начале Великого поста ко мне курьер – предписание: «немедля отправиться в Саратов, *совершенно секретно*, и находиться там в распоряжении генерал-адъютанта князя Лобанова-Ростовского».

От князя письмецо: «Дружище, в Саратове не сладят с раскольничьим монастырем; государь посылает меня, а я выпросил тебя у государя в помощь, не сердись. Сделай там *подготовочку*, на которые ты такой мастер, и пришли жандарма, у меня будет уложен дормез – явлюсь. До свидания».

*Совершенно секретно* – от кого? значит, от целого света. На курьерских помчался я по пензенской дороге, проехав верст 100, свернул на проселок и выбрался на саратовскую почтовую дорогу. Дорога была адская, несколько раз у извозчиков лилась кровь из горла, бросал их на дороге и доезжал с жандармом. Верстах в сорока, не доезжая до Саратова, была деревня брата моей жены\*. Въезжать в Саратов на курьерских секретно – нельзя, я взял в деревне брата рогожную кибитку и в ясный полдень, по улицам почти уже без снега, въезжал сам в форме, а жандарму, тоже в форме, приказал идти пешком, никто не обратил внимания.

Тогда Саратов был не то, что теперь, тогда Саратов был – огромная деревня. Остановился я в только что построенном маленьком (в три окна) трактире «Москва». Живу три дня, никто меня не спросит, как будто я не в городе. В эти три дня я узнал все, что делается в Саратове и что делалось с монастырем. Трактир – благодарное поле для узна[ва]ния общих секретов. Дело вот в чем: за Волгой, на реке Иргизе, был старинный раскольничий монастырь; этот монастырь благословлял Пугачева на русское царство и был повсеместно в большом уважении. Последовало высочайшее повеление: на месте монастыря образовать уездный город Николаевск\*\*. Назначен штат чиновников и духовенства. Раскольники отказались повиноваться. Ездили советники, жандармский штаб-офицер – всем отказ.

---

\* Сей сюжет требует дополнительного исследования: какому брату жены Анны Егоровны – Николаю, Андрею или Ивану или же двоюродному брату Николаю Александровичу Мотовилову принадлежала сия деревня в 40 верстах от Саратова (т.е. в Саратовской, а не Симбирской губернии). – Примеч. М.И. Классона

\*\* Поселение на р. Иргиз, основанное старообрядцами в 1764 г. и носившее название Мечетная слобода, было одним из известнейших в России старообрядческих центров. Здесь в 1772 г. дважды побывал Е.И. Пугачев. В 1835 г. слобода была переименована в г. Николаевск и до 1850 г. входила в состав Саратовской, а затем – Самарской губернии. В 1918 г. город был переименован в г. Пугачев. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

Поехал сам губернатор, но, видно, не из храбрых: в какой-то домик вызвал архимандрита монастыря и говорил с ним, оградившись от него двумя жандармами с обнаженными саблями, скрещенными перед особой губернатора. Презэфектная картина, когда я скажу, что злодей-архимандрит был маленький старичишка, для уничтожения которого достаточно одного кулака. Согласия не последовало. В Саратове квартировала артиллерия; помню, командир – безногий генерал *Арнольди*.

Губернатор потребовал, чтобы артиллерия привела в повиновение ослушников. Пришла артиллерия к монастырю. Раскольники, сцепившись руками и ногами, покрыли всю площадь около церквей телами своими, как черепом. Говорили об одном нашем фанатике, который умолял об ядрушках, но его не послушали. Артиллерия тихо и скромно проехала близ тел, говорят: ни крика, ни ропота не слышали от раскольников! На этом деле и остановилось дальнейшее распоряжение губернского начальства. Узнал я много злоупотреблений в городе, все интриги, а сплетен, сплетен!

На четвертый день явился к губернатору, назвал свою фамилию; губернатор спросил:

– Не Иваныч ли?

– Да, я сын Ивана Дмитриевича.

– Так поди ко мне, ты мой племянник, – и обнял по-родному. – Давно ли ты приехал?

– Четвертый день.

– Как же это я не знал?

– Не мудрено, я живу тихо.

– Зачем приехал?

– По своему частному делу.

– Какое у тебя дело?

– Покупаю имение.

– Bravo! Я тебе помогу; далеко имение?

Я назвал имение брата [жены].

– Очень рад. Где остановился?

– В трактире «Москва».

– Переезжай ко мне, а теперь будем обедать вместе.

Губернатор – *Степанов*; он написал несколько удачных романов и повестей: «Постоялый двор», «Чертовы салазки» и проч. Толстяк, вдовец, лет под 60, человек умный, приятный, но, право, – не губернатор.

В разговоре с дяденькой я узнал все дело с монастырем, но, конечно, без крестообразных сабель. Я представился так заинтересованный монастырем, что пожелал съездить; хотя и отговаривал дядя, находя опасным, я для отвращения опасности упросил дать мне открытое предписание, чтобы уездные полиции оказывали мне содействие по моему требованию.

После обеда я уже отправился в монастырь. В ближайшей к монастырю деревне был штат чинов будущего города. Разговаривая со всеми и особенно с умным стариком-крестьянином, при разных рассказах, обратила мое внимание одна повторяющаяся фраза: «Раскольники причащались и присягали *не оставлять монастырь добровольно*». Значит, могут оставить монастырь *не добровольно* – не нарушив присяги. Более навел меня на эту мысль квартальный *Голяткин*, из писарей-кантонистов.

Так как князь Лобанов пишет ко мне о *подготовочке* только, а не о личном моем действии, то я и счел правильным сначала явиться переодетым и взглядеться в дело, а далее действовать смотря по обстоятельствам.

Монастырь раскольников, в собственном смысле, – не монастырь, а сброд беспорядочных лачужек, в которых жили мужчины и женщины вместе. Все население состояло из беглых: солдат, крестьян, преступников из Сибири, из тюрем. Говорили, было более пяти

тысяч, управлял всем старичишко-архимандрит, но власть его была почти номинальная, управляли всем фанатики-начетчики. Приношения в монастырь были громадные, из разных мест, но главные и постоянные – из Оренбургской губернии и с Дона. Посреди большая площадь, на которой стояли каменные церкви, весьма хорошей архитектуры.

Хотя я приехал как любитель, но открытое предписание, в случае, давало мне власть. Я еще в трактире знал, что вся полиция на откупе у монастыря, надеяться на помощь таких людей и действовать с ними открыто – опасно. Вообще, уровень чиновников в Саратовской губернии был весьма невысок.

Опираясь на фразу присяги: не оставлять [монастырь] *добровольно*, я советовал чиновникам собрать сколь можно более отставных и понятых, приготовить носилки. В монастыре знали о каждом движении против них. Утром сняли свои караулы у околицы и на площади образовали *черепаху*. По моему совету попробовали: с краю «черепахи» одному раскольнику разняли руки и ноги и, положив на носилки, вынесли за околицу. Только увидел раскольник, что он вне околицы монастыря, вскочил с носилок, перекрестился на монастырь и только пятки его мелькнули, так он удрал в степь.

Понятно, началась механическая работа. Таким способом прочистили широкую дорогу к церкви, прошло с пением наше духовенство, а как окропили монастырь святою водою, начетчики сказали, что церковь опоганена, и монастырь стал очищаться день и ночь. Говорили после, что раскольники образовали свой монастырь в пустынях к Каспийскому морю.

И на этот раз серьезное дело разрешилось фарсом. Возвратясь в Саратов, я уверил дяденьку, что я только подъезжал к монастырю и не знаю, что там делалось. Немедля послал жандарма курьером к князю Лобанову-Ростовскому и в конце письма просил извинения, что дело кончилось без него.

Между прочим, чтобы продолжать секрет, я получил от брата [жены] доверенность: имение его имею право заложить, продать и проч. Начав залог, гражданская палата потребовала с меня 30 коп. с рубля; поторговавшись, согласились на 25 коп. и только для меня, и так были добры, что показали мне дележ этих денег, кому и сколько с рубля. Часто мне приходилось писать к шефу, но слыша, что саратовская почта очень любопытна, я сначала посылал чрез комиссионерство, а потом чрез госпиталь; в Питере, распечатав и увидав внутри конверт к шефу, доставляли. Уехать из Саратова без предписания я не имел права. Дядю-губернатора я полюбил и, желая ему добра, советовал выйти в отставку, – не согласился. Квартальному Голяткину приказал выйти в отставку и уехать.

Возвратился жандарм – от князя тысяча благодарностей с поцелуями, много шутит и пишет очень весело. Мчатся по злой распутице – мало удовольствия. Жандарму князь дал 25 р. и приказал показать ему, что дормез совсем уложен и чтобы он об этом сказал мне. Граф Бенкендорф благодарил и разрешил мне возвратиться в Симбирск.

После меня довольно было переборки в Саратове: дядю моего исключили из службы с тем, чтобы никуда не определять; николаевскую полицию предали суду; жандармского штаб-офицера исключили из корпуса жандармов и проч.

Саратовские чиновники, в особенности полиция того времени, мне очень не нравились, казались апатическими, на всех какой-то тон холодной формы, ни малейшей энергии к делу; можно судить по тому, что я, жандарм, приехал, остановился в трактире, прожил трое суток и полиция не знала, хотя и существовал полицмейстер. Таков порядок показался мне во всей губернии, даже жандармская команда – сонная!

Из саратовских я видел впоследствии одного только бывшего квартального Голяткина. В 1838 году нашел я его младшим полицмейстером в Киеве. Весь Киев возненавидел старшего полицмейстера, сделали исправляющим должность полицмейстера Голяткина. Похвастаю – Голяткин еще жив. Когда вступил он в должность полицмейстера, пришел ко

мне и просил научить его быть любимым полицмейстером. Голяткин пробыл 10 лет полицмейстером, был любим жителями, что редко в этой должности, вышел в отставку по своему желанию, к общему сожалению; о совете моем бывшему кантонисту позвольте умолчать, секреты на улице не валяются.

Возвращаясь из Саратова в Симбирск, я поехал по берегу Волги; это было в конце Вербной недели. Проезжая Сызранский уезд, узнаю – бывшие казенные, теперь удельные крестьяне бунтуют; по рассказам, уже тысяч до восьми не повинуются. Такие бунты разливаются как пожар. Я к губернатору *Хомутову*, оказалось, что он ничего не знает. Я предложил и торопил *Хомутова*, чтобы он обделал дело на Страстной, пока народ весь трезв. *Хомутов* упросил меня ехать с собою. С ним отправился правитель его канцелярии, *Раев*.

Приехали в главную бунтующую деревню, названия не помню. Народу очень много. Ловкий мой жандарм чрез какого-то родню, отставного солдата, узнал, что главный бунтовщик – *Федька*, и указал мне его. Мужичонко небольшой, плотный, лет 35-ти, в синем кафтане, красный кушак, сапоги с напуском и новая шапка из мерлушек. Стоит козырем, около него кучка народа.

Рано утром, через сотских, я приказал собраться крестьянам, что им будет читать закон губернатор. Послушались, собрались и стали в роде фронта. Я сказал губернатору, что, проходя по ряду, против главного коновода *Федьки* я кашляну, но советую не трогать: при массе и бранить не должно, а всякое действие опасно. Проходя – *Федька* стоял в середине ряда – я только кашлянул, как губернатор остановился, вызвал *Федьку* и молодцом крикнул:

– Кнутьев! Вот я покажу тебе, как бунтовать! Раздеть его!

Только тронулись за *Федьку*, как вся масса гаркнула и бросилась выручать *Федьку*. Мой храбрый губернатор – бежать, *Раев* за ним. Толпа с гиком гналась за ними, и губернатора с правителем [канцелярии] выгнали за околицу. Я остался на месте: крик, шум, я только указываю, чтобы не дотрагивались до меня, никто не дотронулся; напирают задние, около меня падают, смотрят добро и смеются. Разошлась толпа, я нашел губернатора в постеле, болен, кровавая дизентерия.

Вижу, дело очень плохо; послал за солдатами с боевыми патронами и приказал явиться 12-ти жандармам без коней. Целую ночь придумывал, какую бы штуку выкинуть, а без штуки нельзя, потому что силы нет. У татар вывезли меня богатые торговцы, а тут нет богатых и нет трех-четырёх жен у них. Проклятые русопяты, преупорные и озлобленные, а что еще хуже, раскуражились победою над губернатором. На всякий случай приказал исправнику собрать поболее понятых и отставных.

Против церкви стояли отдельно пять домов, по обыкновению, рядом с крытыми дворами, внутри разгороженными плетнем; плетни выломать, и образовался один крытый двор из пяти. Понятых спрятать ночью во дворе. Заготовить веревки и розог.

Рано утром приехали команды. Спиною к домам, в одну шеренгу, выстроил 40 солдат, между церковью и солдатами собрал бунтовщиков, сказал им убедительную речь и спросил: повинуются ли? В один голос: «нет, не повинuemся!»

– Вы знаете, ребята, по закону я должен стрелять.

– Стреляй, батюшка, пуля виноватого найдет, кому что Бог назначил.

– Слушайте, братцы, – я снял шляпу и с чувством перекрестился на церковь, – я такой же православный, как и вы; стрелять никогда не поздно, мы все под Богом; может, найдется невинный, то, убивши его, дам строгий ответ Богу, пожалейте и меня, а чтоб не было ошибки, я каждого спрошу, и кто не покорится, тот сам будет виноват.

Обратился к первому:

– Повинуешься ты закону?

- Нет, не повинуюсь.
- Закон дал государь, так ты не повинешься и государю?
- Нет, не повинуюсь.
- Государь – помазанник Божий, так ты противишься Богу?
- Супротивляюсь.

Крестьянина передал жандарму с словами: «Ну, так ты не пеняй на меня!» Жандарм передал другому; жандармы были расставлены так, что последний передавал во двор, там зажимали мужику рот, набивали паклей, кушаком вязали руки, а ноги веревкою и клали на землю.

Я имел терпение каждому мужику сделать одни и те же вопросы, и от каждого получил одинаковые ответы, и каждого передал жандармам, и каждого во дворе вязали и клали. Процедура эта продолжалась почти до вечера. Последние десятка полтора мордвы и русских покорились, их отпустили домой. Ночь не спал, не пил, не ел, сильно устал, но в таких делах успех зависит от быстроты.

Пришел во двор, все дворы устланы связанными бунтовщиками. – «Розог! Давайте первого». Выводят старика лет 70-ти. – «Повинуешься?» – «Нет». – «Секите его». Старик поднял голову и просит: «Батюшка, вели поскорее забить». Неприятно, да делать нечего, первому прощать нельзя, можно погубить все дело. Наконец, старик умер, я приказал мертвому надеть кандалы. Один за другим 13 человек засечены до смерти и на всех кандалы. 14-й вышел и говорит: «я покоряюсь». – «Ах ты, негодяй, почему ты прежде не покорился? Покорились бы и те, которые мертвы, розог! Дать ему 300 розог».

Это так подействовало, что все лежащие заговорили: «Мы все покоряемся, прости нас». – «Не могу, ребята, простить, вы виноваты против Бога и государя». – «Да ты накажи, да помилуй».

Надобно знать русского человека: он тогда искренно покорен и спокоен, когда за вину наказан, а без наказания обещание его ничего не стоит, он тревожится, ожидает, что еще с ним будет, а в голове у него – семь бед, один ответ, того и гляди, наглупит. Наказанный – боится быть виноватым вновь и успокаивается.

Приказал солдатам разделиться на несколько групп и дать всем бунтовщикам по 100 розог, под надзором исправника. Потом собрал всех, составил несколько каре и объявил: «я сделал, что мне следовало сделать по закону, простить их может только губернатор; он может всех в тюрьму, там сгниете под судом». – «Батюшка, будь отец родной, заступись; как Бог, так и ты, перемени гнев на милость». Я поставил их на колени, научил просить помилования и дал слово, что буду ходатаем за них, но губернатор очень сердит. Кричат: «Заступись, батюшка, выручи!»

Прихожу к губернатору, лежит болен, не знает, что я делал. Мне доложили, что засеченные ожили, их обливали водой, и я повеселел. Говорю губернатору:

– Пойдемте прощать.

Не верит.

– Только прошу, долее сердитесь, не прощайте, а простите только под моим ручательством за них.

Подходя к фронту, губернатору, хотя и штатскому: «на караул!», барабанщик – две дробы, «здравия желаем вашему превосходительству!» – все для эффекта. Подходим к группам, я снял шляпу и почтительно, низко кланяюсь, представляю раскаявшихся. Виновные в один голос: «помилуй, ваше превосходительство!» – «Не могу, вы так виноваты, что вас следует судить». А мужики, кланяясь в землю, твердят: «помилуй, ваше превосходительство, ни впредь, ни после того не будет». А я-то униженно, без шапки кланяюсь и прошу помиловать. Губернатор гневно сказал, что он бунтовщикам верить не может и согласится только тогда, если кто за них поручится.

Я обернулся к мужикам: ручаться ли за них? Как заорут в один голос: «ручайся, отец, не бойся, не выдадим, ручайся, батюшка». – «Ребята, смотри, чтобы мне не быть в ответе за вас». – «Отец ты наш, вот-те пресвятая [богородица]! положим жизнь за тебя, ручайся!» Я поручился. Губернатор умилился, простил.

Я распустил всех по домам, приказал сотским накормить солдат и жандармов. Откуда что взялось: снесли столы, зажгли лучины, явились десятками горшков щей, каши, кисели с сытой, все постное; вероятно, было готово для мужей, но им не удалось поесть, съели солдаты. В тюрьму пошел только один Федька.

Только я вошел к губернатору, он, как чисто русский человек, поклонился мне плешивой головой в землю; признаться, я отскочил и, обняв его, поцеловал. Вот и справедливо, что человек не во всех случаях равно храбр. Мой губернатор был известным храбрецом во всей армии, а перед безоружными мужиками струсил и бежал. Да и ваш покорный слуга, кажется, струсил и не мог отвечать [перед государем], сколько лет служит в Симбирске.

Невзирая на ночь, губернатор торопился ехать домой, показывает мне письмо от своей жены, она пишет: «Ваничка, брось все, я лежу в ванне, со мной конвульсии; я умру, если ты скоро не приедешь» и проч. Хомутов спрашивает: «кажется, и вы получили письмо?» Я тогда только вспомнил о письме – не до того было, – вынул свернутую на уголок серую бумажку и прочитал. Хомутов спросил: «можно прочитать?» – «Извольте». Моя 19-летняя худенькая жена писала: «Шишмарев (адъютант) сказал, что вы требуете солдат с боевыми патронами; может, есть опасность? Не думайте обо мне, я буду гордиться всю жизнь, что муж мой исполнил свой долг». Иван Петрович так и ахнул: такая пичужка и такого геройского характера. – «Подарите мне это письмо». – «Зачем?» – «Я вставлю в рамку и буду хранить». После этого мой Хомутов чуть не молился на мою жену.

Для читателя, разрешилась история новым фарсом. Но, однако, предположить, что это не была бы Страстная и такой упорный народ не был бы трезв, может быть, из фарса вышла бы трагедия и сколько было бы несчастных. Эту историю я dokonчу.

Наступило время жатвы хлеба; староста мой уведомляет меня, что пришли какие-то люди и просят позволения сжать хлеб. Я поскакал в деревню, оказалось, что это сызранские бунтовщики, пришли с женами и из благодарности за мою добродетель хотят сжать хлеб мой. Меня не могло не тронуть такое доброе и честное русское сердце. – «Да ведь вас побили, друзья мои?» – «Эх, батюшка, что такое что поучили, а как бы не ты, так и теперь бы маялись в тюрьме и разором разорились бы; мы за тебя Богу молимся». Жены при этой оказии всплакнули от воображения, что разорились бы, если б мужья попали в тюрьму. От этой теплой сердцу взятки я отказаться не мог; гости не позволили даже жать барщинским, в два дня все сжали. Это было в селе Чамбуле, Собакино тож, Сенгилеевского уезда; теперь принадлежит Федору Ивановичу Ермолову\*. Для гостей я приказал убить несколько баранов, быка, напечь пирогов, по чарке водки и донес откровенно шефу.

Вот и судите о русском человеке: он сквозь наказание видит доброту. Наказание ему ничем, оно кратковременно, только не отдавай его пиявкам полицейским и судейским. Наказание он считает родительскою наукой, а хозяйственное разорение – нравственная смерть. Есть два способа изучить народ: один в кабинете, а другой на практике. Который лучше? Думаю, в кабинете умнее и основательнее.

По усмирении написал князю Лобанову-Ростовскому, что чуть-чуть не удалось было повидаться мне с ним, и описал ему коротенько. Он очень мило отвечал: «подготовочка опять удалась! Хват, молодец, доложу государю» и проч. В конце 1840-х князь ехал в Ки-

---

\* Согласно «Списку населенных мест Симбирской губернии» за 1884 год Собакино или Чамбул или с. Ивановское находилось в Собакинской волости, в 65 верстах от Сенгилея (а сам уездный город, в свою очередь, в 65 верстах по почтовому тракту от Симбирска) и проживало в нем под 2 тысячи душ мужского и женского пола. – Примеч. М.И. Классона



ев, писал, что едет ко мне в гости, давно не видались. Кажется, в Козельце князь умер от холеры.

От каких же беспорядков было послушание против удельных? говорят, дым без огня не бывает. Разговаривал с умными и зажиточными крестьянами, как им лучше – теперь или прежде? Отвечали:

– Теперь не в пример легче. Бывало [ранее], в год раз наедет исправник, выберешь жирного барана, взвалишь на плечи да и прешь, ажно лоб не раз взопреет; а теперь наедут эти господа удельные, то возьмешь хворостину да сгонишь что́ есть на дворе, и легко и скоро. Теперь нам несравненно легче. Мы скоро и одежонки лишимся, какая была.

Обращусь еще к прекращению послушания в Сызранском уезде. Меры для усмирения, по нынешним порядкам, покажутся жестокими, варварскими. Совершенно согласен и не противоречу. Попробую прекратить это послушание новейшим филантропическим способом.

Взбунтовались несколько деревень; уездная полиция бессильна. Приехал губернатор – выгнали. Местной воинской команды почти нет. Следовательно по особо важным делам едва ли въехал бы в околицу. Через три дня Пасха – разрешение на водку. Успех против губернатора и бессилие власти возбудили бы надежду в соседних уездах. Неудовольствие общее, потому что причины одни. Слушание превращается в бунт и так быстро, как пожар, вначале незначительный, охватывает всю массу, могущую гореть. Надобно принять в соображение, что удельных в губернии до 400 тысяч. Надобны войска, а ближе 400-500 верст нет солдата. Прибывшее войско, без сомнения, усмирит, но усмирение пьяных людей может обойтись не без потерь в людях. Но пока достигнут успеха эти меры, волнующийся народ, наполняя кабаки, не обсеет поля.

Положим, что усмирение произойдет без потери в людях, что́ очень трудно, судя по ожесточению. Следствие, что́ покажет следствие? Все виноваты и виноваты равно, это видно из одинаковых ответов каждого на мои вопросы. Всех нельзя посадить в тюрьму, всех судить нельзя – амнистия. Зная русского простого человека в одиночку и в массе, амнистия – прощение без наказания – не примиряет его ни с собою, ни с причиной, производшей неудовольствие. Тюремны полны, ссылка – семьи разорены окончательно. Разорившийся крестьянин не справится в одно поколение. Неуважение и злоба с горьким недоверием выросли к своему начальству, которое хотя и прекратит причины к неудовольствию, но недоверия из сердца не вырвешь.

Прибытие войска, усмирение по всей губернии – пройдут месяцы. Следствие, суды протянут год. Год беспокойства, тревоги, пьянства народа едва ли исправит нравы. Еще повторю: раз разоренный крестьянин потерян почти навсегда. Я из всех зол выбирал меньшее. Где родилось неповиновение, там усмирено в два дня. Усмирено главное гнездо – покорились все. Что не осталось горечи, ожесточения, видно из добровольной благодарности к усмирявшему, благодарности, выразившейся в простой, но искренней русской форме. Которая система лучше, варварская или современная филантропическая – не мне решать.

\*\*\*

Возвратившись в Симбирск, узнаю, пока я был в Саратове, произошел разрыв между обществом и домом губернатора. Неприятное известие, но какая причина? Узнавши болезнь, может быть, найдется лекарство.

Расправив крылья, я узнал от дам – родных моих друзей (бывают и двоюродные друзья), что всему причиною губернаторша. Она неосторожно сказала, что для нее мелко симбирское общество, что она по рождению своему *Озерова*, привыкла быть в высшем аристократическом обществе. Этого было довольно. В симбирском обществе, действительно, было много фамилий, происшедших и носящих исторические имена; для симбир-

ского общества сочинитель трагедий неважная личность; симбирские дворяне считают своими: Карамзина, поэта Языкова, Дмитриева и многих других – что для них Озеров\*?

Причина, оскорбившая общество, оказалась важна и глубока. Говорили: если мы низки для нее, то пусть и сидит одна на высоте, мы без нее жили и будем жить, и проч., и проч. В бунтах народа немудрено найтись, а между дамами – подготовки не придумаешь. Вообще, впутаться в историю между дам – все равно, что попасть рукой между дверей, неизбежно выйдешь побитым. Я осторожно переговорил с Хомутовым, он, смеясь, сказал: «Бабы сплетни! вот я дам им хороший бал и помирится!» Я подумал: посмотрим!

Перед балом Хомутов сделал визиты, разосланы билеты. Хомутов просил меня приехать пораньше. Моя жена не выезжала по нездоровью. Дом прекрасно освещен, губернатор и его супруга разряжены, полный хор музыкантов, в отдельной комнате накрыт ужин на 70 или 80 приборов, прислуги много, все парадно, обдуманно, подъезд иллюминирован, полиция, жандармы – все важно, по-губернаторски. 10 часов, едут кареты, засуетились встречать.

Кареты проехали около дома – мимо. Мы ходим, разговариваем, а кареты то и дело едут – мимо. Ожидание гостей стало неприятным, я попросил, чтобы хотя музыканты играли. Музыканты играют, а кареты грохочут мимо. Минула полночь, хотя бы кто-нибудь показался. Губернатор не в духе, губернаторша молчит; кончилось тем, что мы трое сели за стол и ужинали одни – парадно! Тем и кончился бал, примирение не состоялось.

На другой день узнаю, что было несколько вечеров в городе; кареты мимо дома губернатора ездили пустые – злая насмешка. Разрыв общества с губернатором непримиримый. Много хохотали, когда я рисовал ожидание гостей, игру музыкантов и, наконец, парадный ужин. Не буду передавать, что говорили в обществе. [Я не сплетник.] Написал я к шефу об отношениях общества к губернатору и о причине, но, искренно любя Хомутова, просил, как достойного перевести туда, где менее дворянства. Через год он был переведен в Вятку\*\*.

В других губерниях дворяне могут быть так же благородно горды, но так дружна и единоподушна вся масса общества, как общество симбирское, едва ли где есть.

Приехал в Симбирск вице-президент уделов, сенатор Лев Алексеевич *Перовский*. Я к нему. Половина залы – чиновников. Только я вошел, он раздвинул толпу и придворно-дипломатической, почти неслышной походкой повел меня одного в гостиную, усадил меня на софу, а сам сел в кресло. Говорил очень много об услугах моих уделу и так хвалил меня, что я только кланялся и думал скорей уйти; когда я отклонялся, Перовский проводил меня до прихожей. Хотя бы я и знаменитость был, но такой прием и столько льстивых слов поселили во мне недоверие. Я учредил за ним надзор.

Первое впечатление делает Перовский неприятное – весьма! При среднем росте, сухощавости, движения вялы, походка деланная, продолговатое лицо кажется изношенным, цвет кожи без жизни, с желтоватым отливом, выражение лица кажется застывшим. Глаза, обращенные куда-то, но никогда на человека, с кем говорит, – производят полное недоверие. Вообще, после разговора с Перовским, разговора, переполненного льстивых

---

\* Владислав Александрович Озеров (1769-1816) написал пять трагедий, в числе которых наибольший успех имели «Эдип в Афинах» и «Дмитрий Донской».

\*\* И.П. Хомутов был перемещен на должность вятского губернатора в 1838 г. Наличие серьезного конфликта между ним и симбирским дворянством подтверждается эпиграммой, посвященной этому событию, написанной М.А. Дмитриевым – племянником упоминаемого Стоговым местного уроженца, поэта и министра И.И. Дмитриева: *Иван Петрович наш назначен в перевод. /Царю хвала и Богу слава! /На Вятке будет он теперь давить народ, /На Вятке, не у нас, получит Станислава! /Иван Петрович наш назначен в перевод, – /Вот как судьба правдива стала: /И служба за царем его не пропадет, /И наша за Богом молитва не пропала.* – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

похвал мне, я вынес тяжелое впечатление, как о человеке недобром, и избегал случая увидеть его в другой раз.

Мне кажется, мы с Перовским имели обоюдную антипатию. Забегу вперед. Перовский – министр внутренних дел, а я все тот же подполковник в Киеве; ничего общего между нами не было, как у слона с комаром. Я был представлен к награде двух тысяч рублей ежегодно, пока на службе. При представлении государь изволил спросить о мне: «не из жандармов ли?» Бибиков отвечал утвердительно. Государь изволил сказать: «я его знаю, это прераспорядительный штаб-офицер», и удостоил награды. Я Бибикову не рассказывал о прежней своей службе, и он был удивлен, что государь изволил вспомнить о такой инфузории. Возвратясь, Бибиков очень интересовался о причине милостивого внимания ко мне государя и спросил:

– Почему же вы мне не сказали прежде?

– Зачем? Что было, то прошло[; мое дело теперь – угодить вам].

– А за что ненавидит вас Перовский?

– Почему вы так думаете?

– Перовский вечером сидел у меня, и мы курили сигары у стола; я рассказал ему, как я был удивлен, когда государь изволил вспомнить о вас. При этом я почувствовал, что стол задрожал, и Перовский вскрикнул: «как, так при вас этот злодей? и вы его терпите!» Я объяснил ему, что, напротив, я вижу в вас скромного и очень искреннего офицера. – «Ради Бога, не держите его, он много наделает вам неприятностей; послушайте меня, удалите этого вредного и злого человека». Я смеялся, но Перовский в гневе дрожал. Пожалуй-ста, расскажите откровенно, что между вами могло быть?

Я рассказал. Бибиков спросил:

– Вы не боитесь Перовского?

– Я никого не боюсь, я горжусь, что удостоился ссоры с министром; если б он был менее противен мне, я перешел бы к нему служить: он полюбил бы меня.

– От чистого сердца не советую.

Перовский объехал во всех уездах [Симбирской губернии] удельные имения. Просьбы крестьян выслушивал, но не удовлетворял, находя чиновников правыми; часто заговаривал о мне, а в городах выпрашивал у откупщиков и купцов, какие со мною отношения. Но по пословице: «как чесноку не ел, то и не пахнет». Петербуржцу мерещилось, что в провинции все должны брать взятки. Перовский уехал, я не видался с ним.

Курьер [примчался]: шеф приказывает – сколь можно поспешнее явиться к нему. В четверо суток я был в штабе. Дубельт показывает мне большой донос на меня государю, подписан: «министр двора князь Волконский, с донесения к нему Перовского». Прочитав, я видел желчную руку Перовского. Резолюция государя: «вызвать Стогова и потребовать объяснения».

Дело весьма серьезное – стоять перед государем с князем Волконским. Я набросился на Дубельта, почему не предупредили меня, я взял бы с собою факты для опровержения. Дубельт смеется и говорит: «ты и так отгрызешься, мы тебя знаем, камчадала». Им шутки, а меня не могло не тревожить: не равна борьба подполковника с вельможами! Помню, я такое чувствовал волнение, что не ложился спать, выпил 4 графина холодной воды, и к утру написал ответы.

[Донос в литературном отношении – был совершенство! Тут были вставлены будто бы оригинальные слова крестьян с недомолвками. Рассказы с улыбками откупщиков и купцов, уподобления и частые заключения князя Волконского к моему обвинению. В целом донос был моим обвинением, хотя голословным и до пресыщения наводненный бесстыдной ложью, но на то и литературная ловкость, чтобы белое показать черным. Память у меня и теперь еще не пропала, а тогда мне было нетрудно без документов опроверг-

нуть. Я весь донос разделил на много коротких пунктов. Этим способом потерялась красота уподоблений и связь красноречия. Отвечая по пунктам, я решился быть резким и даже дерзким. Несколько раз напоминал князю, что я такой же, как и он, дворянин и что честью своей дорожу, думаю, больше, чем он дорожит своею честью. Несколько раз напоминал ему, как он, неосторожно говоря так голословно и оскорбительно о мне, что тем дает мне право отвечать оскорбительнее слов, сказанных им, но я удержусь, думаю, что грубая ложь – не доказательство. Досталось и Перовскому! Я решился идти на отчаянную – быть или не быть!

Помню заключение моего объяснения. Разбивши на всех пунктах донос, я обращаюсь с вопросом: «Скажите, князь, – был бунт удельных крестьян? Полагаю, вы должны ответить – был! А если был бунт, то были и причины к тому! Какие причины? Вы их знаете, князь – от князя Лобанова-Ростовского!»

Дубельт, прочитав, требовал, чтобы я написал вежливее, что так не пишут. Я отказался и стоял на том, что, кроме службы, я с Волконским на равных правах. На начинающего – Бог!]

Государь изволил жить в Петергофе; долги показались мне часы ожидания. Движимый справедливостью император Николай Павлович написал\* : «теперь мне дело ясно, Стогов прав». Подполковник, эта маленькая инфузория перед недосыгаемою светлостью – получил защиту! [Ежедневно молюсь за упокой души моего незабвенного царя!]

[Когда возвратился из Симбирска князь Лобанов-Ростовский и обвинил удельных, тогда Перовский подавал в отставку, но просьба ему была возвращена. Теперь, прочитав резолюцию государя, Перовский подал опять просьбу в отставку. Государь на просьбе изволил написать: «так мерзостей не поправляют», и просьба возвращена. Мое торжество полное!]

Бывают условия в жизни неизбежные; миновать, может быть, условия связей вельмож, обоюдных уступок – невозможно. Для этих связей, уступок мы, маленькие люди, делаемся необходимою жертвою.

Возвратясь, не успел я отдохнуть, получаю перевод в Саратов. Меня не перевод оскорбил, а оскорбило невнимание, почему не спросили моего согласия, хотя из вежливости. Я подал прошение в отставку. Прощение возвращено, и Дубельт пишет: «ты рогожку дерешь, граф не хочет и слышать о твоей отставке, приказал спросить: чего ты хочешь?» Ничего, в Саратов не поеду, я вам не мальчик дался. Тогда высочайшим приказом назначен я в Киев к генерал-губернатору, управлять военною частию. Я – просьбу в отставку. Получаю просьбу обратно и письмо от шефа, написанное бриллиантами; пишет, что родственник его, Бибииков, просит его выбрать из корпуса жандармов в помощь ему штаб-офицера. Гордясь такою честью для корпуса, шеф, просматривая список, (будто) всякий раз останавливался на моей фамилии; уверен, что это назначение разовьет мои способности и проч. – мастера писать! В заключение просит принять должность на один год и если не понравится, то корпус жандармов, за мою службу, считает долгом предоставить мне избрать место по желанию.

Я очень хорошо понимал, что удельным необходимо нужно было отделаться от меня, житья им не было; Перовскому выговоры не нравились, и я – жертва проделки Перовского чрез князя Волконского. После такого письма я согласился ехать в Киев, но с тем, чтобы утвердили мне две тысячи столовых и дали бы две тысячи на подъем – и то и другое исполнили с первою почтою.

---

\* В рукописи: «Справедливый, нелицеприятный, настоящий русский царь изволил написать:»

Я закончил мою службу в жандармах предсказанием, что в Симбирской губернии, по деревням, если не будет бунта, то выразится неудовольствие поджогами; чтобы приняли заранее меры – озлобление очень велико.

Через Киев проезжал чиновник III-го отделения и передал мне, что когда начались поджоги в Симбирской губернии по деревням и когда бросили в огонь исправника и еще кого-то, тогда в III-м отделении вспомнили обо мне, а архивариус принес мое последнее сказание. Пророчество мое поскорей спрятали.

\*\*\*

Из 40-летней моей службы 15 лет в Киеве была самая неприятная служба. Я пользовался большою властью в трех губерниях. Государь поручал мне дела лично, помимо генерал-губернатора, всегда милостиво разговаривал со мною. Последний раз, в 1850 году, на вопрос мой о здоровье, император Николай Павлович изволил спросить:

– А ты, старый драбант (я был уже седой), все еще служишь?

– Устарел, ваше величество, хочу в отставку.

– Погоди, вместе пойдем.

Отчего неприятна и грустна была служба в Киеве? быть может, расскажу в другой раз\*.

### **Очерки, рассказы и воспоминания Эразма Стогова**

*«Русская старина», январь 1879 г.*

VI. П.Н. Семенов и А.П. Бунина

В «Русской Старине» изд. 1878 г., том XXIII, напечатан «Митюха Валдайский». В примечании говорится, что автор этой пародии – Петр Николаевич Семенов. Семеновы были родными племянниками Анны Петровны и Ивана Петровича Буниных, которых и я звал теткой и дядей, а потому Семеновы звали меня братом. Семеновых было пять братьев: Петр, Николай, Михаил, Василий и Александр Николаевичи; последнего знаю по рассказам; он, помнится, убит под Бородиным.

Об Александре вспоминали Бунины как о талантливом: он сам нарисовал свой портрет – весьма похожий. Петра Николаевича я видал то у А.П. Буниной, то у И.П. Бунина. П.Н. Семенов всегда был щегольски одет в форму обер-офицера; был очень красивый мужчина, роста вершков девяти; черные, очень густые, кудрявые волосы, довольно широкое, с тонкими чертами, энергическое, подвижное лицо с острым носом, замечательно широкая грудь, мускулистый, правильно сложенный – наружность богатыря-красавца, приятный голос, говорил очень скоро, будто торопился. Он – старший брат.

Оперетка «Удача от неудачи, или приключение в жидовской корчме» была написана, должно быть, около 1816 года, а на сцену поставлена 1818 года, если не ошибаюсь, на святках. Эту оперетку я видел в рукописи у А.П. Буниной еще гардемаринком, а в театре, в ложе с теткой, смотрел первое представление уже офицером. Помню, весь театр хохотал, когда жид, одетый по-домашнему в чулках и башмаках, на авансцене, со всеми характерными ужимками хитрого еврея, перепрыгивал с одной стороны стоявшего спокойно господина на другую и пел: «Сплю пану писню-ладзирду, шинцеркравер, мицерби, шини мине канцер ми. Сплю и станцюю ладзирду и проч.» Не объясню, как могла оживить память слова, совершенно для меня непонятные!

Минуло 60 лет, я, вероятно, ни разу не вспомнил оперетку «Жидовская корчма», как тогда называли ее; должно быть, теперь трудно, если и можно найти эту шутку, но мне припомнилось без моей воли! П.Н. Семенов много писал, часто читал тетке, а у дяди несколько раз призывал певчих, разучивали и пели: кантаты, торжественные гимны, песни шуточные, застольные – несколько раз случалось мне слушать. Помню, тетка часто хвали-

---

\* В рукописи: «Отчего неприятна и грустна была служба в Киеве? теперь рано еще говорить. Оставлю записку, напечатает будущая «Старина»».

ла, но раз сказала: «Петруша, брось, это неприлично». Петр Николаевич казался мне очень солидным по сравнению с братьями; говорили, что он был в милости цесаревича Константина Павловича.

Второй брат Николай и третий Михаил служили в Измайловском полку; с этими я часто виделся; бывало, гвардейцы частенько смеялись над моряком-гардемарином, частенько подхватывали классные мои выражения, но тетка всегда защищала меня. Помню, я сказал: можно постепенно приобрести остойчивость характера. Гвардейцы разразились хохотом над «постепенною остойчивостью». Тетка принялась доказывать разумность и правильность выражения идеи и довела до того, что гвардейцы и не рады были; она ловко и кстати пожелала им постараться приобрести постепенно остойчивость характера.

Николай и Михаил жили в одном доме с дядей; Семеновы были тамбовские помещики, получали из дома содержания до 30-ти тысяч [ежегодно], но никогда не было у них денег – долги и все в долг. Раз, я приехал из Кронштадта, привез скопленных после похода во Францию сто рублей. Узнали Семеновы, обрадовались, отняли деньги, сшили мне, что я желал, рублей на 150, да подарили духов, помады, дорогого курительного табаку: взяли все в долг, деньги были им дороги.

Николай впоследствии был губернатором в Вятке. Слышал, что года три, четыре тому назад он умер в Киеве. Михаил пустился в спекуляции не по силам и умер. Василий, мой ровесник, воспитывался в Царскосельском лицее; в праздники мы бывали с ним вместе у тетки Буниной. Помню огромную разницу между нами: я специалист, а он энциклопедист по наукам! я казался неучем перед Васей! его мягкие манеры, его готовность участвовать в разговоре были моею завистью. Он был истинно благовоспитанный барич, я – неловкий матрос.

Никогда не забуду, что я обязан Васе: учебною славой в [морском] корпусе. Тогда появилась метода отвечать урок своими словами, а не по книге; в лицее уже была введена эта манера, а в корпусе нет еще. Кажется, не большая мудрость, но я не мог исполнить, пока Василий не дал мне три урока. Явилось и в корпус это требование. Помню, Марко Филипыч *Горковенко* потребовал эту мудрость; никто не исполнил; дошла очередь до меня – я отличился. По возвращении из Камчатки я часто бывал у Василия; в 1833 году он был цензором. Очень любил я этого умного, благородного и доброго человека. Умер Василий не очень давно, тайным советником.

\*\*\*

Анна Петровна *Булнина* – десятая муза, как тогда ее звали, жила весьма скромно, кажется, только пенсиями от всех особ царствующего дома. Она была небольшого роста, немного продолговатое лицо, черные волосы, но лицо белое, с прекрасным румянцем, очень живые, блестящие глаза, движения грациозны – была замечательно хорошенькою. Может быть, некому уже рассказать, да не всякий и тогда знал, как сделалась девица Бунина поэтом? не много и я знаю. Бунина занимает хотя маленькое место в истории русской литературы, но все-таки она из первых русских девиц – поэтесса.

Из довольно богатой тамбовской фамилии, А.П. Бунина осталась бедною сиротой. Кто привез ее в Петербург – не знаю, не знаю, какая связь была с Ахвердовым. Генерал Ахвердов назывался кавалером вдовствующей императрицы Марии Феодоровны и был учителем математики великих князей; он жил в Михайловском замке, занимал весь нижний этаж. Сирота-девица Бунина почему-то жила в семействе Ахвердова. Однажды генерал посоветовал сиротке написать просительное письмо к императрице Марии Феодоровне. Бунина приютилась у широкого подоконника и два дня сочиняла письмо. Ахвердов взглянул и удивился, что вместо письма сиротка пишет стихи. Добрый и ласковый генерал сказал, что он советовал написать письмо.

Анна Петровна наивно отвечала, что это письмо она пробовала писать, но так ей легче. Ахвердов, прочитав, советовал окончить и переписать. Это письмо стихами доставило Буниной 500 рублей [ежегодной] пенсии. Через Ахвердова поднесены стихи государю – Буниной 500 р. пенсии. Оду великому князю Константину Павловичу – Буниной [еще] 500 р. пенсии. От кого еще пенсии – не помню. Этот успех одобрил Бунину к стихотворству.

Тетка подарила мне свое полное издание; конечно, я читал, но, при всем моем благоговении к моей благодетельнице, теперь не стал бы читать ее сочинений. Могу засвидетельствовать, что она не переставала учиться. Русской словесности учил ее мой корпусный учитель *Гроздов*, училась английскому языку. Сочиняла стихи с большим трудом. Говорила она прекрасно, почти всегда господствовала [среди общества] в гостиной и за обедом. Анна Петровна изредка представлялась ко двору; к туалету ее не допускались племянники, гвардейцы, я один имел дозволение прислуживать. Помню, раз, видя, что тетка белится и румянится, я в простоте заметил:

– Вы, тетенька, такая хорошенькая, беленькая и румяная, для чего же вы белитесь и румянитесь?

Она отвечала мне: «глупенький, это этикет двора, я могу сконфузиться, побледнеть или покраснеть, тем могу обеспокоить царских особ, а набелившись – я не изменюсь в лице».

Анна Петровна Бунина была любимой гостьей в высшей аристократии Петербурга. В те дома, в которых я бывал часто с теткою, гардемаринном и офицером, и был как свой в семействах, возвратясь из Камчатки штаб-офицером, но без тетки, я не попал и в прихожую. А.П. Бунина впоследствии страдала какою-то нервной болезнью в руке; по милости императрицы, объездила все столицы Европы, но облегчения болезни не нашла. Мне рассказывали, что она избавлялась мучительной боли в присутствии известной *Татариновой* и будто чувствовала приближение вне дома этой сектантки.

\*\*\*

В первой четверти [XIX] столетия всему высшему свету Петербурга был известен неистощимый весельчак Иван Петрович *Бунин*; он был старший брат «десятой музыки». На службе был лейтенант и постоянный адъютант адмирала *Ханыкова*; холостяк, умный, хорошо образованный, очень добрый; веселонравие его не имело границ, изобретательность в разнообразии удовольствий была бесконечна, где веселье – там он необходимый режиссер. Он был хорошего роста, вершков восьми, хорошего здоровья, брюнет, всегда готовый на доброе дело, и неустанный создатель и участник удовольствий, но постоянный враг своим деньгам.

Всегда числился где-то на службе, знаю только, что однажды он был инспектором колонистов под Петербургом; и тут было не без фарса: он свободно говорил на их языке и делал для них балы. Он отличался особенными свойствами, до глубокой старости сохранились у него необыкновенно густые волосы на голове; по особенному устройству кожи на черепе, она свободно двигалась, так что, дернув за волосы в одном месте, все волосы поднимались в эту сторону. Он мог свободно шевелить ушами. Очень приятно пел, красиво танцевал, был щеголь, немного музыкант. Был любимец дам, которым он умел нравиться; в обществе мужчин, окружающих его, всегда был общим смех.

Кронштадтский клуб и до сего времени, в годовщину клуба, пьет за здоровье учредителя клуба Ивана Петровича Бунина. Я не помню случая, чтобы он отказал кому-либо в своем ходатайстве. Бывало, удастся занять денег, сейчас устраивает у себя званый вечер. Не так давно я видел сохранившийся у меня пригласительный его билет: «Кум свахи Аполлона Иван Бунин покорнейше просит» и проч. На его вечерах много бывало дам из высшего круга, а хозяйкой была сестра его. Вечер открывался своеобразным концертом. Нам, племянникам, раздавались музыкальные инструменты и каждому тот инструмент, на котором не умеет играть, мне доставались тарелки.

Бунин знал по несколько песен на всех языках, как на европейских, так и на азиатских; сам садился за фортепиано и пел турецкую песню; по данному им знаку мы усердно удаляли в инструменты – вероятно, эта какофония походила на турецкую музыку. За турецкими следовали персидские, цыганские – хохота было много. Бунин пел чувствительные немецкие песни, веселые и шаловливые французские и очень натурально представлял поющего пьяного англичанина.

Дамы уходили в другую комнату – для мужчин пел скоромные куплеты с гримасами, ужимками, с речитативом, мужчины хохотали, дамы смеялись и будто не слышали. Были небольшие танцы. Подсел Бунин к хорошенькой даме, я стоял за стулом и слушал любезности его; дама беспрестанно обмахивала свою голову: оказалось, Бунин весьма верно подражал мухе, запутавшейся в ее волосах. Бунин был неуютим, неистощим, все было прилично и все были веселы.

Тогда явилась новая игра – в синонимы и омонимы; один уходит в другую комнату, круг общества назначает синоним; призванный имеет право сделать каждому в круге три вопроса и отгадать заданное слово; на ком отгадано, тот выходил [из круга]. Помню, досталась мне задача «вал». Помню, как боялась тетка, что я осрамлюсь, не угадаю, но я угадал по второму вопросу, и тетка была довольна. Не отгадать было стыдно, казалось тупоумием.

Вечера Бунина были редки, но всегда веселы по разнообразию удовольствий. Случалось мне слышать рассказ Бунина, как веселились накануне у Нарышкина; не помню, кого-то хоронили в снегу. Бунин, уставщик похорон, всех костюмировал и учреждал кортеж; Нарышкин был попом, кто-то дьяконом, певчие. Опьяневшего до бесчувствия несли на простыне, со свечами, с пением – все серьезные, и хоронили в сугробе снега. В то время подобная потеха часто практиковалась по деревням у разгулявшихся помещиков.

Известно мне устроенное Буниным тайное общество «кавалеров пробки». Все члены, в своем собрании, имели в петлице сюртука пробку. Однажды было заседание тайного общества в Петергофе. Не бывши членом общества я [все же] был приглашен обедать. За обед садились между дам мужчины, пели хором песню, кажется, сочиненную Буниным: «Поклонись сосед соседу, сосед любит пить вино. Обними сосед соседа, сосед любит пить вино. Поцелуй сосед соседа, сосед любит пить вино». После каждого пения – исполнялось точно по уставу. Бунин был гроссмейстер. Думаю, что такое тайное общество запрещено правительством не было.

Вспоминаю ходивший тогда анекдот, мне его не случилось читать в печати. Александр I выразил желание Нарышкину – иметь попугая. Нарышкин поднес отличного своего серого попугая. К Пасхе делают представления к наградам, государь приказал прочитать список; читавший только сказал: «статский советник Гавриков», попугай закричал: «Гаврикову пуншу, Гаврикову пуншу!». Попугай заучил фразу и повторял при имени Гаврикова.

Анна Петровна Бунина привезла меня в Петербург, брала по праздникам из корпуса, ласкала меня, возила с собою в высшее общество и тем хотела усвоить дикому мальчику общественные приличия. Иван Петрович Бунин определил меня в корпус, тоже брал меня по праздникам; его ходатайство доставило мне возможность попасть в Камчатку – оба благодетельствовали мне. С Иваном Петровичем я постоянно переписывался, высылал к нему соболей, просил его продать, а деньги класть в банк. По его известиям денег моих накопилось в банке двадцать тысяч рублей ассигнации.

Лет 60-ти Бунин женился. Когда через 15 лет я возвратился из Сибири, Анна Петровна уже скончалась. Бунина нашел стариком, без должности; жена его умерла, оставив четырех дочек-малюток. Чем жил Бунин – не знаю. Нашел его на Васильевском острове, в дворе, на втором этаже – кажется, обживал новопостроенный дом; обстановка очень бедна. Бунин читал библию и священные книги. Мне нужно было экипироваться, я спросил мои



деньги. Иван Петрович вышел в другую комнату, вывел своих малюток и вместе с ними стал на колени, заплакал и сказал: «друг сердечный, крайняя нужда заставила меня издержать твои деньги. Делай, что́ хочешь». Я ни слова не сказал, заплакал и ушел. После этого я не упоминал о своих деньгах. Бунин очень долго жил.

#### VII. Памятный день в Иркутске в 1832 году

Хорош дом начальника адмиралтейства в Иркутске! он находится к востоку от города, версты полторы от последних домов, в прекрасной, ровной долине. Дом большой, со всеми службами, даже баня, прачечная – настоящее барское поместье; при доме, к югу большой тенистый сад, который обмывает быстрая река Ида, прозванная народом Ушаковка. Ида впадает в Ангару, почти в конце города, ниже по течению. К северу от дома, в версте, протекает ручей под именем речка Саражанка; она течет от востока, как и Ида, параллельно одна другой. За Саражанкой поднимается гора; из крупнозернистого песчаника этой горы делают памятники на могилы. Гора высотой фут 300, 350; поднявшись на гору – сначала густой кустарник, далее лес, а далее гора на горе, лес на лесе.

В 1832-м году, в половине июля мне захотелось посмотреть Каштак – местность, о красоте которой много рассказывали. В какой-то маленький праздник, рано, на моем белорожденном арабском коне (о нем расскажу, если не забуду) я отправился смотреть Каштак. На доме флашток, на котором поднимался флаг, когда хозяин бывал дома, и спускался по выезде. Дорога шла близ левого берега Саражанки, против течения. Версты четыре далее Саражанка круто поворачивает к северу в узкую долину между горами, покрытыми лесом; еще верста – и долина перегораживается лесистою горою, соединяющеюся плотно с горами боков долины. Из двух гор долины, близ соединения с поперечною, из середины их, на ровной высоте бьют два каскада: вот они-то и произвели речку Саражанку. Местность, действительно, красива; подобную картину может создать только фантазия живописца.

Левая гора этой долины есть та гора, где делаются памятники [из местного камня]; тут я нашел пять женщин, лопатами нагребавших в мешки из подошвы горы крупную дресву\*. Цвет дресвы мне показался одинаков с камнями для памятников. Для меня, неуча, показалось удивительным, как это в одной и той же горе твердый камень и рассыпчатая дресва – по виду однородны, камень обделывают, а дресву берут лопатою. Взял я в платок дресвы и поехал по долине Иды. Возвращаясь домой к обеду, встречаю частного пристава.

– Куда вы?

– Да вот, на Каштак.

– Зачем?

– Дали знать, что там убили двух женщин.

– Я рано там был и видел пять женщин, они нагребали дресву.

– Три ушли, а оставшихся двух убили; трех я уже спрашивал.

– Кто же убил бедных женщин?

– Беглые варнаки, кому же больше.

– Убийц не найдете?

– Где найти, да мы и не ищем.

– Так зачем же едете?

– Послал за понятыми, чтобы поднять тела. Здесь, сударь, это не редкость.

Простились. Пообедав, я пошел к горе, где выделывают памятники, чтобы сравнить дресву с камнем. Со мною был годовой легавый щенок, Любим.

---

\* Рыхлые осадочные горные породы образуются в результате механического разрушения самых разных горных пород и носят общее название – обломочные. Последние представляют собой скопление угловатых обломков (200-20 мм – щебень, 20-2 мм – дресва).

На горе, смяв дресву в комок и положив на камень, я не мог отличить ее ни по цвету, ни по видимому составу. Недоумение мое разрешилось тем, что гора, где добывается камень, обращена стороной к югу и просохла, а та же гора, имея бок к северо-востоку и затененная другими горами, сыра и не окрепла. Этим я был удовлетворен и, помню, умничал, что эта гора – относительно недавняя работа геологического процесса. Рассуждая, я поднялся на гору и хотел идти далее, проследить образование или фигуру горы. Недалеко отошел между кустами, как мой Любим начал, на приступ, озлобленно лаять и бросаться на куст.

Предполагая, что в кусте гнездо куропатки или какой-нибудь зверек, я сказал: «возьми!». Смотрю, куст зашевелился, в кусте встал *вольнопропитанный*. Он имел домишко верстах в двух под этой горой, имел жену и полдюжины детей, был хороший слесарь, постоянно работал на адмиралтейство; начальники покровительствовали ему, зная его бедность. Слесарь встал в кусте, у него на руке через плечо лукошко. Встал и, протирая глаза, говорит:

– Ну, ваше высокоблагородие, собачка ваша хоть мертвого разбудит.

– Ты что тут делаешь?

– Да вот, ходил за грибками, не угодно ли, сударь, грибков?

Сам двигается ко мне. Я взглянул на него внимательно и вижу – в глазах радужные цвета. Я уже освоился с этим народом. Я отступил на шаг и сказал строго: «пошел прочь!», а сам в карман за пистолет. Он продолжал как бы невольно двигаться и, показывая грибы, уговаривает взять их. Солнце светило мне сзади, при наклонении лукошка мне блеснул нож во весь диаметр. Левою рукою держал лукошко, а правою рукой держался за рукоятку ножа. Я еще отступил шаг и, вынув двустольный пистолет, взвел курки и нацелил в него. Он, как-то судорожно, тихо двигаясь, повторял: «да возьмите, возьмите!» Я крикнул ему: «стой» и побожился – еще шаг и выстрелю. Остановился. Под пистолетом прогнал его в лес.

Но в лес [сам] не пошел, а с грустной мыслью пошел по краю горы к городу. Действительно, было о чем задуматься: человек существовал моим благодеянием, а если б не Любим, то убил бы меня. Пройдя версты полторы, я дошел до старинного кладбища и сел на памятник. Вид превосходный: весь Иркутск виден с птичьего полета, за ним широкая Ангара, устье Иркуты – великолепная картина! Собака бежит под горой и ищет мышей. На кладбище растут редкие, но толстые березы. Мелькнуло что-то от березы к березе. Наблюдая, я увидел, что, перебегая от березы к березе, подкрадывается ко мне сзади тот же вольнопропитанный. Тогда я встал, с пистолетом пошел прямо к нему и под пистолетом проводил его до дома. Вольнопропитанный, сердито ворча себе под нос, повиновался. Вышла жена его, я приказал уложить его спать и запереть.

Еще рано возвратясь домой, – в эти часы, по условию, я ездил верхом мимо окон одного дома, что будто понимал и конь мой: убавляя шаг, смотрел на окна и точно кланялся, мотая головою. Чтобы отвлечь внимание, я объезжал несколько улиц. Проезжая мимо кабака, из которого выходили посетители, я видел выходящего хорошо одетого крестьянина и двух, трех каторжных в кандалах; один каторжный уже на крыльце попросил у крестьянина подавания. Я видел, как крестьянин вынул из-за пазухи мешочек с деньгами и подал каторжному монету (оказался пятак); как только подавший повернулся, каторжный ударил его ножом в спину, крестьянин упал, и убийца сказал: «подлец, скряга, не мог подать более». Я был в пяти шагах от убийства, дал шпоры лошади.

Возвратясь домой часов в семь, вспомнил, что зван на чай к Нараевским. На дрожках доехал до широкой улицы, дрожки отпустил и пошел по левой стороне по тротуару. По правой стороне улицы, по тротуару, по одному направлению со мною, шла какая-то мещаночка, нарядная девушка, вероятно, в гости. По правой же стороне по тротуару, на-

встречу девушке, шел унтер, рослый молодчина, шел щегольской походкой – с вывертом. Встретясь с девушкой, он быстро обнял ее и поцеловал. Слышал какой-то вскрик, и за этим унтер положил девушку на тротуар, повернул назад и пошел так же бодро. Перейдя улицу, я подошел к лежащей девушке – она была мертва! Следя за унтером, я видел, как он прошел на гауптвахту. Я пошел к генерал-губернатору Александру Степановичу *Лавинскому* и рассказал ему, что видел.

Лавинский весьма серьезно обратил внимание и сказал:

– Тут что-то непонятное, вот уже несколько случаев, что солдаты без видимой причины делают убийства! Я уже обратил на это внимание, а этот случай утверждает меня, что есть какая-то непонятная причина, по которой солдаты убивают без всякого повода. Я назначу тебя презусом и ты добейся, открой, что тут кроется.

– Я всепокорнейшее просил бы ваше высокопревосходительство уволить меня, не мешать с армейскими офицерами, из них я не знаю ни одного, а, если угодно вам, дозволить мне нравственно руководить следствием без формального назначения.

Лавинский согласился.

Оказалось, девушка убита большим ножом в сердце. Ей было 17-18 лет, хорошенькая, небедных родителей; шла в гости к родным. Я назвал день памятным; да, четыре убийства почти на моих глазах и пятого чуть сам не был жертвою – и это в губернском, главном городе генерал-губернаторства!

Хотя я и был обстрелян жизнью среди каторжных и был 12 лет презусом военного суда, но и на меня этот ряд убийств *одного* дня сделал впечатление, особенно после разговора с Лавинским. Я решился открыть причину непонятных убийств солдатами.

На другой день приказал привести к себе вольнопропитанного слесаря. Как увидал меня, повалился в ноги и, крестясь, сказал:

– Так ты, отец, жив? слава Богу, а то я думал, что убил тебя!

– За что же ты хотел убить меня?

– Батюшка, кормилец, за что мне убивать тебя? мои дети живут твоею милостию! я скажу тебе правду, а ты суди как хочешь.

Вот приблизительный его рассказ: «два дня мне недомогалось, голова как не своя, от пищи и сна отстал. Тоска смертная, не смотрел бы на свет Божий, в глазах все красно; тоска – и места не найду, разум отшибло, как будто кто шепчет: а ты убей кого-нибудь и будешь здоров! Задумал я, как полоумный, может – кого встречу, а там и не знаю, что бы я сделал. Ходил я долго по лесу, никого не встретил, вернулся: вижу, идет человек, я и спрятался в куст; на уме было, как пройдет мимо, то я нападу на него. Собака ваша почуяла меня и начала лаять; вижу, что мне не скрыться, я встал и теперь едва помню, что это были вы: у меня в то время не было ни памяти, ни разума. Сегодня проснулся в памяти – как во сне припоминаю, что я хотел убить вас, моего благодетеля, и думалось, уж не убил ли я вас?»

Рассказ надо признать искренним, мне не первый подобный рассказ случалось слышать. В первом очерке из моих воспоминаний о каторжных я записал рассказ Медянцева подобный этому. Я убежден, что многие из каторжных страдают более или менее этою болезнию, я определяю ее сильным припадком истерики. Может быть, я ошибаюсь, но, впрочем, это не мое дело, а физиолога. Отдать под суд этого вольнопропитанного: по наказании он поступил бы в рудники, пропали бы его дети; я приказал дать ему 300 розог и тем окончил.

До приступа к делу об убийстве девушки унтер-офицером я пересмотрел несколько военно-судных подобных дел и не нашел ничего. Одно и то же: «виноват, лукавый попутал». Наказан кнутом и в каторжную работу. Я понял – форменными вопросами: как зовут? сколько лет? какого вероисповедания? и проч. ничего не откроешь. Приказал унтера при-

вести ко мне в адмиралтейство. Молодчина, вершков 9-ти роста, отлично сложен и выправлен, волосы темные, но лицо бело, большие голубые, спокойные глаза, голос мягкий – вообще, на вид человек добрый. Унтер из гвардии, помнится, семеновец. Грамотен, холост, под 40 лет.

Отбросив манеру начальника, я говорил с ним наедине как посторонний человек, да он и не видал во мне прямого начальника, я был для него моряк. После нескольких посторонних разговоров:

- Я видел, как ты убил девушку.
- Значит, это вы изволили идти по другой стороне улицы?
- Я. За что ты убил ее?
- Так, лукавый попутал!
- Ты прежде знал эту девушку?
- Никак нет-с.
- И теперь не знаешь кто она?
- Не знаю-с, видно, ее судьба такая!
- Как же убить не зная человека, да еще девушку?
- Так случилось, ваше высокоблагородие.
- Я видел, ты ее не грабил.
- Помилуйте, мы к этому неспособны.
- А убийство хуже грабежа!
- Оно, действительно – великий грех! лукавый попутал!
- Я, вижу, ты человек умный; знаешь ответственность?
- Как не знать, ответ по законам!
- Ты будешь лишен чести, наказан кнутом и в каторгу.
- Что делать, видно так определил Бог!

Бился я с ним часа три, вертел вопрос со всех сторон, унтер совершенно спокойно отвечал одно и то же. Приказал хорошо накормить его и отпустил. На другой день та же история: разнообразные вопросы унтеру и его спокойные, но осторожные ответы. Накормить и отпустить. На третий день – та же история: мое терпение и его осторожность. На четвертый день, после долгих разговоров и изворотливых вопросов, унтер улыбнулся и спросил меня:

– Да что хочется знать вашему высокоблагородию? я вижу, что вы чего-то допытываетесь.

– Я вижу, что ты убил незнакомую девушку без всякой причины, но без причины ничто не делается на свете; вот эту причину я и хочу знать, так, из любопытства.

– Я вам и объясняю: так, лукавый попутал. А что убил девушку, то потому что она встретила; встретиться другой кто, то другого бы убил.

– Значит, ты шел, решившись сделать убийство?

– Точно так-с.

– Вот это-то, твое решительное намерение, ты и объясни мне, оно-то и любопытно для меня.

Унтер спокойно засмеялся и сказал:

– Барин вы добрый и умный, как же вы сами не догадаетесь? Сравните жизнь солдата с каторжным: каторжный одет в полушубке, в теплых штанах, в теплой шапке, в больших и длинных сапогах и рукавицах, у него лопата и топор. Я стою на карауле при работе каторжных: на мне шинель ветром подбита, кивер, ноги зябнут, переступаю с ноги на ногу, в руках ружье – коченеют руки. Каторжный придет в казарму, ему дают горячие щи, часто с мясом или с рыбой, ест кашу; поевши – ложится спать на тюфяк, у него подушка и одеяло. Я прихожу в казарму – дадут постных щей и хлеба, да не ложусь спать, должен вычистить

ружье, тесак и пуговицы, а ложусь на голые нары, под голову либо суму, либо кулак, да покроюсь тою же шинелью. Ну и сравните, чья жизнь лучше: честного солдата или каторжного\*? Насчет чести, солдат и останется век солдатом. Дадут отставку, когда уже зубов не будет, и ходит по миру, пока таскают ноги. От наказания кнутом не умирают. Вытерпеть наказание раз, зато [потом] спокойная и довольная жизнь.

Поговорив еще немного, я был очень доволен открытием. Унтеру – хороший обед со стаканом водки, а сам к генерал-губернатору и все рассказал ему. Лавинский тотчас поверил рассказ унтера; казацкий офицер полетел курьером к государю с донесением. Унтера я более не видал.

Лавинский рассказывал мне – пишут к нему, что государь на одном из советов министров спросил [министра финансов] Канкрин: для чего так роскошно содержатся каторжные? Канкрин отвечал, что улучшено содержание каторжных не на деньги государства: для каторжных утверждено урочное положение, каторжный, сработавший более урочного положения, за переработок получает копейки, из этих копеек со временем составились большие суммы, что и дало возможность улучшить содержание каторжных. Военный [же] министр объяснил, что он и копейки не может прибавить солдату сверх положения. Тут же сделано распоряжение: уничтожить все удобства каторжных. Этим распоряжением и прекратились намеренные убийства солдатами.

Я упомянул, что собака моя Любим спасла жизнь мне. Первый раз я рассказал, если б не Любим, то вольнопропитанный не промахнулся бы. Вот другой случай.

Выезжая из Иркутска в Питер, я вызвал желающего ехать со мною денщиком. Вызвался молодой матрос лет 25-ти: отзывались о нем как о трезвом, честном и тихом. Месяца три он жил у меня в комнатах и привык. В повозке, сделанной в адмиралтействе, поместились: я, денщик и Любим. Денщик был уроженец Сибири, небольшого роста, но силы необычайно большой и простак. О дорожных приключениях – в другом месте, разве упомяну: когда проезжали Казань, первое, что я потребовал – яблок, которых я не пробовал 15 лет; мне принесли апорт и баснословную взяли цену: за десяток чуть ли не 10 рублей. В Сибири картофель называют земляные яблоки; денщик изумлялся, что в России такие яблоки, и сердито прибавлял: «сказано, не мшонная Сибирь, Сибирь она и есть!», а когда я позвал шарманку, то он и остался в мнении, что в ящичке сидит человечек – разуверить его было невозможно.

С отцом я не видался 24 года, и тот, который сек меня чуть не через день – Суворовец, увидав меня, упал без чувств! Целовал денщика, целовал Любима. Отцу подарил повозку, она служила ему как парадный экипаж. Отец взял с меня честное слово: ни в каком случае не наказывать денщика. Из Камчатки я вывез соболей, лисиц, бобров. В Петербурге явились ко мне жида, я продавал им по рознице – выгоднее, чем в магазины. Однажды слышу шепот за перегородкой, подслушал: жид сговаривается с денщиком убить меня. Я быстро явился [за перегородку]. Жид струсил и рассказал, что его уговаривал денщик, что он убьет меня и передаст все [добро] жиду, а глупый денщик признался, что жид обещал ему купеческий паспорт.

Жид вылетел вон, а я данное отцу слово сдержал, не тронул денщика, но отослал его в команду. У меня оставался деревенский мальчик. Прошло несколько дней. Был 11-й час ночи, я уже был в постели; слышу, на дворе страшный лай Любима, лает, на приступ, в нишу под лестницей; у собаки поднялась шерсть, пена у рта и не слушает меня. Я полагал, что там кошка. Пошарил под лестницей рукой и поймал сапог. Выходит мой прежний денщик. Вывел я его на двор, вышли многие жильцы. Я заметил, что у него не сгибается левая рука. В рукаве оказался – кинжал. Денщик струсил и признался, что он, зная в квар-

---

\* Рассказ относится к 1832 г., теперь благодать Господня для русского солдата. – Примеч. Э. Стогова

тире моей [такой] порядок, что мальчик ночью выводит собаку на двор, намеревался убить меня, а как мальчик вернется, то и – мальчика.

Что разумное творение намеревается убить подобное себе вещество – не стоило бы упоминания, но чтобы низшая, бессловесная тварь – собака, имеющая природное свойство преданности к человеку, который ее кормит, как в этом случае: денщик кормил собаку около полугода, спал с нею, но когда этот друг собаки пришел с злым намерением, собака поступила с ним как с злым врагом! Этот непонятный разумный инстинкт показался мне достойным замечания. Денщик, по суду, отправился по способу пешего хождения на свою родину, в Сибирь, а Любим окончил земное свое бытие в 1847 году, в Киеве. Удивительной понятливости была собака!

Рассказав о собаке, спасшей мне два раза жизнь, я упомянул об арабском белорожденном верховом моем коне в Иркутске. Если я дозволил себе говорить о собаке, то о благородном и гордом животном – слуге человека дозволю себе упомянуть хотя несколько слов.

В старом флоте молодые офицеры очень любили ездить верхом. Конь и лодка – крайности, а говорят: крайности сходятся. Оставшись в Иркутске начальником адмиралтейства, я устроился оседло, у меня были и лошади и экипажи, но не было верхового коня. 12 лет ездя на собаках, я, по свойству моряка – любить верховую езду, очень желал устроить себе эту потеху. Советы старожилых приятелей указали мне на сосланного кавалерийского штаб-офицера, отличного знатока лошадей и искусного берейтора.

Пригласил я к себе этого бывшего господина. Уже весьма пожилой, седой, но еще здоровый и сильный. Хорошо одет кучером, походка кавалерийская, с согнутыми коленями, голос твердый с акцентом серба. Смотря на него так и кажется, что он еще командует эскадроном. Я объяснил ему мое желание иметь верхового коня. Он, приняв позу сознательного достоинства, с выговором южного славянина отвечал:

– Это наше ребячье дело! но готовой верховой лошади здесь нет.

– Как же ты посоветуешь мне устроить?

– Это дело наших рук. Есть кровный конь, не верховой, но рожден для седла; я могу указать вашему высокоблагородию, а ваше дело купить.

– Хорошо, я куплю, только укажи.

– Есть конь на почте, он недавно ходит на пристяжке, белый конь; на почте не знают цены, а конь тысячный!

– Спасибо, я завтра куплю лошадь, но она не выезжена под верх?

– Выездить – наших рук дело. Выездим в станке как немцы, или для фронта на все аллюры.

– Где же найти тебя?

– Я живу близ женского монастыря, но если прикажете, я завтра наведу.

Стакан водки – простились. Почту содержала дума, я к голове. Без слова дано согласие и заплатить по цене в книге, за что куплена. На другой день ссыльный кавалерист выбрал лошадь, я заплатил 60 рублей. Старик в восторге от коня, ценил его в несколько тысяч! Я просил его выездить коня для прогулки по городу, чтобы был смирен и не пугался. Старик не упустил сказать насмешку над неопытностью моряка, но весьма прилично. В старике сквозил общественный быт лихого кутилы.

Старик хотел дрессировать коня в станке, но [так] как это долго, а я хотел скорей, то на поле была устроена корда. В месяц переродился конь, на корме поправился, а в выезде выправился. Просто – красавец! По команде исполнял все аллюры, но старик находил нужным поехать по шумным улицам, чтобы не пугался конь. Недели две мой берейтор брал коня перед [рас]светом и возвращался после полудня.

Раз у губернатора, Ивана Богдановича *Цейдлера*, я был свидетелем доклада исправника. Тогда около Иркутска, в горах было две шайки разбойников, исправник докладывал, что какая-то каналья из города ездит на белой лошади то к одной, то к другой шайке, и поймать никак не могут. На меня подействовал доклад о белой лошади: подумал, уже не мой ли берейтор отличается. На другой же день проследили за ним и оказалось – действительно, возвращался из северных гор марш-марш; как опытный, проводил коня, вытирал соломой и приезжал домой на сухом коне.<...><sup>\*</sup>

Позже я узнал, что этот отличный берейтор, живя в Иркутске как главнокомандующий над шайками, получал донесения, отдавал приказания, направлял их набеги, уведомлял о намерениях полиции и проч. Конь, действительно, был превосходный, выезжен прекрасно, пылкое, но доброе и послушное животное. В Иркутске все знали моего коня. Я [потом] подарил его принявшему мою должность Николаю Вуколовичу *Головину*.

Узнал я историю коня. На киргизской [пограничной] линии, в крепостцу Бухтарму (звали: Бухтарма – новая тюрьма) приезжали бухарцы с товарами и урюком. Запоздали возвратиться; у них был жеребенок, то чтобы не затруднил в обратном пути, продали казаку за безделицу. Казак, приехав в Иркутск с товаром, продал всех своих лошадей на почту за большую цену и этого коня – за 60 рублей, а такая цена считалась огромною, сравнительно с ценами на [пограничной] линии. У Лавинского были две каретные четверни, куплены в Енисейской губернии, в Минусе<sup>\*\*</sup>, из табунов купца (кажется, Мясникова) на выбор, по 25-ти рублей лошадь; это обыкновенная цена. Лавинский [после своей отставки] вывел лошадей в Петербург.

Разговорился я о ссыльных в Иркутске. Об этих выкидышах русского общества – рассказов без конца. Эти энергические натуры с ложным направлением и там редко совладают с своими обычаями, они и там ведут тревожную жизнь с приключениями. Я записал – «памятный день в Иркутске». Назвав памятным днем, тем самым объяснил, что не все дни похожи на этот день. Передам еще рассказ, но не свой, а Ивана Яковлевича *Козлова*. Прошу обратиться в «Русскую Старину» к первому очерку из моих воспоминаний «О ссыльнокаторжных в Охотском солеваренном заводе» (изд. 1878 г., т. XXII): там я кратко очертил горного чиновника И.Я. Козлова. Теперь повторю, что этот человек был вполне образованный, благородный, честный, добрый, прекрасный друг, умный, приятный собеседник, правдив, преувеличений для красного словца в нем не заметил. Говорят, совершенного человека нет, то и Козлов имел недостаток: он не был храбр, попросту – был трусоват. В Охотске мы были очень дружны.

Вот один из его рассказов: «В 1820-х годах в Иркутской губернии был известный и прославившийся атаман разбойников по фамилии Александров. Он был из ярославских мещан, молод, смел, большого роста, красавец из красавцев; я такого красивого мужчины не видывал; не было деревни, чтобы он не имел преданных любовниц. Силы был необыкновенной, бегал так скоро, что веревка в пять сажен, привязанная к затылку, при беге Александрова – держалась горизонтально. Стрелял на бегу без промаха. Один раз он спал на поле, а любовница, с лошастью, караулила. Крестьяне соседней деревни хотели схватить его; показались мужики, любовница разбудила Александрова, он крикнул крестьянам, чтобы шли прочь. Одни мужик, став на колени и с сошек, целился в Александрова из винтовки. Александров закричал: «Никитка, не дури!» и, выстрелив, попал Никитке в лоб, взял от любовницы заряженное ружье, а она заряжала другое. У крестьян опустились руки; Александров, посадив любовницу на лошадь, сам тихо пошел. Но это было вначале, после его не ловили. Данному слову Александров никогда не изменял. Один раз, убежав из острога, от гнавшей за ним полиции он против Иркутска, в кандалах, переплыл Анга-

---

\* Опущено редакцией «Русской Старины» или цензурой.

\*\* Минусинск стал окружным городом в 1823 г., до того времени на его месте было село Минуса.

ру, которая, кроме большой ширины, имеет течения 10 верст в час. Вот такая исключительная была личность атамана Александрова. Шайка его никогда не превышала 7 или 8-ми человек, но были и постоянные: есаул, лейтенант и подручный. Это были люди испытанные им. Зимой он являлся к исправнику и зимовал в остроге; с наступлением весны он уходил из острога, как птица вылетает из гнезда. Лишь закукует кукушка, каторжные и поселенцы приходят в тревожное состояние и бегут в вольную тайгу. Я служил на солеваренном заводе, в 60-ти верстах от Иркутска. Раз дают мне знать, что возле завода шатается Александров и из завода уже ходили к нему на свидание. Я нарядил школьников».

– Что такое школьники?

– Это дети каторжных, они состоят при заводе; они честные дети преступных отцов.

«Александров на этот раз оплошал; он был один, без оружия, была уже поздняя осень. Я знал, что этого молодца не удержишь; я придумал для него *скрипку*. Складывались и скреплялись две широкие доски с выемками для шеи и по концам – для рук. Александров требовал, чтобы я передал его земскому суду; я написал бумагу, да так и продержал атамана четверо суток. Александров на другие сутки уже стонал: нельзя лечь, руки затекли; молил, просил, проклинал и, наконец, поклялся, что он убьет меня. Зимой просидел Александров в остроге, я имел свой караул за ним. Весной доносят мне, что к острогу подходят любовницы Александрова, значит, он скоро бежит. Я помнил его клятву, а известно, что Александров крепко держит свое слово. Решился я явиться генерал-губернатору и, рассказав ему подробно, доложил, что, по всем признакам, Александров скоро бежит, и я буду убит. Лавинский немедленно потребовал из земского суда дело об Александрове. Привезли следствие на двух возах и – еще не кончено!»

– Я не понимаю, как это могло быть?

– Очень просто: Александров был отличная доходная статья исправника.

– Объясните мне, я этих дел не знаю.

«Александров на допросе показывает, что в такой-то деревне, у богатого мужика, ночевал две ночи. Исправник летит с казаками к мужику. Может, атаман показал неправду, но для исправника все равно: мужик отплачивается. Так тянутся показания до весны, следствие не кончено, а Александров бежал. Зимой продолжается старое и начинается новое».

– Что же, Лавинский читал дело?

«Он исправнику и суду сказал много непечатных слов и на последней странице написал своею рукою: Александрова, есаула, лейтенанта и подручного бить нещадно кнутом. Это решение хранилось в строгом секрете: узнай Александров, ничто не удержало бы его в остроге; только утром сказано палачу Буянову, что он должен засечь четверых. Утром вели Александрова и трех товарищей, будто, к допросу в земский суд, с усиленным конвоем. Придя на мясной рынок, где постоянное присутствие Буянова, конвою скомандовали: стой! Преступникам объявлено решение генерал-губернатора. Александров сказал: незаконно, еще следствие не кончено. Шесть прислужников Буянова, тоже каторжные, привязали Александрова к *кобыле* ремнями по правилу своей профессии. Александров повернулся так, что лопнули все ремни и сокрушилась кобыла! Обернувшись, крикнул: варнак! да ты с ума сошел!, махнул ручными кандалами, задел за левое плечо Буянова, разорвал у него плисовую куртку, а сам бросился бежать; уже бежал по базарной площади к Ангаре, бежал в ножных кандалах, а солдаты не могли догнать его; бежал и на обе стороны махал ручными кандалами, народ расступался. Не заметил атаман колышка, к которому привязывают приезжие крестьяне лошадей; за колышек зацепил ножными кандалами и упал, солдаты набежали и прикладами прибили его. Привязали вновь к кобыле, атаман молчал; после четвертого удара Буянов за волосы поднял голову и сказал: уберите! Александров был мертв. Второй, есаул, из персиян, сказал Буянову: ну-ка, посмотрю, мастер



ли ты своего дела? Буянов спокойно сказал: а вот увидишь! и после четвертого удара поднял голову за волосы и приказал убрать. С четырех ударов каждый был мертв!

После этого последовало высочайшее повеление: в приговорах слово *нещадно* не употреблять».

– Вы, Иван Яковлевич, были при наказании?

– Конечно, был, ведь моя жизнь зависела от смерти и жизни Александрова. Казнили атамана с товарищами, я тогда спокойно вздохнул и поехал домой.

Так кончил рассказ Иван Яковлевич Козлов. А я прибавлю, что еще в 1830 году я много слышал рассказов в Иркутске о необыкновенных и, пожалуй, невероятных похождениях атамана Александрова.

Часто случалось мне проезжать чрез площадь присутствия Буянова, всегда находил его приготовляющимся к своей работе. Буянов, лет под 40, очень высокого роста, сухощавый брюнет с добрым лицом, всегда эффектно одет.

– Здравствуй, Буянов!

Вежливо кланяется и, улыбаясь:

– Здравия желаю вашему высокоблагородию!

– Что, видно есть работишка?

– Да, вот настраиваю свои инструменты.

А сколько я помню, почти не было утра, чтобы Буянов не разыгрывал концерта на своих инструментах!

Не знаю как теперь, а в мое время для сосланных на поселение, около почтовой дороги были выстроены длинные линии домиков со всеми удобствами для крестьянского быта. Каждый дом разделялся сенями на две половины; я заходил в эти, по виду, щеголеватые дома: в каждой половине по две комнаты, русская печь, лавки, два простых стула, стол в переднем углу, полати, светлые окна – удобно, хорошо, а пожалуй, и роскошно для крестьянина. Двор обнесен забором, на дворе все необходимые службы, и амбарчик, и конюшня с коровником.

Поселенцу давалось продовольствие и хлебные семена для посева. Давалась лошадь, корова, а земли – сколько угодно, душа – мера! По теории, счастливая жизнь! да и требовалось только смирно жить! На практике, поселенец, один или с женою, зиму живет смирно. Закуковала кукушка, поселенец из хлебных семян напек сухарей, корову съел, посадил жену на лошадь и отправляется в вольную тайгу. Гнездо пусто, птица вылетела. Куда ушел поселенец или, как там зовут – посельщик? Едва ли и он сам знает – так, гулять! Неудобство, нужда, голод, опасность от зверей – все человек переносит! он бессилен бороться с страстным влечением к свободе! Болезнь, смерть, гибель от зверя – и никто не вспомнит о ссыльном поселенце.

Являются новые отверженцы русского общества, их поселяют в опустелых домах. Пришла весна, закуковала кукушка – опять пустеют большею частию дома! Уцелеет беглый – пришла зима, беглый является к тому начальству, где он еще не был, и в тот острог, в котором еще не сидел, переменяет имя, ложно называет места, откуда бежал – справки бесплодны – накажут плетью, поселяют вновь. Дряхлость, смерть прекращают свободные прогулки поселенца.

В 1833 году, выезжая из Иркутска в Петербург по первому зимнему пути, на дороге к Нижнеудинску, днем, встречаю партию людей, человек 30, идущих пешком. Догадавшись, что это беглые, и не желая быть остановленным против воли, я приказал ямщику остановиться. Подошли и окружили повозку – безоружные.

– Здравствуйте, ребята.

– Здравствуй, батюшка, нет ли у тебя табачку? поделись с нами.

У меня были два картуза Жукова, я отдал им и, по доброте (может – невольной), высыпал и из кисета.

– Спасибо тебе! ребята, смотри: настоящий жуковский! дай Бог тебе здоровья, вот уж уважил!

Ближайший, которому я высыпал из кисета, две горсти возвратил в кисет, говоря:

– Нельзя же и тебе без табаку, хотя до города.

– Куда путь держите, ребята?

– Поезжай с Богом, мы тебя не спрашиваем, куда ты едешь, и тебе нет дела до нас. Прощай, батюшка, поезжай своею дорогою.

Разумеется, я не медлил. Ямщик подтвердил, что это беглые поселщики. Не нужно было и спрашивать их, они шли на зиму приютиться по острогам. Встреча и беседа продолжались немного минут, но я заметил, что между ними были субъекты не из крестьянского быта, особенно двое ближайших ко мне. Старика не было ни одного.

Случилось мне разговаривать с бегавшими в Россию и возвратившимися по суду. Бегал [один такой] в Полтавскую губернию.

– Что заставило тебя идти в такую даль?

– Больно тоска взяла, хотел взглянуть на родную сторону и повидаться с родными.

– Как же ты знал дорогу, куда тебе идти?

– Дорогу можно знать: лишь бы увидеть церковь, то и знаешь

– Как же это?

– Да вот как: когда идешь в Сибирь – всеходишь в церковь, а когда идешь из Сибири – все выходишь из церкви.

Алтарь церкви – на восток. Вот вам и компас для беглого из Сибири.

– А что же ты ел дорогой?

– Для нас, по деревням, на ночь, у ворот на полочку кладут хлеба, молока, иногда рыбки, шаньгу – сыту можно быть, да тут же у ворот на лавочке и соснешь.

Действительно, это справедливо: я заметил в Вятской губернии, по деревням, почти у каждого дома снаружи ворот, на полочках хлеб и горшочек молока; на вопрос мой:

– Для чего это?

– Это для несчастных.

Сложится как-то в особую форму жизнь человека и тянется жизнь до тайги или острога и обратно. Припомнился мне случай в киевской тюрьме. В одной из камер, у печки старик лет за 70, рассказывал товарищам, что он всю жизнь ходит из тюрьмы в тюрьму, мало и осталось тюрем, в которых бы он не был, и закончил рассказ горькою жалобой на судьбу.

– «Уж не под силу, молю Бога, чтобы прибрал», – и очень тосковал, что не приходит смерть. На другой день старик оказался убитым, с разбитой головой. На вопрос: кто убил? вышел один из товарищей и сказал, что убил старика – он.

– За что?

– Да вчера больно жалостливо старичок скучал и так жалостливо говорил, зачем Бог не посылает смерти, что меня ажно слеза прошибла. Как уснули все, я взял с печки кирпич, завернул его в рукав рубахи, да и убил старика – из жалости; думаю – пусть успокоится.

Можно бы рассказать о жизни каторжных в рудниках; эти люди другой жизни и другого характера, но – до другого раза.

## VIII.

При чтении в «Русской Старине» изд. 1878 г., том XXIII, Записок Ивана Степановича Жиркевича, главы XXIV-й (стр. 33-54), с каждой строчкой оживали мои воспоминания почти за 45 лет назад. И.С. Жиркевич выводит меня на сцену, и я, вместо подписи букв Э.... ....в, являюсь Эразм Иванович *Стогов*. Написал и я свои воспоминания о своей службе в Симбирске, писал только то, что резко запечатлелось в памяти. Читая ныне Записки И.С.

Жиркевича, я вижу, что многое пропустил, что казалось мне неважным, например, слушание одной татарской деревни сенатскому указу. Этот случай казался мне столь неважным, что я и не упомянул о нем в своих воспоминаниях. И.С. Жиркевич смотрел на это слушание серьезно, но не рассказал причин этого слушания татар; может быть, он и не знал подробностей. Я расскажу, что знаю.

Татарская деревня была очень большая, а земли имела еще больше. Далеко от деревни, на краю дачи, между холмами протекает ручеек. Помещик *Коптев* (кажется, не ошибаюсь), по знакомству с старшинами татар, получил согласие общества: дозволить на ручье поставить мельницу; это было сделано на бумаге, а словесно – Коптев обещал дешево молоть рожь татарам. При мельнице нужен дом для мельника, понадобились домики для рабочих. Так мирно тянулось более десяти лет. Говорили, при мельнице людей было немного, но, по свидетельству полиции и соседних крестьян, оказалось, что крестьян, живущих в урочище 10 лет, много.

Без ведома татар, последовал указ правительствующего сената: крестьяне Коптева, живущие оседло более десяти лет, наделяются по десяти десятин на душу, и приложен план нарезки. Указ был получен и объявлен татарам осенью. Исправник выехал с землемером и поверенным Коптева. Татары, не понимая законного права, прогнали всех. Исправник явился с понатыми и инвалидами – татары прогнали. Это было еще при губернаторе *Z.*; наступила зима, дело было оставлено до лета. Назначен губернатором И.С. Жиркевич; наступило лето, исправника с указом к татарам – прогнали. И.С. Жиркевича очень встревожило это обстоятельство. Войска нет – самый несчастный батальон из 300 калек; татар озлобленных – до четырех тысяч.

Губернатор хотел подействовать на татар комиссией из важных лиц. Пригласил жандармского полковника Ф[лиге], управляющего удельной конторой, статского советника Бестужева, меня и советника губернского правления – сначала для совещания, а потом внушить силу указа татарам на месте. Ф[лиге] и Бестужев с вечера обещали быть, а ночью уехали. И.С. Жиркевич обратился ко мне: какое мое мнение? Я отвечал, что о деле этом слышал, но подробностей не знаю, донесениям полиции не всегда доверяю, а потому полагаю, нужно прежде узнать на месте повернее; для этого я съезжу один, а узнав и сообразив – доложу о средствах, какие должно предпринять. И.С. Жиркевич благодарил меня и согласился.

Перед вечером я приехал с своим жандармом-татарином [Абрешиткой]. Тогда я еще не был так знаком с татарами, как после, но имел понятие о нравственном строе татарских обществ. Ласково, как гость, обошедшись с богатыми и выпив с ними полдюжины стаканов чаю, я постоянно направлял разговор на указ Сената. Набралась полная изба татар, и когда они попросили меня прочитать и растолковать им указ, то я встал и приказал всем встать, потому что указ – по воле Государя Императора! и прошу слушать молча, а толковать будем после. Прочитал внятно, после растолковал на каком законе указ.

Татары поняли, что вся беда от дозволения Коптеву построить мельницу без всякого условия и не означая срока. Из разговоров я подметил, что они недовольны действиями исправника. Я объяснил, что когда я возьмусь за дело, то исправнику незачем тут быть. Разумеется, я не поскупился на ужасные беды от их слушания. Главное – я беру их под свое покровительство; хотя губернатор и очень гневен, но если они послушают меня, то я даю свое ручательство, что его превосходительство помилует их.

Хотя я знал И.С. Жиркевича как неумолимого служаку, человека сдержанного, сухого, но вместе с тем человека честнейшего, преданного пользам службы, и, зная как тревожило его это дело, надеялся убедить простить татар, виновных по неразумию. Утром собрались все татары, требовали, чтобы я прочитал всему народу указ. Став в середину толпы и зная, как на простой народ действуют наружные аксессуары, – вынув указ, снял [треуголь-

ную] шляпу и приказал всем снять шапки, стоять смирно и слушать молча. Прочитал; знающие по-русски переводили толпе, разговоры татар длились полчаса. Толпа просила прочитать другой раз. Прочитал. Заговорили, что надо согласиться (мой жандарм[-татарин] сообщил мне условленною мимикою), но поставили условие: исправника не надо. Пусть губернатор простит, потому что виноват исправник, а не татары: он не хотел растолковать. Чтобы землемер мерял под моим надзором. Если так, то они согласны. Я принял условия.

Исправник, землемер, поверенный Коптева и понятия были в соседней русской деревне. Я потребовал всех, кроме исправника. Я сам ходил за астролябией и поверял углы, шел за цепью. Поверенный вздумал заспорить, я так на него прикрикнул, что он немедля замолчал. Это понравилось татарам, только и слышу: «Так, бачка, так, это разбойники!» Я сознавал, что дело слишком обидное для татар, но когда увидел, что цепь пошла под самые заборы огородов татар, и увидел слезы – признаюсь, надобно иметь запас хладнокровия, чтобы не выйти из роли важного начальника. В один день отмежевана дача\* по указу.

Уговорил татар выбрать депутатов к губернатору, которые, принеся покорность, привезут прощение для всех татар. Выбрали трех самых богатых. Предварительно объяснив кратко И.С. Жиркевичу, я просил о прощении. Кажется, в этот только раз и видел его смеющимся. Татары прощены.

После я познакомился с Коптевым. Барин не молодой со смыслом<...>\*\* Коптев при первом свидании показывал мне законные дарственные предку его от которой-то государыни на весь правый берег Волги от Симбирска до Саратова, шириною, кажется, шесть верст. Коптев хотел начать дело!

\*\*\*

Вот еще случай, о котором я вспомнил, читая «Русскую Старину» (том XXIII, стр. 48-50).

Проезжал через Симбирск граф *Строганов*, товарищ министра внутренних дел. Я явился к нему. Граф – огромного роста, длинное лицо с сухим и строгим выражением, голос твердый. Встретил меня сухо, не посадил. Помню наш разговор:

- Вы давно здесь.
  - Другой год.
  - Так вы не знаете хорошо губернии?
  - Знаю, что касается до моей службы.
  - Как понимаете вы свою обязанность?
  - Я блюститель нравственного порядка в губернии.
  - Какая ваша власть?
  - Губернатор, а не исполнит – шеф жандармов.
  - Ссоритесь с губернатором?
  - Я никогда и ни с кем не ссорюсь, ваше сиятельство.
  - А с бывшим губернатором Z?
  - Я помогал ему, сколько умел.
  - Пути сообщения, торговлю в губернии знаете?
  - Пути сообщения знаю, а о торговле почти не имею понятия.
  - Мне нужны подробные, толковые сведения о торговле; к кому я могу обратиться?
- Я подумал: рекомендовать [конкретного] помещика, обидятся другие – почему не их.

---

\* Как уже пояснялось, дача – это земельный участок со строго определенными границами, бывает и лесная дача.

\*\* Опущено редакцией «Русской Старины» или цензурой.

- Лучших сведений, ваше сиятельство, получить не можете как от откупщика NN\*.
  - А помещики?
  - Каждый знает продажу своего хлеба, а NN знает общий ход торговли и в соседних губерниях.
  - Вы хорошо знакомы с откупщиком?
  - Довольно коротко знаком, бываю у него.
  - Что за человек этот откупщик?
  - Человек очень умный и всеми любим.
  - Вы знаете, что он дает деньги чиновникам?
  - Знаю.
  - Знаете сколько и кому дает?
  - NN, прошлого года, раздал в губернии двести семьдесят тысяч рублей.
  - Как вы это знаете?
  - Он показывал мне список – кому и сколько.
  - По какому случаю?
  - Он предлагал мне десять тысяч в год.
  - За что?
  - Просто ни за что, тем более что если б я и хотел вредить ему, то не мог бы.
  - Отчего так?
  - Этого я не могу сказать вашему сиятельству.
  - За что же он предлагал?
  - NN говорил, что я скромно живу, беден, то эти деньги в несколько лет могут составить мне капитал, и при этом показывал список раздаваемых денег; сказал: «досадно, все возвращаются чрез кабаки. Мне назначена сумма, то кому хочу – отдам».
  - Ну что ж, вы взяли?
  - Нет, ваше сиятельство, не взял.
  - Отчего же?
  - Не пробовал еще брать чужих денег.
  - А Жиркевич сколько берет?
  - Жиркевич не возьмет и от архиерея.
  - Так вы желаете доставить мне честь познакомиться с откупщиком?
  - Как угодно вашему сиятельству.
  - Хорошо, я завтра увижусь с вами и скажу вам.
- Разговор продолжался о помещиках, о духе в губернии [по отношению] к правительству. Спросил о Бестужеве и Флиге (они уехали в ночь приезда графа). Я распинался за преданность дворян к государю и правительству, а о Бестужеве и Флиге отделался общими местами.
- Через день позвал меня граф:
- Я хочу исполнить ваше желание; предоставляю вам, перед вечером, познакомить меня с откупщиком.
  - Желая ваше сиятельство, чтобы вы остались довольны моею рекомендациею.
- Ныне из Записок И.С. Жиркевича узнал, что граф говорил с ним о NN и что Иван Степанович поддержал мою рекомендацию.
- Перед вечером я привел NN к графу и представил его. Меня удивил прием графа: он встал и вежливо поклонился, посадил NN. Я откланялся. После NN говорил мне:
- Сначала мне было неловко, но как попал на торную дорогу, то и сон пропал, проговорили всю ночь.

---

\* Ранее упоминался откупщик Бенардаки, который подарил уволенному губернатору Загряжскому карету, этот же, весьма даровитый грек будет упомянут и ниже. – Примеч. М.И. Классона

Когда я провожал графа, он сказал мне: «ваш протезе оправдал себя». Я расскажу, что знаю о NN от него самого. Это сухой грек, копченый, как все греки. Среднего роста, большой рот, вечная улыбка, и в пояснице шалнер: так кланяться очень трудно\*. Грек предобрый, но обидчивый и не простит. Умный, дальновидный, хитрый. Его звали NN, а жену NN – красавица.

Вот что рассказывал NN: “сын бедных родителей, я был записан в кавалерийский полк, в полку ни разу не был, вышел в отставку поручиком. В Таганроге имел кусок земли, табачную лавочку и перебивался. В Таганрог приехал государь Александр I-й. Вызывают на поставку ко двору [Его Императорского Величества] разных продовольственных припасов. Таганрогские греки-богачи труслили незнакомого дела. Я решился и взял подряд; родные богачи, видя, что я потерять [в этом надежном деле] не могу, сделали мне кредит. Прошел месяц, со страхом являюсь к метрдотелю (кажется – Бенуа)\*\* . Сидит в большом кресле, богатый халат, читает книжку. Я стою смиренно у дверей. Взглянул строго: «что?» Я глубокий поклон <...>\*\*\* и подаю ему счет месячного расхода. По правде, я составил счет такой, что если и убавить, то будет не обидно; в итоге стояло 18 тысяч рублей. Метрдотель посмотрел на итог и сердито бросил на пол: «Как сметь подавать такие счета? Что скажут обо мне? Как мог я продовольствовать русского императора целый месяц за 18 тысяч! возьми и исправь». Нечего делать, взял счет, а на другой день подал итог 84 тысячи ассигнациями с копейками. Метрдотель посмотрел и сказал: «Ну, это на что-нибудь похоже», – подписал. Я держал пачку в 10 тысяч, он взглянул и сказал: положи! У меня собрался такой капитал, что в Таганроге мне было тесно. Тогда гремели откупа, я этого дела совсем не понимал. Тогда в откупах был главный воротило Кузин. Я к нему в Харьков, прикинулся бедняком. Меня приняли в контору писцом. Угождал управляющему, он заметил мое прилежание и сметку. В двух уездах поверенный запутал счета и кутил. Кузин велел командировать надежного; управляющий выбрал меня и ручался. Я привел в порядок счета и [был] утвержден. Так я изучил механизм и администрацию откупа. Наступили новые откупа, я к Кузину – прошу принять меня в долю. – Да что же у тебя есть? – Я объявляю капитал. – Да ты поступил в канцелярию? – Я приехал к вам учиться и теперь выучился. – Ну, брат, из тебя будет толк. – Вот я и управляю почти без отчета”.

Приходит ко мне NN вечером:

– Не нужно ли что вам что-нибудь к Л.В. Дубельту? я завтра рано еду в Питер.

– Что так вдруг? вы на днях ничего не говорили.

– Откуп плохо идет.

– Что ж вам поможет Питер?

– Вот, видите ли, если мало пьют, то нет средства поправить дело: откуп – банкрот! а если отлички по кабакам хорошие, т.е. хорошо пьют, то откупщик не успеет выбрасывать денег за окно. Пьют мало – денег нет в народе; дать народу денег – и откуп богат!

– Что же, вы привезете денег из Питера и раздадите народу, что ли?

– Нет, теперь торги в военном ведомстве на провиант; возьму подряд, пушу деньги по базарам, закупая хлеб, и откуп поправится.

Вот механика откупная! Еще о NN. Помещик NNN (кажется, Петр Иванович) человек очень умный, из зависти к удачным спекуляциям NN чернил его. NN затаил злобу. NNN любил спекуляцию. NN сблизился с ним и предложил выгодный оборот хлебом. NNN вошел в дело пополам. Спекуляция лопнула, убытка (говорили) до 60-ти тысяч. NN смеялся,

---

\* Шалнер, устаревш. – шарнир.

\*\* Метрдотель – заведывающий столом при дворе и домах знати; дворецкий, стольник, трапезничий. Э.И. Стогова и на этот раз память не подвела: известный архитектор Николай Бенуа родился в семье придворного метрдотеля Луи Жюля Бенуа (1772-1822). – Примеч. М.И. Классона

\*\*\* Опущено редакцией «Русской Старины» или цензурой.

а NNN – в нервную горячку. Выздоровел, перестал завидовать и бранить NN, который после доставил случай поправить убытки NNN.

Читая Записки И.С. Жиркевича, зная хорошо его, удивляюсь его сдержанности – как он умеренно относится о характере Андрея Васильевича *Бестужева*\*. Может быть, потому мне так кажется, что я лучше знал Бестужева, чем И.С. Жиркевич.

<...>

Припомнился мне один случай, имеющий некоторый интерес местных нравов, о которых мне не случалось читать. Скоро после перевода казенных крестьян в удел Андрей Бестужев, летом, приезжает ко мне и рассказывает, что «получил строгое предписание от Перовского: во всех удельных имениях учредить картофельные плантации. Вы знаете, что здесь мужик имеет трехгодовалые кладушки не молоченного хлеба, а картофель не очень любят. Приказано – завел. В Ставропольском уезде встретил затруднение». – Какое? – «Крестьяне не хотели взять в руки картофель». – Отчего? – «Они уверены, что картофель родился от кастрации собаки, и такое чувствуют омерзение, что нельзя было заставить дотронуться до картофеля; вынужден был нарядить здешних людей и послать за Волгу. Посадить – посадили, а как собрать? не знаю. Вот так распоряжаются кабинетные хозяева!» Я посоветовал у плантаций поставить караул. Бестужев смеялся: «какой там караул, когда никто и не подойдет к плантации». – Поставьте стариков полуглухих, полуслепых; мальчишки из шалости, дразня старика, будут воровать, вы знаете: что запрещено, то подслащено.

После я от Бестужева же слышал, что мальчишки тихонько от родителей, из шалости, в самодельных печках пекли картофель. При случае я поверил и нашел в нескольких деревнях за Волгой сильное предубеждение против картофеля. Разубедились ли после – не знаю.

<...>

### ***Э.И. Стогов. Роман Медокс***

#### ***По поводу его рассказа об ополчении горцев в 1812 г.***

*«Русская старина», август 1880 г.*

Иркутск был хорошо мне знаком в 1818 году; в 1830 г., чрез 12 лет, много воды утекло. Перемены нашел во всем: в начальстве, в жителях, даже частью в обычаях. Между многими особенностями я обратил внимание на пять-шесть человек, не знаю – сосланных или

---

\* Большая часть отзывов И.С. Жиркевича об А.В. Бестужеве нами опущена в печати, точно так же как мы опускаем и теперь некоторые строки в очерках Э.И. Стогова: для нас лица, такие как Андрей Васильевич Бестужев, имеют лишь значение по отношению к их общественной деятельности; А.В. Бестужев ведал и управлял многими тысячами удельных крестьян, и деятельность его в этой области всецело принадлежит суду его современников и потомства. – Противоречивое примеч. ред. «Русской Старины»

Статский советник А.В. Бестужев, как уже упоминалось, служил в это время управляющим Симбирской удельной конторой. Однако у него были и тесные личные имущественные отношения в губернии, в частности, в Симбирском уезде. Так в 1837 г. вдова коллежского асессора Надежда Порфировна Русенева продала ему пустошь Полоцкую (370 десятин и 285 сажень) под селом Покровским (Озерками), примыкавшую к пустошам Языковская и Утинская (238 десятин и 288 сажень) под деревней Марьевка. А.В. Бестужев, получив последние от дяди Петра Борисовича, перевел из деревни Городищи 35 душ крестьян (9 дворов), чем и положил начало деревне Марьевке. Здесь же им была построена большая мельница на реке Свяяга. Ему же перешло по наследству от отца и дяди сельцо Крутец, влившееся затем в село Богородское, Репьевка тож. Было имение и в деревне Карцевка (куплено А.В. Бестужевым в 1836 г. у вдовы коллежского асессора Марьи Яковлевны Кротковой – 1 552 десятины и 559 сажень). Про удачную продажу А.В. Бестужевым своего особняка в Симбирске Департаменту уделов, не выезжая из него (пока он был управляющим Симбирской удельной конторой), мы уже упоминали. Так что историки могут на этом и других подобных примерах защищать диссертации насчет коррупционной смычки частных и служебных дел в XIX веке! – Примеч. М.И. Классона

удаленных. Прежде бывали такие субъекты, но они жили по деревням, а теперь в Иркутске. Было их, может быть, и более, но эти были особенно приличны, образованны и были приняты – кроме генерал-губернатора – почти везде.

По рассказам особенное мое внимание обратил некто Медокс; о нем везде много говорили, но, странное дело, из многого не рисовалось ничего ясного, рельефного – все рассказы с какими-то недомолвками. Что бы ни говорили о Медоксе, непременно слышишь: говорят, будто бы, вероятно, должно быть и проч. Положительного – ничего. Говорили, что он член европейского тайного общества, что неизвестно от кого, но от разных лиц получает деньги и довольно часто; Медокс ли он – это неверно; что он был флигель-адъютантом в 1812 году; даже из бумаги, по которой он прислан [в Иркутск], ничего заключить нельзя.

Помню, первый раз я встретил его у путейского офицера. Медокс лет 35-ти, небольшого, даже малого-среднего роста, с редкими наперед волосами – светлыми, но с сильным рыжим оттенком; выбрит чисто, лицо продолговато, бело – как у рыжих, правильно; глаза необыкновенно подвижны, сложен крепко и правильно; голос тих, при начале речи заикался порядочно. Заметно, что ни с кем не начинал говорить сам, но отвечал коротко и обдуманно; поведения неукоризненного. Одет всегда в сюртуке, часто горохового цвета, всегда очень опрятен. Что особенно обращало внимание, то это щегольское белье – очень тонко, необыкновенно бело, видно – это была любимая его статья костюма.

Медокс держал себя прилично, но я не помню, чтобы он сам подходил к кому-нибудь. Первое впечатление у меня было – это кровный англичанин! Я говорил с ним, он отвечал охотно и вежливо, но я остался с теми же сведениями, как и все: говорят, и то и се. Я ласково пригласил Медокса к себе в адмиралтейство; он был несколько раз, иногда по целому дню, и говорил охотно, да не то, что я хотел знать. По словам его, у него было огромное знакомство с высокостоящими в Питере и за границей. Медокс отлично знал Кавказ, говорил занимательно об обычаях горцев и вообще о жизни Кавказа.

– Вы там долго были, Медокс?

– Не очень долго.

– Вы что там делали?

– Я имел поручение, но зависть, интриги – испортили прекрасное предприятие.

– Какое предприятие? – а он начнет рассказывать прелюбопытные анекдоты об обычаях и личностях, да тем и отделается.

О чем ни спросите, у него всегда готова ширма, за которую он ловко спрячется, рассказывая не то, что вам хочется знать. В деньгах никогда не нуждался Медокс; он получал по почте; раз я сам видел повестку на 700 рублей. От кого деньги? никто никогда не знал. Если б я хотел продолжать рассказ о Медоксе в Иркутске, то повторялся бы – не более.

Уезжая из Иркутска и прощаясь с Медоксом, я выразил сожаление, что его молодая жизнь в Иркутске скучна, недейтельна. Он отвечал:

– Ничего, пока сносно.

– Хорошо бы и вам проститься с Иркутском.

– Я здесь, пока здесь Лавинский, а уедет он, уеду и я.

Я подумал, хвастаешь, не вырвешься [из ссылки], но он говорил так спокойно и твердо, что я спросил:

– Вы не шутите, Медокс?

– Нет, я говорю серьезно.

– Да разве от вас зависит быть здесь или в Петербурге?

– Конечно, если я говорю, то оно так и будет.

Я в Петербурге; перешел в корпус жандармов и пока состоял при шефе; у графа *Бенкендорфа* всякий день в 10 часов прием просителей, на приеме и я. Лавинский выехал [из



Иркутска в Петербург] и отказался [потом] ехать в Сибирь. В один приемный день у шефа смотрю и глазам не верю – Медокс! Он меня не узнал. Я подошел к нему, поздоровался:

– Как, вы здесь?

– Я не хотел оставаться без Лавинского.

Это он сказал очень спокойно – как бы сказал: хорошая погода. Вообще, Медокс в зале шефа был как дома. Вышел граф Бенкендорф, подошел к Медоксу, назвал его по фамилии, спросил, давно ли приехал.

– Вчера, – заикаясь отвечал Медокс.

– Ты будешь жить в Петербурге?

– Ваше сиятельство, в России нет человека без звания, а я никакого звания не имею; прошу пожаловать мне какое-нибудь положение.

Граф засмеялся и ласково сказал:

– На днях зайди.

*Дубельт*, видя, что я разговаривал с Медоксом как знакомый, спросил меня, и я рассказал ему об Иркутске, а на вопрос мой *Дубельту* – кто такой Медокс? он отвечал:

– А кто знает этого чортова сына, он и сам сбился с толку.

Через немного дней Медокс явился; граф объявил ему, что Государь пожаловал ему звание – отставного солдата, на которое и получил свидетельство, Медокс, казалось, был очень доволен. Я много раз встречал его в щегольском фаэтоне; он раскланивался со мною, я сказал ему мою квартиру; он не сказал мне своей, говорил: «живу временно, скоро перееду».

Медокс всегда отлично одет, всегда вежлив и всегда скуп на слова. Вот, что мне кажется вернее: отец Медокса был антрепренер группы актеров, какой нации – не знаю, но глядя на Медокса, я видел в нем англичанина. В 1812 году Медокс нарядился флигель-адъютантом, на Кавказе хотел образовать отряд горцев, повергнуть их Государю – но сорвалось! Тянулось дело очень долго; кончили как-нибудь – в Иркутск. Что Медокс принадлежал к какому-то сильному тайному обществу, мне кажется – это, несомненно\*.

В 1835 году я в Симбирске получаю секретное предписание: в Москве был очень богатый старый грек Максим (кажется); у него была знаменитая и драгоценная жемчужина, которая так была правильно кругла, что раз двинутая по горизонтальному столу – долго каталась. Грек обладал драгоценною коллекциею табакерок и многими драгоценностями. Является к греку флигель-адъютант с рескриптом Государя, в котором Государь просит грека доверить свои драгоценные редкости посылаемому флигель-адъютанту, который возвратит их по описи. Грек, в восторге, передал флигель-адъютанту, который и пропал.

Флигель-адъютант, так, по крайней мере, заподозрили в III-м отделении (быть может, и несправедливо) – был Медокс, о котором и предписывалось, если окажется, – арестовать. *Дубельт* на поле карандашом написал: «твой друг, лови его!» Поймали или нет – не знаю.

---

\* «Масонские ложи при Екатерине II имевшие цель политическую и цель благотворительную вместе и большим успехом подвизавшиеся на обоих поприщах, были закрыты. При Павле I о них не могло быть и речи. При Александре они возобновились, но вскоре <...> масонские ложи обмельчали и, наконец, по запрещении их в последние годы царствования Александра I и, в особенности по воцарении Незабвенного [Николая], продолжали существование скрытное, уже не вмешиваясь в политику и даже избегая ее. Масонство в России преобразилось в общество взаимного вспомоществования и поддержки взаимной; богатые масоны щедро помогали бедным; люди влиятельные, сильные, имеющие связи, усердно покровительствовали своим братьям: хотел ли масон получить какое-либо место, искал ли выиграть процесс, все масоны помогали ему своим влиянием<...>». Князь Петр Долгоруков. Министр Ланской// Эмигрантский листок «Будущность», №1, 15 сентября 1860 г. (из вышеозначенной книги «П. Долгоруков. Петербургские очерки, памфлеты эмигранта»). – Примеч. М.И. Классона

Меня самого закрутила судьба, не до Медокса мне было. Прочитав в «Русской Старине», я сказал, что подсказала мне память\*.

\*\*\*

Примечание. Мы получили от другого лица краткое биографическое сведение о Р.М. Медоксе, но без объяснения причин – почему этот человек был заключен в Шлиссельбург в 1830-х годах и просидел в крепости до 1855-го года. Умер Р.М. Медокс 5-го декабря 1859 г. Ред.

**Эразм Иванович Стогов, его посмертные записки  
(род. 24 февраля 1797 г., † 17 сентября 1880 г.)  
«Русская старина», октябрь 1886 г.**

Те из читателей «Русской Старины», которые знакомы с этим изданием с первых лет его выхода в свет, конечно, помнят бойкие, живые рассказы Э.И. Стогова. Питомец Морского Кадетского Корпуса, эпохи первых лет текущего столетия (1807-1813 гг.), Стогов – в звании морского офицера, вследствие требований службы, попал в Камчатку, затем был в Иркутске; видел в Сибири немало замечательных людей и событий – и ярко очертил как их, так и вообще нравы сибиряков в своих рассказах: «Сперанский и Трескин в Иркутске, 1819 г.», «Рус. Стар.» 1878 г., т. XXIII, стр. 499-530; «Ссылнокаторжные в Восточной Сибири, 1820-1830 гг.», «Рус. Стар.» 1878 г., т. XXII, стр. 301-316, 616-632; «Бунт Иркутского архиепископа Иринея», изд. 1878 г., т. XXIII, стр. 99-118.

В 1834-1839 годах\*\* мы видим Э.И. Стогова в корпусе жандармов, штаб-офицером в Симбирске. То было время, когда в корпус жандармов принимали весьма развитых, смысленных и образованных офицеров: то было око царское за губернскую администрацию и преследователи всякого злоупотребления, впоследствии корпус жандармов получил несколько другой характер. В рассказах о сибирской жизни Стогов ярко очертил тогдашнюю провинциальную жизнь, борьбу партий и вообще всю *преlestь* русско-дворянского и чиновничьего быта вдали от столиц. См. «Рус. Стар.», изд. 1878 г., т. XXIII, стр. 631-704.

В 1840-х годах Стогов был правителем канцелярии генерал-губернатора юго-западной России – Д.Г. Бибикова; с 1850-х годов Эразм Иванович оставил службу и, поселившись в своей деревне в Летичевском уезде, Волынской губернии, всецело посвятил себя воспитанию детей и внуков.

В 1878 году Э.И. Стогов прислал нам первую свою статью и затем сделался нашим усердным сотрудником. Интересны его длинные к нам письма; и письма, и статьи – писаны карандашом, превосходным, мелким, но четким почерком, без малейшей помарки – и это на восьмом десятке жизни! Он так был еще бодр и полон энергии, что кончина его в 1880 г. была для нас совершенною неожиданностью.

После кончины Э.И. Стогова одна из его дочерей, Ия Эразмовна Змунчила весьма обязательно прислала тетрадь посмертных записок, приготовленных Э.И. для «Русской Старины». Вместе с сим и по нашей же просьбе И.Э. сообщила рассказ о его кончине. Этот рассказ, помещаемый нами после Записок Стогова, мог бы служить прекрасным дополнением к сказанию одного из наших писателей о том, как умирают русские люди.

Ред.

I.

Почтенный редактор «Русской Старины» неоднократно изъявлял желание\*\*\*, чтобы я написал подробно о моей жизни все, что сохранила моя память; это называется, кажется,

---

\* См. «Русская Старина» изд. 1879 года, том XXVI, декабрь, стр. 709-713. Читатели нашего журнала, конечно, помнят живые, талантливые очерки Э.И. Стогова из прошлой жизни русского общества; воспоминания его о Сперанском, Лавинском, Трескине и проч. и проч. – Примеч. ред.

\*\* Как уже отмечалось, здесь ошибочно указан период пребывания Э.И. Стогова в Симбирске – на самом деле, 1834-1837 гг. – Примеч. М.И. Классона

\*\*\* В рукописи было: «Милостивый государь Михаил Иванович! К издаваемому вами журналу «Старина» вы приложили мой портрет для доказательства, что у «Старины» и сотрудники старики. Это рас-

*автобиография*; я долго не соглашался, мое убеждение было, что жизнеописание принадлежит людям почему-нибудь славным, гениальным и, по крайней мере, возвысившимся над средним уровнем народа: такие жизнеописания служат поучением читателям.

Я был и есть человек толпы, моя жизнь прошла по течению, не выделяясь из 80 миллионов [россиян], но, конечно, долгая жизнь не могла не пройти без борьбы с препятствиями, без счастья, несчастья. Все это было, но так мелко, так незаметно, как в любой из жизни 80 миллионов. Чтобы исполнить хотя частью желание редакции «Русской Старины», я счел достаточным, в моих простодушных и искренних рассказах, поместить периоды моей службы. Так, вспоминая о жизни Сперанского в Иркутске, я коснулся причин решимости моей ехать в Камчатку. Вспоминая об Иринее, я рассказал о невольном занятии должности начальника адмиралтейства в Сибири. Вспоминая о службе моей в Симбирске, я объяснил причину желания моего перейти из флота и удачу поступления в корпус жандармов. Заканчивая службу в Симбирске, я кратко упомянул о невольном поступлении моем на службу в Киев, где и окончилась моя почти сорокалетняя служба. Мне казалось слишком довольно для публики о такой скромной жизни...

...Но вот и портрет мой пред читателями «Русской Старины», а потому, волею-неволею, приличие требует сказать без утайки – кто я такой. Уж если вы, уважаемый Михаил Иванович, по праву редактора и издателя журнала, заставляете меня высказываться, то я имею право оговориться: в разное время я вел записки для памяти, были и рисунки замечательных мест; одни записки зачитались, другие исчезли с многими переездами, рисунки украли в Якутске, следовательно, рассказ мой есть воспроизведение памяти; что будет искренно и только правда, за это отвечаю, а что не будет последовательности, будут пропуски, на том не взыщите, портрет мой будет моим оправданием, – в такой старой голове отвердевший мозг нелегко поддается впечатлениям воспоминания давно прошедшего.

## II.

В одной из статей, прочтенной мною в журнале, – толкуется о графине Растопчиной, рассказывается о наделавшем будто бы шуме, когда была напечатана в «Северной Пчеле» баллада «Старый Барон». Я тогда был в Киеве. Эта баллада была написана на насильственное завладение Россиею Польши. Постоянно имея дела о проделках поляков здесь и в заграничной печати (Бибииков все заграничные газеты получал, без цензуры), я, конечно, понял эту балладу. В Киев очень часто приезжали из Питера генералы, флигель-адъютанты и высшие чины правления, все это являлось к Бибиикову, и каждый рассказывал дворцовые и другие интимные новости. Вот что я припомню об этой балладе.

В Питере не поняли тайного смысла баллады; говорят, первый обратил внимание и понял [это] государь Николай Павлович – вероятно, кто-нибудь прислужился. Тогда шеф жандармов был добряк граф А.Ф. Орлов. Государь спросил Орлова, указывая на «Северную Пчелу»:

– Читал ты это?

– Когда мне заниматься этим глупостями.

– Ну, так я прочту тебе, слушай: «Старый барон – это я, невеста – это Польша».

Государь прочел всю балладу, смысл был ясен, приказал хорошенько проучить того, кто напечатал и кто сочинил. Баллада была без подписи; литературным отделом «Пчелы» заведовал Булгарин. Рассказывали, когда Орлов позвал Булгарина и указал ему на стихи, Булгарин притворился не понявшим (а может быть, оно так и было), но когда Орлов прочитал и разъяснил, Булгарин, как поляк – страшно струсил, в оправдание приносил срочную газетную работу и несколько раз плачевным голосом повторил: «мы школьники!»

---

*чет редактора и издателя; но выставив меня на сцену перед вашими читателями, вы вызываете меня рассказать о нравах во времена моего младенчества и юношества. С начала знакомства нашего вы изъявляли желание, ...».*

Добряк Орлов притворился гневным: «так ты школьник?» – хватил его за ухо и поставил у печки на колени, сам сел писать и продержал Булгарина на коленях более часа, но, пропустив, сказал: «помни, школьникам бывает и другого рода наказание». Когда государь спросил Орлова и тот рассказал подробно сцену с Булгариным, государь много смеялся и сказал: «ты (чудак) не стареешься».

Эта история сделалась известна, тогда все искали № «Пчелы», все списывали, и баллада пошла по рукам как запрещенный плод. Графине Растопчиной дано было внушение.

В Киеве я много знал, чего не мог бы знать в Питере. Слова высших лиц памяты мне. Клейнмихель ехал в Питер, а государь в Варшаву; прощаясь государь при мне сказал Клейнмихелю: «кланяйся нашим, увидевши своих». Ну, однако, извините, разболтался – дело стариковское, говорить не с кем, кругом поляки<sup>\*</sup>; многое забывается и забылось, – отвел душу.

### III.

Биографы, автобиографы начинают свой рассказ о происхождении своих фамилий, своих предков, роются в истории; мне, к счастью, не придется трудиться в этой бесплодной работе, мне не пришлось и пожить на своей родине. Все, что я знаю, мне известно из рассказов отца моего. Документов фамильных я не видал, да едва ли они и сохранились, – бедным людям не до истории. Отец мой слышал от своего отца, тот от своего и так далее.

Отец мой передавал мне, что, по преданию, наши предки выселены из Новгорода Иоанном Грозным<sup>\*\*</sup>. Это основательно подтвердил мне Александр Николаевич *Муравьев*, служивший городничим в 1830-х годах в Иркутске; он говорил мне, что он сам читал в своих фамильных записках, между многими фамилиями, подвергнувшимися остракизму из Новгорода, вместе с Муравьевыми упоминаются и *Стоговы*; Муравьевы близко нас живут. В тогдашних московских пустошах дана нам местность Золотилово, где и до сих пор роятся Стоговы: Золотилово, Московской губернии, Можайского уезда, от Можайска 25 верст по Смоленской дороге.

Предание говорит, что Стоговы в Новгороде были богаты, дед мой, Дмитрий Дементьевич, владел селением на Бело-озере, вместо оброка ежегодно получал рыбу, что помнит хорошо мой отец, но в один год рыбы не привезли, а приехал староста и доложил, что приехал другой помещик и потребовал оброк. Дедушка махнул рукой, тем дело и кончилось.

Дедушка служил; знаю, что был военный; из всей службы его мне известно, что он провождал в Охотск какого-то важного преступника и что он ездил на лосях, вероятно, на оленях. Я деда не помню, но весь околודок знал, что он был *колдун*.

Отец рассказывал мне два случая: через Золотилово идет дорога в Ельну, куда и мы – прихожане. Ехала дворянская свадьба; дедушку забыли позвать. Подъехала свадьба с поезжаными к околице, лошади на дыбы и не пошли – худая примета; другие, третьи сани, лошади нейдут в ворота околицы; тогда вспомнили о своей ошибке, что не пригласили Дмитрия Дементьевича. К нему – дедушка спит. Просили, кланялись в ноги, но известно – колдуны скоро не прощали. Наконец, дедушка простил, взял лопату и метлу, да неизбежный ковшик воды с углем, лег в воротах, заставил всех читать молитву, а сам стал сражаться с нечистым; разгреб снег, размел метлой, обошел поезд по солнцу, опрыскал водою и провел первые сани – поезд проехал. Как ни звали деда на свадьбу – не поехал.

– Как же, батюшка, наколдовал дедушка?

---

<sup>\*</sup> Писано в Летичевском уезде Волынской губернии в 1880 г. – Прим ред. «Русской Старины»

<sup>\*\*</sup> Имеется в виду поход 1569-1570 гг. Ивана IV Грозного на Новгород и Псков, сопровождавшийся разгромом этих городов, массовыми убийствами, выселением многих знатных семей за пределы бывшей Новгородской республики. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

– Если, братец ты мой, пересыпать дорогу порошком толченой печени медведя, то лошадь через дорогу не пойдет.

Друг деда приехал из Вятки, гостил две недели; тогда всякий помещик гнал свою водку, была не купленная. Дед упрашивал погостить еще два дня, друг не соглашался; отворяют конюшню, чтобы запрягать лошадей, коренная лежит без движения. Друг догадался, что это шутка деда, согласился гостить два дня. Дед заперся в конюшне; все слышали, как он с кем-то бранился, и слышали стук, борьбу. Дед отворил конюшню, и коренной конь здоров и весел.

– Как же это, батюшка?

– А если, братец ты мой, сделаешь из воска шарик с орех, да в середину закатать язык змеи и положить шарик в ухо лошади, то она упадет и скорее умрет, чем сделает движение; вынуть из уха шарик – лошадь веселее прежнего.

Раз отец с моим дедом шли по слободе Колоцкого монастыря (версты две от Золотилова)\*; в одном доме была крестьянская свадьба; дед с отцом присели на завалинке, дед сказал: «надобно, чтобы они подрались», и действительно, после ссоры и ругани мужики вышли из избы и на улице пошли на кулаки.

– Как же это, батюшка?

– Этого, братец ты мой, я не должен объяснять тебе.

– Почему же, батюшка?

– Грех делать зло людям.

Я деда не помню, но отец рассказывал, какой молодец был мой дед.

Раз привели цыгане дикую лошадь, никто и подойти не мог; дед при гостях подошел, быстро прыгнул, лошадь била и унесла. Через два часа дед приехал на лошади шагом, а ему было под 70 лет. При этом дедушка с укоризною сказал бабушке: «Ни одного в меня не кинули». Тогда это была острота; отец говорил, что гости много хохотали.

Отец показывал мне место с краю Москвы, где дед пускал свою лошадь на траву; он часто ездил в Москву верхом (120 верст).

– Лошадь не украли?

– Тогда, братец, не воровали лошадей.

Сохранилась расходная записка о поездке в Москву с бабушкой за годовым запасом. Платили дорогою на постоялом: за ночлег полушку, за ужин себе – деньгу, за людей\*\* деньгу, запаса в Москве [приобретено] на десять рублей.

#### IV.

У дедушки было три сына: Михаил, Иван и Федор. Были ли дочери – не знаю. Сыновья служили в армии; мой отец, Иван, был бессменным ординарцем *Суворова*, который за молодость звал его – *Мильга*; [а кончил службу] у Потемкина, был при его кончине. Прослужив 18 лет, вышел в отставку подпоручиком; медалей у него было много: и осьмиугольные, и круглые, и эллипсом. Рассказывал отец много. Дисциплина тогда была строгая; ездивши с Потемкиным в карете, должен был стоять навтыяжку во весь путь. Отец был замечателен тем, что к нему не приставала чума, а поэтому он часто был начальником чумных лазаретов.

– Я, братец мой, ел с ними, спал на их кроватях.

– Как же вы, батюшка, не боялись?

– А молитва, братец, от всего сохранит, бывало – все в дегтю, а я не пачкался.

– Батюшка, при вас брали Одесс?

---

\* Монастырь Колоцкой Божией Матери – Колоцкий мужской монастырь 3-го класса, основанный в XV в. на берегу р. Колочи по случаю явления иконы Богородицы; располагался в Гжатском у. Смоленской губ. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

\*\* В рукописи – «лошадей»?

– Эх, братец, какой Одесс, мы брали Хаджи-бей<sup>\*</sup>. Мы с Дерибасом тихо подошли перед зарей, так тихо, что колесы у пушек были обмотаны соломой, тесаки обмотаны паклей. Пришли и стоим, никто и шепотом не говорил. Только стало всходить солнце, смотрим: крепость тихо поднялась на воздух, покачалась, покачалась, да и развалилась надвое. После мы и строили Одесс.

Мой отец очень любил рассказывать о старине. Певал он принятые тогда в армии припевы, например, большой припев при ограждении лагеря рогатками, расходясь спать по палаткам, и много припевов. Зачем я не записал? – Не думал, что «Русская Старина» требует моих воспоминаний. Помнил отец мой весь артикул того времени. Раз, развеселившись, отец захотел показать мне кой-что из артикула. Я скомандовал: «налево, кругом!»

– Не так, братец, направо, кругом, – ружье к ноге, ружье перед себя, перемени руки, правую ногу вперед, ногу на место, левую ногу вперед – всякое движение с приговором.

Чтобы сделать направо кругом – я насчитал до 18-ти темпов! настоящий танец; вместо *марш* командовалось *ступай*. Что за удивительный народ был тогда! Отец рассказывал, что они с Суворовым зимою формировались в Полтаве, им много привели рекрут, отец имел капральство<sup>\*\*</sup>. Был отдан приказ – девятерых забей, а десятого выучи.

– Ко мне в капральство попали два из духовного звания; здоровяки, молодые. Они всегда держали нагнувши голову так, что бороды касались груди; что я ни делал и как ни наказывал – не помогало. Я сделал заостренные лучинки и каждому по две лучинки одним концом упер в грудь, а острыми концами подставил по сторонам бороды. Что же ты думаешь, лучинки прокололи в рот, а бороды уперлись в грудь!

– Батюшка, вы видели, как кончался Потемкин?

– Я, братец, стоял в ногах.

– Не помните ли, что он говорил?

Он сказал: доктор, спаси меня, я полцарства дам тебе (что это – пародия Шекспира?). Доктор поднес ему образ и сказал: «вот твое спасение». Потемкин крепко прижал образ и скончался.

Четыре раза гостивши у меня в Киеве, много рассказывал отец; рассказы весьма любопытные для современников, но не записал – жалею.

Старший брат отца, Михаил, был капитаном, отец называл его *мудрым*, он управлял всем полком. Полк стоял в Варшаве; Михаил влюбился в польку, женился, через неделю жена ушла; Михаил нашел ее в публичном доме, сошел с ума и в тихом, молчаливом сумасшествии долго жил у моего отца.

Меньший, Федор, вышел тоже подпоручиком в отставку; холостой, захотел отделиться, а так как Золотилово состояло из 30 душ, то в уважение того, что Михаил жил у отца, Федор взял 10 душ и пустошь Соловьево.

Михаила я хорошо помню; он был выше моего отца, говорят, необыкновенно силен, всегда молчал, любил очень мою мать; бывало, вспылчивый мой отец расшумится, Михаил молча, одной рукой вытолкнет отца за дверь и дверь на крючок – все молча. Я не видал его улыбки. Отец уважал его как старшего брата. Отец рассказывал мне, когда я родился, Михаил целые часы носил меня и гладил. Раз, в сумерки топились печи в Золотилове, дядя Михаил носил меня по зале, в комнате никого не было, случайно входит [слуга]

---

<sup>\*</sup> Хаджи-бей – татарское поселение, вошедшее в состав России по Ясскому мирному русско-турецкому договору (1791); в 1795 г. было переименовано в Одессу. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

<sup>\*\*</sup> Капрал – воинское звание младшего командного состава в России в конце XVIII – начале XIX в. В данном случае слово «капральство» означает отделение солдат, составляющее четверть роты, а выражение «имел капральство» следует понимать как «командовал капральством», что в XVIII в. вполне могло совмещаться с офицерским званием. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

Никита и видит – Михаил поднес меня к печке, полной жару, гладит меня, называет *зайчонком* и хотел изжарить. Никита бросился, схватил меня и сказал:

– Михаил Дмитриевич, что вы, сударь, опомнитесь!

Дядя отдал меня, взялся за голову и начал молча ходить, что он делал постоянно. В Можайск его не брали.

– Батюшка, как вы познакомились с моею матушкой?

– Зачем, братец, знакомиться: покойный батюшка приказал: «Иван, поезжай в Рузу к Максиму Кузьмичу *Ломову*, у него одна дочь, *Прасковья*, ты на ней женись, я уже все следи, и приезжай с женой». Очень не хотелось мне жениться. Я дорогой нарочно не мылся, выпачкался, нарочно разорвал брюки на коленях, разорвал локти сюртука – думал, откажут, ничто не помогло, сыграли свадьбу, и я вернулся с женою.

– Почему же вы не сказали своему отцу, что вы не желаете жениться?

– Как можно, братец, сказать отцу! Божия заповедь – чти отца твоего – тогда все жили по заповедям, скажи-ка я – угодил бы на конюшню!

#### V.

Я родился в 1797 году, февраля 24 дня, в Золотилове; я первый сын. У отца моего был слуга Никита, он был неразлучен с отцом всю его службу; это был преданный, честный и трезвый человек; в один час со мною у Никиты родился сын Иван и был назначен мне в слуги.

Я себя помню необыкновенно рано, хорошо помню старую мою няню, а более еще помню заткнутый за пояс сарафана крашенинный, синий с белыми точками платок; когда няня брала платок, то я уползал под софу, под стол, так боялся я этого платка, и немудрено – бывало, няня утрет мне нос жестким платком, то мало что выступают слезы из глаз, но долго летают искры кругом.

Мать рассказывала мне, что я родился в *голодный год*, жить было очень трудно, у ней не было молока, но она была рукодельница, делала из разноцветной бумаги, сплетая в узелки, корзинки, коробочки, посылала продавать и покупала для меня молоко.

Мать моя, Прасковья Максимовна, считалась первой красавицей по уезду; помню ее живой румянец, прелестную улыбку, русые длинные волосы, всегда улыбающиеся темно-серые глаза, тихий, приятный голос; она считалась неподражаемой хозяйкой, была цивилизованной между подругами-соседками, потому что умела писать. Обе бабушки мои были неграмотны; на вопрос мой отцу: «как же это дворянки, помещицы, а не знали грамоте?»

– А на что, братец, женщине грамота, ее дело угождать мужу, родить, кормить и нянчить детей да смотреть в доме за порядком и хозяйством, для этого грамота не нужна! Женщине нужна грамота, чтобы писать любовные письма! Прежде девушка-грамотница не нашла бы себе жениха, все обегали бы ее, и ни я, ни отец мой не знали, что твоя мать грамотница, а то не быть бы ей моею женою.

Мать моя, секретно от всех домашних, пряталась на чердак и копировала с печатных страниц, что и можно видеть из сохранившегося у меня единственного письма ее ко мне 1820 г., послал бы в редакцию «Русской Старины», – да жаль расстаться, только одно и сохранилось у меня письмо моей матери, писанное ко мне в Охотск. Мать моя как говорила, так и писала, она не могла различить букв *б* от *п*, *г* от *к*, *ж* от *ш*. Мать моя была – сама доброта, скромная, тихая, любима всеми; я только и помню одни ее ласки, любил я ее до обоготворения и молюсь за упокой ее души.

Отец мой был другого характера, он был до конца жизни суворовский *сослуживец*, ростом 2 аршина 7 вершков<sup>\*</sup>, сложения сухощавого, мускулистый и замечательно силен и не-

---

\* 2 аршина (142,2 см) и 7 вершков = 142,2 + 7 × 4,4 ≈ 173 см.

обыкновенно перенослив в физических трудах; до конца жизни держался прямо; вспыльчив, в доме и даже между близкими родными – властитель; мне говорили, что он никогда не сказал лжи. Старшим по службе, богатым по состоянию не только не кланялся, унижаясь, но был крайне подозрителен, как говорится – был щекотлив, малейшее чванство осаживал, несмотря на лицо. Я много слышал о прямоте и гордости отца; чтобы не забыть, расскажу характерный случай, который и подтвердил мне отец.

В Можайске отец мой служил судьёю по выборам<sup>\*</sup>. Вздумал объехать Московскую губернию главнокомандующий Москвы князь *Голицын*, известный барич, пропитанный парижским воспитанием; посетил со свитою можайский уездный суд; конечно, он не ревизовал дел; обратясь к моему отцу, спросил, отчего видит мало служащих?

Отец отвечал, что канцелярские приходят на службу по очереди.

– Для чего так?

– Для того, что у двоих одни сапоги, да и у многих один сюртук на двух.

– Какая же тому причина?

– Жалованья три рубля в месяц, трудно одеваться.

Отцу показалось, что князь внимательно смотрит на судейское просиженное кресло, которое, вероятно, стоит тут с учреждения суда; гордому отцу подумалось, не подозревает ли князь в обычных взятках судью, отец не выдержал:

– Вы, князь, внимательно смотрите на мое кресло, я приглашаю вас сесть и уверяю – не замараются, князь: на этом кресле я сижу!

Князь, конечно, был удивлен, слыша непривычный для него язык.

– Для чего вы мне это говорите?

– А для того, чтобы сказать, что есть честные люди и на кресле судьи! Еще прошу, можете сесть и не замараются.

Князь скоро ушел, думая, что отец мой сумасшедший, но после узнал, что с ним говорил честнейший, хотя и бедный человек. После князь судье и канцелярии прислал денежное награждение.

Отец мой не очень любил читать гражданскую печать, но зато в церковных книгах был великий знаток. Он писал: «Император, Иван, пісмо, пісал, чісло» и проч.; своей орфографии был постоянно верен, был очень богомолен и строго соблюдал посты. Хорошо помню, как приезжал к нам игумен Колоцкого монастыря упрашивать отца, помочь отправить все-нощную по уставу Феодору Тирону<sup>\*\*</sup>, – кажется, бывает постом. Помню, как отец с книгою переходил с клироса на клирос и звонким тенором что-то читал, и клиросы подхватывали; отец во всю службу командовал в церкви, и его слушались.

## VI.

Меня тянет к воспоминаниям моего младенчества, которое неинтересно, как и вся моя жизнь, но для меня младенчество имеет такой же интерес, как и вся моя жизнь.

Верстах в пяти от Золотилова есть село Праслово, там жил богатый помещик Борис Карлович *Бланк*, отец известного писателя-экономиста Петра Бланка<sup>\*\*\*</sup>. Отец мой был ко-

---

<sup>\*</sup> Согласно «Учреждениям для управления губерний Всероссийской империи о губерниях» 1775 г., в губернских учреждениях примерно  $\frac{1}{3}$  штатного состава чиновников замещалась лицами, выбранными местными дворянами из своей среды; в уездах число лиц, занимавших должности в местном управлении на основе выборов, было еще больше. В данном случае, скорее всего, отец мемуариста был главой уездного словесного суда. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

<sup>\*\*</sup> Федор Тирон – раннехристианский великомученик, чье поминовение совершается 17 февраля (по ст. ст.) и в субботу первой недели Великого поста. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

<sup>\*\*\*</sup> Сведения Стогова о том, что П.Б. Бланк был известным экономистом, подтвердить не удалось. Редактор журнала «Русский архив» П.А. Бартнев, публикуя мемуары его брата-близнеца Василия Борисовича, сообщает, что Петр Борисович был известным деятелем Тамбовской губернии, автором книги «О съедобных грибах в России». Очевидно, Стогов спутал Петра Борисовича с его старшим братом – Григорием Борисови-



ротко знаком. В летний день отец с матерью собрались сходить пешком в Праслово. Отец пошел вперед, мать не могла, видно, расстаться с первенцем, взяла меня с собою; когда догнали отца, он сердился на мать, зачем взяла меня, что я устану, а он не понесет. Прошли с версту, я сел и говорю: «устал». Кажется, мать была беременна, отцу было жаль мою мать; как теперь гляжу на ореховые кусты, между которыми шла тропинка; отец вырезал орешину, очистил головку и говорит:

– Эразм, какого я дам тебе коня, только смотри, чтобы он не сшиб тебя, ты крепко его держи, ну-ка садись верхом, я посмотрю, умеешь ли ты ездить.

И дал мне прутик погонять. Я только сел верхом, как лошадь понесла меня, отец как ни кричал: «держи, держи!», я не мог удержать и добежал до Праслова гораздо прежде родителей. В 1833 г. рассказывал я отцу этот случай; он удивился, как я могу помнить, и, вспоминая подробности, усердно смеялся. Еще [одно] воспоминание изумило отца.

Мы жили в Можайске, я рассказал отцу, как умерла няня и как ее соборовали. Отец сказал: «ты, братец, помнить этого не можешь», но когда я рассказал отцу подробно расположение нашей квартиры и того амбара, где ее соборовали, и как дьякон гадал по Евангелию, будет ли жива, а на вопрос протопопы тихо отвечал: «нет», рассказал все подробности церемонии, хотя и до сего времени не случалось видеть соборования, отец изумлялся, слушая меня. Уже кончалась служба, приходит горничная Анюта и говорит: «няня уже умерла, я видела, что душенька ее пролезла по углу черной кошкой». Няня, действительно, тихо скончалась, но на меня так подействовала уверенность, что душа должна отделиться в каком-нибудь видимом образе, что я только в гардемаринах освободился от этой уверенности, – так впечатлительно младенчество.

Вероятно, я был шалун; отец, кажется, с трех лет наказывал меня розгами, и не скажу, чтобы редко; я ужасно боялся отца, только ласка матери уменьшала мое горе.

Когда мне было года четыре, дедушка Максим Кузьмич *Ломов* приказал прислать меня к нему в Рузу. Я был единственный внук; дедушка был небогатый помещик Рузского уезда; говорили, что уже полстолетия был казначеем в Рузе. Дедушка был огромного роста, брюнет с черными густыми волосами; говорили, ему было около 80 лет, был прямой, весьма здоровый, без очков. Бабушка Настасья Ивановна была среднего женского роста, толстая, но подвижная и крепкая старушка. У них был сын Гаврила и моя мать.

У дедушки было два дома на соборной площади, оба дома стояли глаголем, в одном жили дедушка с бабушкой, а в другом помещались присутственные места Рузы; был еще флигелек в переулке, там жил какой-то чиновник, женатый на дальней родственнице дедушки. Такого счастливого житья, как мое у дедушки, и вообразить нельзя! Бабушка покупала расписные муравленые кувшинчики, и, бывало, насыплет далеко не полный кувшинчик сухого гороха, нальет воды и с вечера поставит в печурку, а поутру оказывается горох выше кувшинчика; я приходил в изумление и с восторгом ел горох. После обеда [давали] пряничные коньки, петушки и человечки, да все с золотом; любил я полузамерзшее молоко – все мне давала горячая любовь бабушки! Из большой прихожей, отгороженная перегородкой комната была моей спальней. Бабушка сама меня укладывала спать, читает молитвы и целует, и оближет мне глаза. Придет дедушка, сядет на кровать и не уйдет, пока я не усну. Помню, спрашиваю дедушку, как он знает, когда я усну, он отвечал: «знаю»; когда я спросил: «дедушка, сплю я или нет», дедушка отвечал: «не спишь», – должно быть, я невелик был.

Поутру приходит родственница из флигелька, падает в ноги дедушке и просит заступиться, что она несчастлива. На вопрос дедушки, какое несчастье, она, заливаясь слезами,

---

чем, который после выхода в отставку в 1850-х гг. активно выступал в печати (в том числе в «Трудах Вольного экономического общества»), защищая крепостное право, которое, по его мнению, являлось оригинальной и благотворной особенностью русской жизни. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

говорит, что вот уже несколько дней делает все назло мужу, бранила его, а он и пальцем ее не тронул, точно она ему чужая, – какая же это любовь! Долго высказывала свое горе. Дедушка нашел поступки мужа дурными, и бабушка подтвердила, какая же это любовь, что муж и не поучит свою жену. Отпустил дедушка просительницу с утешением, что он поправит это дело. После обеда по призыву явился виновный муж; это был мужчина лет 30-ти, прилично одетый, высокий, стройный. Не помню всего, что говорил дедушка, сначала тихо, потом гневался, виновный просил прощения и более молчал. Дедушка, закончив, сказал: «чтобы я более о таких безобразиях не слыхал, не то смотри у меня, ты знаешь, как я учу!»

Дело было к вечеру, уже зажигали огни, мы с Иваном (я забыл сказать, что и ровесник мой, лакей, был со мною) побежали через сад, одно окно флигеля выходило в сад; мы на завалинку, отдули замерзшее стекло и видели и даже слышали, как жена грубила и бранила мужа; он взял со стены полотенце, свил жгут так крепко, что он стоял в руке, схватил жену за косу, бросил на пол и преусердно бил жгутом; она извивалась под ударами жгута и все продолжала бранить; он бил ее долго, она затихала, просила прощения, подползла, целовала ноги, руки, он еще прикрикнул и погрозил жгутом, она стояла покорно и безмолвно; кончилось тем, что он обнял и поцеловались; разговора мы не слыхали. На другой день утром явилась битая, такая веселая, кланялась в ноги дедушке и бабушке, целовала руки и благодарила.

Припоминая этот случай отцу в Киеве, я спросил его, неужели супружеская любовь прежде выражалась побоями?

– А как же иначе! Подумай, от кого тебе тяжелее неприятность, от человека тебе близкого или от постороннего?

– Конечно, от близкого.

– На неприятность от постороннего я и внимания не обращаю, а огорчение от близкого хватает за сердце; а кто же может быть ближе жены? Если я не обращаю внимания на ослушивание или грубые слова жены, значит, меня не трогают ее неприличные поступки, значит, я имею к ней чувства, как к чужому человеку. Мы жили по Писанию: Бог сочетает, человек не разлучает. Жена повинуется своему мужу, а муж да любит свою жену. Есть русская пословица – люби жену как душу, а бей ее – как шубу. Муж голова в доме, ему повинуются все, тогда только и порядок. Так, братец, жили наши деды, так жили и мы, и были счастливы.

Не помню, долго ли я жил у дедушки с бабушкой, думаю, более года, счастливые не считают время. Дедушка был постоянно серьезен, бабушка ласкова, приветлива ко всем. У дедушки не было часов, он считал грехом иметь часы, говорил: «что же я буду поверять Бога, что ли?» Но зато хорошо помню особенную способность дедушки: во всякое время дня и ночи он верно говорил, который час, это и мой отец подтвердил: разбудить дедушку ночью и на вопрос – он отвечал без ошибки, который час.

Зимой сказали, что приехал мой отец; я страшно испугался, уверен был, что отец приехал высечь меня. Во время общей суматохи я забрался в кухню и спрятался под печку, нашел там короб и заставил себя. Схватились меня, кличут, я слышу, а слезы так и льются; сбились все с ног, искали долго, во всем доме тревога. Не помню, кто и как нашел меня под печкой, обрадовались, дедушка с бабушкой ласкают меня, а я горько плачу, на вопрос о чем, я признался, что отец будет меня сечь. Тут только объяснилось, что отец часто меня сек. Дедушка строго спросил отца:

– Иван, правду говорит Эразм?

Отец отвечал:

– Правда, – шалун, неслух, не покорить теперь, что из него будет!

У дедушки от зала была отгорожена узенькая его спальня. Дедушка гневно сказал: «Иван, поди-ка сюда». Двери на крючок, я с бабушкой был в зале и слышал, как дедушка сердито говорил: «да ты с ума сошел! ты дурак». Что еще было, не помню; потом ясно были слышны удары; я видал эту плетть из толстого ремня, сколько ударов получил отец, я не знаю, но слышал, как он просил прощения<sup>\*</sup>. Далеки эти времена от нас! Не правда ли – как это странно и даже невероятно теперь?! Но я расскажу [потом], может быть, еще страннее и невероятнее о своем действии в 1833 г.

Отец гостил дня три или четыре, с ним были ласковы, и отец был как дома. Любовь дедушки ко мне простиралась до того, что он поручил мне продавать гербовую бумагу, которая хранилась под кроватью дедушки. Купивший мужик давал мне грошик, который я и отдавал прятать бабушке. Как видите, я признаюсь, что брал взятки, но примите и другое мое искреннее и честное признание, что кроме этого, может быть, бессознательного взяточничества, я до сей минуты взяток не брал. Помню раз, когда приходили человек 20 за бумагой и дедушка узнал, то сказал: «надобно бы, чтобы они поправили плетень около бани».

\*\*\*

Я говорил, что у дедушки был сын, Гаврило Максимович; он служил в уездном суде, ему было лет 20, ростом с дедушку, прездоровенный, но голос был тонкий. Заговорили о свадьбе моего дяди, он ездил в Москву за покупками, о которых я ничего не знаю, но знаю, что он привез новость для всей Рузы – это невиданные тогда смазные сапоги, о них говорили очень много, а мне памяты вот почему. Я был назначен шафером. Вечером было человека четыре гостей, вероятно, сослуживцев дяди; сидели около небольшого стола, я залез под стол и, вероятно, лизнул глянec на сапогах, которые были до колен, и, находя сладким, верно, преусердно лизал, а когда шафер вылез из-под стола, то я оказался негром. Бабушка сначала испугалась, а узнав, увела меня умывать. Этот случай много доставил смеха; при этом дядя рассказал, что сапожник научил его делать ваксу – надобно варить воск, сахар и сажу (как это помнится).

Привезли невесту; как я хорошо ее помню – высокая, стройная, круглолицая, с живым румянцем, крошечку рябая, голос мягкий, как будто сиповатый, но приятный, глаза серо-голубые, волосы русые. Была очень нарядна, убрана разноцветными лентами, походка степенная, важная, смеялась очень охотно. Олена Яковлевна, фамилии не знаю, помещица Можайского уезда, у ней было 6 душ. Видал ли ее прежде дядя – не знаю, думаю – нет. Еще за неделю, как только решили быть свадьбе, меня перевели в спальню бабушки, а мою комнату приготавливали для молодых. Сколько я помню, заботились, чтобы не подшутил кто-нибудь и не наколдовал бы в комнате: известно, что редкая свадьба проходила без колдовства, без порчи. После меня спала в моей комнате няня Гаврилы Максимовича; днем комната постоянно была заперта на замок; кроме няни входила утром и вечером бабушка, крестила на все стороны и шептала; вообще очень оберегали комнату.

Была зима, в сумерках долго благословляли, все с земными поклонами. Собор был против дома, но все поехали в санях, я впереди с образом, церковь была полнешенька. Венчание было по чину, я заметил и рассказал бабушке, что дядя целовал Олену в церкви, а дома не целовал. Домой я опять впереди с образом, опять земные поклоны, с хлебом-солью, с образами. Гости было немного, только семейные родственники; рано поужинали. Говорили, чтобы молодые ужинали в венцах, но дедушка не позволил.

Гости проводили молодых до дверей комнаты, а в комнату за молодыми вошли только дедушка с бабушкой и я, вероятно, по праву шафера; я внес все тот же образ. Дедушка сидел молча и весьма серьезно смотрел за порядком, бабушка шептала молитвы. Когда

---

<sup>\*</sup> Заметим, это тесть наказывал зятя, а не отец – сына! – Примеч. М.И. Классона

надобно было дяде снимать сапоги, дедушка сказал: «сядь на кровать», молодая стала на колени, сняла у мужа сапоги и чулки. Дедушка сказал мне: «подай», я подал молодой плетку, но уже цивилизация проникла и в Рузу: плетка была сплетена из красных и белых ленточек, да и ручка была обшита шелковой материей. Молодая серьезно приняла плетку и покорно подала мужу, тот взял как должное и плетку положил под подушку. Дедушка благословил, дал поцеловать руку и ушел; бабушка дождалась как легла молодая, крестила их и комнату, благословила, дала поцеловать руку и увела меня. Бабушка заперла дверь на замок и крепко наказывала няне спать снаружи поперек дверей, а что услышит – читать: «да воскреснет Бог».

Поутру поднимали молодых бабушка с родственницами, меня тут не было. Вышли молодые распринаряженные, особенно тетка, и в шелку, и в лентах; произвели молодые поклонение и получили от всех целование. В прихожей собрались сальные девушки. Дедушке подали стакан водки, он поцеловал молодую и весело выпил до капли, девушки заправились плясую. Дедушка взял бабушку за руку, и начали плясать русскую, дедушка бойко притопывал и ходил молодцом, бабушка плыла лебедью, дедушка подлетал, бабушка отмахивалась, у бабушки был платок в руках, – как красиво она им помахивала и то призывала, то отгоняла дедушку; долго продолжалась пляска, наконец, дедушка пошел вприпрыжку как юноша, победил бабушку, и горячо старики поцеловались. Я слышал, как родственницы говорили, что теперь и молодые не пройдут так, как Настасья Ивановна прошла правым боком; вспоминая бойкость дедушки, сознаюсь, я не смог бы совершить такого подвига. Утренние танцы тем и кончились.

Гости приходили и приезжали, стол накрыт был во всю залу. Тогда обедали рано. Молодые сидели в голове стола, я даже помню кушанья: студень, заливная рыба, поросенок под хреном и сметаной, разварная рыба, ветчина с кореньями, щи, к ним пирог с кашей, кашица, пирог с курицею, лапша, пирожки с говядиной, уха, пирог с морковью, три или четыре каши, языки, мозги с телячьими ножками и головкою, жаркое: гуси, телятина, баранина, утки и жареная рыба, к жаркому соленые огурцы, разные кисели, сладкие пироги, пирожки, оладьи с медом, из сладкого теста какие-то ленты, розаны, может быть, и еще что было. После каждого кушанья мужчины пили по стаканчику водки, было и вино в бутылках, но его никто не пил; дамы пили мед. То и дело заставляли молодых целоваться.

Припоминая, изумляюсь тогдашнему гомерическому аппетиту: сидели за столом, думаю, часа 3 или 4, и все-то ели и все-то пили. Я и теперь много ем, даже на удивление моей дочери, но я чувствую и сознаю себя младенцем перед героями на свадебном обеде; едва доверяю своей памяти, припоминая, сколько каждый выпил водки, но все было чинно, не шумно, прилично; помню, к концу обеда соседи между собою много целовались; вставали из-за стола все тверды на ногах, [явно] пьяны не были. Молодая во весь обед краснела, как маков цвет; а дядя глядел победителем; барыни и от меда зарумянились и повеселели. Тогда чаю и кофе не пили.

После обеда запряженные сани стояли у крыльца; молодые сели в рогожный закрытый возок, как в карету, с ними старшая тетка. Меня бабушка украсила: на шапку повязала красную длинную ленту и на левый рукав выше локтя – красный бант; меня посадили на козлы, по левую сторону меня стоял порядочный мешок с мелкими серебряными деньгами, думаю, это были копеечки и пятакки, по правую – две стопы маленьких клетчатых сложенных вчетверо платков. Мы ехали на тройке, лошади тоже были украшены, помню золотую красивую дугу, дедушка один в пошевнях сзади. Все гости разместились по саням.

Помню, был ясный, тихий и не холодный день; поехали шагом. Народу, мне казалось, несчетная тьма, должно быть, вся Руза стояла по обе стороны дороги. Моя обязанность была бросать в народ серебряные деньги и платки таким порядком: горстку денег напра-

во, то платок налево, другой раз, куда бросил деньги, туда платок. Народ ликовал, кланялся, снимая шапки. Временем останавливались, тогда все: купцы, чиновники, мещане – подходили к дедушке, поздравляли и целовали у него руку. Так мы проехали по всем улицам Рузы и уже в сумерки возвратились домой. Платки я все разбросал, а денег осталось немного в мешке.

Кроме гостей обедающих, пришли еще гости, вероятно, дедушка приглашал дорогою. Разумеется, бабушка целовала меня и называла умником, дала мне полные руки сладкого со стола, накрытого в углу залы, – чего-чего тут не было: разное варенье, пряники, орехи, миндаль, рожки, изюм, леденцы – это привез дядя из Москвы, моченые яблоки, брусника, большой стол весь был уставлен. На столе горели восковые свечи, а на подоконниках много горело сальных свеч. Прихожая была полна прислугой, девушек было более чем утром.

Сначала пропели поздравительную песню, поминали имена дяди и тетки; потом плясовую; дедушка с бабушкой не танцевали, а пошли парами молодые русскую; дядя отдельно танцевал, все хвалили, тетка, разодетая, стройная, с веселыми глазами, тоже удостоилась общей похвалы; дядя танцевал и трепака, и казака, а как пошел вприсядку, только мелькал, некоторые из гостей даже вскрикивали от восторга. Молодые открыли бал, помню, все танцы кончались поцелуями. Долго сменялись пары, кажется, все переплясали. Потом составили круг, помнится, все гости, взявшись за руки, ходили кругом, потом парами вертелись. Этот танец и другие не подлежат описанию, потому что они были выше моего понятия. До полночи я, сидя, уснул, бабушка унесла меня к себе в кровать; говорили, что бал продолжался далеко за полночь, кончился ужин на рассвете. Я поздно проснулся и удивлялся, что весь дом спал. Вот первая свадьба, виденная мною в жизни.

Как я ни был мал, но Рузу хорошо помню, мог бы указать и теперь, где стояли дома дедушки; летом с Иваном мы переходили какой-то ручеек, на косогоре росли редкие березы, под березами норы; говорят, в эти норы жители прятали свое имущество от набегов Литвы; я нашел там две серебряные копейки с дырочками, которые сохранились у меня и до сего часа<sup>\*</sup>. Вот только и памяти о Рузе, да глубокое и горячее чувство воспоминания о нежных ласках дедушки и бабушки.

Не хочу скрыть – когда я писал эти строки, так живо припомнилась мне незабвенная любовь этих отживающих стариков, что у меня не один десяток капнул слез, но таких сладких слез, каких бы я желал и вам, читатель!

Еще помню, мне очень нравился запах божьего дерева, растущего по ограде собора; я нюхал часто, но не сорвал ни листочка – это грех, потому что церковное.

\*\*\*

Мать моя соскучилась обо мне, писала и просила прислать меня; горько я плакал, прощаясь с дедушкой и бабушкой, плакали и старики. Напутственный молебен, благословений, поцелуев – без счета; бабушка рыдала и говорила, что более не увидит меня; мучительны были для меня эти минуты, я плакал неутешно. Надавали мне подарков, благословили образами, на дорогу бабушка дала полный мешок сладкого, о печеном и жареном я не говорю – много. Кучер и лакей получили много приказаний; уже я сидел в телеге, отъехали, бабушка выбежала, остановила, еще плакала, крестила и целовала.

Судьба не привела меня увидеть дедушку, бабушку, дядю; из всех рузских родных я видел тетку Олену Яковлевну; в 1847 году она приезжала в Киев на богомолье; старуха весьма бодрая, даже не переменялась, годы наложили свою печать, но так немного, что я без труда видел в ней молодую, разувашую мужа и подающую ему плетку в знак покор-

---

<sup>\*</sup> Во время становления Московского государства (XIV-XV вв.) г. Руза находился в непосредственной близости от границ с Великим княжеством Литовским, правители которого совершали походы даже под стены Москвы. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003.

ности и послушания. Много мы вспоминали старины; когда я напомнил ей о разуваньи мужа и о плетке, старуха покраснела, поцеловала меня, а у самой слезы на глазах; очень удивлялась, как я могу так ясно помнить подробности, что я тогда был малютка. Старуха не могла наговориться о том счастливом времени – «теперь все не то, нет тех чувств родства, нет той беззаветной дружбы, нет и веселья прежнего».

Я соглашался с теткой и уверял, что с бóльшею нашею старостию еще будет хуже, скучнее.

Дед мой умер с горя, когда узнал, что Наполеон взял Москву; бабушка и месяца не прожила после деда. У тетки с дядей были сын и дочь, были еще дети, да умерли. Жили они согласно, в довольстве; дядя простудился, заболел горячкою и умер, «а какой был здоровяк!» Тетка утерла слезы, мы не наговорились о старине, а тетка всякий раз выпивала чашек 20 чаю вприкуску и уверяла, что такого чая нельзя купить и в Москве.

## VII.

Из Рузы нас с Иваном перевезли в Можайск; мой отец был тогда соляным приставом. О нежных ласках матери я не говорю; я приехал от ее родителей, она хотела все знать, но я едва ли мог удовлетворить ее любопытству; отец дал мне поцеловать руку.

Казенный магазин для продажи соли был каменный, у самого шлагбаума на Московской заставе; часто я бегал к отцу, он давал мне мешочек с солью фунта в два, вероятно, это образцы, по которым принималась соль; мешочки я относил к матери. За заставой, по левую сторону почтовой дороги, было кладбище с длинными шестами, и их было много; тут хоронились колдуны, и эти колья забивались колдунам в спину, чтобы не вставали. Это кладбище считалось страшным по ночам, рассказов о нем ходило много.

Раз вечером у нас были гости, заговорили о страшных случаях на кладбище колдунов; о женщинах говорить нечего, но даже мужчины находили страшным сходить на это кладбище; один отец мой находил, что с молитвою ничего нет опасного. Отца подзадорили, и суворовский сослуживец взял шапку и палку – и пошел; мать моя очень плакала, и плакали дамы. Возвратился отец и принес срезанную щепку от шеста; отец гордо смотрел победителем, и все удивлялись его смелости.

В Можайске был тогда городничим Василий Иванович пан *Поняровский*, совершенный брюнет, первый щеголь, первый остряк, кудрявые черные свои волосы постоянно зачесывал рукою с затылка; он один ходил в круглой шляпе. Мать моя любила играть в бостон, конечно, без денег; около ее тетрадка с расчетом платежа за игру; постоянный партнер был пан Поняровский; он всегда острял, помню его одну остроту: «рал-рал-рал, храбрый я капрал, рал-рал-рал, черт бы меня взял». Все смеются.

Исправник Дмитрий Петрович *Кобылин*, большой охотник с собаками, давал мне заячьи лапки, а красавица его жена Пелагея Ивановна давала мне много пряников и леденцов; у них не было детей; меня очень ласкали; Кобылины были богаты, и это были аристократы Можайска.

Близ Можайска есть монастырь, называется Лужецкий; говорили, что в этом монастыре иеромонах *Константин* – из полковников, человек весьма ученый, хорошо знает французский язык. Не знаю, как устроил отец, но поместил меня с Иваном в монастырь; нам отвели келью во втором этаже. Никто о нас не заботился, никто не учил; обедали мы в трапезе с монахами; после обеда монахи собирались в так называемую *беседную*, комната с нарами. К нам в келью входили не иначе, когда мы ответим *аминь*. Летом мы бегали по садам монастырским, а зимой свели дружбу с мальчишками в слободе; тут мы поучались, смотря с завалинок на оргии монахов у вдов-солдаток; видели, кроме разврата, много кощунства. Не буду описывать ни оргий, ни кощунства – неприятно вспоминать.

В беседной только я и слышал укоризны, интриги против казначея, пересуды об игумене, зависть и злоба были господствующие разговоры. Более года я жил в монастыре и вы-

нес познания: *la fourchette et le couteau* (вилка и ножик). Не знаю, знал ли более отец Константин. Если б знал мой отец, какое вредное влияние сделал он на впечатлительный от природы мой характер, то, конечно, не помещал бы в монастырь, – дурное впечатление осталось на всю жизнь о монашеской жизни.

#### VIII.

Переехали мы в Золотилово. В одну из побывок в Праслове туда приехал из Петербурга лейтенант Иван Петрович Бунин.

Борис Карлыч Бланк был женат на Анне Григорьевне; мать ее Варвара Петровна была рожденная Бунина и старшая родная сестра Ивана Петровича; она жила постоянно при дочери. Бунин был известен во всем Петербурге как весельчак, балагур, музыкант, танцор, остряк; о нем будет речь после; он был адъютантом известного адмирала *Ханыкова*. Приезд его в Праслово – была эпоха. Большого роста, статный мужчина, мундир с золотом, короткие белые штаны, шелковые чулки, башмаки с золотыми пряжками, шпага с блестящим темляком – я глаза проглядел! Когда отец подвел меня к нему, он спросил, куда думают отдать меня?

Отец скромно отвечал, что он не богат, не знает, что и делать со мною. Бунин взял меня за ухо, посмотрел на руку и сказал: «отдайте в морской корпус, тем более что его и укачивать не будет, а об определении я устрою». Не знаю примет, но Бунин отгадал: меня ни одного раза не укачивало в море. С этой минуты было решено, что я буду моряком.

У Бланка не было детей; Анна Григорьевна и Варвара Петровна пожелали, чтобы я пожил у них; отец и мать с благодарностью согласились[; у них еще были дети]. Я, конечно, был рад, потому что избавлялся от домашних розог.

Меня поместили на антресолях, там было две комнаты, в одной жил я, а в другой – князь Петр Иванович (кажется, так) *Шаликов*. Это был молодой человек, сухой сложением, темный брюнет, с большим носом (теперь назвал бы его – некрасивый армянин\*); должно быть, он был кончивший студент. Чем занимался Шаликов и занимался ли – я никогда не видал, он только гулял.

Борис Карлович Бланк, говорили, был архитектор, другие говорили – сын архитектора; он был очень богат (говоря сравнительно с моею роднею); кроме Праслова, у него были имения в [Дорогобужском уезде] Смоленской губернии, в Тамбовской – более не помню. Бланк был лет за 40, довольно полный; супруга его, Анна Григорьевна, молодая дама очень нежного сложения и хорошенькая. Мать ее, Варвара Петровна, еще не старая старушка, маленького роста, мне казалось, любила наряжаться; я износил несколько шелковых чулок ее; помню ее туфельки без задников с каблучками: при всяком движении ноги ее каблочки хлопали, отделяясь от ноги. В доме был отличный порядок, чистота мною невиданная, всегда тихо, никто не приказывал, а все делалось. Все семейство говорило по-французски, так же говорил и Шаликов.

Более всего памятен мне большой сад, разбит геометрически верно дорожками, обсаженными березками, стриженными как одна; дорожки тверды, должно быть, шоссированы, и всегда чисты, сад загляденье! Помню, много мы собирали грибов в саду. В честь Ивана Петровича Бунина была иллюминация; после, этих иллюминаций я очень много видел – это была главная и любимая забава Бланка. Иллюминации были всегда разнообразны. Сколько могу теперь сообразить, устраивались абрисы храмов, триумфальные ворота, абрисы разных зданий, все здания освещались шкаликами и плошками, – я бы назвал теперь архитектурными чертежами. К каждой иллюминации, к каждому зданию, па-

---

\* Некрасивый армянин – П.И. Шаликов был грузином. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

мятнику князь Шаликов обязан был писать стихи<sup>\*</sup>. Живя в этом превосходном семействе, я видел только ласку и милую доброту.

Не умею объяснить себе, как случилось, что я заговорил по-французски, хотя меня никто и ничему не учил. Более всех обращала на меня внимание Варвара Петровна, она требовала от меня опрятности. Бланк много проводил времени в библиотеке; заходя туда, я видал его – то за книгой, то за чертежами; он так был добр, что ни разу не выгнал меня. Раз, помню, я застал в библиотеке сына священника, кончившего учение; Бланк экзаменовал его и при мне спросил: «тупой угол, острый угол?» (самому удивительно, как могла сохранить память непонятные слова). Семинарист не умел отвечать, Бланк с неудовольствием сказал: «не знаю, чему вас учат!»

В Праслово гости приезжали не часто, но люди богатые и почему-нибудь значительные, более занимались разговорами, что, конечно, было не по моей части, хотя я постоянно присутствовал в гостиной. Один раз приехал граф Мусин-Пушкин<sup>\*\*</sup> с дочерью, девицею лет 16-ти, она воспитывалась или жила в Петербурге; было и еще несколько семейств гостей, был и мой отец один. Бланк с графом и другими мужчинами были в другой комнате; отец сидел в гостиной близ стола. Шалуны научили графиню тронуть пальцем в середине спины отца. Молоденькая шалунья только тронула, как отец вскричал нечеловеческим голосом, вскочил и, опамятававшись, серьезно, не торопясь, взял графиню за ухо и хорошо выдрал с приговором: «молода, сударыня, видно, не учили тебя уважать старших!»

Страшный крик отца, крик и плач графини вызвали всех мужчин из другой комнаты, и какова же картина: граф Мусин-Пушкин видит, что незнакомый мужчина только что отодрал за ухо его сиятельную дочь! Граф, видно, вполне был светский, может быть, человек придворный; узнав, в чем дело, ни слова не сказал отцу и кончил ласковым замечанием дочери.

Дело в том, что отец мой, будучи совершенно здоровым, не мог переносить прикосновения к кости спинного хребта, так было до конца жизни. Если во время сна он сам как-нибудь нечаянно дотронется чем-нибудь твердым или жестким до спинного хребта, закричит на весь дом и вскочит с кровати. Я спрашивал отца, что он чувствует, когда дотронутся до спинной кости, он отвечал: «не знаю, братец, я теряю память».

– Что же, вам больно или щекотно?

– Не знаю, через минуту я ничего не чувствую.

– Батюшка, я помню, как вы выдрали графиню за ухо, ведь это неприлично.

– А по-вашему, прилично, что девчонка, у которой и молоко на губах не обсохло, дурачится и не уважает старших? а что она дочь графа – эка невидаль! граф такой же дворянин!

Один раз я бегал в саду и, добежав до пруда, с ужасом увидел, что князь [Шаликов] душит прехорошенькую горничную Машу; я начал кричать во весь голос, князь вскочил и толкнул меня в пруд; не знаю, глубока ли была пруд, прибежал близко бывший лакей, вытащил меня. Об этом происшествии не было сказано ни одного слова, но Маши я в доме не видал [более]; говорили, что она в скотной избе. Шаликов и прежде не говорил со

---

<sup>\*</sup> Имя князя П.И. Шаликова стало нарицательным для обозначения приторной слащавой чувствительности, а сам Шаликов был объектом многочисленных эпиграмм, например: Дитя пастушеской природы, /Писатель Нуликов так сладостно поет, /Что уж пора ему назваться без хлопот /Кондитером литературы. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

<sup>\*\*</sup> Возможно, речь идет о графе Алексее Ивановиче Мусине-Пушкине. Рассказ Стогова относится к первому десятилетию XIX в.; согласно «Истории родов русского дворянства» П.Н. Петрова (СПб., 1886), среди графов Мусиных-Пушкиных именно Алексей Иванович в это время имел дочерей в возрасте, подходящем к описанию Стогова: Екатерину, Софью и Веру соответственно 1786, 1792 и 1796 годов рождения. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003



мною, а после этого и подавно. Как я ни был мал, но понимал, что на князе платье было очень старо и изношено. Раз я слышал, как лакеи говорили между собою: «хорош князь, у него и куста нет своего». Конечно, у меня составилось мнение, что каждый князь должен иметь свои кусты.

Не знаю точно, но думаю, что у Бланка я жил года три, мне было хорошо, но у бабушки было лучше, что-то недоставало, должно быть незаменимой беззаветной любви! Видно, и у детей есть это инстинктивное чувство.

#### IX.

Отец в Можайске казначеем; меня взяли в Можайск и посылали в народную школу. Ходили мы в школу вместе с Иваном; школа была там, где собор, – на горе.

На этой горе есть озеро, о котором много ходит рассказов в народе; говорят, нет на середине дна и называют *окном*; будто не прибывает и не убывает вода; говорят, давно выплыла смоленая доска и проч. В соборе есть чудотворная каменная статуя Николая Чудотворца, в большой рост человека; она сделана гладко, я бы теперь сказал, из мелкозернистого плотного талька<sup>\*</sup>; взгляд весьма суров и оклад лица не русский, не славянский; в левой руке держит серебряную церковь, а в правой, кажется, меч. Народ чрезвычайно уважает эту святыню; статуя стоит близ южных дверей. Говорят, Петр Великий определил сумму на неугасимую лампаду.

Весьма довольно досталось мне розог за эту школу; как усердно сек меня отец – я хотя один случай расскажу. Были мы с отцом в соборе и оба приобщились; при выходе с выносом чаши должно сделать земной поклон, мальчишка зазевался, отец в экстазе так бросил меня об пол, что у меня хорошая была шишка от чугунного пола. Пришли домой; отец был в синем фраке с гладкими золотыми пуговицами; платок так крепко повязывал на шею узлом назад, что был красен. Помню, такой довольный после причастия, сел на софу, кожаная подушка софы была набита пухом, так что сесть на одном конце софы – другой конец поднимается горой. Отец подозвал меня и ласково спросил:

– Эразм, а какое читали Евангелие?

Я был мальчик наметанный, бойко отвечал: «Рече Господь к своим ученикам...».

– Что же далее?

Я не знал; отец вспылил, взял меня за грудь куртки, поднял и сказал: «если б я знал, что ты родился таким дураком, я бы в колыбели задушил тебя – розог!» Василиса со слезами брала меня за ручки к себе на плечи, и отец своими руками сек длинной розгой, кряхтя при всяком ударе, и хорошо высек. Хорошо, что отец не спросил меня (когда я служил штаб-офицером) в Киеве, какое читали Евангелие, – быть бы мне сеченным.

В школе ничему не учили; учитель часто приходил к концу класса и некоторым давал отметки на азбуках, отметка: посредственно – розги. В школе шум, гам, драка; учила меня более мать, и я выучился читать; писал, кажется, все буквы. Бегали мы в школу с Иваном. Памятно мне одно обстоятельство.

Пан Поняровский вздумал ровнять главную улицу Можайска; улица вся была вскопана; бегая и шая, я разбил один ком земли и нашел серебряную копеечку; мы с Иваном, разбивая комья, нашли пять копеек и все с дырочками<sup>\*\*</sup>. После старые люди по преданию говорили, что до нашествия Литвы на этом месте был гостиный двор, который сожгли.

---

\* Тальк в природе находится в виде таблитчатых кристаллов, листоватых, лучистых, чешуйчатых и мелкозернистых агрегатов, сплошных масс. Иногда образует плотные скрытокристаллические массы (стеатит). В быту и спорте обычно известен в виде порошка.

\*\* Упомянутое Стоговым выравнивание главной – Дворянской (ныне Московской) – улицы, скорее всего, было связано не с желанием городничего, а с серьезной перестройкой Можайска в соответствии с регулярным планом городов Московской губернии, утвержденным в 1784 г. Согласно этому плану Можайск должен был стать регулярным городом с четкими прямоугольными кварталами в центре. – Примеч. ред. издательства «Индрик».

Когда мы с матерью живали в деревне, меня то и дело родные брали к себе гостить; сколько я помню, все женщины были мне тетки, а их было много, но все были бедные помещицы; это я теперь знаю, а тогда я видел только ласки и родную любовь. Подолее я гостил у Василия Васильевича *Лопухина*; он был крестным моим отцом, считался не из бедных, у него было душ 40; старик с утра до вечера разбирал и собирал серебряные часы, более ничего не делал. Старик любил выпить, вечерком подопьет, ложится на кровать и тоненьким голоском, звонким и высоким альтом поет: «во саду ли во садочке хорошо пташки пели, хорошо воспевали» и проч., тогда в доме все знали, что это значит; старика не беспокоили, и он никого не беспокоил, пел всегда одну и ту же песню и с песней засыпал.

У него была одна только дочь Авдотья Васильевна, девица лет за 20, красивая, румяная, кровь с молоком; она была заветным другом моей матери. Эта тетка имела особенность: у ней ежедневно шла кровь из носа; если ей подать небольшую посуду для крови, то у ней идет кровь часы, а если большой таз, то кончалось несколькими каплями. Она спала в большой комнате с дверью на балкон и в сад. Тетка устроила мою кровать в своей комнате. Случалось мне не один раз видеть ночью, как тетка тихо выходила в сад, дверей не затворяла, и я слышал, с кем-то она шепталась. В этой деревне я видел, когда посылали девок рвать крыжовник, то тетка наблюдала, чтобы все, не переставая, пели песни. Кажется, мать объясняла мне, что это для того, чтобы девки не ели ягод.

В 1833 г. при тетке Авдотье Васильевне вдове, старухе веселой, – я более всех теток любил ее, как друга матери моей, – я самым невинным образом рассказал, как по ночам тетка вставала и шепталась в саду. Старая тетка покраснела, зажимала мне рот, повторяя: «врешь, врешь, экие скверные эти мальчишки, где и не ждешь, там они и подсмотрят».

Живя в Золотилове, я с отцом часто бывал в Федоровском, не помню, сколько верст, [недалеко], но помню, за рекой Калочей; там жил помещик Гаврило Осипович *Белаго*, он был двоюродный брат отцу. Белаго был из богатых (по-нашему); мать Белаго, Татьяна Семеновна, была крестной моей матерью. Белаго был женат на Озеровой, ее называли весьма ученой; говорят, она знала еврейский язык, но была препротивная, смуглая, длинная, худая, с большим носом. Все не любили ее, да и она была горда, не улыбалась, со всеми холодна, молчалива, более сидела в своей комнате. Тогда детей у них не было, после был один сын, весьма недавно умер.

Сам Белаго, должно быть, был образованный, а может, и ученый человек; я заключаю из того, что у него часто собирались и гостили мартинисты<sup>\*</sup>; помню Осипа Алексеевича *Поздеева*, это отец знаменитого в Москве Алексея Осиповича<sup>\*\*</sup>; *Гамалея*, еще человека три, которых забыл. Отец знал, что они масоны; воображаю, какой товарищ им был отец! Невзирая ни на что, они были очень ласковы к отцу, и разговор был у них отцу по плечу. Помню один случай. Почему-то отцу вздумалось доказать мое повинование и терпение:

---

\* Мартинисты – члены одной из масонских организаций, получивших широкое распространение в России на рубеже XVIII-XIX вв.; название происходит от фамилии одного из наиболее почитаемых ими авторов мистических сочинений – француза Клода Луи Сен-Мартена (1749-1803). – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

\*\* Стогов путает: именно О.А. Поздеев был известным масоном; о сыне известно только то, что он был морским офицером. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003.

Путают, похоже, редакторы издательства: «Во исполнение предписания Вашего Высокопревосходительства от 5 мая под № 2402 о существующем обществе Масонов в Москве в доме Поздеева – по тщательному моему секретному разведанию получил я следующие сведения. Отставной капитан-лейтенант Алексей Осипович Поздеев почитается точно приверженцем секты Мартинистов, или последователем так называемой Лопухинской и Новиковской, правила сии принял от покойного отца его, который до 1812 года сказывают был патриархом их общества<...>» (из рапорта генерал-лейтенанта А.А. Волкова графу А.А. Бенкендорфу от 10 июня 1833 г.). – Примеч. М.И. Классона

приказав мне молчать, взял за мизинец левой руки, сжал около ногтя так, что у меня из-за ногтя пошла кровь; я молчал и смотрел ему в глаза; отца уговаривали, он не слушал, но вошла Татьяна Семеновна, оттолкнула отца, меня увела и перевязала палец. В Киеве, когда я разговаривал о них с отцом, он продолжал называть их масонами.

– Они, братец, не любили меня, я мешал их сношениям с сатаной.

– Чем же, батюшка, вы мешали им?

– Как замечу, братец, что они усядутся около столика и развернут свои тайные книги и начнут шептаться, я про себя читаю молитву, – им и ничего не удастся и разойдутся. А то, братец, бывали случаи, как замечу, что они точат ножи, невзирая на погоду, тихонько выйду, да и давай Бог ноги домой, – опасные, братец, были люди!

Воображаю, как забавляло этих умных людей.

Мы жили в Золотилове, когда отец не служил, и в Можайске, когда отец занимал должность по выборам. Когда отец жила в Золотилове, часто к нему приходили казенные\* крестьяне – судиться. Придут, кланяются, просят рассудить и говорят: «как скажешь, так и будет». Отец никогда не отказывал, разберет не по законам, а по совести, непременно убедит и примирит.

Просители никогда не приходили с пустыми руками – полотенце, чашку меда, большой пряник, простой хлеб. Отец никогда не отказывал – всегда принимал как должное.

– Батюшка, я помню, как вы судили, но зачем же вы брали подарки?

– Чтобы не оскорбить, – это древний обычай, чтоб судью не утруждать с пустыми руками; что в народе утвердилось из века, того нарушить не должно, вот если б я взял в уездном суде – это было бы грешно и позорно для чести.

Когда я возвратился из Камчатки, у отца не было замка ни на одном амбаре.

– Не воруют у вас, батюшка?

– Не случалось, братец, Бог хранит.

В народе говорили соседи: «тот пойдет воровать к Ивану Дмитриевичу, кому жизнь наскучила», и говорят, был случай, укравший мешок овса не дошел до дома, умер на дороге.

Я ничего не сказал о меньшем брате отца, дяде Федоре Дмитриевиче. Он долго был холостым, очень часто бывал у нас, очень почитал отца и еще больше уважал и любил мою мать; я был баловнем его; бывало, отец высечет, плачу, придет дядя, начнет представлять, как пьяные мужики валяются, расхохочусь и забуду о розгах.

Как старшие два брата были серьезны, так меньшей был веселонаравен.

Раз отец при родных, обратясь к дяде, сказал:

– А помнишь, Федор, как мы с братом Михаилом отпороли тебя в Одессе?

– Еще бы не помнить!

Все три брата были офицерами; Федор повадился играть в карты и знаться с худыми людьми, братья и высекли его; с тех пор дядя не брал карт в руки.

Х.

Так время шло и дошло, что я должен был подписать просьбу об определении меня в морской корпус; помню, я подписывал по карандашу, прежде учился по карандашу на простой бумаге, а потом уже на гербовой. Говорили, что на всякий случай в метрическом свидетельстве мне убавлено два года.

На святках посылали меня с Василисой слушать под окнами у купца *Жаркова*; отец говорил сыну: «нечего медлить, после праздника отправляйся в дорогу».

---

\* Казенные, точнее – государственные крестьяне – одно из сословий в России в XVIII – 1-й половины XIX в.; жили на казенных землях, платили казне ренту, подчинялись правлению государственных органов и считались лично свободными. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

Пришли – и как сказали матушке, она целовала меня и очень плакала, это значило, что я поеду. В Праслово приехала Анна Петровна *Бунина* и обещала отвезти меня в Петербург с тем, чтобы отец привез меня в Москву к назначенному числу.

Сборы были долги, одели меня в серенький полусюртучок, заячью шубу, теплые сапоги. Пока собирали, мать не осушала глаз; после напутственного молебна мать обняла меня, да так и замерла, – все твердила, что больше не увидит меня; предчувствие не обмануло мать: я больше не видел ее. Я хорошо помню, что я не плакал, думаю, потому, что уезжал от розог. Сделаю последнее замечание о жизни в доме родителей: пока я был дома, много родилось детей и все умирали, а как уехал, все стали жить; мать в беременности ушиблась и умерла *семнадцатым* ребенком.

Отец сам повез меня в Москву; остановились у родных, были у Осипа Алексеевича *Поздеева*; он, узнав, что я поступаю в морской корпус, обещал написать к сыну Алексею Осиповичу, который был лейтенантом и корпусным офицером. Отец мой низко кланялся и просил, чтобы меня строго наказывали. Не помню я, по какому случаю отец водил меня на колокольню Ивана Великого; после отец рассказывал, что я лез за перилы и хотел спрыгнуть, отец едва успел схватить меня за брюки, – вероятно, закружилась моя голова на такой высоте. Видел [Царь-]колокол, [Царь-]пушку. Ходили по церквам. Пришло время отправляться.

В рогожную повозку уложили меня с теткой Анной Петровной Буниной; отец сел с ящиком. По выезде за заставу остановились, отец благословил меня, но я помню более всего его длинный палец (так мне казалось), которым он грозил мне и приказывал: «прилежно учиться, а не то он сам придет, чтобы я это помнил!» Грозный палец и обещание приехать были последние слова отца ко мне, и надолго. Мы поехали.

\*\*\*

Анна Петровна Бунина была девица и хорошенькая; она называлась *десятая муза*, едва ли не первая девица-поэт. В высшем кругу Питера была как своя, часто являлась ко двору; я это говорю к тому, что такая особа ездила тысячи верст без девушки, без лакея!

В Твери мы остановились; тетка оделась нарядно и поехала во дворец к великой княгине<sup>\*</sup>; долго там была, а на другой день мы поехали. Великая княгиня ожидала герцога Георга из Новгорода и поручила тетке при встрече отдать большой конверт. Мы встретили герцога на дороге, замахали, закричали; повозка герцога остановилась, тетка приказала мне отнести пакет. Подал я конверт герцогу, он сделал мне привет рукою, улыбнулся и приказал много благодарить. Все сошло благополучно, герцог уехал, а я, должно быть, завяз в снегу, запутался в шубе и растянулся; насилу я выбрался на дорогу. Герцог показался мне высоким брюнетом с большим носом. Повозка зеленая с кожаным верхом, на тройке лошадей; с ним сидел молодой и на козлах человек.

Не доезжая Петербурга, не знаю, где остановились; тетка опять наряжалась и уехала. Приходил кто-то престранно наряженный, и меня с повозкой отвезли во дворец. В нижнем этаже огромные и превысокие две комнаты, каких я не видывал; окна чуть не до пола; хотя день был весенний, солнечный, но еще хорошая зимняя дорога, а два окна были отворены; окна были в сад. Я влез на подоконник, где я свободно мог спать, свесил ноги за окно и болтал ногами, как все деревенские мальчишки. Смотрю, по чисто песчаной дорожке идут две женщины, одна толстая, а другая маленькая худенькая, последняя была моя тетка, а с нею шла вдовствующая императрица. Подойдя, остановились и что-то говорили.

---

<sup>\*</sup> Т. е. к сестре Александра I – Екатерине Павловне, бывшей замужем за герцогом Георгом Ольденбургским. Принц в это время был тверским, новгородским, ярославским губернатором, и его главной резиденцией была Тверь. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М. 2003

Государыня достала конфет из ридикюля и подала тетке; эти конфеты были пожалованы мне. Меня накормили какие-то господа; помню, я очень присмирел; тетку я увидел вечером; ночью мы уехали. Только дорогой тетка сказала, что гуляла с ней императрица и дала мне конфет.

В Петербург мы приехали в квартиру тетки. На третий день приехал Иван Петрович Бунин и увез меня к себе. Он был адъютантом адмирала Петра Ивановича Ханыкова.

Адмирал с семейством жил в нижнем этаже у Аларчина моста, а дядя жил во дворе в верхнем этаже. Я целые дни проводил в семействе адмирала, которое состояло из супруги, Екатерины Петровны\*, и дочери, уже взрослой, Анны Петровны, и двух сыновей пажей Пьера и Жана. Сам адмирал был в параличе и лечился электрической машиной. Адмирал был очень ласков ко мне. Электрическая машина очень памятна мне: шалуны Пьер и Жан дали мне в рот серебряную ложку, а как я получил в зубы электрический удар, я так испугался, что как дикий волчонок закусил ложечку и бросился бежать по всем комнатам; в дверях встретилась мне дочь адмирала; я головой так ударил ее в живот, что она упала; я перескочил через нее и не помню, как меня поймали и успокоили.

Анна Петровна Ханыкова после была графиня Мелина, мы, как старые знакомые, в 1840-х годах, в Киеве много вспоминали старины, и этот случай много доставил нам смеха.

Хотя и не касается собственно до меня, но мне очень хочется припомнить и рассказать, что я слышал об адмирале Ханыкове. Петр Иванович Ханыков долго был главным командиром Кронштадта. Анекдотов пропасть о нем, но как о добрейшем человеке, да, впрочем, в старом флоте и не было недобрых адмиралов, – весь флот одной семьи из корпуса. Ханыков ежедневно вставал очень рано, обходил рынок, осматривал продающуюся провизию, проверял цены, покупал связку кренделей и у повивальной бабки пил кофе. Дома дожидалась его на завтрак яичница.

Раз приходит мичман с рапортом; долго ждал, соблазнился яичницей, съел и ушел. Ханыков, не найдя яичницы и узнав, что съел мичман, не сказал ни слова, но приказал звать мичмана к главному командиру кушать яичницу каждое утро; мичман приходил, ел и уходил. Так продолжалось полтора месяца. Наступили холода, дожди; на призыв мичман отвечал, что сегодня не пойдет; являются ружейные и под караулом привели мичмана к главному командиру. Ханыков имел привычку щелкать пальцем правой руки промежду сложенных пальцев, в кулак левой руки и при этом относился ко всем: *душенька*. И в этом случае Ханыков сказал мичману:

– Душенька, душенька, как же ты смел ослушаться, ведь тебя звали к главному командиру, – посадил его под арест в Кроншлот и на столько дней, сколько он съел яичниц.

К Ханыкову часто приезжал государь Александр Павлович и обедал. Тогда очень строго был запрещен привоз спиртных напитков и портера. Говорят, государь очень любил портер. За обедом Ханыков подзывает камердинера и говорит: «как мы были последний раз в Англии, то должно быть, осталась одна бутылка, там, в углу с левой стороны, поищи и принеси». Одно и то же приказание повторялось во всякий приезд государя.

Однажды государь за столом подозвал камердинера и слово в слово скопировал Ханыкова, бутылка явилась (как будто главному командиру может быть запрет). Государь с удовольствием пил и спрашивал: «это последняя бутылка?» Ханыков заботливо отвечал: «надобно поискать».

Ханыков был флагманом во время сражения с англичанами; за потерю корабля «Всеволод» он был предан суду\*\*. Флот оправдывал Ханыкова; он приказал кораблю, бывше-

---

\* В рукописи: Катерины Ивановны.

\*\* Стогов рассказывает об этих событиях со слов ближайшего окружения адмирала, склонного его во всем оправдывать. В потере корабля «Всеволод» Ханыков, действительно, был не виноват: его приказ прий-

му на ветре, подать помощь «Всеволоду», но капитан струсил и не пошел. У Ханыкова были враги (и у такого добряка были враги); суд приговорил Ханыкова разжаловать в матросы. Государь приказал разжаловать Ханыкова на 12 часов, но приказа не объявлять ему.

Ханыков вел очень правильную жизнь, он в известный час утра и известное время прогуливался по бульвару. Ханыков, выходя из дому, был встречен врагом своим, который спросил Ханыкова, почему он не в матросском платье, и показал ему приказ. Ханыков вернулся домой, приказал обрезать полы сюртука и в куртке все-таки сделал свою обычную прогулку, но, возвратясь домой, получил удар паралича.

Бунин после рассказывал мне, что Ханыков верил в черные или несчастные дни. Однажды государь вспомнил, что Ханыков давно не получал награды. Случился тут Нарышкин и сказал: «Кстати, государь, сегодня у Ханыкова черный день, хорошо разuverить его красной лентой». Ханыков сидел за обедом, как фельдъегерь поднес ему конверт. Ханыков распечатал, выпала на тарелку красная лента. Старик горько заплакал и сказал: «за многим ты пришла ко мне, за многим!» и со слезами вышел из-за стола. Как не сказать: по вере вашей и дается вам.

## XI.

Бунин утром привез меня в корпус\* к Алексею Осиповичу Поздееву; он приказал отвести меня во вторую роту, в первую камору; этой каморой заведовал Поздеев. Кадеты все были в классах. Помню окно около печки, у которого стоял я. Вдруг шум, крик по галерее, вбегают разного возраста дети; кто прыгает на одной ножке, все говорят и, пробегая более ста человек мимо меня, каждый назвал – *новичок*. У меня зарябило в глазах. Окружили меня, всякий хотел знать мою фамилию; привели кадета под рост мне, который дразнил и толкал меня; мне советовали не спускаться; я оттолкнул; тогда заговорили, что мы должны подраться; для этого отвели нас в умывалку, составили около нас круг, фамилия кадета была *Слизов*. Он первый ударил меня, нас – то меня, то его подзадоривали; я ловко схватил его и, недолго боровшись, повалил Слизова, несколько раз ударил и хотел встать, как все заговорили, чтобы я бил до тех пор, пока не скажет «*покорен*». Я еще несколько раз ударил, Слизов молчит, остальные кричат: «бей!» Наконец, Слизов сказал: «покорен». Если бы после слова «покорен» я ударил бы Слизова, то это было бы *бесчестно* для меня, – таковы законы кадет. Я вышел победителем: эту драку можно назвать крещением для новичка.

Не помню, вспоминал ли я тогда, но теперь уверен, что ловкости в драке я много был обязан мальчишкам в монастырской слободе и дракам в можайской школе.

На другой день меня одели во все казенное, дали расписание классов на неделю. В корпусе вставали в 6 часов, становились во фронт по каморам, дежурный офицер осматривал каждого, для этого мы показывали руки и ладони: не чисты руки, длинны ногти, нет пуговицы на мундире – оставляли без булки. Наказание было жестоко – булки горячие, пшеничные, вероятно на полный фунт, булки так были вкусны, что теперь нет уже ничего такого вкусного. После осмотра офицера во фронте раздавал булки дежурный по роте гардемарин.

---

ти «Всеволоду» на помощь не был выполнен капитаном корабля «Гавриил» Чернавным (впоследствии за это привлеченным к суду). Но Ханыков был предан суду за неудачные действия против англо-шведской эскадры во время русско-шведской войны 1808-1809 гг. Оценивая эти события, Д.Б. Броневский, принимавший в них непосредственное участие, писал: «...кампания 1808 г. для корабельного флота была унизительна, но это произошло от слабодушия нашего адмирала и одного капитана». Адмиралтейств-коллегия сочла Ханыкова виновным «в неосмотрительной оплошности, слабости в командовании, медлительности и нерешительности» и приговорила к разжалованию на месяц; однако приговор не был подтвержден императором. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

\* Э.И. Стогов был зачислен в Морской кадетский корпус 8 февраля 1810 г. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

В 8 часов – в классы, каждый класс продолжался два часа, и мы переходили в другой класс. В 12 часов – шашлык, в каморы. С минуты вставания все наши передвижения были подчинены колоколу. В половине первого – во фронт и так шли в зал. Весь корпус помещался в зале; зал так был велик, что еще столько же кадет поместилось бы. Говорили, что такой длины и ширины, без свода колонн, другого такого зала в Петербурге тогда не было. Я еще учился архитектуре у старенького маленького старичка в парике – *Суркова*, строителя этого длинного зала; оно было в два этажа, очень светлое, с арматурами по стенам; с потолка висели вроде колоколов в рост человека гладкого белого хрусталя (люстры) с подсвечниками внутри, помнится, по четыре подсвечника в каждом, а у задней стены, по длине, стоял трехмачтовый корабль под парусами, мачты почти до потолка.

Зал этот был гордость морского корпуса. Столы накрывались на 20 человек, на каждый десяток – старший гардемарин раздавал кушанье. Кормили нас превосходно: хлеб великолепный, порции большие и можно было попросить [добавки]. Щи или каша с куском говядины, жаркое – говядина и гречневая каша с маслом, в праздники и пирожное, оладьи с медом и проч., квас отличный, какого после не случалось пить; для кваса массивные серебряные, вызолоченные внутри большие стопы. От обеда выходили фронтом.

В два часа в классы, опять по два часа в классе, следовательно, сидели в классах 8 часов в день, кроме субботы; после обеда – танцкласс. Выходили из классов в 6 часов; в половине 8-го ужин – два блюда, суп или щи с говядиной и гречневая каша с маслом; после, по выходе из класса, вечером, давали по такой же булке, как утром.

Белье переменяли по два раза в неделю; кровати были железные, два тюфяка, внизу соломенный, а сверху волосяной, и две подушки; одеяла сначала были толстые бумажные, а потом шерстяные фланелевые, с верхней простыней.

В моей каморе был старшим гардемарин *Бартенев*\*. Был обычай, что каждый второго или третьего года гардемарин (гардемарин до выпуска учились три года), из числа маленьких кадет, имел вроде чиновника поручений или адъютанта; меня взял Бартенев; я исполнял все его приказания: сходить за книгой, позвать кого, за то Бартенев не давал меня в обиду сильнейшим кадетам. Этот обычай был общий, каждый кадет в свою очередь был в должности ординарца и после, сделавшись гардемарин, – имел ординарцев.

Этот обычай теперь покажется унижительным, и я читал в одной статье, где говорится об этом обычае с презрением, но я думаю – это близоруко! В том нет унижения, что принято всем обществом. Этот обычай, напротив, новичка приучал к повиновению; это чувство послушания с мягких ногтей сроднялось с ребенком, и я уверен, та удивительная дисциплина старого флота, если шла легко, если повиновение старшему и исполнение долга было как бы врожденно офицеру флота, то это природнялось от помянутого мною обычая в корпусе.

\*\*\*

С глубоким благоговением вспоминаю о благодетельном учреждении морского корпуса; не знаю современных учреждений, но, как все старики, думаю, теперь ничего нет подобного! Обращаясь к своей юности, воображаю себя в настоящее время. Сын старой дворянской фамилии, служилого рода, но сын хотя честнейшего, но бедного отца, не имеющего средств уделить десяти рублей на науку для сына, – что бы со мною было в настоящее время? [Дорога только в коммунисты! Теперь, может быть, и не было бы странно это, но] тогда бедного дворянина не отличали от дворянина богатого, и сын бедного дворянина заботами правительства делался полезным слугою отечеству и государю. Теперь,

---

\* Скорее всего речь идет о Павле Александровиче Бартеневе (? - 1826), произведенном в гардемарин в мае 1811 г. и закончившем Морской кадетский корпус в 1814 г. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

где живу, я знаю много лакеев, кучеров, имеющих право на родовое дворянство, и это даже не странно. Вот если б теперь увидеть не в почете детей *Гор[о]вица, Варшавского*<sup>\*</sup> – это было бы очень странно! Другое время, другие мысли.

\*\*\*

Меня приняли в морской корпус без экзамена, я умел только кое-как читать. В шесть лет меня выучили, сделали офицером, и я совершенно честно прослужил, сколько умел усердно, почти 40 лет и тем, по силам моим, заплатил правительству за 6 лет хлопот обо мне. Теперь внуки мои, чтобы кончить науки в среднем учебном заведении, каждый стоит родителям до 6 тысяч рублей, да если два года не перешел по экзамену в высший класс, то отпускают на подножный корм, вот вам и готовый коммунист! Прекрасная вещь теперь «аттестат зрелости». Меня радует этот современный прогресс, хотя немного и оскорбляет мысль, что в наш век не было зрелых. Ну, да мы, старики, привыкли к оскорблениям, вон (журнал) «Яхта» называет старый морской корпус – «*Карцовщина*», сделал адмирала Петра Кондратьевича Карцова<sup>\*\*</sup> нарицательным позорным именем!

Я из последних кадет директора корпуса Карцова; я не знаю, долго ли Карцов был директором, но бóльшая часть старого флота офицеров – воспитанники Карцова. Я бы спросил оскорбителя корпуса унижительным названием «Карцовщина» – какие флотские офицеры заслужили уважение и доверие флотскому мундиру за границу и в России? Все *Карцовщина*! Я не отвергаю, современные носящие морской мундир достойно поддерживали общее мнение о честном мундире флота, но создала *Карцовщина*! Не отвергаю и того, что современные офицеры флота учнее Карцовщины, но, господа, не гордитесь, не вы учнее, учнее современная наука! Как вы теперь знаете науку, так и мы знали науку своего времени; ваши наследники будущих поколений будут учнее вас, прогресс науки идет неустанно вперед. Если вы, господин, осуждающий старый флот, – моряк, то да будет вам стыдно!

Я, остаток старого флота, слежу за реформами во флоте, вижу кой-что не нравящееся мне, но не позволю себе выразиться необдуманно и дерзко, как вы, остро – Карцовщина!

С уничтожением старого морского корпуса я видел будущий недостаток офицеров во флоте, что и оправдалось; необходимость заставила приблизиться к старому порядку. Полезные реформы делать не так легко, как кажется реформистам, которые считают важным, переименовав название вещи, что создали новую вещь. Например, вся Россия привыкла посылать по почте «*страховые письма*», и это название «*страховое*» было усвоено и понятно всему народу, но вдруг произошла глубокая реформа – приказано называть «*заказное письмо*». В строгом смысле русского понятия, это новое слово не выражает полного своего значения, русский человек привык *заказывать* мастеровому карету, сапоги и проч. Заказывать письмо почте не выражает понятия о себе. Почта не сочиняет писем, хотя ей и *заказывают*. Но есть такие умы, которые считают славным и новым изобретением, переименовав имя вещи, хотя вещь остается та же. Но стоит ли осуждать подобные реформы! надписывая на конверте «заказное», дозволяется улыбнуться.

---

\* Гор[о]виц, Варшавский – Стогов имеет в виду выходцев из состоятельных еврейских семей. Западные губернии, где он жил на склоне лет, входили в так называемую «черту оседлости», и здесь фамилии Горвицев и Варшавских были достаточно распространены. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

\*\* В «Очерках истории Морского кадетского корпуса» Ф.Ф. Веселаго пишет о П.К. Карцеве: «*При своих преклонных летах, присутствуя еженедельно в Государственном Совете, Правительствующем Сенате и Адмиралтейств-коллегий и еще дома занимаясь делами, он не мог входить во все подробности управления и вполне доверял: распорядительную часть – Брятинскому, Мамаеву, В.М. Головкину и впоследствии И.И. Сульменеву, а учебную [Платону Яковлевичу] Гамалею и потом Горковенко. Воспитанники видели его чрезвычайно редко; в последнее время два или один раз в год*». – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003



\*\*\*

Начиная с Петра Кондратьевича *Карцова*, я могу назвать всех корпусных офицеров и имена их вспоминаю с благоговением, эти люди занимали должности по призванию. Видал я виды в долгой своей жизни, но не могу без полного удивления и благоговения вспомнить об этих безукоризненных тружениках, обрекших себя на неустанное воспитание вверенных им детей.

Начальник роты был штаб-офицер; он был попечитель всего хозяйства в роте; в каждой роте было четыре, пять обер-офицеров – лейтенанты, это были блюстители нравственного порядка; они дежурили поротно, у каждого в заведовании была камора, от 20 до 30 человек. Дежурные наблюдали за порядком в классах, в зале.

Учебная часть вполне зависела от инспектора и учителей. Директора Петра Кондратьевича *Карцова* мы редко видели; он был ранен в обе ноги, ходил не без труда. У меня был честный офицер Алексей Осипович *Поздеев*. Учился я прилежно, помнил грозный палец отца и обещание его приехать, если буду лениться.

Вне классов и в праздники дозволялось нам играть во всевозможные игры без помехи, даже поощряли нас к физическому движению, например, зимой нам делали ледяные катки для катания на коньках, летом мы не сходили со двора, разнообразные игры в мяч, в разбойники, все игры по преданию. Парадный двор принадлежал второй и пятой ротам. Бывало, кадеты двух рот на дворе, кто во что горазд, шум, крик, беготня; случалось, Петр Кондратьевич, выезжая куда-нибудь, бывало, под воротами любителю на шалости кадет и громким басом крикнет: «о-го-го! громовы детки! хорошо, хорошо!»

Мы не боялись нашего директора, не переставали играть; сколько помню, любили его, что выражалось тем, что моя память не сохранила ему никакого прозвища и почти не упоминалось его имя, тогда как всем без исключения спуску не было: каждый имел прозвище, характеризующее его. Кадет морского корпуса отличался от кадет других корпусов видом полного здоровья и большим животом: нас не стягивали, мы еще тогда ружья не знали, а кормили превосходно.

Учебный курс разделялся на *кадетский* и *гардемаринский*. Кадетский курс в математике оканчивался сферической тригонометрией, частью алгебры; науки: география, история всеобщая и русская сокращенно; иностранный язык, один из новейших, только читать. Русский язык – правильно писать по диктовке, но не строго. Инспектором был Марко Филиппович *Горковенко*; на кадетские классы он редко обращал внимание, он весь отдавался гардемаринскому курсу, и как доставало его неусыпного, изумительно ретивого усердия! Непонятливый кадет, ленивый мог оставаться кадетом лет шесть, но все-таки делался гардемарином.

Я кадетский курс кончил в три года. Не помню, по какому случаю перед экзаменом был инспектор, вместо Горковенко, *Крузенштерн*. Весь корпус возненавидел его, ему было прозвище – «слепой колбасник», «трюмная крыса» и проч., ему показывали фиго, строили гримасы. Крузенштерн тогда был на вершине славы, как кругосветный плаватель, но видно, в массе кадет было больше инстинкта, чем поклонения славе. Если не забуду, то в своем месте расскажу с обязательными доказательствами, что Крузенштерн был бесхарактернейший, это был немец, умеющий ловко написать проект, но не исполнить. Горько бы кончилось его кругосветное плавание, если бы не распорядился всем *Макар Ратманов*. Но об этом после.

Математический кадетский курс я кончил в классе *Лоскутова*. Со мною в классе был однокамерник *Дешаплет*; он был очень способный, но лениво учился; мы были очень дружны. Андрюша Дешаплет, боясь не выдержать экзамен, упросил меня не экзаменоваться. Я хотя был из первых по классу, но для друга согласился; сели мы за отдельный стол и объявили, что экзаменоваться не хотим. Крузенштерн, обходя классы, увидал нас

отдельно сидевших. На вопрос, Лоскутов доложил, что мы отказываемся от экзамена. Крузенштерн, узнав, что мы по знанию можем экзаменоваться, подошел к нам и долго уговаривал, чтобы мы экзаменовались; мы, отказываясь, отвечали даже грубо, особенно Дешаплет. Слепой колбасник ушел от нас ни с чем.

Дежурным был Поздеев; проходя по классам, увидав нас отдельно, узнав от Лоскутова, подошел к нам; помню гневное лицо его, помню задрожавшие губы, он тихо сказал: «придите в дежурную!» В дежурной нас отлично высек Алексей Осипович, дурь наша улетучилась, мы экзаменовались и оба попали в гардемарины.

Экзаменовали в гардемарины учителя гардемаринских классов весьма подробно, потом офицеры – кадет по пяти – только из математики. Как я говорил, кадетом можно было пробыть неопределенное число годов, а попавши в гардемарины, курс наук рассчитан был на три года. Попавши в гардемарины, от каждого из нас зависело быть адмиралом.

## XII.

Я, торжествующий гардемарин, написал к родителям о моем высоком звании. В Петербург ехал дядя Павел Саватьич *Шахматов*. Отцу не верилось, чтобы я так скоро получил чин; ему казалось, что я солгал; он упросил Шахматова узнать в корпусе и, если я солгал, то отпоррроть! а если правда, то посылает мне рубль. Получил я рубль, а о замечательном дяде расскажу на досуге.

Меня брали «за корпус» то дядя, то тетка – Бунины. У Буниных были родные племянники: Петр, Николай, Михаил, Александр и Василий Николаевичи *Семеновы*\*.

Петр служил после в Варшаве; он пописывал стихи, и была известна в свое время и великим князем Константином Павловичем особенно любима комедия «Жидовская корчма», в которой очень эффектно и забавно пел жидок «спію пану пісню, спію и станцюю – Ладзарду, шинцоркравер мицерби, шине мине канцер ми» и проч. Не понимаю, как это припомнилось!

Николай, Михаил Семеновы – офицерами в Измайловском полку. Александр Семенов нарисовал сам свой портрет, прислал и был убит под Бородиным. Василий был мне ровесник, воспитывался в лицее и куда был умнее и развитее меня. Тогда появилась новая метода отвечать на вопрос не по книге, как мы заучивали, а *своими словами*. В лицее была уже принята эта система. Я любопытствовал и просил Васю объяснить мне. Он взял книгу, дал мне прочитать страницу и потребовал рассказать своими словами. Помню, я и начать не мог, он рассказал. Три урока – и я попал на лад.

Памятный мне класс у *Гребенщикова*. Марк Филиппович *Горковенко* спрашивает из навигации и требует отвечать *своими словами*, а не по книге. Никто не отвечал; я успел прочитать и бойко отвечал своими словами. Горковенко, этот святой труженик, в восторге! Я первый угодил ему.

Этот случай высоко поставил меня в классе. Помню, *Подушкин* совсем не знал урока, и теперь удивляюсь, как могло так сильно огорчать благородного Горковенко! Он искренно был огорчен незнанием Подушкина; помню даже слова Горковенко:

– Уж ты болван? Подушкин, негодяй, подь, подь, посмотри на лестницу к директору, там увидишь ямки на каменных ступеньках, эти ямки сделал твой отец головою, кланяясь, чтобы тебя приняли в корпус, а ты уже, скотина, не учишься! – и проч., а ко мне ласково: – Уж, батюшка Эразм, спасибо, иди на свое место. – По особенности имени, меня все звали по имени, а не по фамилии.

Досталась брань всем лучше меня учившимся. В классе я сидел на дальнем конце стола от классной доски, по правую сторону меня сидел *Савин*, по левую – *Лутковский*, а про-

---

\* Отец пяти упоминаемых Стоговым братьев – Николай Петрович Семенов был женат на Марье Петровне Буниной – родной сестре Ивана Петровича, Анны Петровны Буниных и Варвары Петровны Усовой. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М. 2003

тив меня – *Кумбакин*\* и *Сновидов*. Эти четверо были не из бойких, были поручены мне, говоря по-нынешнему – как репетитору. Я в одном из моих воспоминаний сказал, что хожу точно по кладбищу, и точно, о ком ни вспомню – покойник. На сей раз радостно вспоминаю о моем бывшем [со]ученике и милом товарище Петре Степановиче *Лутковском*; только одного и знаю живым; он вице-адмирал; с честью состоит (1879 г.) в совете адмиралтейства. Припомните, ваше превосходительство, гардемаринский класс Гребенщикова, которого почему-то мы звали Федрио-Санго. Припомнив, вы не можете забыть Эразма Стогова; есть и еще случай, почему я вам памятен, но поскромничаю, – промолчу.

Память у меня была хорошая; бывало, учитель покажет на классной доске формулу, я тут же показываю четырем моим товарищам. Петр Степанович имел способности, но поленился, а трое очень трудно понимали, приходилось не по одному разу толковать им. Это сделало то, что я не имел нужды учить, твердо заучивал, показывая и толкуя несколько раз.

\*\*\*

Забыл важный эпизод корпуса, прошу извинить, давненько было! От Наполеона[ для безопасности,] наш корпус посадили (в 1812 г.) на корабли и перевезли в Свеаборг. Боже мой, сколько было гордой радости, что мы на кораблях и в море.

В Свеаборге нас поместили в так называемый дворец; вместо кроватей нам дали офицерские койки; в Свеаборге мы не учились. В комнате, где я спал, была одна койка, на которую кто ляжет спать, тот заболевает горячкой, так было с тремя кадетами; я был смелый шалун, самонадеянно лег спать в ту койку и опомнился – в лазарете! После меня койку сожгли. Говорят, я 7 дней бредил, но вот странно, я и теперь подробно могу рассказать весь бред свой, последовательно.

Выписали меня к Рождеству; нас кормили отлично, а в Рождество дали нам по жареному рябчику; я, должно быть, был еще слаб, но всегда жаден, как и теперь: я объелся и заболел другой горячкой, и опять помню свой бред.

Превосходный доктор, наш общий любимец Василий Кириллович *Жуков* в понятии нашем был герой. Большой черный мужчина, еще молодой, бывало, фельдшера пьяницу *Басарчина* с одной оплеухи заставит два раза перекувырнуться; раз доктор приподнял колокол, вероятно, пудов 6-7-ми. Физическая сила всех мальчишек приводит в восторг. Еще чем *Жуков* покори нас: раз на улице ночью он упал и сломал себе ногу на половине ниже колена; ему перевязали, кость срослась, но оказалось, кусок косточки высунулся, а доктор ходил в шелковых чулках; это безобразие так не понравилось ему, что этот могучий силач положил ногу между стульев и кулаком сломал свою ногу вновь! Сам перевязал, и кость срослась правильно.

Чтобы не забыть, в 1840-х годах в Киеве, в канцелярии, докладывают мне: из Житомира инспектор военной управы *Жуков*, – входит, я встречаю его.

– Здравствуйте, Василий Кирилович!

Старик деньми ветхий, но еще виден остаток мощного человека, сильно был изумлен, как я его знаю, и еще более изумился, когда я благодарил его за избавление меня от двух горячек в Свеаборге. Много мы вспоминали старины, напомнил ему, как он сам вторично сломал ногу, старик, вздохнув, сказал: «молодость – глупость!» Старик пришел просить помощи, запутали его в пустом деле. За две горячки я распутал дело, и старик уехал счастливый.

---

\* Вероятно, Стогов ошибся: среди выпускников Морского корпуса такая фамилия не встречается, но в 1808-1817 гг. одновременно со Стоговым и другими упоминающимися здесь лицами в корпусе учился и закончил его Колюбакин Василий Андреевич, который в 1826 г. вышел в отставку с чином капитан-лейтенанта. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

Кстати, при таком множестве кадет-детей умерших в корпусе при Жукове не было; приезжал в лазарет раза два лейб-медик доктор *Лейтон*, как консультант, пройдет по лазарету и уедет. Вместо любимца нашего Жукова явился доктор – сын Лейтона, воспитанный в Англии, очень молодой, худо говорит по-русски. Весьма скоро сын Лейтона двум горячечным обрил головы и поставил на головы мушки. Кадеты умерли. Говорили, что Карцов пришел в такой гнев, что в сына Лейтона пустил табуретом, и более его не видали.

Из Свеаборга нас перевезли берегом – должно быть, в марте или к концу февраля 1813 г.

\*\*\*

Итак, я гардемарин 1813 года, мая 13 дня<sup>\*</sup>; с этого дня считается моя служба государю и государству. Этот день открывает мне дорогу в адмиралы, как бывшему уважаемому мною милому товарищу однокашнику Петру Степановичу *Лутковскому*. Но плывя по течению моря житейского, разные струи его приносят к разным гаваням. Много нас было полных сил и надежд, но где все? Знаю только одного Петра Степановича, он моложе меня и еще несет паруса, дай Бог попутного ветра и долгого, долгого плавания на пользу службы государю и отечеству. Я 28 лет как бросил уже якорь, разоружил свой житейский корабль, сначала принялся за плуг, и тот недавно оставил. В тишине, довольстве любясь внуками, устроил свою жизнь без забот, без желаний и без надежд! пока донесет струя до последней общей гавани. Оживляю в воспоминаниях за три четверти столетия.

Гардемарин делает три плавания в море, исполняя обязанность матроса и по очереди офицера. Сколько радости, гордого довольства от чувства самобытности, когда я надел парусинную блузу! Как я старался перепачкаться смолою, вооружая фрегат «Милый», который стоял на Неве у набережной корпуса. На этом фрегате я и делал первую морскую кампанию. Исполнение должности матроса после очень мне пригодилось: будучи командиром, я не затруднялся научить команду до малейшей подробности. Я был назначен марсовым, без труда завоевал место на марса-рее; воображаю, сколько было зависти у товарищей, когда я во время качки бежал по рее крепить штык-болт. Славное было время! Кормили нас прекрасно, довольно часто купались, на шалости офицеры смотрели снисходительно, дозволялось все, что развивало мускульную систему и укрепляло нервы – влезть по одному фордуну, спуститься вниз головой с быстротою падающего камня – все дозволялось<sup>\*\*</sup>.

Забыл рассказать историческую вещь.

Фрегат «Милый» вооружен в июне, я стоял на вахте и записал в журнал: «В два часа пополудни, против течения по Неве, прошел стим-бот (тогда не называли «пароход») *Берда*, на котором проследовала государыня императрица; экипаж фрегата стоял на борту без шапок». Помнится, это было в 1814 году. Пожалуй, забуду, никто не знает, как родилось и получило гражданство – слово «пароход». Мне рассказывал в Камчатке Петр Иванович Рикорд:

– Захожу к Гречу, он составляет торопливо статью для «Северной Пчелы», задумался и говорит с досадою: «Только возьми за перо, без иностранных слов не обойдешься, но что такое для русского человека выражает – стим-бот? Досадно, а пишешь!» Я, ходя по комнате, не думавши, сказал: «А почему бы не назвать – *пароход!*» Греч был очень рад,

---

\* Стогов ошибается: в гардемаринны он был произведен 13 мая 1814 г. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

\*\* Реи – рангоутные деревья, служащие для несения прямых парусов. Марс – небольшая полукруглая площадка на мачте корабля; марса-рей – рей, к которому привязывается марсель, второй снизу рей на мачте. Фордун – снасть стоячего такелажа, являющаяся креплением стеньг; нижние концы фордунов крепятся к бортам судна.

повторил несколько раз: «Пароход, пароход – прекрасно!» и перекрестил тут же стим-бот в пароход.

\*\*\*

Второй поход гардемаринком я делал на бриге «Симеон и Анна». Произошла реформа; третий год, последний моего гардемаринства, нас разместили по кораблям крейсирующей эскадры; я попал на корабль «Святослав», капитан корабля *Терновский*. Теория дать нам случай – иметь более практики на военных кораблях – была хороша, но на практике не оправдалась. На корпусных судах во весь поход мы продолжали учиться, делали счисление, были вахтенными лейтенантами по очереди, брали пеленги и проч. Корпусные офицеры продолжали классы на практике. На кораблях нас ласкали, отлично кормили и никто нами не занимался; были мы расписаны по вахтам, но не требовалось исполнения. Может быть, один я воспользовался практикою. Я был в вахте тогда знаменитого во флоте лейтенанта Александра Павловича *Авинова*<sup>\*</sup>, его звали – «*первый лейтенант*». Я почти-точно просил его научить меня управлению кораблем. Этот превосходный человек ласково приказал мне стоять около себя и, при всяком маневре, объяснял моменты движения парусов, скоро поручил мне рупор, и я командовал. Это принесло мне большую пользу впоследствии. Он почему-то звал меня «маиором». [Чтобы не забыть, пришел я из Охотска...]

### ***Последние дни жизни Эразма Ивановича Стогова***

12 марта 1881 г. Снитовка

Главная черта характера моего отца была необыкновенная сила воли, твердость. Он 35 лет курил сигары, лет 10 тому назад нашел, что это ему вредно, и больше не курил. Всю жизнь свою он очень любил преферанс; однажды, заметив, что партнеры играют с ним не для собственного удовольствия, а из любезности, он навсегда перестал играть. Он мог терпеть голод, жажду, холод, для него, кажется, не существовало выражение «*не могу*».

Целые дни отец проводил в своей комнате, до обеда читал, а после обеда – писал, «чтобы не заснуть». Много счастливых минут доставила ему «Русская Старина», писать для нее было ему наслаждением.

Вы, Михаил Иванович, могли заметить из его писем, как отец следил за всеми современными вопросами и как живо всем интересовался, хотя и не всему сочувствовал. Идеалом всей его жизни был покойный Николай I; он ставил его на недостижимую высоту и поклонялся ему усердно и пламенно.

Отец всегда был в хорошем расположении духа, говорил, шутил и смеялся очень охотно. Со всеми посторонними, без различия звания, положения и состояния – он был всегда внимателен, любезен и приветлив. Молился он всегда долго и усердно, но духовенства не жаловал.

Здоровьем пользовался завидным: не испытал в жизни своей головной боли, не горбился, не кашлял, как другие старики, а кушал как юноша. Лицо и руки у него были белые, гладкие и без морщин, а глаза блестящие и живые, как у молодого. Никогда не пил ни капли вина, водки, пива, если же приходилось кушать вино в пирожном, жаловался на неприятное ощущение: «в висках стучит, лицо горит». Это отвращение от вина наследственное, то же было у покойного деда, жившего очень долго, то же и у моего сына и у меня.

С детьми своими отец был всегда очень строг и требователен, но так любил нас, что не отдал ни одной из дочерей в институт, куда имел право поместить на казенный счет всех. Роскошь и развлечение преследовал строго, но дети были всегда веселы, хотя круглый год носили ситцевые платья, учились целые дни и чужих детей видели только во время

---

<sup>\*</sup> Встреча Стогова с Авиновым, очевидно, относится к 1817 г., когда Авинов на корабле «Орел», а Стогов – на корабле «Берлин» находились в плавании от Кронштадта до Кале. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

уроков танцев. Все дочери верили, что они бедны. Зато, выйдя замуж, получив свободу и право пользоваться удовольствиями, жизнь казалась раем земным, вкусы же остались у всех очень умеренные, к роскоши не приучились. Когда дочери выросли, он сделался самым снисходительным другом их, к внукам же был бесконечно добр и ласков\*.

Шесть лет тому назад, т. е. в 1874 г., отец выдал замуж последнюю дочь и дал нам дарственную на свои имения (около 4 000 десятин) с тем, чтобы мы (я с мужем) жили с ним. Так жили мы мирно, счастливо до конца 1880 г.; отец был весел и здоров, побаливала у него левая нога, но он не обращал на это внимания.

22-го августа уезжал после каникул мой сын в Киев; это был большой любимец бабушки, который в нем души не чаял. Попрощавшись с бабушкой, мальчик вышел от него весь заплаканный, растроганный: «Я никогда не думал, что бабушка так любит меня! Как он плакал, добрый бабушка!»

После отъезда любимого внука отец стал грустить, чего прежде с ним никогда не было, стал жаловаться на недостаток аппетита и, наконец, не приказал себе вовсе подавать обеда. Мы думали, что отец испортил себе желудок, но он долго не кушал, принимал свои пилюли, которыми лечился много лет, а аппетит все не возвращался.

30-го августа 1880 г. он скушал кусочек пирога за здоровье именинника, а потом уж крошки в рот не взял до конца, т. е. до 17-го сентября 1880 г. По утрам он пил свою чашку кофе и этим был сыт на целый день. Несмотря на такую диету, отец чувствовал себя бодрым и продолжал свои занятия по-прежнему.

4-го сентября 1880 г. я подала ему его кофе и, когда спросила о здоровье, он мне сказал:

– Знаешь ли, Юша, это ведь у меня не испорченность желудка, это смерть *приходит!* Я заметил сегодня, что у меня на желудке онемела кожа, вероятно, то же произошло и внутри, а это – смерть.

Говорил это бедный отец с такою ясностью, с таким поразительным спокойствием, точно не о нем речь идет! Видя мои слезы: «Не плачь, Юша, о чем плакать? Ты видишь, я говорю без отчаяния, без горечи, пожил долго и счастливо, благодарю Господа и без ропота пойду, когда Он призывает меня!» Мне больно было видеть его спокойствие и покорность воле Божией, я знала, как он страстно любит жизнь!

После долгих утешений мне и бесконечно ласковых, нежных слов отец встал со своего кресла, научил меня отпирать секретный замок своего денежного ящика – «а то ломать придется», другой ключ отдал мне: «А то забудешь, от чего он, некого спросить будет!» Все это с полным спокойствием, ни разу голос не дрогнул. О докторе отец и слышать не хотел: «Не поможет он мне, от смерти нет лекарства!» Едва выпросила позволение пригласить врача, для моего спокойствия.

Лекарства он все принимал безропотно, но ни минуты не сомневался в их бесполезности.

11 сентября 1880 г. хотел перейти от кресла к кровати и не мог, сказал: «Ножки отказались служить», и опять-таки со спокойной улыбкой, без испуга, без огорчения. С этого дня я не отходила от дорогого больного, ночи проводила в его кресле. Спал он тихо и спокойно, как дитя. Проснувшись, всякий раз улыбался мне самой счастливой улыбкой. На все

---

\* «Единственного своего сына – Илиодора – Э.И. Стогов, по семейным преданиям, проклял за непослушание, выгнал из дома и лишил наследства. В 1882 г. Илиодор Эразмович Стогов занимал скромную должность учителя немецкого языка в Полтавском реальном училище. Всех дочерей Э.И. Стогов выдал замуж за соседей по имению: Анну – за Виктора Модестовича Вакара, Аллу – за Владимира Тимофеевича, Юю, (Ираиду)] – за Александра Григорьевича Змунчиллу, Зою – за Льва Демьяновского. Согласно семейному преданию, младшая из сестер – Инна Эразмовна – также была выдана за Змунчиллу, по-видимому, брата или племянника Александра Григорьевича – мужа ее старшей сестры Ии» – В.А. Черных. Родословная Анны Андреевны Ахматовой. Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1992, М., 1993.

вопросы мои отвечал: «Слава Богу, ничего не болит». И так ни жалобы, ни стона до конца. Одна из сестер моих гостила тогда у меня, других двух я вызвала телеграммами; он им был ужасно рад, но о близкой кончине своей не говорил им ни слова, – верно, не хотел заранее огорчать их.

14-го сентября 1880 г. наш бедный больной стал забываться, спрашивал, где мы живем? Не мог вспомнить названия нашего уездного города. Но и тут он говорил *только* о своих дочерях, молился об их счастье. Со мной был все время так ласков, так нежен, что я и теперь не могу без слез вспомнить об этом! 16 сентября исповедался и приобщился с радостью и благоговением; тут он совершенно пришел в себя. Опять ласково уговаривал меня не плакать, не горевать о нем, просил похоронить его рядом с матерью (покойною давно\*) около церкви, просил поставить памятник и решетку, такие, как у матери.

Ночь после этого отец провел не совсем спокойно. Несколько раз просыпался, просил помочь ему посидеть. Подниму моего голубчика, посидит, прислонившись ко мне, поблагодарит и просит опять положить его. К утру заснул тихо, спокойно и крепко.

Все в доме встали, приходили на цыпочках узнать о здоровье больного, – он не просыпался.

В два часа приехал доктор из Киева и сказал, что отец уже не проснется, хотя дыхание его было ровно и спокойно, а пульс, по словам доктора, сильный, как у здорового. Доктор предложил мне оживить отца на несколько часов, но я пожалела его, не дала мучить. Несмотря на увещание доктора, я продолжала сидеть около отца, он продолжал так же спокойно спать. 17-го сентября, около 6 часов вечера, стал дышать реже, тише, тише, потом – совсем перестал.

Вот все, что я могла рассказать вам, многоуважаемый Михаил Иванович, о последних днях вашего сотрудника и почитателя. Скончался мой отец, Э. И. Стогов, на 83-м году своей жизни.

***И[раида] Э. Змунчила, рожденная Стогова***

### ***Записки Э.И. Стогова\*\****

*«Русская Старина», январь 1903 г.*

I.

Прошлое фамилии Стоговых. – Характеристика деда и отца. – Рождение Э. Стогова. – Строгость воспитания. – Тогдашнее общество. – Семейный быт. – Свадебные обряды. – Князь Потемкин в г. Рузе. – Лужицкий монастырь. – Приметы и поверья.

Фамилия моя двойная: Стогов-Можайский, а по какой причине Можайский, я добрать не мог. Дедушка мой сначала подписывался Стогов-Можайский, после ему показалось трудно, он стал подписываться Стогов, и с тех пор Можайский потерялся. Вот что я знаю о нашей фамилии. Мы были жителями Новгорода и, должно быть, богатыми. От старожил Новгородских я узнал, что несколько местностей – теперь пустырей, заросших лесом, носили название Стоговы пустоши, Стоговы озера и проч. Еще дедушка мой владел име-

---

\* Анна Егоровна Стогова (урожденная Мотовилова) умерла примерно в 1863 году.

\*\* Эразм Иванович Стогов был постоянным и, можно сказать, деятельным сотрудником «Русской Старины» почти с самого начала ее издания. Так в журнале, в разное время были напечатаны его статьи: «Ссылнокасторжные в Охотском солеваренном заводе» («Рус. Стар.» 1878 г., т. 22); «Бунт архиепископа Ириней» (1878 г., т. 23); «Сперанский и Трескин в Иркутске» (1878 г., т. 23); «Служба в Симбирске» (1878 г., т. 23); «Семенов и Бунина. Памятный день в Иркутске»; «Роман Медокс» (1880 г., т. 28) и «Посмертные записки» (1886 г., т. 52). Все эти статьи составляли извлечение из переданных впоследствии в редакцию обширных записок, которые ныне и печатаются на страницах журнала. В них встретятся некоторые повторения того, что уже было напечатано, но, в общем, записки дают очень много нового и такие подробности, которые весьма интересны и важны для эпохи, в которой жил и действовал сам автор. Э.И. Стогов родился 24-го февраля 1797 г. и скончался 17-го сентября 1880 г. – Примеч. ред. «Русской Старины»

ниями на Бело-озере, получал оброк и рыбу ежегодно; под старость деда кто-то завладел его имением; отец и дяди мои ходили в походы с Суворовым, дед был малограмотен, махнул рукой и отступился от имения, так оно и пропало.

Иван Васильевич Грозный, творя последний суд Новгороду, всех умоводителей лишил имений в Новгороде, выселил в Московскую губернию и роздал маетности. Четыре фамилии были поселены рядом: Стоговы, Муравьевы, Мураши, Огарковы. Эти фамилии и теперь сидят соседями. Муравьевы разбогатели посредством браков, а Стоговым дана была маетность Золотилово\* с 6-ю душами крестьян. Нашей же фамилии Стоговы, и тоже бедняки, отделились в Тверскую губернию, и я знал полковника, который уверял меня, что его фамилия происходит от Стоговых новгородских. Теперь в Новгороде Стоговых нет.

Из всех Стоговых были знаменитости только при Алексее Михайловиче: стольники, спальники, что теперь камергеры, камер-юнкеры, грамоты на эти знаменитости хранятся в Золотилове. Дед мой, Димитрий Деменьтевич, где-то числился в суде, с первым чином вышел в отставку и проживал в Золотилове. Он был среднего роста, как все Стоговы, но был очень силен и бодр до старости. Золотилово от Москвы – 125 верст, дед всегда ездил верхом и один; отец мой показывал мне долинку у Поклонной горы, в которой дед пускал свою лошадь кормиться на все время пребывания своего в Москве, и такова была честность тогда, что лошадь без надзора паслась и не пропадала.

– Тогда, братец ты мой, не воровали лошадей, – говорил мне отец.

Дед мой был в большом уважении в своем округе и слыл колдуном. Однажды была дворянская свадьба, на которую почему-то деда не позвали. Дорога в приходскую церковь была чрез Золотилово, поезжане в несколько саней подъехали к воротам околицы, лошади захрапели и не пошли в ворота, вывели вперед другие сани и сколько ни переменили, а лошади не идут. Кто-то вспомнил, что не позвали на свадьбу Дмитрия Деменьтевича, вот он и наделал хлопот.

Пошли к деду, он спал, а проснувшись, не хотел и говорить, пока все поезжане не поклонились по три раза в землю. В нагольном тулупе, подпоясанный полотенцем, в валенках и теплой шапке, дед взял метлу, лопату, уголь, соль и святую воду, пришел к воротам, лег и начал шептать и приговаривать, взял метлу и стал сражаться с нечистыми; долго боролся с ними, прогнал нечистых, размел тщательно дорогу между воротами, лопатой посыпал новым снегом, обошел три раза поезд по солнцу, в каждые сани бросил по лопате снега, а жениха с невестой опрыскал с уголька, сел на первые сани, проехал, а за ним весь поезд, но на свадьбу не пошел.

– Как же, батюшка, наколдовал дедушка? – спрашивал я.

– Если, братец ты мой, пересыпать дорогу порошком из желчи и печени медведя, лошади слыша запах зверя – пугаются и не идут.

Раз приехал к деду из Вятки старинный приятель и гостил две недели; друзья пили три дня полной душой. Гость собирался домой, дед упрашивал погостить еще денек, гость не соглашался. Приходит гость в конюшню и видит, что коренная лошадь лежит без движения. Что ни делали, лошадь не шевелится; гость даже заплакал, дед начал торговаться, и гость согласился еще погостить. Дед заперся в конюшне, шумел, бранился, боролся с чертом, наконец, по зову деда вошли в конюшню, лошадь была здорова и веселее прежнего. Гость из благодарности прогостил неделю, были оба без просыпа пьяны, благо водка была не купленная.

– Как же это, батюшка, с лошадью-то?

---

\* Маетность (польск.) – поместье, имение, в 20-ти верстах от Можайска по Смоленской дороге. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003



– А если, братец ты мой, язык ядовитой змеи завернуть в шарик воска и положить в ухо лошади, то лошадь упадет и останется без движения, пока не вынут шарик; тогда лошадь делается веселее прежней.

Рассказывал отец, что раз с дедом шли они по слободе Колоцкого монастыря, в одном доме богатого мужика была свадьба, и пирило много народа. Дед с отцом присели на завалинке; дед сказал: «надобно, чтобы они поссорились», и, действительно, скоро началась драка. Ушел дед, и драки конец.

– Как же это, батюшка?

– Этого, братец ты мой, я не должен объяснять тебе.

– Почему же, батюшка?

– Грех делать зло людям.

Дед много знал заговоров, отговоров, например: заговаривал сильное кровотечение, отговаривал головную боль. Как же с такими познаниями не быть почитаемым, уважаемым!

У деда было три сына: Михаил, Иван и Федор. Все служили в военной службе во времена Суворова. Михаил, по отзывам родных и моего отца, был необыкновенного ума, честен, серьезен и очень почитаем. Он, как и все братья, служил в пехоте, был капитаном, в Варшаве женился на польке, жена на третий день бежала от мужа, а чрез неделю сделалась публичной проституткой; это так поразило мужа, что он сошел с ума и в тихом сумасшествии был до конца жизни.

Он постоянно жил у моего отца и очень любил мою мать. Отец мой был вспыльчив и строг; бывало, раскричится на мать мою; Михаил, молча, укажет дверь отцу и если тот не послушается, возьмет за воротник сюртука и вытолкает за дверь. Первое мое сознание младенчества представляется мне не иначе, как я на руках дяди Михаила. Однажды вообразилось ему, что я заяц; он ласкал и гладил зайчика и подносил уже к печке, полной жара, чтобы меня изжарить, и только хотел положить на уголья, как случайно вошел в комнату Никита, камердинер отца, крикнул на дядю и отнял меня. Дядя опомнился, очень тревожился тем, что чуть было меня не изжарил.

Отец мой был совершенно нравственный человек, всю жизнь не знал вкуса в водке и вине, не дотрогивался до карт, был до крайности богомолен, посты соблюдал до аскетизма; все знали его как честнейшего и совершенно бескорыстного человека. Воспитание миновало его, церковную печать он читал свободно, ну, а гражданскую – не очень быстро, да и считал греховным читать гражданскую книгу, писал тоже по старинке, например: император и тому подобное. Написать письмо ему нужно было не менее двух, трех черновых и чтобы во всем доме была ненарушимая тишина; помню, когда делал конверт, и тогда никто не смел пройти по соседней комнате.

Нрава был серьезного, улыбка была редкою гостьей, и тогда непривыкшее лицо делало какую-то страдальческую гримасу. В опасных случаях был крайне смел, должно быть, был храбр. Характера был чрезвычайно вспыльчивого, над зависящими от него был неумолимо строг, даже жесток, перед людьми, на вершок выше его стоящими в иерархии, – уничижался до последней степени – клал земные поклоны, – таково было время его юности.

Родился он в 1766 или 1767 году, умер в 1852 году. Будучи в отставке, до старости служил по выборам: городничим, судьей, казначеем, и помню, раз был содержателем соляных магазинов. Верил отец, не рассуждая: молитва, пост, все постановления церкви – исполнял неотступно, строго, но верил в колдовство и в постоянную деятельность чорта; надеть жилет, галстук, сапоги не перекрестясь он не решился бы, но исполнив все по своему убеждению, он уже ничего не боялся. Из многих случаев могу рассказать один. В Можайске, за московской заставой, по левую сторону большой дороги, было кладбище колду-

нов, которых хоронили не иначе, как забивая большой осиновый кол в спину покойнику. Этого кладбища очень боялись ночью. Раз были у нас гости, заговорили о злых проделках колдунов, и среди страшных рассказов, когда всех пронимала дрожь, кто-то сказал, что едва ли найдется смельчак ночью сходить на кладбище.

– Разве сумасшедший решится на такую штуку, – говорили присутствующие.

– С молитвой можно сходить, – отвечал отец.

Ему предложили пари. Отец, помолясь, отправился один. Его упрасивали вернуться, мать плакала, но отец вернулся со щепкою, срезанною с одного осинового кола. На другой день приложили щепку к колу и убедились, что отец, действительно, был на кладбище.

Живя в деревне, помню, редкий день не приходили казенные и разные поссорившиеся крестьяне на суд к отцу; соседние крестьяне так почитали его, что суд его признавался безапелляционным. Замечательно, что отец никогда не творил суда даром, судящиеся обязаны были принести хотя что-нибудь, хотя чашку меда, хотя кусок холста на полотенце, но даром не судил, видно, это был древний народный обычай.

Отца так уважали, что [когда] в голодные годы бывало сильное воровство хлеба, у отца амбары были удалены и почти не запирались, но ни разу никто не покусился украсть. Существовало поверье: кто у Ивана Дмитриевича украдет хотя зерно, тот в течение года умрет и непременно обнищает. Отец рассказывал, что при Екатерине было генеральное межевание, и Золотилово должно было быть отмежевано к Смоленской губернии; комиссия, исполняя просьбу деда, несколько деревень отмежевала к Москве. Золотилово составило границу и клином врезалось в Смоленскую губернию.

Земля в Золотилове до того бесплодная, что без навоза не производит никакой сорной травы, а если рожь на удобренной земле родится сам-третий, то считается хорошим урожаем. Посеву было всего 11-ть десятин. Трудно понять, как отец жил от такого трудного хозяйства? Долгов никогда не имел, были все сыты, одевались по-дворянски и на все доставало. Правда, более 200 дней в году было постных, но все-таки трудно свести концы при таких скудных средствах – однако жили и кормили детей, да и бедный не уходил голодным, особливо странники.

Именины, рождения отца и матери справлялись со многими гостями. Делались ежегодно приношения в монастырь Колоцкой Божией Матери в двух верстах от Золотилова. Попалась мышь в горшок или посуду, утонула курица в колодце, ни есть из посуды, ни пить из колодца нельзя, пока не освятит монах. Как припоминаю, жили прилично; ездили великим постом ежегодно в Москву для годовых закупок. В Золотилове сохранились расписки расходов деда, из которых видно, что на ежегодную покупку запасов в Москве издерживалось десять рублей; за ночлег на постоялом дворе с прислугой и лошадьми платили денежку, за копейку кормили прислугу и давали сена лошадям – вот было время!

Отец рассказывал мне, что когда родители решили его женить, то выбрали ему невесту в городе Рузе у тамошнего помещика Максима Кузьмича Ломова, у которого было душ десять крестьян; он был 55 лет казначеем в Рузе, умер 115-ти лет от горя, что француз взял Москву.

– Батюшка, как вы познакомились с моею матушкою?

– Зачем, братец, знакомиться, покойный батюшка сказал: Иван, поезжай в Рузу к Максиму Кузьмичу Ломову, у него одна дочь, Прасковья, ты на ней женись, я уже все сладил, и приезжай с женой.

Отец мой не хотел жениться, но его послали к невесте. Чтобы не понравиться ей, отец разорвал дорогою платье свое на коленях и локтях, приехал нечесаным и немытым, нюхал табак и не утирал носа. Между родителями было, однако же, заранее условлено, и

ничто не помогло, отца женили на Прасковье Максимовне и дали две семьи крестьян в приданое.

Мать моя слыла первою красавицею в уезде, и я хорошо помню ее: блондинка, румянец во всю щеку, добрая, ласковая, приветливая, веселая, была очень образована, даже знала грамоте, что тогда считалось редкостью между женщинами. Мать ее, Настасья Ивановна, – была неграмотна. Дедушка говорил, что в его время грамотная девушка не нашла бы жениха.

– На что знать грамоте женщине? – спрашивал он. – Писать любовные письма? более не для чего.

Мать моя писала печатными буквами, она говорила и писала, не умея у места поставить буквы **п** и **б**; – всегда их смешивала. Она славилась хозяйкою и рукодельницею на весь уезд. Мне помнится, ее все очень любили, только отец мой был жесток с нею, бранил часто и хотя редко, но бивал. Мне было четыре года, мы были в Можайске, где отец был судьей. Летом, около полдня, мать сидела у открытого окна, а я стоял около нее; она работала. Дом был на главной улице, по которой проходил городничий Василий Яковлевич пан Поняровский, – это был щеголь своего времени, небольшого роста, черен как негр, с курчавыми черными волосами. Он был в новом сюртуке и круглой новой шляпе.

Пан Поняровский (русский человек) остановился перед окном и разговаривал с матерью. Отец в это время шел из присутствия и видел разговаривающего пана Поняровского, который, недолго постояв, ушел не видав отца. Пришел отец в гневе, красный, сильно начал бранить мать, зачем сидела у окна и разговаривала с паном Поняровским, вытолкал мать в девичью, а сам заперся в спальню. Мать плакала, молила – ни одного звука из спальни; так отец, трое суток не пивши, не евши и не сделав движения, пролежал на кровати; мать молилась на коленах и меня заставила молиться. Через трое суток отец вышел молча и пошел молча в суд – вот характер! Мать была страдальцею. Беременная семнадцатым ребенком, она упала с дрожек и в родах умерла.

Я родился в 1797 году 24-го февраля в Золотилове и был первый сын у матери, которой было всего 16 лет. У отца моего был слуга Никита. Он был неразлучен с отцом всю его службу; был преданный, честный и трезвый человек; в один час со мною у Никиты родился сын Иван и был назначен мне в слуги.

Мать рассказывала мне, что я родился в голодный год, жить было очень трудно, у ней не было молока, но она была рукодельница, делала из разноцветной бумаги, сплетая в узелки, корзинки, коробочки, посылала продавать и покупала для меня молоко.

Отец мой был другого характера, он был ростом 2 аршина 7 вершков, сложения сухощавого, мускулистый, замечательно силен и необыкновенно перенослив в физических трудах; до конца жизни держался прямо; вспыльчив, в доме и даже между близкими и родными – властитель; мне говорили, что он никогда не сказал лжи. Старшим по службе, богатым по состоянию не только не кланялся, унижаясь, но был крайне подозрителен, как говорится – был щекотлив, малейшее чванство осуждал, несмотря на лицо.

Отец обращался со мною очень строго, за всякую малость сек меня из своих рук со всем усердием на козле, т.е. кто-нибудь брал меня за ручки на свои плечи. Помню, очень часто терпел я это истязание. Слезы матери, просьбы родных только усиливали наказание. Лет пяти дедушка Максим Кузьмич взял меня к себе в Рузу, у него на площади был свой дом, а другой – нанимался под уездный суд. Бабушка Настасья Ивановна души не слыхала в первом своем внучке.

Жизнь у дедушки с бабушкою была счастливейшая в моей жизни; бабушка меня кормила целые дни. Помню, я очень любил моченый горох; бабушка купила мне узорчатый кувшинчик и с вечера насыпала в него горох и наливала водою. Поутру горох вылезал из кувшинчика. Эта прибавка гороха (непонятная для меня) и красота глиняного расписного

кувшинчика приводили меня в восторг. Я жевал целый день, с утра до вечера мед с хлебом, мороженые сливки с хлебом, моченые яблоки, моченую бруснику, пирожки с морковью, пряничные коньки и человечки, украшенные золотом и проч. Бабушка непременно укладывала меня сама спать, читала долго молитвы, крестила и целовала без конца; потом придет дедушка, сядет на кровать, шепчет молитвы, гладит мне грудь и спину и уйдет, когда я засну. Дедушка, как казначей, имел гербовую бумагу на дому, и продажа была поручена мне; крестьяне, покупая бумагу, платили мне лишний грошик или копейечку. Сколько я перекупил пряников и гречневиков на эти грошики!

Вдруг неожиданно приехал отец. Я, конечно, перепугался, спрятался в кухне под печкою в самый зад и заставил себя каким-то коробом. Слышу, меня ищут, разумеется, хотят сечь, отец для того и приехал. Искали меня долго, весь дом поднялся, и, наконец, нашли. Я в слезы, дед удивился и спрашивает, о чем плачу; я рассказал ему как отец часто и больно сечет меня.

– Иван, правду говорит внук? – спросил дед.

Отец признался; тогда дед повел отца в свою маленькую спальню, запер дверь, и мы слышали, как он усердно хлестал ремнем отца, просившего прощения.

Дед был высокого роста, очков не носил до смерти, в курчавых черных волосах не было ни одного седого волоса. Он считал грехом иметь часы.

– Грех поверять Бога, – говорил он.

В какое бы время дня и ночи, даже разбуженный, дед безошибочно говорил, который час.

Живя у деда помню несколько случаев старины. Около дома был небольшой сад и флигель, в котором жил какой-то женатый родственник, служивший в уездном суде. Один раз жена его повалилась в ноги дедушке и, горько плача, жаловалась, что муж не любит ее, что она ни делает назло мужу, он не бьет ее. Дедушка принял жалобу серьезно, сказал: «худо такое дело» и отпустил ее домой. После обеда дед позвал мужа, долго бранил его за хладнокровие к жене и пострадал самого наказывать. Муж просил прощенья, обещал исправиться и ушел домой.

Слышав этот разговор, я побежал к флигелю, взобрался на завалинку и давай смотреть в окно. Муж, не говоря ни слова, взял полотенце, свил крепкий жгут, так что держа за конец жгут стоял, как палка. Жена что-то ворчала, муж схватил жену за косу, бросил на пол и начал возить жгутом по чему ни попало, жена молила о прощении, но муж продолжал свое дело, она доползла до ног и начала целовать их и просила простить ее. На другой день утром пришла жена к дедушке, кланялась в ноги, целовала руки и благодарила, говоря, что теперь она счастлива. Слышал я, как дедушка и бабушка говорили после: какому же быть согласию и любви между супругами, если муж не бьет своей жены, значит, не любит ее. После при мне жена не приходила более жаловаться. Вот нравы – где они?

У дедушки был один сын – Гаврила, молодец собою. Пришла пора его женить; невеста, дочь помещика Можайского уезда, была привезена в дом деда ко дню брака, и я был шафером. Дядя привез из Москвы первые смазные сапоги, которым все дивились. Сапоги чистились ваксою из воска и сажи с сахаром; я залез под стол, находил вкусным лизать сапоги и перепачкал себе лицо; всех это насмешило.

Помню, как укладывали молодых спать. Дедушка с бабушкой сидели чинно и шептали молитвы, молодой сел на кровать, молодая, ставши на колена, снимала сапоги и чулки с мужа; потом я подал молодой плетку (из ленточек сплетенную), как эмблему власти. Молодая подала покорно плетку мужу, который серьезно положил ее под подушку. Затем молодые сделали по три земных поклона, поцеловали руки родителей и поцеловались со мною. Старики прочитали молитву, перекрестили молодых, заперли спальню на ключ, и у дверей снаружи легла спать няня.

Поутру дед с бабушкой и старшими родными поднимали молодых, и затем начался пир. Деду было около ста лет, но подвыпив, в восторге, он проплясал русскую вприсядку. Бабушка, толстая плыла как лебедь, манила и отталкивала деда, который увивался около нее, а она и плечиком вела, и платочком махала, и, наконец, позволила себя обнять и поцеловать. Вся пляска происходила под песни дворовых девушек.

Обед был более чем из 40 кушаньев, например: щи, лапша, каша с курицей, ботвинья, уха, к каждой похлебке – особый пирог: с мясом, с кашей, морковью, рыбой и с курицей; жарких столько же: говядина, телятина, индейка, гуси, утки, дичина, разных каш не менее пяти, разные кисели, сладкий пирог и много разнообразного сдобного теста. После каждого блюда угощение водкою; квас, мед, пиво, пили кто чего желал; вино красное и белое на конце обеда. Пили, как подумаю, очень много, но безобразно пьяных не было, народ был крепкий.

Обедали с 10-ти часов утра до трех пополудни, потом поехали по городу: молодые с бабушкой в рогожном возке, я сидел на козлах и разбрасывал в народ, то направо, то налево, по очереди, мелкие серебряные деньги и бумажные клетчатые платки. Ехали шагом, народ ликовал, кланялся, поздравлял. За возком ехал дедушка со сватом в пошевнях, а за ним все гости в санях. Так мы ездили до сумерок. По возвращении пошла опять попойка, угощали множеством варенья, пастилами, пряниками, изюмом, мочеными яблоками, моченою брусникою и ягодными квасами, плясали русскую по одной паре, потом метелицу, «закрути вавилон» (вроде польского, ломаными линиями). Помнится, никто трезвым не лег спать.

Новая тетка моя, молодая Елена Яковлевна, была первая танцорка, – русскую она плясала с мужем более часа и каких колен не выделявала, а дядя Гаврила Максимыч, в восторге, пошел вприсядку, со звездочкою. Это так было хорошо, что многие прослезились. Ужин был почти такой же, как и обед. Так пировали трое суток. Пили, ели невероятно много, но все были здоровы, ссор не было, только слышно и видно было, как все целовались.

Руза – маленький городок, известен ответом городничего, когда путешествовал князь Потемкин, которого повелено было встречать с царскими почестями. При въезде князя в Рузу не стреляли из пушек.

– Почему не стреляли? – спросил князь городничего.

– На это я имею тысячу причин (это была привычная его поговорка), – отвечал городничий: – в Рузе нет пушек и пороха.

– Довольно и одной, – отвечал Потемкин.

Он приказал подать ведомости о делах в суде.

– Не могу исполнить, – отвечал робко судья.

– Почему?

– Нет ни одного дела в суде.

В Рузе сохранилось много преданий о набеге Литвы. За речкой, в березовой роще указывали на выкопанные ямы под корнями, куда прятали жители имущество при набеге. Я во многие лазил и нашел серебряную копеечку.

Года полтора я жил у дедушки и после того уже не видал его. Тетка моя Елена Яковлевна много лет спустя была у меня в Киеве, выпила 45 чашек чаю и очень была довольна.

Младший брат моего отца, а мой дядя, Федор Дмитриевич был умнее отца; это уже был грамотный, он был моим любимцем из всех Стоговых. Он был веселонравен, любил шутить; бывало, как ни больно высечет отец, как бы горько я ни плакал, но придет дядя и представит, как пьяные мужики валяются, я утешусь и расхохочусь. Отец рассказывал: Федор Дмитриевич был большой шалун, он был уже прапорщиком и чем-то провинился; старший брат Михаил вместе с отцом моим отлично отодрали розгами прапорщика; но

это тогда не было странно, старший брат, в отсутствие отца, имел права родителя, а известно, что граф Каменский своего сына полковника пред фронтом наказал палками.

После жизни моей у деда меня отдали в Лужицкий монастырь (около Можайска), где был монах Константин, о котором шла слава, что он знает французский язык; он должен был выучить меня всему. Я уже сказал, что в один час родился сын у камердинера моего отца, Никиты, а жена его Устинья была женщина весьма близкая к моей матери. Сына их назвали Иваном и со дня рождения назначили его ко мне камердинером. Росли, шалили, учились, секли нас вместе, только Ивана несравненно меньше. Вместе с Иваном мы гостили у дедушки, вместе были отданы и монастырь.

Монах Константин, кажется, незаслуженно слыл за ученого, – это был лицемер, ругавшийся со всеми. Меня ничему не учил, и в полтора года жизни в монастыре я выучил только: ла-фуршет и ла-кутон. Была у меня в верхнем этаже келья, и к нам с Иваном никто не входил, не сказавши: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа»; когда мы ответим: «Аминь», тогда входили. Нас будили рано, ходили мы в церковь и, обыкновенно, через минуту выбегали шалить: летом бегали в саду, воровали ягоды, яблоки, а зимою – в слободу к мальчикам. Кормили нас скверно за общей трапезой, где во время обеда один читал громко священные книги. После обеда все монахи собирались в особую комнату для беседы, и тут я постоянно слышал одну перебранку и укоризны друг другу. Впоследствии я спросил отца: для чего он отдавал меня в монастырь?

– А чтоб ты, братец, узнал монастырскую жизнь.

– Почему же вы не отдавали меня в тюрьму?

– Потому, братец, что ты дурак.

После монастыря я бегал в Можайске в народную школу, где тоже ничему не учили, а все-таки секли за леность.

По Золотилову был сосед, богатый помещик Борис Карлыч Бланк; предки его зашли в Россию из Голландии в звании архитекторов, еще при Петре. Бланк был женат на тамбовской помещице Буниной, у него было много деревень в разных губерниях. Он жил в селе Прислове, верст 6-7 от Золотилова, по-тогдашнему очень роскошно, у него были музыканты, устраивались иллюминации и фейерверки. Однажды летом отец с матерью пошли пешком в Прислово. Отец пошел вперед, мать, ведя меня за руку, догнала отца, отец очень сердился, зачем мать взяла меня, и сказал: «неси сама, как он устанет, а я не понесу». Прошли мы версты две-три, как я сел на землю и говорю: устал. Мать взяла меня на руки, но будучи беременна нести не могла, отец очень бранил меня.

Очень хорошо помню, что мы шли по тропинке между ореховых кустов; отец сказал мне: вставай, братец, я дам тебе коня, ты садись верхом и поедешь. Вырезал ореховый прут, очистил головку и другой прутик – вместо кнута, я сел верхом, отец сказал: смотри, хорошенько держи коня, а не то он разобьет тебя, видишь, какой горячий. Я хлестнул «коня» прутиком, и он понес меня так, что я удержать не мог, «конь» увез меня вперед и возил галопом между кустов. Отец кричал: держи, братец, коня, а я отвечал: не могу держать, да так галопом и добежал до Прислова. Все это живо сохранилось в моей памяти; уже в Киеве я рассказал отцу этот случай. Отец крайне удивился, едва верил, что я мог это помнить, потому что мне был только третий год.

Я расскажу теперь, как удивительный случай, впечатлительности человеческой памяти; у меня была няня Прасковья, сухая, длинная, серьезная старуха. За поясом у нее висел крашенинный синий, с белыми крапинками платок, которым она часто утирала мне нос, но платок был такого грубого полотна, что после утиранья долго сыпались у меня искры из глаз; заметя движение платка, я прятался под стол или под кровать. Я был еще очень мал, когда няня захворала, это было в Можайске, она лежала в амбаре и ее соборовали. Впоследствии я рассказал отцу, как умерла няня и как ее соборовали. Отец сказал:

– Ты, братец, помнить этого не можешь.

Но когда я рассказал подробно расположение нашей квартиры и того амбара, где соборовали, и как дьякон гадал по евангелию, будет ли жива, и на вопрос протопопа тихо отвечал – нет, рассказал все подробности церемонии, отец изумился, слушая меня. После я уже не видал соборования, но и теперь помню все порядки. Няня кончалась, мы все стояли тихо, как вдруг пришла девка Катька и шепнула Устинье:

– Прасковьюшка уже умерла, я видела, как ее душенька пролезла по углу черной кошкой.

Это так сильно на меня подействовало, что я до офицерского чина не мог отбиться от убеждения, что душа человека после кончины должна отделиться чем-нибудь видимым: кошкой, ласточкой и пр. Так сильны впечатления младенчества к народным поверьям.

## II.

Жизнь Э. Стогова в семействе Бланков. – Семейство Буниных. – Поэтесса А.П. Бунина. – Отправление Стогова в Петербург. – Поступление его в морской кадетский корпус. – Адмирал Ханьков. – Сенатор Бакунин и его семейство. – Император Александр I и Нарышкин. – Остроты последнего.

Мне было лет 8-мь, как, не имея детей, Бланк взял меня к себе. Это были люди важные, носили шелковые чулки, говорили постоянно по-французски, отчего и я выучился говорить на этом языке. Деликатное обращение, важность даже прислуги, так на меня подействовали, что я присмирел и перестал шалить. Комната моя была на антресолях, а в другой жил, по бедности, князь Шаликов. Он только что кончил университет, и его обязанностью было сочинять стихами надписи на транспарантах, в иллюминацию. Это был армянин среднего роста, худощавый брюнет с огромным носом, ему было за 20 лет, и я не мог быть ему товарищем.

Князь Шаликов, впоследствии издававший дамский журнал, был любимцем дам, ходил в бланжевых чулках и никогда в сапогах. Над тощим журналом смеялись, а Шаликов жил от журнала. Воейков, в «Сумасшедшем доме» характеризуя всех литераторов, не забыл и Шаликова.

Жизнь моя у Бланка сохранила в памяти: празднества, много гостей, торжественность и парад. У Бланка жила теща Варвара Петровна Бунина, которая приходилась нам как-то родней. Приехал в отпуск Иван Петрович Бунин. Он был известен всему Питеру как неисчерпаемый весельчак, играл на всех инструментах, пел песни на всех языках, был удивительный гримасник, умел двигать ушами, жужжал мухой в паутине, представлял удивительно верно, как дрались кошка с собакой, и много разных штук. Как весельчак, остряк, штукарь, танцор, певец, музыкант и пр. и пр., Бунин сам называл себя на визитных и приглачительных билетах: «Кум свахи Аполлона», был необходимый член всех собраний общества. Он был учредитель «Общества пробки», так много наделавшего шуму в свое время.

Теща Бланка была родная сестра Бунину. Явился Бунин блестящим щеголем, весь бо-монд Можайского уезда взбаламутился; у Бланка не прерывались праздники, и пребывание Бунина составило эпоху веселья в уезде. Один раз Бунин подозвал меня к себе, взял за ухо, посмотрел на пальцы и спросил моего отца, куда я назначаюсь служить? Отец отвечал, что он небогатый человек и еще не решил.

– Если вашего сына, – сказал Бунин, – не будет укачивать на корабле, то отдайте его в Морской корпус.

Отец затруднялся, но Бунин прибавил:

– Пришлите его только в Питер, я берусь определить его, это уже мое дело.

С этой минуты мое назначение, служить во флоте, было определено.

После Бунина приехала меньшая сестра его, известная девица-поэт Анна Петровна Бунина. По неизвестным мне связям, Бунины были близки к Ахвердову, бывшему учителю

или кавалеру великих князей Николая и Михаила Павловичей. Он жил в Михайловском замке, в котором скончался император Павел. Будучи 17-ти лет А.П. Бунина приехала погостить у Ахвердова, и он, видя бедность девушки, посоветовал просить милости у вдовствующей императрицы Марии Феодоровны и написать ей письмо. Деревенская девушка, конечно, затруднялась сочинением письма, сидела около окна и сочиняла. Ахвердов подошел сзади, взглянул и удивился, увидав, что девушка пишет письмо стихами.

Этот первый труд Буниной был представлен Марии Феодоровне. Бунина получила 500 руб. [ годового ] пенсион. Это ободрило девушку, она написала [ стихотворное ] послание к императору Александру и получила от него тоже пенсион. Тогда Бунина стала писать ко всей царской фамилии. Знаю, что даже Константин Павлович и тот дал ей 150 руб. пенсии, так что бедная девушка была [ теперь ] обеспечена в жизни. Подобный успех в стихотворстве ободрил Бунину, и она стала сочинять басни, оды, элегии и пр. Сочинений ее набралось на два томика с разгонистой печатью. Стихи стоили страшного труда Анне Петровне, но зато и читать их можно только за большое преступление. Может быть, их никто и не читал, но все хвалили Бунину, называли ее – «десятая муза».

На святках отец с матерью послали меня с Василисою послушать, что со мною сбудется? Против нас жил купец Жарких; мы подошли к его окну и услышали, что хозяин дома говорил сыну:

– Нечего откладывать, постом поезжай в Москву.

Этого было довольно, и судьба моя решилась, отец отвез меня в Москву. Там была Анна Петровна Бунина и, собираясь ехать в Питер, она взяла меня с собою. Дома были молебны, прощания, благословения; мать заливалась слезами и приговаривала, что меня более не увидит; все плакали, один я радовался, что избавлюсь от розог. При выезде из Москвы отец провожал, сидя на облучке, и, прощаясь на заставе и обратясь ко мне, строго сказал:

– Похоронил я своего отца и мать и не плакал, а провожая тебя, не удержал слез – так помни же это. Боже тебя сохрани, если услышу о тебе что-нибудь худое, – задеру!

При этом как теперь вижу страшный его указательный палец, которым он грозил мне.

Путешествие с А.П. Буниной мы совершали на долгих, в рогожной кибитке. Остановивались в Твери, где жила сестра государя Екатерина Павловна, бывшая замужем за принцем Георгием Ольденбургским, которого вся Россия звала: «Принц-шишка» по опухоли, бывшей у него на лбу. Провожая тетку Бунину во дворец, я один раз видел великую княгиню, помнится, она была красавица. Герцога не было в доме, он был в Новгороде.

По приезде в Гатчину, где жила вдовствующая императрица Мария Феодоровна, нас поместили во дворец и отвели две комнаты в нижнем этаже, с окном в сад. Я влез на окно, уселся, спустив ноги наружу и колотя ими о стену, смотрел на вычищенную и усыпанную песком аллею. День был прекрасный; смотрю, идут две дамы: одна тетка моя Бунина, а другая толстая, круглолицая старуха, подарившая мне конфет и оказавшаяся императрицею.

Бунина была небольшого роста, но прехорошенькая, говорят, она имела много женихов, но так дорожила славою своего [ стихотворного ] имени, что не решилась лишиться известности, и умерла девицею.

А.П. Бунина передала меня брату, а тот на другой день отвез меня в Морской корпус, и я в первый же час поступления отлично подрался с кадетом Слезовым \*, таков был обычай: новичков сводили драться со старшими кадетами, и когда я повалил Слезова, то мне велели бить, пока не скажет «покорен», что я исполнил и сделался старым кадетом. Бунина по праздникам брала меня из корпуса, возила с собою ко всей аристократии, часто мы

---

\* В более ранних воспоминаниях этот кадет выступал под фамилией Слизов. – Примеч. М.И. Классона



бывали у сенатора Бакунина, Архарова, Шишкова и других. Когда же брал меня Бунин, то я постоянно был в доме адмирала Ханыкова, так как Бунин был у него адъютантом. Тогда пели:

Ванька Бунин негодяй,  
Ванька Бунин не зевай,  
Твоя Анна хороша,  
У ней добрая душа \*.

Адмирал Ханыков – известен истории русского флота и был знаменитостью; в это время он был уже в параличе, но в общем уважении. Паралич его разбил при следующих обстоятельствах. Во время войны с англичанами два неприятельские корабля напали на наш корабль «Всеволод», Ханыков дал сигнал, не помню какому кораблю, идти на помощь «Всеволоду», но капитан этого корабля, получив сигнал, схватился за голову и крикнул: «моя жена, мои дети!» и не пошел с кораблем на помощь. «Всеволод» так сражался с двумя кораблями, что из 800 человек команды осталось 60 человек и когда их взяли всех ранеными, то англичане отдали все почести храбрецам, а командира Руднева встретили с обнаженными головами и вместо плена отпустили всех.

Ханыков, как все высокостоящие, имел много врагов, его обвинили перед государем, он приказал назначить суд. Суд приговорил Ханыкова разжаловать в матросы, но государь написал: «разжаловать на 12 часов и Ханыкову не объявлять». Старик Ханыков имел обыкновение гулять два часа; у ворот один враг его уже дожидал и спросил, почему он не в платье матроса? При этом показал ему приказ. Это так поразило Ханыкова, что с ним сделался паралич. Государь очень любил старика и очень жалел. Ханыков был старик среднего роста, толстый, добродушный, простой и очень умный.

О Ханыкове ходило множество анекдотов, когда он был главным командиром Кронштадтского порта. Он всякий день поверял сам цены на базаре и доброту провизии, всякий день сам покупал себе сухари, крендели; завтрак его состоял почти всегда из яичницы. Раз приходит мичман с рапортом; адмирала не было дома, мичман соблазнился, съел яичницу и ушел. Ханыков узнал, но не сказал ни слова, а затем всякое утро к мичману являлся ординарец и приглашал к адмиралу кушать яичницу. Так прошло более месяца. Однажды осенью в дурную погоду ординарец, по обычаю, является к мичману:

– Пожалуйста к адмиралу, – докладывает он.

– Сегодня я не хочу есть яичницы – не пойду, – отвечал мичман.

Тогда явилось шесть матросов с ружьями и отвели его под караулом к Ханыкову. Старик объявил, что его звал не Ханыков, а адмирал, посадил его под арест и продержал там столько дней, сколько он съел яичниц.

Император Александр I очень любил Ханыкова и часто приезжал к нему обедать в Кронштадт. Государь очень любил портер, ввоз которого в Россию был строго запрещен. Ханыков за обедом призывает камердинера и говорит, что в углу подвала, кажется, должна быть одна бутылка портера, привезенная самим Ханыковым из Англии; бутылка – является. После многих обедов, на которых всегда подавалась «последняя бутылка», государь позвал камердинера и повторил приказание Ханыкова поискать последнюю бутылку портера. И на это раз бутылка явилась. Посмеявшись император попросил подарить ему дюжину последних бутылок портера, и Ханыков исполнил желание гостя. Адмирал имел привычку каждого называть «душенькой»; говорят, он часто и государя называл: «душенька, ваше величество».

Тетка Бунина часто ездила ко дворцу, и я присутствовал при ее туалете. Заметив, что она румянится и белится, я по простоте спросил ее:

---

\* Анна Петровна – супруга Ханыкова. – Примеч. ред. «Русской Старины»

– Вы, тетенька, такая беленькая и румянец во всю щеку, для чего же вы белитесь и румянитесь?

– Глупенький, – ответила она, – этого требует этикет двора, я могу сконфузиться, побледнеть или покраснеть и тем поставить других в неловкое положение, а набелившись и нарумянившись, я не переменюсь, хотя бы и сконфузилась.

Чаще других вельмож тетка возила меня к сенатору Бакунину; он был важен и жил великолепно. Семейство Бакунина состояло из жены, пяти дочерей и одного сына. Порядок был всегда один: перед обедом все семейство разряженное собиралось в гостиной; сам Бакунин Михаил Михайлович – в белом галстуке, белом жилете, во фраке, в коротких брюках, в шелковых чулках и башмаках с большими серебряными пряжками, украшенными драгоценными камнями, завит и напудрен.

Муж церемонно брал под руку жену и вел ее в столовую, где всякий день накрывалось 30 приборов. Приходил обедать, кто хотел, только дворецкий наблюдал, чтобы каждый был прилично одет, да еще новый гость не имел права начинать говорить с хозяевами, а только отвечать. Мне помнится, что лица большею частью были новые. За столом была большая чинность, говорили только хозяева и близкие гости. После обеда и кофе незнакомые кланялись и уходили.

В то время во многих домах у вельмож накрывалось лишних 30, 20 и 15 приборов для бедных приходящих, фамилий которых хозяин и хозяйка не старались никогда узнавать. Я помню званый парадный обед у Нарышкина; обедали, думаю, человек 150. После обеда всех гостей развозили в хозяйских каретах и каждому гостю дарили полный прибор со стола; серебряный нож с вилок, ложку, ложечку, фарфоровые тарелки и остатки фруктов и конфет. Такие обеды давались немногими и в редких случаях. Аристократы все имели свои большие дома и внаем их не отдавали, а все лишние комнаты многие предоставляли раненым офицерам, вдовам офицеров и другим неимущим.

У Бакуниных и Архарова отдавалось квартир по 20 и более – бедным. Чуть какой-нибудь праздник, бедных жильцов приглашали обедать. Помню, я подсмотрел за двумя вдовами, как они зимою за обедом, когда подавали, как редкость, на десерт груши, делали складку на краю скатерти, клали на складку грушу и когда никто не смотрел, дергали за скатерть и груша падала в подставленный и раскрытый на коленях ридикюль. Я рассказал это тетке и спросил:

– Для чего они это делают?

– Они бедны, – отвечала она, – эту грушу снесут в Милютины лавки и продадут за 50 коп., а купцы продают по рублю; бедная же вдова купит себе необходимое.

После обеда тетка похвалила искусство повара. Бакунина расхвалила его и как человека. Она рассказала, что однажды, когда опоздали оброки из деревень, повар не обеспокоил Михаила Михайловича, а содержал весь дом на свои деньги, а после Бакунин заплатил ему 45 тысяч рублей.

– Повар ведь крепостной, откуда он взял столько денег? – спросил я тетку.

– Конечно, нажил от своих господ, – отвечала она смеясь и заметила: Богатые господа живут и дают жить другим.

У Бакуниных был один сын, Вася, мне ровесник. Хотя я был уже гардемарин, но удивлялся знаниям Васи, чего, чего он не знал: языки древние и новые, историю, географию, отличный был математик, физик, химик и проч. и проч. Васе Бакунину предстояла блестящая карьера по службе в России. Воспитание, богатство, связи, все пути были ему открыты, только выбирай, а он выбрал дорогу заговорщика, отдался коммунизму, сделался отчаянным республиканцем и радикалом; был сослан в Сибирь, бежал за границу и сделался заклятым врагом России.

Было много у меня ровесников из детей вельмож, и ни один не пошел далеко по службе. Мне припомнился ответ Нарышкина. Как-то раз у него обедал император Александр I и с чувством неудовольствия сказал Нарышкину:

– Я стараюсь поддерживать старые фамилии, но, к удивлению, дети вельмож не оправдывают надежд.

– Это не должно удивлять ваше величество, – отвечал Нарышкин, – наши дети все в воспитательном доме, а законные, которые живут при нас, все дети наших лакеев и кучеров.

За этим же обедом государь жаловался, что у него становится слабо зрение, и спрашивал, где бы найти хорошие очки. Нарышкин указал на обедавшего на другом конце стола Пестеля, который был в очках.

– Я лучших очков не знаю, – сказал Нарышкин, – Пестель постоянно живет в Петербурге и видит все, что делается в Сибири.

Эта острота много повредила Пестелю, он был генерал-губернатор Сибири и не выезжал 13 лет из Петербурга.

### ***Записки Э.И. Стогова***

*«Русская Старина», февраль 1903 г.*

#### **III.**

Отечественная война. – Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим армиями. – Его характеристика. – Канун Бородина. – Партизаны: Сеславин, Давыдов и Фигнер. – Отправление морского корпуса в Свеаборг и возвращение в Петербург. – Масонские общества. – Кутежи и попойки. – Выпускные экзамены. – Производство в офицеры. – Товарищ Дюмутье и его приключения. – Командировка в Камчатку. – Прибытие в Омск. – Тамошние порядки. – Прибытие в Иркутск. – Губернатор Трескин и его семейство. – М.М. Сперанский. – Г.С. Батенков. – Характеристика Сперанского. – Сибирский «король» Кузнецов.

Наступил 1812-й год; только и было говора, что о войне. Высшее общество уныло и принялось за Апокалипсис. Это была общая мания: куда ни придешь, везде разбирают Апокалипсис, добиваются до смысла, превращая буквы в цифры. Наконец, как-то нашли, что зверь Апокалипсиса должен носить имя Аполеон и приписали его имя Наполеону. Победит его, говорили, князь Михаил.

Какой же это князь? Общий голос назвал князя Михаила Иларионовича Кутузова. Молва об этом была так сильна, что император Александр, не любивший Кутузова, принужден был назначить его главнокомандующим. Общество успокоилось, веруя, что Наполеон будет побежден. Даже отдачу Москвы французам общество приняло без огорчения, потому что это сделал Кутузов. О нем говорили, что это человек глубоко ученый, благородного характера, но никогда и никому не сказал правды; мысли его принадлежали ему одному.

Всю жизнь был он поклонником женщин, влюблялся до глубокой старости и во всю жизнь не любил ни одной женщины искренно. Обращение Кутузова выставлялось как образец любезности в обществе. Про Кутузова говорили, что во всю жизнь он был тонкий политик, в штабе своей армии не противодействовал интригам и, будучи умнее всех, управлял ими как музыкальным инструментом; по-видимому, он слушал всех и соглашался, а делал по-своему. В 1812 году Кутузов был стар, дряхл, но скрытность не оставила его, и он не говорил правды даже государю.

Он принял армию утомленную и понял, что должен поднять упавший ее дух. Приближенные просили дать сражение, Кутузов притворялся неслышащим, спящим, а просыпаясь, давал приказание отступить. Он дал сражение под Бородиным, но перед боем говорил: «Я не должен давать сражения, но должен удовлетворить требование всей России; потеря 40 тысяч – успокоит русский народ». По стечению обстоятельств, местность будущего сражения указал мой отец. Это было так: когда Наполеон был уже в Гжатске, отец

мой отправил свою семью и всех крестьян к родным в Тамбовскую губернию, весь скот пожертвовал в армию, а сам оставался караулить дом. Главная квартира была в Бородине, в 11-ти верстах от нашего имения Золотилова. Когда приблизились аванпосты французов, отец поехал в Бородино, чтобы получить билет на проезд. Билеты выдавал Толь\*, но его не было дома; отец нашел его на Бородинском поле. Узнав, что отец местный помещик и сослуживец Суворова, Толь спросил:

– Знаете ли вы хорошо эту местность?

Отец отвечал утвердительно. Тогда Толь приказал дать отцу казацкую лошадь и поехал с ним; отец указывал, где поставить батареи и укрепления. Толь молча записывал. Отец говорил мне впоследствии, что редуты и прочие были устроены по его указанию. Толь был очень доволен, дал отцу открытое предписание и подарил казацкую лошадь. История никогда не упомянет имени моего отца, описывая Бородинское побоище.

Наполеон занял Москву. Мне много рассказывал Давыдов, как он, Сеславин и Фигнер бывали в Москве переодетыми иностранными офицерами и выведывали о неприятельской армии. После войны Сеславин, израненный, обвешанный орденами, жил постоянно в своей Тверской деревне, собирался несколько раз писать записки, но нетвердое знание грамоте остановило его, и он, гордый сознанием славного служебного поприща, жил тихо, почти ни с кем не видясь, и умер, не найдя биографа по достоинству. Давыдов Денис оставил хвастливую память дел своих в напечатанных записках и стихах. Это был ловкий человек, он при жизни приобрел в 10 раз более славы, чем заслужил.

Давыдов как-то приходится нам родней, я дитятей катался на его седле, когда он был произведен в гусарские корнеты, и он это вспомнил, встретясь со мною в Симбирске. Давыдов был много меньше меня ростом, широкоплеч, брюнет, на середине лба имел природный белый клочок волос, лицо круглое, нос с маленькую пуговку, страшный был говорун. Фигнер – был гениальный партизан, это был храбрейший человек и неистощим на выдумки – дурачить и истреблять неприятеля. Хладнокровие его было неподражаемо, французы ужасались его имени, много раз он бывал почти в руках французов, но они унавали его тогда, когда он ускользал от них. Было много партизанов, но эти трое были в славе, о них много говорили.

Как только французы миновали нашу деревню, отец следом за ними явился домой. В новом доме нашем были выбиты окна и двери, в зал было втащено бревно, которое от дверей диагонально упиралось в угол потолка и горело; бревно потушили и вытащили. На поле Золотилова была стычка, и осталось название одной долинке – французская могила.

Когда Наполеон занял Москву, наш морской корпус на кораблях перевезли в Свеаборг, где мы и зимовали. Кроватей не было, нам повесили офицерские корабельные койки, мы в них и спали. Была одна койка, в которую, кто ложился спать, тот просыпался в горячке, так случилось с четырьмя кадетами, это было любопытно, и я захотел попробовать, лег здоровый, а проснулся в горячке, после меня койку сожгли. Очень слабым вышел из лазарета; в Рождество, за обедом дали нам рябчиков, я объелся – и новая горячка.

По уходе Наполеона из Москвы нас на повозках перевезли в Питер; меня везли в закрытом возке. Тогда победа за победой, реляция за реляцией занимали все общество; тогда я узнал о существовании масонских лож, которых было много в России. Попасть в масоны было трудно; рассказывали страсти об испытаниях и клятвах, верили, что кто изменит масонам, то главные масоны стреляют в портрет виновного, и он умирает. Вообще верили, что масоны совершают какие-то чары в своих собраниях – басен было множество. Все, кто имел значение или хотел его иметь, притворялись масонами, и я по общей глупости, будучи офицером – прикидывался таинственным и даже сумел прослыть масоном.

---

\* Михаил Богданович Барклай-де-Толли.

В 1812 и 1813 годах было порядочное пьянство, во всех аристократических домах, после чая, необходимо подавался пунш и не по одному стакану. Ром был строго запрещен к привозу, и бутылка его стоила 5 руб., а это тогда были немалые деньги. Он доставлялся морскими офицерами из Кронштадта. Занимались этим промыслом очень многие, и это не осуждалось обществом. Тысячи тонких хитростей придумывались для обмана таможенных, бывали и убийства, но провозили, потому что было выгодно. Тогда во многих домах бывали попойки, общество было неприхотливо, удовольствий публичных – почти никаких.

Дядя Бунин рассказывал, как они частенько пьянствовали у Нарышкина, кто прежде всех напьется до бесчувствия, того непременно хоронят; одеваются в простыни, одеяла – кто попом, кто дьяконом, а прочие, со свечами и пением, выносят пьяного и хоронят в снегу. Невероятная простота нравов для нынешнего времени. Был такой случай: статский советник Гориков\*, говорят, был дельный человек, дружески принятый у Нарышкина. Последний уверял, что как увидит физиономию Горикова, то страшно захочет пуншу, и потому, когда входил Гориков, Нарышкин кричал: «Горикову пуншу» – хотя бы это было утро.

Государю захотелось иметь попугая, у Нарышкина был отличный попугай, и он подарил его государю. Наступило представление к наградам перед Пасхою; государь приказал прочесть себе список представляемых, и между ними Гориков был представлен к чину. Лишь только читающий список упомянул фамилию Горикова, как попугай закричал: «Горикову пуншу!» и повторил несколько раз. Александр вычеркнул Горикова из списка, сказавши, что он, должно быть, пьяница. Говорят, много надобно было хлопот, чтобы разубедить Александра. Сколько я ни припоминаю случаев, то, оказывается, жизнь того времени – не похожа на жизнь общества нынешнего. То же скажут и о нас будущие поколения.

В морском корпусе я выдержал экзамен из кадет в гардемарины. Они каждый год, три месяца ходили в море для практики. Экзамены были необыкновенно строги, не по билетам, а от доски до доски. В офицеры было четыре экзамена. Первый – учителя экзаменуют гардемаринчиков чужого класса и делают отметки. Потом корпусные офицеры по 5, 6 человек экзаменуют на своих квартирах и делают отметки. Потом созываются из Кронштадта все командиры кораблей и экзаменуют, удостоверяясь в достаточном знании будущих их помощников. Последний экзамен назывался публичный, потому что публиковалось, кому угодно экзаменовать, и приглашались адмиралы, министры, сенаторы и митрополит с архиереями. Этот экзамен был легкий, для парада.

На этом экзамене была большая забота архимандриту или иеромонаху из Лавры, который учил нас закону Божию. Этому предмету – никто не учился и никто ничего не знал; бывало, иеромонах спрашивает каждого Христа ради выучить один параграф и отмечает его в списке против фамилии; но и при этом не все хорошо отвечали. На экзамен нашего выпуска явился какой-то фрак (штатский), еще молодой. Инспектор спросил: «из какого предмета угодно экзаменовать?»

– Из дифференциалов и интегралов, – отвечал он.

Все удивились, ему дали лучших учеников: Николаева и Врангеля. Оказался знатоком, и после мы узнали, что это был Остроградский. Произведенному в мичманы корпус дарил белье, но надобно было экипироваться самому, а отец не мог дать мне денег. Дали 100 рублей в счет жалованья, и я сшил себе дешевенькое платье. Пожил я тетки Буниной с месяц, ездил с ней по гостям уже как член общества. Затем отправился в Кронштадт почти прямо на корабль, так как тогда флот посылали за войсками, оставшимися во Франции.

---

\* В более ранних публикациях этот персонаж носил фамилию – Гавриков. – Примеч. М.И. Классона

Тетка и дядя дали мне немного денег, да остались от экипировки, и я, не помню от кого, узнав, что русские медные деньги очень дороги во Франции сравнительно с серебром, все свои деньги разменял в церквах на медные.

Будучи во Франции я накупил безделиц, но которые были новостью в Петербурге. Возвратясь, я подарил некоторые тетке и дяде, за что они меня экипировали хорошо. Остальные все вещи я продал в модный магазин и получил 400 руб. Жалованье поручика в то время было 180 руб. ассигнациями, и мы жили на эти деньги. Можно представить, каким громадным богатством казались эти 400 рублей в моих руках! Я с любовью много раз пересчитывал эту громадную сумму и думал, что с прибавлением жалованья – жизнь моя обеспечена. Как вдруг явился остававшийся на берегу мой товарищ Дюмутье. Это был сын эмигранта, белокурый красавец; он был адъютантом в [флотском] экипаже и объяснил мне, что завтра смотр и у него недостает 400 руб., которые он роздал офицерам в долг.

Если завтра, говорил он, не окажется всех денег, то он пойдет под суд и будет матросом. Он говорил, что ему нужны деньги только показать начальству, а после обеда он привезет мне их назад. Говорил Дюмутье со слезами на глазах, я сам чуть не расплакался, обнял его и радостно отдал ему мои драгоценные 400 руб. И теперь не понимаю, как мог этот плут узнать, что у меня ровно 400 руб. По уходе Дюмутье я впал в самое сладкое настроение, радовался, что мог спасти товарища. Что же оказалось? Дюмутье все солгал, деньги мои промотал на известную тогда красавицу Медведеву, и я денег этих не видал и до сего часа.

Возвратясь из Камчатки и посетив из любопытства монастырь в Стрельне, за вечернею, между монахами – узнал Дюмутье. При выходе из церкви я окликнул: «отец Дюмутье». Он шел смиренно, но услышав свою фамилию, положил палец на губы и пригласил знаком следовать за собою. Узнав меня, он тоже обрадовался и рассказал свою биографию: накутивши в Кронштадте, он бежал, забрался в Тамбовскую губернию; влюблялся он и влюблялись в него, чуть ли не был два раза женат, скрывался в Москве, ходил собирать на монастыри и церкви. Изведав все пути мошенничества, он, наконец, под чужим именем поступил в монахи и говорил, что лучшего положения он не знает.

И правда, келья его была полна работы барынь, белье носил прекрасное – тоже подарок барынь, в деньгах нужды не имел. После чаю он потчевал меня прекрасными сладостями, предложил ужин, из секретного шкапика в стене достал серебряную паровую кастрюлю, там готовый был бифштекс, явились сыры, колбасы и разное вино. Я посмеялся над нарушением монашеского обета, он тоже смеялся и сказал: «монах должен быть чист как голубь и хитр как змий». Рассказывал, что он часто ездит в Петербург и имеет там много знакомых барынь и купчих и прибавил, смеючись: «житье хорошее, пожаловаться не могу». О моих деньгах не было ни слова.

Без походов (т.е. плавания) и оставшейся морской провизии, на маленьком жалованьи жить было почти невозможно; для экономии мы все жили по двое и по трое на одной квартире. Кронштадт – маленький городок; в нем мещаются до 4 тысяч офицеров, вся провизия дороже, чем в Петербурге, потому что оттуда привозится. Как я ни передумывал выбиться из нужды, но в будущем видел только ее одну.

Вдруг последовал вызов желающих отправиться в Камчатку<sup>\*</sup>. Не зная Камчатки, я не знал, хорошо или дурно там, но в первую минуту рассуждал так: положим, в Камчатке дурно, но и здесь очень худо, если я не найду в Камчатке лучшего, то все-таки увижу что-то новое. Решено – еду в Камчатку. Но общество мичманов в Камчатке таково, что предложит экспедицию в ад – найдется много охотников. В Камчатку требовалось всего два

---

\* В.А. Черных привязывает этот эпизод к 1818 г.

офицера, а объявили желание 40 человек. В назначении меня помог своими связями дядя Бунин, и мне завидовали очень многие.

Я проехал недалеко от Золотилова, но не заехал к отцу и уведомил о своей командировке только из Иркутска. Хотя я и любил мать, но страх к отцу превозмог, и я матери моей не видал. Нас по дороге в городах принимали прекрасно – мы были молоды, в мундирах, шитых золотом, хорошие танцоры, и в провинциальной глуши нам были рады. Почти везде я слышал слова сожаления: такие молоденькие, так умны и любезны – за что это их ссылают в Сибирь?

Нас было трое, [один] – капитан-лейтенант Воронов, совершенно ни к чему не способный человек. Другой товарищ – Николай Повалишин, мы с ним вместе определились в корпус, в одном классе проходили науки и вместе на корабле делали первый поход. Повалишин учился очень хорошо, поведения прекрасного, был стройный брюнет и недурен, он проигрывал против меня тем, что не имел общественной ловкости и находчивости с дамами, т.е. не имел смелой самонадеянности, а я все это приобрел, шатаюсь по гостиным вельмож, с теткою и дядей. Повалишин, при выгодной наружности – был замечательный флегматик, он часто задумывался, мечтал как бы составить себе обеспеченное состояние, но не был скуп и был совершенно честный человек, трезв как и я. С нами ехала команда из 25 матрос[ов]-охотников, молодец к молодцу, люди, душой и телом нам преданные.

Празднуя по всем попутным городам, а иногда и у помещиков на пути, где два, где три дня танцевали, волочились, были сыты и веселы. Остановлюсь несколько на описании Омска. Это крепость на границе киргизских степей; там была главная квартира командира сибирского корпуса войск, должность которого исправлял генерал Клодт. Это был немец от головы до пяток, сын его – знаменитый скульптор. Барон Клодт – был страшно рассеян: выходил из дома иногда в мундире, но в подштанниках, часто носил [треугольную] шляпу в руках на улице. При мне он пошел гулять и ушел за крепость верст 8-мь и возвратился на навозном возе. Все привыкли к его странностям и все любили его; он был редкой доброты и весельчак.

Нам отвели целый дом корпусного командира. Комендантом был полковник Иванов, он и его семья были любезнейшие люди, но как комендант Иванов не имел понятия о службе до того, что я учил его ходить рундом. В Омске были комиссии: комиссариатская, провиантская, аудиториат и главная квартира атамана казачьих линейных полков. Атаманом был генерал Броневский – живший роскошно. Жизнь в Омске тогда была вполне азиатская, довольно сказать, что женщин держали окнами на двор и с железными решетками, девиц запирали на ночь ключом. При корпусном штабе были все пожилые и старики. Молодежь состояла из казачьих офицеров, это были – все красавцы, молодцы, но необразованные и малограмотные.

В Омске обрадовались нашему приезду, и так как у нас заболело два матроса, то мы сочли законною причиною пожить в Омске до их выздоровления. Нас носили на руках, каждый день бал, обед и все содержание – от коменданта. Меня полюбил барон Клодт, сам возил с визитами.

Из Омска я поехал в Иркутск – город прекрасный, много богатого купечества и хорошо образованного. Иркутск – столица Сибири. Я остановился в адмиралтействе, начальник лейтенант Кутыгин был прелюбезный человек. Я приехал следом за Сперанским, который был послан государем для исправления злоупотреблений по управлению. Генерал-губернатором был Пестель, кажется, во все 13 лет губернаторства не бывший в Сибири. Иркутским губернатором был Трескин, это был царек Сибири. Дамы и мужчины не подходили к нему иначе, как целуя ему руку, чиновники – так же. Этот жестокий деспот водворил удивительный порядок в Сибири. Если проезжий забывал на [почтовой] станции ко-

шелек или часы, то его догоняли и отдавали, ни убийств, ни воровства не было, хотя все селения полны были ссыльными.

Я расскажу, как я являлся к губернатору Трескину. Я был предупрежден, что в зале его садиться не дозволяется. Приехал я в 10 часов утром. Трескин еще не выходил; в зале председатели, советники и проч. чины стояли каждый на определенном месте: у стены или у печки; все это стояло безмолвно и не шевелилось. Я пришел и сел на стул – все переглянулись и удивились, как вещи небывалой. Приехал с рапортом комендант, полковник Цейдлер и, видя меня сидящим, решился сесть.

Молчание гробовое. Вдруг растворились обе половинки двери кабинета, и я увидел тучного старика в белом халате, в белом колпаке, с висящими белыми волосами. Эта белая фигура двигалась тихо, точно на колесах, но глаза черные, светящиеся и быстро двигающиеся. Трескин прямо двинулся ко мне. Я встал не торопясь.

– Ты уже уселся? – сказал он.

– Устал, ваше превосходительство, с дороги.

– Как тебя зовут?

– Эразм Иванович.

– Где ты учился?

– У дьячка на медные деньги, – отвечал я на этот странный вопрос.

– Сколько у тебя душ?

– Одна своя, но прекрасная.

– Сколько у тебя денег?

– Императорская (бумажка) в кармане.

Он взял меня за руку, вывел на середину и, повертывая, сказал: «не велика птичка, да носок остер». Трескин кликнул чиновника и приказал отвести меня к дочерям его, – их было три; я отрекомендовался и уселся чинно, они работали в пяльцах и молчали. Я с намерением спутал у одной шерсть, а у другой уронил пяльцы, хохотал и болтал; все вскочили и стали смеяться, знакомство сделано. Одна пошла в комод, я увидел там много конфет и стал есть, они – бросились отнимать, я от них, они за мной, я вскочил на стол, и вдруг отворяются двери, в дверях отец. Дочери хохочут и жалуются отцу, а я жалею, что они щиплются.

Удивленный старик расхохотался, велел нам помириться, пригласил меня обедать у него, но не обижать дочерей. За обедом Трескин посадил меня против себя; я ел всегда очень много и скоро. Он любовался и говорил, что он лучше ест, глядя на меня. После обеда Трескин увел меня в кабинет и спросил: умею ли читать?

– Умею и отлично, – отвечал я.

– На, читай, – и дал мне какую-то книгу, а сам лег на диван. Я хотел читать с толком, с расстановкой, но старик остался этим недоволен.

– Что же, ты не умеешь скорей читать? – спросил он.

Я начал читать как пономарь, и он был доволен. Весь Иркутск дивился моему поведению и успеху у Трескина, но он уже был не тот, что прежде. В Иркутске был уже Сперанский, и каждый чувствовал высшую власть и другое направление. Сперанский так известен в России, что описывать его не нужно, но надо сказать, что он был наружности красивой, стройный и непобедимо привлекательный – я много видел его портретов лучших художников, но ни один портрет не передает и тени его удивительных глаз, а других подобных глаз я не видел во всю жизнь. Голос у него был тенор, движения мягки и тихи.

Являясь к Сперанскому, я был ласково принят и, конечно, не паясничал. С ним была огромная канцелярия – все из Питера и люди дельные, образованные. Между многими был капитан путей сообщения Гаврило Степанович Батенков, этот, кажется, был всех умнее. История его следующая: он был артиллерийский офицер, в 1812 году под Смоленском



наши войска, ретируясь, не успели уничтожить мост. Кутузов послал двух офицеров, каждого с двумя пушками обстреливать мост и умереть там, но не ретироваться. Батенков рассказывал:

– Мы стреляем картечью, массы французов валяются, но идут, подходят близко, у меня канонеры перебиты, сам я прикладываю фитиль, и в это время меня повалили штыком, помню, как штыком прокололи коленку, это было так болезненно, что я потерял память.

Товарищ Батенкова, видя приближение французов и желая спасти пушки – ускакал. Батенкова, как убитого, исключили из списков [части]. Опомнился Батенков в лазарете французов и после был отправлен на юг Франции, где и жил до взятия Парижа. Тогда он явился в главную квартиру, но ему сказали: Батенков убит и исключен из списков. Документов он никаких не имел, и ему много было хлопот, чтобы доказать, что он действительно поручик Батенков; товарищи и солдаты помогли ему.

Батенков получил прямо капитана, Георгия и Владимира, но, не желая [далее] служить в военной службе, он без экзамена перешел в ведомство путей сообщения. Не помню, как узнал его Сперанский, но я нашел Батенкова, занимающегося составлением нового положения о ссыльных. Он был отличный говорун – о чем угодно, остер, саркастичен, и Сперанский любил слушать болтовню Батенкова. После мы очень полюбили друг друга, хотя он был много старше меня.

Я и теперь не пью, но тогда совершенно не пил, даже не пил шампанского за здоровье Сперанского, а вместо шампанского наливал в бокал превкусный мед и пил, но и мед делал меня красным. Однажды зашел у Батенкова разговор с Сперанским обо мне. Батенков хвалил меня, Сперанский назвал меня способным мальчиком, но с сожалением заметил, что я еще юноша, а как моряк привык пить, жалко видеть, как он от обеда выходит красный. Батенков расхохотался и объяснил Сперанскому, что я в жизни еще не попробовал вина и за здоровье его пью только мед и оттого краснею.

Приехали, наконец, и мои товарищи: Повалишин с Вороновым. При Сперанском находился родной его племянник Жорж Вейкарт, мне ровесник, хорошо образованный, и мы скоро подружились. Я, Повалишин, Вейкарт и [офицер адмиралтейства] Иванов порядочно танцевали на частых балах, и Сперанский, видимо, любовался нами. Он знал мою дружбу с Вейкартом и пропускал нам многие шалости. Раз, перед сумерками в адмиралтейство является офицер-ординарец Сперанского и, называя меня по фамилии, объявляет приказание генерал-губернатора явиться к нему немедленно. Я надел полную форму и отправился к Сперанскому. Он ходил по комнате в стареньком сюртуке, встретил меня ласково и, прежде всего, спросил: зачем я в мундире? Я отвечал, что считал себя не вправе явиться иначе по приказанию генерал-губернатора.

– Это переврал посланный офицер, – сказал он, – а я приказал просить вас к Михаилу Михайловичу Сперанскому. Прошу на будущее время отличать приглашение, к Михаилу Михайловичу можно и прилично являться в сюртуке. Свободны ли вы на два часа времени?

Я, разумеется, поклонился и отвечал, что совершенно ничего не делаю.

– Ну так, походимте со мною.

Вот наш разговор:

– Вы, конечно, воспитанник Морского корпуса?

– Точно так.

– Ваш курс, преимущественно, математическо-астрономический?

– Да-с, всех наук, входящих в мореплавание, а также стратегии и фортификации.

– Это для чего же?

– На случай действий десантом на сухом пути.

– Но все-таки, главное – астрономия?

– Действительно, эта часть науки в большом развитии.

– Скажите, какой вы системы держитесь?

– Коперника.

– Вполне ли вы довольны этой системой?

Этот вопрос мне показался чрезвычайно странным. Первый момент я и не знал, что отвечать, но сообразил, что такому умному человеку хочется шутить с юношей, и отвечал:

– По приказанию, я обязан эту систему признавать непогрешимую, но сам по себе я не признаю верными положения Коперника.

– В самом деле?

– Да-с, я имею свою систему.

– Право? Много обяжете, объяснив мне свою систему. – Сперанский добродушно улыбнулся и прибавил, – Будьте откровенны и высказитесь свободно, я вас слушаю.

Положение было затруднительное, попасть в дураки не хотелось, я начал смело, долго, очень долго говорил, но, должно быть, вздор, потому что Сперанский слушал и несколько раз улыбался.

– Благодарю вас, – сказал он, наконец, – теперь мне время заняться, – подал мне руку и просил в свободное время посещать его в сумерки.

– Прощайте, – прибавил он, – надеюсь поучиться у вас, когда вы будете в сюртучке; прощай, молодой мой друг.

Через несколько дней Сперанский развил мою теорию перед Батенковым. Последний мне признался, что он, слушая Сперанского, не знал, что и думать, но Сперанский сказал:

– Я чужого не присвоиваю, это система твоего молодого друга Эразма, он насмешил меня, болтал часа два и развеселил меня на целый вечер. Молодое воображение увлекло его, он искренно высказывался; это мне очень нравилось, теперь и я уверен, что он неиспорченного сердца, – и потом начал передразнивать мою походку и голос, но просил не передавать мне; оба усердно хохотали над моею ребяческой изобретательностью.

После этого я еще раз был у Сперанского. Он хотел знать мелкие подробности о мореплавании. Я рассказывал ему как можно популярнее, и он, казалось, был доволен, а я, действительно, удивлялся способности глубоко постигать и быстро соображать совершенно незнакомый ему предмет. Беспреданно делаемые им вопросы убеждали меня, что он слушал внимательно. В конце разговора Сперанский вдруг неожиданно спросил?

– Знали ли у вас в корпусе о моей ссылке?

– Знал весь корпус и, может быть, в тот же день.

– Что же говорили?

– Говорили, что вы изменник, и я вас вешал.

– Как же это, расскажите, пожалуйста?

– Вырежу, бывало, из бумаги человечка, подпишу – Сперанский, на шею привяжу ниточку, а на другой конец нитки жеваную бумагу и брошу в потолок. Жеваная бумага пристанет к потолку, и человечек висит.

– Кому же я изменил?

– Разумеется, подкупил вас Наполеон.

– Многие вешали?

– Все.

Сперанский, мне показалось, был удивлен.

– Я никак не полагал, – сказал он, – что у вас в корпусе так развит патриотизм. Ну, а теперь как вы думаете?

– В корпусе после прошел слух, что вы пострадали невинно, и мы все сожалели о вас.

– Я не помню морских кадет мне знакомых, кто же меня знал?

– В корпусе всех знают, мы часто знаем, что тайно делается во дворце, а как все знают – я не умею доложить.

– Очень благодарен вам за откровенность, у вас хорошее начальство, когда умело так сильно внушить вам любовь к России.

– Мы о России мало думали, мы всей душой любили государя, и кто был виноват перед государем, того мы готовы были казнить. Мы и Барклай де Толли вешали, когда в обществе говорили, что он изменник, но после и его простили.

– Хороший дух в вашем корпусе.

Сперанский и этот разговор передал Батенкову. Скоро после того Батенков предложил мне остаться на службе у Сперанского. Батенков очень советовал переменить морскую службу на статскую и уверял, что я пойду хорошо, – но я тогда презирал статскую службу. Кроме того, я любил морское дело настолько, что расстаться с морем я и подумать не мог. Я отказался, и более об этом разговора не было. Дружба моя с Батенковым все более скреплялась, но это не была дружба ровесников: Батенков был много старше меня, и я сознавал его превосходство ума, опытность и чувствовал к нему уважение.

Жорж Вейкарт – это другое дело, с ним мы были ровесники, он был учнее меня, но юность не обращает на то внимания; мы оба были веселонравны, жизнь у обоих просилась из рамок приличия, и мы хотели жить. Сперанский очень любил Вейкарта, и узнавши во мне неиспорченного юношу, ласково смотрел на нашу дружбу. Как умный человек, он понимал, что молодость требует жизни без благоразумия, и на наши шалости смотрел сквозь пальцы.

Сперанский принял одну меру ограничить наши шалости: он ни копейки не давал Жоржу денег, а я кроме жалованья – ничего не имел. Тогда в Иркутске был обычай: всякий приезжающий чиновник или офицер получал в свое распоряжение на целый день пару лошадей с санями и кучером – на все время пребывания в Иркутске. Это давал откупщик, и у него был всякий день обед для проезжающих. В первый же день явилась и ко мне пара лошадей, и я пользовался ими до выезда из Иркутска. Обедом я не имел нужды пользоваться у откупщика, потому что всякий день был на званом обеде.

В правление Трескина исправники – были полные властители, отлично платили Трескину и сидели на местах десятки лет. Жалоб на исправников были тысячи, все за взятки. Сперанский принимал все жалобы и дело вел в тишине. Обыкновенно, за преступления ссылали из России в Сибирь, а Сперанский всех виновных чиновников ссылал из Сибири в Россию, и это считалось жестоким наказанием.

Замечательным человеком в Иркутске был откупщик Иван Ефимыч Кузнецов, он известен был под именем «Короля». Действительно, наружности был королевской; прекрасного роста, красавец в полном смысле, богат без счета и роскошен, как откупщик. Он был последний любовник жены Трескина, этой сибирской Мессалины. В доме Кузнецова и жил Сперанский. Чтобы кончить об этом необыкновенном человеке и [далее] не обращаться к нему, я скажу о нем несколько слов. В 1830-м году «Король» Кузнецов уже постарел, но еще был хорош и бодр, я нашел его бедняком и всеми забытым, хотя он еще жил в доме, где прежде жил Сперанский, но дом был описан за долги. По старой памяти, я посетил бывшего «Короля». Я нашел его в изорванном халате, он сидел в бывшем кабинете Сперанского и своими руками промывал песок с золотой россыпи.

– Что это вы делаете, Иван Ефимыч? – спросил я.

– А вот пробую, может быть, что-нибудь и выйдет.

Был по-старому любезен, приветлив, рад был моему посещению. Я, конечно, не напоминал ему о прежней его славе, а он не казался огорченным своим положением; я с ним приятельски простился, он поцеловал меня и сказал: «делает честь вашему сердцу, что не забыли старой дружбы». Я искренно пожелал ему, чтобы вышло из его труда что-нибудь

хорошее. А вот что вышло: в 40-ых годах «Король» не знал куда девать денег. Детей у него не было, он швырял сотнями тысяч во все стороны на всякие благотворения, даже положил огромный капитал, процентами с которого должны оплачиваться подати мещан г. Иркутска. Он был пожалован статским советником, имел много орденов и до конца жизни обеими руками делал добро и не мог истратить своих капиталов.

Каким случаем разбогател этот бедняк? А именно, исполнилось мое [по]желание при прощаньи. Один ссыльный был долго в бегах и случайно нашел богатую золотую россыпь. По старой памяти, он принес пуд этого песку и подарил Кузнецову. Вот за работой этого песка я и застал горемыку «Короля». Оказалась эта россыпь столь богатою, что из ста пудов песку добывалось около фунта золота. Какое же богатство попало Кузнецову! За то он и не знал счета своим деньгам.

### **Записки Э.И. Стогова**

*«Русская Старина», март 1903 г.*

#### IV.

Отъезд Стогова в Якутск, а потом в Охотск. – Назначение командиром судна «Михаил». – Плавание в Камчатку. – Пожар на судне. – Характеристика каторжных и их жизнь. – Доктор Беневицкий. – Помещик и его камердинер в одном остроге. – Петропавловский порт. – Жизнь в Камчатке. – Вулканы. – Быт местных жителей.

Наступила зима, и мы отправились в Якутск, где областным начальником был Миницкий, бывший моряк. Он был сначала начальником в Охотске и, бывши в Иркутске, женился на старшей дочери Трескина и получил Якутск в приданое. Миницкий был уже очень пожилой человек, довольно умный и способный делец; его любили в Якутске. Жена его была очень недурна, но склонностями – вся в маменьку. Мы легко сошлись с нею, но Миницкий, видевший наши отношения, на страстной неделе объявил нам, что начальник в Охотске просит как можно скорее отправить к нему двух лейтенантов – Стогова и Повалишина.

Из Якутска в Охотск – около 1 300 верст. Обыкновенно, все отправляются летом на нанятых лошадях в Якутск\* верхом. Можно ехать и зимою, но тогда на почтовых, путь очень трудный: сначала верст 120 в повозках, потом верст 300 верхом на лошадях, потом верст 650 верхом на оленях, остальной путь на собаках. Невзирая на трудность пути я уговорил Повалишина ехать немедля. После оказалось, что Миницкий все выдумал: никакого требования от охотского начальника не было, но Миницкому хотелось избавиться от нас.

Мы, молодежь, не подумали, что на предстоящем пути нет ни одного жилья, и о запахах на дорогу не позаботились. Миницкий даже со злобы не упредил нас, а распорядился отпустить с нами пудов пять сухарей, два фунта чаю и голову сахара, да на первые дни жареного мяса. Морозы были еще очень сильны, домов на [почтовых] станциях нет, теснились в бедных тунгусских юртах и находили там самую скудную пищу. Помню, ехавши на оленях, остановились кормить их и отпустили на волю; олени разгребают в 2-3 аршина снег, находят под ним мох и наедаются. Мы встали перед светом, взяли тунгусский котелок, положили сухарей и снега и сами вскипятили на разведенном огне. Это был день Христова воскресенья; мы похристосовались и принялись разговляться сухарями с снежной водой; ели с аппетитом и находили наше кушанье очень вкусным и от души смеялись над нашим положением. Молодость, здоровье – это истинное богатство.

В Охотске был злой начальник Ушинский, он был капитан 1-го ранга. Ушинский крайне был удивлен нашим приездом; тут мы узнали, что он и не думал нас требовать. Квартиру нам отвели у лазаретного комиссара Окулкова. Это был старик, выслужившийся матрос,

---

\* Явная описка/опечатка: конечным пунктом данного маршрута Э.И. Стогова со товарищи был, конечно же, Охотск. – Примеч. М.И. Классона

его звали Алексей Михайлович, жена его Анна Ивановна – была за ним за третьим мужем, у них был один сын – лет 12-ти. Старики были редкой доброты; я все 12 лет жил на одной этой квартире.

Охотск стоит на самом берегу Охотского моря, отделяется от него грядой Курильских островов\*. Океан страшными своими волнами накидал низенький мыс – может быть, сажени две от горизонта моря; грунт из мелкого круглого камня, земли и песку нет. Этот низенький мыс – шириною версты в две и уже. На этом мыске: порт, верфь, казармы и домики отставных матросов. Жителей в городе с командами до двух тысяч. Вот куда закинула меня судьба, но на другой день я, к удивлению своему, приглашен был в театр.

Театр был в пустой казарме, играли какую-то комедию и недурно. После первой пьесы подсел ко мне щегольски одетый молодой мужчина-красавец, почти мне ровесник. Это был один из служащих в Американской компании Анастасий Изотович Ленже; он воспитывался в коммерческом училище и очень хорошо был образован, служил бухгалтером и был душою затеи – театра. Тут же, в театре мы с ним сошлись и до конца его жизни были друзьями. Этот превосходный человек, после сделавшись правителем фактории, проживал до 40 тысяч руб. в год, но потом спился и умер в крайней бедности.

В Охотске строился корабль «Михаил», я был назначен командиром его и получил приказание отправиться на нем в Камчатку, в Петропавловскую гавань\*\*. Поход был весьма благополучный, но случилось одно важное происшествие: как помощника у меня не было, то раздеваться и выспаться не приходилось – спал на палубе и урывками. Как-то выдался прекрасный тихий день. Барометр стоял высоко, мне захотелось понежиться, я разделся и лег спать в каюте, это было в 10-м часу утра. Вдруг показался дым из трюма. Боцман Шкулев пришел разбудить меня, будил, поднимал, а я спал как в летаргическом сне. Дым становился гуще, и почти вся команда пришла будить меня; очнулся и удивился, увидав полную каюту людей. Мне доложили, что пожар на корабле.

– Так что же вы не тушите?

– Не знаем как.

Я отдал первоначальные распоряжения и стал одеваться, но, разумеется, обдумывал, что мне делать. Приходит Шкулев и говорит, что дым сильнее.

– Пожалуйте наверх.

– Не иди же мне в одном сапоге, – отвечал я хладнокровно, – вот надену другой сапог и выйду.

Помпы были поставлены за борт, гребные суда были готовы к спуску. Дым, действительно, был густ, и люди не выдерживали. Я приказал намочить полотенца, обвязал рты матросам, и они долее выдерживали. Вынимая груз наверх, пробирались к тому месту, откуда шел дым, причем оказалось, что плита на кухне лопнула, прогорел войлок, протаял свинец и загорелись запасные матросские койки. Потушили. Долго после того, если двое заспорят и один разгорячится, то ему говорили: да ты надень сапог.

Подойдя к Курильским островам, я осмотрел третий остров – это огромная и голая скала без пристани. Курильские острова и берега Камчатки – это громадный хребет гор, уставленный высочайшими вулканами, океан – полон морскими зверями: киты, касатки, дельфины, морские львы, а близко берега – множество разнообразных тюленей. Морских птиц множество. Все это было ново для меня и очень занимало. На горизонте я увидел какую-то массу и много птиц; я пошел туда, оказалось, это был мертвый кит, и миллионы птиц делили добычу и дрались между собою как собаки.

---

\* Все-таки Охотск отделяется от Тихого океана, а не от Охотского моря, грядой Курильских островов. – Примеч. М.И. Классона

\*\* В.А. Черных относит этот эпизод к 1821 г.

Все было ново, любопытно, и этот поход вознаграждал меня за лишения в далекой стороне. Власть командира и торжество науки над препятствиями и опасностями окончательно пристрастили меня к морской службе. Петропавловская гавань, как гавань – не имеет ничего себе подобного в мире. Вход не шире  $\frac{3}{4}$  мили, длиною, как канал, около 7 миль. Большая гавань может поместить флоты всего мира; из этой гавани выходят три небольшие гавани, в которых ни в какую бурю не возмущается вода. В одной из этих маленьких гаваней, на скате двух гор – приютились строения и церковь. Все бедно, все мелко, но это Камчатка – 12 тысяч верст от Москвы.

Еще в Охотске я сделан был презусом военного суда. Там ни уездного и никакого не было, и был следователем по всем происшествиям. В 20 верстах от Охотска, по берегу моря стоит солеваренный завод\*, на котором работают каторжные, но какие каторжные, – не поддавшиеся исправлению ни от каких наказаний. Все они вытерпели несколько наказаний кнутом и, как последняя мера, сосланы в Охотск. Это отпетые люди, учинившие не одно убийство, презирающие всякое наказание и как бы ищущие сделать преступление. Это люди, которых все боялись, и по заведенному порядку – каторжный не имел права подходить к чиновнику ближе 6-ти аршин.

Стоит того, чтобы я поговорил об этом народе.

В первую весну какое-то следствие привело меня на завод. Я уже много слышал о характере этих молодцов и составил себе идею о них. Я еще застал там знаменитого Карцова, бывшего поручика гвардии; это был человек саженого роста, с некоторым образованием и поэтическим понятием о чести и благородстве; он был атаман небольшой шайки разбойников, человек 5-6 не более. Всякую весну он убегал и командировал на дороге между Якутском и Охотском; зимой являлся, судился, наказывался плетями, а весной опять уходил. Старик при мне уже не бегал.

Подобные ему отверженцы, лишенные всех человеческих прав, дорожили более жизни – свободой. Какою же свободой, когда всю жизнь проводили в ручных и ножных кандалах? а все-таки и у них была свобода по своему понятию. Каторжных было человек более 300, из них женатые имели особые домики, а все холостые жили в общей казарме посреди площади за железными решетками и за строгим караулом. Холостым дозволялось после работы ходить в гости к женатым, вот тут-то и были их клубы, тут происходила азартная игра в какие-нибудь 15-20 карт на капитал 30 коп., но азарт был совершенно такой же, как в игре на 100 тыс. руб.

Тут влюблялись в чужих жен, тут смертельно ревновали, бывали и убийства; тут же составлялись сговоры на побег, – одним словом, хотя это был и грязный мир падшего человека, но человек и в этот мир перенес с собою страсти, да еще в крайней степени. Каторжный, если не имел на себя жалобы, вмешательство начальника считал нарушением своей свободы, и тогда, начальник, берегись. Если же бывала жалоба, тогда виновного можно наказать жестоко, и начальник не виноват, он исполнил закон, а закону должны повиноваться все.

Приехав в завод, я увидел удивительную охоту на бесчисленных озерах. Я был молод, а молодость просилась на подвиг. Я выбрал трех каторжных из самых отчаянных, приказал расковать, посадил в лодку, и мы отправились на охоту. Пристал я к острову, приказал каторжным развести огонь, жарить и есть птицу, а сам завернулся в шинель и будто бы заснул. Один из них, Андрюшка, сказал, что я должен быть честный человек. Другой подтвердил и прибавил: «да, он честный и храбрый, потому что подлец не доверился бы нам, варнакам, а он спит как ангел». Третий сказал: «вот на такого человека и не поднимается рука». Они наелись, а я будто проснулся, и мы поехали домой. Дорогой я спросил:

---

\* Редакторы «Русской Старины» ошибочно назвали его саловаренным! могли бы свериться с предыдущими публикациями Э.И. Стогова в своем же журнале!! – Примеч. М.И. Классона

– Может быть, из вас кто-нибудь намерен бежать?

Молчат.

– Я спрашиваю вас не по службе, а по секрету, – продолжал я.

Андрюшка, глядя исподлобья, сказал вполголоса, что он убежит.

– Когда?

– Завтра?

– А кандалы?

– Да это царское, я повешу на дереве.

– А что будешь есть?

– Да я зимой спрятал в дупле сухарей и крупы, а там что Бог пошлет.

– Ребята, я ничего не слышал, секрет.

– Слушаем-с, – отвечали они.

Приехали; я приказал заковать по положению и очень был доволен своим днем. Остановить Андрюшку – бесполезно, он бежит в другое время, а я только озлоблю его и других. Поутру получаю рапорт, что из числа ходивших на рубку дров Андрюшка бежал. Сделано было законное распоряжение о поимке, но Андрюшки и след простыл. В тот же день каторжные шептали: «с этим барином можно жить, он честный и благородно держит слово». С первым снегом Андрюшка явился на гауптвахту, где я случился на то время. Он повалился ко мне в ноги и целовал их, благодарил за то, что я не помешал ему бежать.

– Дурак, ведь тебя накажут плетьюми?

– Что же, батюшка, это не твое дело, не ты, а закон наказывает, а ты выше закона не будешь.

Но вот еще замечательный рассказ об Иване Медянцеве. Он только что убил в казарме одного каторжного кандалами по голове. Его наказали кнутом, и он успокоился. Медянец из ярославских мещан, лет 32-х, вершков 10-ти роста, хорошо сложен, гибок, силен, грамотен. После каждого убийства он читал Библию – это была его потребность.

С устройства завода никто и никогда не входил в холостую казарму каторжных, а, обыкновенно, выкликали поименно. Я первый решился пойти, за мной вошли караульные с ружьями, но что могут сделать караульные там, где достаточно одного удара кандалами по голове? Я караульным приказал выйти вон. Я был в форменном сюртуке, в эполетах, но без сабли. Вошел и поздоровался. Более 200 человек на нарах, в два этажа загремели цепями, все поднялись и здоровались.

Боже мой, что за искаженные физиономии и в такой массе предстали пред меня! Но это люди, и я держал себя как с людьми, хотя другие и считали их хуже зверей. Как водится, хозяева просили меня садиться, но я не решался, видя много ползающих насекомых. Догадались, нашли доску, вытерли. Я начал с участия к их быту, спрашивал, нет ли обид, каково кормят и проч. Дошел я и до нравственного ответа в будущей[, загробной] жизни.

– Отнимать жизнь, – сказал я, – дело непоправимое, велик ответ перед Богом, – и обратился с увещанием к Медянцеву.

Он искренно признался, что он сам мерзок себе, после убийства.

– Так зачем же ты убиваешь?

– А вы думаете, я рад тому: бывает такое время, не знает человек покоя, сна нет, все красно в глазах, куда бы никуда спрятался, а на эту пору какой-нибудь дрянной человек досаждают, ну, и не помнишь, как хватишь его чем попало и по чему попало. Тогда опомнишься, когда убьешь, да уже поздно. Явится новая неприятность за убийство (наказание), да уже не поправишь, вот так и живешь.

Подобный рассказ о каком-то болезненном пароксизме я слышал от многих и в разных местах и, полагаю, едва ли это не истерический припадок от сильных потрясений при наказании кнутом. Это физиологическое состояние организма стоило бы разъяснения.

Поговоривши с каторжными по-человечески часа два, я простился с ними; они напутствовали меня молитвами, пожеланиями, и, видимо, им понравилось мое посещение. Смотрителем завода был чиновник Мелехин, он оскорбил Медянцева, нарушил свободу. Оскорбленный не вынес, разругал смотрителя на весь завод. Мелехин взял его с примкнутыми штыками и приковал к стене на цепи. Медянцев объявил, что хочет открыть важный секрет, Мелехин подошел, Медянцев рванулся на цепи, но ошибся, только разрезал платье и легко ранил Мелехина; Медянцева наказали [кнутами], признали неисправимым и сослали на Камчатку. Там снимали кандалы и давали свободу – только живи смиренно. Мера эта, по большей части, удавалась, каторжный смирялся и доживал век в Камчатке.

Заговорив о каторжных, буду продолжать. Я не умел бы сказать, каких национальностей не было между каторжными солеваренного завода. Раз, проезжает чрез Охотск в Америку доктор Беневский. Среди разговора он сказал, что знает все языки Европы и почти все – Азии. Я промолчал, но уговорил его посмотреть солеваренный завод, на что он охотно согласился. На заводе приказано было отобрать людей разных наций, и Беневскому был представлен длинный ряд: турок, персиян, армян и почти все племена Европы.

Я предложил Беневскому поговорить с каждым из них. Но каково же было мое удивление, когда он спросил персиянина: из какой он провинции, и начал говорить поговорками его родины, пропел даже песню. Так прошел он весь фронт и каждому сказал несколько родных им прибауток, пел их народные песни и каждого дразнил, как дразнят на его родине. Беневский уехал на службу Американской компании – в Ситку. Года через три мне сказали, что Беневский целый год жаловался болезнью головы, наконец, сошел с ума и заговорил на всех языках, так что никто не понимал его.

Узнали мы, что в завод ссылается тамбовский помещик Алмазов, где находился бывший его камердинер. История такая: Алмазов делал фальшивые ассигнации, конечно, тайно, в глуши сада, в беседке. Как-то пронюхал он, что его работу подглядел камердинер. Алмазов взвел как-то убийство на камердинера и, посредством денег, достиг того, что невинного камердинера сослали в каторжную работу. Любопытно было нам поглядеть, как встретятся они. Алмазов был еще довольно молод, щедедушный, с плохим здоровьем.

Камердинер встретил бывшего своего барина дружелюбно, даже с оттенком почтения. Алмазов не мог исполнять данного урока на работе, камердинер помогал и много делал за барина, чинил ему обувь, платье. Всех нас тронула честная доброта камердинера, и мы назначили его в неспособные [к труду на заводе] и выпустили на вольное пропитание, а Алмазова, как бывшего дворянина, взяли в город и числили мастеровым при порте, т.е. Алмазов жил в городе на воле. Камердинер, получивший свободу, поселился с барином и, можно сказать, трудами своими пропитывал его. Алмазов наделал разных кукол, сочинял разные комедии и, действуя куклами и разными голосами, весьма искусно представлял «Петрушку», ходя по домам. Мы все охотно платили ему за труды, и он тем и существовал при казенном пайке. Было в заводе человек шесть так называемых «фальшивых монетчиков». Это были все самые кроткие люди, хорошие рисовальщики и резчики.

Каждый год летом из завода бежало несколько человек, иногда составляли шайки, и тогда на дороге между Охотском и Якутском они были властителями. Беглые одиночки существовали воровством, но бывали шайки беглых, – тогда они были дерзкими хозяевами. После смерти Карцова долго не составлялись шайки, да и после не каждый год; ловить их на огромном и безлюдном пространстве не было никакой возможности; зимой же беглые сами являлись в Охотск. Эти шайки всегда имели атамана, есаула, поручика и два, три рядовых. Они знали все пути транспортов, казенного не трогали, но купец редко проходил не заплатя пошлины.



При купеческих транспортах, обыкновенно, ехал приказчик; беглые останавливали транспорт, и атаман спрашивал накладную. Если приказчик не покорялся, то его раздевали, на мягкие места клали зажженный трут и выжидали покорности. Если накладной при транспорте не было, то разбивали все сумы и ящики и выбирали, что им нужно, а если накладная была, то назначали по нумерам те ящики, которые должны быть отданы им, брали, что им нужно, и отпускали. Разумеется, главную статью составляла французская водка\* и одежда, например: круглая шляпа, хорошие сапоги и проч. Чай, сахар – само по себе. Купцы переносили беду, как неизбежное зло.

Но вернемся к своему рассказу. В Петропавловскую гавань каждый год приходили американцы с товарами, и нам, морякам, государь дозволил запасаться всем беспопытно, но пользовались этим правом все, потому что в тех местах таможенных нет. Камчатка нетерпеливо ждет корабль из Охотска: тут и запасы, и продовольствие, и прихоти привозят купцы, тут же и почта – эта единственная ниточка, которою Камчатка привязана к цивилизованному миру. В Иркутск приходит почта каждую неделю, в Якутск – каждые две недели, в Охотск – каждый месяц, в Камчатку – один раз летом, да не всегда, другой раз доходит зимой.

В Петропавловской гавани дом для капитана корабля прехорошенький, стоит на полгоре, венецианское светлое окно, три комнаты и кухня. По горе, во многих местах бегут родники, а потому в каждый дом проведена струя воды на кухню. Для команды – недалеко казарма. Осенью пришел американский корабль с товаром, корабль был почему-то под испанским флагом, а потому на корабле, для наружности, был молоденький испанец Маркезо, уроженец Мексики.

В последнее время он играл важную роль генерала в Мексике, но тогда был еще юношей, играл на гитаре и пел романсы. Корабль запоздал, ночью выпал первый снег. Маркезо, не имевший понятия о снеге, вздумал сделать выгодную спекуляцию: все свои бутылки с вином, с прованским маслом – вылил прямо в море и давай набивать бутылки снегом, и все это секретно. Но какова же была его печаль, когда к полдню в его бутылках оказалось по несколько ложек мутной воды – бедный Маркезо плакал. Вблизи домов гавани есть великолепное озеро, оно замерзло, и Маркезо уверял, что нигде не видал таких больших зеркал, как целое озеро.

Наступила зима\*\*, и начались вечеринки – эти маленькие балы. Жена начальника [порта] Рикорда, Людмила Ивановна, очень милая особа; не имея детей она собрала к себе пять хорошеньких девочек, дочерей дьячков и мещан, прилично одела их, выучила грамоте и танцам.

Живший со мною путешественник, англичанин Кокран часто проводил время у Рикорда. Раз я спросил Кокрана:

– Отчего вы не женаты?

– Не хотел быть дураком первого ранга, – отвечал он.

Но однажды зимой Кокран сказал мне:

– Мне нравится Оксинька, я хочу жениться на ней.

– Так ты хочешь быть дураком первого ранга?

– Да, и ты будешь дураком первого ранга, – отвечал он мне.

Оксинька – Ксения Ивановна – девочка прехорошенькая, лет 17-ти, была в числе пяти воспитывающихся у Людмилы Ивановны. Она была дочь дьячка при церкви в Большерецке. Их было пять сестер, и все были красавицы: старшая вышла замуж за комиссионера Американской компании, вторая за купца, третья за попа, а Оксинька за Кокрана. Свадьба Кокрана устроилась скоро. Когда их обручали, Оксинька страшно плакала и кричала: «не

---

\* По-видимому, коньяк. – Примеч. М.И. Классона

\*\* В.А. Черных относит этот период к зиме 1821/22 года.

хочу за Кокрана, хочу за Повалишина». Сколько возможно, свадьба была обставлена парадно. От дома Рикорда до церкви дорога выстлана была сукном (которое шло на обмундировку команд), по бокам дороги – горели фальшфейеры. Я и лейтенант Саполович были шаферами Кокрана. Он был уже в церкви, а мы, шафера, должны были проводить в церковь Оксиньку. Как мы ни уговаривали ее, она молчит и не идет; я шепнул Саполовичу: «понесем ее». Взяли ее под локти и снесли в церковь. Я научил Кокрана отвечать попу: «согласен». Поп Иван, уроженец Камчатки, при венчании имел обыкновение говорить речь.

Венчая камчадал, он говорил:

– Если ты не будешь любить своей жены, то первый медведь раздерет тебя.

А невесте:

– Если ты не будешь любить мужа, то он будет несчастлив на охоте, а ты не увидишь ни шелкового платка, ни шелковой телогрейки.

Когда поп Иван спросил Кокрана: «согласен ли поять в жены юже пред собою видеши?», Кокран отвечал [невпопад]: «Здравствуй, благодарствуй». После речи о медведе свадьба считалась совершенною.

Был в гавани старичок англичанин Бутлер, он давно уже попался в делании фальшивых ассигнаций, наказан по-русски кнутом, вырваны ноздри и поставлены на лице знаки. Это был образованный старик, жил ничего не делая, кой-как рисовал портреты, картинки, образа – и тем существовал без нужды. Бутлер нарисовал замысловатый транспарант с сердцами, стрелами, амурами и вензелями. Транспарант горел над воротами дома Рикорда – было все в порядке, но всякий из нас знал, что эта свадьба, как карикатура, сочинена была Рикордом для потехи.

После веселого ужина молодых проводили в дом капитана Калмыкова, уложили спать и заперли двери. Поутру, я еще был в постели, как является ко мне Кокран, без сапог, в одной фланелевой одежде. Кокран объяснил, что, проснувшись и вспомня, что он не сказал мне накануне, что не будет к чаю, предположил, что, вероятно, я ожидаю его, искал платье и сапоги, но не нашел, потому что дверь была заперта. Не быть у меня к чаю он считал нечестным и потому вылез в форточку и прибежал в чем спал.

– А что же Оксинька? – спросил я.

– Она спит.

Мы пили чай и завтракали вместе, как обыкновенно. Вот тип англичанина! Воображаю, как была удивлена Оксинька, проснувшись и не найдя мужа.

Кокран никогда не говорил, но я догадывался, что он был нанят богатою английскою компаниею собрать сведения о чукчах и коряках и дойти до устья реки Анадыря, собрать сведения о их промыслах и о возможности завести торговлю около Берингова пролива. Но Кокран из Колымы не решился пробраться к чукчам, хотел попробовать, нельзя ли достигнуть того же из Камчатки, оказалось – тоже невозможно. Не имея возможности сдержать данного слова, он, как англичанин, решился выкинуть штуку – жениться на камчадалке. Это наделало шуму в его отечестве, и Кокран сделался львом в Англии, это все, чего он хотел достигнуть.

Я поехал по реке Камчатке. Не доезжая селения Ганалы, есть острожек Малка, тут горячие минеральные воды и при них больница. Эти воды почти  $80^{\circ}\text{R}^*$ : в семь минут варится мясо, в четыре минуты рыба, а яйцо, не успеешь прочитать «Отче наш» – и готово. Видел я, грызлись собаки, и одна ступила ногою в родник и вынула ногу голую – слезла шерсть. Около обильного горячего родника близко течет родник холодный в  $4^{\circ}$  тепла; воду мешают и лечатся от разных болезней.

---

\* Почти в  $100^{\circ}\text{C}$ .

Камчадал тонок, сухощав, без бороды и усов, с густыми и длинными волосами на голове, заплетенными в косы; вообще, камчадала от камчадалки отличить трудно. Въезжая в село Ключи, повсюду встречаешь мужчин с густыми русыми бородами и усами, народ ширококостный, белотелый, тогда как камчадал – брюнет с медным отливом. Жители Ключей поражают невольно, но это объясняется тем, что еще Екатерина II, желая обрусить этот край, приказала набрать несколько русских семейств и поселить их в Камчатке. С тех пор русаки обжились, размножились, но не мешаются с камчадалами, а живут и говорят чисто по-русски.

В селе две церкви. Живут богато, занимаются огородничеством, но пашни не имеют, о хлебе забыли, питаются рыбою и звероловством, имеют довольно скота и благословляют свою судьбу. Я остановился у попа Михаила и всю ночь не спал, любясь [действующим] вулканом. В Камчатке их много. Меня изумлял громадный столп пламени, полный искр. Со мною была зрительная труба, в которую я хорошо видел, что кажущиеся огненные искры есть огромные камни, которые, падая на сопку, долго катились по бокам ее и пропадали в пропастях. При взрывах сопки не было землетрясения, но стучали рамы и двери в доме. Картина величественная и страшная, но народ привык и все спали спокойно. Иногда гром сопки разбудит отца Михаила, и он сквозь сон промычит: «вишь, как вздымает».

Поутру пришел ко мне другой поп, Иоанн, и рассказал с особым удовольствием, что у него в эту ночь сделалось угодье: около самого скотного двора образовалась большая яма.

– Мы с работником, – говорил он, – связали два шеста и не достали дна; я собрал вожжи и все, какие были от неводов веревки, связал, привязал камень и не достал дна, а приложишь к яме ухо – слышен только шум. Право, угодье, мы с работником порадовались, что теперь не нужно вывозить навоза, вали в яму – небось, не завалишь.

Так радостно рассказывал поп Иоанн, и ему в голову не приходило, что это провал мог случиться под самым его домом. Привычка; освоились с вулканом, как мы с станovým. Я, признаюсь, во все время не мог привыкнуть к этому потрясающему явлению. Смотря на эту необъятную массу огня, постоянно извергаемую из вершины гигантской горы, этот сноп пламени, стремящийся высоко в пространство, сноп, полный громадных камней, накаленных добела, соображая эту подземную силу и величину невидимого горна, воображение уничтожает самого человека до нуля, и он чувствует себя не господином мира, а ничтожною пылинкою.

Из села Ключи, по льду реки Камчатки, проехав острожек Камак (что значит по-камчадалски, «дьявол») верст 15, дорогу мне перегородил сплошной хребет гор до 2 000 фут высоты. Река Камчатка, уходя в хребет, так замаскировывается, что не видать ее русла. Ясно видно, что эта огромная река прорвала этот хребет и между оборванных боков гор, как в коридоре или ущелье – течет 15 верст. Подъехав к подножию гор, я невольно остановился и увидел разом пять вулканов и все извергающие пламя и дым.

Это единственный пункт в Камчатке, с которого видно разом столько сопков. Прежде бывший город, а теперь селение Нижне-Камчатск, стоит на реке Камчатке. Я остановился у благочинного отца Никифора, которому было под 90 лет. Он родился в Камчатке, отец его тоже был благочинным, заехавшим из России, и жил с лишком 100 лет. Никифор был строгой нравственности, глубоко религиозный, но добрый; это был мой духовный отец. Никифор был ширококостный, толстый, среднего роста, волосы русые и ни одного волоса седого, но что удивительно, у него не было и признака бороды и усов, он был вдов, детей не было. Старика любила и почитала вся Камчатка.

При мне в Нижне-Камчатске было сильное землетрясение. Шла заутреня, диакон стоял на амвоне и получил такой толчок, что с амвона перекинуло его под престол, народ попа-

дал в церкви, доски потолка в алтаре вышли из стены и повисли. С отцом Никифором я ездил на устье реки Камчатки.

Около Нижне-Камчатска есть гора, называемая «Осыпь», она замечательна тем, что очень похожа на соты воска у пчел, только в большом виде. В каждой ячейке крепко втиснут круглый камень более кулака; разбивши камень, в каждом находится окаменелая раковина. Захотелось мне перевалить через Среднекамчатский хребет от Ключей, верстах в 35, на реке Еловке. Под хребтом есть острожек Еловка, отсюда и начинается подъем на хребет. Погода стояла превосходная, но хребет покрыт был облаками. Камчадалы говорили о невозможности перебраться через горы, так как там величайшая пурга.

Прожил я неделю, хребет не показывался, соскучился и решился ехать. Набралось попутчиков человек 15, я взял лучшего провожатого Кирилу и поехал. На половине подъема хребта шел густой снег, хотя внизу было ясно. Камчадалы уговаривали вернуться, но я не послушал. Еще до света мы проехали опасное место, называемое «Столбовая тундра» – это вершина гребня, шириною местами несколько сажен; по обе стороны «тундры» – пропасти, а куда ни взглянешь: гора на горе – хаос невообразимый. Поднявшись на самый хребет, мы нашли не пургу, а тучи снежные, так что на аршин нельзя видеть предмета.

Уже было три часа пополудни, а мы не знали, где мы. Все санки были привязаны друг за дружку, чтобы не разлучаться. Вдруг Кирило закричал: ко, ко, ко – значит, опасность; оказалось, что две передовые его собаки упали в пропасть и повисли на ошейниках – мы находились на краю неизвестной пропасти. Решились тут ночевать. Я собрал всех около себя и, чтобы нас не занесло снегом, то мы беспрестанно вставали и отряхались, а чтобы не уснуть, проговорили всю ночь. Не помню как, но перед светом я на полчаса вздремнул, оказалось, что меня по пояс засыпало снегом. Две нарты камчадалские, в каждой по 6-ти собак, так занесло, что не могли найти следов, так и отступились. Долго мы бились, но около полдня перевалили через хребет на западную сторону и только начали спускаться, как перед нами открылось безоблачное небо и повеяло теплом.

Описывая этот перевал и говоря о хребте, я выразился:

Ничто здесь не растет,  
Ничто не зеленеет,  
Комар здесь не поет,  
Червяк ползти не смеет.\*

Спустясь с хребта, я видел диво дивное: отроги гор образовали узкую долину, всю тесно наполненную дикими оленями. Мы едва могли удержать собак, кричали на оленей, бросали в них камнями, но олени бросаются от нас и, встретя плотно сплоченную массу и не имея выхода – возвращались назад. Ружей с нами не было, мы стояли около двух часов, пока дальние олени [не] стали расходиться и ближайšie могли дать нам дорогу. Камчадалы говорили, что необыкновенная пурга согнала всех оленей с хребтов. Но сколько их тут было? и счета нет.

Тут вершина реки Тигиля и тут выстроена юрта, в которой мы ночевали. До [городка] Тигиля верст 60-70, мы проехали быстро. Тигиль была крепость во времена первого занятия Камчатки русскими, но теперь крепости и знака нет, хотя там существует комендант из флотских офицеров. В Тигиле есть церковь, больница без доктора, которой управляет фельдшер Дунаев, есть 12 штатных казаков и купец 2-ой гильдии Ворошилов.

Казаки – это потомки первых завоевателей Камчатки. Бóльших патриотов, как эти казаки, я не видал во всю мою жизнь. Сын казака, достигнув 18-20 лет, зачисляется на службу, присягает и служит верою и правдою 25-30 лет, получает солдатский паек хлеба и то не всегда полный – более ничего. Одежды, жалованья казак не получает. Обязанности его

---

\* Аберрация памяти: раньше Э.И. Стогов указывал на то, что эти стихи сымпровизировала его попутчица по данному путешествию Л.И. Рикорд. – Примеч. М.И. Классона

службы не ограничены – он в полном и безотчетном повиновении ближайшего начальника. Казаки отапливают все казенные здания, обязаны иметь собак, для гоньбы и для командировок. Летом казаки ловят рыбу для начальника и обрабатывают его огороды, словом, казак на службе – раб.

Таких усердных и ретивых служивых редко можно видеть, поведения – все отличного, даже званием своим гордятся. Я всегда удивлялся патриотизму казаков и любовался их прекрасным характером. Казак вежлив, гостеприимен, усерден, честен и совершенно предан начальнику, и все за один ничтожный паек. Он носит форменную кухлянку с красным воротником и обязан иметь собственную саблю и винтовку. Только старость увольняет его на покой. Чувство повиновения, дисциплина, уважение к старшему казаку – врожденно у этих людей.

Верст 300 от Тигиля, по берегу Охотского моря стоит острожек Ича, тут церковь, священник, причем, обыкновенно, сын наследует отцу. В Камчатке всем священникам разрешена охота на зверей, и попы все охотники. В Иче отец Иоанн побывал в лапах медведя, но кончилось счастливо; медведь, помяв попа, переломил ему левую руку на половине между локтем и плечом; кость не срослась, и я видел удивительное явление. По просьбе моей Иоанн снял перевязку с руки, и вдруг рука вытянулась почти до полу. В переломленном месте образовалась нетолстая веревка из жил и кожи. Поп собрал кожу к плечу, приставил кость к кости, связал лубки, и стала рука как рука, но он не может свободно ею действовать. Старику лет за 80, он служит заутрени и ездит для исполнения треб по селениям.

Из Ичи я доехал до Большерецка и нашел его небольшим селом, остановился у общего любимца попа Алексея. Он известен был под общим названием: чача. Это был добряк, весельчак, гостеприимен и любил выпить. К [церковному] приходу «чачи» принадлежали и Курильские острова, куда он на байдаре отправлялся раз в два-три года для исполнения треб. Из Большерецка я возвратился в Петропавловский порт.

Переведенный в Петербург адмирал Рикорд просил отвезти его и Кокрана с семьями в Охотск<sup>\*</sup>. Я приготовил корабль к походу. Кроме Рикорда и Кокрана со мной отправились человек 40 пассажиров. Капитанскую каюту занял Рикорд с женою, каюту для моего помощника я отдал Кокрану с женою, а сам поместился в общей второй палубе, где и устроил временные каютки и общую залу. Так как у меня не было помощника, то я большую часть суток проводил на верхней палубе. Кокран выпьет 3-4 стакана пуншу и, уложившись на мою койку спать, оставляет Оксиньку одну. Желая уснуть хотя перед светом и не добудившись Кокрана, я не раздеваясь ложусь спать в ногах Оксиньки; каково же удивление молодой женщины, когда она проснувшись видит у ног своих мужчину. Людмила Ивановна (Рикорд) не раз заставляла меня спящим и хохотала.

Благополучно подошли мы к Курильским островам и уже были во входе в пролив, как подул противный ветер; судя по облакам, я ожидал крепкого ветра, барометр сильно падал, был уже вечер. На корабле был пассажир, американец Толман, он подошел ко мне и весело сказал:

– Вот завтра пройдем Курильские острова.

– Может быть, и нет, – отвечал я.

Толман предложил пари: когда пройдем пролив, я должен был дать ему четыре соболя, а пока не пройдем, он будет платить мне по соболю в сутки. Я согласился. Поутру буря с противным ветром, туман, потом шторм, две недели сильный противный ветер, унес нас на параллель Парижа. Толман заплатил мне, сверх данных мною 4 соболей, своих 10 соболей. Наконец, ветер стал тише, и мы, хотя и с трудом, вошли в гавань [Охотска].

---

\* В.А. Черных относит этот эпизод к лету 1822 г.

Около Рождества я поехал прокатиться по Камчатке, отъехал уже 400 верст, встретил почту из Охотска и вернулся, так интересна там почта<sup>\*</sup>. Перечитав почту, я отправился вновь, у меня уже везде были знакомые, да я и сам ознакомился с нравами камчадалов. Что такое камчадал? Я убежден, что этот народ не урожденный Азии. Склад его, физиономия, ничто не походит на коренные азиатские племена. Язык – чрезвычайно мягкий, нравы, обычаи – кротки. Азиатец – темнокож, камчадал более желтоват, как бы с медным отливом. Бороды, усов нет у всего племени, волоса на голове как у женщин, так и у мужчин – черные, очень густые и необыкновенно длинные; мужчины носят длинные косы, заплетая по-женски, два раза обматывают их около головы. Голос у мужчин – мягкий тенор, у женщин – необыкновенно высокий сопрано. Песни их заунывны, протяжны и очень трудны для подражания.

Екатерина II, собирая все народы в Комиссию Уложения, удивлялась голосам камчадалов, но камчадал и камчадалка не могут жить вне Камчатки, они умирают скоро, как швейцарцы – тоскою по родине. Камчадалы все христиане, и христиане – душою и телом. За 300, 400 верст камчадал с женою ежегодно едут говеть. Это честнейший народ на земном шаре – в этом я уверен. Столетний протопоп родился в Камчатке и знает всякого камчадала и предков до 3-го колена. На вопрос мой, случалось ли ему видеть драку между камчадалами, он мне отвечал, что никогда не слышал грубого слова между ними, супруги живут как любовники до старости. Воровство между ними совершенно неизвестно. Я не мог растолковать им, что такое нищий в России, они слушали и не верили. Когда я представил им, как нищий просит Христа ради, они спросили, чего же он просит?

– Есть.

– Да пусть бы пришел и ел, на что же просить.

Камчадалы и камчадалки все говорят по-русски, не совсем правильно, но говорят, например: мой жена, я тебе корову-то принес и проч.; для домашнего обихода употребляют свой язык. Камчадал чрезвычайно опрятен, изба его с русскою печкою и трубою. Камчадалка готовит кушать в шелковом платке с золотыми цветами, часто в шелковой телогрейке; печку каждый день белит, полы, лавки, стулья и столы каждый день моет, стены и потолок моет каждую неделю, домов без досчатого пола – нет. Камчадал без чая – не живет, у каждого есть тарелки, стаканы, чайные чашки, ножи и вилки; не покрывши стола, кушанье не поставят. Более всего любят чай и хороший, водку пьют, но нечасто, пьяные – тихи, ласковы.

Во всех случаях жизни руководствуются своими преданиями, которые хранятся в памяти стариков, старость – чрезвычайно уважается. Родительская власть мягка и ласкова, дети послушны. Я смотрел на этот народ как на отломок какого-то великого и высшей цивилизации народа. Кто скажет, откуда пришел этот народ? А кто скажет, откуда взялся народ на Сандвичевых островах и островах [Товарищества и] Дружества<sup>\*\*</sup>?

Остановившись раз у камчадала, остановиться у другого хозяина нельзя, первый хозяин счел бы себя глубоко оскорбленным. Подъезжая к дому камчадала, хозяин и хозяйка с сияющими лицами и радостию встречают гостя.

– Здравствуй, чача, здоров ли? – спрашивают они. – А мы тебя ждали, ждали, думали, не случилось ли чего.

Хозяин распрягает собак и убирает санки, хозяйка раздевает, и будьте уверены: одежда, обувь ваша внимательно осмотрены и все починено, если нужно. Входя в чистый дом, видишь, что печка уже топится и готовится кушанье, самовар кипит, и для хозяйки лучшее

---

<sup>\*</sup> В.А. Черных относит этот эпизод к зиме 1822/23 г.

<sup>\*\*</sup> Сандвичевы о-ва – Гавайские острова в Тихом океане, открыты в 1775 г. Куком, исследованы в 1820-м Беллинсгаузеном; о-ва Товарищества и Дружества – острова Таити в Тихом океане, открыты в 1606 г. Квиром, но основательно изучил их в 1769-78 гг. Кук, были названы в честь лондонского Royal Society.

удовольствие разливать чай. Камчадалы очень словоохотливы, с ними не скучно. После обеда хозяин всегда дарит соболя либо лисицу – это за сделанное ему посещение. Разумеется, не принять нельзя, но я всегда отдаривал равноценно, и хозяин не отказывался. Прогости два, три дня, хозяин в восторге, похвали его собаку, он непременно запряжет ее тебе. Если случилось мне поднести старикам по рюмочке водки, то они, непременно, устроят вечеринку, соберут молодежь и откроют бал.

Как-то капитан-лейтенант Захаров ехал на переменных собаках; ему показалось, что камчадал тихо запрягает собаку, и Захаров ударил камчадала. Он с доброй улыбкой и тихо сказал:

– Ты, чача, видно, гневаешься, может, я не умел сделать, так ты скажи, как я должен сделать, я сделаю, только бы не рассердить тебя; ты скажи, а я, право, все сделаю.

Подобное доброе хладнокровие хоть кого обезоружит.

Камчатка и все родившиеся в Камчатке оставили во мне навсегда воспоминание, что это люди святые. Такой спокойной, беспечной, с отрицанием чувства об опасности, с совершенным отсутствием идеи о могущей быть неприятности – другой страны и народа нет на земном шаре. Вспоминая о людях, родившихся в Камчатке, я не могу себе иначе представить, что там рождаются с улыбкою, живут смеючись и умирают в тихом спокойствии. Об убийствах, грабежах, воровствах – там никто не подумает, потому что нет ссор, нет зависти – всякий имеет все, что ему нужно без тяжкого труда; желания ограничены, а кто желает иметь более, тому стоит поболее трудиться, и приобретение никого не тревожит, потому что, приобретая, никого не лишает.

Там совесть человека не возмущается, там человек засыпает без мысли о прошедшем дне и просыпается без мысли о могущей быть неприятности. Все довольны, все счастливы, все добры. Лицемерию – нет места. Где не родилась жадная зависть, там не родилось и притворство, честное сердце – всегда искренно, встречая человека с приветливым поклоном, слыша слова любви и дружбы, верь – ни в чем нет задней мысли, скрытого замысла, все это простое побуждение доброго сердца. В такой стране, проживши, сам делаешься добрее, честнее; доверчивость делается господствующим чувством. Муж – любовник своей жены до смерти, жена – любящий друг и помощница своего мужа. Жизнь семейная – тихая, труд разделен и исполняется свято в повиновении древним преданиям, старость уважается, старики нежны и снисходительны к юности. Юноша гордится, делаясь помощником своим родителям. Слава молодого человека состоит в любви и преданности к отцу и матери.

Спрашиваю, можно ли без теплого чувства любви и удивления вспоминать о такой стране, живя в нашей среде – полной пороков, коварства, зависти и лицемерия. Живя так долго в Камчатке, я не припомню ни одного неприятного слова, ни одного часа, который бы напомнил мне неприятное чувство, в каком бы то ни было отношении. Вот почему писать воспоминания о Камчатке – для меня наслаждение, жизнь моя в Камчатке повториться не может ни в какой стране. Живя там, я сознавал всю цену счастливой жизни, уезжая в Россию, на родину, в страну цивилизации – я горько и неутешно плакал. Я признавал, что, оставляя ее, погружаюсь в омут коварства, зависти и ежеминутной злобной хитрости. Я знал, что я теряю и что я найду.

Скажу несколько слов о курильцах. Основная их пища морские птицы, а как прилагательная – морские звери и рыбы. Религия курильцев есть смесь: шаманства с идолопоклонством. Все народы Азии – бедны волосами, у многих – нет и признака волос на лице. Курильцы, напротив, имеют такое обилие волос, что я другого племени волосатого и не знаю на земном шаре. Курильцев и по языку и по наружности нельзя не признать – особым племенем, может быть, тоже какой-нибудь остаток большого народа, спасшийся на островах при древних переворотах на земном шаре.

При этом случае, я расскажу известный и любопытный случай. Сандвичевы острова и острова Дружества существовали, не зная друг о друге. Один английский лейтенант оказал какие-то услуги королю Сандвичевых островов, король предложил англичанину – дать орден, для чего надобно было подвергнуться татуированию колена. Лейтенант, для странности, согласился на эту операцию. Старый жрец наколол ему какой-то рисунок на теле колена и затер краскою. Это, конечно, служило шуткою для англичанина, он переехал на острова Дружества – кажется, более 600 миль, там вздумал купаться, при этом случился жрец, который, увидав рисунок на колене – повергся в прах и объявил, что лейтенант – *Табу*, т.е. неприкосновенен, как особа священная.

Курильцев – очень мало, стоило бы сохранить их тип. Продолжение Курильских островов – есть Япония, но это опять отдельное, мало волосатое племя. Растительность Курильских островов – беднее Камчатки. Морские бури, то с запада, то с востока, не дают развиваться растительности, однако кой-что есть одинаковое с Камчаткою. Если растительность бедна, то зато море обильно снабжает разною пищею.

Далее второго острова я не захотел ехать и пошел в Охотск\*.

Прощаясь с Тигилем, я слушал песню, сочиненную одною прехорошенькою девочкою, дочерью казака:

На Тагильском на мыску,  
Погружаюсь в грусть, тоску,  
Лишь кораблик за мысок,  
А я, млада, в голосок, и проч. и проч.

Из этого можно заключить, что и у камчатских девушек есть сердца, умеющие тосковать.

### **Записки Э.И. Стогова**

*«Русская Старина», апрель 1903 г.*

#### V.

По пути из Охотска в Кронштадт. – Быт якутов, тунгусов и чукчей. – Г. Якутск. – Поездка в Якуту. – Китайский обед. – Троицкосавск. – Иоакинф Бичурин. – Г. Иркутск. – Положение солдат и каторжных.

В Охотске предстояла надобность послать корабль в Ситку [на Аляске], а это до 6 000 миль скверного плавания. Я так полюбил тихий и маленький Тигиль, что мне грустно было и подумать не прозимовать еще хотя раз в Тигиле. С трудом отказался я от неприятной экспедиции и ушел в Тигиль. Кажется, весь город вышел встречать меня; радость всех жителей была непритворная. На устье я сделал для всех бал, т.е. выпили полфунта чаю и полведра водки, съели много пряников и орехов. В Тигиле повторилась прошлогодня жизнь: каждый день отмечался совершенно безмятежным спокойствием, тихими удовольствиями и ни малейшей неприятностью. Зимой явились коряки, уже старые друзья.

Осень была бурная, капитан-лейтенант Захаров потерпел кораблекрушение в устье реки Большой. Весною я получил предписание: идти в Большерецк, забрать спасенный груз и команду, груз отвезти в Петропавловскую гавань, а команду в Охотск. Предчувствие не обмануло меня, я весною прощался с Тигилем навсегда. Забрав все с разбившегося корабля, отправился в гавань; туман меня преследовал. В гавани сдал груз и отправился в Охотск. Там строился новый корабль «Камчатка», на который я и был назначен командиром. Весною я получил приказание возвратиться в Кронштадт, на мое место приехал Бу-

---

\* По-видимому, начиная свой рассказ о курильцах, Э.И. Стогов имел в виду небольшой поход на корабле на Курильские острова. – М.И. Классон



таков. Отправляясь из Питера, Бутаков был у бывшего начальника Камчатки – Станицкого и просил его дать ему наставление, как жить и быть в том краю?\*

– Почтеннейший, – сказал ему Станицкий, – в Европе считается первым политиком Каподистрия. Если он первый, то, конечно, второй политик Эразм Иванович Стогов, советуя вам делать все то и так же, как он.

На основании слов Станицкого Бутаков и обратился ко мне с просьбою поучить его, как жить и быть. Прощаясь с краем, я не имел в памяти ни одного горького о нем воспоминания. Помню, переезжая в лодке через реку, мое воображение нарисовало мне счастливое и тихое прошедшее и картину будущего, полного обмана, коварства, лицемерия, лжи, зависти и проч. Будущее представлялось мне какой-то бурей, взамен светлого прошедшего, и я расплакался истерически.

Из Охотска я поехал на обратных лошадях, которые привозили разные тяжести; я заплатил за нанятых мною лошадей 5 руб. ассигнациями за 1 000 с лишком верст. Пространство до Якутска проезжается в 25 дней. Удивительные люди эти погонщики-якуты! У них нет ни одной народной песни, но якут едет и целый день поет; я любопытствовал знать, что же он поет? Якут видит хорошее дерево и импровизирует: «вот ты дерево красиво, но ты стоишь здесь без всякой радости, если б ты росло около моей юрты, я бы в хороший день привел милую, мы сели бы под твою тень и миловались и целовались, и ты поняло бы свою пользу, а то растешь в пустыне, ни себе, ни другим не приносишь пользы, прощай дерево, я о тебе более не вспомню». Якут проехал дерево, и песне конец; хорошая лужайка, ручеек, озерцо и проч., все, что видит якут, для всякого предмета импровизирует песню. Для всех песен – один мотив.

Якуты – народ полудикий, но добрый, кроткий, услужливый; живут они своими стадами лошадей и коров, кумыс – их пища и лакомство. Якут не прочь украсть лошадку или корову, но редко бывает, чтобы хозяин не нашел вора по следу, даже по городским улицам; якут не потеряет следа украденной скотины – искусство, едва вероятное. Якут болезненней, кажется, никаких не знает: худеет от недостатка пищи, почернеет, сморщится, согнет-ся, но, дождавшись весны, а с ней кумыса, делается толст, морщины пропадают, выпрямляется – узнать нельзя.

Якуты очень долговечны. Хотя они считаются христианами, но настоящая вера их – шаманство и идолопоклонство. Якутский шаман – есть колдун и лекарь. Много есть – составляет славу якута, и такие едоки называются батырь (богатырь). Никакой праздник не обходится без батыря, и в этом отношении есть индивидуумы удивительные. На одной свадьбе я был свидетелем, как призванный батырь съел: целого жареного дикого гуся, хорошую часть телятины, курицу и после того, сняв верхнее платье, сел перед камином и ковшом пил топленое масло. Он выпил полтора пуда и только потому, что более не было, во время еды и питья он рассказывал об удивительных подвигах батырей – его отца, деда, о своих подвигах обжорства. Я смотрел и удивлялся.

Я заговорил о якутах, не приехавши еще в Якутск, но так пришлось. Дорога между Охотском и Якутском – это гористая пустыня, достояние кочующего тунгуса. Но что такое тунгус? Первого тунгуса я увидел на реке Лене, в Олекме на постоялом дворе. Это был маленького роста человек, с широкой костью, с кривыми ногами, лицо широкое, нос едва заметен, глаза черные, тонко чуть-чуть прорезанные, волосы черные, длинные и жесткие. Это был совершенно дикий человек, чистой монгольской породы. Говорил он с трудом, пискливым голосом, похожим на крик птицы. Он пришел в гости и принес шкуры белок, соболей, лисиц. Разумеется, он напьется и все отдаст русскому задаром, получит в долг порох и свинец и отправится в лес, куда глаза глядят. Одежда его состоит из шкур, почти

---

\* В.А. Черных относит этот период к 1828-29 гг.

не выделанных. Тунгуса называли стариком, но у него не было ни седых волос, ни усов, ни бороды. Меня сильно заинтересовал этот первый экземпляр, и я старался приласкать его.

– Есть ли у тебя жена? – спросил я.

– Нет и не было.

– Отчего?

– Я беден; на что мне жена, жена нужна богатому.

– Где ты живешь?

– Гуляю.

– Где ты гуляешь?

– Не знаю; везде: в лесах и на тундрах.

– В какой стороне?

– Не знаю; сегодня здесь, а летом в Колыме или на Амуре.

– Видаешься ты с другими тунгусами?

– Как же, видаюсь; я иду, и тунгус идет; я его вижу, и он меня видит; я пойду своею дорогой, он своей.

– О чем же вы говорите?

– О чем говорить тунгусу, мне и ему нечего говорить.

– Не бывает ли тебе скучно?

– Зачем скучно, тунгус сыт – не скучно, тунгус голоден – надобно добыть пищу, – не скучно, гуляю.

Тунгус сидит всегда на полу, сложив ноги накрест; наступит ночь, он, как сидит, так и склонится на бок и спит, скорчась.

– Тебе не страшно в лесу одному? – спросил я.

– Чего страшно, лес большой; медведю не страшно и мне не страшно.

– Случалось тебе встречаться с медведем?

– Как же, случалось. Да вот шел я сюда, кушать было нечего, оставалась только белка, да последняя пуля в винтовке, а еще было далеко. Я развел огонь и стал жарить белку, слышу, лает моя собачка на зверя, посмотрел, а ко мне идет на задних лапах преобладающий медведь, злой, с пеной у рта. Я лег за колоду, нацелил ружье и выждал; когда он подошел ко мне близко, я выстрелил, медведь упал, собачка обнюхала и начала теревить его; я посмотрел, медведь глядит во все глаза, значит, умер. А ты помни, – прибавил он наставительно, – когда будешь стрелять, то если медведь упадет и закроет глаза, то он притворяется, – не подходи.

– Скажи мне, что думал, когда целил в медведя? ведь у тебя был последний заряд, думал ты что или нет?

– Тунгус всегда думает, и я думал: я тебя убью, то я тебя съем, а не убью, то ты меня съешь, как не думать, – думал.

– Ты откуда пришел?

– Гулял. Как убил медведя, то месяц его ел и пришел сюда.

– Где ты гулял?

– Зимой был в Колыме, летом был недалеко от Гижиги.

– Как ты знаешь дорогу?

– Дорога везде; тунгус все знает.

– А где тебе лучше?

– Везде хорошо; лучше, где больше зверя.

– Тебе хотелось жениться?

– Зачем жениться, я сирота, бедный; калыма нет, одному лучше.

– Случалось тебе голодать?

– Как же случилось, восемь дней не ел ничего; весна – худо, иду к морю, там много корму.

– Ты крещеный?

– Как же, 10-ть лет, как крестился.

– Бываешь в церкви?

– Один раз был, как крестился; поп дал рубашку и пять фунтов табаку, церковь далеко, ходить нет времени.

Весь этот разговор шел с помощью хозяина, тунгус худо понимал, но еще хуже выражался. Это был первый, виденный мною тип; после, в Охотске, я много имел знакомых тунгусов – все на один лад.

В конце марта в Охотске тунгусы поставили 4-5 своих юрт на берегу моря. Катерина Карловна (супруга Ушинского), я, Ленже и кто-то еще в хороший день пошли пешком к ним в гости. Подошли к первой юрте, она была крайне бедна, прикрыта сшитой березовой корой. Тунгусы живут поодиночке и юрты очень малы; в юрте никого не было, имущества почти никакого. Вторая юрта – тоже пуста, но мы увидели на тропинке что-то движущееся, черное. Мы пошли навстречу и что же увидели? Ребенок, как мать родила, один ползет по снегу, при морозе градусов 18-ть. Мы к нему, он остановился, скалит зубенки и ворчит сердито, как собака. Мы отошли, а он торопливо пополз.

Пришли за мальчишкой в юрту, там была старуха, она голого ребенка зарыла в теплую золу, дала ему кусок жира; он с удовольствием сосал, и жир мешался с золою. Старуха сказала, что все мужчины на охоте за тюленями на льду, а женщины пошли в город к знакомым. Тунгус двух дней не проживет на одном месте; каждый день, хотя на сажень, но переставит свою юрту. Проклиная своего сына, тунгус говорит: «чтобы ты жил три дня на одном месте, как гниют русские».

Тунгус – шаман и идолопоклонник, но, впрочем, считаются все христиане. Есть тунгусы оленные и пешие. Нет сомнения, прежде все тунгусы были с оленями, но разные неудачи лишили их оленей, и образовались тунгусы пешие. Тунгусы не живут родами, как коряки, жизнь поодиночке содействовала обеднению многих тунгусов. Мне не случилось видеть двух семейств вместе, всегда: муж, жена, один и редко два ребенка. Наступает утро, муж говорит жене, чтобы она кочевала вон в ту сторону:

– Вон та сопка, вершина которой видна, должна остаться у тебя налево; дойдешь к вечеру до сопки, и поставь юрту, а я тебя найду.

Муж становится на лыжи, ружье за спину и пошел в противную сторону. Жена собирает свою бедную юрту на небольшие салазки, сама надевает лучшее свое платье и уборы, сажает за спину ребенка, становится тоже на лыжи и при помощи лямки тянет за собою салазки. Если есть собачка, то подпрягает и ее, а если две собачки, то ей легко. Снег глубок, мороз жесток, иногда метель, тунгуска никогда не была в этой стороне, но это для нее все равно: она идет по указанию. Она обходит сопку с правой стороны, останавливается у реки, ставит свою бедную юрту, разводит огонь, и хорошо, если может что поесть, а нет – терпеливо ждет мужа.

Приходит муж, и если охота была счастлива, жена готовит кушанье, а несчастлива охота, не принес муж ничего, ложатся голодные с надеждою на завтра. Завтра – то же, что сегодня, и так каждый день, целую жизнь. Попробуй отнять эту грустную жизнь у тунгуса, дай ему довольство, он и жена умрут с тоски.

Наступает весна – худшее время для тунгусов, реки разливаются, таявшие снега наполняют долины водою, тунгус заранее приближается к берегу моря и превращается в рыбака: промышляет тюленей, морских уток.

Тунгус добр, услужлив; имеет что – угостит радушно, но как азиатец вспыльчив и мстителен. Каждый тунгус умеет все сделать для себя и не нуждается в чужой помощи. Когда

счастлива охота, тунгус ест целый день и спит, пока не съест всего, даже и потом он с удовольствием спит дней пять не евши. Пять дней не есть для тунгуса – не голод, на шестой день он подумает о пище и поднимется на промысел. Добыл медведя или пару тюленей, он опять ест и спит, запасов никаких и никогда тунгус не имеет.

Красота тунгуски состоит в том, чтобы как меньше был лоб, глаза как щелочки, прорезанные бритвой, чем меньше нос, тем красивее; чем шире лицо, тем милее. Они маленького роста, широкой кости, видна сила в мускулах. Одеваются тунгуски, как мужчины: торбасы, меховые штаны, нагрудник шитый бисером, и сверх всего кожаный кафтан, не сходящийся на груди, пояс – малахай меховой. Теперь скажу несколько слов о чукчах. Они одеваются сколько можно эффектно, и все платье шьется так, чтобы оно представляло толстого человека, широко, пышно. Свободные минуты, как дома, так и в дороге, чукчи посвящают точению своих палм, копий, стрел и всякую минуту готовы на войну\*. Чукчи не подходят к русским селениям, они живут близ Берингова пролива. Это воинственный и храбрый народ; у них более всего уважается сила, как у коряк – красноречие. Чукчи один раз в год выходят на реку Анадырь, верстах в 300, 400 от Гижиги. Казаки и купцы из Гижиги выезжают туда же, и там происходит меновая торговля.

В старые годы доверчивые русские не принимали мер предосторожности, и чукчи не упустили случая напасть на них. С тех пор русские поставили там избушку с амбразурами и какие-то допотопные ржавые две пушечки. Перед вооруженным станом русские кладут кучками свои товары и уходят. Чукчи не воры и чужого не возьмут. Они приносят свой товар и, соображая цену, против русского товара кладут свой: куниц, песцов, лисиц, соболей и моржовую кость. Русский подходит и если находит выгодным мену, то берет товар, и тогда после приходит чукча и берет русский товар. Если же русский купец недоволен товаром чукчи, то его не трогает, а чукча либо прибавляет своего товара, а если находит невыгодным, то уносит свой товар, и тем дело кончается.

После окончания торга начинается угощение с обеих сторон. Чукчи любят водку, но стыдятся быть пьяными. Они садятся кружком, пьют водку и молчат, – присутствия разума не теряют. Чукчи устраивают праздник со стрельбою в цель, с борьбою, борются – страсть чукчей. Всегда находятся молодые казаки, молодцы-победители. Чукчи не скрывают своего удивления и почтения к победителю и особенно его угощают, делают ему подарки. На Анадырь приходит половина чукчей торговать, другая половина ходит в Колыму, и там такая же ярмарка.

Но пора нам в Якутск.

Этот областной город имел тогда 5 тыс. жителей, один каменный дом – купца Колесова. Якутск на великолепной реке Лене, до 7 верст ширины. В нем две недели летом не заходит солнце. Морозы бывают до 40 и 44<sup>0</sup> градусов\*\*. Последний мороз сопровождается густейшим туманом, совершенною тишиною, и если собрать дух в груди и разом дунуть в воздух, то слышится легкий треск. Земля в Якутске не протаивает более полуаршина, и покойники там все нетленны. Я ел пятилетнюю говядину, хранившуюся в погребах. В 44<sup>0</sup> мороза я для опыта прошел две версты в холодной шинели, в холодных сапогах, холодной фуражке и не чувствовал холода. Тишина. Северные сияния – великолепнее быть не могут как в Якутске, и описать это изумительное зрелище невозможно.

---

\* «Пальма – это длинное лезвие с одной стороны заточкой, насаженное на древко примерно метровой длины. Такое оружие очень удобно в лесу: оно заменяет и меч, и короткое копье, может применяться и для войны, и для охоты. <...>Якуты до недавнего времени широко использовали пальму для охоты на медведя». – Из Интернета

\*\* Как ранее указывал Э.И. Стогов, температуру тогда измеряли по шкале Реомюра, где одно деление составляет 1,25 по шкале Цельсия. Значит, в Якутске морозы доходили тогда до 50-55 градусов по более привычному для нас теперь Цельсию. – Примеч. М.И. Классона

Первое, что поражает всякого приезжего в Якутске, это то, что на улице, в домах, на обедах, балах не услышишь русского слова, и все русские говорят всегда языком якутов. Это мода. Когда я приходил вечером в гости, мне ставили московского варенья на 18 и даже 22 тарелочках. Посреди варенья становилась замороженная сырая стерлядь: ее едят сырую, нарезанную тонкими ломтиками, с солью и перцем. Это очень странно, но зато и очень вкусно. Сырую, мороженую стерлядь я предпочитал всем вареньям, это очень похоже на устрицы, но только несравненно вкуснее.

Якутск отстоит от Иркутска, кажется, более 3 тыс. верст, и сообщение только по реке Лене. В Якутске, кажется, не растет ни одной огородной овощи и, конечно, никакого хлеба, – последний привозится мукою из Иркутска. Станный способ транспорта по Лене: делаются из досок четырехугольные ящики, грузятся всякой всячиной и так пускаются с вершины реки до Якутска. Ящик плывет около 3 тыс. верст, почти без всякого управления, разве оттолкнут от берега, когда прижмет ветром, и все благополучно. Такова благодатная река Лена; нет ни порогов, ни камней – это Сибирская Миссисипи.

Другая странность: якуты еще не выдумали колес, и все тяжести летом перевозятся на волах санями. Якут управляет волами, сидя на одном из них. При мне уже стали появляться у богатых купцов дрожки, но этот экипаж на лошадях кажется очень опасным дамам, и они не решались проехаться на лошади. В праздник купчиха в шелке и бриллиантах, с украшениями из золота и жемчуга, сидит весьма важно на дровнях, и якут, сидя на воле, везет богатую госпожу в церковь. В Якутске дома необыкновенно теплы, мороза в 40<sup>0</sup> не чувствуешь. В некоторых богатых домах я заметил: в зимних рамах вставлены двойные стекла, так что зимою защищают от наружного холода три стекла.

В Якутске много богатых купцов, торгующих на большие суммы. Живут вообще весело, и гостеприимство в нравах всех жителей; бывают частые обеды, а еще чаще – вечера с танцами. Якуты – очень добродушный народ, любят жить поодиночке; юрты их деревянные, вместо стекол пластина льду. Посреди юрты вечно горит чувал (камин). Богатство якут состоит в табунах лошадей и коров. Кумыс делают превосходно, и лучшего я нигде не пивал. В Якутске я видел деревянную древнюю крепость с архивом рапортов, писанных на бересте. Дождавшись зимнего пути, я поехал вверх по Лене в Иркутск.

Иркутск – столица Восточной Сибири, там живет генерал-губернатор. Иркутск как город – очень хорош, много богатых купцов и каменных домов. Купцы в Иркутске не носят бород, одеты во фраках по последней моде; кареты, коляски, выписная мебель, библиотеки – не редкость. Жены купцов одеваются по парижским картинкам. В Иркутске есть адмиралтейство, и начальником его в то время был лейтенант Иванов\*.

Мне захотелось зимой побывать в Кяхте. Кяхта – слобода, но слобода единственная в мире. В Кяхте никто не имеет права жить, кроме купцов первой гильдии. Купцы в Кяхте почти все были мне знакомы; я сделал многим визиты. Обычай такой, что при входе в дом подают рюмку вина, потом чай, происходит непродолжительный разговор, а затем, по уходе гостя, купец посылает ему на квартиру ящичек в 2-4 фунта отличного чая в подарок. Так, сделав визитов десяток, я нашел дома порядочный запас чая, чему был очень рад, так как купить чая в Кяхте нельзя – не продают.

Кяхта отделяется деревянной стеною от Маймачина, в котором нет ни одной женщины, таков закон Китая. Власти китайские рассудили так: мы хотим жить в дружбе с русскими, а история учит, что все ссоры и войны происходили из-за женщин, а потому и запретили женщинам пребывать в Маймачине. Мне хотелось съесть китайский обед; мой знакомый Вася Баснин доставил мне это удовольствие. Его приятель, богатый китаец, пригласил нас на обед особым билетом на куске пунцовой шелковой материи такого размера, что из

---

\* После его смерти в результате несчастного случая (см. «Русская старина», сентябрь 1878 г.) обязанности начальника Иркутского адмиралтейства в 1830-33 гг. исполнял Э.И. Стогов. – Примеч. М.И. Классона

куска мог выйти халат. Обед был на маленьких, низеньких лакированных столиках, причем за каждый садилось 4 человека, а всех гостей было 16-ть. Кушанья подавались в небольших полоскательных чашках.

Прежде всего, подали конфет очень разнообразных, вкусно сделанных из фруктов и из ягод; потом следовали разные соусы, из каракатиц и китовых вшей, морская капуста, что очень все вкусно. За соусами следовали холодные кушанья: пряные, острые, жирные и затем свиная кожа; она была бела как снег, нарезана тоньше турецкого табаку и таяла во рту. Потом пошли жаркие: тут было и мясо собачки, до которого охотники китайцы, и дорогие кусочки ласточкиных гнезд и проч. Последнее блюдо было очень вкусно; затем подали на каждый столик кипящий самовар, в котором варилась какая-то пряная зелень и корни, потом необыкновенно тонко нарезанное сырое мясо фазана, каждый [палочками] брал кусочек мяса, опускал в кипяток и съедал; это очень вкусно.

Я забыл сказать, что хозяин принимал нас с соблюдением этикета: приседал до полу; проводя в столовую, просил сесть, причем особая вежливость хозяина состоит в том, чтобы надуть гостя и заставить его сесть прежде себя. В половине обеда хозяин пригласил гостей встать и потрястись, чтобы уложилась пища и чтобы гость мог поболее съесть. Я считал кушанья, и оказалось их 96 перемен; кажется, можно быть сыту евши и по чайной ложечке [всех блюд]. Обед был вкусен, но очень жирен, и я почувствовал изжогу. Китайцы предложили мне съесть разваренного риса со столовую ложку, и я избавился от нее.

Кухня у китайцев – совершенство; их пирожки с вареньем – неподражаемы, тесто тает во рту, но приготавливаются они без масла. Вообще, у китайцев все делается совершеннее европейцев, но разница в том, что Европа совершенствуется, а китайцы несколько тысяч лет остаются неподвижны. На мои глаза, все что делают китайцы – превосходно. Столярная работа их неподражаема, работа из ценных камней – невероятное терпение. Я видел ящичек для хранения женских уборов, весь сделанный из одного куса белого мрамора.

Не буду описывать наружность китайца; кому они не известны по картинкам, а картинки верны. Китай держится почитанием, почти боготворением предков и безусловным повиновением родителям. Всякий китаец трудолюбив, терпелив, дальновиден, умен, и самый умный купец наш в ученики ему не годится.

Простившись с хитрыми и кроткими узкоглазыми китайцами и не мешая миллионерам мечтать о барышах, я с порядочным грузом чая и покупками китайских редкостей переехал в Троицкосавск. Это город, как все большие уездные города; в нем много богатых жителей, все трудятся и хитрят около контрабанды. Главное лицо в городе – директор таможи, через руки которого переходят миллионы, и порядочные проценты прилипают к его рукам. В то время в Троицкосавске жил приезжий из Петербурга, действительный статский советник, барон Шилинг фон-Канштадт. Это необычайно толстый человек с большими связями, ученый, весельчак, отличный говорун, знавший всю аристократию столиц Европы. На него смотрели как на какую-то загадку.

Там же и в то же время жил другой знаменитый человек: монах Иоакимф Бичурин, посланный в Пекин архимандритом нашей там миссии. Бичурин был молод, закутил, промотал все, даже церковные сосуды. Его вызвали из Пекина и разжаловали в монахи, но такие лица не пропадают. Бичурин оказался глубоким знатоком китайского языка и литературы, и его сделали преподавателем в школе Троицкосавска – китайского языка. Бичурин много переводил с китайского, и известна его война с первою знаменитостью в Европе, считающимся авторитетом в китайской грамоте – французом Клапротом. Бичурин вышел из этой войны не только победителем, но и доказал, что Клапрот едва ли знал азбуку китайского языка, что и сделало славу Иоакимфа.

Однажды вечером пришел я к Шилингу, который сидел за столом с каким-то попом, они толковали, рассматривая какую-то китайскую книжку. Этот вечер сблизил меня с ба-

роном, что мне очень пригодились, как сказано будет после. Барон был человек чрезвычайно любезный, очаровательный, рассказам его не было конца.

В Иркутске два батальона на армейском, а не гарнизонном положении; с некоторого времени стали часто повторяться убийства, совершаемые солдатами. В праздничный день, после полдня в часу 3-м, летом шел я по Широкой улице левого тротуара, а на правом тротуаре, наравне со мною, шла разряженная девушка-мещаночка. Навстречу ей шел бравый унтер-офицер; встретясь с девушкой, унтер обнял, поцеловал, она вскрикнула, и он осторожно положил ее на тротуар. Девушка была мертва, унтер всадил ей в сердце нож по рукоятку, повернулся спокойно и пошел назад. На улице никого кроме меня не было; то время было чаепития. Я пошел за унтером, он обыкновенным молодецким ходом прошел на гауптвахту и объявил, что он убил какую-то девушку.

Я подробно доложил генерал-губернатору; он тревожно сказал:

– Такие случаи повторяются часто, не может быть, чтобы не было какой-нибудь тайной побудительной причины, дураки батальонные никак да ничего не откроют, я попрошу вас взять это дело в свои руки и доискаться тайны.

Назначен я был председателем следственной комиссии. Унтер-офицер – красавец, большого роста, грамотен, он оказался гвардейцем из взбунтовавшегося Семеновского полка. Ему было под 40 лет, но нельзя дать более 30-ти, поведения отличного. Он был совершенно спокоен, не запирался, о побуждении своем к убийству говорил: «так, захотелось и убил; убил того или другого – все равно, встретила она, убил ее. Я вышел из казармы с намерением убить кого-нибудь так, без всякой причины, хотелось и убил». Добиться большего не было никакой возможности. Бился, бился – ничего не добился. Не давала мне спать тайна этого происшествия.

Позвал я унтера в адмиралтейство, без свидетелей говорил с ним как с развитым человеком, пустил в ход всю диалектику, но красноречие и логика мои не имели успеха; тогда я приказал хорошо накормить унтера. На другой день – опять за красноречие наедине, выказал мое участие ему, даже уважение к его уму, напирал на его честолюбие, самолюбие и, наконец, стыдил его тем, что он считает меня дураком и, кажется, подобными доводами прорвал плотину его скрытности; мой красавец, раз начавши говорить, высказался и объяснил мне так:

– Люди, сделавшие уголовное преступление, граждански казненные – благоденствуют, а я, честный солдат – страдаю. Каторжный выходит на работу в полушубке, в теплой меховой шапке, в теплых рукавицах, в теплых штанах и сапогах, а я, честный солдат, представленный смотреть за ними: в холодной шинели, в холодном кивере, в полной форме, с ружьем – бью целый день нога об ногу холодными сапогами. Варнак (каторжный) приходит в свою казарму, ему дают щи с говядиной, кашу, он ложится на постель с одеялом и подушкой. Я, солдат, прихожу в казарму и ем пустые щи или пустую кашу, я должен чистить ружье и всю амуницию, ложусь на голые нары и одеваюсь той же холодной шинелью. На другой день, если я не в карауле, то встаю до света и готовлюсь на ученье, опять зябну и мучаюсь, опять утешаюсь постною кашуцею. Я знаю, буду наказан кнутом 10-15 ударами, да ведь это один раз потерплю, но зато остальная жизнь [будет] в довольстве. Наши многие перешли в каторжные, и все им завидуют, а попасть в каторжные без убийства нельзя – вот я и убил.

Составил я подробную записку от своего лица, а не от комиссии и подал Лавинскому. Он был крайне удивлен добытою правдою, сию минуту составил донесение государю и, приложив мою записку, послал казацкого офицера курьером.

Умнее всех министров при императоре Николае I был Канкрин, в его ведении были все горные заводы, а следовательно, и каторжные. Канкрин в заводском хозяйстве умел найти посторонние источники, не уменьшающие дохода казны; вот эти-то доходы Канкрин

постепенно употреблял на улучшение быта каторжных и, как отличный хозяин, устроил каторжных – комфортабельно. Государь, получив донесение от Лавинского, собрал министров и дал им на рассмотрение ненормальное положение солдата с положением каторжного. Положено было немедленно уничтожить все улучшения для каторжных, что и было исполнено. Преступления каторжных увеличились, но и желания солдат быть каторжными – прекратились.

Жизнь моя в Иркутске текла весьма приятно. Генерал-губернатор меня особенно ласкал, у значительных чиновников и у богатых купцов я пользовался общим уважением, должность была не только отягонительна, но даже весьма приятна. Как командир отдельной части, почти никому не подчиненный в Иркутске – я делал, что хотел, ехал – куда хотел, никто не касался меня; но все-таки меня тянуло в общий центр морской службы – в Кронштадт. В Петербург звал меня и отец.

Обжившись в Охотске, я написал родителям о своем житье-бытье. Помню, я употребил выражение: полагаю, родителям *любопытно знать* откровенный разговор о сыне, которого они знали еще ребенком, и рассказывая о всех привычках и мелочах моей жизни, я употребил выражение: *хотя не часто, но скромно* и тихо делю время с *небольшим числом друзей*. За эти два выражения: «любопытно родителям» и «не много друзей», я получил от отца огромную тетрадь – полную самой жестокой брани, как смел я родителей называть любопытными. Отец писал, что он имел в жизни одного только друга, и когда он умер, то полгода пролежал больным и до сего времени утешиться не может.

Из всего этого он видит, что я пустая и глупая голова, что человек без характера и что он потерял надежду в том, что когда-нибудь выйдет из меня порядочный человек. Мать писала ласково. Читая [ее] письмо, я прослезился и, по понятию моему, не был виноват против отца; но я был бессилен против его гнева и, читая письмо [отца] у топившегося камина, бросил его в огонь и с этой минуты пять лет не писал отцу. В этот промежуток я получил письмо от матери, которая писала ко мне секретно и умоляла просить прощения у отца. Я не послушал матери и не писал.

Однажды я получил свернутую на уголок записку на серой бумаге, в которой было написано: «Государь мой, долгом считаю уведомить, что ваша мать, а моя жена умерла и погребена в Колоцком монастыре. Доброжелающий Иван Стогов». Я перекрестился и положил записку, в которой не назван сыном. Не помню, сколько лет после того я не писал к отцу. Вдруг получаю от него ласковое письмо, в котором он уведомляет, что вновь женился – на Ляпуновой, и от нее льстивое письмо. Я расхохотался и решил написать ласковое и почтительное письмо отцу, как будто не было прошедшего, а к мачехе написать самое льстивое, поэтическое письмо, и с этого времени началась моя переписка с отцом без брани. Он постоянно звал меня в Золотилово.

Лавинский просил государя уволить его из Сибири, где он прожил 13-ть лет. Император Николай отвечал: «Если я могу найти равного вам по способностям, то где я найду равного вам по опытности?», и ласково просил еще послужить, прислал ему табакерку с своим портретом, осыпанную бриллиантами в 30 000 рублей. Лавинский остался еще на год. Я собирался ехать в Россию, предполагая, что уедет Лавинский, но он, оставшись, оставил и меня.

## VI.

Бунт иркутского архиепископа Иринья. – Перевод Стогова в Петербург. – Особенности путешествия. – Встреча с родными. – А.О. Поздеев. – Прибытие в Петербург в 1833 году. – Первые встречи. – Представление князю А.С. Меншикову. – Характеристика князя.

В Иркутске был целый ряд кротких и добрых архиепископов, распустивших духовенство до безобразия. Государь приказал назначить в Иркутск архиепископа строгого и твердого.



Синод назначил Иринея из Пензы, и тамошнее духовенство долго служило благодарные молебны за избавление от него.



*Ирине́й Несте́рович, архиепископ Иркутский в 1830-1831 гг.*

Он был среднего роста, брюнет с правильными чертами лица, прекрасными черными вьющимися волосами и удивительно увлекательным голосом. Он сам называл себя уроженцем Черногории, и по наружности нельзя было дать ему более сорока лет. Во всех его поступках выражалась пылкая южная природа. Служил он удивительно: самая простая молитва «Во имя Отца и Сына» произносилась им так, что вызывала необыкновенное благоговение. Но зато во время служения он был весьма строг с духовенством. Требования его со служащими с ним были безмерны: за ошибки, за малейшее несоблюдение в одежде, за неостановление при чтении на запятой, – протопопы, попы, диаконы, чтецы становились на колена и били поклоны; почти ни одной службы не проходило без взыскания. Избалованное прежним архипастырем духовенство трепетало, сдавалось в солдаты или посылалось на монастырские черные работы.

В Иркутске много церквей, и богатое купечество чванилось угождением владыке. В праздники архиерей не имел заботы о завтраке. По заведенному порядку, купечество в его палатах хлопотало о роскошном угощении и ссорилось между собою при решении вопроса, кому угощать. Ирине́й был строго разборчив в выражении ему почитания, требовал занимательного разговора и сам не стеснялся в выражениях; если что не понравится, то наговорит укоризн и хозяевам и гостям.

Богатейший купец Сибиряков упросил меня быть у него на обеде в день престольного праздника в его приходе. Не любил я этих бесконечных и жирных купеческих обедов, но к Сибирякову поехал. Посадили меня в голове стола против Ириней. Я заговорил о великом значении приличия и соблюдения торжественности в храме и, будто к слову, похвалил увлекательный голос архиерея и прочувствованные им слова молитв. Все это, видимо, понравилось, и Ириней развеселился. Я тогда хорошо помнил Библию, начитался вольтеровщины, и мне легко было занимать Ириней. Купцы были в восторге, что владыка был весел и не унижал их сарказмами и колкостями. Благодарностей мне было целый короб. Сибиряков в умилении прислал мне в подарок великолепный, яхонтового цвета китайский халат с драконами.

После этого, где только престольный праздник, там богатый купец-прихожанин приезжал просить меня обедать. Ириней любил поболтать о запретном, но, конечно, не нарушая важности своего сана, и сам признавался мне, что, при его пылкости, для отвращения обуревающих его страстей носил фонтанели на обеих руках. Духовенству было не под силу переносить строгость владыки, и вот против него составила коалиция. У генерал-губернатора была своя церковь и превосходные певчие из казаков. Постоянные наговоры протоппа генерал-губернаторской церкви, преувеличенные до крайности рассказы о строгости Ириней, доходящей до странности, охладили Лавинского к владыке.

В Иркутске не было ни одного места для гулянья, а между тем на берегу Ангары было большое порожнее место, на котором стояла церковь. Все место около церкви засадили кустарниками, сделали дорожки, и вышло хорошо. Ириней по капризу восстал против устройства этого публичного гулянья, завел переписку о неприличии гулянья около храма Господня. Эта переписка росла и довела его до ссоры с губернатором. Духовенство воспользовалось ею, и явились протесты духовенства: о неприличных выражениях Ириней во время служения.

В один из высокоторжественных дней генерал-губернатор Лавинский приехал в церковь в особом мундире, шитом золотом и установленном генерал-губернаторам для важности, когда они принимали китайских посланников, сидя под портретом государя. Служил обедню, конечно, владыко, и, по совершении тайн, священник, выходя из алтаря с книжкою для прочтения: «Благословляю, благословляющего Господа» – по принятому обычаю, сделал поклон генерал-губернатору. Только священник поклонился, как Ириней вернул его и спросил: кому он кланялся?

– Ты кланялся златому тельцу, – сказал он, – тогда как присутствует в церкви наместник Христа – на колена и сто поклонов!

Ириней произнес это очень громко, церковь была полна народом. Лавинский отправил курьера с донесением о поступках Ириней, а последний послал своего, с заявлением о притеснении народа и о гнилой муке, смешиваемой с песком и в таком виде выдаваемой войску.

На донесение Лавинского последовало высочайшее повеление: Синоду вызвать Ириней в Петербург, а генерал-губернатору озаботиться о спокойном путешествии архиепископа и для услуг его дать на время пути одного из чиновников особых поручений. Указ Синода был печатный. Основываясь на законе, состоявшемся при Екатерине, что если кто усумнится в подлинности указа государева, тот имеет требовать повторения, с приложением печати. Ириней не признал указа настоящим и отказался исполнить его до повторения.

Между тем, экипаж для Ириней был приготовлен, и чиновник Голубев командирован для услуг ему. Было ли то простое воскресенье или праздник – не помню, но Голубев рано утром явился к Ириней. Голубев был огромного роста, головою выше Ириней.

– Удачно выбрали такого молодца, – сказал Иринея; – у тебя довольно силы, чтобы дорогою задушить меня, а после сказать, что я сам себя убил, – это хороший способ отделаться от меня. Если гражданское начальство писало против меня, то и я писал против гражданского начальства. Теперь я стою с ним на одной доске, и нас рассудит высшая власть, а потому я не считаю нужным входить в какие-либо сношения с гражданским начальством, а чтобы ты, молодец, не мог исполнить тайного поручения, то пойдем со мною.

Он взял Голубева крепко за руку и привел на унтер-офицерский караул у ворот города на выезде, где приказал арестовать его. Умный унтер отказал. Тогда архиерей повел Голубева на главную гауптвахту, вызвал караул и объявил, что он, не подчиняясь гражданскому начальству, отдается под охрану начальства военного, и приказал арестовать Голубева, как злоумышлявшего на него. Не разобравший дела офицер арестовал Голубева. Правитель канцелярии генерал-губернатора Кабрат\*, случайно ехавший мимо, вздумал уговаривать Иринея, а тот и его приказал взять под арест.

На эту историю наехал я, и, узнавши в чем дело, поспешил к Лавинскому и доложил ему. Лавинский, надев вицмундир и звезды, пошел со мною на гауптвахту, где Иринея разглагольствовал с собравшимся народом, рассказывал о своих отношениях к гражданской власти и что он не может доверять этой власти, а отдается под защиту власти военной и всего народа, за которых он заступник перед государем. Он говорил народу громко, с увлечением; волосы его были растрепаны.

Лавинский растерялся и, обратившись ко мне, сказал одно слово: «привезите!». Времени терять было нельзя; видимо, Иринея пошел напролом и решился произвести народный бунт. Я сел на свои дрожки поехал к коменданту Покровскому. Он выслужился из кантонистов, делал все [военные] кампании, был известный рубака, дослужился до чина генерал-майора, имел пропасть орденов русских и иностранных, все ордена получил с младших степеней. Как видно, был храбрец, имел 15-ть ран, но и на самого храброго нападёт иногда трусость – Покровский струсил и говорил, что он болен.

– Я знаю, что вы больны, – сказал я резко, – но я отвезу вас мертвого; надевайте мундир, а не то и так повезу!

Перовский надел мундир, сел на мои дрожки, и мы отправились. Дорогой он меня спрашивал, что ему делать? Я советовал, чтобы он решительно взял Иринея под свое покровительство и, высказав уверенность в его правоте, пригласил бы архиерея возвратиться в свои кельи. Иринея все еще с жаром проповедовал народу, который покрыл всю площадь. Пока Лавинский сказал несколько слов коменданту, я подошел к Иринею и сказал ему шопотом, что он играет в глупую игру. Тут подошел комендант и взял его под свое покровительство и повел домой. Лавинский и все присутствовавшие пошли за ними. Лишь только Иринея вошел в свои комнаты, как явился коротенький, пузатый, с короткими руками и ногами прокурор.

Иринея обратился к нему с протестом, говорил добрых полчаса с жаром, но прокурор (жалею, забыл его фамилию), выставив ножку вперед, не шевельнул глазом, не сказал и полслова, а стоял как статуя. Иринея перестал говорить и отошел, прокурор повернулся на одной ножке и тоже отошел. Не встречая ни в ком участия, Иринея приуныл, стал молчалив и понял, что его дело проиграно. Между прочим, к монастырю или его дому привели роту солдат. Мы все отправились к Лавинскому, составили там акт всему происшествию и подписали, кажется, 130 человек служащих – свидетелей; этот акт с курьером был послан прямо к государю.

---

\* Ранее сей персонаж носил фамилию – Кибрит. – Примеч. М.И. Классона

Наступила зима, 6 декабря был бал у Лавинского. При начале бала Лавинский, серьезно проходя мимо, сказал:

– Идите в кабинет, прикажите никого не пускать, займите гостей и распорядитесь, чтобы они были довольны.

Спустился я вниз, в кабинет, и нашел там по-дорожному еще [одетых], в шубах трех человек. Я пригласил их раздеться, напоил чаем, узнал в приехавших флигель-адъютанта Гогеля, подполковника жандармов Брянчанинова и фельдъегеря капитана Иностранцева. Они приехали по делу Иринея, которое было принято в Питере весьма серьезно. Спустя час пришел и Лавинский. Тут объяснилось, что Гогель привез собственноручный рескрипт [государя] Лавинскому, с повелением: отправить Иринея под надзором Брянчанинова, как сказано в указе Синода. В последнем говорилось, что по расстройству умственных способностей Ириной помещается в Прилуцком монастыре, что около Вологды, на дьячковскую вакансию.

Бал шел наверху, а в кабинете уговаривались, как завтра объявить Ириной. Прибывшие оставались секретом для всего Иркутска, и, кажется, им приказано было въехать в город ночью.

На другой день, около 11-ти часов утра собрались к генерал-губернатору все старшие чины Иркутска и отправились к Ириной. Он принял прибывших без смущения. Флигель-адъютант Гогель, в присутствии архиепископа, подал Лавинскому запечатанный конверт с рескриптом, который громко и прочитал Лавинский, стоя. Потом тот же Гогель подал запечатанный указ Синода. Все шло чинно, и Ириной не показывал тревоги. У дверей стоял фельдъегерь Иностранцев. Ириной спокойно спросил: а это кто стоит у дверей? Ему сказали, что это прислан фельдъегерь, для заготовления лошадей в пути его. Ириной расхохотался и сказал:

– Полноте играть комедию наряженных, вы, сочиняя комедию, забыли по форме нарядить фельдъегера. Господин фельдъегерь, почему у вас черное перо в шляпе, у вас по форме должно быть белое перо! И этого маскарада не сумели сочинить, ступайте все, довольно для меня забавы, идите и дайте мне покой.

Тогда только мы взглянули и увидели, что, действительно, перо в [треугольной] шляпе было черное; он объяснил, что свое белое перо потерял дорогою, а в Иркутске – нет белых перьев, то он и взял у пехотного офицера. Но каков же Ириной? Каково присутствие духа, какая смелая черта характера! Но тут Брянчанинов, почти саженого роста, видя наглость Иринея, что-то шепнул ему на ухо, тогда архиерей побледнел и покорился, просил показать ему подпись государя на рескрипте, с благоговением сложил руки на груди и поцеловал подпись.

Глухой, теплый и покойный возок был готов скоро. Ночью Брянчанинов усадил Иринея, запер дверцы на ключ и взял его себе в карман. По дороге запрещено было подходить к возку, и Брянчанинов ни шагу не отступал от Иринея.

Лавинский в конце лета сказал мне по секрету, что он около Рождества поедет в Питер и не вернется в Иркутск. В Иркутске, собственно, мне жить было хорошо, но человек не одним хлебом сыт бывает. Отец мой, видно, постарел, смягчился, звал к себе, да и мне хотелось окунуться в омут столичной суеты. У Лавинского я был аккредитован как приятель; могу сказать, любим им, но приедет новый генерал-губернатор, как сойду с ним, оценит ли он меня – еще бабушка надвое сказала. Все эти соображения решили меня проситься о переводе в Европу, что и учинил, перекрестясь. Надеюсь на перевод в уважение долголетней моей службы в Сибири, я занялся устройством зимней повозки на 6 500 верст. Корабельные мастеровые соорудили мне крытую и щегольскую повозку; она вся скреплена была болтами на винтах; вместо подрезей положены были цельные полосы железа – поместительна, как корабль.

В позднюю осень приехал на смену мне лейтенант Николай Вуколович Головин, я сдал ему адмиралтейство в два дня. Выпал первый снег, я с сожалением простился с спокойной и довольной жизнью в Иркутске, сделал всем визиты, благодарил за хлеб за соль. Лавинский дал мне прощальный обед, приказал мне явиться к нему в Питере. Нагрузил я свой сухопутный корабль: соболями, лисицами, бобрами, дареным чаем и, улегшись в повозке, отправился в путь.

Что сказать о дороге? В Сибири реки – как рукава, горы упираются в небо, долины не имеют границ, как горизонт моря, леса – это неизвестные океаны. Выгоднее всего ехать на вольных: подъезжаешь к селу, у околицы встречают десяток и более мужиков, одетых по-дорожному, сидят на коренных лошадях в хомутах, выбирай любого; плата за тройку – 5-ть коп. ассигнациями на версту, везут великолепно. Выбрав мужика, подъезжаешь к его дому, самовар готов, рыбы, дичины, сметаны, меду – кушай, сколько душе твоей угодно, хозяева не возьмут ни копейки.

Из Иркутска в Москву я приехал в 17-й день, полагаю, курьер скорее не проедет. Отец мой был в Москве, он так обрадовался моему приезду, что с ним сделалось дурно до обморока; но от радости, говорят, не умирают, поехали в Золотилово. В двух с половиною верстах от Золотилова находится монастырь Колоцкой Божией Матери; я зашел на могилу матери, и тут я до того расплакался, что меня сняли с могилы без памяти. С тех пор я ни на одну могилу близких мне не хожу, потому что не могу на могиле управлять своими чувствами. У меня были два брата во флоте, лейтенанты и четыре сестры-девицы, все родились без меня.

Сестры бросились меня целовать, но когда я шутя сказал, что братец их скоро приедет, а я – его товарищ, они ударились в слезы: можно ли сделать такой проступок – целовать чужого человека? Насилу утешил их. Как-то я упомянул слово *чорт*, они все побледнели, как полотно, и поглядели со страхом на печку, не вылезет ли он, так как им всегда говорили, что чорт живет за печкою, вот какая патриархальность в Золотилове!

Разгружая повозку, я просил свесить кладь, оказалось 40 пудов. Привез молодых медведей на шубу отцу, сестрам по лисьему и беличьему меху, осетров отцу и подарил ему повозку, которая дошла без починки. Все были счастливы и довольны, особенно чванился шубою мой отец, а того не знал, что о медведя в Камчатке вытирают ноги, и у меня был ковер на полу во всю комнату, но в Золотилове завидовали отцу. В Золотилове я прожил месяц и отправился из Москвы на долгих в Питер. Во время пребывания в Золотилове всякий день приезжали какие-то родные, но кто они, я не знал и, даря каждому и каждой какую-нибудь вещицу из Екатеринбургских камней, я недосчитался около 300 штук.

В Москве не видят знакомого два дня – посылают узнать о здоровье и охают, узнав о смерти его. В Питере не видят знакомого год, и никто не вспомнит; скажут: умер – ответят: то-то его давно не видеть, и более ни слова. Вот разница между Москвою и Питером.

В Москве жил в отставке Алексей Осипович Поздеев, он был моим корпусным офицером. Довольно необыкновенному моему имени я обязан, что меня почти все называли не по фамилии, а просто Эразм. Однажды я очень заленился и, будто по неспособности к наукам, перешел в Артиллерийский класс (морская артиллерия гораздо ниже флота). При проходе по классам дежурного офицера учитель вызывал, обыкновенно, бойкого ученика. Я был вызван к доске и отвечал очень бойко. Поздеев обратил внимание и спросил: какой это класс? Ему отвечали: артиллерийский.

– Как же ты, Эразм, попал сюда?

– По неспособности к наукам, Алексей Осипович.

– Вот как! Я не знал, явись-ка в дежурную.

Я явился, и он отлично высек меня. Если бы не Поздеев, то карьера службы моей была бы другая. Я многое припомнил и поехал к почтенному благодетелю. Он был уже старик,

известен глубокою ученостию и как глава масонов в Москве. Поздеев имел свой дом у Сухаревой башни, был холост, принял меня с большою радостью в комнате, полной масонских знаков.

Москва вообще мне не понравилась: это какой-то беспорядочный город. Высшее общество состоит из беззубых противников правительства, бесплодно болтающих и много кушающих. Лучше бы хотел жить в Иркутске, чем в Москве. Из Москвы я ехал самым скромным образом, останавливался на постоянных дворах, пил, ел с ямщиками, хотел пожить жизнью русского народа и видел гомерические обеды. Трудно верить, что съедают русские люди. Ехал 10 дней на одних лошадях.

Питер – это омут политической жизни, Питер – пиявка Руси: он поглощает труды народа и возвращает только крайне необходимое. Из Питера, как из солнца, вытекают лучи света и тепла во все концы громадного царства. В Питере кипит жизнь одного дня, завтра забывается сегодня, всякий ловит, что может поймать; пропустил момент, не поймал, месяцы и годы не дождешься. В Питере нет родных и друзей; там каждому до себя и только для себя. В Питере громадные дома, памятники, люди – но все так холодно и люди безучастны, как дома и памятники. Умей сделаться необходимым, умей выдвинуться из толпы – на тебя обратят внимание, и тогда хватай, лови, пока не остыло внимание; отодвинулся на задний план, ты забыт, ты не существуешь, твое место занято, и его не возвратишь.

Оставил я Питер чуть не юношею. Ласкавшая меня более всех Анна Петровна Бунина давно умерла, брат ее давно в отставке, сошел со сцены общественных забав; аристократы поумирали, прожились и разъехались в оставшиеся непроданными с аукциона деревни и там, забытые светом, доканчивали жизнь, услаждаясь воспоминанием своего значения. Питер был для меня новым городом, и я въезжал в него новым человеком в 1833-м году на маслянице.

Живя в Камчатке, я так одичал, что не знал даже, что могу послать деньги в прямо в Опекунский совет, а полагал, что для того надо быть лично в совете. Поэтому накопившиеся деньги, время от времени, я высылал к Бунину, прося его положить в совет, и в разное время выслал 20-ть тысяч рублей. Являсь к Бунину, прежде столь блестящему, нашел его бедным стариком. Без меня он успел жениться, нажить четырех дочерей и овдоветь, промотался, был без должности, перебивался, делая долги. Увидев меня, он непритворно обрадовался, и немудрено, он знал меня ребенком и юношей, а теперь видел возмужалым штаб-офицером.

После первых излиятий я просил его отдать мне билеты на мои деньги. Бунин вышел в другую комнату, вывел ко мне четырех малолетних дочерей и стал с ними предо мной на колена, сознаваясь, что по крайней необходимости – мои деньги все издержал. Комедия была эффектна, но мне от этого было не легче; кончилось тем, что Бунин дал мне заемные письма, которые и теперь валяются у меня, а 20-ть тысяч, сбереженные моими лишениями, пропали. Бунина я мог бы преследовать, но что я мог получить с нищего. Притом же память моя рисовала, что Бунин был благотворною причиною того, что я мог нажить эти деньги, что если б не Бунин, то, вероятно, я зачах бы писцом уездного суда в Можайске.

Бунин хотя и впал в ничтожество, но старых связей не прервал. Он познакомил меня в нескольких порядочных домах, у вице-губернатора Железнова, у адмиралов-стариков, у нескольких частных лиц, которых я теперь и фамилии забыл. Важно было попасть мне в какое-нибудь общество, а там я сам проложил себе дорогу и сумел не быть лишним. Женщины всегда и везде были моими любимыми творениями, с ними у меня всегда шло гладко, с ними я был всегда любезен, всегда начинал со старух и переходил к молодым. Все меня ласкали и прославляли.

Осмотревшись и экипировавшись прилично, явился я в морской инспекторский департамент. Там удивились, что я так долго ни к кому не являлся по службе, и хотели сделать из этого историю; но я притворился одичавшим, забывшим служебные порядки. Помню, принял участие во мне директор департамента, контр-адмирал Лермонтов. Он потребовал, чтобы я завтра же явился к светлейшему князю Меншикову, тогда бывшему морским министром. Я знал, что от первого впечатления у князя будет зависеть мое будущее во флоте; лучше скажу, я еще в Иркутске и в дороге много об этом думал. Не скажу, чтобы я совершенно спокойно вошел к князю. Бездна анекдотов и рассказов о нем составили смутное понятие в моей голове об его светлости, но я держался пословицы моего отца: «Бог не выдаст, – свинья не съест».

Князь жил в доме на Англинской набережной. Кабинет его был в большой комнате, по стенам которой стояло много отдельных столов, заваленных бумагами. После я узнал, что каждый стол был назначен отдельному управлению, так как князь много имел должностей: он был генерал-губернатор Финляндии, главнокомандующий всех войск, там расположенных, участвовал во многих комитетах и проч. и проч. Эта гениальная голова переходила от стола к столу и равно легко занималась самыми разнообразными предметами.

Князь был с меня ростом, обстрижен под гребенку, ни усов, ни бакенов не было. Одет он был в старый форменный сюртук – без эпалет и всегда застегнут. Он, скорее, был худощав; глаза живые, голубые, почти никогда не смотрел на говорящего, слушал очень внимательно. Лишь только я вошел, князь поднялся со стула у одного из столов и лениво подошел ко мне. Первое, что поразило меня – постоянная неприятная улыбка князя, никогда не сходявшая с его лица.

Я сказал, что прибыл из Камчатки. Он ответил, что помнит, как я долго служил там, и что я был в Иркутске. Память князя была изумительна, он не мог забыть никакой мелочи – это был целый архив и дипломатии и истории всего света, человек очень острый. Я стоял перед князем и излагал ему мои проекты, которых я подготовил несколько, например: об уничтожении адмиралтейства в Иркутске и флотилии на Байкале и проч. Князь слушал меня со вниманием, разматывал меня как клубок, держа крепко в руках нитку; я опасался не удовлетворить его, – тогда вся моя затея пойдет прахом. Поэтому я придумал замолчать на довольно интересном месте; князь, тоже помолчав, сказал:

– Продолжайте, я вас слушаю.

– Не могу, ваша светлость.

– Отчего?

– Вы очень умны, и я чувствую свое ничтожество. Я в жизни не говорил с таким человеком как вы.

– Ну, я буду молчать, а вы говорите.

– Не могу, ваша светлость, у меня совершенно пусто в голове, я никогда не испытал подобного состояния, извините, я не могу более говорить с вами, я столько лет не видал глубоко ученых людей.

– Ну, я вижу, что вы одичали; поживите в Петербурге, ходите ко мне по четвергам пить чай, прощайте.

Сошло с рук лучше, чем я ожидал; ловкая лесть никогда не изменяла мне. Мне нужно было пожить в Питере, чего я и достиг, и достиг того, что обратил внимание князя. По четвергам я ходил к князю на чай, у него бывали только его адъютанты – все юноши и еще два, три юных мичмана. Кроме двух чашек чая мы ничего не получали. Князь был прост в обращении, шутил с мальчишками, дразнил их и без церемонии говорил: «прощайте!»

Прошло более месяца, а я живу в Питере, хотя мой [флотский] экипаж был в Кронштадте, куда я боялся окунуться, как в мутный омут. Прихожу раз в департамент. Тогда был построен великолепный пароход «Александрия» для государыни. В департаменте мне пока-

зали, что князь своею рукою назначил меня командиром парохода. Я сообразил, что эта служба не по мне, и прямо сказал директору, что не хочу такого назначения. Он мне заметил, что всякий сочтет за счастье быть командиром такого прекрасного парохода и что теперь переменить уже нельзя.

Я тут же в департаменте написал к князю, благодарил его за назначение, но просил его уволить меня. Директор упрашивал не посылать письма, потому что не было примера, чтобы кто осмелился так писать к князю. Я, напротив, просил директора подать мое письмо, думая, что иногда дерзость дает успех, особливо у такого человека как князь. И действительно, прочитав письмо, князь улыбнулся и сказал: «вишь, камчадал!»

Не помню, через сколько времени позвал меня князь и стал продолжать вопросы именно с того пункта, на котором я замолчал первый раз. Я поговорил немного, но опять признался, что мне трудно очень говорить с ним.

– Ну, так как же объясниться? – спросил он.

– Дозвольте, ваша светлость, мне написать, – отвечал я.

– А, так вы литератор?

– Нет, ваша светлость, но, писавши, я буду свободен от ваших глубоко логических вопросов.

– Хорошо, пишите, но только не стихами, в них я ничего не понимаю.

Проекты у меня были готовы еще прежде. На другой день я принес порядочную тетрадь к князю. Тут я видел, как изумительно быстро он читает, почти безостановочно перевертывал лист за листом и, кажется, остался доволен.

Прочитав, он со своею всем известною улыбкой сказал мне:

– Ни я, ни вы, мы не можем хорошо понять пользы вашего предположения, а знаете ли вы Совет адмиралтейства?

– Нет.

– Так я вам скажу; там сидят первые мудрецы, это собрание умнейших голов, они все знают. Завтра я пошлю к ним вашу записку на обсуждение; что они скажут, того уже никто не переменит. Явитесь завтра в Совет да не робейте.

На другой день я явился в Совет и нашел там: Головина и Васильева, знакомых мне по Камчатке. Оба узнали меня, приняли ласково, как знакомого, и спросили: чего я хочу? Я откровенно сказал, что хочу пожить в Питере. Совет сделал постановление: рассмотреть в очередь проекты Стогова, но, для необходимых объяснений, предписать ему не отлучаться из Петербурга, а для жительства выдать департаменту билет. Вот как ловко и удачно устроились мои служебные дела. Мне не хотелось ехать в Кронштадт, а жить в Петербурге более недели – не дозволялось.

Как же устроилась моя жизнь в Питере? Соболей, лисиц, бобров я продал, и оказалось у меня более 20 000 руб. ассигнациями. Я решил: за пост и диету в удовольствиях, живя в Сибири, выпить полную чашу доступного наслаждения. Я был каждый день в театре, и тут памятная мне удача. Раз, прихожу взять билет, продающий говорит:

– Только остались билеты в задних рядах.

– Делать нечего, пожалуйста.

– Как прикажете вас записать?

Я сказал свою фамилию.

– Позвольте вас спросить: не родственник ли вам Стогов, капитан артиллерии?

– Да, родственник.

– Ах, батюшка, так позвольте нам счастаться своими.

– Душевно рад, – и подал руку.

– Так, позвольте ваш билет. Вот вам во втором ряду, да когда угодно быть вам в театре, то всегда можете получить даровой билет.



Я еще пожал плутовскую руку и, любезно благодаря, принял предложение. Конечно, мне не нужно объяснять, что никакого родственника Стогова я не знал и не встречал. Эта глупая штука пригодилась мне более, чем я ожидал. Приехала в Питер тогдашняя европейская знаменитость, трагическая актриса Ван-Гаген. Заволновался Питер. Помню, первая пьеса шла: «Дон Карлос», трагедия Шиллера. За места в театре платили вдесятеро. Хотя я и не понимал ничего по-немецки, но нельзя было не посмотреть на знаменитость и на публику. Я нашел себе место в ложе сибирского откупщика Пономарева, хорошего моего приятеля. В день представления, вечером я пью чай у директора департамента Лермонтова и вижу, что все страшно суетятся. Дело в том, что Лермонтов уже два дня хлопотал достать ложу в театр и не мог. Время подходило ехать в театр, надежды потеряны. Я подумал, дай попробую воспользоваться покровительством родственника: написал самую ласковую записку и просил родного не отказать в какой-нибудь ложе и приложил деньги. Каково же было удивление, когда возвратившийся курьер привез билет на ложу, а на записке было написано: «для родного – последняя». Это показалось всем чем-то магическим; жена Лермонтова чуть не целовала меня, а муж клялся, что все для меня сделает, и сделал, как видно будет после.

### **Записки Э.И. Стогова**

*«Русская Старина», май 1903 г.*

#### VII.

Переход Э. Стогова в жандармы. – Американец Добельт и его супруга. – Л. Дубельт. – Граф А. Бенкендорф. – Его характеристика. – Назначение Стогова в Симбирск жандармским штаб-офицером. – Симбирское общество. – История с губернатором З[агряжски]м. – Новый губернатор Жиркевич

Я хорошо знал, что рано или поздно, а мне придется отправиться в Кронштадт, чего мне крайне не хотелось. Перебирая разные службы, я нашел, что в жандармах более жалованья, и решил искать перевода. Я высказал мое желание знакомому мне барону Шиллингу [фон-Канштадту]; он выслушал и ничего не сказал, но на другой день я получил приглашение от Дубельта, будто бы желавшего знать о положении дел в Американской компании. Среди разговора он ловко предложил мне служить вместе. Я удивился, но изъявил согласие. Государь был тогда на конгрессе в Мюнхенгреце. Князь Меншиков был услан куда-то тоже с дипломатическим поручением.

Дубельт спросил меня, не будет ли препятствия от флотского начальства? Я отвечал, что пока нет Меншикова, то не будет, а Меншиков не пустит. Мне дан был конверт к исправлявшему должность морского министра Моллеру с вопросом: нет ли препятствия о переводе меня в корпус жандармов. Вот тут-то и помог мне упоминаемый мною билет на ложу в театр. Директор департамента Лермонтов прямо объявил мне, что у него есть приказ от князя, чтобы в его отсутствие не допускать никакой перемены с офицерами флота, но тут же прибавил:

– Я помню, как много вам обязан, и дал вам слово. Завтра же будет послан ответ графу Бенкендорфу о согласии на перевод, и вы сами после узнаете, как много я для вас сделал.

На другой же день Дубельт с ежедневным курьером отправил доклад о моем переводе на утверждение государя. Только успели отдать в высочайшем приказе о моем переводе, как возвратился князь Меншиков. Тогда строился в Архангельске фрегат по новой методе Стефенса. Лермонтов спрашивал, кого прикажет князь назначить командиром? Князь написал: Стогова из Камчатки. Лермонтов сказал:

– Этого нельзя.

– Что же, разве умер?

– Нет, он переведен в корпус жандармов.

– Кто его выпустил? Я дал вам приказ, без меня никаких перемен не делать.

- Адмирал Моллер помимо меня получил бумагу и дал согласие.
- Ох, мне этот гнилой! он готов всех распустить. А в приказах не отдано?
- Приказы уже вышли.
- Что же не обещали ему крест, что ли? По какой причине он пошел в *жандары*?
- Он говорил, что во флоте ему ожидать нечего; что товарищи его живут хуже казаков.

Князь толстейшей чертой похоронил меня. Узнав все это, мне очень было жаль, что я оставил флот. Назначение командиром на такой фрегат показало мне, что я был на отличном счету у князя.

Итак, свершилось: я жандарм, т.е. нравственный полицеймейстер. Утром я являлся в штаб в форме жандарма, а остальной день ходил во флотском мундире. Съездил в Кронштадт похвастать кавалерийской формой; товарищи и все [остальные] были удивлены моим переходом и завидовали.

Мы с Дубельтом скоро сделались друзьями; он тогда был еще полковник и начальник штаба, часто бывал без денег и занимал у меня по 300-400 рублей, но нас сблизило преглупое обстоятельство. Американец Добель был в Китае комиссионером какого-то богатого торгового дома. Наш корабль, под командою Крузенштерна, первый раз зашел в Китайскую гавань. Туземцы сильно притесняли Крузенштерна, и корабль чуть не подвергся аресту. Добель оказал важные услуги Крузенштерну, а за услугу просил рекомендации у русского правительства.

Добеля, бывшего тогда в большой славе, пригласили в Питер и назначили консулом на Филиппинских островах и на всем Восточном океане. Отправился Добель в Камчатку берегом; проезжая Тобольск, будучи в гостях у полицеймейстера, он увидел девушку, подающую чай. Добель говорил мне, что он был вдов, первая жена была красавица, и он страстно ее любил; как же он был поражен, увидев в девушке свою жену – сходство было поразительное. Добель, узнав, что девушка крепостная и ей 16 лет, предложил купить ее, и с него ловкий полицеймейстер взял будто бы 10 тысяч руб. Добель женился, и из Дашутки сделалась – Дарья Андреевна.

На Филиппинских островах, в Маниле он воспитал свою жену, она говорила по-испански – как аристократка, манеры получила превосходные, но с этим и выросла, как добрый гренадер, так что я в треугольной шляпе был ниже ее. Однажды Добель получил заказ от известного бесчисленного миллионера американца Армстронга – купить соболей в Камчатке. Армстронг надеялся быть монополистом в русских владениях Восточного океана. Добель поселился в Петропавловской гавани; я зимовал там же, и дома наши были рядом.

Познакомившись, Добель очень полюбил меня и, предполагая во мне знание света и приличий, просил меня быть наставником Дарьи Андреевны, – я охотно согласился. Дарья Андреевна очень выросла, но не подурнела, она была огромна, но пропорциональна и прекрасна. Манеры ее были настоящей аристократки, одевалась с большим вкусом. Рикорд говорил, что она на испанском языке и по-английски говорила превосходно, но лишь только заговорит по-русски – мужик мужиком, выговор сибирский: «пошто пошел, не проедайся, экой озорник» и тому подобное. В этой красивой женщине были две особы: испанка и англичанка – очень приличны, а русская – нестерпимо груба и даже глупа.

Я скоро сделался ее другом. Добель привез с собою прикащиков-американцев, и русские торговцы надували их. Кончилось тем, что целый корабельный груз товаров улетучился, а Добель соболей не получил. Я застал Добеля в Петербурге в плохих делах, он устарел, денег нет и ничего впереди. С Дарьей Андреевной моя старая дружба возобновилась. Я уже был жандармом, но долго еще ходил в флотском платье. Был концерт в доме Николая Ивановича Греча, был там и Добель с женою. Случайно я сел как раз сзади Дарьи

Андреевны, по старому знакомству; когда все внимательно слушали музыку, она шалила со мною.

Кончился концерт, все встали, кто-то ущипнул мне левую руку выше локтя, да так больно, что я с трудом удержался от крика. Смотрю, это Дубельт. Я думал, что он с ума сошел: маленькие его глаза горят, как угольки, сам красный, воспламененный, задыхается.

– Что с вами, зачем так больно ущипнули?

– Молчи, пойдем к амбразуре окна.

Он приступил ко мне с расспросами: кто та дама, которая шалила со мною? Как я с нею знаком? Давно ли? и проч. Тут же признался мне, что он лучшей красавицы не видал во всю жизнь, что он просто влюблен в нее страстно. Оказалось, что этот небольшого роста человек может любить только большого роста женщин, и чем выше, тем они ему привлекательнее, но Дарья Андреевна была гигант между женщинами и, правда, очень хороша. На другое утро Дубельт признался, что он не спал всю ночь, перед ним стояла Дарья Андреевна. Он как друга просил меня познакомить его с нею и за то он целую жизнь будет мне слуга. Такой человек, как Дубельт, был мне очень нужен; я видел, что он пойдет далеко, скрепить дружбу с ним было не только нужно, но и очень для меня важно.

Я дал ему слово хлопотать по этому делу. Взявшись за глупость, я решился и поступать глупо. В тот же день, не застав Добеля дома, я в спальне упал на колена перед Дарьей Андреевной, и вот наш разговор:

– Ты чево дурачишься?

– Я, сударыня Дарья Андреевна, самый покорный проситель.

– Это что еще выдумал; пошел, не дури, прощальга.

Я приставал и просил.

– Да что тебе надоть, верно, какое-нибудь дурачество?

Я рассказал ей откровенно положение дела и как мне нужен Дубельт, и что он устроит судьбу ее мужа. Положено было встретиться на другой день у Мордвинова на обеде. Дубельт был в восторге, целовал меня и обещал заслужить.

Я должен был получить назначение в одну из губерний – штаб-офицером, но мне еще хотелось пожить в Питере. Дубельт поместил меня при графе Бенкендорфе – по особым поручениям. Как-то Дубельт захворал и приказал мне идти с портфелем к графу, для доклада и подписи бумаг. Доклад сошел хорошо. Граф постоянно называл меня Стокгоф – я не противоречил, у немца выгодно быть немцем. Много раз я занимал должность Дубельта при приемах графа и входил в роль дельца, а узнавши графа – смело лгал – чего не знал, и шло хорошо.

Был у меня двоюродный брат, Вася Семенов; он был тогда цензором, и у него часто собирались литераторы; я бывал на этих любопытных вечерах в морской форме. Вася даже не знал, что я жандарм. Тогда был диктатором русской словесности Осип Иванович Сенковский. Он издавал журнал «Библиотека для чтения», журнал гремел, он был во всех домах и во всех руках. В один вечер у Васи собралось человек 6 писателей, которым он с горем объявил, что имеет великолепную, небывалую в русской литературе вещь, но не смеет пропустить, а не пропустить – преступление. Его просили прочитать.

Вася был замечательный чтец, он вынес тетрадь и начал читать: «Большой выход у Сатаны», Сенковского. При чтении этой пиесы все приходили в восторг: язык, сравнения, обороты – все было неслыханно. Восклицаниям, удивлениям, похвалам не было конца, некоторые места перечитывались два-три раза с равным восхищением. Вася объявил, что пьесу эту он пропустить не смеет, все восстали против него.

– Это преступление, – говорили слушатели, – это грабеж литературы, это убийство таланта, это святотатство; лучше лишиться места, чем погубить такой перл литературы.

Долго судили и рядили, что делать. Вася решил: отнести завтра эту вещь для просмотра графу Бенкендорфу, и если он дозволит, то никто не будет отвечать. При этом Вася надеялся на содействие Дубельта.

Поутру я был в приемной графа и распорядился просителями вместо больного Дубельта. Входит Вася с тетрадью, подходит ко мне и спрашивает:

– Где Леонтий Васильич Дубельт?

– Я вместо него к вашим услугам.

Насилу узнал меня Вася, даже побледнел.

– Что это значит, Эразм?

– Ничего, я вместо Дубельта, и только.

– Я ничего не понимаю.

– И понимать нечего, буду у тебя, объясню. Я знаю, ты принес статью, хорошо, я помогу, чем могу.

Вышел граф; он знал Васю, который представил ему статью и сказал, что в ней ничего нет, но может быть задет кто-либо из вельмож, отношение которых он тонко не знает. Бенкендорф передал мне тетрадь и приказал положить у него на столе, а Васе прийти через неделю. Я положил статью под старые бумаги и придавил их пресс-папье.

Надобно хотя немного познакомить читателя с Бенкендорфом, о котором ходило много рассказов по поводу его забывчивости. Граф Бенкендорф жил в Большой Морской, в той же улице остановился французский посланник, дома через четыре. Граф пошел пешком отдать визит посланнику, но его не было дома. Граф хотел отдать визитную карточку, но не нашел ее в кармане. Тогда граф говорит швейцару: запиши меня, ты меня знаешь? Швейцар был новый, отвечал: «Не могу знать, как прикажете записать?» Граф вспоминал, вспоминал и никак не мог вспомнить свой фамилии. Досадуя на себя, пошел домой, обещая прислать карточку. По дороге встретил его граф Орлов и, сидя на дрожках, закричал: «Граф Бенкендорф!» Последний обрадовался, будто что-то нашел, махнул рукой Орлову и, повторяя про себя: «Граф Бенкендорф», вернулся к посланнику и записался. Этот анекдот повторял весь Питер, и знал о нем государь.

Бенкендорф был лично храбрый человек, но в администрации понимал мало. Граф был добрейшее существо, и я не знаю ни одного случая, кому бы он сделал зло. Раз он был отчаянно болен; съехала вся знать к графу из участия, приехал и государь. Выходя из комнаты графа, государь обратился к присутствовавшим и сказал:

– Вот умирает человек, который никогда ни с кем меня не поссорил, а со многими из вас помирил. Я хочу, чтобы все знали это, – а у самого государя были слезы.

Граф был щеголь, всякое утро парикмахер убирал немногие его волосы. С 9-ти часов утра зала его уже была полна просителями. В 10-ть часов он, по-домашнему, в сюртуке без эпалет выходил и выслушивал каждого просителя; с дамами был чрезвычайно вежлив. Случилось, что дама, для большего убеждения, стала на колена, и я видел, как граф задрожал, изменился в лице и бросился поднимать, – он не мог выносить унижения женщины. Обойдя просителей, он собирался ехать во дворец, а между тем временем набирались новые просители. В 11 или половине 12-го выходил граф в мундире, опять обходил всех просителей, выслушивал и принимал просьбы.

Зная графа, мы хорошо понимали всю бесполезность приемов его. Он слушал ласково просителя – ничего не понимая; прошения он никогда, конечно, уже не видал; но публика была очень довольна его ласковостью, терпением и утешительным словом. Просьбы решались в штабе и в III отделении. Зная обязанности графа, простительно было ему не входить в распоряжение управления, он должен был подробно знать все, что вчера говорилось и делалось во всей России.

А что статья «Большой выход у Сатаны»? Да ничего, как я положил под бумаги и пресс-папье, так она и лежала.

Через неделю приходит Вася к графу за статьею, граф приказал придти еще чрез неделю. Когда пришел Вася по окончании назначенного срока, то граф пригласил его в кабинет, а мне приказал подать статью и стал откровенно спрашивать, в чем он сомневается. Вася указал на самые пустые и невинные места, граф прослушал и написал на последнем листе: «можно печатать. Граф Бенкендорф». Я засыпал песком [резолуцию], и статья вышла. Шуму много было в Питере, обратил на нее внимание и государь, но сошло все благополучно.

Заболтавшись, забыл упомянуть, что еще до перевода я, как штаб-офицер флота, обязан был при разводе явиться к государю. Император Николай I был верхом – что за красавец, что за молодец, нельзя не любоваться! Нас, после развода, являлось человек 30-ть, я стоял из последних на левом фланге. Развода и всех проделок я почти не видал, потому что все смотрел на истинно русского царя. Нас перекликал комендант, а богатырский конь переступал только на одного человека – и ни разу не сбился. Дошла очередь и до меня.

– Капитан-лейтенант Стогов из Камчатки, – сказал комендант.

– Долго вы там были? – спросил император с привлекательной улыбкой.

– 12 лет, ваше величество.

– Скучно там было вам?

– Нет, государь, там много службы и там русское царство.

Николай милостиво поклонился.

Петербургская жизнь мне надоела; наступила зима, и я объяснил Дубельту о моем желании уехать из Питера и говорил искренно. Он советовал не оставлять видного места, даже хотел хлопотать о прибавке мне столовых, но я решительно хотел расстаться с Питером. Дубельт просил меня подумать неделю, но и чрез неделю я говорил то же. Тогда, по дружбе, он дал мне список всех губерний и сказал: «выбирай, если занято место – переведу». Над списком я порядочно подумал, смещать других – было не в моих правилах.

Подумал, было, об Иркутске, так много мною любимом, но там не было уже Лавинского, притом же там приходилось образовать должность, потому что никогда не было там жандарма; более всего меня остановило короткое знакомство со всеми, а мне не хотелось становиться в неловкие отношения, которые могли случиться. Перебираю губернии: в одной были родные, в другой товарищи. Симбирская губерния была вакантна, и там никого не было, ни родных, ни знакомых. На этой губернии я нарисовал якорь и подал Дубельту. Он удивился, что я выбрал глушь, советовал Москву; но я уперся на Симбирске, куда скоро был назначен.

Уезжая из Петербурга, я спросил графа Бенкендорфа, в чем будет состоять моя прямая обязанность? Он отвечал:

– Утирай слезы несчастных и отвращай злоупотребления власти, и тогда ты все исполнишь.

– Общество играет в запрещенные игры – в карты, должен ли я мешаться?

– А ты не любишь играть?

– Нет.

– Ты не богат, но можешь проигрывать в банк до 5 рублей; но не должен позволять грабить, обыгрывать молодежь и хранителей казенных сумм. Ты должен быть любим и необходим в обществе. Если не любят жандарма, то он бесполезен. В крайнем случае, будь решителен и смел, а в спокойное время... влюбляйся.

Приехал я в Симбирск, кажется, 8 января 1834 г. и, вступив в должность, действовал самостоятельно и сам за все отвечал. В Симбирске я был, по праву, первым, и мое слово имело вес и значение. Моей ширмой были в Петербурге Дубельт и граф Бенкендорф.

Симбирск от Москвы более 700 верст, а от Петербурга до 1 500 верст. В Симбирске я был доверенное лицо от государя, от моего такта зависела моя сила, т.е. общественное доверие и уважение, без этого я пустая кукла, марионетка. Доверие и уважение к жандармскому мундиру в Симбирске было разрушено. Передо мной был полковник Маслов, тип старинных полицейских. Он хотел быть сыщиком, ему казалось славою рыться в грязных мелочах и хвастать знанием семейных тайн. Он искал случая ко всякому прицепиться, всех страшал, делал истории, хотел властвовать страхом и всем опротивел. Он хотел быть страшным и достиг общего презрения. Жена его любила щеголять знанием всех сплетен и хотела иметь влияние на городских дам и была так деятельна, что для помощи мужу осматривала предварительно рекрут.

Таким образом, я явился к обществу, предубежденному к жандармскому мундиру, олицетворявшему идею доносчика и несносного придиралы даже в частной жизни. Симбирское дворянство многочисленно и богато, жило в губернском городе, потому что столица была далеко. Дворянство положило, чтобы избегнуть неприятностей, какие имели от Маслова, удалить его преемника от общества. С первых дней моего приезда, наслушавшись о поступках предместника, я понял, что доверие и уважение мне нужно завоевывать. Я знал по опыту, что тот не находит любви, кто ее ищет. Общая любовь и доверие заслуживаются нравственною правдою, уважением общественных условий и неприкосновенностью семейного, домашнего быта.

В то время в Симбирске был губернатором З[агряжск]ий, вот этого нельзя миновать, не объяснив, потому что сношения мои упирались в одного только губернатора. З[агряжск]ий был внук известной статс-дамы\*, служил в Преображенском полку и был в отставке капитаном. 14-го декабря 1825 г., во время возмущения на Сенатской площади, он явился ко дворцу. Государь несколько раз посылал Якубовича образумить бунтовщиков и убедить их, чтобы покорились. Якубович шел к мятежникам, и З[агряжск]ий – за ним. Так было несколько раз, и З[агряжск]ий, перевязав себе ногу платком, прихрамывал, будто ударили его по ноге. Государь видел все это, не забыл усердия З[агряжско]го и сказал великому князю Михаилу Павловичу:

- Спроси его, чего он хочет?
- Желая быть губернатором, – отвечал не задумываясь З[агряжск]ий.
- Не много ли будет? – заметил великий князь.
- Для государя все возможно.

И вот З[агряжск]ий – губернатор в Симбирске; я слышал это от него самого. Он был очень недурен собой, образован для гостини, имел кроткую жену, малолетнюю дочь и любил хвастаться победами над женщинами...

Когда я явился к нему, он спросил меня:

- С каким намерением вы сюда приехали?
- Содействовать возвышению власти вашего превосходительства.
- Какие ваши планы?
- Я еще ничего не знаю.

---

\* Наталья Кирилловна, урожденная графиня Разумовская (1747-1837) была фрейлиной императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, приближенной Г.А. Потемкина, свидетельницей шести царствований. Вышла замуж за офицера Измайловского полка, вдовца Николая Александровича Загряжского (1743-1821). За невозможностью иметь детей почти насильно удочерила свою племянницу Марию Васильевну Васильчикову, которую в 1799 г. выдала замуж за графа Виктора Павловича Кочубея. Александр Михайлович Загряжский (1798-1883) вроде бы был сыном коллежского советника Михаила Борисовича (1733-до 1800), который, в свою очередь, родился у капитана 2-го ранга флота Бориса Степановича (1703-1757). Достоверных родственных связей между упомянутыми персонажами в Интернете найти не удалось. Будем считать, что А.М. Загряжский был дальним родственником/свойственником знатной статс-дамы и потому имел некоторый вес в придворных кругах Петербурга, на что и намекал Э.И. Стогов. – Примеч. М.И. Классона

- Имеете знакомых?
- Никого.
- Если вы намерены искренно содействовать мне, то чего вы требуете от меня?
- Только личного ко мне уважения и когда мне нужен будет секрет, то сохранить, и тогда только я буду вам полезен.
- Это так немного, что я не только даю вам честное слово, но считаю прямою своею обязанностью исполнить.
- Мне более ничего не нужно.
- Я должен вам сказать, что со мною не сошлись здешние дворяне, я бы желал поправить наши отношения – помогите мне.
- Хорошо, но вы знаете, что я секретный человек и, как сказал, могу быть полезен только тогда, когда мои действия будут оставаться в секрете.
- Буду нем как раба, как могила. Но что же вам угодно, чтобы я сделал для вас?
- Я прошу вашего молчания.
- Вы, господа жандармы, любите много писать.
- При данных вами обещаниях, я даю вам слово показывать вам все, что буду писать в Петербург, но до тех пор, пока вы будете исполнять свои условия.
- Мне ссориться с вами невыгодно: у вас нет огорода, а вы всегда можете бросить камень в мой огород.

Мы ударили по рукам и простились.

Я сделал визит князю Б[аратае]ву, который был уже седьмое трехлетие губернским предводителем дворянства. Первым приехал ко мне Борис Петрович Бестужев, отставной лейтенант начала столетия. Старик, узнав, что я служил во флоте, не утерпел не повидаться и упросил к себе на бал. Я не подошел ни к одному помещику и не хотел знать властей. Я подсел к влиятельным старушкам, игра с ними в бостон, будто нечаянно у некоторых стер ремизы и стал приятным игроком. На молодых я и глазом не повел. Старухи с первого же вечера заговорили, что я премилый человек, хотя и в голубом мундире. Посредством диктаторской власти старух я познакомился почти во всех домах, имеющих значение, постепенно сближался с мужчинами, но не делал никому визита, чтобы не навязываться.

У меня был начальник команды, капитан Подгорный, ему было за 60 лет, и он знал все сплетни в Симбирске; он посвятил меня во все подробности симбирской жизни.

Вот первое происшествие.

В Симбирске были две сестры, старые, престарые девицы Дмитриевы, они были родные сестры знаменитого тогда поэта Ивана Ивановича Дмитриева, который был сделан министром юстиции. Сестры так возгордились братом-министром, что не находили себе достойных женихов и состарились девицами; одна имела свой дом на Покровской улице, а другая на Московской, так по улицам их и называли. Они жили уединенно и не принадлежали к обществу, и все потому, что брат министр. Ждали государя, надо было покрасить дома. Является к ним мужиковатый частный пристав и требует выкрасить дома.

– Как ты смеешь нас беспокоить, – говорили ему старушки, – разве не знаешь, что наш братец министр?

– Как не знать, – отвечал частный пристав, – знаю; да вот и у меня дядя царь Соломон, однако, что приказывают, то должен исполнять.

Зная этих чванных девиц, находчивость частного пристава, который никого не знал важнее царя Соломона, очень смешна.

У этих девиц была еще сестра замужем и, умирая, оставила двух девочек. Старухи взяли на воспитание каждая по племяннице. Девочки выросли в совершенном уединении. Старухи хотели, чтобы и они остались девицами, и тогда обещали оставить им значительное свое состояние. Девочки выросли в девиц-невест. Приехали в отпуск два лихие гусара:

Митюнин, другого не помню, молодцы, но бедняки. Сначала видались в окнах, ходя около домов, потом девочки пробрались тайно в маскарад благородного собрания; там гусары объяснились, девочки позволили увезти себя.

Назначен был вечер, губернатор покровительствовал сговорившимся и упросил меня не мешать счастью молодежи, публика тоже желала успеха. Схватились старухи своих племянниц, а их и след простыл. Они обратились ко мне и умоляли спасти их племянниц, предполагая, что они увезены насильно. Я принял их просьбу очень серьезно, при старухах приказал командиру команды привезти ко мне живых или мертвых и послал команду в противную сторону от тех мест, где они венчались. Старухи были в восторге и венчаться [поэтому фактически] не помешали. Публика понимала мою проделку и находила, что Маслов не так бы поступил. Видно, говорили про меня в городе, что это совсем хороший человек.

В Симбирске были два либерала, Тургенев и Оржевитинов, они-то и были началом всех начал неудовольствия против губернатора и стояли во главе недовольных. Во всех общественных положениях есть, непременно, центр, откуда расходятся мнения и причины, как радиусы. Познакомясь с этим центром, я нашел в них мягких людей, с которыми легко можно было помириться, и тогда общественному неудовольствию конец.

Я видел возможность прекратить ссору и отправился к губернатору.

– Вас здесь не любят, – сказал я.

– Это правда.

– Какая причина?

– Право, не знаю.

– Быть главной властью и быть нелюбимым – неприятно.

– Неприятно, да что же делать?

– Я скажу вам средство, от вас зависит помириться с обществом.

– Пожалуйста, я на все согласен.

– Вы действительно не знаете причины?

– Честное слово, не знаю.

– Тургенев и Оржевитинов главные ваши враги; пригласите их, вы сумеете смягчить; объяснитесь и помиритесь, тогда все общество повернется к вам лицом.

– Очень вам благодарен, вы действуете как мой друг!

– Но надеюсь, вы обо мне не упомянете, мой успех в секрете.

– Будьте покойны, я помню ваши условия.

З[агряжск]ий пригласил к себе Тургенева и Оржевитинова и сказал им:

– Господа! мы имеем между собою неудовольствие, это дело наше, скажите, пожалуйста, для чего вы мешаете между нами жандарма? Я должен вам сказать, что жандарм прислан для моих услуг, меня оскорбляет то, что порядочные люди мешаются с жандармами. Вы, может быть, вчера высказали ему о причинах своего неудовольствия; а сегодня он обязан был доложить мне о том. Будем, господа, порядочными людьми, можем иметь неудовольствие, но будем унижать себя, мешаясь с жандармами.

Каков молодец! На другой день, видясь с Тургеневым, я заметил неудовольствие и высказал ему, как З[агряжск]ий упросил меня помирить его с обществом, а я по доброте своей, желая общего согласия, кажется, сделал ошибку. Я попросил Тургенева извинить мою неопытность, но вместе [с тем] и доверить, что губернатор горько поплатится за свою дерзость.

На другой день я отправился к губернатору.

– Итак, вы губернатор, – сказал я, – а я жандарм. Вы не утерпели и не сохранили в тайне секрета.

З[агряжск]ий все понял.



– Язык мой – враг мой, – сказал он, – кругом виноват!

– Помните, что у меня огорода нет, а у вас столько огородов, куда ни брось камень, попадешь в ваш огород!

– Не будем ссориться, я виноват, прошу прощения; больше этого не будет.

Тут пристала страдальца-жена его с просьбой простить.

– Так и быть, – сказал я, – этот раз не в счет, забудем; но другой раз не забудем!

– Душою и сердцем – согласен!

Вскоре повторился другой подобный случай.

Был в Симбирске Петр Петрович Бабкин, еще при Екатерине II вышедший в отставку капитаном Семеновского полка. К нему приехал из Петербурга сын его. Я сказал З[агряжско]му ложно, что сын Бабкина бранит его да и старик поддакивает. Губернатор не утерпел, позвал к себе Бабкина-отца и высказал ему то же, что и Тургеневу, зачем он мешает жандарма. Тогда я составил записку, в каком отношении я нашел губернатора с обществом дворян и что, желая быть полезным, я пробовал действовать, но губернатор парализовал мои действия и чуть не поставил меня в фальшивое положение. Я описал болтливость З[агряжско]го и как он клялся и просил прощения, как я солгал на Бабкина для пробы, и опять попался губернатор. Я просил шефа жандармов иметь эту записку как материал и что скоро надеюсь иметь факт, который избавит Симбирск от З[агряжско]го.

Пришел я к нему и сказал:

– Я дал вам слово показывать, что напишу графу Бенкендорфу, – извольте читать.

Прочитав, он побледнел и сказал:

– Вы так писать не можете!

– Отчего?

– Я буду жаловаться на вас.

– Тем лучше, скорее объяснятся ваши действия.

– Вы не пошлете.

Я позвал жандарма, запечатал письмо у губернатора и приказал отнести на почту.

Я все знал, что творилось в Симбирске, но никто не знал, что я знаю, и потому принимали меня радушно. Попадались чиновники во взятках, возьмет и с того, и с другого, а сделает, разумеется, для одного, – другой жалуется. Я никогда не делал историй, позову к себе в кабинет, мылю, мылю ему голову, настрашаю очень сильно и прикажу возратить [деньги] обиженному. Жизнь моя в Симбирске устроилась по моему желанию, я был любимым членом общества, верили, что я не мелочной доносчик, но, вместе с тем, верили, что и затронуть меня очень опасно; я прощать не умел, но никого и не трогал. Никто меня не чуждался, я мог смело входить в кабинет генерала и в кабинет отставного прапорщика как приятель.

За мной осталось неисполненное слово, данное мной Тургеневу и Оржевитинову, да и обещание графу Бенкендорфу насчет З[агряж]ского, которого я презирал, но с которым наружно был в добрых отношениях.

З[агряж]ский, как я говорил, был недурен собою, воспитания пустого, но блестящего для гостиной – ловок и находчив, но до удивления легкого характера; любил сплетни, мешался в семейные дразги и хотел играть роль всезнающего. Стараясь быть посредником в дворянских ссорах и оправдывая одну сторону, создавал себе врагов из другой стороны и, с течением времени, нажил себе вражду всего дворянства. Он был неутомимый волокита и выражался передо мною так:

– Успеть в интрижке и не рассказать [в интимом обществе], это все равно, что иметь Андреевскую звезду и носить ее спрятанною в кармане.

Делами он совершенно не занимался; бывало, при мне подписывает сотню бумаг – ни одной не читая. Я один раз спросил его, как это он подписывает не читая.

– Пробовал читать все бумаги, – отвечал он, – и совершенно ничего не понял; уверился, что читаю ли я бумаги или не читаю, – результат один, так что лучше подписывать не читая.

По делам я бы мог много вредить ему, но это казалось мне мелочным, я хотел капитально похоронить его и выжидал. В 12-ти верстах от Симбирска жил князь Б[аратае]в, бывший, как я сказал, седьмое трехлетие губернским предводителем. Он прежде был богат, но прожил на предводительстве, и у него осталось только 250 [крепостных] душ, да пять взрослых дочерей и маленький сын. Не знаю или не помню, зачем жил в Симбирске князь Д[адья]н, чистый азиатец, черный, с огромными глазами, говорил сквозь зубы, стригся под гребенку, всегда был щегольски одет, корчил – как только мог – Байрона; тогда много было «Байронов» – это было в моде. Был холост, жил весьма скромно, был принят везде, ему было за 30-ть лет.

Слышал я давно о волокитстве З[агряжско]го за старшей дочерью князя Б[аратае]ва; рассказывали как З[агряж]ский наряжался старухой (он был недурной актер) и ходил на свидание к княжне, теперешней невесте князя Д[адья]на, а она в мужской одежде тоже ходила на свидание к З[агряж]скому. Жил в Симбирске полковник граф Т[олсто]й, он числился по министерству иностранных дел, был холостой, знакомства почти не имел, но был приятелем З[агряжско]му и другом князю Д[адья]ну. Губернатор, по своему обычаю, не мог не рассказать Т[олсто]му о своем мнимом успехе у дочери Б[аратае]ва.

Наступали выборы дворянства. На выборы являлось до 350 дворян, а выборы без шума и скандала никогда не проходили, непременно поссорятся в зале выборов, но ничего – своя семья. Замечено, если собаки грызутся, и никто им не мешает, то они одна другой вреда не сделают, так и ссорам дворян не надобно мешать – скоро помирятся. Перед самыми выборами князь Д[адья]н посватался за старшей дочерью князя Б[аратае]ва. Предполагаемая свадьба была уже не секрет в Симбирске.

Вдруг граф Т[олсто]й рассказывает князю Д[адья]ну о бывшей интриге З[агряж]ского с княжной. Азиатская кровь Д[адья]на заклокотала, идет к Б[аратае]ву и отказывается [от сватовства]. Князь Б[аратае]в едва устоял на ногах, а княжна не устояла, обмороки, истерика – пошла писать [губерния]. Князь Д[адья]н успел страстно влюбиться в княжну и, в неистовстве своем, поклялся, при всей публике, надавать пощечин З[агряж]скому. Между тем, Б[аратае]в, убитый, как осрамленный отец, решил на выборах пожаловаться всему дворянству. Хотя громко об этом не говорили, но по секрету знали все об этой истории, и мне тайно сообщено было, что многие, погорячее, съезжаются и сговариваются, как только князь Б[аратае]в пожалуется, высечь губернатора.

За два дня до выборов я передал З[агряж]скому о намерении Б[аратае]ва, князя Д[адья]на и всего общества дворян. Он струсил, растерялся, говорил о самоубийстве, но такие люди не убивают себя, и кончил тем, что просил моей защиты и покровительства. Я потребовал письмо от него о затруднительном положении, и тогда, говорил я, по данной мне инструкции, я возьму дело на свою ответственность и даже обещал уладить так, что все затихнет. Надобного было видеть малодушного этого человека, как он обрадовался, как подличал передо мною. Письмо ко мне объясняло все обстоятельства дела, и З[агряж]ский отдавал под мою защиту сан губернатора. Он даже боялся, что Д[адья]н ворвется в его дом и разделается с ним по-азиатски, и потому для охранения его, как губернатора, я дал ему двух жандармов.

День был почтовый, я просил почтмейстера Лазаревича задержать отправление почты, написал очерк предшествовавших дел З[агряж]ского, потом весь мой разговор с ним от слова до слова, так, как пишутся комедии, и заключил тем, что просил шефа жандармов не беспокоиться, так как имею довольно силы прекратить это дело без скандала. Вот наступила минута, когда я должен был выйти на сцену, как власть абсолютная. Против гу-

бернского предводителя, против всей массы дворянства и против буйства Д[адья]на, я должен был защитить не З[агряж]ского, а сан губернатора, представителя власти государя. Это был прямой мой долг. Не умею я отвратить скандала с З[агряж]ским, я не достоин бы называться жандармом.

Я целый день употребил на поверку имеемых сведений и на соби́рание возможных подробностей. Вечер я употребил на стращение З[агряж]ского, который до того струсил, что рассказал все своей жене и признался ей во всем. Эта бедная женщина плакала и просила защитить ее мужа. Поздно вечером дали мне знать, что князь Б[аратае]в сочинил речь к дворянам, в которой просит защиты как оскорбленный отец и как предводитель дворянства 21 год.

Наступил день открытия выборов. В 6 часов утра я уже был в кабинете Б[аратае]ва. Князь, удивленный, спросил:

– Чему я обязан такому раннему посещению?

– Вы, князь, намерены сегодня говорить речь и жаловаться дворянству на З[агряж]ского?

– Кто вам это сказал? Может быть, это неправда, да и какое вам дело до этого?

– Что это правда, то вы вчера в этом кабинете читали речь трем помещикам, а что мне есть дело, так я, не имея нужды защищать З[агряж]ского, обязан не допустить до публичного оскорбления губернатора, как высшую власть в губернии, поставленную императором.

– Вы не знаете всех обстоятельств!

– Знаю, даже более чем вы, иначе я не был бы жандарм.

– Вы молоды, вы не отец, не можете чувствовать оскорбления, в своих детях.

– Я сын моих родителей и брат моих сестер, а более – я честный и благородный человек; я не только могу чувствовать ваше оскорбление, но глубоко проникаюсь горестью отца.

– Если так, то вы не должны вступаться за мерзавца.

– Да я и не думал заступаться за З[агряж]ского, а не могу допустить до оскорбления губернатора и должен положительно сказать вам, князь, что вы не будете говорить речи против губернатора перед дворянами.

– Как вы можете мне запретить?

– Я с тем пришел и не выйду отсюда, не запретив вам говорить.

– Как это?

– Если вы не откажетесь от своего намерения, то я, на основании данной мне государем инструкции, арестую вас, и вы, до решения государя, не выйдете из этого кабинета. Подумайте, князь, куда вы ведете все дворянство? Оно, в порыве первых чувств, сделает преступление против начальника губернии, чего государь ни оставить, ни оправдать не может, а вы будете главным виновником. Ваше справедливое оскорбление только огласится на всю Россию, тогда как я знаю истину и знаю, что это пустое хвастовство глупого человека, и может быть все поправлено в тишине.

– Если вы знаете все, как говорите, то оскорбление не может быть поправлено, вы знаете, что князь Д[адья]н отказался от женитьбы.

– Знаю все подробно и знаю, что и вы, и князь Д[адья]н, и ваша прекрасная дочь – все получат достойное удовлетворение.

– Какое ручательство вашим словам?

– Мое честное и благородное слово, которому я не изменял во всю мою жизнь.

– Молодой человек, вы много берете на себя; помните: вы ответите перед оскорбленным отцом.

– Знаю, что все тут ложь и глупость. Дело скандалом не поправите, а я, сочувствуя вам сердцем и душою, беру на себя и ручаюсь, что все дело выяснится к спокойствию вашему и общему. Я приму всю вину на себя, если не будут все удовлетворены. Верьте, князь, вам остается либо довериться мне, либо быть арестованным и подвергнуться большой ответственности.

Князь говорил длинный и красноречивый монолог, и у старика вытекла не одна слеза. Я дал ему высказаться, не противоречил, сочувствовал ему, но потребовал отказа говорить речь.

– Какое вам нужно удостоверение? – спросил он.

– Ваше честное слово, князь, и крошечная записочка, что вы ни слова не скажете о З[агряж]ском в собрании.

Князь решился послушаться меня, дал мне честное слово и крошечную записочку, что говорить речи не будет. Долго еще князь говорил, умолял меня сдержать свое слово и, наконец, сказал:

– Мне кажется, что вы, в благородном своем порыве, взяли дело не по своим силам.

– Подождите, князь, – увидите; не всегда гром гремит из большой тучи.

С тем мы и расстались.

Я заехал к З[агряж]скому с предложением, не лучше ли ему сказаться больным, но он уже предупредил меня и дал предложение открыть выборы[, вместо себя,] председателю казенной палаты. Тогда поехал я к князю Д[адья]ну.

Выходит ко мне князь, с плотно обстриженной головой, воротнички а 1'enfant, как Байрон на портрете, с трубкой, и цедит сквозь зубы – англичанин, да и только!

– Чему я обязан, что вы пожаловали ко мне?

– Князь, прежде всего, здравствуйте и позвольте сесть; мне нужно поговорить с вами.

Обстановка слишком проста: во всю комнату простой крашеный стол, около такая же голая скамейка, точно в бедной школе; на скамейке мы и уселись.

– Вы, князь, огорчены и очень раздражены из глупой лжи, дошедшей до вас.

Князь как-то засопел, сжал чубук так, что у него хрустнули пальцы; странно сопевши, придвигался ко мне. Молчит, не может или не решается сказать слово. Я спокойно посоветовал не придвигаться так близко, а то нам неудобно говорить. Азия немного утихла, и князь сквозь черные зубы процедил:

– Желал бы я знать, какое вы имеете право мешаться в чужие дела?

Я рассмеялся и сказал:

– Жандармы для того и учреждены, чтобы мешаться в чужие дела. Вы сердитесь, князь, а, узнав мои намерения, вы не отвергнете моего участия.

– Я не имею нужды ни в чьем участии!

– Дело-то в том, что я имею необходимость принять участие в вашем деле.

– Позвольте узнать, какая вам необходимость соваться в мои дела?

– Вы, князь, намерены разбить рожу З[агряжско]му публично?

– Ну, что же вам за дело?

– До рожи З[агряжско]го мне совершенно нет дела, но его рожа принадлежит губернатору, вот это и переменяет вид дела. Моя обязанность устранить всякое публичное оскорбление власти, поставленной государем; я пришел доложить вам: пока З[агряжски]й [остается] губернатором, вы не исполните своего намерения.

– Кто может остановить меня?

– Я, князь, затем и пришел к вам.

– Каким это образом?

– Я прошу вас, пока З[агряжски]й губернатором, не оскорблять его, в чем и прошу вашего честного слова!

- А если я вам слова не дам?
- Я вынужден буду арестовать вас.
- Опять засопел и процедил:
- Как? что вы сказали, арестовать меня?
- Да, князь, я не могу поступить иначе и, как мне ни неприятно это, но я исполню, такова моя обязанность.
- Вы не посмеете этого сделать!
- А вот увидите, князь, даю честное слово – сделаю!
- Кто дал вам право?
- Секретная инструкция, высочайше утвержденная!
- Вы не понимаете моего оскорбления и не можете понять.
- Я вам сказал, что я все знаю подробно; думаю, что и сочувствовать вам могу, что вы и увидите.
- В чем же ваше сочувствие? Как вы поймете, что этот п[одлец] из счастливого человека сделал меня несчастным?
- Прошу вас выслушать меня без раздражения. Прежде всего, скажу вам, что вы будете счастливы!
- Я вам не верю и вижу, что вы ничего не знаете.
- Эх, почтенный мой князь, какой же я был бы жандарм, если б не знал всего; только публике неизвестно, что я все знаю, и не узнают без нужды.
- Можете вы мне сказать, что вам известно?
- Очень охотно: малодушный хвостун З[агряжски]й считал гордостью для себя похвастать интригой с прекрасной и уважаемой девушкой перед графом Т[олсты]м; последний, как вполне благородный и честный человек, счел долгом предупредить вас. Тут правы и Т[олст]ой, и вы, князь. Презренно виноват З[агряжски]й. Я рад возможности удостоверить вас честным моим словом, что З[агряжски]й солгал: ничего подобного не было.
- Как вы можете знать и ручаться?
- Князь, еще повторю: я жандарм!
- Но позвольте, вы сами дворянин и можете быть в моем положении; спрашиваю вас, не имею ли я права наказать его?
- Вашего права я не отвергал и не отвергаю, но согласитесь, какое же вам удовлетворение, если вы красивой рукой будете бить [по скверной, подлой роже] – кого же – З[агряжско]го? Меня бы не удовлетворила подобная месть!
- Я убью этого подлца, но прежде оскорблю его публично.
- Вы этого не сделаете; пока он губернатором, я не могу допустить того. Но предположим, вы нададите оплеух, вы убьете З[агряжско]го, поправит ли это дело? Невинная девушка все-таки буде оскорблена.
- Я отомщу ему.
- Пожалуйста, не сердитесь, вы отомстите свою обиду, но ведь это азиатский эгоизм, тут дело не о вас, а надобно восстановить честь невинной, благородной девушки, надобно подумать о ее страдании, – по-моему, вот о чем надобно подумать.
- Если вы все знаете, то должны знать, что я надеялся быть счастливым мужем на всю жизнь, и проклятый, подлый человек все разрушил. Вы холодный зритель, вы не можете чувствовать глубокого чувства горести, что чувствую я.
- Согласен, князь, может быть, у меня кровь медленнее движется, чем у вас, но все-таки, я думаю не о вас, а о невинной, прекрасной девушке. Болтовня не пристанет к невинному ангелу, но условия общества таковы, что и сама невинность требует очищения.
- Чего же я могу желать и что сделать, по-вашему?

– Вот это дело, мой почтенный князь; спокойно обсудив, можно найти разумный исход. Вы мне сделали вопрос, а я спрошу вас: какого вы хотите удовлетворения?

– Что же вы можете сделать?

– Все, что вы хотите!

– Ну, а если бы я потребовал, чтобы он сознался, что солгал?

– Только-то, князь?

– Мне и этого будет довольно.

– Я с вами согласен, что те же скверные уста, которые извергли хулу, должны клятвою опровергнуть и сознаться публично во лжи.

– Какой же способ этого достигнуть?

– Я беру на себя дать вам такое удовлетворение. Я обещаю вам, что он при вас напишет, что он солгал и что если болтнет одно слово, то без претензий, где бы ни было, дозволит вам разбить свою рожу.

– Этого вы не можете исполнить!

– Ну, тогда, князь, гнев ваш будет на мне.

– Вы не шутите?

– Нет, не шучу.

– Вы много рискуете!

– Нисколько, но будете ли вы довольны тогда?

– Как же это может быть?

– З[агряжски]й вам поклянется при свидетелях, что он все солгал, похвастал.

– Я бы хотел письменного подтверждения этих слов.

– Извольте, князь, я и это для вас сделаю, довольны ли вы будете тогда?

– А вы ручаетесь за исполнение?

– Ручаюсь честным словом, но и вы дайте честное слово, что, пока он будет губернатором, вы не оскорбите его.

– Хорошо, я буду совершенно доволен, но если вы не исполните, тогда у меня расчет будет с вами.

– Хорошо, князь, итак, дайте мне честное слово и маленькую записочку, что вы не будете бить по роже губернатора.

– Извольте.

– Прощайте, князь, немного терпения, я все устрою скоро, верьте мне.

В моем плане было напугать З[агряжско]го до крайней степени, что я и учинил. Пошел я к З[агряжско]му и уведомил его, что князь Б[аратае]в не будет жаловаться дворянам. Сколько было радости, благодарности, даже чересчур! Но, зная легкомысленную натуру З[агряжско]го, я нарисовал целый ад мести князя Д[адья]на и говорил, что не ручаюсь за его отчаянную решимость.

– Да, я знаю, – говорил З[агряжски]й, – у него кинжал всегда готов! Батюшка, помогите, я по гроб буду вам благодарен!

– Погодите, что могу, то сделаю. Прощайте, мне сегодня необходимо съездить в уезд по делу.

– Как же вы бросите меня на жертву?! мне необходимо будет выйти из дома... дикарь... кинжал!

– Вот как мы сделаем: я прибавлю вам двух жандармов, которым вы после заплатите; выходить не советую, скажитесь больным, а еще лучше прикажите поставить себе дюжину пивок; это делается всем известно и болезнь будет прилична.

– Охотно принимаю ваш совет.\*

---

\* Ранее уже приводилось такое продолжение, определенное по рукописи редакцией издательства «Индрик»: [Как я говорил, в жандармском корпусе не было установленной формы для переписки. Я схватил

Я уехал в уезд. Возвратясь, нашел моего губернатора в постеле. Еще более я настрашал его князем Д[адья]ном. По моему описанию, это был крокодил, пантера! В несколько дней я до того деморализовал моего З[агряжско]го, что он впал в отчаяние. Наступил момент: все, что я хотел, мог сделать с З[агряжски]м. Публика догадывалась, со всех сторон сыпались ко мне вопросы, но успех мог быть тогда, когда дело было в одних моих руках, без постороннего участия; публика могла испортить весь эффект. З[агряжски]й ужасно обрадовался, когда я взял на себя прекратить все дело с некоторыми пожертвованиями с его стороны. Он соглашался на все безусловно.

Я предложил ему свидание с князем Д[адья]ном вечером. З[агряжски]й должен написать под диктовку князя письмо и вручить ему лично. В 9 часов вечера князь был одет по последней моде, во фраке. З[агряжски]й в халате исполнял роль больного. Большой круглый стол в гостиной был поставлен недалеко от дверей спальни жены; я поставил З[агряжско]го около стола со стороны и близ дверей – на случай ретирады; на столе письменный прибор. Привел князя Д[адья]на и поставил его на диаметр против З[агряжско]го, а сам стал в середине между них. Оба молчат. Я сказал З[агряжско]му:

– Князь желает продиктовать письмо – угодно вам написать?

– Охотно исполню все!

– Князь, извольте диктовать.

После: «Милостивый государь» князь диктовал, процеживая сквозь зубы:

«Дошедшие до вас слова, сказанные мною о княжне Б[аратаевой], совершенно ложные и, если я сказал, то утверждаю клятвою, что я солгал. Клятвою утверждаю, что ничего подобного не было, и везде, всегда готов подтвердить это. Если ж я осмелюсь повторить мою ложь или без особого уважения произнести имя княжны, то даю право князю Д[адья]ну везде и во всякое время бить меня по лицу, как бесчестного человека. Z. \*».

Комическая сторона этой сцены выразилась тем, что когда диктовал князь, то, поглядывая на меня, улыбался и, подмигивая, показывал на пишущего З[агряжско]го, – понятно, говорил: «Какой дурак!» Когда же З[агряжски]й передал письмо князю Д[адья]ну и тот внимательно читал, то З[агряжски]й, улыбаясь, подмигивал мне и выражал глазами: какой дурак!» А что я думал, стоя между ними? позвольте умолчать!

Князь Д[адья]н, прочитав письмо, положил в карман и, с полупоклоном, молча ушел. Бедная страдальца-жена З[агряжско]го мучилась во все время не меньше мужа. По уходе князя я очутился в роли благодетельного гения – благодарности, чуть ли не молитвы за спасение от бед и напастей. Князь Д[адья]н совершенно удовлетворился. Князь Д[адья]н объяснился с князем Б[аратае]вым и с ожившей для радостей невестой.

Все счастливы, довольны, но конец-то вышел трагический. Я написал подробное донесение шефу обо всем этом происшествии и вот, чрез три недели – указ об увольнении губернатора З[агряжско]го и высочайшее повеление «*впредь никуда не определять*»<sup>\*\*</sup>. Мой кредит высоко поднялся в Симбирске.

---

попавшуюся мне бумагу и своей рукой, без черновой сделал очерк истории, написал, как пишутся комедии: я, князь Баратаев, князь Дадыан, Загряжский – писал, как всегда, откровенно, – подробно; были помарки, но так и пошло к шефу. Помню, кончил тем, что я за свое беспокойство придумал наказать Загряжского дюжиной пивок. И поставил без подписи: «Продолжение впрод»». Мою руку знали. И Дубельт писал мне, что «в общем, вышло так юмористично, что читали все и хохотали, а когда я читал шефу, он много смеялся и хвалил мое веселонаравие, – оставил у себя» (мы секретно знали, что это значит)].

\* [Подписываю собственноручно и добровольно – Загряжский].

\*\* Хотя в публикации 1878 г. фамилия губернатора была скрыта под буквой «Z» и отсутствовал рассказ об отчете в «юмористическом духе», отправленном Стоговым в III отделение, а также упоминание о слезах и отчаянии Загряжского, бывший губернатор тотчас же прислал в редакцию письмо-протест. «*Говорю категорически, – гневно писал он, – все, что г. Стогов повествует в своих рассказах об этом Z, если только он разумел под этой буквою меня, то положительно выдумка и клевета*». Подчеркивая, что он не желает

Бывший губернатор З[агряжский] горько плакал и жаловался, что он не знает причины, по которой лишился места, что он так беден, что не знает, как выехать и вывезти семейство (у него была одна дочь, которая была женою брата П[ушкина]<sup>\*</sup> и умерла оставя красавицу дочь). Откупщик Бенардаки подарил ему карету. Добряки дворяне собрали денег и поручили Бенардаки отдать З[агряжскому]му от своего имени. Уехал он без проводов.

Как ни бужу свою память, не могу добиться от нее воспроизведения момента с подробностями, как явился губернатор *Жиркевич* в Симбирск, и думаю, едва ли солгу, сказав, что никто этого не знал; как тогда, так и теперь, не сумею объяснить: пешком пришел или приехал Жиркевич? Днем или ночью? Как-то все вдруг узнали, что новый губернатор занимается делами. Говорили в обществе о Жиркевиче так, как будто он и не выезжал из Симбирска и как будто он давно уже губернатором.

Всезнайки рассказывали: когда спросили его, когда он позволит представиться чиновникам? – он отвечал: «Зачем беспокоиться, я с господами служащими познакомлюсь, занимаясь вместе делами». В губернском городе все знают, кто что есть, о приезде известно – богат, беден, скучен, весел, играет ли, танцует ли, даже хорошо ли говорит по-

---

останавливаться на мелочах, Загряжский обращал внимание на «самый крупный факт», опровергающий «измышления» Стогова. Как следует из присланного им в редакцию формулярного списка, он продолжал государственную службу и после отъезда из Симбирска и вышел в отставку по болезни только в 1867 г. и по своему прошению. Загряжский требовал предоставить ему возможность в той же «Русской старине» опубликовать свои собственные воспоминания, чтобы всем окончательно стало ясно, что «Записки» Стогова – это «оскорбительное, грязное, лживое и недостойное никакого порядочного человека марианье бумаги». Редакция принесла Загряжскому свои извинения, в № 1 за 1879 г. были опубликованы его письмо и выдержки из формулярного списка, ему было обещано опубликовать его мемуары, как только они будут завершены. Но мемуары так и не появились.

Таким образом, видно, что рассказ Стогова порой нуждается в коррективах, а особенно его неоднократные упоминания о том, что то или иное должностное лицо увольняется с предписанием «впредь никуда не определять». И все же в данном случае есть все основания больше доверять Стогову, нежели Загряжскому. Рассказ Стогова можно сравнить с воспоминаниями преемника Загряжского на посту симбирского губернатора – И.С. Жиркевича, которого Загряжский не пытается опровергать. Жиркевичу не свойственна эмоциональность и склонность к преувеличениям, характерные для Стогова; к тому же он не одобряет некоторые поступки жандармов (Флиге и Стогова) в отношении своего предшественника. Однако его рассказ отличается от рассказа Стогова не по сути, а лишь в деталях (и не только относительно Загряжского). Жиркевич подтверждает, что отставке Загряжского предшествовала размолвка между ним и губернским предводителем Баратаевым, чью дочь скомпрометировал губернатор, будучи «нескромнен в речах и часто без размышления о последствиях». Он также подтверждает, что конфликт получил очень широкий резонанс – и в Симбирске, и в столице (правда, в качестве информаторов он называет не Стогова, а управляющего удельною конторою А.В. Бестужева и жандармского полковника К.Я. Флиге). Подробный пересказ наставлений, полученных Жиркевичем от Николая I перед отправкой в Симбирск, вскрывает причину смены губернатора: «Я им [Загряжским] был, впрочем, доволен, но он занемог – политически разумеется! (Государь улыбнулся). У него вышли какие-то дрызги с губернским предводителем Баратаевым. Личности, о которых я и знать бы не хотел. Они могли между собой разведаться, как им угодно. Мы бы сквозь пальцы посмотрели на это, но, к несчастью, и моему неудовольствию вмешалось тут дворянство! Оно готово на все и много делает полезного, но на этот раз поступило крайне неосмотрительно, вмешиваясь в это дело. До той минуты, когда я назначил вас в Симбирск губернатором, оно в Загряжском должно было знать своего прямого и настоящего начальника. Загряжский не умел поддерживать звания своего, как следует. Теперь вашему превосходительству предстоит труд поставить звание оное на ту точку, с которой оному не следовало спускаться». – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003 (повторно)

Мы ранее уже анализировали формулярный список (аттестат) А.М. Загряжского и пришли к выводу, что сведения Э.И. Стогова о высочайшем повелении: «*впредь никуда не определять*» могли быть вполне достоверными – на тот момент. Ну, а далее Николай I мог «сменить гнев на поумилость», после настоятельных хлопот влиятельных царедворцев. – Примеч. М.И. Классона

<sup>\*</sup> Дочь А.М. Загряжского, Елизавета Александровна (1823-1895), вышла замуж за Льва Сергеевича Пушкина в 1843 г. Сам А.М. Загряжский приходился к тому же дальним родственником жене А.С. Пушкина. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003



французски и проч. О Жиркевиче я не слышал ни одного вопроса, никто не интересовался, и почти не упоминалась фамилия: просто говорили – губернатор.

Я куда-то ездил; возвратясь, немедленно явился к новому губернатору. В зале два чиновника с кипами бумаг; я просил доложить, отвечали: «не приказано» и указали на отворенную дверь в кабинет. Губернатор у стола, уложенного бумагами, на двух стульях – дела. Только я вошел, Жиркевич встал навстречу мне. Он был больше среднего роста (вершков восьми); правильное и, можно сказать, красивое лицо, но не только серьезное, почти суровое выражение, темно-русые волосы приглажены по-военному; в форменном штатском сюртуке, застегнутом на все пуговицы – видна привычка к военной форме. Жиркевич был сухого сложения, но не худ; поклон, движения мне напоминали воспитание в корпусе; говорил скоро, как-то отрывисто.

Пригласил сесть. Думаю, захочет знать о губернии, об обществе... Ничуть не бывало, хоть бы слово спросил, а от кого же узнать, как не от жандарма! Странное впечатление сделал на меня Жиркевич. Он вежлив, но очень молчалив; все вопросы его касались только лично меня. Я попробовал сказать шутку – он не слышал; я хотел заинтересовать его серьезным [делом] – он не обратил внимания. Откланявшись, я решительно не мог составить себе понятия о характере Жиркевича.

Жиркевич скоро отдал мне визит, и опять странность – пешком, тогда как в Симбирске и мещане не ходили, а ездили; я не сказался дома; на карточке просто: *Иван Степанович Жиркевич*. Зашел к Жиркевичу вечером – читает и подписывает бумаги; около стоит правитель канцелярии *Раев*. Жиркевич отпустил Раева, сказав: «я бумаги к вам пришлю». Ну, думаю, теперь разговоримся.

Жиркевич, все в форменном застегнутом сюртуке, был очень вежлив, говорил о погоде, местоположении города – сухая история! Я коснулся, было, общественной жизни, что дворяне любят веселиться и привыкли, чтобы участвовал с ними губернатор. Он отвечал, что как справится с делами, то и он не прочь разделить общее удовольствие. Но так и не справился\*! Я рассказал какой-то анекдот, думая сорвать улыбку – рассказ мой прошел мимо! Видаясь по разным случаям с Жиркевичем, я всегда заставлял его за бумагами и составил о нем себе понятие, что это человек дела. Он всегда был как-то сдержан, очень вежлив, но малейшая несправедливость, плутовство по делам – выводили его из себя; вспылив, он уже не знал границ гнева. Много ходило рассказов по городу, как он, забывшись, гнался до крыльца за советником. Мошенники для него теряли личность, но зато и боялись его чиновники!

Жиркевича полюбить очень трудно, но нельзя было не почитать его, нельзя было не уважать честной его деятельности, его бескорыстия; он отдался весь, без остатка, полезному служебному труду. Жиркевич был ходячий закон. Узнавши его, я готов был поклоняться ему, но, к сожалению, видел, что он не по дому пришелся в Симбирске. Мои сношения с ним были прекрасны, но сухи.

Я заговаривал с дворянами, как бы губернатора завлечь в общество? Мне отвечали: «Зачем? Он приезжий, должен сам искать в нас; не хочет, пусть будет губернатором, мы ему не мешаем и не нуждаемся в нем».

На последних выборах губернский предводитель князь Б[аратаев] отказался, и на его место выбрали отставного генерал-майора [Григория Васильевича] *Бестужева*; он был старый холостяк, веселонравный, часто впадал в роль буффа. Почитал я Жиркевича и очень любил *Бестужева*, но вот случай, поставивший меня в затруднение: были парадные похороны уважаемой особы; летний день – превосходный, весь город высыпал проводить гроб в монастырь. В Симбирске в общем употреблении: на длинных, тонких дрогах

---

\* В рукописи было: «как обделается», «не обделался».

устроены очень низко дрожки, на них могут сесть семь, восемь человек. На таких дрожках, или городовом тарантасе, сели Жиркевич, Бестужев и я – между ними посредине. Народ толпился около важных лиц.

Надобно рассказать бывший перед тем случай. Был архитектор и в то же время небольшой помещик Симбирска. Какая-то казенная постройка или починка поручена архитектору; обыкновенно: смета, справочные цены. Архитектор не рассчитал, что ему придется иметь дело с Жиркевичем. Обычная уверенность специалистов – что там смыслит губернатор! Жиркевич сразу поймал [его] не на одной плутне, и еще бы ничего, но архитектор упорно заспорил; Жиркевич вспылал, вышел из себя, и архитектор *действием* вылетел из кабинета и из дома. Архитектор, как помещик, принес жалобу губернскому предводителю.

Сначала мы ехали почти молча, Бестужев очень скромно сказал:

– Ваше превосходительство, вы на днях очень неосторожно выгнали здешнего помещика.

– Кого это?

– Архитектора.

– Он мошенник, вор.

– Этот мошенник все-таки дворянин, помещик, так нельзя поступать.

– Мошенник, вор – не имеет звания, я выгнал подлеца и выгоню всякого вора.

– Если так будете поступать с дворянами, то к вам придут все дворяне!

– Я прикажу баталиону выгнать их!

Вижу, закипел Жиркевич, дошло до крупного, народ окружает плотно; я решился войти в свои права, и, несмотря ни на которого, сказал: «Ваши превосходительства, господин губернатор и господин губернский предводитель! На основании секретной инструкции, высочайше утвержденной, прошу прекратить разговор, унижающий главные власти; здесь не место, вас окружает народ!» Замолчали оба мои приятели и молча доехали до могилы. После с обоими я не коснулся этого случая.

Честный и ретиво-трудолюбивый Жиркевич не мог понравиться симбирскому дворянству, которое было гордо, богато, независимо и дружно. Дворянство привыкло видеть в губернаторе члена общества, не мешая ему быть губернатором. Жиркевич не мог отделиться от службы; как он для общества, так и оно для него не существовали.

Весьма часто я писал к шефу, что Жиркевич феномен между губернаторами, но в Симбирске он пришелся не по дому. Писал, что Жиркевича достанет управлять тремя губерниями, стоял за его благородную честность, неутомимость, но, как губернатор, в Симбирске он совершенно не любим дворянством, которое может уважать губернатора, но когда он стоит во главе общества и делит с ним удовольствия. Жиркевича убрали.

### **Записки Э.И. Стогова**

*«Русская Старина», июль 1903 г.*

#### VIII.

Сибирский помещик Мотовилов. – Женитьба Стогова. – Выдача замуж свояченицы. – Перевод Стогова в Киев. – Характеристика поляков и полек. – Полюбовное размежевание.

Если обратиться к переходу моему в жандармы, то одною из важных причин было мое желание жениться. Сделавшись членом симбирского общества и чувствуя себя хорошо и твердо стоящим, я, хотя и плясал, но не забывал искать невесты. Симбирск отличается хорошими личиками барышень. Войск в Симбирской губернии никогда не было никаких, молодежь большею частию на службе, невест хоть лопатой гребли. В самом городе составленный мною список показал 126 невест великодушных, т. е. имеющих приданого более 100 душ; за малым исключением, я мог жениться на любой. Жениться – надобно по-

размыслить, а как стал размышлять: та – не нравится, другая – имеет дурных братьев, третья – имеет родителей, которых уважать не могу, и т. д. Нет мне невесты в городе.

Была мне другом Марья Петровна Прожек, урожденная Белякова; она постоянно советовала мне жениться. Я решился собрать сведения о девицах по деревням. Нашелся чудак, ни с кем не знакомый, в Симбирске не бывал, поручик артиллерии в отставке; у него жена, три сына и две дочери-невесты, чудак – никому в жизни не поклонился. Загряжский попробовал было потребовать его в город, он отвечал, я не мальчик разъезжать, что нужно губернатору, то пусть пишет, я грамотный, и не поехал. Чудак, но ни одно сословие не сказало о нем дурного слова: купцы говорили – честный барин, помещики – чудак, но честный; мужики – называли отцом родным; чиновники – боялись затронуть его; богатые называли его скупцом, бедные – благодетелем. Любви к нему не выражалось, но и не ходило о нем ни одного анекдота.

Чудак этот был Егор Николаевич Мотовилов. О дочерях – ничего нельзя было узнать, их никто не видал, но городские и горничные говорили, что старшую больно хвалят, дворня вся любит ее. На других деревенских семействах незачем было останавливаться. Однажды я высказал мое любопытство Марии Петровне; она хохотала, говорила, что она соседка в 20-ти верстах, но не знакома, потому что никто не знаком. Я просил ее съездить и посмотреть, не годится ли мне старшая дочь. Мария Петровна поехала и на другой день писала: «Если судьба назначила тебе иметь жену, то такому тирану нет другой жены, как бедная, кроткая Анюта!» На другой же день я был в Цильне – это 60 верст от Симбирска\*.

Приехал я часу в 5-м после обеда. Дом небольшой, деревенский, прост даже для очень небогатого помещика; внутри дома еще проще, стены не оклеены, не крашены, мебель самая простая, домодельная, обтянутая кожей и жесткая, как камень. В зале, у стены кровать, на которой лежал пожилой человек, посреди комнаты небольшой стол, у которого сидела благообразная старушка и поп. Я отрекомендовался, говоря, что еду на следствие, но заехал напиться чаю. Больной старик встал и сказал, что он поручик Мотовилов, а старушка – жена его. На старике тулупчик и брюки были разорваны. Никакой церемонии, при встрече со мною никакой суеты не было. Старик сел на кровать и молчал, зато я говорил, как шарманка. Лакей, тут же в зале, начал готовить чай, и он же разливал. Коснулся я хозяйства и насилу вызвал старика на кой-какой ответ, он говорил неохотно и как-то странно.

– Да, батцка, наше дело хозяйничать, а ваше служить, каждому до своих дел.

Вошли две девицы.

– Это две мои дочери, – сказал старик, – вот старшая Анюта, а эта младшая Александра.

Девочки в корсетах, в ситцевых поношенных платьях, молча сели. Надобно знать, что владею способностью по голосу женщины, не выдавши ее, заключать об ее характере и почти безошибочно. Не обращая внимания на девиц и поддерживая кое-как разговор со стариком, я хотел слышать голос старшей. Сестры так были не похожи между собою, будто разного семейства: старшая – блондинка, круглого лица, младшая – брюнетка с продолговатым лицом. За чаем что-то девицы отвечали матери; мне было довольно, чтобы заключить все хорошее о старшей.

Наступила темная октябрьская ночь, надобно было ночевать, старик без церемонии сказал:

– А вы ночуйте за рекой, там живет мой брат, да его нет дома, я прикажу вас проводить.

---

\* Правильнее – Цильна. Село Цильна (Рождественское тож) находилось при одноименной речке на почтовом тракте в Казань в 50 верстах от Симбирска. Источник: Список населенных мест по сведениям 1859 года. Т. XXXIX. Симбирская губерния. Санкт-Петербург, 1863. – Примеч. М.И. Классона

Из всего я увидел, что старик независимый и даже гордый человек. Уехал я ночевать к другому Мотовиллову, меня там приняли очень вежливо. Прощаясь со стариком, я напросился на утренний чай. Этот чудак старик имел более 1 000 душ, отлично устроенных и незаложенных. В 5-ть часов утра меня разбудили и звали пить чай к старику. Я нашел все семейство в той же комнате, дочерей в корсетах и причесанных, а старика, сидевшего около стола у окна, в том же костюме. Я уселся по другую сторону стола. Мимо окна прогоняли превосходных лошадей, коров, мериносов, и старик, указывая на стада, рассказывал мне о своем хозяйстве.

– Да, батцка, – сказал он, вздохнув, – слава Богу, все хорошо, только не дает Бог здоровья. Я знаю, что долго не проживу, старуха скоро отправится за мною, сыновья у меня отделены, вот только не подумал я о дочерях, их жалко оставить, – без родителей им будет трудно жить.

– Кто жил для детей, – сказал я, – тот исполнил святую обязанность, и Бог не оставляет такие семейства. Впрочем, что же вам беспокоиться: дочери ваши пользуются прекрасною репутациею, никто не скажет о них ничего кроме хорошего.

– Все оно так, – отвечал старик, – может быть, вы говорите и правду, но ныне времена стали тяжелые, одним молодым девицам жить трудно, есть у меня сын женатый, да сестры мужа не жилицы при невестке. Вот как подумаю о дочерях, так мне и жалко их.

– Я не понимаю, Егор Николаич, почему так тревожит вас положение ваших дочерей, отдайте за меня старшую. Мы все смертны; если Богу угодно, то я вас похороню, тогда младшая будет жить у сестры, а со временем и ее судьба устроится.

Старик серьезно посмотрел на меня и, сделав сердитые глаза, сказал:

– Шутить так неприлично, вам не дано повода к тому.

– Ни ваше положение, ни мое звание, – сказал я, – не дают мне права шутить. Я не из тех людей, чтобы дозволить себе подобную шутку, скажу прямо, я нарочно к вам приехал, чтобы просить руку вашей старшей дочери, и повторяю мою просьбу.

– Да вы не могли знать моей дочери?

– Извините, я жандарм, я обязан все знать и знаю.

– Но я должен вам сказать, что мы вас не знаем.

– Вот это правда: предоставляю вам узнать о мне, а я вам доложу, что я превосходный человек во всех отношениях, и вы не найдете недостатков во мне.

– Ну, батцка, аржаная каша сама себя хвалит, – и старик рассмеялся, что мне и нужно было.

– Ну, так как же, Егор Николаич, какой ваш будет ответ?

– Послушайте, батцка, нам надобно подумать да узнать, что вы за человек.

– Вот и это можно; только если я имею не много ума, то я надую вас отлично, лучше верьте, что я прекрасный человек.

– Правда, нынешний народ хитер, трудно узнать человека, но все же надобно подумать и узнать.

– Итак, прощайте, я еду обратно в Симбирск, а вам хочу сказать: как родители, можете располагать рукою дочери и если откажете, то я, может быть, более буду уважать вас, этому верьте.

Перед отъездом я спросил, когда получу ответ. Старик обещал прислать.

В Симбирске никто и предполагать не мог о моем намерении.

Через четыре дня является ко мне лакей Мотовиловых, Тит.

– Что скажешь? – спросил я.

– Егор Николаевич и Прасковья Федосеевна приказали кланяться и просить вас пожаловать к ним в Цильну.

– Более ничего?

– Ничего-с.

– Ступай.

Это было рано утром, почтовые лошади, тарантас, и я опять к чаю в Цильне. Тот же час, в той же комнате, те же лица (кроме попа) и так же одеты, тот же лакей делал чай. Говорил опять только я почти один. Прошло два часа, старик ни слова не говорит о своем согласии или отказе. Не любя проволочки в делах, я сам начал:

– Егор Николаич, если вы припомните, я просил руки вашей старшей дочери; вы за мной прислали, вот уже два часа я здесь, но не слышу вашего слова.

– Мы с Прасковьей Федосеевной думали, старались узнать о вас, да ведь один Бог вас узнает. Но вот, видите ли, вы в голубом мундире, этого мундира никто не любит, но вас все хвалят, видно, и вправду вы хороший человек, а если так, то Бог вас благословит.

Я подошел к старику, поцеловал его руку и уверял его, что я такой хороший человек, что чем более меня узнает, тем более полюбит. Старик смеялся.

– А ты, батцка, все-таки себя хвалишь, – говорил он.

– Да кто же меня похвалит, если сам не скажу о себе правды.

После этого я подошел к старухе и просил ее дать свое согласие. У этой добродетельнейшей из женщин и лучшей из матерей показались слезы на глазах.

– Мы вас не знаем, – сказала она взволнованным голосом, – я никогда не решилась бы отдать дочь неизвестному мне человеку, но 40 лет говоря моему мужу *да*, всегда видела в том добро, не хочу и теперь сказать *нет*, надеясь на Бога, что дочь моя будет счастлива.

– Пожалуйте вашу руку и позвольте назвать вас матерью. А что ваша дочь будет счастлива, в том не сомневайтесь, во-первых, потому, что я превосходный человек, а во-вторых, потому, что я сам хочу быть счастливым, а без счастья жены нет счастья для мужа. Будьте уверены, что вы полюбите меня не менее своих родных детей.

Старуха усмехнулась.

– Ну, батюшка, – сказала она, – хвалить-то себя ты мастер.

Потом подошел я к невесте.

– С родителями вашими уладил, – сказал я, – остается дело за вами.

– Я вас совсем не знаю, – отвечала она.

– Да где же вам и знать; не только молоденькую вас, но я и ваших родителей сумею обмануть. Не в том дело, а вот в чем: я до сих пор был один из счастливых людей, хочу жениться не для того, чтобы быть несчастным; счастье состоит в согласии супругов, а это не всегда от них зависит. Вы слабые создания, а мы – сила; для уравнивания Бог дал вам то, чего мы не имеем – женщина наделена от Бога особым чувством – инстинкта. Ни с того, ни с сего девушке не нравится в мужчине: голос, походка, манера – это называется антипатией; но мужчина, не красивый собою, привлекает внимание девушки каждым своим движением и ей нравится; это называется симпатия. Я глубоко верую в эти чувства. Мы друг в друга не влюблены, то можем рассудить хладнокровно. Нам не с стариками жить, если в вас есть ко мне малейшее чувство антипатии, заклинаю вас – скажите откровенно, потому что чувство антипатии я не волен изменить, тогда я буду несчастлив, и все несчастье падет на вас, бедную. Вот, пожалуйста, посмотрите, я буду ходить, голос мой вы слышали, наружность видите, подумайте и скажите, нет ли во мне чего-нибудь противоположного?

И я начал ходить по комнате; старики молчали.

– Скажите, заклинаю вас, – спрашиваю я, остановившись перед невестой, – нет ли во мне чего-либо противоположного?

– Нет, – отвечала она.

– В таком случае, пойдете к образу, перекреститесь.

И только она перекрестилась, как я быстро поцеловал ее и сказал: теперь и с вами кончено, теперь вы моя невеста. Ночевал я опять за рекой, поутру в 5 часов пил чай и был уже не чужой в семье. Старик был болен, и я упросил его переехать ко мне в город. Он согласился. Это был такой человек, что, сказавши раз *да*, слова своего не переменит, а сказавши *нет*, тоже не изменит до смерти.

После я узнал, что этот по наружности чужак был замечательно умный и даже начитанный человек, но гордый и самостоятельный.

В городе никому и на ум не приходило, что я жених. Скоро старик переехал ко мне, и это обратило общее внимание. Пошли толки по всему Симбирску; предположений, пересудов, догадок и не сосчитать, а я никому ни одного слова. Странное отношение мое было с обществом, я был знаком со всем городом, бывал в семействах по-старому, спросить меня совестились, а я молчал. Раз, идя по улице, встречаю своего корпусного товарища – Андрюшу Сомова. Он очень давно оставил флот, был в комиссариате и теперь в отставке. Он был помещик Саратовской губернии, жене его принадлежало 50 душ. Он приехал в Симбирск продать их, нашел плохого покупателя и просил меня помочь ему в этом деле.

– Каково это имение? – спросил я будущего тестя.

Старик знал все имения и сказал: «очень хорошо». Я рассказал старику о желании Сомова продать, а что я хочу его купить.

– На что тебе? – спросил старик.

– Да вот видите ли, есть обычай дарить невесту: шальями, бриллиантами и проч. По моему, это деньги пропащие, только хвастовство, а я хочу подарить моей невесте – деревню, это будет громко; но когда женюсь, то мой подарок придет к моим рукам без убытка.

– А как ты подаришь деревню невесте, а мы тебе откажем? – сказал старик.

– Тогда скажу, слава Богу, что я развязался с подлецами; потеря денег еще не важное дело, наживу вновь.

Старик рассмеялся и сказал:

– Видно, тебя голой рукой не возьмешь, ты порядочный плут; видно, ты знаешь, когда старик сказал *да*, то никто этого не переменит. Бог тебя благословит, покупай, о подарках рассуждаешь умно. Что просят за имение?

– Шестьдесят тысяч рублей.

– Покупай, не торгуйся, имение, купленное дорого, выгоднее проданного, вот на продажу нет тебе моего благословения.

Чрез полчаса с Сомовым было дело кончено.

Я должен рассказать о положении детей Мотовилова. У него было три сына, старший – Николай, кончил курс в университете. Отец, презирая гражданскую службу, велел сыну поступить в военную; он скоро сделался старшим адъютантом в дивизии генерал-лейтенанта Дувинга\*, который был немец, но женат на русской – Обручевой. У них было много детей, но все были в институтах и корпусах на казенном содержании, а дома была одна дочь Анна. Николай Мотовилов влюбился в дочь генерала; родители Анны были согласны, но отец Николая не давал согласия на том основании, что ненавидел немцев. Николай не послушался отца, но три года просил позволения жениться. Наконец, мать Николая в добрый час упросила мужа, тот согласился, но с условием – не видеть Дувингов.

Прошел год, у Николая родился сын Георгий. Семейному сыну надобно помогать. Старик Мотовилов приказал сыну выйти в отставку, что Николай и исполнил. Приехал он с женою в Цильну, старик принял сына и невестку ласково и, хотя дом в Цильне тесен, но

---

\* Вероятно, имеется в виду Александр Андреевич Дувинг. Рассказ Стогова относится к 1830-м гг. В «Списке генералитету по старшинству на 1834 год» (СПб., 1835) упоминается единственный генерал с такой фамилией. – Примеч. ред. издательства «Индрик», М., 2003

поместились. Жена Николая, любящая опрятность, по два и по три раза в день купала крошку сына. Это старику надоело.

Он отправился к помещику Бабкину и предложил ему продать свое имение Скорлятку\*, в котором считалось 100 душ, с условием продать все, что есть. Бабкину предлагалось надеть только шинель и шапку и выехать из имения. Не только белье, но одежду и все запасы: чая, сахара, кофе, часы в доме, серебро, посуду – все оставить покупателю. Бабкин запросил 80 000 рублей; старик не торговался и заплатил. Приехав домой с купчею, старик Мотовилов вручил ее сыну Николаю и дал ему еще 5 000 рублей на первые потребности, а невестке ласково и шутя сказал:

– Ну, матушка, будешь довольна, там воды сколько хочешь, можешь купать своего сына.

Между прочим, покупка имения Воецкого у Сомова состоялась, у меня недоставало 10 000 рублей, но я знал, что 10 000 рублей – мои деньги лежат в банке, и билет хранится у отца; пока я написал к отцу о билете и просил благословения на брак, старик дал мне 10 000 р. на вексель и все дразнил меня, что он поступит со мною, как с должником, строго. Видимо, старик хотел подарить эти деньги. Для совершения купчей на имя Анюты потребовалось ее присутствие в Симбирске. В то время казалось неприличным ехать невесте в дом жениха и жить там, но старик приказал, мать и дочь прожили у меня три дня. Старик становился плох, того и гляди, скончается, тогда траур и свадьба затянулись бы. Доктора по просьбе моей, можно сказать, искусственно тянули жизнь старика: ему постоянно делали ванны из бульона с вином, давали сильные возбуждающие средства внутрь.

Наконец, возвратился курьер с дозволением на брак. Я в тот же день поскакал в Цильну, посаженной матерью моею была мой друг, Марья Петровна, а отцом я схватил в Симбирске отставного лейтенанта, старика Бестужева, шафером – отставного прапорщика Мякишева. Со стороны Анюты был посаженный отец дядя Ахматов, а шаферами братья. Старик благословил меня. На другой день свадьба была совершена без гостей и без шампанского; мне стоила она 15 руб. ассигнациями.

Я не говорил ни слова в городе, что женат; все ожидали моего объявления и приличных праздников, но ничего подобного не было. Анюта слышала прежде, что молодая обязана делать визиты знакомым мужа и своим. Я видел, что она неохотно собирается делать визиты, но на вопрос мой ответила, что исполнит все, что должно, хотя это ей неприятно.

– Так зачем же, мой друг, – сказал я, – делать неприятное?

– Да говорят, что это должно, – отвечала она.

– Послушай, Анюта, однажды навсегда: мы поженились для себя, а не для других, то и должны делать только то, что нам приятно. Визиты, это требование чужих нам людей, – тебе не хочется, ну, и не делай, поедешь тогда, когда захочешь и к кому захочешь, вот мой сказ.

Анюта радостно спросила:

– А если я ни к кому не поеду, вы сердиться не будете?

– Сердиться ни на что не буду и говорю тебе просто: делай, что тебе хочется, и все будет хорошо.

Для скромной Анюты это был праздник; она казалась совершенно счастливою. Однажды я спросил ее: любит ли она меня?

– Как это странно, – отвечала она, – чтобы я могла любить чужого человека; но я уважаю вас, уважаю ваши правила и характер, а, право, любить не могу.

---

\* Сельцо (селение, в котором есть часовня или господская усадьба) Скорлятка находилось при р. Гуца, на коммерческом тракте из уездного г. Карсун в уездный г. Сызрань, в 104 верстах от уездного г. Сенгилей. Последний, в свою очередь, располагался в 65 верстах от Симбирска. Источник: Список населенных мест по сведениям 1859 года. Т. XXXIX. Симбирская губерния. Санкт-Петербург, 1863. – Примеч. М.И. Классона

- Как же ты решилась идти замуж за меня, не любя?

- Я повиновалась родителям, но очень боялась вас и думала: послушаюсь родителей и скоро умру.

Спустя месяца два-три я снова спросил Анюту, любит ли она меня? Она отвечала, что любит, но, конечно, не столько, как своих братьев, ведь я чужой, а братья – родные, и, ласкаясь, говорила, что, вероятно, я так буду справедлив, что никогда не потребую, чтобы она любила меня столько же, сколько братьев. Я находил все это разумным, справедливым и естественным. Анюта была очень умна от природы, училась кой-чему и даже хорошо, но в своей затворнической жизни совершенно была чужда жизни практической. Это воспитание должен был дополнить я.

Между тем с Кавказа приехал в годовой отпуск капитан Гельмерт<sup>\*</sup>. Так как в Симбирске я был старший, то все военные приезжие являлись ко мне. После смерти моей тещи через три месяца приносит ко мне денщик Гельмерта письмо от него. Как я ни бился, но серьезно говоря, всего разобрать не мог, однако понял, что он просит руки Саши, сестры Анюты. Я сказал денщику, чтобы он просил барина ко мне, что письма его прочитать не могу. На другой день утром явился Гельмерт, а я, между прочим, собрал о нем кой-какие сведения и все в пользу его. Посадив его, я спросил, что ему угодно? Он долго мялся, конфузился, наконец высказал свое желание жениться на Саше. Я поблагодарил, но весьма серьезно сказал:

- Мы – военные, и откровенность между нами вещь обыкновенная. Я честный человек и на честное ваше предложение сочту грехом не сказать вам правды; но дайте мне честное слово, что кроме нас никто о том не узнает. Моя сестра Саша может нравиться – в этом я не сомневаюсь, но, узнав ее недостатки, благоразумие указывает удалиться от нее, она имеет несчастье употреблять вина весьма неумеренно, и страсть эта усиливается. Вы теперь знаете, от какой беды охраняет вас моя искренность, но надеюсь, что все это останется между нами. Прощайте, невест много, желаю вам счастья.

Бедный Гельмерт откланялся.

Я Сашу очень любил, она вполне была добрая, кроткая и невинная сердцем девочка, тоже была привязана ко мне, часто говорила, что любит меня более всех своих братьев. Я дал слово покойникам устроить ее судьбу. Собирая подробные сведения о Гельмерте, я узнал, что это был простой, но совершенно добрый человек. Он был сын доктора, служил долго на Кавказе, имел много крестов и персидские на шее – льва и солнца. Где он видел Сашу, я не знал, а видела ли она Гельмерта? – скорее нет. После свидания я ни слова не сказал о предложении его, даже Анюте. Через неделю приходит он опять с предложением и признался, что он много думал, не спал ночи, молился, но не может найти покоя, – все видит Александру Егоровну.

- Если судьба назначила мне, – говорит он, – погибнуть в этой женитьбе, то все равно, погибну и не женившись.

Я продолжал дурачиться, уверял его, что он ищет беды. Он не красно говорил, но, видимо, страдал, и текли слезы по бледным щекам, так он похудел.

- Где вы могли видеть мою сестру?

---

<sup>\*</sup> По-видимому, редакция «Русской Старины» в «превосходном, мелком, но четком почерке, без малейшей помарки» Э.И. Стогова все-таки приняла **ш** за **м**: на самом деле это Федор Федорович Гельшерт, чья правнучка Мария Михайловна Володина (урожд. Гельшерт) несколько нелицеприятно вспоминала: «*Про сестер я тоже слышала – про двух: одна, Александра Егоровна, вышла замуж за моего прадеда Федора Федоровича Гельшера. У нее было два сына: один – мой дедушка Дмитрий Федорович, а другой – жадный и развратный Александр Федорович. Другую сестру, Анну Егоровну, братья выдали за жандармского офицера Стогова. У них было несколько дочек, я помню – Ия, Алла, Анна и один сын Илиодор. Стогов был очень неприятный человек, сына выгнал из дома, и он где-то пропал бродягой, дочек всех поывадал замуж*» (РГАЭ, ф.9508). – Примеч. М.И. Классона



- В церкви.
- Говорили ли с ней?
- Никогда, ни слова.
- Знает ли она вас?
- Полагаю, нет.

– Послушайте меня, не делайте глупости, успокойтесь и уезжайте на Кавказ, но, впрочем, для удостоверения вашего, что я вас не обманываю, приходите сегодня обедать в 2 часа.

Я тихонько сказал Анюте и просил ее до времени не говорить сестре. Перед обедом я сказал Саше, что у нас будет обедать нужный мне человек, и просил ее почаще наливать ему вина. Явился Гельмерт, расфранченный по-армейски, от каждой части тела пахло разными духами. За обедом, я только подмигну Саше, она за бутылку, а я, как будто боюсь, чтобы она не налила себе, бутылку отнимал и передавал гостю, а ему подмигивал, давая знать, вишь, как хватается за бутылку. Так повторилось раз шесть за обедом. По выходе из-за стола я успел шепнуть гостю:

– Видели, какая страсть у девушки, сколько мне заботы, чтобы при чужих не напивалась.

Гельмерт только вздыхал. Уселись в гостиной пить кофе, я шепнул Анюте, чтобы она незаметно вышла, а сам пошел за трубкой, но вместо того подсматривал в притворенную дверь. Смотрю, мой капитан подъехал к Саше, что-то тихо говорят, и он, злодей, уже два раза поцеловал руку. Дал я им время болтать и при третьем поцелуе руки быстро растворил дверь и сердитым голосом крикнул:

– Это что значит? Что за интимные объяснения? Господин капитан, извольте сказать, что вы шептались с моей сестрой?

Смешался, бедный, заикаясь и труся, признался, что просил ее руки.

– Ну, а ты, сударыня, бесстыдница, что ему отвечала?

– Я, братец, сказала, что если вы согласны, то и я буду согласна.

Входит Анюта, я рассказал о бесстыдстве Саши и спросил у Анюты, что она об этом думает? Анюта отвечала: если Саша желает быть женою Федора Федорыча, он ей нравится; тогда нам препятствовать не должно.

Я расхохотался и сказал:

– Сколько я ни старался вас поссорить и развести, но, видно, назначил Бог соединиться вам; ну, вы жених, а ты невеста, извольте целоваться.

Капитан расцвел, целует руки и болтает. Оказалось, что они несколько раз виделись в монастырской церкви, но не говорили ни слова. Саша после мне призналась, что она очень любила смотреть на него. Братьев на этот раз не было ни одного, траура мы никто не носили, откладывая свадьбу причин не было. Свадьба была такая же скромная, как моя. Как опекун, я сдал Гельмерту деньги Саши и имение. Впоследствии Гельмерт вышел золотой человек и сделал Сашу совершенно счастливою. Он считается честнейшим человеком в своем уезде, об этом мне говорил губернатор в 1848 году.

Между тем, я получил предписание, что по многим неисправностям в Саратовской губернии я перевожусь в Саратов. Я понял, что это была интрига Перовского, не возлюбившего меня после бунта удельных крестьян. Я в ту же минуту написал просьбу об отставке и послал к графу [Бенкендорфу], а Дубельту написал: «вам не угодно было спросить меня, желаю ли я в Саратов, а я доложу вам, что я не мальчик и не желаю быть игрушкой. Не нужен и не годен я в Симбирске, то увольте меня из службы, а в Саратов я не поеду».

Дубельт отвечал: «Горячка Иваныч, граф посылает тебя в Саратов, как лучшего своего помощника, этого желал государь. Ты, Горячка Иваныч, не хочешь – оставайся в Симбирске и уничтожь свою просьбу, которую граф не принял». Опять моя взяла. В то время Би-

биков был назначен киевским генерал-губернатором. Он считался родней графу Бенкендорфу и вот какой: старший брат Бибикова, Николай, умер бездетен, на вдове его женился граф Бенкендорф, и тоже скоро овдовел, не имея детей. Кажется, нет родства, но считались родными. Бибиков обратился к Бенкендорфу с просьбой выбрать из своего корпуса штаб-офицера, способного занять должность правителя канцелярии. На этот раз опять пало на меня.

Прописывая просьбу Бибикова, делающую честь корпусу, граф писал: «желая исполнить просьбу Бибикова и просматривая несколько раз список штаб-офицеров корпуса, я всякий раз останавливался на вашей фамилии. Зная ваши способности, уверен, что на новой должности разовьется ваша деятельность»; к этому он прибавлял: «корпус жандармов столько обязан вам, что если не понравится вам новая обязанность, то, по прошествии года, предоставляется вам занять место в корпусе по вашему выбору». Отказаться было неприлично. Я изъявил согласие, написал письмо и закончил его так: «В Киеве столовых 1 000 руб. Я не приму этой должности без 2 000 руб. столовых и прошу дать мне на переезд 2 000 руб.». С первой же почтой все было исполнено, и мне не оставалось ничего делать, как поехать в Киев.

Прощай, мой милый Симбирск, прощай, моя вторая родина. Симбирск много дал мне счастливых дней, дал мне милую и ангела душою жену. Прощай, моя лихая деятельность! Я был на своем месте и по способностям, и по характеру. Я был любим всем обществом, не делал зла, а прекращал злоупотребления тихо, без шума и старался исправлять, а не губить.

После родной моей службы во флоте служба в Симбирске – была мне по душе, по сердцу и по уму. Успехи служебные в Симбирске – меня радовали, а успехов было много. Я много имел успехов и в Киеве, но уже не радовался; поэзия моя осталась в Симбирске и не посетила меня.

За неделю до моего отправления в Киев нам Бог дал дочь Ираиду. Анюта должна была остаться, я отправился один в самую распутицу.

После моей жизни в Сибири и Симбирске не хочется говорить о жизни в Киеве. Я сделал важную ошибку, для чего я не воспользовался и чрез год не ушел из Киева в корпус жандармов, я имел это право по письму графа Бенкендорфа. Мои способности, мое призвание было быть жандармским штаб-офицером. Да, по прошествии года в Киеве, перейди опять я в жандармы, приятнее бы прошла жизнь моя, но я не сделал того, купил под Киевом деревню, хозяйство шло успешно, жена – то беременна, то кормит, трудно, казалось, переезжать – так и сделался оседлым жителем. А потом умер граф Бенкендорф, потом умер Дубельт. Поступя в корпус, я был бы новым человеком. Не хочется мне писать о Киеве, а к Симбирску так и тянет.

Наблюдая поляков в Симбирске и проверяя мои наблюдения после в здешнем крае, я положительно убежден, что мужчины-поляки, если отнять от них влияние полек, то они смирнее рыбы, вся сила энергии – в головах женщин, у которых, без исключения, – все мужчины под башмаком. Женщины-польки вообще – худо учены, у них есть светский лоск, пропасть кокетства и только. Все женщины – изуверки, тоже от невежества; они подчиняются нравственно хитрым ксендзам, которые самым наглым образом распоряжаются загробною жизнью и раздают рай и ад – как свои владения. Полька с малолетства привыкает верить в могущество ксендза, а не имея философского взгляда, не может выбиться из-под его влияния всю жизнь. Вера в отпущение грехов создает фанатизм польки, а она, пользуясь влиянием на мужчин, электризует деятельность, особенно молодых.

Поляк делается фанатиком, уже переступая за зрелые свои года. Говоря о большинстве, поляки наделены прекрасными способностями во всех отношениях, но влияние иезуитов с давних времен направляет их воспитание совершенно ложно. Поляк, с малолетства

получая фальшивое направление, тоже не может отбиться во всю жизнь от направления политической его веры иезуитами и подготовленными для того книгами. Молодой поляк, кровный, на все способен, восприимчив и легко увлекается. В каждом молодом поляке много рыцарского, много благородных порывов, но только порывов, а прозаическая жизнь протекает под влиянием женщин. Надобно видеть поляка, когда он сватается, – это рыцарь. Для него нет невозможного, жертва – его наслаждение; будучи женихом, он почти боготворит свою невесту, кокетку по природе; он готов ходить около нее на коленях, он пьет из ее башмака за ее здоровье. Поляк-жених – весь увлечение и страсть, невеста – чистый расчет кокетства.

Совершилась свадьба, поляк удовлетворен; как сильно пламенеет до свадьбы, так быстро разочаровывается после нее. Поляк-жених – мечта; воображение, поэзия заносит его на седьмое небо; но, сделавшись мужем, поляк спускается на землю, проза жизни не удовлетворяет его, пыл его необузданной страсти тянет к новому и неизведанному. Он, сознавая свою неверность, старается притворной любовью усладить жизнь жены, но женщину притворством обмануть нельзя, потому что на этом инструменте они сами артистки. Жена скоро замечает охлаждение мужа и даже узнает о скрытных проделках неверного, но, не выказывая подозрения, она инстинктом понимает, что наступило время быть требовательной и даже капризной. Муж, не догадываясь, что жена проникла его тайну сердца, стараясь сколь можно отдалить могущую быть катастрофу, исполняет все требования жены и повинуется ее капризам, – и вот жена фактически делается господствующим лицом в семействе.

Но у жены является ксендз, который учит греху и разрешает его. С первого супружеского преступления муж делается рабом жены и все для того, чтобы отдалить могущую произойти катастрофу. Жена, отлично понимая эти чувства мужа, продолжает показывать, что она верит своему супругу и повелевает, как царица, в доме и властвует над мужем. Вот где кроется подчинение всех поляков своим женам. Поляк без женщины-польки – рыба, он и рассудителен, и кроток, он даже ленив на предприятие, но полька – это гальванический ток, который оживляет и умершие тела.

Возвращусь опять к Симбирску и скажу о специальном межевании в Симбирской губернии. Государь сказал: кто отмежуется добровольно, тем даруется излишняя земля против крепостей, а если будет межевать правительство, то излишняя земля будет отрезана в казну. Я говорил, что, бывши женихом, я купил имение в селе Воецком, помнится, от 50 до 60 душ, на имя моей невесты Анюты. Село Воецкое стояло на небольшой реке Гуще, границей села была эта речка, а вся земля, принадлежавшая селу, шла от домов в степь и ограничивалась большою рекою Свягою. Между этими реками было расстояние верст 13-ть; реки были параллельны. Не помню, кому при Екатерине II была подарена эта земля, но первый хозяин захватил ее без меры – в ширину степи верст тоже на 12, 13-ть. Земля продавалась по частям, делилась по наследству, так что образовалось владельцев в Воецком помещиков 15-ть, и я самый богатый. Дачу между собою делили от селения к реке Свяге. Помню, был у меня сосед Есипов; ему, по числу душ, досталась такая узкая полоса, что только могла проехать телега в одну лошадь. Впрочем, твердых оснований на владение землею никто не имел, владели – по каким-то преданиям. Сообразив все дело, я ясно видел, что если отмежует казна по крепостям, то мы останемся едва ли при третьей части земли. Все говорило разуму, что надобно размежеваться полюбовно, тогда вся земля наша.

Снятый общей дачи план не мог удобно разделить дачу для всех, а нельзя же было дать Есипову – только дорогу. Я собрал всех помещиков в свой дом в Воецком, сказал приличную речь о необходимости размежеваться полюбовно. Я первый изъявил согласие

на какой угодно раздел земли и, предложив план, просил обсудить и решить, как размежеваться. Все в один голос говорили:

– Куда нам рассуждать, как вы разделите, так и будет.

Я ясно высказал и доказал, что так как мы сидим на реке Гуще, то раздел для всех удобен быть не может. Хотя дача почти квадрат и совершенно вся земля одного качества, но разделить безобидно можно только тогда, когда кто-нибудь переселится на Свягу, но так как переселение крестьян вызовет много хлопот и расходов, то кому угодно переселиться, мы сообща даем подводы для перевозки и на каждый крестьянский двор даем по 10 руб.

– Итак, господа, кому угодно переселиться на Свягу? – спросил я.

– Да помилуйте, – заговорили все в один голос, – кто может согласиться на переселение, это для нас невозможно.

– Хорошо, господа, я богаче всех, не требую помощи подвод, не прошу по 10 руб. на двор, а желаю переселиться и оставляю вам огороды и конопляники; вы разделите между собою, и всем будет просторно, и размежевание будет удобно. Итак, согласны на мое предложение?

Трое объявили, что они согласиться не могут.

– Отчего?

– А может быть, там земля лучше, – сказали они.

– Хорошо, так вот вам помощь и деньги, идите туда.

– Да помилуйте, кто же туда пойдет, это невозможно!

– Ну, так я без помощи и без денег пойду туда.

– На это мы не согласны, там, может быть, земля лучше.

– Господа, разделиться нужно?

– Нужно, никто и не спорит.

– Разделиться так, как сидим, невозможно.

– Видимое дело, невозможно.

– Вы переселяться не хотите?

– Никто не хочет.

– Так я переселюсь.

– На это согласиться нельзя, там, может быть, земля лучше.

– Ну, так как же мы разделимся? А разделить необходимо?

– Необходимо.

Я от полдня до заката бился, бился, даже охрип, а ничего не добился, с тем и разошлись.

В Воецком был бедный помещик, старик, отставной майор Петр Иванович Романов; это был человек не мудрый, но здравого ума, он безвыездно жил в Воецком. Я этого старика сделал комендантом и генерал-полицеймейстером в Воецком. По просьбе моей исправник приказал всем крестьянам повиноваться Романову, а я поручил ему даже и мое хозяйство, за что иногда старику делал подарочки. Старик молчал и сидел в стороне, сказав, что он на все согласен. Когда все разошлись без результата, старик начал смеяться надо мною, говоря:

– А что, много взял со своим красноречием?

– Да помилуй, комендант, я тут ничего не понимаю, это сумасшедший народ.

– А ты думал, все умные, вишь, распустил силлогизмы, а много взял? Вот вы все нынешние говоруны такие, где надобно делать, так вы краснобаите.

– Что ж теперь делать, командир, ведь так оставить нельзя?

– Зачем оставлять; из-за трех дураков всем худо... Прощай, пришли-ка ко мне чаю и сахару, я за тобою пришло, напою тебя чаем и сам с тобою напьюсь, а до тех пор не выходи из дома.

Явился с приглашением от Романова. Приезжаю; маленький чистенький домик, так мило смотрит, что даже весело становится. Старик холостой, аккуратный и опрятный. Он встретил меня с пальцем на губах и нагайкой в правой руке, принял церемонно, посадил и громко сказал:

– Ко мне пришли господа с просьбою извинить их перед вами, они давеча не поняли ваших предложений, но, обдумав, согласились (в это время он показал на нагайку). Я прошу вас извинить их, вот полюбовная сказка, они подписали на переселение ваше, следует только вам подписать.

Я подписал и хорошо не понимал, как это сделалось. Тогда Романов отпер запертую на задвижку дверь перегородки и сказал:

– Выходите, господа, полковник не сердится.

Вышли робко три спорщика и заметно посматривали на нагайку, а Романов сказал: «теперь ступайте». Ушли очень скоро.

– Скажи, ради Бога, старина, как это ты их уговаривал?

– Вот еще, чтобы я стал их уговаривать, отпустил им горячих нагаек по пяти, они и подписали, а я их запер, чтобы они видели, что и ты подписал. С такими людьми резонами и силлогизмами ничего не поделаешь, для них нагайка – они и слушают.

Я обнял старика и благодарил. По пропорции на души, мне пришлось около 20 десятин на душу, я выбрал себе для поселения на берегу Свяги берег возвышенный, там, где был мой дом. Из земли бежал сильный родник превосходной воды, против дома – небольшой, но красивый остров, река – очень рыбная. Романов отмежевал мне квадратную дачу к границе общей дачи, и вышло только 8 верст до другой деревни нашей Чамбул\*, где много леса. Крестьяне перевезлись, устроились и после были очень довольны новым поселением. Наше любовное размежевание было утверждено формально – одно из первых. Не будь майора Романова, не размежеваться бы. Не правда ли, что это похоже на сказку? Трудно себе представить: какой-то бедный старик, отставной майор бьет нагайкой трех помещиков, богаче его и один, хорошо помню, с крестиком в петлице, и те покорно исполняют его волю. Честью уверяю, что это так и было. Если б я хотел солгать, то выдумал бы что-нибудь и похитрее, и поумнее.

### ***Записки Э.И. Стогова***

*«Русская Старина», август 1903 г.*

#### **IX.**

Воспоминания молодости. – Страсть к чтению и препятствия, в том встречаемые. – Назначение Стогова на службу в Киев к генерал-губернатору Бибикову. – Характеристика Д.Г. Бибикова. – Назначение Стогова правителем канцелярии генерал-губернатора. – Проект его о введении в крае русских законов вместо Литовского статута. – Остроты князя А.С. Меншикова. – И.И. Фундуклей. – Домашняя и общественная жизнь Бибиковых.

Я вполне сознаю недостаточность своих способностей к литературному труду. К тому же воспитание мое было так давно и так не похоже на современное. Тогда писатель на Руси был индивидуумом редким и лицом каким-то фантастическим; тогда верили, что не родившись писателем – невозможно сделаться достойным печати, тогда для писателя было бы крайним унижением даже подумать о гонораре за свой труд, слава быть писателем – вознаграждала вполне. Тогда слава была дешева, но ценилась дорого обществом; достаточно было скропать шесть строчек стихов и напечатать повесть в лист, и все искали

---

\* Собакино, Чамбул, Ивановское село – располагалось в 65 верстах от уездного Сенгиля, а тот, в свою очередь – в 65 верстах от Симбирска (итоговая дистанция от Симбирска до Чамбула вовсе не обязательно составляла 130 верст). Село Воецкое в «Списке населенных мест Симбирской губернии, Симбирск, 1884» не значится. Возможно, Э.И. Стогов обозначение своего имения перенес на название села, забыв последнее. – Примеч. М.И. Классона

случая взглянуть на гения, а такой гений мог опочить на лаврах и кончить жизнь с достоинством, гордиться званием писателя.

Загляните в журналы до 1810 года и даже позднее, увидите журналы в три-пять листов, крупной Евангельской печати, страницы с большими полями, и эти тощие представители литературы никогда не выходили вовремя. Обещают 12 книжек, а хорошо, как дадут шесть-восемь номеров. Да и о чем тогда писали – переводы самые легкие, стихи: «К ней», «К луне»; о чем спорили? о предложениях, о склонениях и спряжениях. Вот в какое время я воспитывался; сверх того, я воспитывался в морском корпусе, следовательно, в специальном заведении. Лучший наш профессор, тогда известный знаток правописания в Питере, – Груздев, всякий класс начинал: «дружки, дружки, очините перушки».

Он считался великим остряком, и я помню прославившую его остроту. Один гардемарин назвал его в классе: «попович». Груздев, подумав, отвечал: «ты сам назвал, что я сын попа, но я не знаю, сын ли ты отца». Груздев после этого казался нам гигантом мудрой остроты. Кончалось, однако, тем, что проучась 6-ть, 7-мь лет, выходили из корпуса, не зная правописания.

Лучшие наши флотские писатели, уважаемые и теперь: Головнин, Рикорд, Крузенштерн, Лазарев, чтобы напечатать свои путешествия, предварительно отдавали [рукописи] Гречу для исправления правописания. Что они были умнее Греча с [редакционною] братиею – в том нет сомнения, они были глубоко ученые люди, но грамота русская была недоступна им. Морской корпус был тогда ученым заведением, но он поглощал все время учения математикой, астрономией, механикой, химией, физикой, архитектурой, фортификацией, артиллерией и проч. и проч. Изучая эти науки, мы все выходили малограмотными и даже не знали [библейских] заповедей.

Если первые светилы флота не знали грамоты, то что же сказать о нас грешных, рядовых офицерах? Сколько помню себя, я всегда страстно любил читать. Из корпуса спускаясь по ночам, на простынях из окон, я бегал на Вознесенский проспект в единственную тогда книжную лавку в Питере Плавильщикова, в которой был сидельцем любезный Смирдин, впоследствии знаменитый издатель. Продавая свои булки, переписывая тетради, делая чертежи, я скоплял копейки, чтобы платить в книжную лавку. Если б нашли у меня в корпусе книгу – конфисковали бы и наказали, но наказание – куда ни шло, а конфискация могла довести до отчаяния.

Сколько надобно было хитрости прятать книги, – читались книги по ночам, свечи воровались, а днем я читал на огромном и пустынном чердаке корпуса. Не раз кровавые ужасы Радклифа\* в пустынном чердаке пробирали до дрожи мои кости. Офицером я читал кой-что посерьезнее и нахватался верхушек знания по всем предметам. Из меня вышел жалкий, поверхностный энциклопедист, но грамоте – я все-таки не мог выучиться, и вот отчего не вышел из меня писатель, к чему я имел истинное призвание. Чтением и маранием бумаги все-таки я приобрел возможность составлять деловые бумаги, и этим я мно-

---

\* Главная особенность прозы Анны Радклиф (1764-1823) – обилие эффектных литературных средств, способных запугать читателя ужасами ситуаций и антуража (заброшенные могилы, призраки, духи, гроза, и т.п.), неожиданными сюжетными поворотами, злодействами и интригами. В русской литературе романы Радклиф переводились и вызывали массу подражаний. Большая часть подражаний принадлежит неизвестным авторам, которые выпускали свои произведения с именем знаменитой романистки. Под именем Радклиф были изданы, в частности, такие романы, которые мог читать юный Эразм Стогов: «Видения в Прирейнском замке» (1802); «Ужасные и прочие приключения и видения в Прирейнском замке» (1809) «Мария и граф М-в, или Несчастливая россиянка» (1810); «Живой мертвец» (1808); «Замок Альберта» (1803), «Замок, или Ночные привидения» (1808); «Итальянец, или Исповедная черных кающихся» (1802-1804); «Лес, или Сен-Клерское аббатство» (1801); «Монастырь св. Екатерины, или Нравы XVIII в.» (1815); «Ночные видения» (1811); «Полночный колокол» (1802); «Таинства Удольфские» (1802); «Таинства Черной башни» (1811); «Юлия, или Подземельная темница Мадзини» (1802). – *Из Интернета.*

го выигрывал по службе. Мои бумаги хвалили, начальники ласкали меня и просили написать сложное донесение.

Чтение и самообразование сделали то, что я весьма самонадеянно из специальной службы флота перешел в жандармы, где прославился моими донесениями так, что когда Бибиков сделан был генерал-губернатором и просил шефа жандармов дать ему штаб-офицера для управления военною канцеляриею, то назначили меня, как способнейшего во всем корпусе жандармов, – так выразился граф Бенкендорф в письме ко мне при назначении. Маленькая моя способность составлять гладенько многословные рапорты давала мне право ценить себя. Из нового поколения, хотя появлялись нередко хорошо учившиеся, но молодость еще не ценилась, она должна была выростать, а сверстники мои почти все пробавлялись умом писарей и секретарей.

Я сознавал трудность выбрать кого-нибудь кроме меня к Бибикову. Я нашел Воскресенского (доктора медицины, который по отвращению к медицине бросил диплом доктора и поступил в гражданскую службу), который долго служил при Бибикове в то время, когда Бибиков управлял всеми таможенями. Должность директора департамента сделала Бибикова известным за устройство таможенной части. Устройство таможенной части принадлежало единственно голове Воскресенского. Бибикова так тогда прославляли, что он потребовал себе министерства торговли. Император Николай отказал. Бибиков вышел в отставку, но перед отставкою, чтобы не досталась дельная голова преемнику, Бибиков, вместо благодарности, запрягал Воскресенского в Колу, откуда он долго не мог выкарабкаться.

Я познакомился с ним, когда он[, Воскресенский,] был вице-губернатором в Симбирске. Из всех рассказов его, я увидел в Бибикове – отъявленного эгоиста, человека малообразованного и существующего чужим умом. Такой человек не мог привлекать меня к себе, а сознание своих способностей давало мне право поторговаться. Я подал просьбу об отставке и знал, что такое сокровище как я – не отпустят. Действительно, просьбу мне возвратили, и граф Бенкендорф самым милым письмом просил меня поехать к Бибикову. Вступив в должность, я нашел дела запущенными, много чиновников особых поручений – белоручек, бумаги для них составлялись писарями, то мудрено ли, что я при желании отличиться сделался звездою первой величины.

С 1837 года до 1851-го года я был самым близким человеком при Бибикове, и потому каждый имеет полное право спросить меня: кто такое был Бибиков? Вопрос прост, но удовлетворить его мудрено. Высказать все и нарисовать Бибикова, кажется, не трудно, но изложить систематически, порядочно, чтобы вышла картинка рельефная – трудно для меня, по непривычке к литературной рутине. У привычного литератора рассказ и мысли ложатся сами собою последовательно, без труда для него, а для человека редко пишущего – это главный труд. Мысли опережают одна другую, и человек, видя скачки и прыжки, должен возвращаться, марать и вставлять, а это скучно.

Пишу не на продажу и буду рассказывать, как выдернется из памяти без всякой системы и последовательности. Но вот штука, с чего начать? Не думая быть биографом Бибикова, я не собирал сведений об его родословной, но вот что я знаю о нем. Отец Бибикова, кажется, был полковник гвардии. Я знал мать Бибикова, в 1833-м году она была старушкою в Москве, была матерью пяти генералов и в большом почтении. Она была небольшого роста, но, должно быть, была редкою красавицею: огромные блестящие и умные глаза, брюнетка с румянцем во всю щеку и в старости очень стройная. Это была старинных русских бар благодетельная барыня, делать добро – было для нее долгом, и она делала много и разумно. Она была строгая мать – тоже по старине.

Бибииков был уже генералом, когда, приехав в Москву к матери, поцеловал руку и сел без позволения. По старинке, это считалось оскорблением родителей, и мать не затруднилась сказать:

– Дмитрий, кто тебе позволил сесть? а как я прикажу тебе дать 100 розог!?

Дмитрий вскочил, просил прощения и сказал:

– Маменька, я буду смиренно лежать, только вы высеките своими ручками, а я впредь не буду.

Бибииковых было пять братьев, я знал только трех, Илью, Гаврилу и Дмитрия. Илья был любимец Михаила Павловича и числился в артиллерии. Гаврило, добряк, суетился по разным комитетам: тюремным и проч. Дмитрий – генерал-губернатором, генерал-адъютантом, членом Государственного Совета и генералом от инфантерии. Впоследствии он был министром внутренних дел и кончил отставкою без мундира и без пенсии. Три брата Бибииковы, воспитанные гувернерами и гувернантками для гостиной, все были одинакового воспитания, т.е. никакого.

Илья был молчалив, старался казаться размышляющим и имел привычку пыхтеть, как бы надуваясь. Гаврило был страшный говорун и невероятный добряк. Стоило попросить его похлопотать у кого-нибудь из вельмож, как говорило говорилич (так его звали), не дослушав и не узнав о чем просить – летел к вельможе. Страсть помогать бедным расстроила его состояние. В Питере характеризовали трех братьев так: один дуется, другой продулся, а третий всех надувает. Бибииков, у которого я служил, любил спрашивать, что о нем говорят? Я отвечал всегда правду, но на этот раз сказал: ничего. Я забавлял его рассказами, которых у меня без конца, но однажды сидел молча. Бибииков спросил: о чем вы думаете? Я отвечал: о полковнике Одинцове.

– О каком?

– Который служил при вас.

– Да, я любил его; так что же вы думали?

– Он однажды сидел с вами, как я, вы спросили его, что о вас говорят? Он отвечал, говорят, что есть три брата Бибииковых, один дуется, другой продулся, а третий всех надувает, и вы прогневались, уволив его от службы.

– Кто вам это сказал?

– Не скажу.

– Это неправда.

Бибииков, видимо, сердился.

Он был одного со мною роста, умеренно полный мужчина, с татарским лицом хорошего типа, был брюнет, плешив, что очень шло к нему, глаза матери удивительно хороши, большие, полные жизни и огня, левой руки не было по плечо – оторвало под Бородиным, но он никогда не чувствовал боли перед дурною погодой, как обыкновенно бывает. Голос имел весьма приятный, повинующийся в интонациях. Бибииков рано поступил в гусары, постоянно был адъютантом, не был пьяницей, не был картежником, но всю жизнь был поклонник хорошеньких женщин. Наук он не знал никаких, говорил по навыку по-французски и по-немецки, замечательно недурно говорил по-русски, но писать не умел ни на одном языке; по-русски до того плохо знал грамоту, что не умел и строки написать без руководства.

Случалось иногда, что он просил взять перо и писать под его диктовку. Ходя по комнате, он диктовал, но что диктовал: «поелику», «так как, сей», «таковой же» – и проч. Разумеется, пишешь свое.

– Кончили?

– Кончил.



– Прочтите, поставьте, где следует «ять», – потрудитесь расставить запятые и прочие знаки.

– Поставил.

– Да поставьте хорошенько!

– Да я ставил, когда писал.

– Ну, вот еще рассказывайте, ни один литератор не ставит знаков, когда пишет, а расставляет после, для чего же вы уверяете меня.

Написанная мною под диктовку записка служит оригиналом, и Бибиков после списывает и посылает, как свое сочинение. Однажды я сошкольничал и под его диктовку писал две записки: одну, что должно писать, а другую, от слова до слова, что диктовал Бибиков, последняя преуморительная.

Арифметики Бибиков совершенно не знал, насилу я приучил его переводить целые хотя числа с ассигнаций на серебро, например, 10 руб., 100 руб., а промежуточные так и не выучился [переводить]. Когда мне случалось в уме складывать дроби, Бибиков никогда не мог не улыбнуться, а когда мне приходилось сказать итог двух дробей разных знаменателей, то он серьезно смеялся. Я готов держать пари хотя на правую мою руку, что он до смерти не верил, что можно сложить  $\frac{1}{2}$  с  $\frac{1}{3}$ .

Истории, географии – совершенно не знал. Я пробовал в разговоре сводить Карла V с Людовиком XIV, а Карла I с Франциском II, лишь бы был занимателен анекдот, все сойдет. В географии надобно быть осторожным о тех местах, где он бывал, а остальное: венгерские реки можешь переносить в Америку, а испанские в Южную Америку – все сходило гладко.

В музыке он ценил только технику играющего, но ее не понимал. Живопись богомазов всего более нравилась Бибикову. Швейцар его заказал портрет своего генерала богомазу Киевщинскому в Киеве, и тот нарисовал его яркими красками и золотом, а главное, усы и бакенбарды отделал по волоску, как пишут часто на образах. Случайно Бибиков увидел этот портрет, долго смотрел на него и не мог оторваться, а потом уверял меня, что лучшей работы он не видывал. Бибиков знал свое слабое понятие в искусствах и при посторонних никогда не пускался в рассуждения, разве вычитает какое мнение или подслушает у того, кому доверяет. Тогда толкует, но всегда коротко и неохотно.

Будучи обязан как генерал-губернатор принимать всех, он говорил охотно, но затверженные фразы, что для представляющихся было незаметно, но мне было известно, что вариаций в этом отношении не было. Как я говорил, Бибиков имел замечательную, представительную наружность, весьма внушительный взгляд, а лишение руки – давало ему очень воинственный вид. Приемных дней было два в неделю. К приему должны были являться все чиновники особых поручений (их было 13) в мундирах. Бибиков выходил по домашнему, в сюртуке без эполет. Обыкновенно прием начинался в 10 часов. Прием происходил очень чинно, сам Бибиков не читал ни одного прошения, но заставлял читать и потом говорил по-заученному, а если забывал, то следовала известная фраза:

– Эразм Иванович, доложите со справкою.

Но этого никогда не исполнялось, ни одно прошение не докладывалось, а разрешалось в канцелярии. В приемные дни собирались нищие, салопницы, отставные солдаты. Бибиков всегда великодушно при публике приказывал: «дайте помощь бедным» и при этом отдавал мне ключ от стола с деньгами. Зная болезненную скупость Бибикова, я раздавал по 3 копейки и вообще соблюдал, чтобы не выйти из бюджета 2-х рублей.

Раз мне не было времени, он поручил Позняку, маиору, раздать помощь бедным и дал ему ключ. Позняк раздал до 10 руб. Бибиков сильно поморщился и долго вспоминал со мною, как Позняк глупо распорядился, и более уже не поручал ему оказывать помощь. Бибиков был хорош тем, что не лениво подписывал бумаги, [но] никогда их не читал, у

себя в кабинете не держал, ни одной резолюции не делал, и всеми бумагами распоряжалась канцелярия.

В канцелярии было три секретаря: полицейский, судный и хозяйственный, они и были докладчики. Порядок был такой: получалось 500, 600 и более конвертов на одной почте. В получении расписывался дежурный чиновник, приносил ко мне, при мне распечатывал другой чиновник и поверял №№ конвертов с бумагами, я помечал день получения и на серьезных делал резолюции. Бумаги поступали к регистратору, который, записав № и содержание, раздавал секретарям. Они составляли ответы, а Бибиков подписывал их не читая.

Вот и все занятия генерал-губернатора. Спрашивается, что же он делал, сидя один в кабинете? Постоянно читал. Книгопродавец Исаков обязан был высылать все романы, выходящие на французском языке. Газеты Бибиков получал очень многие французские без цензуры, которые читал сам, польские – просматривал Андреевский и, сделав кой-чему перевод, докладывал. Русские журналы и газеты получались все, но Бибиков не читал ни одного, читал я и, найдя скоромное или ругательное – особенно Сенковского, я прочитывал Бибикову.

Вставал Бибиков в 7, 8 часов, пил чай с куском домашнего хлеба, в 11-ть часов был завтрак, какое-нибудь холодное блюдо. Обедал он в 2-3 часа; обед был недорогой, четыре блюда, но хороший и здоровый. Часов в 8 был вечерний чай, ужина не было, и в 11 часов Бибиков ложился спать. Так всякий день и много лет. Кроме балов он ходил по вечерам к тем, за кем волочился. На бал я должен был ехать с ним. Бибиков не выходил из дома, не начернивши усы и бакены, случалось, и подбелится, духов всегда много и лучшие. Бибиков был холодный эгоист, привязанности, дружбы, благодарности он никогда и ни кому не имел. Был дружен только с теми, в ком видел пользу для своего положения; был ласков только к тем, кто приносил пользу ему.

Бибиков охотно говорил о своей любви к России, о своем патриотизме и о преданности своей к государю. России он не мог любить, потому что совершенно не понимал, в чем состоит польза России. Государю он выказывал преданность только потому, что от государя истекали милости. Кроме своего положения по службе Бибиков уважал богатство в других, бедных – нашего брата он глубоко презирал, в нем крепко было убеждение, что бедный создан на службу богатому и что достоинства и способности пригодны только для возвышения богатого.

Я раз спросил Бибикова, правда ли, что когда он управлял таможнями, то один господин разругал его, и тогда дали ему место.

– Правда, – отвечал он, – это было так: в приемный день, в Питере является ко мне отставной майор, представляет документы и просит места. По [наведенной] справке оказалось, что он пьяница, в следующий приемный день он явился, я отдал ему документы и сказал: нет вакансии. Он просил, я отказал. В следующий день приходит майор и просит места, я отказал. В следующий – опять приходит майор, меня рассердило, я постращал его, что пошлю за полицию, и окончательно запретил приходить. Майор помолчал и громко сказал: будь ты проклят, безрукий урод, чтобы не было тебе ни на сем, ни на том свете ни дна, ни крыши, и хладнокровно пошел. Я приказал заготовить определение его к должности и в первый приемный день приказал призвать его. Увидав его, я подал ему определение и сказал при всех: «Господин майор, вот вам место, вы пьяница, но если вы будете пить, то безрукий урод, которому нет ни дна, ни крыши, остальной рукою вас задушит, прощайте». Он и теперь хорошо служит, полковником, и перестал пить.

– Отчего же вы дали ему должность, когда он разругал вас?

– Когда человек решается ругаться, то это доказывает крайнюю степень отчаяния.

Много характерных анекдотов я мог бы рассказать о Бибикове, но для очерка довольно и этих. Теперь спрашивается, как же этот человек, малограмотный, так долго управлял краем и оставил память дельного управления после себя?

Из рассказа моего видно, что Бибиков не виноват в управлении краем, но он был полезный начальник для управления, он не мешал, не мудрил, не тормозил хода дел, а в этом немало заслуги в начальнике. Долго до Бибикова был правителем канцелярии генерал-губернатора статский советник Карцов; у этого труженика была голова мудрого министра, он был холост, был совершенно честен и работал как вол, но имел большой недостаток для правителя, он был бесконечно добр, тих, деликатен; чуть сложное дело, секретари подкладывали Карцову, и тот писал до устали. Но один не может много сделать, бумаги накоплялись, дела запускались, канцелярия ленилась и брала взятки. Я не переставал удивляться, как мог Бибиков не оценить такого человека, такой мудрой головы, такого громадно опытного человека и бесконечно трудолюбивого.

Бибиков любил наушничество, это была слабейшая черта его характера. Дрянь, недостойная мизинца ноги Карцева\*, наговорила Бибикову, что Карцев малоспособен и запустил дела. Бибиков обошелся с Карцевым холодно. В первую поездку Бибикова в Питер Карцев поехал с ним. Меня очень полюбил этот достойный и серьезный человек за живость характера и веселонравие. Уезжая, он сказал мне, что не вернется, и предсказал, что меня обойдут чарочкою – оправдалось. Бибиков возвратился, а Карцев остался по своим делам. Вдруг вопрос от министра юстиции, нет ли препятствия для увольнения Карцева от должности? Бибиков был поражен, в особенности, когда я сказал, что знал о том, что Карцев не вернется.

– Отчего? – спросил он.

– Вы не оценили его.

– Так что же я должен был – целовать его ручки?

– Нет, тон делает музыку.

– Чорт с ним, напишите министру, что препятствий нет.

Карцев в тот же год был [сделан] действительным тайным советником. Так скоро и достойно оценил Дашков\*\* Карцева. Правителя канцелярии [уже] не было у Бибикова, и он просил меня принять должность управляющего канцеляриею генерал-губернатора. В службе отказываться нельзя.

– Я не готовился к такой сложной обязанности, – отвечал я, – ни воспитанием, ни практикою, я употреблю все силы и маленькое знание, но только на краткое время.

– Хорошо, посмотрим после, – отвечал Бибиков.

Нашел я много крайне запущенных дел, но я не Карцев, работать за всех не буду и не способен. Канцелярия, как фабрика, должна иметь успех от разделения труда, надобно уметь заставить каждого трудиться по своей части. Разделить труд было немудрено, работа сама собою делилась на полицейскую, судную и хозяйственную, а чтобы трудились, я должен был быть сам примером.

Когда я принял канцелярию, то увидел, что дела решаются по русским законам и по Литовскому статуту: как хочется, так и опирайся, то на один закон, то на противоположный. К этому так привыкли, что никому не казалось странным, никто и не предполагал иного порядка. С первых же дней работы у меня засела в голове мысль – уничтожить Литовский статут и ввести один русский Свод законов. Я, никому не говоря, начал выработать проект уничтожения Литовского статута.

Бибиков перед постом уехал в Питер с отчетами государю и повез дело Канарского. Я остался главою правления, и мне поручена была семья Бибикова. Составил я довольно

---

\* Так напечатано в «Русской Старине»: сначала – Карцов, а затем – Карцев. – Примеч. М.И. Классона

\*\* Дмитрий Васильевич Дашков (1788-1839) – министр юстиции в 1832-1839 гг.

обширный проект о введении русских законов в Юго-Западном крае и послал Бибикову при письме, с изложением причин, почему я решился на этот проект, какая путаница в правлении и какая польза от введения одних русских законов. Одним словом, письмо заключало в себе косвенное и деликатное наставление, что должен говорить Бибиков перед государем. Вопрос этот был передан в Государственный Совет, который нашел введение русских законов несвоевременным. Государь потребовал Бибикова и расспросил, как было дело в Совете.

На рассказ Бибикова государь улыбнулся и сказал:

– Я этого и ожидал; объяви мою волю, что послезавтра я сам буду присутствовать в Совете, а ты будешь докладывать.

Андреевский мне рассказывал (он тогда был писцом, хорошо писал и взят был в Питер, как канцелярский краснописец), что Бибиков твердил все время проект с Писаревым и потом читал перед Андреевским и заставил его возражать, а сам опровергал. Бибиков рассказывал мне, что ему была поставлена кафедра, с которой Совету он докладывал. Государь занял место председателя и сказал: «начинай». Бибиков читал по параграфам; после каждого государь говорил: «я согласен». Так прошел весь проект. Государь приказал составить протокол и тут же подписал его.

Вдруг среди всеобщего молчания послышался смех.

– Чему смеетесь? – спросил государь.

Молчание.

– Говорите!

Опять молчат.

– Верно, что-нибудь выдумал князь Меншиков?

Оказалось, что после недавно скончавшегося митрополита новый не был еще назначен, и старики очень интересовались, кто будет назначен. С этим вопросом они обратились к Меншикову.

– Граф Клейнмихель, – отвечал он серьезно.

Последний сидел против Меншикова и покраснел, а старики разразились смехом.

– Меншиков неисправим, – сказал государь улыбаясь.

Надобно знать, что Клейнмихель, воспитанник 2-го кадетского корпуса, конечно, медицины не знал, но при беспорядке и упадке наук в медико-хирургической академии государь назначил Клейнмихеля президентом академии, и он поднял академию. Вот это-то назначение и дало повод Меншикову сделать Клейнмихеля – митрополитом.

На последние слова государя Меншиков вполголоса сказал, но так, что слышал и государь:

– Я того мнения, что лишь бы издали указ, а из Клейнмихеля вышла бы хорошая фрейлина.

Введение Свода законов в крае было утверждено, но долго ходило по министерствам, задерживалось сколько можно. Я полагаю, что эта моя мысль и работа много принесла пользы управлению краем, но не Бибикову, который искренно верил, что законов твердых в России не существует, а что ходатаи по делам вертят законами как хотят; уверить его в противном было нельзя.

Бибиков и жена его были очень скупы. Барыня большого света, где не принято заниматься хозяйством, она сама, заказывая обед, назначала точное количество всякой провизии и даже число яиц для всякого кушанья, но этого никто не знал из посторонних, кроме, конечно, меня. Софья Сергеевна однажды меня удивила, когда, разговаривая наедине со мною, она до самой подробности означила базарную цену всякой безделицы: говядины, крупы, муки, масла, яиц и даже цену соли. Все это было совершенно верно. Когда я изъяснил удивление, она много смеялась и говорила, что ее нельзя надуть ни в чем; она ясно и

верно означила мне, сколько и чего потребно для всякого кушанья. Одевалась она весьма прилично и в парадных случаях – богато. На званом бале можно было видеть на ней бриллиантов, жемчугов на несколько тысяч [рублей], но была до крайности бережлива; платья, шитые пять лет назад, для придворных балов, у ней были как вчера сшиты.

Бибииков уважал богатство. В Киеве был чрезвычайно дельный губернатор Переверзев, но был беден. Секретарь канцелярии графа Воронцова, коллежский советник Иван Иванович Фундуклей был назначен вице-губернатором в Житомир. Лишь только Бибииков узнал, что Фундуклей очень богат, сейчас же предложил ему губернаторство в Киеве. Отец его грек, был целовальником в Елисаветграде и потом откупщиком в Херсонской губернии. Это был громадной толстоты человек, добряк, хлебосол, но никогда не обедал с гостями, а ел простую пищу целовальника. В кабинете его на видном месте висели: красная рубаха, пестрые портки, поддевка и простой зипун с дегтярными сапогами, шапка и рукавицы крестьянские. Старик не стыдился прежней своей одежды и, показывая всем, говорил: «не должно забывать, чем человек рожден и чем был». Старик завещанием приказал платить подати за мещан Елисаветграда, а сын оставил неприкосновенным дом и одежду старика.

Иван Иванович Фундуклей\* остался холостым, был немножко выше меня ростом, брюнет, круглолицый, в лице его было что-то женское, старушечье, но крепкого сложения и даже весьма мускулист. Он был некрасив, но имел до крайности привлекающее доброю лицо. Фундуклей не имел дара слова, был крайне молчалив, очень умен и обладал необыкновенною силою. Раз, под Липовцем застряла его коляска – ничего не могли сделать, бились, бились и хотели ехать в селение за волами и людьми. Иван Иванович спросил, в чем дело? Ему сказали, что хоть бы одно переднее колесо выручить из ямы. Фундуклей взялся рукою за конец оси и высвободил коляску – все изумились.

Он был отличный стрелок, и никто не слышал, чтобы Фундуклей играл на фортепиано, а знали только, что ему постоянно приходили ноты по почте. Раза два ночью, с улицы слышал я его замечательную игру. Иван Иванович говорил, кажется, на всех языках Европы, но никто не мог заставить его говорить ни на каком кроме русского, и только с иностранцами он объяснялся на их родном языке. Отличный знаток живописи и обладатель замечательных картин, Иван Иванович никогда не говорил об искусстве. Он много делал добра, много помогал бедным, но как-то так, что это было незаметно. Бибииков давал по 3 коп. с шумом, с эффектом, а Фундуклей, казалось, никому не давал, но я сам раз видел, как к нему пришла бедная благородная вдова, старушка, и показала ему требование уплатить 300 руб. долгу. Фундуклей, проходя мимо, сунул ей в руку 300 руб., и никто этого не заметил, кроме меня, а старушка приняла их без удивления, должно быть, не в первый раз.

Губернаторский дом был без мебели и неопрятен, Фундуклей на свой счет поправил дом, с дозволения министра финансов, без пошлины выписал превосходную мебель из Парижа и подарил городу. Он все делал как-то незаметно, не заискивал в Бибиикове, ни разу не унизился как губернатор, даже отстаивал твердо свои права против капризов генерал-губернатора, но все это так тихо, ровно, без волнения.

Обязанный в высокотожественные дни давать обеды или балы, которые обходились до 500 руб., Бибииков дня за два до праздника сам или чрез меня упросит Фундуклея дать вместо него обед или бал, и Фундуклей, усердно нюхая табак, отвечает: хорошо-с. Дает прекрасный обед или бал, причем в уборной дамам предоставлялись перчатки, башмаки, духи и проч. Все смотрят на Ивана Ивановича как на гостя, забывают, что он хозяин, а бал оживлен и весел.

---

\* Впоследствии был членом Государственного Совета. – Примеч. Э.И. Стогова

Таким образом, Фундуклей дарил Бибикову несколько тысяч в год. Жалованье свое Иван Иванович отдавал на канцелярию, а правителю ее платил 12 тысяч руб. в год, и тот не брал взятку. У Фундуклея в канцелярии заведывал полицейскою частью и паспортами весьма способный чиновник Попов. Это был крошечный человечек, совершенно плешивый, с загнутым кверху носом, но умный и способный, мы прозвали его – Сократом. Этот Сократ начал строить большой каменный дом и уже подвел под крышу. Вдруг оказывается, что у Сократа недостаток казенных денег – 20 тысяч. Фундуклей, зная, что Попов не пьет, не играет [в азартные игры], спросил: где деньги? Сократ признался, что он выстроил на них дом, надеясь выручить более и пополнить. Фундуклей признал только поступок неосторожным, внес за Попова деньги [в казну], оставил его на службе, а дом взял себе. Этот дом Иван Иванович достроил и пожертвовал его для женской Фундуклеевской гимназии.

Скажу еще несколько слов о домашней жизни Бибиковых. У Бибиковой был приемный день – среда от 12 до двух часов; барыни съезжались парадно, принимались чинно – настоящий придворный этикет; сама Бибикова сделала только по одному визиту, но ни у кого не бывала запросто. По вечерам были у Бибиковой танцевальные вечера по приглашению, тут она была просто, по-домашнему одета, ужинов не давали. Но когда бывал бал в торжественные дни, тогда Софья Сергеевна нарядами своими и, можно сказать, наружностью – затмевала всех дам. Когда давались балы обществами дворян или купцов, или, редко, частными людьми, Бибикова всегда одевалась весьма парадно; она была кавалерственная дама.

#### Приложение

##### **Инструкция графа А.Х. Бенкендорфа чиновнику III отделения**

Стремясь выполнить в точности высочайше возложенную на меня обязанность и тем самым споспешествовать благотворительной цели Государя Императора и отеческому Его желанию утвердить благосостояние и спокойствие всех в России сословий, видеть их охраняемыми законами и восстановить во всех местах и властях совершенное правосудие, я поставляю вам в неперемнную обязанность, не щадя трудов и заботливости, свойственных верноподданному, наблюдать по должности следующее:

1). Обратить особое ваше внимание на могущие произойти без изъятия во всех частях управления и во всех состояниях и местах злоупотребления, беспорядки и закону противные поступки.

2). Наблюдать, чтоб спокойствие и права граждан не могли быть нарушены чьей-либо властью или преобразованием сильных лиц, или пагубным направлением людей злоумышленных.

3). Прежде нежели приступить к обнаруживанию встретившихся беспоряд[ков], вы можете лично сноситься и даже предварять начальников и членов тех властей или судов или те лица, между коих замечены вами будут незаконные поступки, и тогда уже доносить мне, когда ваши домогательства будут тщетны; ибо цель вашей должности должна быть прежде всего предупреждение и отстранение всякого зла. Например, дойдут ли до вашего сведения слухи о худой нравственности и дурных поступках молодых людей, предварите о том родителей или тех, от коих участь их зависит, или добрым вашим внушением старайтесь поселить в заблудших стремление к добру и возвести их на путь истинный прежде, нежели обнаружить гласно их худые поступки пред правительством.

4). Свойственные вам благородные чувства и правила несомненно должны вам приобрести уважение всех сословий, и тогда звание ваше, подкрепленное общим доверием, достигнет истинной своей цели и принесет очевидную пользу Государству. В вас всякий увидит чиновника, который через мое посредство может довести глас страждущего чело-

вечества до Престола Царского и беззащитного и безгласного гражданина немедленно поставить под высочайшую защиту Государя императора.

Сколько дел, сколько беззащитных и бесконечных тяжб посредством вашим прекратиться могут, сколько злоумышленных людей, жаждущих воспользоваться собственностью ближнего, устрашатся приводить в действие пагубные свои намерения, когда они будут удостоверены, что невинным жертвам их алчности проложен прямой и кратчайший путь к покровительству Его Императорского Величества.

На таком основании вы в скором времени приобретете себе многочисленных сотрудников и помощников; ибо всякий Гражданин, любящий свое Отечество, любящий правду и желающий зреть повсюду царствующую тишину и спокойствие, потщится на каждом шагу вас охранять и вам содействовать полезными советами и тем быть сотрудником благих намерений своего Государя.

5). Вы без сомнения даже по собственному влечению вашего сердца стараться будете узнавать, где есть должностные люди совершенно бедные или сирые, служащие бескорыстно верой и правдой, не могущие сами снискать пропитание одним жалованием, о каковых имеете доставлять ко мне подробные сведения для оказания им возможного пособия и тем самым выполните священную на сей предмет волю Его Императорского Величества – отыскивать и отличать скромных верно-служащих.

Вам теперь ясно открыто, какую ощутимую пользу принесет точное и беспристрастное выполнение ваших обязанностей, а вместе с тем легко можете себе представить, какой вред и какое зло произвести могут противные сей благотворительной цели действия: то конечно нет меры наказания, какому подвергнется чиновник, который, чего Боже сохрани, и чего я даже и помыслить не смею, употребит во зло свое звание; ибо тем самым совершенно разрушит предмет сего отеческого государя Императора учреждения.

Впрочем, нет возможности поименовать здесь все случаи и предметы, на кои вы должны обратить свое внимание, ни предначертать вам правил, какими вы во всех случаях должны руководствоваться; но я полагаюсь в том на вашу прозорливость, а более еще на беспристрастное и благородное направление вашего образа мыслей.

Подписано: генерал-адъютант Бенкендорф

#### Приложение

#### **Записки Ивана Степановича Жиркевича (1789-1848)**

*«Русская старина», сентябрь 1878 г.*

XXIV\*

В Симбирскую губернию я въехал 29-го марта 1834 года. Вода ливнем стекала с гор, земля во многих местах обнажилась, а по дороге черноземная грязь так затягивала полость, что я на первой [почтовой] станции Симбирской губернии, несмотря что в мой экипаж впрягли восемь лошадей, принужден был его оставить, приказав его поставить опять на летний ход, пересев в розвальни с слугою, в одном теплом сюртуке и вицмундире, потащился далее, а через две станции прибыл в первый город Симбирской губернии – Арда-тов.

Тут и слуха еще не было о смене прежнего губернатора и о моем назначении. Остановясь на постоялом дворе, я послал просить к себе городничего, который, являсь ко мне, самым подозрительным образом на меня поглядывал и, казалось, что он подозревал во

---

\* См. «Русскую Старину» изд. 1876 г., том XVI, стр. 627-648; том XVII, стр. 127-144, 251-256, 771-786. Изд. 1878 г., том XXII, стр. 401-423. Ныне помещаемые главы написаны И.С. Жиркевичем, как видно из его пометы: «в Витебске, в 1841 г. марта 31-го». – Примеч. ред. «Русской Старины»

мне самозванца\*! Как скоро это недоразумение объяснилось, он тотчас предложил мне, для отдыха, перебраться на его квартиру, – ибо, действительно, та, которую мне предоставила судьба на первых порах в моей губернии, была очень неудобна, а в особенности грязна, – на что я с благодарностью изъявил свое согласие, тем более что кроме отдыха я хотел пробыть в этом городе один день для осмотра казенных заведений, а более всего расспросить кое-что касательно начатого уже обращения казенных крестьян в удел.

Попросив городничего, прежде чем ехать к нему на квартиру, свезти меня в городскую больницу и тюрьму, мы вышли на крыльцо и, когда подъехал его экипаж, я подумал, что он надо мной смеется или должен быть весьма странный в своем образе жизни: я увидел в первый раз *тарантас*, – экипаж, о котором и понятия не имел!..

Признаюсь, первая встреча с общественными заведениями, тюрьмою и больницею не совсем меня порадовала, а расспросы о средствах к улучшению этих заведений меня еще более огорчили. Но зато другой предмет, именно переход крестьян в удел, меня успокоил.

В самом Ардатове целая слобода населена бывшими казенными, а теперь удельными крестьянами, и они не только не огорчились перемене своей участи и названия, но, казалось, еще более были довольны оным, ибо с самой первой минуты перехода они заявили свои претензии на соседние участки, как к городу, так и к местным помещикам, и новое их начальство крепко обнадежило и уже принялось за них хлопотать. На другой день явился ко мне исправник и подтвердил те же сведения касательно уезда, с оговоркой, что там крестьяне более толкуют о своем перевороте и что по сие время находятся в чаду своего превращения...

Не доезжая 12-ти верст до Симбирска, совершенно на ровном месте, часу в первом ночи наехали на экипаж, вполовину опрокинутый в воду, которая потоком стремилась через дорогу и через мост. На последнем стоял человек, по колена в воде и, держа лошадь под уздцы, кричал нам, чтобы мы держались другой стороны дороги, ибо собственный экипаж свидетельствует, что здесь рытвина и что он едва-едва не утонул, а теперь ждет помощи из дер. Баратаевки, куда он послал верхом своего ямщика. Возница мой, следуя совету, взял влево, и мой тарантас немедленно стал в pendant\*\* другому экипажу, т.е. на бок в рытвину, зачерпнувши кузовом воду.

Чиновник мой *Брянцев*, ехавший со мной и еще накануне жаловавшийся на большую головную боль, спал. До моста оставалось саженой пять, но вода в этом месте с такой силой неслась, что я не решился перейти, а, боясь быть снесенным и как я ни желал сохранить свое инкогнито до самого города, принужден был приказать своему ямщику, чтобы он, отпрягши осторожнее лошадь, скакал бы в деревню и собрал там мужиков, чтобы шли скорее вытаскивать губернатора. Тут проснулся и Брянцев мой, у которого от холода и, вероятно, от усилившейся болезни открылся бред, и, не постигая, где мы и что с нами, начал вертеться с боку на бок, нести всякую ахинею и непременно требовал, чтобы его выпустили вон. Как ни убеждал его оставаться в покое, принужден был вступить в единоборство и еле-еле удержал его в экипаже.

Таким образом, более часу проваландались мы, рискуя ежеминутно выкупаться: стоило коренной лошади дернуть, и наш тарантас тотчас бы опрокинулся в воду. Наконец, показались верховых и на санях человек 30 крестьян, и начались нескончаемые крики, толки, кончившиеся тем, что от тарантаса до моста установили до шести саней без лошадей, и я по импровизированному мосту, перескакивая с одних саней на другие, добрался до последних – запряженных, где, усевшись на днище, торжественно был ввезен на кляче в

---

\* Премьера пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» в Александринском театре в Петербурге состоялась лишь в апреле 1836 г.

\*\* В продолжение.



Баратаевку. Товарища моего вынесли на руках и потом точно так же привезли в деревню. На другой день в городе происшествие это разгласилось, и князь *Баратаев*, владелец этой деревни, приветствовал меня русским каламбуром:

– Ваше превосходительство, не можете жаловаться на то, чтобы вас в Баратаевке сухо встретили!

В Симбирск я приехал ночью с 30-го на 31-е марта.

Въехавши в город, я велел ямщику везти себя в лучшую гостиницу, строго запретив объявлять, что я губернатор. Подъехавши к каким-то воротам, принялись стучать, чтобы вызвать дворника, который, после долгих ожиданий, наконец, явился и повел нас в номер, в котором не было даже зимних рам, а стояли одиночные с разбитыми стеклами, заклеенными большею частью бумагой, да и там местами порванная. Холод и сырость в комнате были невыносимые. Все убранство ее состояло из трех или четырех просиженных соломенных стульев, из неокрашенной, загаженной мухами и клопами, кровати с соломенным тюфяком, железного сломанного ночника и стен, униженных прусаками.

Наконец, пришел хозяин, мещанин в грязном сюртуке и растрепанный донельзя, объявивший с самодовольством, что это лучший номер в его гостинице и что «самые хорошие господа всегда у нас притуляются». Делать было нечего, безропотно покорился своей участи и, чтобы как-нибудь скоротать до рассвета, я приказал согреть самовар и пустился расспрашивать хозяина о городских новостях. Хозяин оказался очень глупым мужиком и, вдобавок, совсем неразговорчивым, так что я его тотчас отпустил, а сам сидя на стуле, не решаясь лечь на кровать, продремал до света.

В 6 часов утра послал человека с дорожною оповестить полицеймейстера, что новый губернатор ночевал уже в городе. Сей немедленно явился, и я просил его дать мне более приличную квартиру. Он мне объявил, что весь губернаторский дом к моим услугам и что там я могу остановиться хоть сейчас; тогда я повторил вновь мое требование – квартиру. Через полчаса я уже перешел на нее и, очистившись от дорожной грязи, приказал себя везти к бывшему губернатору Z, которого встретил уже на дороге, ехавшего ко мне. Пересев к нему в сани, я отправился к нему в дом. Z я нашел в совершенном отчаянии; указ о смене его был получен в Симбирске 25-го числа, а до того времени он и не думал о том.

Первое, что он мне предложил – это очистить для меня дом, но я ему объявил, что если он из Симбирска уедет прямо не из губернаторского дома, то моя нога в оном не будет, со дня его отъезда, ровно шесть месяцев, что меня сильно расстроит, но, несмотря на все, непременно поступлю таким образом. Затем старался успокоить его и, как [было] заметно, не без успеха, передав ему мнение и отзыв о нем государя и некоторых министров, так что когда вошла в кабинет его жена, с которою он меня познакомил, то он весело передал ей все мною сказанное, говоря, что положение его не так худо, как он себе воображал.

Оба рассыпались в благодарностях за мою деликатность, что я не пользуюсь своим правом и не выживаю их с занимаемой ими квартиры, просили дом их считать своим и, пока не обзаведусь своим хозяйством, сделал бы им честь обедать у них. Поблагодарив за это предложение, я дал слово обедать у них этот день, не ручаясь за будущее и, пробыв у них около часу, вернулся домой, а между тем в городе уже прошла весть о моем внезапном прибытии.

Я объявил полицеймейстеру, ожидавшему меня на квартире, что я в этот день никого принимать не могу, но желал бы лишь видеть вице-губернатора, управлявшего губерниею, также управляющего удельною конторою NN\* и обоих жандармских штаб-офицеров: губернского – майора *Стогова* и командированного по удельной части подполковника

---

\* Как мы уже поняли из воспоминаний Э. Стогова – это А.В. Бестужев. – Примеч. М.И. Классона

Ф[лиге], которых просил непременно пожаловать ко мне. Вице-губернатор приехал через ¼ часа, а Ф[лиге] через час. О Стогове и о NN полицеймейстер доложил мне, что первый отозвался усталостью, так как он только что вернулся в город, а последний отвечал ему на приглашение: «хорошо». Прождавши сих двух господ до 3-х часов, я поехал обедать к Загрязскому\*, где кроме хозяев обедал еще с нами Ф[лиге].

После обеда, возвратившись домой, часов около 6-ти вечера, приехал ко мне старый мой знакомый, бывший губернский предводитель, князь Баратаев, и едва мы перекинулись несколькими приветствиями, как доложили о приезде NN. Баратаев тотчас встал и, простившись со мной, вышел (Баратаев был в мундире). Вошел NN, в черном фраке с вытертыми и облезлыми пуговицами. Если бы я и не был предупрежден насчет NN, то и тогда такое неприличие его костюма при первом свидании со мною, как с начальником губернии, могло бы меня удивить, но тут я тотчас понял и цель, и дерзость сего чиновника.

Со всем тем, заботясь об исполнении лишь священного слова государя и о настоящем деле, а не о формах одежды – я с приветливостью пригласил г. NN садиться; рекомендуясь ему как новоприезжий, просил о знакомстве, извиняясь, что не предупредил его моим визитом, и просил его о вразумлении и сведений по общему нашему делу. С первых слов он начал бранить Z, казенную палату и прежнее управление казенных крестьян. В самых резких и неприличных словах отзывался он о сделанных, до моего прибытия, распоряжениях и с нахальством объявил, «что он сумеет справиться», хотя, видимо, бунтует крестьян их прежнее начальство. Потом, все более и более удаляясь от дела, начал рассказывать мне городские анекдоты, распри Z с ним и с другими и, наконец, свел свою речь к наставлениям меня как управлять губернию.

Раза три или четыре я пробовал прерывать его рассказы и сводил речь на настоящее дело, но он, как будто бы, все увертывался от моих расспросов и еще с бóльшим увлечением продолжал свои рассказы. В такой беседе мы провели час времени, и когда он встал и стал прощаться со мной, я ему сказал:

– Милостивый государь! Я знаю, что вы не подчинены моему начальству. Но в настоящем деле у нас цель общая – ибо Государь повелеть соизволил мне в особенности озаботиться, чтобы переход казенных крестьян в удел совершился мирно и покойно; а так как я должен признаться вам, что, служа постоянно по военной части и не быв помещиком, не знаю всех подробностей крестьянского быта, а между тем, по настояниям и моего и вашего начальства, должен предполагать, что существует разница между бытом казенного и удельного крестьянина, а потому прошу вас, ради пользы службы, если бы вам пришлось делать какие-либо распоряжения, разорительно переменяющие привычки крестьян, – приступая к оным, не откажите мне – не письменно, но хоть словесно, предварить меня, чтобы я, во всякое время, был готов, если надобность потребует, вам содействовать...

– Вижу, ваше превосходительство, – отвечал он мне, – цель вашу: вам очень хочется взять удельных крестьян под вашу руку. Это очень легко сделать. Я завтра же рапортуюсь больным, и вы можете распоряжаться как вам будет угодно...

– Господин NN – вскричал я, весь вспыхнув от такой наглости и <...>\*\*, – я виноват, что повод к такой дерзости подал я сам, тем, что с первого раза не осадил вас, когда вы позволили явиться ко мне, начальнику губернии, в этом фраке! Знайте, что я не унижу себя принятием ваших на себя обязанностей, но сейчас же вас отрешу и с жандармом прямо отправлю в Петербург при донесении моем Государю, а вас заменю другим чиновником.

Он затрясся от испуга и, переменяя тон, тотчас стал извиняться, говоря, что, точно, был неосторожен, что от усиленных занятий голова его в напряженном состоянии, часто не

---

\* Редакция «Русской Старины», похоже, не до конца зашифровала прежнего губернатора (см. также ниже).

\*\* Опущено редакцией «Русской Старины» или цензурой.

помнит что́ говорит и что он просит великодушно простить его и что цель у него точно такая же, как и у меня – исполнить волю и повеление государя. В доказательство того, что он смотрит и почитает меня как хозяина здешней губернии, следовательно, отчасти и своим начальником – это, что когда завтра будут представляться мне чиновники, он прибудет тоже со всеми своими служащими и с рапортом – одним словом, видимо, перепугался и образумился.

Как много ни был я предупрежден в Петербурге, но я не думал, чтобы NN был таков, и, предвидя в будущем общее с ним служение, я взял на себя – опять пригласить его сесть с собою, стал говорить о деле. Ответы получал пристойные и удовлетворительные, а чрез полчаса, отпуская его, я же извинился в своей горячности. Просил его не только извинить меня, но не перепускать через порог этого происшествия и размолвки между нами. Просил отнюдь не являться ко мне с рапортом, повторяя, что не признаю себя его начальником, в частности, но, на случай затруднений при переходе крестьян, по воле его же начальства, обязан с ним участвовать вместе, и получил от него слово, что все останется между нами, как будто не было размолвки, и никому ни слова не скажет об этом. На другой день он приехал, вместе с прочими чиновниками, в мундире, и я в тот же день, в числе значительнейших лиц, заплатил ему мой визит. На Святой неделе обедал у него публично – а он, между тем, исказив наш разговор, с жалобой на меня в тот же день отнесся к Перовскому и тем положил основу неприязни сего последнего ко мне и настоящему (писано в 1841 г.), неприятному для меня положению.

На другой день чиновники и жительствующие в городе дворяне удостоили меня своим посещением, и после них явился и господин майор Э.И. *Стогов*. Сей последний доставил мне в разговоре, по крайней мере, некоторые сведения, которые указали мне путь к моим дальнейшим действиям.

Ровно чрез две недели после вторичного посещения NN я получил официальное письмо от Перовского, в котором он пишет мне, «что при отъезде моем из Петербурга он просил меня покровительствовать и содействовать удельным распоряжениям, но он опасается, чтобы не произошло тут какого-либо недоразумения. Удельное начальство и управление имеют особые правила и учреждения, состоя в непосредственном ведении удельного департамента, а потому, и теперь повторяя свою покорную просьбу о том же предмете, долгом считает присовокупить, что эта просьба именно относится к тем случаям, когда местное удельное начальство само будет обращаться за содействием», – одним словом, я понял, что NN жаловался на то, что́ произошло между нами при первом нашем свидании, представив Перовскому весь разговор в превратном виде.

Я отвечал Перовскому, что помню в буквальном смысле все сделанные им в Петербурге мне наставления и поручения; что вовсе не думал ни на волос отступать от них. С юности моей поставил себе за самое строгое правило – не вмешиваться никогда в чужие дела, и я свято, по сие время, следую оному. Не нарушая его, не нарушу и в отношении удельного ведомства. Чрез две почты я получил указ сената, что сенатору Перовскому высочайше повелено отправиться в Симбирск, для удобнейшего устройства удельного управления и для соглашения действий оного с местным губернским начальством, предоставляя ему действовать в сем случае на правах ревизующего губернию сената. Перовский прибыл в Симбирск около половины мая.

На первый день святой Пасхи я обедал у князя Баратаева, уже не губернского предводителя, но, за неутверждением такового, исправляющего эту должность. Кроме этого звания он исполнял обязанности попечителя губернской гимназии и секретаря «Общества христианского милосердия», существовавшего в Симбирске уже 15 лет. Первым учредителем оного был князь Баратаев, а председательница – супруга генерал-майора *Ивашева*, и все общество состояло под непосредственным покровительством императриц, сперва

Елисаветы Алексеевны, а потом Александры Федоровны. Цель оного была – пособие нуждающимся, стыдящимся просить милостыню, воспитание и покровительство девицам, дочерям бедных чиновников и разночинцев, служащих в губернии.

Первоначально число воспитанниц назначено было 10, а затем, когда средства общества усилились, численность оных прибавилась до 20-ти и потом до 30-ти, далее же не шла. Заведение это помещалось в небольшом каменном двухэтажном доме с садом, пожертвованном одним из членов, и, как внутреннее управление, так равно и воспитание, получаемое девицами, признано было примерным не только всеми, но и самим Государем, удостоившись, в пребывании своем в Симбирске, обозреть это заведение во всей подробности.

Так как воспитанницы, поступившие туда, исключительно принадлежали к бедному словию и по выходе оттуда, по необходимости, встречались в семье с нуждой, то вся роскошная обстановка, какую встретишь в подобных заведениях, была устранена, и только самая строгая чистота, поддерживаемая самими воспитательницами по очереди, царствовала повсюду. Мебель, кровати, постельное белье были самые простые, еда тоже, но сытная, и все внимание начальницы обращено было на то, чтобы девицы, относительно всего обыденного и необходимого, работы бы исполняли собственноручно, ничего не поручая служанкам, кроме, конечно, самых черных работ. Занятия их заключались преимущественно в рукоделиях и в преподавании некоторых новейших языков и других предметов, необходимых чтобы быть порядочной гувернанткой музыки и танцев – последнее, скорее, как гигиеническое средство, в виде усиленного моциона.

За все время своего существования заведение ни разу не испросило пособия, ни копейки от казны, а постоянно поддерживалось одною частною благотворительностью, и во время пребывания моего в Симбирске, благодаря разумной и честной распорядительности этого заведения, оно насчитывало у себя капиталу уже до 70 тысяч рублей ассигнациями. В Симбирске находилось еще и другое заведение, содержимое так же на частные благотворительные средства, – дворянский пансион с 20-ю воспитанниками, коим заведывал тот же князь Баратаев.

\*\*\*

Желая как можно быстрее и ближе ознакомиться с губерниею, и в особенности с положением бывших казенных, а ныне удельных крестьян, я отправился недели чрез три после своего приезда на ревизию в г. Буинск, верстах в 50-ти от Симбирска. Но не успел я приехать туда, как получил с нарочным донесение от вице-губернатора, что в Сызранском уезде между лашманами возникло беспокойство, по поводу отчуждения сенатом участка земли от одной казенной волости к помещичьему владению. Это волнение началось еще в прошлом году, в октябре месяце, когда им объявлен был сенатский указ на месте, и лашмане оказали сопротивление, прогнав с межи землемера с земскою полицией, не дав первому приступить даже к межеванию, – но, за поздним временем года, дело это было оставлено без расследования и отложено до весны.

Теперь же, когда исправник и землемер, взявшие с собой 12 человек инвалидов, прибыли на место для объявления и исполнения сенатского указа, то лашмане огульно и небольшое число удельных крестьян, всех до 4 тысяч душ, собравшись толпой, оказали сопротивление, и чиновники вместе с командой вынуждены были удалиться. При сем вице-губернатор *Огнев* доносил мне, что губернское правление сделало уже распоряжение о командировании на место, на подводах, двух рот гарнизонного батальона, но что он, в ожидании моего согласия или разрешения, приостановился отправлением этой команды.

Постигая вполне, что первые мои распоряжения по столь важному предмету короче ознакомят меня и с губернией и с правительством, я поехал обратно в Симбирск и по приезде отношениями пригласил к себе на совещание NN, также гг. Ф[лиге] и Э.И. Стогова.

Первые два не явились и даже не дали отзыва, а когда последний прибыл и объяснил мне все происшествие от начала, как оно было, то я упросил его лично мне содействовать, отправиться тотчас на место – за 280 верст, объяснить дело, убедить словами неповинующихся, предваряя их о крутости моего нрава и решимости к строгим мерам, если буду вынужден к тому.

А, между прочим, просил его, чтобы он по тракту приказал бы заготовить 200 подвод, и если он не увидит успеха в своем предприятии, то чтобы уведомил меня чрез нарочного, и я, конечно, на другой день лично явлюсь для дальнейших распоряжений. Известя о сем вторичными отношениями гг. Ф[лиге] и NN, я решительно требовал от них, чтобы, в случае моего выезда из города, они оба мне туда сопутствовали. Но как сие подействовало на их мнения – я не знаю, ибо дошло до моего сведения, что оба они в тот же день куда-то из Симбирска выехали. Последствие открыло мне общую им обоим трусость действовать там, где есть риск жертвовать собою лично.

На пятый день после того Э.И. Стогов возвратился ко мне и передал на словах, а потом известил меня письмом, что когда он прибыл на место, то действительно нашел там в поле, на бивуаках, толпу народа более чем в 2 000 человек, которые, без малейшего волнения, избрали из среды своей выборных, прислали их к Стогову, прося чтобы он объяснил им, в чем именно заключается дело и как решил сенат их тяжбу с помещиком? Стогов удовлетворил их просьбе, весьма толково разъяснил все дело; оказалось из их рассказов и расспросов, что волостной писарь их, своими кривыми толкованиями, ввел крестьян в сомнение, утверждая, что дело не совсем еще решено и что можно опять просить сенат о перерешении дела.

Когда же он объявил им о последствиях их неповиновения и какую беду накликают они на свои головы, то они слезно начали просить его заступничества за них пред правительством, изъявляя готовность свою тотчас доказать на деле, что они и в мыслях не имели сопротивляться указу, и тут же начали помогать землемеру в его работах отрезки от них земли в пользу помещика, что и было исполнено при всем собравшемся народе. Стогов привез ко мне трех выборных, которые на коленях просили пощады и помилования их глупости и недоразумения, на что, конечно, я с радостью согласился, прочитав им приличное наставление, и весь этот *бунт*, для усмирения которого собирали такую грозную военную силу, кончился тихо и мирно, с отдачею под суд лишь одного только писаря.

Признательность моя по сему делу вполне принадлежит Э.И. Стогову, и в том же духе донес я моему начальству о сем происшествии. А между тем другие два героя, Ф[лиге] и NN, с общего согласия, представили дело сие удельному начальству как весьма важное и влекущее за собою медленную еще развязку, причем NN просил удельный департамент, что как по смыслу указа о переходе казенных крестьян в удел, в котором о лашманах включен особый параграф, сии последние поступают в удельное ведомство не вполне, а только подчиняются заведыванию оною, и лашмане имеют все земли в собственности у себя, а не в общинном владении деревнями или селениями, и, при прежнем еще управлении, у них были непрестанные тяжбы или между собою или с соседними помещиками, которые и по сие время разбираются судом, – то нельзя ли, хотя на первый раз, устранить удельных чиновников от присутствия при подобных разборах. Ибо и в настоящем случае, который может продлиться весьма долго, губернатор требует присутствия даже самого управляющего удельною конторою не взирая на то, что он в настоящее время занят важнейшим делом переустройства удельного управления, распространяющегося слишком на 240 000 душ.

Последствием сего было, что департамент уделов, разъяснив смысл параграфа о лашманах, разрешил удельной конторе, согласно с представлением: «при разборе споров о лашманских землях не отражать вовсе своих депутатов и не только не защищать их дел по

спорам, но даже не вмешиваться в них», дополняя в заключение, «чтобы управляющий резолюцию сию сообщил губернскому начальству для будущих его, по подобным делам, соображений». Одним словом, испуг NN и Ф[лиге] явиться на место, там где был личный риск их, положил основание той ошибки, которая впоследствии наделала большие затруднения и неприятности!

Само по себе разумеется, что предмет сей привлек на себя все мое внимание, и я стал под рукою всячески стараться следить за распоряжениями нового над крестьянами начальства (прибавлю от себя – не из тайного желания найти что-нибудь дурное для своих личных целей, а единственно во избежание новых столкновений и, все-таки, для общего дела знать, что делается). Гг. NN и Ф[лиге] беспрестанно выезжали из города в удельные имения и, большей частью, вместе. Ф[лиге], как жандармский уполномоченный, каждый раз запискою давал знать губернатору о своем выезде в такой-то уезд, требовал, чтобы давалось исправнику строгое предписание исполнять все его требования – и каждый раз он был удовлетворяем вполне.

В числе записок его к моему предместнику я нашел несколько наполненных не только язвительными указаниями о том, что ему, Ф[лиге], не было сделано встречи, не исполнено в точности или замедлено его предписание (так называл он сношения свои с земскою полицией), но даже иногда относился с упреками к самому начальнику губернии и в одной записке он решился даже требовать, чтобы исправник Ставропольского уезда немедленно был бы смнен и отдан под суд, что Z и выполнил, к сожалению. Это уже так возвысило Ф[лиге] в своем мнении, что и ко мне он начал беспрестанно присылать записки с извещением о своих поездках, о неисправности мостов, дорог, по которым он ехал, о нескорой явке чиновников и разном подобном вздоре.

Но я с первого начала, в приличных выражениях, в моем отзыве указал ему, что он не может писать того, что не входит никак в его инструкцию, но что всякое дельное указание, сделанное им, всегда уважится вполне и с благодарностью, но что чиновники земской полиции, кроме провожания г. Ф[лиге], имеют другие, важнейшие занятия.

Между прочим, доходили до меня слухи, что в уездах, куда отправляется г. Ф[лиге], все занятие сопровождающих его членов земской полиции заключается в том, что отводят и устраивают ему квартиру, доставляют ему разные житейские выгоды, <...>\*. Почитая унизительным входить в подробные по сей части исследования, не могу однако ж не дать сему веры, ибо впоследствии из десяти исправников в губернии четверо по особому, мимо прямого начальства ходатайству, чрез удельный департамент получили подарки, перстнями из Кабинета. Все четверо были самые неисправные и слабые по первой своей обязанности и, кроме того, предосудительной нравственности.

Один из них, а именно Карсунского уезда, К..... (я нарочно здесь выставляю его имя), в первый приезд мой в его уезд, когда я, по обыкновению своему, при встрече меня на границе уезда взял с собою в экипаж и стал расспрашивать о делах, меня интересующих, то он стал жаловаться на распоряжения NN и Ф[лиге], осуждая их на каждом шагу. Но на строгое замечание мое, что на все, что удельное управление делает, он должен взирать как на высшее распоряжение и, без всякой критики о важнейших делах, непременно доводить до моего сведения, – он, видимо, сконфузился и тотчас переменял разговор. Через месяц он получил бриллиантовый перстень и перешел на службу в удельную контору. Заметно было, что он был направлен NN. или Ф[лиге] к возбуждению моего противодействия, дабы иметь повод к будущей клевете на меня Перовскому.

Подполковник Ф[лиге], в числе прочих ко мне своих записок, при самом начале доставил одну, где говорит, что он два раза уже писал к Загряжскому об одном удельном кре-

---

\* Опущено редакцией «Русской Старины» или цензурою.

стьянине, с которого какой-то чиновник взял 1 200 рублей, чтобы нанять ему поставщика в рекрута, но обманул его. Отыскав сие дело, я нашел, что Загряжским сделано уже было должное распоряжение к производству следствия, два раза он уже делал по сему предмету понуждения; со всем тем решился и я оное иметь в ближайшем виду и настаивать к скорому его окончанию. Известив о сем вежливо Ф[лиге], я дал кому должно предписание. Дня через два я получил еще о сем записку, что дело это идет очень медленно (!). Я и на это ему ответил и еще дал понуждение. Наконец, еще чрез два дня получаю опять записку от Ф[лиге], настоятельно от меня требующего, чтобы я известил его, когда это дело кончится, ибо он полагает, что крестьянин оттого лишь не получает удовлетворения, что он – удельный.

Надо сказать, что я заметил пред этим, что Ф[лиге] сделал привычку или умысел навещать меня по делам службы в сюртуке, что мне вовсе не нравилось, что я и старался отстранить, не приглашая даже тогда садиться у себя в кабинете, когда в другое время всегда принимал его приветливо, и это он, должно быть, заметил, вследствие чего стал забрасывать меня пустыми своими записками, так что иной день я получал от него штук до десяти.

Выведенный последнею запискою Ф[лиге] из терпения, я отвечал ему, что я искал в законах формы переписки с жандармскими штаб-офицерами, но ближайшего применения не нашел, как ту, которая указана для командиров баталионов внутренней стражи (те губернатору доносят, а губернатор к ним пишет отношениями), что отчетом в моих действиях я обязан только Государю и сенату. Но, привыкнув все делать гласно и из личного моего к нему, Ф[лиге], уважения, на этот раз – в последний – я и ему даю отчет... и тут прописал все, что он сам писал к Загряжскому и ко мне, что мы оба уже сделали, что отвечали ему, Ф[лиге], и заключил тем: «что, сделавши свое дело, окончание предоставляем обыкновенным формам судопроизводства и что, кроме понуждения, я не имею власти определить, когда и как дело кончится».

Разумеется, ответ мой ему не понравился. Он возразил мне, что я его обидел, применив его к офицеру внутренней стражи; что он имеет счастье носить один мундир с графом *Бенкендорфом*, и это мне должно быть известно, ибо я недавно сам оставил военную службу. Ответ мой ныне вынуждает его приостановить всякую переписку со мной и впредь все, что дойдет до его сведения, на основании «*секретной инструкции*», будет прямо доносить своему графу.

Я благодарил Ф[лиге] за первое, со времени нашего знакомства, приятное для меня извещение, ибо окончание этой корреспонденции много убавит у меня дела – и затем я решился все записки Ф[лиге], от прибытия моего в губернию включительно с последним отзвонком, а также и копии с моих отношений, представить министру, с просьбой устранить от меня назойливую и бесполезную переписку жандармского штаб-офицера, а равно и фамильярные, в сюртуке визиты.

Вслед за тем граф Бенкендорф, при особом письме, выслал мне секретную инструкцию, на которую ссылался Ф[лиге]<...> <...>\* выставлена вполне цель учреждения жандармов, коих обязанность заключается прямо в том, чтобы все, что частно дойдет до их слуха, сообщать словесно, вроде предостережения, начальникам губерний для их прямых действий, и только в случае требования самого начальника давать записки – но вовсе не в обременении их или не в надзоре за ними и наставлении; и в письме ко мне граф Бенкендорф поручает особому моему *покровительству* обоим своим штаб-офицерам, «из коих, – пишет он, – на Ф[лиге] возложена обязанность лишь по делам, относящимся до удельных

---

\* Опущено редакцией «Русской Старины» или цензурой.

крестьян», следовательно, вовсе не до дорог или земской полиции, как тот мечтал и блажил при Загряжском и со мною.

Очень скоро по приезде моем в Симбирск проезжал чрез оный граф *Строганов*, товарищ министра внутренних дел, который пробыл тут несколько дней. Посетив присутственные места, зависящие от министерства, обозрел поверхностно архив губернского правления, поверил возможность и скорость выправок и, кажется, остался, вообще, доволен. Из разговоров его со мной более примечательные приведу здесь.

*О жандармах.*

– «Как вы с ними в сношениях? Откровенны или нет? Ладите ли с ними?» (это было еще до последней записки Ф[лиге]), – спросил граф.

– Не знаю, можно ли и должно ли быть откровенным с жандармами, – отвечал я. – Они приставлены наблюдать за нами, пускай, доносят что хотят обо мне, я об этом не забочусь, ибо на совести ничего не имею. Отношений их к предместнику моему одобрить я не могу, ибо имею у себя образчики, не им в пользу служащие.

Граф Строганов взял два дела из канцелярии, заключающие в себе переписку губернатора Загряжского с Ф[лиге] о ставропольском исправнике и о прочих делах.

– Это правда, – заметил Строганов по прочтении дел, – записки Ф[лиге] писаны не совсем в приличных выражениях; но, поверьте мне, что к вам так писать никто не осмелится, а Загряжский сам подал повод.

*О городской тюрьме.*

– Вряд ли все это хорошо и практично, что так хорошо содержатся! Тепло, опрятно, сыто – много найдется охотников для такой удобной жизни!<...><sup>\*</sup>

*О доме трудолюбия, воспитательного заведения Общества христианского милосердия.*

– Это так хорошо, что я в Петербурге ничего лучше не видывал. Но знаете ли, что именно необыкновенно? Во всем виден практический смысл, которым здесь руководятся, начиная с воспитания и кончая самим помещением. Воспитанниц здесь не готовят для блестящих приемов в салонах, где бы они принимали гостей и болтали бы «des jolis rien»<sup>\*\*</sup> по-французски, а выйдут хорошие помощницы для своих неимущих родителей, могущие сами зарабатывать себе кусок хлеба и, возвратясь отсюда в свою семью, не будут тяготиться той бедной обстановкой, в которой, быть может, им во всю жизнь придется жить, так как глаз их с малолетства привык к тому, что их теперь окружает. А где они в настоящее время живут – это клетка, в которой порожнего угла нет. Но все так чисто, опрятно, уютно. Непостижимо – кем все это держится и кто этим руководит?!

На замечание мое, что душа всего этого учреждения князь *Баратаев* – он заметил: «необыкновенный человек. Но вредный для себя – языку дает большую свободу».

– Тем не менее, ваше сиятельство, – сказал я, – он мог быть употреблен с большою пользой на службе, как, например, губернатором, чего, как я слышал, он сам желает.

– Никогда! – возразил граф.

Благородный пансион граф Строганов нашел для Симбирска недостаточным. О заведении приказа общественного призрения заметил мне, что «много-много будет мне трудов и забот».

Накануне отъезда своего граф просидел у меня утром часа полтора и в разговоре спросил у меня:

– Кто здесь содержит откуп?

– Кузин, Позин и К<sup>о</sup>, – отвечал я, – а представитель этой фирмы *Бенардаки*.

– Это что за человек? Знакомы ли вы с ним?

---

<sup>\*</sup> Опущено редакцией «Русской Старины», а скорее – цензурою.

<sup>\*\*</sup> Примерно: «только благоглупости».



– Сомнения нет. Как не быть знакомому с откупщиком? Весьма умный и замечательно способный человек.

– А знаете ли что́ дает откуп полиции?

– Нет; меня это мало интересовало, ибо я [и так] знаю, что все чины от мала до велика находятся у них на жалованье.

– Я могу сообщить вам кое-что по этому предмету, – сказал граф. – У меня есть привычка исправников возить с собою и расспрашивать их о всех делах в их уездах и, между прочим, чем и как содержат они себя. Многие указывали на получаемое жалованье, на свои собственные имения, но никто не заикнулся о каких-нибудь косвенных доходах. Только два исправника вашей губернии, буинский и симбирский\*, на мои расспросы прямо мне сказали, что главная поддержка их благосостояния находится в зависимости от откупщика, от которого определено им в год: первому 2 500 рублей, а последнему 3 000 рублей, и что всего оригинальнее – это замечание, которое мне сделал буинский исправник: «смею доложить вашему сиятельству, что только в одном месте начальство и чиновники не берут с откупа, а то везде!» – «Где же?» – спросил я. – «Там, где его нет!» – отвечал он... Но мы отделились от нашего разговора о Бенардаки; скажу вам, что, слыша от вас такой об нем отзыв, мне бы очень хотелось с ним познакомиться...

– Это весьма легко сделать, – сказал я. – Но предваряю вас, что с крупными спросами не приступайте. Он застенчив и упрям. В общем разговоре он разговорится, и вы убедитесь в познаниях его и в красноречии; но на резкий тон отвечать не станет.

– Я много говорил с помещиками о хлебной торговле здешнего края и много слышал нового и хорошего; хотелось бы поговорить и с Бенардаки.

– От него услышите и более и дельнее, чем от кого-либо: экономическое знакомство с краем большое, сношения у него обширные, и я уверен, что беседой его останетесь довольны...

Вечером я заезжал к графу и, выходя от него часу в восьмом, встретил на крыльце Бенардаки и Стогова, шедших вверх к графу. На другой день поутру, в 5 часов, пришедши проводить его в дорогу, так как он собирался выехать в 6 часов, я услышал от камердинера, что граф только с час как назад уснул: просидел все время с господином, которого я встретил вчера уходя. Проснувшись, Строганов принял меня в ту же минуту и первое его слово было: «правда ваша! Я познакомился с откупщиком, и его знакомство что-нибудь да стоит».

Кстати здесь и я прибавлю от себя насчет Бенардаки, которого мне рекомендовал *Жмакин*, пред моим отъездом из Петербурга, имевший в этом откупе несколько паев, и, сверх того, по прибытии моем в Симбирск я получил письмо от *фон-Дервиза*, в котором он, по поручению *Позена*, правителя дел военно-походной государя канцелярии, просил меня принять Бенардаки под мое особое покровительство.

Сам же [Бенардаки] явился ко мне после письма недели через две и рекомендовался с величайшей скромностью. Потом, спустя несколько времени приехав ко мне, просил позволения поговорить со мной откровенно, наедине. Догадываясь, некоторым образом, о поводе такого предложения, я с улыбкою согласился на это; тогда он сказал мне:

– Я знаю, что ваше превосходительство теперь не при деньгах и на днях заняли у Огнева (вице-губернатора) 2 000 рублей для отсылки к жене вашей. Позвольте мне предложить вам свои услуги. Мы, откупщики, имеем коренное правило – ежемесячно часть нашей прибыли уделять начальству, и я смею просить вас оказать мне такую же благосклонность, как и предместники ваши допускали: позволять, в случае нужды, предлагать от души пособие.

---

\* Имеются в виду уезды Симбирской губернии.

– Г. Бенардаки, – сказал я, – вы видите, что я нисколько не оскорбляюсь вашим предложением, ибо то, что уже вошло в правило, не смею называть умыслом к обиде. Но позвольте же и мне быть с вами откровенным. Мне рекомендовали вас как самого честного и благородного человека; многие действия ваши к пособию нуждающимся и вообще всем, которые участвуют с вами в делах, мне очень известны, и Жмакин тоже предварил меня, что вы всегда будете готовы ссужать меня, когда я буду нуждаться; но я от вас прошу не денег, нет! но гораздо важнее – вашего личного ко мне уважения и содействия мне в таких делах, где ваше участие может не только сохранить, но даже поддержать мою репутацию.

Он начал, было, опять настаивать на своих предложениях, но когда я, переменяя тон, сказал, что неужели он не верит, что есть на свете люди, искренно желающие сохранить к себе уважение, тогда уже он стал извиняться перед мной и просить, чтобы я не обвинял его в дурных замыслах против меня. На этой попытке и кончился соблазн и более не повторялся. Затем завязался между нами разговор самый интересный, касательно торговли, помещиков, удельных крестьян, чиновников – и здесь он выказал мне свои чувства и дарования в самом блестящем и благородном виде. Так что два часа, проведенные в его обществе, незаметно для меня как прошли, и с этого дня, признаюсь, считал его лучшим для себя собеседником и наставником, особенно в торговом отношении.

Не более как чрез месяц представился мне случай проверить его благонамеренность на самом деле... В Ставропольском уезде в сем году оканчивался устройством казенный Мелекесский винокурный завод, долженствовавший ежегодно выкуривать до 800 тысяч ведер водки для Симбирской губернии. Бенардаки указал мне всю важность этой операции и предварил меня известием, что еще за несколько лет, зная распоряжение правительства об устройстве этого завода, все ближайшие к оному мельницы, числом более 20-ти, он постепенно брал в аренду. Весь помол за несколько лет на сих мельницах сохраняется у него, собственно, для неизбежной первоначальной поставки муки на завод, и теперь уже имеется у него налицо до 30 тысяч четвертей; что теперь цены (в мае) на муку очень высоки, т.е. по 10 рублей и 10 руб. 50 коп. за четверть, и цена сия всегда держится до заподрыда на завод, а потом вдруг упадает; торопиться вовсе не следует, ибо если Бог даст урожай, то цена, наверное, понизится до 5-ти и даже 4 руб. 50 коп. за четверть.

А между тем он знает, что министерство финансов делает уже распоряжение для закупки 180 тысяч четвертей хлеба и, возлагая это на казенную палату, вместе с тем привлекает к тому губернатора лишь для вида и для ответственности. Действительно, через неделю я получил предписание министра финансов – оказать мое содействие палате, указать средства заготовления хлеба выгоднейшие, подрядом или покупкою и проч.

В это время на базарах мука и рожь продавалась 70, 65 и 60 коп. пуд, понижаясь в самом малом размере – все зависело от урожая. Торги назначались в августе. Лето все было дождливое, и только в августе едва окончили жать хлеб, но свезти с поля не было возможности от не перестававших дождей, и рожь в копнах начала прорастать. К торгам никто не явился.

Желая лучше удостовериться в средствах снабжения завода хлебом, я в августе лично отправился в заволжские уезды. Заезжал на некоторые частные [винокурные] заводы и от хозяев оных, так равно от поселян и помещиков, дознавал – что в этом месяце все частные заводы составляли условие на доставку туда хлеба по 70 коп., без залогов, но и не делая контрактов; а если на Мелекесский завод казна утвердит цену выше этой, то хозяева за поставленное количество обязаны цену уравнивать с казенною, но на дальнейший подряд оставляли за собою свободу действий.

Казенная же палата ежедневно два раза бомбардировала меня разрешить ей положительно – как она должна поступить: купить ли хлеб или подрядить, и по какой цене? При

этом всякий раз доносили, что мелочною покупкою, на базарах, по утвержденной мною цене 70 коп. за пуд едва ли можно купить более 10 четвертей в день; выклянчили, наконец, от меня цену 80 коп. за пуд. Торги перенесли на сентябрь и затем, в третий раз – на половину октября. Справочная цена в смежности с Симбирскою губернией стояла на рожь по 11 руб. 50 коп. за четверть.

В октябре месяце явился, наконец, один поставщик с предложением по 12 руб. 75 коп. от четверти, оговариваясь краткостью времени: бездорожье было совершенное и, по сведениям, молотой муки в окрестностях завода, кроме как у Бенардаки, вовсе не было. Бенардаки месяца два как уехал в Оренбургскую губернию, где он купил огромное имение; не с кем было посоветоваться, каждый норовил что-нибудь и как-нибудь сорвать; мне приходила, решительно, беда. Тут еще, под рукою, дошло до моего сведения, что один из чиновников, состоявших при мне, находится в близких связях с явившимся поставщиком, хвастается своим влиянием на меня, чрез что могла еще пострадать моя репутация. А казенная палата не переставала делать мне представления о последних торгах, настоятельно требуя разрешить и указывая, что действия [Мелекесского] завода непременно должны открыться 16-го ноября, а на заводе имеется только 2 тыс. пудов муки.

В таких тяжелых и неприятных для минут узнал я, что приехал Бенардаки, бросился к нему за советом, и он меня тотчас же успокоил, сказав, что на заводе у чиновников скуплено для оборота 15 тыс. четвертей (а мне доносили – 2 тыс. четвертей), да у него готово более 30 тыс. четвертей. Следовательно, сим количеством первоначальное действие завода совершенно обеспечено, и что он готов сам приступить к подряду, но в настоящее время не имеет у себя залога, ибо все деньги и билеты употребил на покупку имения, но для приискания залогов ему нужно не более десяти дней.

По настоящей распутице и поздней уборке хлеба он не может объявить цены ниже 9 руб. 50 коп. за четверть, ибо все зависит от зимы, которая может установиться еще в ноябре или декабре и даже январе месяцах. Хлеба же везде много и, в особенности, в Оренбургской губернии, и если бы стала зима, то хлеб можно было бы купить по 5 руб. четверть и, конечно, соразмерно с этим и понизить объявленную цену – следовательно, операция может дать большую выгоду или одни хлопоты – все зависит от погоды.

К счастью моему, в числе залогов, представленных к торгам явившимся купцом, я признал некоторые неудовлетворительно ясными; зашла о них переписка, что дало мне потребное время, а чрез неделю я дал предложение казенной палате, указав на Бенардаки, что он изъявляет желание вступить в подряд, цену мне открыл 9 руб. 50 коп. за четверть, а потому, исполняя буквально предписание министра финансов, я утверждаю сию цену как высшую, а заготовление разрешаю произвести подрядом.

Между тем, за неокончанием завода, министерство уменьшило предполагаемое заготовление до 500 тыс. ведер [водки] и закупку хлеба до 115 тыс. четвертей. Казенная палата, исполнив формы новых вызовов к торгам, окончательно представила мне Бенардаки с ценою по 9 руб. 25 коп., которую я уговорил его спустить до 8 руб. 90 коп., и 28-го октября я утвердил эту цену. В тот же день пошел снег хлопьями, 1-го ноября установился великолепный санный путь, и Бенардаки, являсь ко мне, впоследствии сознался, что ему поставка хлеба в [общей] сложности обошлась с небольшим 5 руб. за четверть. Можно судить, какой страшный барыш он получил в такое короткое время в одну операцию. Весь хлеб он доставлял из Оренбургской губернии, по причине дурного урожая в Симбирской губернии в этом году.

Все сие с строжайшей точностью я довел до сведения графа *Канкрин*, который поставил на вид мое распоряжение казенной палате, упрекнув ее в слабом мне пособии с ее стороны, и вызвал Бенардаки в Петербург в январе месяце, т.е. когда цена уже стояла по 5 руб. за четверть, на поставку для будущего года на полное количество хлеба для 800 тыс.

ведер вина 180 тыс. четвертей, каковую он и принял по 6 руб. 50 коп. за четверть. И тут громадный барыш, так что эти два подряда, как мне говорил сам Бенардаки впоследствии, положили главное основание всему его богатству.

Главное и особенное внимание графа Строганова, во время пребывания его в Симбирске, обращено было на торговлю хлебом, на рыболовные промыслы и на участь бурлаков-работников, нанимающихся для сплава судов по Волге. Судохозяева, несмотря на все узаконения и правила правительства, из своекорыстия забирают на суда чернорабочих, часто без всяких видов [на жительство], и тем дают повод к укрывательству и к переходам беглых и дезертиров; выдают таковым для приманки задатки и по прибытии на места – угрозами, что они объявят о их виновности и неимении вида, задерживают условленную плату; во время пути не имеют о них вовсе никакого попечения, и случись кому-нибудь из бурлаков заболеть, так что он не в силах был бы работать, хозяева безжалостно высаживали его на берег и кидали там как собаку, а в случае смерти – так в воду, без погребения.

Не знаю, какие последовали потом меры к отстранению и к прекращению сего зла, но они были необходимы, ввиду той бесчеловечности и в особенности той безнравственности, в которой были поставлены рабочие в отношении соблюдения условий и договоров хозяевами.

*(Продолжение следует)\**

#### Приложение

#### **Письмо А.М. Загряжского и ответ редакции**

*«Русская старина», январь 1879 г.*

I.

Милостивый государь г. редактор! С величайшим недоумением и негодованием прочел я на страницах «Русской Старины» (декабрь 1878 г.), в Записках некогда бывшего жандармского штаб-офицера Эразма Стогова различные подробности о каком-то симбирском губернаторе, не названо по фамилии и скрытом под буквою Z, сопоставив рассказ г-на Стогова с Записками, явившимися в том же журнале, покойного И.С. Жиркевича, который прямо говорит о своем предшественнике по управлению Симбирской губернией, т.е. обо мне, и называет меня по фамилии, я не мог не заметить, что г. Стогов под буквою Z разумел меня, тем более что года, приводимые и тем и другим, совершенно совпадают.

Издавна уважая ваше издание и ценя то беспристрастие, к оценке общественных деятелей прошлого времени, а также и ту осторожность, с которою вы обнародываете те и другие исторические материал и мемуары, я решительно недоумеваю о возможности появления на страницах «Русской Старины» очерков г. Стогова и могу себе объяснить только какую-либо случайностью, недосмотром, или не редактированием вами этой (№12, 1878 года) книги.

Говорю категорически: все что г. Стогов повествует в своих рассказах об этом Z, если только он разумел под этою буквою меня, то, положительно, выдумка и клевета. Не вдаваясь в подробные объяснения, приведу самый крупный факт в опровержение его измышлений: г. Стогов уверяет, что я был отставлен от должности симбирского губернатора и уволен от службы и что состоялось высочайшее повеление меня более на службу не принимать, а между тем я никогда уволен от службы не был и после губернаторства в Симбирске служил еще 22 года, в доказательство чего сообщаю вам мой формулярный список.

---

\* Продолжения не последовало, возможно, потому, что в редакцию «Русской Старины» прислал грозное письмо бывший губернатор Симбирской области А.М. Загряжский, правда, по поводу «грязных инсинуаций» в его адрес со стороны Э.И. Стогова (см. ниже). И редакция, весьма вероятно, решила больше вообще не затрагивать острую «симбирскую тему». – Примеч. М.И. Классона

Приготовляемые мною и уже предложенные вам выдержки из моих Записок, я надеюсь, достаточно покажут, насколько можно верить рассказам г. Стогова. Вы и читатели «Русской Старины» увидят, что все помещенное им о Z, если, повторяю, под этим он разумел меня, есть оскорбительное, грязное, лживое и недостойное никакого порядочного человека маранье бумаги.

В напечатании моих Записок на страницах «Русской Старины» и в том объяснении, которое вы с такою предупредительностью поспешили дать мне после указания вам на этот пасквиль, в форме письма, имеющего появиться в первой книге «Русской Старины» вместе с напечатанием настоящего письма, я усматриваю полное удовлетворение со стороны редакции «Русской Старины», но сохраняю за собою право путем суда потребовать отчета и доказательств от г. Стогова.

Примите и проч.

16 декабря 1878 г.

Тайный советник А. Загряжский

## II.

Милостивый государь Александр Михайлович! Доставленный вами документ убедил меня, что рассказы г. Стогова, вошедшие в его «Очерки» (№12 «Русской Старины»), о каком-то симбирском губернаторе Z, если только г. Стогов под эту буквою разумел вас, есть не что иное, как плод досужей фантазии, по крайней мере, главнейший факт, приведенный им, будто бы губернатор Z был уволен по высочайшему повелению с тем, «чтобы впредь никуда не определять» («Русская Старина» 1878 г., том XXIII, стр. 654), оказывается, если только он относится к вам, милостивый государь, полнейшею выдумкою.

В самом деле, из формуляра вашего я узнал, что вы, Александр Михайлович, были определены на должность симбирского гражданского губернатора в 1831-м году; что уже в 1832-м году именным высочайшим указом, «за успешное взыскание податей и недоимок по Симбирской губернии, за первую половину 1832 г.», объявлено вам от покойного государя Николая Павловича «удовольствие с надеждою еще лучшего успеха»; что в 1833 году, за «отлично-усердную службу и благоразумные распоряжения при заготовлении хлеба для симбирского Меленского винокуренного завода<sup>\*</sup>», вы всемилостивейшее пожалованы кавалером ордена св. Станислава 2-й степени со звездой; что засим, если в 1835-м году, высочайшим указом, данным сенату, вы и уволены от должности симбирского гражданского губернатора, то таковое увольнение состоялось с причислением вас к министерству внутренних дел и с производством, по высочайшему повелению, по 6 000 руб. ассигнациями ежегодной пенсии; засим, уже в 1837-м году, вы вновь поступили на действительную службу, на которой и оставались, с небольшими промежутками, 22 года.

Все это не могло бы иметь места, если бы поводы к увольнению вас от губернаторской должности были бы, хотя в чем-нибудь, близки с поводами, по которым уволен какой-то Z. Таким образом, рассказы г. Стогова об этом Z и по форме, и по существу оказываются повестью, не имеющею ни малейшего отношения к предшественнику И.С. Жиркевича по управлению Симбирскою губернией (1831-1835 гг.).

Искренне сожалея, что «Русская Старина» дала место рассказам о каком-то Z, которые оказываются сочинением, я прошу принять уверение в полнейшей моей готовности напечатать на страницах этого же издания ваши Записки (когда вы их сообщите), которые, без сомнения, подтвердят, что и в подробностях своих «Очерки» о некоем Z – такой же продукт фантазии<sup>\*\*</sup>.

Изд.-Ред. «Русской старины»

---

<sup>\*</sup> Возможно, что это все тот же Мелекесский винокуренный завод. – Примеч. М.И. Классона

<sup>\*\*</sup> В подлинном письме к г. Загряжскому, в первой строке, сказано: «доставленные вами документы». Это описка. Г. Загряжский сообщил нам один документ, именно «аттестат», который и помещен в извлечении здесь. Также заметим, что здесь, в печати, мы привели в нашем письме более полную выдержку из аттестата, нежели как она приведена в нашем подлинном письме к г. Загряжскому. Ред.

### III.

#### Аттестат

Извлекаем из этого документа, сообщенного нам А.М. Загряжским в подлиннике, некоторые указания на его службу, тем для нас интересные, что они относятся к одному из немногих оставшихся в живых участников великой отечественной войны, – участнику боя при Смоленске, в 1813 году – под Бауценом, Кульмом и Лейпцигом, наконец, лицу бывшему при взятии Парижа...

А.М. Загряжский (род. в 1798 г.), из потомственных дворян, в службу вступил в Одесский пехотный полк подпрапорщиком в 1811 г., переведен лейб-гвардии в Преображенский полк 15-го августа 1812 г. и в том же году произведен в прапорщики, «имея тогда от роду четырнадцать лет. За отличие в сражениях против французов 1813 г. августа 15-го при Пирле, 16-го в дефилях Гизлобиля, 17-го при удержании неприятеля в Кульме, 18-го при истреблении и разбитии войск французских, награжден орденом св. Анны 4-й степени и Прусским знаком Железного креста». В 1816 г., за болезнь, уволен от службы подпоручиком с мундиром, но в следующем же году принят в тот же полк прапорщиком и, по постепенном производстве в соответственные чины; в апреле 1824 г. произведен в капитаны. «24-го января 1826 г. высочайшим приказом уволен от военной службы для определения к статским делам, с переименованием в коллежские советники.»

«Поступил за обер-прокурорский стол правительствующего сената в 7-й департамент 1826 г. марта 9-го; в том же году, «за усердную службу и особенные труды по комиссии о коронации императора Николая Павловича» пожалован кавалером ордена св. Анны 2-й степени. В 1829 году определен исправляющим должность управляющего Тамбовскою удельною конторою». «По случаю болезни тамбовского полицеймейстера и возникшего со стороны жителей г. Тамбова буйства при объявлении им о появлении эпидемической болезни холеры, на основании предложения губернатора, исправлял должность полицеймейстера в Тамбове с 17-го ноября 1830 г. по 29-е января 1831 г.» В том же году «за отлично усердную службу» всемилостивейше награжден 2 тыс. руб. ассигнациями и произведен в статские советники. В том же, 1831 г., уволен из удельного ведомства для поступления на службу в министерство внутренних дел, куда и причислен чиновником для особых поручений при министре.

«Определен на должность симбирского гражданского губернатора 1831 года, июля 2-го; именованным высочайшим указом, за успешное взыскание податей и недоимок по Симбирской губернии за первую половину 1832 г., объявлено ему от Его Императорского Величества удовольствие с надеждою еще лучшего успеха, 1832 г. сентября 28-го; за отлично усердную службу и благоразумные распоряжения при заготовлении хлеба для симбирского Меленского винокуренного завода, всемилостивейше пожалован кавалером ордена св. Станислава 2-й степени со звездой, 1833 г. декабря 6-го; всемилостивейше утвержден в звании симбирского гражданского губернатора, 1833 г. декабря 6-го; высочайшим указом, данным правительствующему сенату, уволен от должности симбирского гражданского губернатора с причислением к министерству внутренних дел, 1835 г. марта 5-го».

«По высочайшему повелению, 12-го июля 1835 г., назначено производить ему по 6 000 руб. ассигнациями в год пенсии, со дня увольнения от должности симбирского гражданского губернатора. 22-го августа 1835 г. пожалован знаком отличия беспорочной службы за XV лет. В июне 1837 г. назначен членом консультации при министерстве юстиции. В следующем году перемещен в почтовое ведомство. В 1841 г. произведен в действительные статские советники и пожалован знаком отличия беспорочной службы за XX лет (через пять лет дан такой же знак за XXV лет). Перемещен в ведомство новороссийского и бессарабского генерал-губернатора в 1842 г. с возложением между прочим обязанности

общего надзора за состоянием запасных магазинов в Новороссийском крае, и наблюдения за исполнением мер ко взысканию недоимок там же».

«По высочайшему повелению, объявленному статс-секретарем Танеевым, 2-го июня 1846 г., уволен от службы за неимением занятий по управлению новороссийского и бессарабского генерал-губернатора». 20-го марта 1855 г. высочайшим приказом назначен начальником дружины государственного ополчения Московской губернии. В декабре 1855 г. отчислен от этой должности в распоряжение командующего южною армией. По распусчении ополчения, уволен от службы 5-го апреля 1856 г. с объявлением ему «за отлично усердную и ревностную службу высочайшего благоволения». В 1863 г. причислен к министерству внутренних дел, «в 1867 г. произведен в тайные советники, с увольнением, согласно прошения, по болезни от службы».

«В штрафах, под судом и следствием не был. Случаям, лишаящим право на получение знака отличия беспорочной службы высшей степени, не подвергался».

Аттестат А.М. Загряжскому выдан 20-го ноября 1867 г. за подписью бывшего министра внутренних дел П.А. Валуева.

#### IV.

*Примечание от редакции.* А.М. Загряжского мы вовсе не знаем; так же вовсе не знаем и Эразма Ивановича Стогова. Поместили и помещаем «Очерки и воспоминания» г. Стогова ввиду бойкости и талантливости их изложения, а также потому, что характеристики, набросанные им, таких исторических лиц, каковы: Сперанский, Трескин, Лавинский, Батенков, архиепископ Ириней, А.П. Бунина – которых мы знаем из множества других письменных источников – совершенно верны, даже во многих мелких подробностях. Рассказ г. Стогова о «бунте» архиепископа Иринья в Иркутске\* подтверждается почти дословно еще недавно полученным нами всеподданнейшим донесением генерал-губернатора Лавинского, 1831 года, которое мы и напечатаем в следующей книге.

Но так как главнейший факт в рассказах г. Стогова о некоем Z, если только они относятся к А.М. Загряжскому, совершенно опровергнут вышеприведенным документом, то мы сочли себя вправе выразить полнейшее сомнение в верности и самих подробностей о том же г. Z. Ввиду этого и твердо держась правила, что «Русская Старина» всегда предоставляет самое широкое право каждому – тем более лицу, так или иначе заинтересованному – исправлять явившиеся на страницах нашего издания ошибочные отзывы, характеристики, рассказы – мы будем ждать Записки А.М. Загряжского и долгом почтем напечатать их немедленно, как только получим\*\*.

Ред.

---

\* См. «Русскую Старину» изд. 1878 г., том XXIII.

\*\* Таковые опубликованы не были, скорее всего, за неполучением оных. – Примеч. М.И. Классона